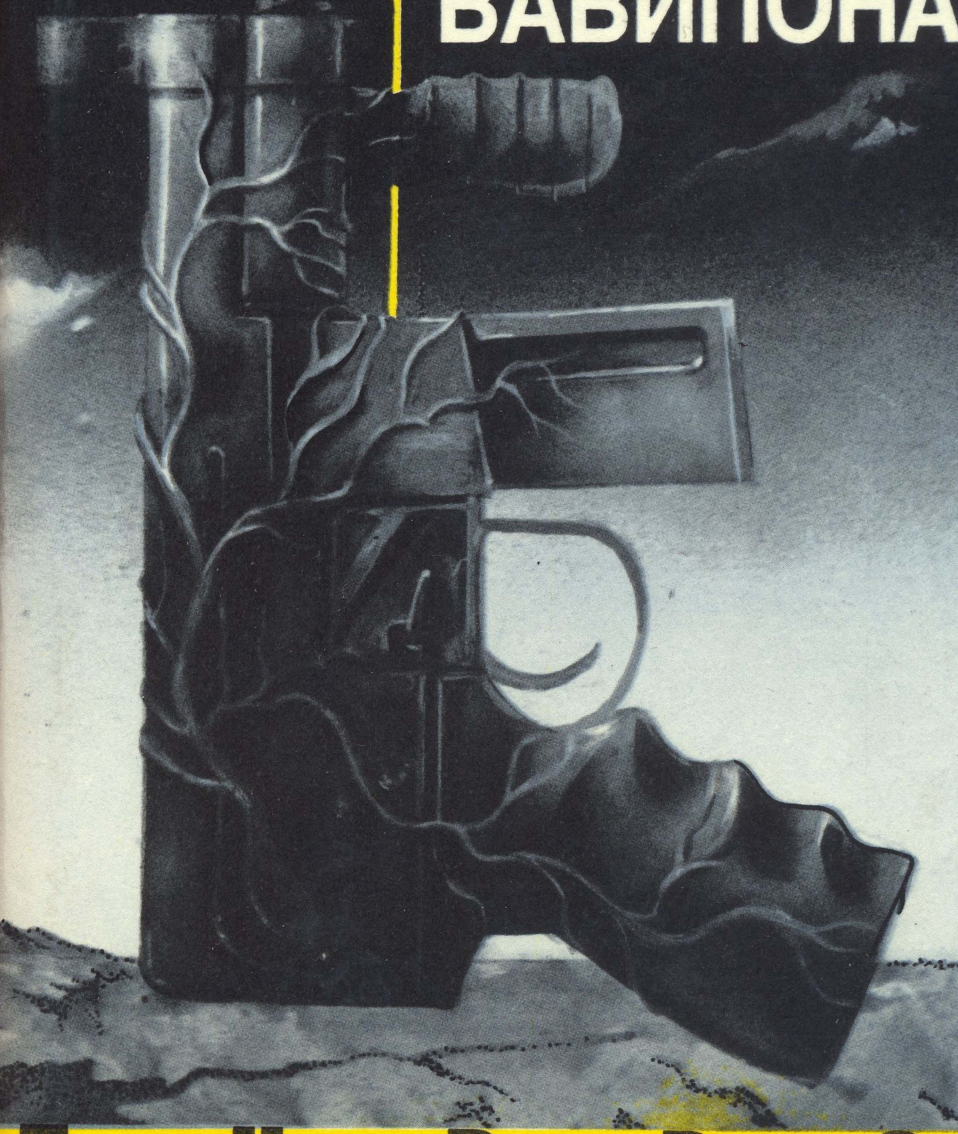
Андрей ПАЗАРЧУК

СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА



TURBO

ИНОЕ
НЕБО

МОСТ
ВАТЕРЛОО

СОЛДАТЫ
ВАВИЛОНА

А. Б. Лазарчук

СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА

УНИВЕРС
Красноярск
1995

ББК 84
Л17

Сканирование: vmakhankov
Обработка: Vitautus

Оформление художника
А. Шедченко

Лазарчук А. Г.
Л17 Солдаты Вавилона: Романы/Авт. послесл. М. Успенский.— Красноярск: изд-во «Универс», 1995.— 604 с.

ISBN 5-87748-192-4

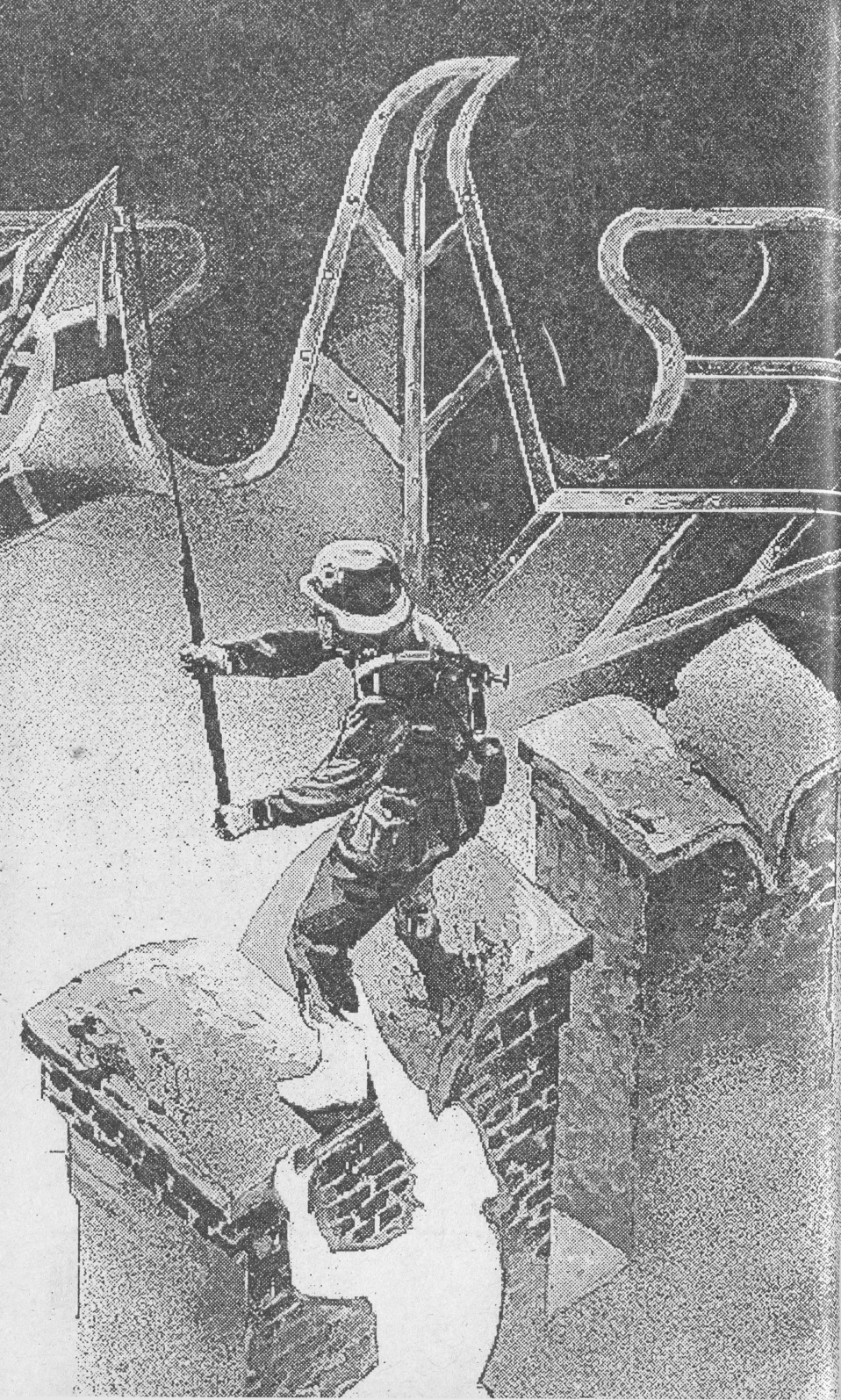
Миры Андрея Лазарчука лежат за горизонтом реальностей. В них действуют люди, биологически подобные нам, однако структура их общества совершенно иная. А следовательно, и иной была их история...

Л $\frac{4703000000}{Г49(03)—95}$

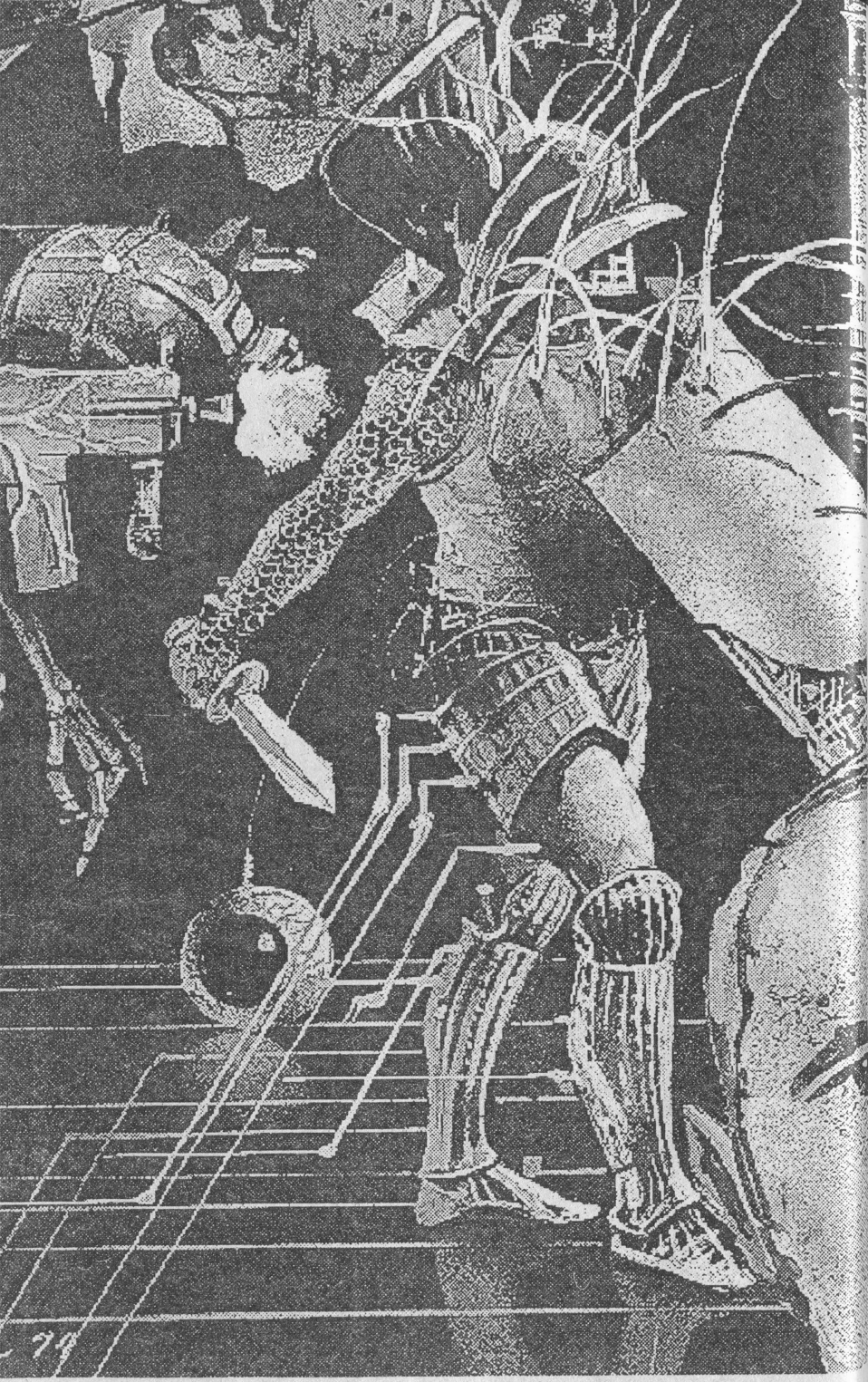
ISBN 5-87748-192-4

© А. Лазарчук, 1995
© Оформление «Универс», 1995

TURBO



ИНОЕ НЕБО





— Мой Лорд,— не отводя глаз, сказал звездочет.— Чтобы составить такой гороскоп, я должен одновременно находиться и под северным, и под южным небом — что невозможно. Путешествие к берегам Африки займет не один месяц.

— А как же другие астрологи? — паучьим голосом спросил Ланкастер.— Как же великие древние?

— Потому мы и живем так, как живем.

Леон Эндрью. Властелин спичек

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства,— а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тяжесть ответственности.

Михаил Лермонтов. Герой нашего времени

В небесах торжественно и чудно!

Михаил Лермонтов

6.06.1991. Около 14 часов. Станция Варгаши. Государственная граница.

■

Все, хватит с меня японской техники: неделю назад купил часы, а минутная стрелка уже отклепалась от оси и показывает не время, а направление к центру Земли — то, что меня интересует меньше всего. В конце концов, почему инженер, пусть даже на государственной службе, не может себе позволить приличные часы? Допустим, не швейцарские. Жирновато. Допустим, «Адлер»...

За окном вагона справа налево прокатился лязг буферов: наверное, к «Империуму» прицепили локомотив. Конечно, «Империум» не может отклоняться от графика. А мы, конечно, можем... Очень одинаковые японцы, стоявшие под навесами у вагонов, заторопились по своим местам. Черно-белые японцы — черные пиджаки, белые брюки — садились в черно-белые вагоны «Империума», экспресса Пхеньян-Томск-Берлин-Лондон, единственного поезда, проходящего по землям всех четырех великих держав... что-то в этом мне показалось не то забавным, не то символичным — скорее всего, показалось: от скуки,— но додумать я не успел, потому что тихая музычка из репродуктора прервалась, и милый голосок — я так и видел эту белокурую голубоглазую девочку с кукольным ротиком и пышным бантом на голове — сначала по-немецки, а потом по-русски произнес:

по настоянию пограничной стражи досмотр вагонов продлен, уважаемым господам пассажирам, следующим до станции Курган, Каменск-Уральский и Екатеринбург, компания приносит свои извинения, компенсацию они могут получить в кассах вокзала в удобное для них время; после Екатеринбурга график движения будет восстановлен. Так... продлен досмотр... Я машинально посмотрел на часы, а потом хлопнул их об стол. Приедем в Курган — куплю новые. Куплю «Адлер» — назло Командору. Решено. Так и сделаю.

Но который же час? Я откатил дверь и выглянул в коридор. За окном спиной ко мне стоял часовой-пограничник в блестящей от дождя черной накидке. От купе проводника медленно шел бан-полицай — шел, заложив руки за спину и разглядывая через окна что-то на перроне. Увидев меня, он чуть ускорил шаг и положил правую руку на ремень рядом с кобурой.

— Герр офицер,— со сладкой улыбочкой заторопился я по-немецки,— не могли бы вы сказать, что произошло и который час? Я спал, и вот...

— Четырнадцать двадцать две,— ответил он.— А что произошло, не знаю. Пограничники что-то ищут. Наверное, опять кто-то пошутил насчет бомбы в багаже. Идиоты.

— Часто так шутят?

— Бывает... А у вас что, часы остановились?

— Сломались. Брак. Купил — дешевые... недели не проносил.

— Японское дерьмо,— он издали, спрятав руки за спину, взглянул на мои часы.— Консервы у них вкусные и фарфор хороший, а механизмы делать не могут.

— Ну, на Островах-то делают,— возразил я.— Только и стоят они хороших денег. А это — из Континентальной...

— Вам, конечно, видней, это вы с ними друзья,— сказал полицай.— Только, на мой взгляд, лучше немецкой техники все равно не найдешь. Не потому что я шовинист — из личного опыта...

Хлопнула дверь тамбура, загремели по железу сапоги. Мой собеседник сделал шаг назад и подтянулся, готовый рапортовать начальству. Дверь я задвинул не до конца, оставил щель, чтобы слышать, что происходит — но фиг: вошел и вытянулся в струнку, отдавая честь, лейтенант пограничной стражи.

— Валинецкий Игорь Зденович, гражданин Сибири, из Томска, инженер, направляетесь в Москву по делам государственной компании «СПРТ»?

— Именно так,— сказал я.

— Пожалуйста, еще раз предъявите паспорт и вещи для повторного досмотра.

— Пожалуйста.

— Поскольку в вашем теле работает ядерный реактор, предъявите нагрудный знак, медальон и браслет.

Я показал браслет, расстегнул рубашку и продемонстрировал медальон. Лейтенант сверил номера с тем, что записано в паспорте, кивнул.

— Спасибо. Откройте чемодан.

— Что именно вас интересует?

— Простите, это тайна.

Он прошелся интраскопом по стенкам, крышке и дну моего чемодана, похлопал руками по дорожной сумке, показал на раухер:

— Прошу вас, продемонстрируйте работу аппарата.

Я вывел на экран схему интерференции полей в блоке «Пирмазенс» и показал, как меняется картина с ростом нагрузки.

Лейтенант был удовлетворен.

— Благодарю вас,— сказал он.— Приношу извинения за беспокойство. Это делается в цéлях вашей безопасности.

— Долго мы еще простоим?

— Не больше часа.

Он вышел и через несколько минут вернулся.

— Герр инженер, не согласитесь ли вы принять попутчика?

Мне показалось, что он подмигнул.

— Главное, чтобы согласился попутчик,— я постучал ногтем по нагрудному знаку.

— Фрау без предрассудков,— сказал лейтенант.

И вошла фрау. Я почувствовал, что встаю. За спиной фрау маячил солдат с чемоданом.

— Очень мило... с вашей стороны... лейтенант.— Фрау походила на француженку: короткая стрижка, с прищуром глаза, высокие скулы, чуть втянутые щеки. Стройна. Необычные, ломкие движения.

— Я не стесню?..

— Что вы, разумеется, нет.

Семья с двумя детьми, очень просили... Располагайтесь, пожалуйста... мне выйти? На секунду, не больше. Вас предупредили относительно этого (напрягаю грудную мышцу, значок уезжает на полметра вперед)? Да-да, ничего особенного, я не боюсь. Замечательно...

В коридоре я прижался лбом к холодному стеклу. Сердце работало во втором режиме: сто ударов в минуту. Что-то рановато начинается операция... похоже, что наши друзья из гепо нервничают. И без помощи раухера я мог с полной уверенностью сказать, что фрау эта имеется в нашей картотеке. Номер Р-147, «Роза», агент-наблюдатель высшего класса. Обычно работает на ближневосточном и туранском направлениях. Свободно владеет арабским и фарси. Сексуально притягательна для мужчин восточного типа...

— Входите, можно.

Когда она пришла, на ней был клетчатый твидовый костюм. Теперь она натянула брючки из темно-красной замши и облегающий

черный свитер. Ай-я-яй, какая откровенная фронтальная атака. Разве же так должен поступать агент-наблюдатель высшего класса? Но, главное — зачем? Я что, похож на арабского террориста? Нескладуха. Ладно, разберемся по ходу дела...

— Позвольте представиться: инженер Игорь Валинецкий.— Я вспомнил, наконец, что мы не знакомы.

— Криста Лауэр,— протянула она руку.— Переводчик-синхронист. Вы из Сибири?

— Да, из Томска...— Рука у нее была сухая, нервная. Я приложился губами к запястьям и удивился, что меня не ударило током.

— Я была в вашем Томске,— сказала она.— Красивый город. И чистый. Но уж очень похож на американские города.

— В Америке вы тоже были?

— Дважды. В восьмидесятом и восемьдесят втором. В августе. Сплошные восьмерки. Смешно, правда?

— Неимоверно. А с какого языка вы синхронно переводите?

— С арабского.

— О!

— Не похоже, правда? Никто не верит. А ведь арабский очень простой язык. Очень красивый. Хотите, я вам стихи почитаю?

— Секунду,— сказал я.— Пойду шепну пару слов проводнику.

Коридор был пуст: законопослушные граждане обеих стран близко к сердцу приняли просьбу не выходить из купе без крайней на то необходимости. Проводник, подперев щеку, грустно смотрел в окно. Дождь не кончался.

— Что желает герр инженер? — вскочил он мне навстречу. Забавно: по нашу сторону границы он спрашивал: «Чего изволите?», а по эту, хоть и говорил по-русски, фразу строил на немецкий манер.

— Две чашки очень хорошего чая и бутерброды с семгой.

— Пирожные?..

— И пирожные, да.

— Пять минут.

На обратном пути я вдруг сообразил, что именно привлекало за окном внимание моего собеседника-полицая и что я видел сам, но за размышлениями о качествах и статях агента Р-147 просто не пропустил в сознание. На мокром асфальте перрона проступили нанесенные трафаретным способом силуэтные портреты «самарской четверки»: Сталина, Молотова, Ворошилова и Берии; силуэты наезжали один на другой, и получалась гордая шеренга — так когда-то изображали казненных декабристов, а потом — Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. «...ет единная ро...» — видны были буквы. У патриотов почему-то всегда нелады с родным языком. Это подметил еще Ларошфуко, только выразился как-то иначе. Или это был Паскаль? Блез. Паскаль Блез и Блез Паскаль — это два разных человека. Или Вольтер. Лишивший невинности Жанну д'Арк. Мне вдруг стало тоскливо: пос-

ледний раз по-настоящему, для души я читал лет пять назад. С тех пор — только для ума. Для дела. Даже в отпуске — для ума. Даже в Гвоздево, в зоне психологической разгрузки, где можно все — даже там я не читал ничего постороннего, хотя именно об этом, о постороннем, я мечтал на акциях, особенно если приходилось лежать в ледяной грязи или проходить по сто километров в день — мечтал выйти утром на веранду или на плоскую крышу, сесть в плетеное кресло, взять в руки книгу — не какую-то конкретную, а просто очень хорошую книгу — и читать медленно, с наслаждением, потягивая чай из тонкой, нежной, как розовый лепесток, чашки, и тихая японочка или кореяночка, неслышно подходя, будет наполнять эту чашку... никогда этого не получалось, хотя и японочки, и кореяночки были, но вместо чая пили коньяк, а до книг так и не доходило совсем.

Пока я отсутствовал, Р-147 времени не теряла: на столе уже красовалась осургученная бутылка «Саян-туй» и два фиолетовых дорожных бокала из «неуничтожимого стекла». Сама фрау размышляла над открытым клетчатым чемоданом — тем, что поменьше.

— Как вы считаете,— подняла она на меня глаза,— это подходит к?..— она кивнула на бутылку. В руке у нее была коробка орехового печенья «Таежное».

— Абсолютно не подходит,— сказал я.— Более того, и бутылка эта не подходит к ситуации...— я взял бутылку в руки и посмотрел на печать.— «Золотая печать», ничего себе! Рублей сто двадцать отдали?

— Сто пятьдесят.

— В магазине Семенова на углу Авиаторов и Денисюка?

— Нет, в Петропавловске на вокзале. Я же еду из Петропавловска.

— А мне показалось, я видел вас раньше... впрочем, не смею настаивать.

— Возможно, кто-то похож?..

— Я спал всю дорогу. Должно быть, вы мне приснились. Так вот, «Золотую печать» следует вскрывать и пить в кругу старых друзей, причем не в чистом виде, а добавляя понемногу в очень хорошую водку. Или — на любителя — в джин. Если закусывать, то фруктами. Манго, авокадо, папайя. В нашей компании «Саян-туй» поэтому называют еще «Да здравствует Африка!»

— Очень остроумно.

— Чрезвычайно. Так что спрячьте это для старых друзей, а я придумаю замену... вот. За знакомство — лучше не придумаешь. Этому коньяку почти пятьдесят лет. «Туркси6» — слышали?

— Это название коньяка?

— Скорее прозвище. Названия у него нет, потому что в продажу он не поступает. Просто я в свое время сидел с Семеновым-внуком за одной партой. Хотите знать, что это за коньяк?

— Сначала попробовать.

— Разумеется. Ага, вот нам уже несут... Проводник, улыбаясь, сервировал столик. Если фрау позволит... Как из рукава, появился букетик красных саранок.

— А нет ли у вас лимона? — поинтересовался я.

— Как же может не быть лимона? — изумился проводник.

— Тогда, пожалуйста, принесите лимон и пустую рюмочку для себя.

Он исчез и тут же возник вновь с пошинкованным лимоном и граненым стаканчиком пузырчатого зеленого стекла. Вслед за ним просунулся давешний полицейский.

— Что за?..— начал было он, но три беспредельно-радушных улыбки срезали его влет. Он засмущался, но фрау вручила ему свой бокал, и тут уж он устоять не смог. Проводник принес еще один стаканчик, и я налил каждому по первой порции.

— Дегустация,— объявил я.— Для тех, кто еще не знает: этому коньяку пятьдесят лет. Может быть, больше. История его такова: в сорок первом году, поздней осенью, из Грузии был выведен эшелон с пятью тысячами бочек коньячного спирта. Эшелон сопровождал интендант второго ранга Гавриил Семенов. Так, вы уже смеетесь. Совершенно верно. Странствия этого эшелона вокруг Каспийского и Аральского морей — это тема для новой «Одиссеи». Наконец, почти через год, в октябре сорок второго, эшелон видели — в последний раз — на станции Козулька, известной, может быть, вам по очерку Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин». Где-то между Козулькой и Красноярском эшелон исчез бесследно. Напомню, это был уже октябрь сорок второго — кому какое дело было до несчастного эшелона? А после декабрьской Реформы возник уже новый Семенов, тот, которого мы знаем: «Семенов и сыновья» — три звездочки, пять звездочек, «особо выдержанный»... Но несколько сот бочек дед Семенов сохранил, не пустил в продажу. Они замурованы в его подвалах и ждут своего часа: одни — наступления нового тысячелетия, другие — столетия фирмы, третьи — еще каких-то славных дат. Говорят, есть бочка, отложенная до дня Страшного Суда. Та бочка, из которой мы сейчас пьем, была открыта две недели назад на восьмидесятилетие Гавриила Семенова. И я предлагаю выпить за то, чтобы нас никогда не покидали оптимизм и вера в будущее, как не покидали они этого славного патриарха. Прозит!

Пили, восхищенно жмурились, обменивались только междометиями. «О-о! М-м-м! Э-эх!» Да-а, господа... Мягкий, шелковый напиток. Безумно богат его букет и неизмеримо коварство: со второй порции отключаются ноги. После третьей-четвертой возникает странный эффект: тебе кажется, что голова твоя по-прежнему светла и ты практически трезв, только весел; в действительности окружающий мир ты уже не воспринимаешь — остаешься лишь ты сам и твои

собутыльники и сотрапезники. Не зря же целую бочку Семенов заначил до Страшного Суда. Иммунитета к «Турксибу» нет, от него пьянеют даже самые стойкие; похмелья после него тоже не бывает. Вместе с ломтиком лимона я бросил в рот капсулу холапана. Теперь печень активно погонит желчь, а поджелудочная железа начнет выбрасывать в кровь огромное количество инсулина. Надо не прозевать момент и съесть что-нибудь сладкое...

Сказал тост полицейский. Он предложил выпить за прекрасных дам, за наших жен и любовниц — пусть никогда не встречаются! Выпили — с большим удовольствием. Я достал следующую бутылку, а проводник принес еще один лимон и банку японских консервированных фруктов. Теперь процесс становился самоподдерживающимся: таково свойство практически всех смешанных русско-немецких компаний: пить до отпада. Порознь может быть и так, и этак, а вместе — тушите свет. Вероятно, таким путем русские сублимируют свою полувековую мечту о реванше, а немцы глушат насмерть темные предчувствия.

Заскрипев сочленениями, поезд тронулся. Уплыл назад мокрый часовой, мокрый газетный киоск, мокрые офицеры пограничной стражи под мокрыми зонтами, кончились платформы, застучали колеса по стрелкам, мелькнули светофоры и знак «граница станции», побежали мимо пристанционные постройки, домики, переезд со шлагбаумом, на дороге грузовик, два трактора, мотоцикл, еще дальше — ферма, жилой дом, и теплицы, теплицы, теплицы, гектара два теплиц... местность была плоская, как блин, и в такую погоду особо унылая... деревья в лесополосах застыли по стойке «смирно» и ничем не напоминали создания природы, а редкие березовые колки всем своим видом выказывали смирение и понимание того, что оставлены они жить только из невыразимой милости... Уже выпили и по третьей, и по четвертой — под какой-то совершенно непристойный тост, сказанный Р-147, и под робкое «Это... за знакомство, что ли...» проводника. Стало совсем темно, дождь усилился, окно, несмотря на гидрофобное покрытие, заливало водой. Тучи вспыхивали лиловым, и гром, хоть и ослабленный, проникал в вагон.

— Нет, ты скажи,— требовал полицейский у проводника,— ты скажи: справедливо это? Я тут всю жизнь живу, и отец мой жил, и деды, и прадеды, а он мне: оккупант? Справедливо? Зепп, бил себя в грудь проводник, Зепп, бля буду!.. Потому что все мужики хамы, объясняла Р-147, вам всем одно нужно, что я, не знаю, что ли? Примитивное удовольствие. Воткнул — и к следующей. Что я, не вижу? Комплекс Кулиджа. Воткнул — и дальше побежал. На нее не обращали внимания. Ты пойми, тряс рукой проводник, ты пойми: русский человек — это русский человек! Ты, главное, суть пойми!..

Меня вдруг затрясло: теплая пелена опьянения исчезла, и я оказался под леденящим взглядом исполинского глаза, как бы под

лучом замораживающего прожектора — я все уменьшался в размерах, а глаз рос, рос, уходя в бесконечность... срочно нужно было съесть что-то сладкое, срочно — я упустил момент... рука была почти чужая: я отстраненно смотрел, как она неуверенно сыпет сахар в остывший чай, ворочает там ложкой, поднимает чашку... начинался настоящий озноб, но я успел судорожно выхлебать приторный сироп. Теперь можно и коньячку, настоящего коньячку без легенд и излишнего коварства... зачем я вообще это сделал? Черт его знает... Полицейский тряс бутылкой, силясь добыть еще хотя бы каплю. Я встал — тело ныло, как после тяжелой продолжительной болезни, сердце неслось куда-то в третьем режиме,— и достал литровую бутыль «Хасана». Это, конечно, пойло, травяной настой, но он хорош тем, что после него не болит голова.

— Вот — русский человек! — воскликнул проводник, простирая руки.— Он понимает душу любого — русского, немца — любого!..

— Я не русский,— сказал я.— Я полуполяк, полуиспанец. У меня мама — Родригес.

— Все равно, ты русский! — настаивал проводник. —Ты думаешь по-русски, и ты понимаешь русскую душу.

— Разве что,— согласился я.

— Теория крови — это блеф,— веско сказал полицейский.— Партия разобралась и дала бредням Розенберга суровую оценку. Бредни Розенберга разоблачены, разоблачен и сам Розенберг.

— Верно, Зепп, все люди братья,— подхватил проводник,— давай на брудершафт!

Стали пить на брудершафт. Полицейский с проводником, я с Р-147. От таких губ тоже должно бить током. Но почему-то не било. Р-147 откинулась назад и издала слабый стон — будто где-то далеко, в каменной пустыне, взывает о помощи живое разумное существо. Налили еще по одной, теперь была моя очередь целоваться с проводником. Это оказалось не так ужасно, как представлялось. Глазки у проводника были уже как у вареного поросенка. Р-147 целовала полицейского взасос, правая рука ее скользнула вниз по мундиру, нашла ширинку — и замерла в восхищении. За окнами прогрохотали фермы моста — мы переезжали Тобол. Гроза осталась позади, из-за туч выскользнуло солнце и заплясало на зеркальном куполе «Евразии»; из светящегося тумана проступил похожий на перевернутую букву «У» силуэт «Самсона» — знаменитого курганского небоскреба. В прошлом году мы работали в нем и вокруг него: «Дети Адольфа» пытались добраться до сейфа «Сибнефти», захватили заложников... В простоте душевной они считали, что снять их со сто четвертого этажа будет трудно. Так... пришел мой черед целоваться с полицейским. Он уже ничего не понимал. Р-147 заставляла проводника слушать, как у нее бьется сердце. Братские чувства ее просто переполняли. Колеса снова застучали на стрелках,

и тут в проводнике шевельнулись профессиональные навыки.— Едем, что ли? Ну да, едем... Он подобрался к окну. Поезд задрожал и остановился. Неверными шагами проводник двинулся в коридор, но тут же появился вновь, пятясь, сжимаясь во что-то маленькое и незаметное. Вошли и замерли в глубокой растерянности три полицейских офицера. Наш полицейский встал, оправил мундир, нашел фуражку и с третьей попытки надел ее. Повернулся ко мне, покачал толстым пальцем перед носом, сказал строго:

— Зепп Клемм не оккупант! Запомни и передай всем — Зепп Клемм не оккупант! На вот — чтобы помнить...— Он снял часы и стал надевать их мне на руку.— Не оккупант,— повторял он,— не оккупант, не оккупант...

7.06.1991. Около 3 часов ночи.
Где-то между Екатеринбургом и Казанью.

■

Я так и не уснул. Лежал, ворочался, мучался раскаянием. Зачем устроил жеребятину? Ну, в самом деле — зачем? Дурака валял? Воистину дурака... Пытался расслабить тело и заставить мозги думать о деле — тоже не получалось. Тот мизер информации, что у нас был, уже давно усвоен, и нового из этого ничего не выжмешь. Надо просто там, на месте, натянуть хорошую паутину, сесть поудобнее и ждать. И все. Техника заброшена, люди все на месте, времени у нас вагон... Р-147 как прилегла в Кургане, так и не пошевелилась до сих пор. Я прикрыл ее пледом — она сморщилась обиженно. Интересно, какая у нее в этой игре роль? Если, конечно, в этой игре... и если я не обознался. Я тихонько встал, наклонился над ней. Спит... но как-то странно... не пойму... Я вдруг понял, что она на меня смотрит. Веки не сомкнуты, только опущены... и волосы за ухом как-то не так лежат... Я протянул руку, коснулся волос, и тут они все легко скользнули вверх, обнажая гладкий зеленоватый череп, глаза страшно распахнулись, а вокруг моих ног захлестнулось и обвилось что-то упругое и сильное, отлетел плед, ко мне протягивало руки чешуйчатое хвостатое существо...

— Проснитесь! Проснитесь! — незнакомый перехваченный голос.

— Что? — я приподнялся.— А... все в порядке, в порядке...— у меня тоже перехваченный голос.

Купе, горит настольная лампа, сердце опять в третьем режиме. Р-147 без косметики, в том же черном свитере и трусиках, и пахнет от нее мылом и зубной пастой — встала, умылась...

— Вы так кричали,— сказала она жалобно.— Я думала, убили кого-то.

— Пойду умоюсь,— сказал я.

Убили... убили... ну, убили. И что теперь?

Рожа в зеркале была не моя. Похожая, но не моя. Не родная. Это тоже гнездится где-то: вот однажды посмотрю в зеркало, а там — крокодил, или оскаленный череп, или старик... или женщина. Что не менее ужасно.

Умылся. Вернулся. Посмотрел на трофейные часы. Тут же забыл, что там увидел. Р-147 лежала с открытыми глазами. Свитер ее очень небрежно и очень заметно валялся на столике. Эти немецкие женщины...

— Вам что-то приснилось? — спросила она.

— Может быть,— сказал я.— Не запоминаю снов.

— Меня долго мучили кошмары,— сказала она.— Пока я не стала лечиться у Бонгарда.

— Извлечением души?

— Не смейтесь, это действительно так! Это не выдумки, я же...— она замолчала и приподнялась на локте.— Хотите попробовать? — страшным шепотом спросила она.

— Нет,— сказал я.— Мне нельзя. У меня искусственное сердце.

— Неважно! Ведь душа...

— Все равно не хочу.

— Вы будете жалеть, страшно жалеть...

— Гашу свет?

Я выключил лампу, разделся и лег. Р-147 выглядела подозрительно бодрой. Слопала какой-нибудь стимулятор? Допустим. Ну и что? Не везу я ни оружия, ни фальшивых паспортов, и даже денег у меня кот наплакал. Залезть же в память раухера невозможно. Да и залезь туда кто... архивная крыса Люба, вручая мне тощенькую папочку с материалами по «Пятому марта», сказала: все здесь, Игорек, нет больше ничего, будто и не люди это, а мороки. И Командор бушевал, что идти на акцию с такой информацией — это просто подставлять задницу. Бушевал он, впрочем, наедине со мной, в подвальчике того самого, на углу Авиаторов и Денисюка, хлопнув предварительно для расслабления полбутылки «Кедровой». В кабинете же Тарантула он вел себя лояльно и делово и даже изображал повышенное внимание, когда Тарантул с мужественной сдержанностью и простыми словами заливал нам, насколько от успеха этой акции зависят судьбы нашей цивилизации и даже самое существование оной. И здесь в который раз проявилось замечательное свойство мимики Тарантула: какую бы святую истинную правду ни говорил он — вплоть до цитирования таблицы умножения — видно было: врет. Может быть, потому, что когда-то зубы съел именно на дезинформации. Взять, скажем, сибирскую атомную бомбу: сделали ее в металле только в семьдесят втором, но уже с пятьдесят восьмого весь мир был убежден, что она существует. Прошла большая серия дез: будто бы Гринсгаузен передал Сибири документацию по ультрацентрифуге для разделения урановых изото-

пов (он так и сидел бы до сих пор, если бы не умер от лейкоза), и будто бы где-то в пустыне Намиб наши егеря захватили трейлер с обогащенной урановой рудой (трейлер действительно пропал, но без нашей помощи — но очень кстати), и за немыслимые деньги везде, где только можно было, скупали плутоний, и даже загрузили в глубокую шахту и подорвали полторы тысячи тонн аммонита — и Тарантул потом, очень довольный собой, говорил, что атомная бомба, существующая только в головах противников, сдерживает их не хуже настоящей, а обходится раз в сто дешевле... поэтому, слушая его, я все старался понять, в чем же заключается истинный смысл операции — но так, конечно, и не понял.

Не понял до сих пор.

— Ах, это невозможно,— сказала Р-147,— я не понимаю, быть таким бесчувственным... я не понимаю.

Она села, замерла на минуту — будто внезапно и глубоко задумалась,— потом быстро шагнула ко мне и забралась под плед. Это невозможно, шептала она, это невозможно, это... Да, подумал я, невозможно, а если невозможно избежать насилия, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие...

7.06.1991. 9 часов. Москва, Казанский вокзал.

■

Оказалось, что мы можем ехать одной машиной. Ей на улицу Гете, семнадцать — домой (адрес, телефон — все записал, да, позвоню, конечно), мне — на улицу Гете, двадцать шесть — в консульство. Носильщик уложил наши чемоданы в багажник такси, видавшего виды «блауфогеля», я расплатился с ним, сел рядом с Кристой, таксфарер переспросил адрес, тронулся — поехали.

— Через центр поедем или по кольцу?

— Как вам удобнее.

— Тогда по кольцу, в центре сейчас можно надолго застрять. И полиции там — в жизни такого не видел. С послезавтра, говорят, вообще внутри кольца только с пропусками можно будет ездить — во жизнь начнется веселая!

— Ну, это ненадолго,— сказал я,— дней десять, не больше.

— А сколько бензина лишнего сожжешь за это время, а?

— Да, это верно...

По кольцу свернули не налево, как я ждал, а направо, к Самотеке.

— На Таганской асфальт кладут,— сказал фарер,— ночью, видно, не успели, я только что оттуда, с Павелецкого...

— Нет разницы,— сказал я.

— Есть небольшая,— возразил фарер,— с километр разница есть, но так надежнее... вы сами-то откуда?

— Из Томска,— сказал я.

— Я слышу, выговор, вроде, не наш,— сказал он.— И как там, в Томске, дела?

— По-моему, замечательно,— сказал я.

— А что у нас-то творится, слышали?

— Да уж...

— И что вы про это все думаете?

— Наверное, правильно все, в общем-то...

— Немцы уж очень обижаются,— сказал он,— а я так думаю, мы же не звали их сюда, так? А с другой стороны... Во,— мотнул он головой,— аж со всего света слетелись...

На обочине, двумя колесами на тротуаре, стоял, накренившись, панцерваген «Мефисто». Башня была зачехлена. Вокруг машины слонялись глянцево-черные зулусы в белой тропической форме. Офицер — белый — скучал на водительском месте, а водитель копался в моторе.

— Так вот,— сказал наш таксфарер,— русских — туда, черненьких — сюда, так и живем...

На въезде в туннель под Тверской стояли пулеметные гнезда из мешков с песком, там дежурили парни в болотного цвета комбинезонах и каскетках — кажется, финны. У туннеля под проспектом Геринга пулеметные гнезда еще только ставили. На плоской крыше Культурного центра маячили часовые. Все это, конечно, играло роль забора, не более: настоящие сторожа прятались в тени.

— Позвони обязательно,— сказала Криста.

— Непременно.

— Где ты обычно останавливаешься?

— Как правило, в «Гамбурге», попробую и на этот раз там же. Место тихое, и до фирмы десять минут прогулки.

— И до меня столько же на подземке.

— Именно.

Въезд на мост охранялся крепко: по два панцервагена с каждой стороны, на самом мосту рейхсгренадеры, под мостом на бочке десантный катер. Пожалуй, про тридцать тысяч фон Вайль соврал. Как бы не все сто. Это уже не охранные мероприятия, это уже осадное положение. И — кстати — в Каире тоже ведь было осадное положение: пропускной режим, комендантский час, прочие прелести — и что? Генерал-губернатора с женой и детьми расстреляли в упор и скрылись без следа. «Пятое марта»... До Каира генерал-губернатор был комендантом Тифлиса.

Поворот на Гете был закрыт, регулировщик, красный, как из бани, крутил жезлом: проезжайте, проезжайте, проезжайте! Чуть дальше по движению висела схема объезда. Тащились мы теперь еле-еле, пришлось поднять стекла: сплошной бензиновый перегар.

— Так теперь вот и ездим,— сказал таксфарер.— Ну, ладно...

За памятником Гете на высоких, метров по сорок, флагштоках развевались флаги четырех держав: красно-белый с черным тевтонским крестом в дубовом венке, белый с красным кругом, звездно-полосатый и бело-зеленый. На фасаде Фройндшафтхаузена висели портреты фон Вайля, Катакири и Джона Кеннеди. Портрет Толстого готовились поднимать краном. Толстой взирал на все происходящее недоуменно. Наконец мы доехали до нужного поворота, проехали по узкому коленчатому переулку, свернули в другой — и оказались на Гете, как раз напротив консульства. Человек десять полицейских с собаками и при автоматах стояли у забора, а на территории чернели береты наших морских пехотинцев. Нечего было и думать останавливаться здесь. Даже у дома семнадцать, выходя из машины, я чувствовал на себе нехорошие целящиеся взгляды. Таксфарер хотел нести наши чемоданы, но я отпустил его. Квартира Кристы была на втором этаже. Муж ее постоянно жил в Мюнхене, это я уже знал. Квартиру они снимают вдвоем с подругой, но днем подруга на службе... чашечку кофе? Божественный аравийский кофе, такого больше нигде нет. Боюсь, не сейчас — моего здешнего шефа нужно ловить до обеда. Вечером позвоню. Поцелуй — долгий, чересчур долгий... так я точно никуда не успею. До вечера. Приходи. Обязательно. Все.

7.06.1991. 18 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

— Не знаю, не знаю,— пробурчал Командор.— Я все-таки подбросил бы ей «клопа».

Я молча пожал плечами. Подбрасывать «клопа» имело смысл только тем, кто его заведомо не станет искать. Если же Криста наведена на меня, то «клопа» моего она найдет в пять минут — и тут же начнет давать нам дезу. Конечно, если мы хотим с самого начала запутаться в собственных яйцах...

— Вон место свободное,— вместо всего этого сказал я.

За красно-синим чудовищным грузовиком возник, наконец, просвет, Командор свернул туда, но какой-то нахал на драной «Онеге», дав задний ход, постарался зарулить в этот просвет раньше нас, не рассчитал и глубоко проборозлил нам левое переднее крыло. Командор вышел, посвистывая, обошел нашу машину, обошел «Онегу», встал перед нахалом — маленький чернявый Командор перед мальчиком сто девяносто дробь дéвяносто, белокурой бестией российского разлива,— и гнусным голосом потребовал:

— Сто — и проваливай.

У мальчика отвалилась челюсть.

— Ты, люммель...— только и смог сказать он.

Командор лениво поднял ножку, описал ботинком круг перед курносым лицом белокурой бестии, потом так же лениво лягнул

«Онегу». Левая дверь вдавилась внутрь салона, стекло разлетелось, как осколки гранаты.

— Триста,— сказал Командор еще более гнусно.

Такой букет выражений одновременно на одном лице мне видеть не приходилось. От ярости до искренней детской обиды — даже слезы заблестели в светлых глазах. Он, белокурая бестия, просто по определению должен был задать перцу вот этому черненькому сморчку, а тут вдруг сморчок намекает, что все будет едва ли не наоборот, и даже портит игрушку... и деньги...

— Пятьсот,— не дождавшись адекватной реакции, продолжал крутить счетчик Командор.

Тут до бестии дошел, наконец, весь ужас положения. Он побелел и полез в карман за бумажником. Руки его дрожали.

— Тут четыреста двадцать,— сказал Командор, подсчитав сиреневые бумажки.— Восемьдесят, пожалуйста.

— Больше... все.

Ударом кулака Командор выбил еще одно боковое стекло.

— Проваливай. И чтоб я тебя никогда больше...

Тот газанул, отъехал метров на сорок, тормознул со скрежетом и проорал — не слишком разборчиво, правда — какое-то оскорбление. Командор махнул рукой — и в центре заднего стекла образовалась дыра с ладонь. «Онега» опять рванула вперед и больше не останавливалась.

— И зачем этот цирк? — спросил я.

— Надо же поддерживать реноме,— усмехнулся Командор.

— Но шариком — это ты все равно зря.

— Шариком — зря,— согласился Командор.

Полудюймовым шариком от подшипника — их Командор носил в специальном патронташике на правом запястье — он убивал на лету ворон. Как всяким секретным оружием, этим следовало бы пользоваться в самых крайних случаях.

Командор подхватил пляжную сумку, запер машину, и мы двинулись к пляжу. Я не ожидал, что здесь будет такая толпа. Тысячи одетых легко, одетых символически и неодетых вовсе людей лизали мороженое, пили соки, вина и пиво, пиво, пиво — пиво в самых разных тарах, от баночек до канистр, пиво всех цветов и оттенков. Команда А пила светлое пиво — стаканами — из двадцатилитрового термоса-бочонка. Стаканы запотевали. Подкопченные спины и задницы лоснились. Мы прошли мимо них, бросили сумку на свободный пятачок песка, разделись догола и полезли в воду. Вода была парная.

— Как в июле,— сказал Командор, и мы поплыли.

В прошлом году в Гвоздево мы с Командором, дуря, уплыли километров за десять от берега — два с половиной часа умеренного темпа,— и нас вылавливал пограничный катер. Мы ныряли и не

давались. Доктор Морита говорил потом, что этот заплыв и стал последней каплей, переполнившей чашу терпения моего миокарда. Может быть, может быть. Сегодня мы поплавали совсем немного, и Командор поволок меня на берег.

— Где «бэшники»? — спросил я в воде.

— Снимают груз.

— Сегодня?

— Рейс задержали на сутки, что-то со шлюзами.

— А то можно было бы уже начать.

— Лишние сутки проживем,— Командор хихикнул.

— И то верно...

Груз: приборы, оружие, взрывчатка — находился в секретном отсеке круизного лайнера «Дон» («Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам...»); о существовании отсека не подозревал даже капитан; попасть в него можно было только снаружи, имея специальный ключ. Значит, контейнер снимут сегодня... контейнер самоходный, но скорость его невелика. Значит, что-то серьезное можно начать делать только завтра днем. Ладно.

Стряхивая воду на самых красивых девушек, попадавшихся нам на нашем пути, мы прошли к команде А и непринужденно расположились среди них. Преимущество встреч на пляже: невероятно трудно выследить тебя. Все голые, все плюс-минус одинаковые. Недостаток: не менее трудно засечь слежку. Но с этим пока придется мириться... Команду А набирал Командор, но всех этих ребят я знал, и неплохо: Крупицын Дима и Крупицын Сережа — не братья, просто из одного детдома, там им дали фамилию воспитателя; Яша Штоль; Гера Москвич; Сережа Панин; Сережа Кучеренко — черт побери, одни Сережи, других имен нет, что ли? И девочки, наша лейб-гвардия: Валечка Иванчук, маленькая, курносая, завяжи ей бантик — сойдет за семиклассницу; и Саша Полякова, роскошная блондинка с фигурой Венеры, вся бронзового цвета, окружающие парни так и пялятся. Наши знают, что пялиться бесполезно, Сашенька холодна, как лед, была у нее в детстве психотравма. Мы с Командором проглотили по стакану пива и растянулись на полотенцах. Гера крутил настройку приемника. На самом деле это был не приемник, а детектор микрофонов. Направленным издали нас тут не взять: пляж плоский, шумный. Не обнаружив ничего, Гера поставил звуковую защиту — так, на всякий случай.

— Ну, вот, ребята,— сказал Командор,— Пан прибыл, теперь дело пойдет.

— Да уж,— сказал Панин, щурясь на меня. После акции в «Самсоне» ему не за что меня любить.— Теперь пойдет...

— Все откладывается на сутки,— сказал я.— К сожалению. Но заготовками давайте займемся сейчас. Девочки, вы пойдете погуляете по окрестностям и снимете двух, а в идеале трех грузин.

Лучше молодых. Обязательно грузин — не промахнитесь. И постарайтесь, чтобы это была полная компания, чтобы никто за бортом не остался.

— А если пятеро? — наклонила голову Валечка.

— Переварим,— сказал я.— И ведите к себе. Ну, а Крупицыны обеспечат остальное.

— Живыми — всех? — уточнил Дима.

— Всех,— отрезал я.

— А зачем Крупицыны? — лениво сказала Саша.— Мы и сами...

— Конечно,— сказал я.— Затрахаете их до полной неподвижности.

— Например,— согласилась она.

— Нет, с Крупицыными надежнее,— сказал я.— Это как «лонжа».

Сашенька откинула со лба волосы и стрельнула в меня глазами — так, в четверть силы.

— Ладно,— протянула она.

Отвести от Саши взгляд было почти невозможно. Я и не пытался. Сашенька была яркая, привлекательная, манкая, но к телу своему относилась только как к инструменту, не получая от процесса ни малейшего удовольствия... но все время хотелось об этом забыть и попытаться совершить чудо.

Девочки подхватили свои халатики и туфельки и пошли к нашей с Командором стоянке. Им смотрели вслед.

— Слушай, Пан,— сказал Командор,— я все забываю спросить: а почему «Пятое марта»?

— Не помнишь, что было пятого марта?

— Не помню. А что было?

— Пятого марта сорок четвертого года немецкие войска вошли в Тифлис. Это конец независимости Грузии.

— Вот оно как... Долго держались: больше трех лет.

— Долго,— согласился я.

7.06.1991. Около 20 часов. Перекресток Большой и Малой Бронных. Кафе «Гензель и Гретель».

■

Я тихонько объяснял Гансу, что надо сделать, а он слушал и соглашался: конечно, какие могут быть проблемы? Да, да, разумеется... Мы сидели в крошечном кабинетике, передо мной стояла чашечка кофе и блюдо с пирожными, и я никак не мог понять, почему меня от взгляда на них тошнит — пока не вспомнил, что не ел с утра. С поезда. Ганс задумчиво поскреб свои подбородки, покачал головой: горячее бывает только до пяти... но можно посмотреть, не осталось ли чего из закусок. Я был готов на все. Ганс принес поднос, сплошь

заставленный маленькими пластиковыми тарелочками. Одного только языка — пять порций. Хлеб рижский, похвастался Ганс. Очаровательно... Пойду к клиентам, сказал Ганс, если что надо... Спасибо, Ганс. Думаю, этого хватит. Ганс не был нашим агентом в полном смысле этого слова. Просто он однажды провел две недели на борту пассажирского «Юнкерса», захваченного мальчиками из «Зари России». Мальчики требовали освобождения своих из тюрем, а также, в виде бесплатного приложения — восстановления России в границах 1914 года. «Юнкерс» мотался по аэропортам, пока не долетел до Бухары. Там мы его ждали — накануне эмир встречался с Толстым, и о чем-то таком они договорились. Мальчиков взяли без выстрела: просто впрыснули в систему вентиляции усыпляющий газ. Все это произвело на Ганса достаточно сильное впечатление, чтобы он сам предложил нам свои услуги. Теперь через него мы получали кой-какую необходимую информацию, а его кафе стало нашим почтовым ящиком и складом НЗ. Теперь, похоже, «Гензель и Гретель» послужит нам треффпунктом... хотя это уже следующая стадия операции... но, пожалуй, самая главная...

Я не заметил, как смел все. Включая пирожные. В брюхе возникла приятная тяжесть. Как это Ганс таскает свой дирижабль? Побегай-ка весь день... Закатное солнце отражалось в черно-зеркальных гранях небоскребов-близнецов: РТА и издательского комплекса «ИНФРА». На крышу «ИНФРА» садился вертолет. Четверть девятого. Ну, что? Все на сегодня? И кроме того — здесь пять минут ходьбы... и деньги с собой... Почему-то сохло во рту. Я спустился в бар, взял две банки пива и вернулся. Пять минут туда и час там. Командор скучает в машине. Ну, поскучает еще. Как там, интересно, наши девочки? Наверняка в каком-нибудь дорогущем ресторане — позволяют угощать себя. Да, и позвонить Кристе... с улицы позвоню. Идешь или нет? Ч-черт... Я продолжал сидеть и тупо дул пиво. Так. Случая больше может и не представиться, напомнил я себе. Последний тихий вечер. Появился Ганс, поманил: к телефону. Это была Валечка. Голосок у нее чуть подсел. Все замечательно, сказала она, как ты и говорил. Молодцы, сказал я, чего уж... успехов. Гад же ты, сказала она и повесила трубку. Я набрал номер Кристы. Занято. Посидел, о чем-то напряженно думая, и набрал еще раз. Опять занято. Ладно, Ганс, сказал я, пойду. Значит, завтра Сережа появится — часа в два. Да, забыл спросить: как с финансами? Нормально? А то мог бы подбросить...

Командор не скучал. В руках у него был вечерний выпуск «Садового кольца» на немецком, и читал он так внимательно, что не обратил на меня ни малейшего внимания. Я пристегнулся, пристегнул его, завел мотор. Командор продолжал читать. Пришлось вынуть из его рук газету.

— Куда едем? — голосом таксфарера осведомился Командор.

— К Пречистенским воротам.

И — хрен. Под сложносочиненным светофором при выезде на Никитские мы застряли. По бульвару валило какое-то шествие. Толстозадый фургон, стоящий перед нами, перекрывал почти весь обзор, а мою попытку выйти из машины пресек патруль. Что забавно — в колонне было немало негров, и флаги над головами развевались какие-то экзотические. Что-то кричали, пели — не разобрать.

— Что интересного в газете? — спросил я.

— Вот это самое,— Командор ткнул пальцем вперед.— Почитай, почитай...

Ага, вот оно, это самое: сто сорок женщин в Москве объявили голодовку, чтобы не допустить отправки в Африку русского территориального корпуса. На что фон Босков резонно замечал: если треть африканских концессий принадлежат русским промышленникам, если из белых фермеров каждый четвертый русский, то почему бы русским юношам не поучаствовать в защите их интересов? Почему опять, уже в который раз, вся тяжесть периферийных войн должна лечь на немецкий народ? Комментатор газеты, некий Козлов, окольными, полуразмытыми фразами пытался объяснить и фон Боскову, и читателям, что это все верно, но при нынешних непростых обстоятельствах не лучше ли пренебречь формальной справедливостью, чтобы не утратить нечто большее? Полполосы занимала стилизованная карта мира: полосатый Союз Наций, красный Рейх, желтая Япония, зеленая Сибирь. Белыми оставались Британия, Африка и европейская Россия. На них красовались жирные вопросительные знаки. Над картой было: «После Москвы...» — имелось в виду Совещание.

Н-да... посидеть бы и подумать над этой картой. Чертова война в Африке — как бритва у горла этого старого мира, такого, казалось, прочного и надежного... три равновеликие империи и Сибирь между ними, Сибирь, делающая бизнес, в том числе и на своем геополитическом положении — в центре мира... и вот теперь одно лишнее движение, и покатятся головы. Впрочем, наверное, война — только симптом, а на самом деле все сложнее, ведь, скажем, еще пять лет назад нынешняя ситуация — вся — была просто немыслима, а отправка территориального корпуса туда, куда требовали интересы всего Рейха, воспринималась бы как дело чести. Вспомнить Бирму, вспомнить Месопотамию... Нет, что-то происходит с людьми, и поэтому веселые послушные негры начинают резать белых, а британцам приходит в голову, что американцы их не столько защищают, сколько оккупируют, потому что страны, завоеванные когда-то Германией, живут лучше и свободнее, чем отстоявшая независимость Британия, а русских вдруг потянуло на воссоединение разделенной когда-то России, хотя вряд ли кто объяснит, какой в этом практический смысл, и уж подавно никто не скажет, как это можно

сделать без массового кровопролития. И еще я подумал, что в поведении больших масс людей — народов, наций — проступает что-то общее с поведением человека, лишенного чувства боли. Никогда не знавшего, что такое боль. И потому способного на самые замечательные эксперименты над своим телом... Додумать я не успел: Командор, как гонщик, на вираже обошел фургон и погнал по бульвару. Оглянувшись, я успел заметить за колонной демонстрантов шеренгу солдат в белой тропической форме.

— Дальше куда? — откинув голову и как бы принюхиваясь, спросил Командор.

— До станции подземки.

— И?..

— Спустишься вниз, сядешь в поезд, доедешь до Кузнецкого, там пересядешь — и до конечной. Дальше — автобус сто двадцать девятый.

— То есть ты меня выгоняешь?

— Проследишь, чтобы живцов взяли гладко. И второе: надо найти два «мерседеса», за ночь перекрасить под полицейские машины, оборудовать соответственно. И поставить...— я задумался.

— Можно оставить в том же боксе.

— Он что, такой большой?

— Семь на одиннадцать.

— Нормально. Хорошо, пусть там и стоят.

— Взять в прокате?

— Лучше просто угнать.

— Знаешь, у дорожной полиции есть еще «Хейнкели-Ф». Я тут приметил один — в спортклубе. Может, его?

— Тесноват, пожалуй.

— Зато скорость.

— Тебе видней. Бери.

— Угм..

Мы въехали в туннель под проспектом Геринга. Не только при пулеметных гнездах на въезде, но и в самом туннеле стояли часовые. В плоских мембранных противогазах, они походили на инопланетных завоевателей.

— На этой станции? — кивнул Командор на вход подземки.

— Зачем? — удивился я.— На Пречистенских — там без пересадки.

— Тьфу ты, черт,— сказал Командор и действительно плюнул в окно.— Топографический идиотизм: не могу запомнить схему подземки. Все помню, а это не могу.

— Ты еще в Мюнхене не был...

Все пространство, от Пречистенских ворот и до набережной, было полно людей. К нам они стояли спинами, и нельзя было прочесть, что написано на их транспарантах. Во всю ширину Пречис-

тенки тоже стояли люди и спокойно ждали, когда полиция перекроет движение и пропустит их. Мы на черепашьей скорости проползли мимо них. Справа, возле самого тротуара, окруженный молодыми, как-то очень одинаково подстриженными ребятами, стоял старик в черном костюме; на левом борте его пиджака сверкала медаль «Золотая Звезда». Командор свернул на Остоженку, втиснулся между стоявшими машинами и уступил мне место за рулем.

— Пойду послушаю, что говорят,— сказал он.

— Давай.

— Успехов.

— Будем надеяться.

— Пока.

Он сделал шагов пять и пропал из виду. Это особый талант: уметь затеряться мгновенно и даже не в толпе — просто среди прохожих на тротуаре. Ну, а здесь...Море голов замедленно, осторожно растекалось по площади, и белая тонкая часовня, поставленная здесь в память о порушенных святынях, поднималась из моря одиноким утесом. Я долго смотрел на все это — до ломоты в переносице. Потом вырулил на полосу и поехал прямо. Было светло, сухо, чисто, но почему-то хотелось включить то ли дворники, то ли фары...

7.06.1991. Около 22 часов. Улица Гете, д. 17, кв. 3.

■

Свечи воткнуты в бутылки — и свечи, и бутылки самых разных форм и размеров, и есть свечи, горящие цветным пламенем,— а на окнах красные шелковые шторы, а за окном — в упор — уличный фонарь, и потому на всем лежит багровый отсвет. Запах воска и духов. Еще чего-то, знакомого смутно и напоминающего мельком о борделях Владика. Легион бутылок в баре, все наливают себе сами и пьют, смакуя. Вот, познакомьтесь, это Игорь, инженер из Сибири. О! Сибирь! Как вы там живете, там же холодно? Так и живем. Я никак не мог сосчитать гостей: приходили в гостиную, выходили из гостиной, стояли на балконе, жались в коридоре, из библиотеки доносились несуразные звуки... человек двадцать пять — тридцать? Где-то так... Единственно, что я установил точно, это то, что компания смешанная: были здесь и немцы, и русские, и помесята, и белесый скандинав, и негритянка, и два араба, кажется, гомики. Кто-то, поминутно падая со стула, читал невразумительную поэму, в которой дух Гитлера спорил с Вельзевулом и доказывал, что в аду он горит совершенно напрасно, на что Вельзевул отвечал кратко: «Лекен мир арш!», а кто-то другой демонстрировал русскую тоску, меланхолически и бесконечно повторяя на балалайке одну и ту же фразу: «Светит месяц, светит ясный...» Сплошной декаданс — еще бы, раз хозяйка встречает гостей в одних черных чулках и шляпе с вуалью.

Арабеск. Курили травку — не скрываясь. Похоже, нюхали кокаин. Не все, но многие. Наверняка и кололись где-нибудь, благо темных углов хватало. Когда мне представляли кого- нибудь, обязательно называли профессию: актер, художник, преподаватель чего-то, студент чего-то, литератор, издатель, журналист... К журналисту я присмотрелся. Он старался казаться гораздо пьянее, чем был на самом деле. Не исключено, что он собирал материал для светской хроники... «полусветская хроника», забавно... Ко мне вдруг привязалась одинокая рыжая кошка, терлась об ноги и мяукала. Негритянка — на ней был длинный халат из тяжелого белого шелка без единой застежки — угостила меня черной марокканской сигареткой. Мы с ней покурили и поболтали о разном, а потом направились в ванную, чтобы углубить знакомство. Но в ванной подобное действо уже шло вовсю, мелькали белые ягодицы и смуглые груди, и ввинтиться туда не удалось. В библиотеке же было другое: там странно, жутковато шаманили. Двое, парень и девушка, очень похожие лицами и выражениями лиц, одетые в передники из грубой кожи и цепей, стоя спиной к спине, выбивали руками на передниках — звук получался сухой и четкий — монотонный изнурительный ритм и тянули неизвестные слова, на одной ноте и почти одним, совершенно нечеловеческим голосом, а ноги их как бы сами по себе и даже наперекор тому, что отбивали руки и пели голоса, стремительно мелькали в немыслимой сложности танца... не знаю, почему, но этот танец, и этот мерный ритм, и это нелюдское пение достали меня до самой середины — так, что мороз пошел по хребту. Что-то должно было произойти сейчас, сию секунду, что-то жуткое и упоительное одновременно... Пойдем отсюда, потащила меня за руку моя негритянка, пойдем, тут сейчас такое начнется... Я хочу увидеть, сказал я. Пойдем, не надо, не надо этого видеть, не надо на это смотреть, пойдем... Мы медленно выпятились из библиотеки — нас уже подперли сзади — миновали ванную, из которой толчками шел раскаленный воздух, и по бесконечно длинному коридору подошли к двустворчатой черной двери, я оглянулся: стены коридора были прозрачны, и за стенами видна была гостиная, и огромный журналист с огромным бокалом в руках смотрел на меня и явно хотел что-то сказать, но я погрозил ему пальцем, и мы вошли в дверь, за дверью стояла квадратная кровать, покрытая черным, на кровати мелькали задницы, я насчитал пять и сбился, а за кроватью стояла огромная, еще больше журналиста, голая Криста в черной шляпе с вуалью, держа руки перед собой, и к пальцам ее шли нити от кувыркающихся на кровати, и мы прошли в следующую дверь, белую, за дверью было пустое пространство, белый туман, и, раздвигая его, мы дошли до красной двери, за которой почему-то опять оказалась гостиная. Давай еще по одной, предложила моя негритянка. Давай, согласился я. Мы раскурили друг другу тонкие черные сигаретки и обменялись ими в

знак дружбы, журналист не сводил с нас тяжелого взгляда, казалось, что глаза у него не только свинцового цвета, но и сделаны из свинца, перед нами опять была дверь, черная, маленькая, пришлось согнуться пополам, чтобы войти, и за дверью на четвереньках качалась Криста, а сзади к ней пристроилось лохматое облако, похожее на медведя, а поперек нашего пути лежала, как белуга на блюде, порезанная ровными ломтями пышная блондинка, и пришлось обходить ее, путаясь в складках ч рного бархата, и мы вползли в белую дверь, крошечную, как крысиная нора, и там, в плывущем белом тумане, сбросили с себя все, что могли, и получили, наконец, свое. Я тонул, тонул, тонул, загонял себя в глубину, а меня выталкивало наверх, втягивало и снова выталкивало, и вдруг я почувствовал, что отрываюсь от всего и парю без опоры, без верха и низа, и тут что-то глухо лопнуло во мне, рвануло беззвучно, и больше я ничего не помню.

Очнулся я от короткой маятной дурноты, она иногда возникает при переходе сердца с большего режима на меньший. Во рту запеклась желчная горечь. Под черепом бегали мурашки. Я осмотрелся. Лежал я на ковре, белом и лохматом — под мех полярного медведя. Ковер заливал молочный свет от похожего на гриб светильника: светящаяся ножка и темная шляпка. Негритянка моя лежала на животе, подтянув одно колено к груди. Гибкая она была неимоверно. Дальше, позади нее, виднелась кровать, и с кровати свисала чья-то волосатая нога. Мурашки превратились в пузырьки шампанского, налитого под череп. Значит, я успел подышать нейтрализатором... это хорошо, не будет отходняка... но когда же я успел? Разберемся... Я собрал одежду с пола и стал одеваться, оглядываясь. Комната маленькая: кровать и телевизор с ББГ-приставкой, здесь же горкой валяется десятка три кассет. Судя по черным ярлычкам на коробках — все порнуха. Вид из окна — как раз на консульство, если нужно наблюдать, то лучше не придумаешь... хотя кому это надо: наблюдать за консульством? За посольством еще понятно... Цепочка полицейских стояла неподвижно. Фонари на территории не горели, в самом здании светились только окна, выходящие на лестницы. Баллончик с нейтрализатором лежал во внутреннем кармане. Когда же я все-таки успел подышать? Неважно. На кровати шевельнулись, приподнялась всклокоченная голова, упала. Тут же началась специфическая возня. Дверей было две: белая и красная. Я вышел через белую.

Наверное, я ожидал увидеть нечто невыразимое, потому что поразился простоте картины: на кровати по диагонали лежала Криста, рядом с кроватью, неловко подоткнув под живот руки — очень длинный парень. И все. Я потрогал Кристу за плечо. Она недовольно промычала и повернулась на другой бок. Родимого пятна на левой лопатке у нее не было. Не было и рубца, даже самого нежного,

который неизбежно остался бы после любой пластической операции. Тем более, когда убирают кусок кожи площадью в пол-ладони. Наверное, я этого подсознательно ждал. И, наверное, уже с утра. Хорошо. Такая ошибка лучше, чем, так сказать, в обратную сторону. Хорошо...

В гостиной дым стоял коромыслом. Шумели так, что нельзя было разобрать слов, кто-то визжал, все бурно жестикулировали. Внезапно замолкли, замерли и стали пятиться, и вдруг получилось, что образовался живой коридор, в одном конце которого стоял я, а в другом появилась та девушка, что шаманила в библиотеке. Парня я тоже увидел: он стоял у стены в такой позе, будто его пригвоздили к этой стене за нижнюю челюсть. Девушка шла ко мне вслепую: глаза ее были заведены, меж век виднелись только белки. Видимо, ей рассекли голову, волосы на лбу слиплись от крови, кровь стекала на лицо, капала с подбородка; выставленные вперед ладони тоже были в крови. В шаге от меня она остановилась, постояла неподвижно, потом опустилась на колени и, закрыв ладонями лицо, поклонилась мне. Когда она выпрямилась и отняла руки от лица, на ладонях у нее оказался черный туранский нож. Возьми, возьми, испуганно зашептали вокруг. На меня никто не смотрел, все смотрели вниз, на нее, ловя каждое движение, каждый оттенок движения. Нож оказался неожиданно тяжелым, я его чуть не выронил. Девушка легко встала с колен, не встала даже, а всплыла, и неуловимым движением сбросила цепи с плечей. Нагрудник передника со звоном рухнул вниз и закачался. Она приложила окровавленный палец к ямке между ключицами. Режь, режь, зашептали все. Я осторожно поднял руку и кончиком ножа коснулся ее кожи там, куда указывал палец. Ощущение было такое, будто я дотронулся до стекла. С безумной улыбкой она стала наклоняться вперед, я захотел отдернуть руку, но не смог: судорога свела мышцы. Девушка уже просто лежала на ноже; наконец, чтобы сохранить равновесие, мне пришлось шагнуть вперед и, кончиком ножа надавливая на ее горло, вернуть ее в вертикальное положение. Тогда, с той же безумной улыбкой, она повела пальцем вниз, и моя рука, подчиняясь не мне, стала спускаться, скребя сталью ножа по остекленевшей коже. Грудь упруго прогибалась, но ни малейшего следа после лезвия не было. Палец миновал точку верхушки сердца, и тут вдруг улыбка ее стала не такой — я еще не понял, какой именно — палец быстрее заскользил вниз, к подреберью, нож следовал за ним — и звук железа по стеклу вдруг исчез, а кончик ножа стал погружаться в тело! Нечеловеческим усилием я разжал пальцы — нож, звеня, запрыгал по полу. Всеобщий «А-ах» — девушка сомкнула веки, что-то сделала с собой, лицо ее стало настоящим, дрогнули губы, и когда она открыла глаза, то в глазах этих был испуг и неистовая жалость. Бедный ты мой, прошептала она и вдруг повалилась вперед, я еле успел ее подхватить — и тут

поймал взгляд парня. Он так и стоял, вдавившись в стену — только теперь спиной. У него был взгляд человека, узревшего конец света.

8.06.1991. 02 часа 55 минут. Дмитровское шоссе, 400 метров до переезда через линию С.-Петербургской железной дороги.

■

— Не придет,— сказал наконец журналист. Его звали Валерий, и мы были уже на ты.— Все. Не придет.

Он поскреб пальцами скулы, потер глаза — с такой яростью, будто разрывал веки. Он страшно хотел спать.

— Паршиво,— сказал он через минуту.— Мы платим. Да, мы платим. Хорошо платим. Иногда — очень хорошо. За информацию. И люди, в общем-то, знают, на что идут. И все равно — так паршиво...

— Мало ли что могло случиться,— сказал я.— Упал, ногу сломал...

— Знаешь,— сказал он,— когда такое было в первый раз, я тоже надеялся. Но когда в пятый...

— Кто-то знал еще?

— Нет.

— Тогда?..

— Следили. Пасли. Вряд ли гепо. Хотя... Впрочем, не знаю. Только это уже пятый случай.

— Валера,— сказал я,— тогда, может быть, ты мне расскажешь все так — без доказательств?

— Смысл?

— Н-ну... скажем так: есть смысл. Есть.

— Это просто бесполезно — без документов. Без доказательств.

— Но ты же знаешь, что доказательства есть.

— Были. Не есть, а были.

— Есть. Не эти, так другие. И если этим займутся профессионалы...

— У меня тоже есть контакты в гепо. Но так, без хотя бы косвенных доказательств...— он махнул рукой.

— Немцы всегда любили порядок в делах.

— Ладно. Значит, так: внезапно и без видимых причин резко увеличились японские инвестиции в Индии. Причем в отрасли, не приносящие сейчас существенного дохода. И без особых перспектив на обозримое будущее. Не буду расписывать подробно, это, в конце концов, не так уж важно. Японцы вкладывают большие деньги — десятки миллиардов золотых марок — причем через подставных лиц — туда, откуда при таком раскладе ждать прибыли им не приходится, за исключением единственного: что контроль над Индией переходит к Японии. Полный и безраздельный контроль. Такая вот

уверенность откуда? Мы стали думать. Получается вот что: допустим, Россия выходит из Рейха, причем хлопая дверью. Теперь все туранские эмираты и султаны от рейха отрезаны, ну, да Господь с ними, главное — отрезаны Туранская и Тянь-Шанская группы людей. Снабжать их через Иран трудно, практически невозможно. И все: Индию можно брать голыми руками, потому что защищать ее нечем. Разве что флотом... И вот вам японцы упираются носом в нефтяные поля Ирана... Чуешь? Это страшнее, чем валерьянка для кошки. Значит, так вот мы рассудили. Стали оглядываться по сторонам. И нашли. Есть такое предприятие «Эйфер», смешанный сибирско-российско-египетский капитал, в прошлом году проявляло интерес к якутским алмазам, не выгорело, но это неважно... так вот, оказалось, что они регулярно переводят очень приличные суммы, до миллиона марок в месяц, на счета «Патриотического фронта», «Единства» и «Муромца». И они же служат одним из каналов перекачки японских денег в Индию...

Я присвистнул. В общих чертах что-то такое намечалось, «собиралось стать известным», как говаривал Тарантул, но...

— Это интересно,— сказал я.— Предприятие «Эйфер». Запомню.

Мне вдруг стало скучно. Выключатель — щелк... и все вокруг заливает желтая скука... бывает... и в последние месяцы — все чаще.

— А все-таки — зачем ты меня сюда потащил? — спросил я.

Скуке нельзя позволять распоряжаться собой, ее надо бить тем, что подворачивается под руку...

— Мне нужен был свидетель. Кроме того, меня не оставляет чувство, что ты вовсе не инженер.

— Интересно.

— Нет, я просто увидел, как ты подышал из баллончика.

— У меня тяжелый отходняк. Впрочем, где-то ты прав. Я инженер, но из подразделения «Таймыр».

— О! А я думал, вас давно распустили.

— Ну, зачем же нас распускать, мы еще много пользы принесем.

— Скорее, не пользы, а добра.

Мы засмеялись. Подразделение «Таймыр», созданное еще в начале пятидесятых, занималось контрабандным ввозом изделий, технологий и прочих секретов. Сейчас это синекура для дожидающихся пенсии чинов из разведки и МИДа.

— Кроме того, ты сибиряк,— продолжал Валерий,— а значит, патриотам заведомо не сочувствуешь.

— То есть?

— Ну, вряд ли много сибиряков хотят, чтобы их страна снова стала российской колонией.

— М-м... да, пожалуй, таких я не встречал. Но, как ты знаешь, азиатская партия у нас сильна.

— Это другое.

— Другое... Ты давно знаешь Кристу?

— Лет десять, наверное. А что?

— Да мне может понадобиться человек, владеющий арабским. Я хотел поговорить с ней самой, но — видел сам.

— Что я тебе скажу? Язык она, конечно, знает превосходно, но слишком много пьет и слабовата на передок. Если это тебя не смущает...

— Смущает. Это и смущает. А других, кто владел бы арабским, ты не знаешь?

— Пожалуй, нет. Но Криста должна знать. Поговори с ней.

— Поговорю... Ну, что? Четверть четвертого. Поедем?

— Да. Да, надо ехать.

— Куда тебе?

— На Трубную.

— Там живешь?

— Нет, там редакция. Надо еще поработать.

Я завел мотор, прогрел его, потом оглянулся — чисто автоматически — прежде чем выехать на полосу. Если бы я промедлил еще одну секунду, на этом все бы и кончилось.

— Прыгай!!! — заорал я, выбрасываясь на дорогу.

«Элефант» — тягач — разгоняется до ста сорока: думаю, с такой скоростью он и шел. Наш «зоннабенд» смяло, как пустую жестянку, и я уж не знаю, чем меня оглушило — грохотом или воздушной волной, или это была просто психогенная реакция,— только я очнулся уже тогда, когда «элефант» развернулся и надвигался, ревя; я столбом стоял на осевой и тупо смотрел, как он быстро увеличивается в размерах, и на душе у меня было легко и спокойно, как бывало разве что в том семеновском подвальчике. До тягача было рукой подать, когда я обманно подал корпус вправо, а сам прыгнул влево. Голый автоматизм, этому нас учили. «Элефант» проскочил мимо и больше не возвращался — растаял во мраке, растворился, как призрак.

— Валера!

Он вылез из кювета — еще один призрак. Я его еле видел. В глазах плыли лиловые круги — и от напряжения, и от слепящих фар «элефанта». И тут, понимаете, загорелся наш «зоннабенд» — сразу весь.

— А реакция у тебя хорошая,— сказал я. Он промычал что-то в ответ.

Даже в том красно-дымном свете, что исходил от нашего бедного «зоннабенда», видно было, что Валера бледнее смерти. Потом он сел прямо на асфальт.

— Ты что, ударился?

— Башкой... вот тут...

На темени у него вздулась шишка никак не меньше кедровой.

— Ничего, нормально,— выдохнул, наконец, он, когда я закончил осмотр.— Нормально, обойдется. Бывало хуже...

— Значит, они не убили твоего агента,— сказал я.

— Значит, так. Только ему вряд ли от этого лучше.

— Кто он? Как зовут и как выглядит? Говори скорее, вон уже полиция едет.

— Анжелика Папст. Тридцать лет, невысокая, полная, очки с толстыми стеклами, очень маленький нос. Специалист по налогообложению — в этой самой «Эйфер»...

— Понятно,— сказал я.

Сразу четыре машины — по две с каждой стороны — подлетели к нам с визгом, ребята в черной коже выскочили и с огнетушителями наперевес... Там никого нет! — крикнул я по-немецки. Все живые! Только сейчас у меня началась реакция, задрожали колени, зашумело в голове... все вокруг я видел чрезмерно четко и контрастно, но воспринимал полуосмысленно, и вопросы, которые мне задавал полицейский лейтенант, понимал не с первого раза. Да, стояли, вот тут, на обочине: на ходу открылся багажник, и остановились, чтобы закрыть, и только собрались ехать, как увидели... нет, еще не тронулись, нет... вот здесь. Битые стекла и брызги масла. Потом тягач развернулся — вон там — и пытался наехать на меня, но я успел отскочить... нет, не ошибаюсь, он ехал прямо на меня, не снижая скорости... не знаю. Не заметил. Тоже не знаю. Много странного. Нет, у меня ни малейших подозрений...

8.06.1991. Около 9 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

Живцов положили в коттедже, где жили Панин и Кучеренко. Вся операция прошла гладко, если не считать огрехом то, что самолюбивая Сашенька обошлась-таки без «лонжи», и Крупицыным осталось лишь перетащить ничего не понимающих грузин в другой коттедж. Тут они и лежали рядышком на сдвинутых кроватях и спали — усатые младенцы. Саша уколола их аббрутином — сильнейшим психотомиметиком; в малых дозах он разгружает подкорку, и его раньше использовали для ускорения адаптации; в больших — парализует волю, начисто отключая лобные доли. Часто этот эффект остается необратимым...

— Просыпайтесь,— сказал я негромко.

Они одновременно открыли глаза. Аббрутин мы между собой называем «буратин». Сделай из него Буратино. Делаю, начальник.

— Садитесь.

Они сели. Они улыбнулись мне. Искренние улыбки детей, еще не знающих, что мир не слишком добр. Я подал одному из них блокнот, ручку, сказал:

— Пиши по-русски: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет...» — я продиктовал две строфы. Передай

блокнот соседу. Улыбка — он сделал мне приятное. У соседа тоже улыбка — он готов сделать мне приятное. «Буря мглою небо кроет...» Передай... Улыбки... «Буря мглою...» Дай ручку и блокнот мне. Шквал улыбок. Так...— делая поправку на «буратин» — ... вот этот.

— Вот этот,— сказал я Панину.

— Как тебя зовут?

— Меня зовут Тенгиз,— очень легкий акцент.

— А фамилия?

— Моя фамилия — Гурамишвили.

— Хорошо, Тенгиз. Меня зовут Сергей. Я твой лучший друг. Лучший друг. Ты должен делать все, что я тебе скажу. Запомни меня. А теперь отдыхай.

— Отдыхайте все,— сказал я.

Они улеглись и закрыли глаза.

Мы вышли на застекленную веранду. Дверь в комнату Крупицыных была приоткрыта. В душе обильно лилась вода.

— Очень внушаем, мягок, послушен,— сказал я.— Неплохая мышечная реакция. Прекрасная память, легко обучаем. Наверное, круглый отличник. Чем они там занимались?

— Не знаю,— отозвался Панин.— А зачем это?

Я пожал плечами.

— Так, может, обойдется без проволоки? — предложил Панин.— Раз такая хорошая внушаемость...

— Не стоит рисковать,— сказал я.

Наверное, Панин хотел возразить. По крайней мере, воздуху набрал. Возразить было что: введение проволоки вручную было никак не меньшим риском, а следовательно — переводом материала. Внушение же под аббрутином давало результаты немногим худшие, чем с проволокой. Однако в нынешнем нашем положении лучше было истребить без пользы десять живцов, чем промахнуться в решающий момент. А кроме того, Панин, наверное, вспомнил «Самсон» — вспомнил и решил не связываться с таким говном, как я. Я бы на его месте поступил так же.

Вода в душе перестала литься, дверь открылась, и предстали Дима Крупицын и Валечка, мокрые и очень веселые. Помахали нам ручками и побежали вытираться.

— А где Серега? — спросил я Панина.

— С Командором.

— Что — не появлялись еще?

— Нет, и не звонили. Впрочем, мы и не договаривались... Ха! Вон они идут.

От реки шли, почти бежали, перебрасываясь на ходу мячом — нет, не мячом, каким-то тючком,— Командор и Серега Крупицын. Сзади шел Гера.

— Долго жить будешь,— сказал я Сереге, когда он вошел.

— Вспоминали уже?

— Вспоминали. Ну, что? Все в порядке?

— Да, осталось только маячки и сирены пришабашить.

— Ну, это в багаже.

— Знаю.

— Слушай, Сережа. «Зоннабенд» ты брал?

— Я. А что?

— Я его гробанул вчистую. Уже на свалку увезли.

— Ну, Пан! — Серега с восхищением посмотрел на меня.— Ты и силен! Не напасешься на тебя...

— Держи,— я подал ему заключение дорожной полиции об аварии не по вине водителя.— Пусть оформят списание и дадут подмену.

— Ладно,— сказал Серега,— я хоть переоденусь...

В дверях он притиснул выходящую Валечку. Валечка хихикнула и тут же повисла на мне.

— Ну, Пан, как тебе наши красавцы? — спросила она, жмурясь.— Неужели за таких мальчиков тебе жалко поцелуя, Пан?

— Мне для тебя ничего не жалко... никогда... и ничего.... о-о-о...— я изобразил последний вздох. Валечка отхлынула, глаза у нее были пьяные.— Все, спать,— погнал я ее.— До обеда — даже не просыпаясь. Нужна будет твоя снайперская точность. Поняла?

— Будем вставлять им проволоку?

— Да, и потому...

— Поняла, поняла. Я уже паинька. Так можно? — она потупилась, сложила ручки на животике и ножкой заковыряла пол.

— Так можно. Беги.

Из коттеджа напротив вышел Командор, осмотрелся — будто бы любовался пейзажем. Увидел Валечку, пошел ей навстречу. О чем-то спросил, кивнул, так же неторопливо продолжил путь.

— Какой будет объект? — деловито спросил Панин.

— Скажу — нэ повэриш, дарагой,— я достал из кармана пачку открыток с видами Москвы, нашел нужную, протянул ему.

— Ни хрена себе...— протянул Панин.— По крупной играем...

— По крупной,— согласился я.

Вошел Командор. Свежий, как майская роза. Не представляю, как нужно укатать Командора, чтобы чуть-чуть помять ему морду. Даже небритый, он выглядит элегантно, как мушкетер на балу.

— Телевизор не смотрели? — с порога спросил он.— Зря. Интереснейшие вещи творятся. Побоище в редакции «Садового кольца». Шесть человек убито. Потом — перестрелка с патрулем, ранено два солдата. А?

— Имена убитых не говорили?

— Нет, а что?

— Надо как-нибудь узнать. Валерий Каноныхин, обозреватель.

— Прямо сейчас?

— Как получится. Когда это было?

— В шесть тридцать. Обещали подробности в дневном выпуске.

— Поздновато... Гривенник у тебя есть?

— У меня есть,— сказал Панин.

Я набрал номер Кристы. После дюжины звонков она сняла трубку.

— Да?

— Доброе утро, Криста. Это я, Игорь.

— Ты? Разве ты еще не здесь? Вот здорово, а кто же тогда спит с Анни?

— Понятия не имею.

— Подожди, сейчас посмотрю...

— Ради всего святого, Криста! Пусть они спят. Посмотри лучше, нет ли где под столами Валерия, из газеты.

— Нет, он ушел ночью, это точно.

— А как мне его найти?

— Позвони в редакцию, он оттуда почти не вылазит.

— Я, наверное, неправильно записал телефон...

— Да? Знаешь что, мне лень искать телефонную книжку, а в памяти аппарата его номер есть — давай, я ему позвоню и скажу, что нужно. Что именно?

— Мы должны были встретиться сегодня — пусть уточнит время и место.

— Понятно. Перезвони мне минут через десять.

— Спасибо, Криста.

— Да что ты, не за что. Зря ты так рано сбежал...

Я дал отбой и по бесплатному номеру позвонил в полицейский участок. Представился, назвал обстоятельства.

— Да, да,— сказал приятный женский голос,— к сожалению, результатов пока нет, по этому же делу работает бригада крипо, следователь хотел бы побеседовать с вами, позвоните ему, пожалуйста, номер...

Так. Ответ, можно сказать, есть. Теперь крипо...

Трубку взяли с полузвонка.

— Следователь Зайферт слушает,— голос звонкий, четкий.

— Инженер Валинецкий. Как я понимаю, по делу...

— Да. Не нужно по телефону. Давайте встретимся и поговорим.

— Давайте. Где?

— Тот полицейский участок, где вы были ночью, подойдет?

— Вполне.

— Тогда там, скажем, в одиннадцать часов.

— Хорошо.

Я повесил трубку, посмотрел на часы. Через пять минут позвонить Кристе...

— Так что произошло, Пан? — спросил Командор.

Я начал рассказывать.

8.06.1991. 14 часов. 30 минут. Лубянская площадь.

■

Командор мягко свернул на Большую Лубянку, замедлил ход, прижимаясь к тротуару; я, фиксируя в центре видоискателя черный прямоугольник ворот, дал наплыв объективом — ворота бросились мне навстречу, желая принять в себя... нет уж, спасибо, постараемся обойтись. Опустил камеру.

— Еще разок? — спросил, глядя вперед, Командор.— Бог троицу любит.

Мы катились, как в ущелье.

— Нет, хватит,— сказал я.— Тормози.— Он остановился. — Дуй домой, настраивай аппаратуру, готовься. Я потолкаюсь тут.

— Хорошо,— сказал Командор. Он был чем-то недоволен.

Я постоял, глядя вслед машине. «Опель-зоннабенд», цвет вайсснахт, номер 104299м... Мимо прошло машин пятнадцать — все незнакомые. Так что, похоже, слежка нам померещилась. Впрочем, в этом никогда нельзя быть уверенным до конца: наука умеет много гитик. Ладно, забудем пока об этом... Я вернулся к площади, прошел сквозь строй лотков с игрушками, сластями и воздушными шариками — вопили дети, вопили родители — и спустился в длинный, как трубопровод, подземный переход; дошел, не оглядываясь, до эскалатора и спустился на второй уровень, где расположился юберляден «Охотный ряд». Здесь было очень светло и стояло множество зеркал. Я побродил между прилавков, отшутился от чересчур назойливой продавщицы шляп, покопался в обуви и уже почти на самом выходе неожиданно для себя прибарахлился: купил куртку. Куртка была из какой-то мягкой синтетики: «сайденледер», «шелковая кожа», как значилось на ярлыке,— темно-серая, на молнии, со множеством карманов и широкого покроя — под курткой можно спрятать не то что автомат, а целый егерский «горб». Чуть дальше «зеленого» выхода из юберлядена был лифт, которым редко пользовались: он вел, минуя поверхность, на пятый этаж «туры» — делового здания, похожего на шахматную ладью. В лифте я ехал один. С пятого этажа на третий спустился по лестнице. Здесь, на третьем, снимало помещение частное сыскное бюро «Феликс». С «Феликсом» на почве промышленного шпионажа завязалось когда-то подразделение «Таймыр»; под эту марку и мы покупали у него кой-какую информацию. Мне повезло: сам Феликс был на месте, а его помощник Давыдов и баба Катя, секретарша, отсутствовали.

— Привет,— сказал Феликс, усаживая меня в гостевое кресло и косясь, не виден ли мне экран раухера; экран виден не был. — Что нового? Рассказывай. Объединением пахнет, как по-твоему? Или нет?

— Продолжаешь лысеть? — сказал я.— Я тебе золотой корень привез, на вот,— я достал из сумки бутылку.— Втирай на ночь. Хотя, говорят, можно и внутрь, эффект тот же, а приятней.

— Ну, спасибо,— развел руками Феликс.— Не думал, что вспомнишь.

— Работа такая — все в памяти таскаю.

— Понятно. Что привело?

— Большое дело, Феликс. Фирма «Эйфер» тебе известна?

— Н-ну... в общих чертах — да.

— Мне нужна вся ее подноготная. Через них сейчас прокачиваются миллиарды марок. Откуда и куда. Это раз. Второе: хотя бы приблизительный список компаний, делающих инвестиции в Индии. Это два. Потянешь?

— Как скоро?

— Если прямо сейчас — это было бы здорово. Так что...

— Дня три понадобится,— Феликс почесал в затылке.— Это все?

— Нет, старина, нет. Это половина. Слушай: сегодня ночью меня пытались убить. На Дмитровском шоссе, метрах в четырехстах от переезда через Питерскую железку. Тягач «Элефант» — сзади — в стоящую легковую. Успели выскочить. Был я там с Валерием Кононыхиным...

— Которого сегодня?..

— Да, Феликс. Я думаю, это были те же самые люди.

— И что ты хочешь узнать?

— Дело в том, что мы ждали там его человека. Человек не пришел, а через двадцать минут появился этот самый грузовик...

— Тягач.

— Тягач. Предположим, этот человек выложил все, что знал, сразу, в первую же минуту. Но надо же сориентироваться, решить, что делать, достать где-то тягач...

— Понял,— сказал Феликс.— Откуда шел тягач? Со стороны центра?

— Да. Развернулся и ушел туда же.

— Ага... А откуда должен был появиться человек?

— Не знаю.

— Кто он хоть такой?

— Тоже не знаю. Он должен был принести какие-то документы.

— Понятно, что не бутерброды... Ладно, посиди, полистай вон журналы, я попробую что-нибудь сообразить.

Я автоматически взял журналы — и отключился. Умный многоопытный организм не упустил возможности урвать кусочек сна. Иногда в такие вот «сонные хавы» — хавом у нас называется брикетик пищевого концентрата, размерами с ириску и по вкусу напоминавший ореховый жмых; схавал две таких ириски, запил водой — и сыт,— так вот, иногда я успеваю посмотреть целый кинороман, почище «Унесенных ветром»

или «Берега Новой Надежды». Но на этот раз мне приснилось всего лишь, что я упал — мордой об асфальт. Вздрогнул и проснулся. Феликс смотрел на меня. Глаза у него были, как у совы.

— А я как раз думал, будить тебя или нет,— сказал он.

— Можно не будить,— сказал я.

— Значит, слушай. Если учесть все возможные потери времени и если не считать, что тягач стоял с работающим мотором и шофером в кабине, то единственное место, откуда он мог выехать, это гараж Скварыгина в Бутырском хуторе. Вот, я пометил его на карте. Все другие варианты требуют чрезмерных натяжек. Хотя... я не говорю, что они невозможны в принципе. Но фирма Скварыгина пользуется очень дурной славой. Известно, например, что они помогают избавляться от трупов. Вот, если желаешь, их досье,— он протянул мне кассету.— Только верни потом, я не снимал копии.

— Верну. Спасибо, Феликс.

Я встал, достал конверт с деньгами.

— Здесь пять. Аванс. И — между нами, ладно? — фирма оплатит любой твой счет. Любой. Можешь не стесняться.

— Спасибо, что сказал. Где тебя можно найти?

— Вещи лежат на турбазе «Тушино-Центр».

— Ясно. Тогда связывайся сам.

— И еще, Феликс, на всякий случай... Вдруг я не приду сам и никто не придет с моим паролем — помнишь его? — то переправь информацию, которую добудешь, в наше посольство — военно-воздушному атташе. Это будет, наверное, непросто сделать...

— Вряд ли у меня возникнет желание это делать. Я играю по правилам, и в этих правилах сказано, что я только добываю информацию, а дальнейшее использование ее — не мое дело. А ты хочешь, чтобы я эти правила нарушил...

— За отдельную плату, Феликс. Ты можешь обеспечить себя, детей и внуков. Подумай.

— Я подумаю. Хорошо. Я подумаю. Но не обещаю. Ты меня понимаешь?

8.06.1991. 17 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

Валечка сидела на полу в углу, вялая, как тряпичная кукла, и смотрела куда-то мимо нас всех. Панин налил ей стакан молока, дал выпить. Валечка пила жадно, молоко текло по подбородку.

— Еще?

Она кивнула. Панин налил еще.

— Во-от,— протянула, наконец, Валечка.— Полегча-ало...

— Можно работать? — спросил я.

— Валяйте,— кивнула Валечка,— я отсюда посмотрю.

— Ну, смотри,— сказал я.

— А чего так двусмысленно? — обиделась Валечка.— У меня как в аптеке.

— Я с вас смеюсь.

— Смейся, смейся... сейчас посмотрим, как ты сам...

Грузин Тенгиз сидел на стуле, выпрямив спину и сложив на коленях руки. Кисти рук были узкие, пальцы тонкие — руки человека, видевшего лопату только в кино. На лице блуждала неопределенная улыбка, глаза смотрели ясно, только левый глаз был красноват, будто соринка попала, а из внешнего уголка к виску шел тонкий, чуть толще волоса, черный проводок; на виске проводок скрывался под квадратиком лейкопластыря. Из-под пластыря выходил провод потолще, Валечка подшила его к коже возле уха. А дальше он тянулся к пульту у меня в руке. Все было готово. Я медлил — не знаю почему. Где-то врём? Вряд ли. Все просчитано еще дома. Все просчитано...

— Давай,— сказал я Панину.

Панин включил ББГ. На экране появилась дорога, ведущая от турбазы. Въезд на Волоколамское шоссе... шоссе, переезд, мост за переездом, начинается Щукино: белые дома уступами, чем дальше, тем выше, красиво, особенно издали... комплекс «Цайтальтер»... начало Питерской, первые армейские посты, танки на обочинах... аэропорт имени Туполева, взлетает вертолет, флаги, огромные, как футбольные поля... танки на разделительных газонах, солдаты лежат на траве... «Спортвельт»... начинается Тверская, шлагбаумы подняты, пулеметные гнезда, пончервагены... Пушкинская, съезжаем в туннель, направо-направо-направо — выезжаем на Страстной, дальше, дальше — Петровский, до Неглинной, по Неглинной до Охотного ряда, налево — и вот оно, гепо, черный слепой зеркальный фасад, минуем «Детский рай», по большой Лубянке, вот они, ворота — в ворота! Пока все это крутилось на экране, я понемногу усиливал ток, и в тот момент, когда ворота бросились на нас, я дал максимум. Мальчик издал горловой звук, на лице его проступили красные пятна, рот приоткрылся, глаза смотрели внутрь. Еще, еще, задыхаясь, шептал он. Неземное блаженство. Разумеется, еще. И не один раз. На экране вновь возникла дорога, идущая от турбазы, вновь мы выехали на шоссе — все повторилось, только в решающий момент я подержал кнопку нажатой секунд десять. Его буквально скрутило винтом. Еще, еще, пожалуйста, еще! Мы прокатились пять раз. Шел восьмой час вечера. Случается, что в десять Шонеберг уже выходит из кабинета...

— Все, парни,— сказал я.— Пошли. Время не ждет.

— Пойдем, Тенгиз,— позвал Панин.— Сейчас мы переберемся в другое место и там еще поиграем.

Мы слегка замаскировали мальчика: сбрили ему усы, нацепили черные очки. Вместо приметной бело-желтой курточки, в которой он пошел с нашими девочками, взяли для него полицейский мундир. Был

у нас еще стилизованный под полицейский шлем-ликвидатор, его Панин нес в сумке. Втроем мы сели в «зоннабенд», отъехали в лесопарк. Там на хитрой полянке нас ждал Гера в «хейнкеле», уже полностью переоборудованном в полицейский автомобиль: с мигалкой, сиреной и прожекторами. Гера был в бело-желтой курточке и при кавказских усах — вылитый наш Тенгиз. Настоящего Тенгиза переодели в мундир, нахлобучили на голову шлем. Панин подтолкнул его: ну, давай. Тенгиз сел, Гера пристегнул его ремнем, подключил шлем к взрывателю. Тенгиз учащенно дышал, руки нетерпеливо ерзали по рулю. Вперед, сказал я. Тенгиз захлопнул дверцу и с места рванул так, что завизжали покрышки. Наверное, он не привык водить такие мощные машины. За уносящимся «хейнкелем» потянулась тонкая леска. Вот она напряглась и опала. Теперь чека выдернута, цепь замкнута. «Хейнкель» уносил в своем салоне двести пятьдесят килограммов «МЦ» — сила взрыва их равна силе взрыва трех тонн тротила. Гера вылепил из «МЦ» корыто с толстыми стенками; взрывная волна пойдет вперед и вверх и, по расчетам, достигнет кабинета Шонеберга ослабленной не более чем наполовину. Взрывателя три: инерционный, деформационный в фаре, радиовзрыватель. Где-то неподалеку от цели болтается Командор с передатчиком; его страхует Саша, сидя в кафе на третьем этаже «Детского рая». Гера, теперь уже без маскарада — усы сунул в карман, а курточку — в салон «хейнкеля»,— сел за руль «зоннабенда», мы с Паниным — на заднее сиденье. Вот так-то, брат Панин, сказал я. Так-то, брат Пан, отозвался Панин. Я не видел другого выхода, неожиданно для себя сказал я. Ты же помнишь, был жуткий цейтнот. Помню, сказал Панин, все помню. Я даже понимаю, что ты был прав. Я просто злюсь. Прости, сказал я, не было времени просчитывать... да и обстановка не располагала. Это уже потом я понял, что твой вариант был лучше. Потом. Ничего, сказал Панин, я-то жив... Да, сказал я. Я тоже жив.

Крупицыны ждали нас у развилки. На плече у Димы висела голубая теннисная сумка. Я вышел из машины, Панин перебрался на переднее сиденье, Крупицыны сели сзади — и вдруг мне остро захотелось наплевать на собственный план и поехать с ними, остро, почти непреодолимо... нет, нельзя. Пока, ребята! Пока, Пан, пока... Они укатили. Я пошел напрямик сквозь лес и через четверть часа вышел к автостоянке. Здесь было ярко, шумно, весело, взад и вперед сновали разноцветные машины, из них выскакивали и в них скрывались разноцветные люди, все это шевелилось и мне вдруг померещилось, что я стою на пыльной сцене между дурными декорациями, в окружении кукол, участвуя в дурном скучном спектакле — или что между мной и прочим миром поставили стекло... что-то подобное бывает, когда внезапно закладывает уши... хуже: когда ты вдруг обнаруживаешь себя в незнакомом месте и все вокруг говорят

на чужом языке. Где я и что я делаю здесь? И кто это — я? И так далее... Очаровательная девушка в очень символическом наряде подошла и спросила меня о чем-то, я не понял. Потом оказалось, что я лежу на траве, а надо мной склоняются лица — плоские круглые лица, похожие на луны. Встаю, встаю, все хорошо... спасибо, не надо, прошу вас... не беспокойтесь... До реки близко, ближе, чем до дома, иду к реке, забредаю по колено, умываюсь, тру лицо, лью воду на затылок — легче. Легче, легче... Раздеваюсь, бросаю все на песок, вхожу в воду, плыву. Плыву. Темп, старина, темп! Разгоняюсь, как глиссер. Не тот берег, хорошо, теперь нырнем, под водой, пока есть дыхание, еще, еще, еще — вынырнули — отлично. Вдох-выдох, вдох-выдох. Темп! Опять я маленький глиссер... вот, наконец, и тяжесть в плечах. Теперь можно и расслабиться. Что плохо — не могу лежать на воде, ноги тонут. Приходится ими шевелить, поэтому полного расслабления не происходит. Плыву на спине, чуть шевеля плавниками. Где мои штаны? Возле штанов стоят Валечка и Яша и смотрят вдаль, приложив ладошки ко лбам. Здесь я, здесь! Переворачиваюсь со спины на грудь и оказываюсь лицом к лицу с давешней очаровательной девушкой, которая, как вспоминаю, интересовалась, что со мной случилось и почему я такой бледный? Все в порядке, говорю я и улыбаюсь широко, как только могу, все в полном порядке...

8.06.1991. 22 часа. Турбаза «Тушино-Центр».

■

В девять тридцать показали интервью, данное Герингом московскому телевидению. Девяностовосьмилетний старец выглядел еще вполне браво. Вопросы задавал Павлик Абраамян, человек, для которого не существовало закрытых дверей. Сначала шла дань вежливости: как самочувствие герра Геринга, чем он занимается, как объяснить его неприязнь к журналистской братии — ведь за последние семь лет... и так далее. Герр Геринг пишет мемуары — будет пролит, наконец, свет на события апреля сорок второго года? Герр Геринг улыбается: да, раздел мемуаров, где подробно рассказывается как об апреле, так и о декабре сорок второго года — а события декабря были куда более значимы для истории Германии, да и всего мира — этот раздел написан и будет опубликован — пауза — через двадцать пять лет после моей смерти. Но хоть намекните, просит Павлик, мы поймем: самолет Гитлера просто разбился сам — или?.. Молодой человек, опять улыбается Геринг, улыбка хитрая-хитрая, разве же это много — двадцать пять лет? Зима — лето, зима-лето... Павлик в отчаянии. Геринг доволен: он опять всех провел. А что думает герр Геринг о ситуации в России? И в связи с этим — о политике фон Вайля? Геринг задумался, молчит, вздыхает. Я старый человек, говорит, наконец, он, и я иногда жалею, что живу так долго.

И иногда мне кажется, что я уже дожил до краха того дела, которому честно служил всю свою жизнь. В промежутках же между этими приступами отчаяния — а может быть, в моменты обострения моего сенильного оптимизма — я думаю, что это не крах, а кризис, и что великая идея национал-социализма: создание Тысячелетнего Рейха арийской расы — возобладает над сепаратистскими устремлениями некоторых народов... к сожалению, и русского народа. Боюсь, однако, что нам еще предстоит пройти через многие испытания, прежде чем Истина предстанет перед всеми в великой своей простоте: нам не выстоять по одиночке. Сейчас, оглядываясь, можно увидеть множество ошибок, злоупотреблений и даже преступлений, совершенных нами, совершенных партией... увы, так сложилась жизнь, история делается смертными людьми, а не непогрешимыми богами, делается без черновиков. Многого хотелось бы избежать, о многом — просто забыть. А кое о чем и напомнить — например, о миллионе германских юношей, погибших или навек оставшихся калеками — о цене, заплаченной за освобождение русского народа и других народов России от кошмара большевизма. Мне хотелось бы верить, что страдали и умерли они не напрасно. Что касается политики фон Вайля, то мне кажется, для хорошего политика он слишком порывист и слишком много говорит. В то же время следует отдать ему должное: ни один рейхсканцлер не принимал дела у предшественника в таком плачевном состоянии и не встречался с такими трудностями во внешней и внутренней политике; и то, что не началась новая мировая война, и то, что Рейх все еще остается великой державой, и то, что есть народы, желающие войти в его состав — я говорю, как вы понимаете, о Британии,— все это вызывает уважение и позволяет сохраняться надежде на лучшее будущее. Вы довольны таким ответом? О да, конечно! Еще вопрос, если позволите: что вы думаете о современном состоянии ближневосточной проблемы? Геринг развел руками: к сожалению, у меня нет полной информации о событиях, да и голова уже не та... я не могу, не имею морального права предлагать какие-то рецепты, давать советы... Создавая Иудею, мы выполняли волю народов — кстати, и еврейского народа. Если вспомнить погромы в Польше, в Литве, на Украине, в России... если вспомнить то, что начинали делать Гитлер и Розенберг... я думаю, мы спасли евреев от тотального истребления. И я не вижу сегодня иного выхода из той ситуации. Другое дело, что идеального решения не бывает вообще. Да, евреи теперь говорят, что насильственная депортация — это геноцид, а арабы недовольны тем, что им пришлось потесниться — хотя всем переселенцам была выплачена солидная по тем временам компенсация,— и те и другие обвиняют Берлин во всех смертных грехах, но только представьте, что начнется, если Берлину, наконец, все это надоест и он умоет руки... Павлик только открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, как трансляцию прервали и появился фон

Босков собственной персоной. Дамы и господа, сказал он по-русски, несмотря на принимаемые нами меры, террористам удалось осуществить кровавую акцию. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у ворот тайной полиции. При взрыве погибло девять сотрудников гепо, в том числе шеф отдела по борьбе с наркотиками генерал Гюнтер Шонеберг, и шестнадцать ни в чем не повинных граждан, вышедших на митинг перед зданием гепо. Число раненых уточняется, хотя уже сейчас ясно, что их менее ста человек. Многие из раненых — дети, находившиеся около юберлядена «Детский рай»: выбитые взрывом стекла... Что он несет, сказал Командор, какой митинг?... В редакцию газеты «Москау цайтунг» позвонил неизвестный и заявил, что ответственность за взрыв берет на себя организация «666». В телефонной будке, из которой был произведен звонок, полиция обнаружила ББГ-кассету со следующей записью... Фон Босков исчез, экран зарябило, потом появился наш Тенгиз, еще при усах и в бело-желтой курточке. Сначала по-грузински, потом по-русски он сказал (текст написал Командор, Тенгиз заучил его и перевел): наша организация начинает свои операции в Москве. Мы вынесли смертный приговор генералу Шонебергу, палачу Кахетии. Я иду приводить приговор в исполнение. Я горд и счастлив тем, что именно мне выпала эта честь. Высочайшее счастье — это умереть за родину, за ее свободу и независимость. Нас много, и все мы полны решимости не оставить в живых никого, на чьих руках кровь грузин. Вы все умрете. Да здравствует свободная независимая Грузия! Победа!

— Не было там никакого митинга! — горячился Командор.

— Какие сотни раненых? Они что, совсем?..

— Подай протест,— посоветовал я.

Командор невесело хохотнул.

На экране шел репортаж с места события: полицейские и пожарные машины, скорая помощь, носилки, прикрытые простынями, резкий свет, все мечутся, кричат, кто-то показывает рукой вверх, кто-то гонит оператора — короче, как и должно быть в таких случаях. Все съемки только у развороченных ворот, никакой площади не появляется, оно и понятно — там нечего показывать. Половинка автомобиля, застрявшая в окне второго этажа — ага, это здание напротив. Ладно, ребята, говорю я, начали хорошо, теперь бы не сорваться...

8.06.1991. 23 часа 55 минут.
Автостоянка при ремонтной мастерской «Надежда»,
150 метров до поворота на Можайское шоссе.

■

Все кончено в пять секунд: моя очередь вскрыла полицейский вездеход, как жестянку, а тот парень, который успел выскочить,

попал под очередь Командора. Из-за вездехода вылетел серый фургон «Пони» — час назад Саша увела его с этой самой стоянки,— затормозил рядом с «мерседесом». Я уже стягивал с «мерседеса» тент. Сашенька выпрыгнула из «пони», за руку выволокла Петра, нашего второго живца. Он двигался вяло, но не упирался. Я схватил его за другую руку — она показалась мне ледяной,— и мы с Сашей зафиксировали его, прислонив грудью к передней дверце «мерседеса». Командор поднял пистолет убитого полицейского и выстрелил парню в спину. Он даже не дернулся — сразу стал мягкий, как тесто. Можно было не смотреть. Я отошел. Командор вложил пистолет в руку полицейского. Саша развернула «пони», мы вскочили на ходу — вперед! Командор, высунувшись по пояс из люка, вмазал в вездеход сзади — в баки. Глухой взрыв, пламя — баки почти полные, недавно заправились... Огненная лужа, и машина в ней — как босиком... Выезжаем на шоссе, Саша тормозит: ну, откуда же появятся? Со стороны города — одна. Полный газ — навстречу. Командор сидит на корточках на сиденьи, я держу его за ремень. Двести метров... сто... пятьдесят... ну же! Командор выскакивает из люка, как чертик из коробочки, и бьет навскидку из гранатомета. Магниевая вспышка в салоне, летят в стороны двери, стекла, горбом встает крыша... Мы проскакиваем мимо, я из автомата бью туда, в красный дым. Саша аккуратно, без юза, тормозит, разворачивается, и мы несемся обратно, на ту же стоянку, запираем машину и вталкиваем ее в огненную лужу, я окатываю нас всех одортелем — теперь мы невидимы не только для людей, но и для собак... и вот нас уже нет, мы уже в темноте, на шоссе вой сирен и синие проблески, а нас уже нет.

Оружие топим в болотце, и — сорок минут ночного бега. Командор ведет, Саша в центре, я замыкаю. Полная тишина. Где-то лают собаки — далеко. По тревоге слетаются полицейские патрули. Дороги перекрыты, по всему Кунцеву ловят неизвестную подозрительную машину. А мы уходим, мы, наверное, уже за кольцом оцепления. Собаки и сирены — где-то слева. Ночной бег. Все выверено до минут. Осталось мало. Все хорошо. В гараже множество следов. Пусть ищут, на двое суток это их отвлечет. Хороший пакет дез. Все выверено. Теперь шагом, шагом, лениво, нехотя... по две желатиновых виноградины на каждого — проглотили. Через пять минут от нас будет разить таким безумным перегаром... На обочине коллатерального шоссе номер четыре стоит наш «зоннабенд» без света в салоне и с поднятым капотом, и Гера пританцовывает рядом с ним, изображая ремонтную деятельность. Садимся — все трое на заднее сиденье, в кармашке на дверце уже откупоренная бутылка «Очищенной», бумажные стаканчики... Ну, за успех, говорю я, разливая, и мы глотаем теплую водку — без удовольствия, как микстуру. Все, бутылка в ногах, о, и не одна, молодец, Гера, догадался, туда же летят стаканчики, быстро приводим себя в

художественный беспорядок, Гера заводит мотор, мы катимся, катимся, катимся по коллатеральному шоссе номер четыре, ага, вот и застава, нам приказывают остановиться, а Командор уже спит на коленях у Саши, и Саша припала ко мне, а у меня остекленевшие глаза и еле ворочается язык, и трезвый Гера отвечает за всех...

9.06.1991. 02 часа. Турбаза «Тушино-Центр».

■

Уговоров они слушать не хотели, и потому пришлось употребить власть: скомандовать отбой. Быть по местам, уточнил Панин, или?.. Или! — рявкнул я. Всем разойтись по бабам! И вести к себе! Чем больше, тем лучше! Пить водку! Ничем не выделяться! Кру-угом! Шагом — марш! Они ушли, остался один Командор. Он потыкался в углы, потом включил телевизор.

— Выруби,— попросил я.— Ну его на хер.

— Хорошо,— сказал он, но вместо этого стал переключать каналы. По шестому показывали какой-то рисованный фильм.— Может, оставим? — заканючил он.

— Оставь.

Несколько минут мы тупо смотрели кино. Краснозадая макака-сержант в фуражке со звездой обходила строй зверей-ополченцев: кому-то поправляла ремень, кому-то картуз, пыталась медведю поставить ноги по-строевому: пятки вместе... Пузатому пеликану ткнула кулаком в живот: подбери брюхо! Пеликан втянул живот, но выпятился зоб. Невидимая аудитория заржала. Макака зашипела и пошла дальше...

— Что там Яков? — спросил я, хотя можно было и не спрашивать.

Командор молча пожал плечом.

— Ты заходил к нему?

— Он меня послал.

— Но сможет он это сделать?

— Яков, видишь ли, все может. Дело только в сроке.

— Об этом я и спрашиваю.

— Не знаю. Думаю, успеет.

— Слушай, старый. Давай напьемся.

— А есть?

— Как в Греции.

— Доставай. Что там у тебя?

— «Тифлис», десятилетний.

— Издеваешься?

— Отнюдь. Великолепный коньяк.

— Так, а стаканы?.. а, вот они.

— Мыл?

— Плевать.
— Ладно, поехали.
— Да здравствует Грузия!
— Виват!
— Правда, хороший.
— Ты же меня знаешь.
— Надеюсь...
— На что?
— Что знаю.
— А-а...
— Давай дальше.
— Подставляй.
— За удачу.
— Будем жить.
— Чудесная штука.
— Мне тоже нравится.
— У меня еще есть.
— Ну и выпьем тогда весь.
— М-м...

На экране теперь была река. Львенок, опоясанный пулеметными лентами, держал в руках черепашку и что-то ей втолковывал. Черепашка истово кивала. Потом он размахнулся и пустил черепашку блинчиками по воде. На другом берегу ее поймал бегемотик. Черепашка, тыча рукой вверх, объясняла бегемотику, что надо делать. Бегемотик кивнул и тем же манером отправил ее обратно...

— А молодцы наши девчонки, правда? — сказал Командор.
— Все молодцы,— ответил я.
— Но девчонки — особо.
— Особо.
— А Панин — слюнтяй.
— Панин — хороший мужик.
— А тебя ребята не любят, ты знаешь?
— Знаю.
— А знаешь, почему?
— Знаю.
— Ну, и?
— А я не девочка, чтобы меня любить.
— Я тебя тоже не люблю. Это чтоб ты знал.
— Буду знать. Давай-ка еще по пять капель...
— Сейчас. Сосед! — крикнул Командор в приоткрытую дверь. Он там увидел кого-то, а я нет.— Выпить хотите?

Вошел наш сосед по домику. Я его еще не видел, не совпадали мы с ним в пространстве и времени. Мужчина лет пятидесяти, седоватый, в очках, но с торсом то ли боксера-профессионала, то ли

лейббаумейстера. Был он в белых парусиновых брюках и черной безрукавке.

— Я с дамой,— сказал он по-русски, но с акцентом. Вряд ли немец, скорее прибалт.— Если вы не возражаете против дамы...

Против дамы мы не возражали, более того, как нарочно, у нас пропадала бутылка египетского ликера, не пить же это самим? Даме было самое большее семнадцать. Командор показал себя с лучшей стороны: представил даме меня, представился сам, представил нас с соседом друг другу:

— Игорь Валинецкий, инженер из Томска — Роберт Кайзер, издатель из Риги. Дама представилась сама: Стелла, сказала она с прилепленной улыбочкой. О, звезда, воскликнул Командор, звезда любви, звезда заветная! Она не поняла, причем тут звезда, и пришлось переводить. Тогда она стала смеяться. В ее личике, манере говорить и вести себя было что-то неистребимо малороссийское, хотя она и утверждала, что родом из Петербурга. Идиотка. Но ликер пила хорошо, и за это ей можно было многое простить.

Мультик между тем продолжался. Отряд зверей отдыхал. Спали обезьяны, обняв допотопные ружья, спал медведь, положив под голову пулемет, спали львы, тигры и носороги. Догорал костер. Две черепашки, взявшись за руки, на носочках прошмыгнули мимо спящего часового — громадного орла. Костер еле теплится... погас. И вдруг неожиданно — длинная пулеметная очередь. Все вскакивают, палят в воздух, суета — но вот все лежат в круговой обороне, ожидая врага. Очередь снова гремит. Львенок уползает в темноту, какая-то возня, визг... возвращается во весь рост, потрясая смущенными черепашками...

— А я думал, ты латыш,— сказал я Роберту, когда мы свернули голову третьей бутылке.— У немцев акцент не такой.

— А я и есть латыш,— ответил Роберт.— У меня только прадед был настоящий дейч, все остальные латыши, а вот фамилия держится. Но у нас пока спокойно с этим делом.

— У нас тоже,— заметил Командор, и все засмеялись.

— А здесь, говорят, нет. Многие уже на чемоданах.

— Не знаю,— сказал я.— Вчера пили в большой и очень смешанной компании — ни малейших признаков дискриминации.

— Так то, наверное, была интеллигенция,— предположил Роберт.

— Скорее, богема.

— Страшно далеки они от народа... а на заводах, ребята, скверно. Да что на заводах, я в типографии в здешней вижу — скоро-скоро до ножей дойдет. А разобраться — зачем? Кому это выгодно?

— Кому? — спросил я.

— Большевистскую заразу с корнем не выдрали,— сказал Роберт.— Это вы молодцы, а тут толстый Герман не дал их на фонарях развешать...

— Что-то ты путаешь,— сказал я.— Большевики, они же это... «пролетариат не имеет отечества», «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и прочее...

— Нет,— помотал головой Роберт.— Они всегда были эти... куда ветер дует. Шла мировая война — подводили базу под дезертирство. Взяли власть — заделались оборонцами и патриотами. Германия в сорок первом напала — всех готовы были под танки кинуть, лишь бы власть сохранить. Оккупация — смерть коллаборантам, восстановили государственность — так и прут в правительство, из штанов выскакивают. Теперь вот объединением с Сибирью запахло... У них ведь вся их философия в два действия арифметики укладывается: отнять и разделить. И о чем бы речь ни шла, по этим двум действиям их, сук, всегда опознать можно. Ну, выгонят они немцев из России — а дальше-то что? Сразу все проблемы, как рукой?.. А-а, бесполезный этот разговор, трата слов... За что хоть пьем-то?

— Поминки,— сказал я.

— Вот как...— он покусал губу.— Что же вы не сказали? Я тут разболтался... По ком поминки?

— По мне,— сказал я.

— То есть?

— Семь лет назад вот этого парня,— Командор показал на меня,— убили в Туве. Там была небольшая заварушка, а он занимался альпинизмом... его и убили. Тело вывезли вертолетом и только на другой день обратили внимание, что оно не остывает. А год назад он еще раз умер — от разрыва сердца. Натуральный разрыв — стенка в клочья... Теперь ходит с искусственным. Говорит, ничуть не хуже. Пан, покажи.

Я задрал рубаху и показал рубцы: на груди и под ребрами.

— А сегодня меня чуть не грохнули еще раз,— сказал я.— В мою машину врезался грузовик — еле успел выпрыгнуть.

— Да-а...— с уважением протянул Роберт.— Это надо пить, и пить, и пить. Такой день... А этот шрам от чего?

— Тут батарея для сердца. Изотопная. Сидя рядом со мной, вы получаете дозу облучения, как от цветного телевизора. По закону я обязан вас об этом предупредить.

— Тьфу, глупость,— сказал Роберт.

— Многие боятся.

— Да,— Роберт помолчал немного.— Давайте выпьем за то, чтобы людям не требовалась такая неимоверная живучесть и чтобы мы все умерли один раз и только от старости...

Потом мы выпили за успех предприятий — Роберта и нашего. Стелла начала засыпать: клевала носом и вздрагивала. Толку от нее не было ни малейшего. Командор принялся травить анекдоты:

— Встречаются русский, немец, хохол и еврей, немец несет гуся, хохол свинью, русский два каравая под мышками, а у еврея в руках ма-аленький пакетик из газеты...

Звук у телевизора мы убрали, но на экран я волей-неволей смотрел. Там показывали сожженные машины — на дороге и на стоянке, внутренность нашего гаража, найденные в тайнике пистолеты и автоматы: на них обнаружат отпечатки пальцев двух весьма известных афганских боевиков, которых еще в январе Командор очень элегантно повязал в Бухаре, и бывшего кассира Варшавского отделения Рейхсбанка, пытавшегося пробраться через Сибирь в континентальную Японию; до Японии он не дошел, но об этом мало кто знает. Показали и фотографию убитого Петра.

— А что гепо рванули, так это правильно,— доказывал Роберт мне и Командору,— потому что... потому что... а-а, да все вы понимаете!

— Что правильно, что правильно,— горячился Командор,— это сколько же всего нужно взорвать, чтобы все было правильно?!.

— А вот столько и нужно! Нет, молодцы эти ребята, что вы мне ни говорите!

— Ну их, эти взрывы,— сказал Командор,— давай лучше о бабах.

В дверь развязно заколотили. «Открыто!» — крикнул я, и ввалилась Саша, пьяная в дым, белая блузка расстегнута до пупа и залита вином, с ходу шлепнулась мне на колени и впечатала могучий поцелуй в угол рта. Пойдем купаться! Пойдем купаться! — Командору. Пойдем купаться! — Роберту. Там и познакомимся, ха-ха! Ой, и девочка есть. Тогда давайте групповуху устроим! Девочка, просыпайся, будем устраивать групповуху! — С обалдевшей, ничего не понимающей Стеллы она начала стягивать юбку.

— Эй, Саша, полегче,— придержал я ее,— девочка испугается.

— Ребята, мы, наверное, пойдем,— сказал Роберт.— А то, я смотрю, меня заставят участвовать в групповухе, а мне это ни по возрасту, ни по чину.

— Это она так шутит,— сказал я.

— Шучу?! — взвилась Саша.— Да я, если хочешь знать...

— Пойдем, пойдем,— Роберт приобнял озирающуюся Стеллу за талию и повел к дверям.

— Пока, ребята, приятных развлечений!

— Пока, парень, зря ты испугался, это не больно...— Саша продолжала громко куражиться.

Через минуту я выглянул на веранду. Там было пусто, темно, дверь в комнату Роберта плотно закрыта.

— Докладывай,— сказал я, вернувшись.

Командор переключил телевизор, набрел на какой-то пошлый концерт – «цукерторт» и прибавил звук. Пацан в красно-зеленом

клетчатом пиджаке и девочка в черном балахоне с вырезами на самых необычных местах пели о том, как им хорошо вдвоем на этом необитаемом острове. Саша улыбнулась. Значит, так: клюнуло! Часа полтора назад Яша пролез-таки на районную телефонную станцию и подключился, и вот только что перехватил разговор по-грузински: да, тех ребят видели в Тушино, в ресторане «Радуга», с ними был еще один грузин и две девушки, похоже, немки. Ищи, ищи их, сказали звонившему, ты должен их найти! Найду, я напал на след... Звонили с такса из Тушино, от турколлектора, а вот по какому номеру — сказать трудно, стоит защита, раухер дал только три первые цифры: 1-7-1, это Замоскворечье...

— Понятно,— сказал я,— очень хорошо, они тоже молодцы, будем теперь надеяться, что их поиски будут успешными.

— Обижаешь, Пан,— сказала Саша,— мы набросали на тропинку столько цветных камушков...

9.06.1991. 7 часов 45 минут. Улица Черемисовская, 40. Меблированные комнаты Отта.

■

Я позволил себе поспать полтора часа, и, должно быть, зря: воздух в подвале был тяжеловат, и теперь я никак не мог преодолеть чугунную тяжесть во лбу и висках. От этого, а может быть, и от не до конца нейтрализованной вечерне-ночной выпивки, настроение было... о, именно в таком настроении господа гвардейские офицеры обожают пускать себе пули в благородные виски. Нам, к сожалению, такая роскошь недоступна, но помечтать — именно как о роскоши — почему бы и нет? Конечно, глоток коньяка смягчил бы мои страдания, но в быстрых ночных сборах я совсем забыл о своем переносном погребе, а среди всевозможных запасов, которыми был набит склад фирмы «ЮП», спиртного не было ни капли. Душ не помог, из обоих кранов вяло сочилась тепловатая жидкость, из горячего — чуть более теплая. Тогда уж — ничего не поделаешь — пришлось лезть в аптечку за эфедрином. Я уколол себя под язык — и скоро застучало в висках, похолодели пальцы, зато кто-то внутри меня решительно содрал липкую паутину с мозгов, с глаз, чугун куда-то вытек, вернулись силы. Я готов был к дальнейшему использованию...

Даже через эфедриновую эйфорию меня царапнула эта мысль. Да, так оно и есть, никуда не денешься... горькая, последняя гордость солдата, знающего, что им затыкают губительный прорыв и что долг... Эй, там, сказал я себе, без патетики, пожалуйста. Разберемся позже.

Якову сделали выгородку из стеклоблоков, там он и сидел на пару с «КРК» — сверхмощным раухером, не чета переносному «Ал-

коносту», который был у него на турбазе. Теперь Яков мог, наверное, все на свете.

— Пан,— сказал он, оборачиваясь,— я уже хотел тебя искать.— Лицо у него было черное, глаза ввалились.— Началось. Объект видел девочек, вызвал помощь. К нему едут еще двое. И знаешь что — я допер, что это за 171 и прочее. Это «Алазани».

— А что? — сказал я.— Очень может быть.

— Еще хотя бы раз позвонят — тогда я точно пролезу.

— Смотри, не засветись.

— Я невидим. Я растекся, знаешь как?.. О, по всему городу. С такой машиной...

— Ладно, Яша. Я поднимусь в комнату — и если что...

Комната, которую мы тут снимали как бы под контору, находилась на втором этаже. Здесь все было как надо: стол, шкафы, масса всяких бумаг, диван... Сейчас мне навстречу попались бэшники Говоруха и Мальцев, волокущие куда-то огромный деревянный ящик с иероглифами на боку. В конторе сидели Венерт, старший группы Б, и Кучеренко с Герой.

— Ну, парни,— сказал я,— ваш выход.

Венерт тоже встал — хотя бэшникам в акциях участвовать не положено.

— Мне тоже придется ехать,— предупреждая вопрос, сказал он.— Не успели оформить доверенности на вождение.

— Как это?

Венерт развел руками.

— Да, Пан,— сказал Кучеренко.— Страшные очереди к нотариусам. Не знаю, что происходит.

— Придумай что-нибудь, Франц,— сказал я.— Дай на лапу.

— Придумаю,— пообещал Венерт.

Они ушли, я сел на диван и откинулся на спинку. Во рту стоял своеобразный эфедриновый привкус. Не приятный и не противный — своеобразный. Так... сейчас важно не обмануться в своих ощущениях. Не принять ненароком ту легкую эйфорию, которую дает наркотик, за чувство удачи. Успеха. Да, и вот это... Я еще раз просмотрел составленный Яковом портрет человека, говорившего по телефону с номером 171-и-так-далее... Рост выше среднего, худой, лет двадцати восьми-тридцати, курит, родной язык грузинский, по-русски говорит свободно и почти без акцента, немецким владеет слабо, передние верхние зубы металлические... Н-да. С одной стороны — ничего существенного, а с другой — только по голосу... причем, сказал Яков, если он поговорит еще минут пять-семь, можно будет дать основные черты лица и кое-что из характера. Жаль, не получился второй собеседник, слишком скупые реплики... ну да ладно.

Нет, не это меня тревожило и не отпускало — тут мы все сделали правильно, разложили приманку и притаились в кустах... и

вообще не о близящемся контакте с неким грузином тридцати лет, владеющим русским свободно и имеющим металлические зубы, мне следовало беспокоиться, а о зависшей в неясном положении совсем другой игре...

Что же ты, калека, ни одного живого не взял, сказал Командор, хмурясь, так вот вышло, сказал Панин, вышло, проворчал Командор, вечно у вас выходит что-нибудь не то. ты просто не видел, что они с ней сделали, сказал Панин, ты думаешь, есть что-то, чего я не видел? — возразил Командор, не знаю, сказал Панин, есть или нет, а я в себя пришел, только когда патроны кончились, понятно, сказал Командор, душа у нас нежная, и тут Панин взорвался, таким я его еще не видел, я думал, он бросится на Командора, и Командор тоже, наверное, так думал, стоял и ждал, белый, как костяной, но я не дал им драться, выгнал Командора на улицу, и через двадцать минут, отдышавшись, мы уже говорили о другом, а потом вдруг Панин, закрыв глаза, повторил: вы просто не видели, что они с ней сделали, ты хоть ее добил? — спросил Командор, да, конечно, сказал Панин...

Зря я влез в это дело. Зря. Был шанс приоткрыть глаза — но он упущен. Черт знает, что это все может значить. Ладно, поработаем. Будет день, будет пища... Ага, и вот еще... Я взял трубку и набрал номер.

— Да-а? — голос Кристы был сонный.

— Я тебя опять разбудил?

— Я еще не ложилась. Почему ты не пришел?

— Встретил старого друга и напился, как сапожник.

— Врешь.

— По-моему, от меня должно разить перегаром даже по телефону.

— Надо было привести его сюда. Нас тут как раз две несчастные одинокие женщины...

— Может быть, сегодня... Да, Криста, а кто эта девушка, которую я резал ножом?

— Ты? Ножом?

— А, ну да, тебя не было в тот момент... Девушка, которая так странно танцевала в библиотеке.

— Поняла. Это Таня Розе, она ведьма. Но, чтоб ты знал — с ней спать нельзя, потому что...

— Я пока не собираюсь. А где мне ее найти?

— Таня Розе. И с ней парень по имени Терс. Просто имя, ничего кроме. У них мистическая связь.

— Я спрашиваю — где мне ее найти?

— Не знаю. Ее Анни приглашала, а где сейчас сама Анни — не имею представления. Вечером сам у нее спросишь. Придешь?

— Опять будет нечто?

— Нет, будет тихо. Приходи, а? Что-то скучновато жить, понимаешь...

Жить ей скучновато... ах, елки... Я бросил трубку на рычаг, не попал — и еле успел остановить свою занесенную руку: хотел вмазать по аппарату. Стоп, машина. Начинается отходняк. Надо повторить, иначе будет скверно. Колоться не буду, просто высосу... Телефон зазвонил — как взорвался. Я схватил трубку. Это был Панин.

— Приехали,— сказал он.— Идут.

— Ну, с богом...— у меня вдруг перехватило горло.

— Ничего,— сказал он.— Не волнуйся, Пан, все будет в порядке.

В порядке... в порядке... Что же, может быть, и будет все когда-нибудь в порядке — но без нас. Без нас.

9.06.1991. 15 часов. Кафе «Гензель и Гретель».

■

— Прошу вас, княжна,— Иосиф придвинул стул, слегка поклонился. Княжна улыбнулась и села. Сели и мы.— Княжна, позвольте представить вам: Игорь Валинецкий, Вахтанг Петиашвили. Господа: княжна Дадешкелиани.

— Лучше просто Кето,— кивнула княжна.

— О, не лишайте нас удовольствия называть вас княжной,— сказал я.— Поверьте, такое бывает не каждый день.

Наверное, я неприлично пялился на княжну: Иосиф поглядывал на меня неодобрительно. Но я просто не мог удержаться. О, как красива была княжна. Тревожно, я бы даже сказал — трагически красива. Бледное тонкое лицо, огромные темные глаза, нервный излом бровей. Тонкие пальцы, которым если что и держать, так гусиное перо. Между тем в материалах по «Пятому марта» имелся словесный портрет девушки-снайпера, составленный одним из немногих, кто уцелел после встречи с ней. Двадцать лет, волосы темные, вьющиеся... Возможно, это она и есть. Иосиф сидел по левую руку от нее, прямой, как шпага. Я еще раз восхитился мастерством Якова: Иосиф полностью совпадал со своим портретом. Единственное, чего Яков не мог уловить, был цвет волос: пегие, полуседые кудри Иосифа делали его значительно старше, чем он был на самом деле.

— В нашем распоряжении час,— сказал я.— На этот час мы можем гарантировать полную изоляцию этого помещения. Думаю, мы уложимся.

— Даже если и не уложимся, то сможем перенести разговор в другое место,— сказала княжна.— Не это главное. Как нам избавиться от взаимной подозрительности, я ничего не могу с собой поделать, но я не верю вам до конца...

— Согласитесь, что у нас больше оснований не верить вам,— сказал я.

— Да, больше, вы уже сказали свое слово здесь, в этом городе, а мы — мы должны молчать, пока — молчать... И даже более того: мы просим вас — остановиться... поверьте, ненадолго, на два-три дня...

— Так,— сказал я.— А вы понимаете, что сейчас наши подозрения — точнее скажем, недоверие — крепнет?

— Да, понимаю, да, и все же я буду продолжать просить вас, клянусь — ведь только так мы сможем добиться цели, иначе все обернется прахом.

— Тогда объясните, почему,— потребовал я.

— Иосиф, мы рискнем, да? — голос княжны стал тихий, почти бессильный.— Мы объясним, но только — прошу вас!

— Сначала вы ответьте на вопросы, на несколько вопросов...

— Не обещаю.

— Пожалуйста! Нам это очень важно — понять...

— Давайте попробуем.

— Мы ничего не слышали о вас — узнали из теленовостей. Значит, вы базируетесь не на грузинской земле — иначе такого не могло произойти. Тогда?..

— Наша база в Польше — где именно, я не могу сказать.

— Да, разумеется. И как давно вы существуете?

— Нынешний состав — год.

— Год... год... А мы уже четыре года. И как я понимаю, здесь у вас дебют, не так ли?

— Не совсем дебют... но крупная гастроль с афишами — первая.

— Как неудачно мы пересеклись! Или удачно?.. Иосиф, ты все молчишь — скажи хоть что-нибудь, мужчина!

Иосиф кивнул и что-то по-грузински сказал Вахтангу. Вахтанг ответил длинной фразой, улыбнулся и сделал жест руками: будто повертел перед глазами, осматривая с разных сторон, небольшой арбуз.

— Скажите,— обратился Иосиф ко мне,— вот вы поляк, базируетесь вы в Польше, тогда почему же месть за Грузию?

— «За вашу и нашу свободу»,— понимаете?

— И все же?

— Я поляк только наполовину — у меня мать грузинка. В нашей группе есть грузины и абхазы. Наконец, в Грузии пролилась слишком большая кровь, чтобы оставить без ответа...

— Да,— сказала княжна и замолчала, прикрыв глаза.— Я была там,— добавила она после паузы.

— Он тоже,— кивнул я на Вахтанга.

Теперь княжна обратилась к нему по-грузински, Вахтанг кивнул и нехотя, короткими фразами, стал что-то рассказывать. Голос у него был нормальный, может быть, чересчур ровный, и лицо хорошее, а что малоподвижное и невыразительное, так это — результат контузии... Мы накачали его так, что аббрутин только что из ушей не лился. Несколько часов он будет знать о себе, что он — боевик группы «666» и что он контужен под Телави.

— Все, кто командовал расправой, теперь здесь,— сказал я. — Приговоры вынесены, и я не вправе их отменить.

— У меня убили родителей,— сказала княжна,— мой брат умер в лагере, а о сестре я до сих пор ничего не знаю и надеюсь только, что она тоже умерла... И все равно я прошу вас — отложите возмездие. Не отмените, никто не говорит об отмене, но отложите. Потому что, если вы произведете еще один взрыв, совещание перенесут в другое место, и все наши труды пропадут... и шанс будет упущен, единственный шанс...

О! Это было как раз то, чего я так ждал. Я откинулся на спинку стула и задумался. Княжна достала из сумочки сигареты, Иосиф услужливо щелкнул зажигалкой. Об этом мы тоже позаботились: на портрете, который они получат, будет лицо, как две капли воды похожее на фоторобот с плаката «Разыскивается!», которым оклеен весь Краков. Дерзкое ограбление банка.

— Болит? — спросил я Иосифа. Он положил зажигалку в карман и поморщился.

— Н-нэт,— тряхнул он пегой головой.— Н-нэ болит.

Врал, конечно: после того, как Крупицыны завернули ему руки, плечевые суставы должны болеть минимум неделю.

— Могу предложить тибетский бальзам,— продолжал я.— Снимает любую боль.

— Спасибо,— сказала княжна.— Иосиф сам — фармаколог.

— Как хотите,— пожал я плечами.— Вернемся к нашим баранам. Лишних вопросов я задавать вам не буду, скажу все сам, и если очень уж ошибусь — поправите. Хорошо? Итак: вы намерены произвести покушение на кого-то из участников совещания. Вероятнее всего, на фон Вайля. Против этого возражений не имеем. Но вы просите нас приостановить на время нашу деятельность, лечь на дно, то есть рискнуть всем, что мы уже поставили на карту, потому что в гепо сидят не только глупые увальни,— для того, чтобы совещание состоялось и вы смогли произвести свою акцию. Но, в таком случае, объясните мне, почему свою цель вы считаете более важной, чем нашу, почему ликвидация политического деятеля для вас важнее, чем возмездие десятку палачей? Ну, не будет фон Вайля, так будет Шредер, уберете Шредера — будет Дорн. Какая вам разница?

— Если вы позволите, я скажу,— княжна подняла руку ладонью вперед.— Из всего того, что вы перечислили, верно лишь одно: да, возмездие палачам у нас сейчас стоит на предпоследнем месте.

— А на последнем?

— Вязание на спицах.

— М-м...

— Не делайте такое лицо и выслушайте то, что я скажу. Да, еще весной мы пошли бы с вами, мы мстили бы, и лучшей цели не было бы для нас — лучшей цели и лучшей судьбы. Но — появилась иная, и ваши цели, и наши, те, которые были прежде — заслонила. Мы увидели вдруг... простите...— она смяла сигарету.— Я вдруг заволновалась, вот как... эта цель... Эта святая цель — независимость родины, независимость Грузии, и сейчас она стала достижимой, да... И вдруг — вы, братья, но как же вы можете помешать! Сейчас, сейчас — я все объясню. Весь Рейх трещит по швам, и он развалится, клянусь, если все будет идти так, как идет сегодня... война в Африке — тому доказательство... Что было в позапрошлом году в Кахетии,— невозможно сегодня, солдаты не станут стрелять и офицеры не отдадут таких приказов, но и народ не поднимется еще раз — на такое... нужна пауза, нужен еще год бессилия Берлина!.. И все — тогда — свобода. Но если четверо договорятся, Рейх устоит, потому что развал его опасен и невыгоден даже врагам. Фон Вайль и Толстой секретно сговорились образовать союз, стереть границы — так будет разрешен неразрешимый, казалось, русский вопрос — и уцелеет Рейх. Но мало кто из собственных же партий поддерживают и Толстого, и фон Вайля, и если мы устраним обоих, события пойдут естественным путем, Россия выйдет из состава Рейха — клянусь, тогда Берлину не дотянуться будет до маленькой Грузии! И разве только Грузия сможет обрести тогда свободу? О, нет! все, кто достоин. И ваша Польша, Игорь...

— Да, наша Польша...

Неслышно ступая, подошел Ганс и поставил на стол чашечки с дымящимся кофе и блюдо с пирожными. Я взглянул на пирожные: четыре меренги и четыре шоколадных эклера. Впрочем, я и так чувствовал, что террористы — настоящие.

— Спасибо, Ганс,— сказал я.— А нельзя еще какой-нибудь воды? — Это значило, что мое мнение не противоречит результатам проверки.— Значит, вы хотите перевернуть мир — и вот обнаружили точку опоры?

— Да,— улыбнулась княжна.

— Достойная цель... Ну, что же... Я еще не готов дать вам ответ, кого именно вы в нас встретили: союзников или нейтралов. Но не противников — это точно. Мы проанализируем ситуацию, посоветуемся... Назначайте время и место, где мы сможем дать вам ответ.

Гарантирую, что в течение суток мы будем воздерживаться от акций. Дальше — будет видно.

— Хорошо. Место встречи — ресторан «Алазани». Время: четыре часа дня. Вы будете в этом же составе?

— Скорее, я буду с девушкой. Вахтанг, ты не в обиде?

— Мое дело солдатское,— сказал Вахтанг и улыбнулся княжне.

9.06.1991. 19 часов 20 минут. Ул. Черемисовская, 40.

■

Днем телефон Феликса не отвечал, а сейчас был занят. Я подключил свой маленький раухер к телефонной сети и заставил его постоянно набирать этот номер, а сам пока занялся просмотром дополнительных материалов по «Пятому марта», которые сегодня достал из тайника Венерт. Я смотрел на снимки и злился. Передача информации — самое тонкое место, поэтому мы стараемся работать максимально автономно. Две трети провалов происходят именно на передаче материалов и информации. И вот база идет на этот риск — и для чего? Чтобы я полюбовался на сцену расстрела генерал-губернатора Египта и его семьи? Четыре снимка, сделанные, кажется, с экрана телевизора — там весь парк был утыкан телекамерами, и что? — и обработанные на раухере. Четкость изображения изумительная... Вот генерал-губернатор под руку с супругой, девочка рядом с матерью, мальчик шагах в трех впереди, а сзади — две тени бегущих людей, только тени, самих фигур не видно. Второй снимок: семейство в той же позиции, а теней уже четыре, две сзади и две слева, видны стволы какого-то оружия. Третий: генерал лежит, скорчившись, женщина падает на него, раскинув руки, девочка закрывает лицо ладонями, мальчик бежит, оглядываясь на бегу. Четвертый: все лежат, только мальчик стоит на коленях, к нему подходят двое с автоматом, еще двое стреляют в лежащих. Все. Новой информации нет. Я присмотрелся к террористам: мешковатые комбинезоны, скрывающие все особенности фигур, не понять даже, мужчина или женщина перед тобой; шапочки-маски с затянутыми черной кисеей окошечками для глаз. Оружие: «шмайссер» образца семьдесят восьмого года, калибр шесть с половиной, дульная энергия всего сорок килограммометров, зато — тридцать выстрелов в секунду и магазин на сто сорок патронов; весьма популярен у бойцов спецподразделений; в армии применения не нашел...

Мой аппарат отзвонил: на том конце провода сняли трубку. Оказалась баба Катя. Нет, Феликса Ефимовича нет и сегодня не будет. Что-нибудь передать? Спасибо, ничего.

Стукнули в дверь, я отозвался. Вошел Кучеренко.

— Ну что, пойдем?

— Уже?

— Да, все готово.

Мы прошли через пустой магазинчик и поднялись наверх. У входа стоял «волгарь» образца пятьдесят шестого года, но с новой фанерной будкой, обрызганной веселенькой светло-зеленой краской. Будка была сплошь облеплена эмблемами «ЮП». За рулем сидел Венерт. Мы с Сережей залезли в будку.

Весь пол занимала огромная карта Москвы. Цветными линиями были отмечены маршруты трех автомобилей, в которые Сережа вставил передатчики: Иосифа, княжны и того, на котором в помощь Иосифу приехали два боевика — одному из них Командор сломал руку и потом долго извинялся: но мы же приняли вас за агентов гепо, вы так странно себя вели... Итак, пока княжна и Иосиф вели с нами переговоры, их машины не стояли на месте: съездили к трем вокзалам, не очень ясно, к каким именно, система давала точность до нескольких десятков метров,— затем к «Алазани» на Пятницкую, потом одна из машин вернулась на Бронную, где подобрала княжну и Иосифа, а вторая ушла в Лосиноостровский парк и долго стояла в ничем не примечательном месте. Третья машина тем временем смоталась в Мытищи, развернулась там, не теряя ни минуты, и направилась тоже в Лосиный Остров, соединилась со второй, и они вместе совершили три ездки между некими пунктами А и Б; на карте в этих местах ничего не было. Потом машина за номером два вернулась к «Алазани», а та, которая побывала в Мытищах, пошла к Киевскому вокзалу, простояла полтора часа и тоже вернулась в район «Алазани». Наконец, машина, взявшая княжну и Иосифа, отправилась в Лефортово, минут десять простояла на набережной напротив парка — и тоже, как и предыдущие, стала на стоянку гостиничного комплекса на Пятницкой. И вот уже час все три помеченные машины стоят неподвижно...

— Видимо, где-то тут у них штаб,— сказал я.— Это ясно. Но вот эти челночные рейсы...— я ткнул пальцем в Лосиный остров.

— Я думаю, выгружали что-то из грузовика и свозили в тайник,— предположил Кучеренко.— Надо будет смотаться и посмотреть.

— Сейчас важнее не спугнуть,— сказал я.— А вот кого они встречали...

— Или провожали. Или сдавали что-нибудь в камеру хранения.

— Хорошая мысль. Ладно. Надо посмотреть, что там у «Алазани». Сходишь?

— А как же.

— Только без малейшего напряга. Просто посмотреть.

— Хорошо, Пан. И что?

— Ничего. Завтра решим.

— Хорошее задание.

— Угм. Конечно, если найдешь место, чтобы поставить «волгаря»...

— Так бы сразу и говорил.

Я вернулся вниз. Яков спал, уронив голову на пульт. Командор уже пытался отвезти его на турбазу, выкупать и уложить спать, но Яков уперся, как козел, и никуда не поехал. Так что Командор и Панин играли в шахматы. Девочки с Крупицыными отрабатывали новые приемы. Гера что-то читал, лежа на надувном матраце. Похоже, что все пребывали в полной готовности к боям и маршам.

— Народ! — сказал я, встав посреди всего этого безобразия.— Сегодня уже ничего не будет. Приказ — всем развлекаться. Разбрестись попарно. Рассредоточиться по всему городу. Не мельтешить на пяточке. И вообще — почему забросили турбазу? Кто там дежурит сегодня?

— Раз начальство так велит...— проворчал Панин и встал.-Ну, как, ничья или отложим?

— Отложим,— сказал Командор.— Хотя нет — дурная примета. Ничья.

— Согласен,— Панин смахнул шахматы с доски.

— Гера,— сказал Командор.— Ты останешься при Якове, караулъ его, чтоб чего не натворил. Все. Остальные свободны, сюда не возвращаться, в семь утра быть по койкам. Панин, проследишь.

— Дети они, что ли — следить за ними...

— Р-разговорчики!.:

— Т-так точно, разговорчики!

— Приеду, проверю.

— Мы уже ушли. Вот нас нет, вот мы далече...

Сашенька остановилась передо мной, наклонила голову, спросила:

— Ты чего такой, Пан?

— Какой?

— Да вот... стукнутый чем-то.

— Нет, это я так мысль думаю.

— Надо, наверное, тебя встряхнуть немного. Хочешь, составлю компанию?

— Давай. Ты, я и Командор.

— Втроем?

— Он мне для дела нужен.

— Хм. Ладно. Он для дела, я для удовольствия. Годится.

— Кстати, пока не забыл. Завтра мы с тобой идем в ресторан «Алазани».

— Ты меня приглашаешь?

— Можно сказать и так.

— И опять втроем?

— Нет уж, нет уж.

— О-о!

— Так вот.

— А тогда давай и сегодня в ресторанчик завалимся? Пригласишь?

— Но только не в «Алазани».

— В «Марсель».

— Губа не дура. Годится.

— Тогда надень что-нибудь поприличнее. В «Марсель» так не ходят.

9.06.1991. Около 21 часов. Набережная Геринга, 11. Ресторан «Марсель».

■

Солнце садилось во мглу, на полнеба висело багровое зарево, все в розово-сиреневых рубцах высоких облаков, и само солнце, застрявшее между одинаковыми, как бетонные шпалы, «сорокапятками» Пресни, имело цвет остывающего металла, и такого же цвета блики дрожали на воде, и казалось, что это от воды веет огненно-кирпичным зноем.

— Будет ветер,— сказала Саша. Она стояла спиной к реке и смотрела в другую сторону.— Пан, какой ужас, ты такого не видел, наверное...

Я оглянулся. Красно-черно-зеркальные небоскребы проспекта Геринга, и без того бьющие по нервам, сейчас казались раскаленными и накренившимися, падающими на нас.

— Ничего себе пейзажик,— согласился я.— Не для впечатлительных.

В далекой перспективе проспекта на фоне густо-синего непрозрачного неба ослепительно белела километровая Измайловская Игла. На двух третях высоты ее перечеркивала черная полоска: обзорная палуба, остекленная поляризованным гляссетом. Именно там будет проходить историческое совещание глав четырех держав... полюс недоступности, подумал я, у фон Боскова неплохие мозги... и тем не менее японские фирмы перекачивают капиталы в Индию, будто план фон Вайля-Толстого сорван. Ну-ну. Оркестр играл что-то из репертуара Виктора Эннса. Кто-то из танцующих подпевал вполголоса. Командор, как в трансе, раскачивался, обняв пышную блондинку. Потанцуем, предложил я. Саша молча направилась к лестнице. На ней был белый с блестками комбинезон, закрытый спереди и с глубоким вырезом на спине. Танцевала Саша легко и гибко, и если бы не тень ожесточения на лице, все было бы хорошо. Потом мы церемонно раскланялись друг с другом и пошли к нашему столику. Командор приглашал новую партнершу. Я помахал официанту, одетому матросом:

— Еще два двойных «Бисквита».

— Слушай, Пан, а почему ты такой... всегда впереди, на лихом коне? Мы что, тебе неинтересны?

— Честно? — спросил я.

Официант принес заказ.

— Честно,— сказала Саша.

— Потому что в противном случае я не смогу расходовать вас, когда это понадобится. И поэтому я стараюсь относиться к вам, как к фишкам на игровой доске.

— Спасибо,— усмехнулась Саша.

— Не за что. Помнишь, как в парках играют в шашки: по рублю за съеденную? Кто жалеет отдавать, тот и проигрывает.

— Понятно,— опять усмехнулась Саша.— Чтобы выиграть, тебе надо быть свободным от жалости... понятно.

— Да,— сказал я,— но есть еще один очень существенный момент: я очень люблю выигрывать всухую.

— Но ты хоть понимаешь, что это ужасно унизительно? — спросила Саша.

— Понимаю, но это меньшее зло, чем...

— Это страшное зло,— сказала Саша,— это раздражение, которое копится, копится... когда координатором шел Рыбаков...

— Я знаю,— вздохнул я,— Рыбакова все очень любили, но однажды он проиграл.

— Ты тоже когда-нибудь проиграешь,— заверила Саша.

Я пожал плечами:

— Да, но не потому, что буду стоять в позе Буриданова осла и думать, кого мне не так жалко — и в результате потеряю всех...

— Не надо так про Рыбакова,— попросила Саша,— никто ведь не знает по-настоящему, что там было.

— Хорошо,— сказал я,— не буду.

Я знал, как погибла группа Рыбакова, задумался на секунду, расслабился — и Саша не упустила этого момента.

— Пан, скажи правду: мы играем по форме «сокол»?

Соврать я не смог.

— Да, по форме «сокол».

Саша вздохнула.

— Я так и думала почему-то,— сказала она.

— Это еще ничего не значит,— возразил я.— Я вас вытащу. Знаешь, в который раз я уже играю по «соколу»? В Иерусалиме, в Бухаре, два раза в Кабуле, в Тегеране...— про Тегеран я вспомнил зря: там нас уцелело только трое.— В конце концов, ВВС от нас еще не отказались..

Саша промолчала. Она смотрела куда-то мимо меня. Вернулся Командор.

— Что это вы такие грустные? — спросил он.

— Хочешь мой коньяк? — спросила Саша.— На, бери.

— Спасибо,— сказал Командор.— За удачу.

— За удачу,— согласился я.

— Давайте съедим что-нибудь,— сказал он,— тут как-никак, а французская кухня.

— Ты ешь,— сказала Саша,— а мы пойдем с Паном еще потанцуем...

Там, где танцевали, пол светился изнутри бледным пламенем, и по пламени лениво бродили, изгибаясь, цветные полосы и пятна. Оркестр заиграл медленный вальс, и пятна, слившись попарно в красно-синие, желто-зеленые и сиренево-оранжевые уроборосы, закружились в танце. Мы прошли несколько кругов и только потом заметили, что никто больше не танцует, все стоят и смотрят на нас. Было неловко в этой толчее взглядов, но мы дотанцевали до конца — и раздались аплодисменты! Золотая пара! — крикнул кто-то. — Еще, еще — требовали зрители. Ну, вот, сказал я, как бывает... Саша смеялась. Оркестр заиграл снова, и мне показалось, что я упал. «Спит гаолян...» Мы прошли только один круг, больше я не смог. На обзорной площадке стало чуть легче. Над Культурным центром горела составленная из тысяч огненных точек Эйфелева башня, вокруг которой медленно кружилась надпись: «Всемирная выставка. Париж. 1992». Картина получалась благодаря интерференции пересекающихся релихт-лучей. И в том же темпе, что и надпись, в голове моей кружилось: «Спит гаолян, сопки покрыты мглой...» В Туве не было гаоляна, но я не мог ничего поделать с собой.

— Красиво,— сказала Саша.

— Что красиво? — не понял я.

— Все вокруг. Посмотри.

Я посмотрел. Было много света и бегущих огней, много выдумки и вкуса. Тихо вокруг... Вода в реке теперь отливала холодной ртутью.

— Что-то не получается, да? Что-то не так?

— Да, не так,— сказал я.— Все не так.

— Не грусти,— сказала Саша,— все мы — только покойники в отпуске, а отпуска тем и хороши, что кончаются когда-нибудь. Не грусти. Давай поедем куда-нибудь, где никого нет. Хочешь, я сделаю так, что ты все забудешь. Хочешь?

— Ты же...— я замялся.

— Глупый,— сказала Саша,— вот в этом ты ничего не понимаешь, поэтому просто доверься. Знающему человеку. А?

— Вообще-то,— сказал я,— мы и движемся сейчас к такому вот мероприятию...

— Это я поняла,— сказала Саша,— поэтому и хочу... ведь то будет потом, а пока... тут наверху есть комнаты, я знаю...

Метрдотель-капитан поднял глаза к потолку, я дал ему четвертной билет, билет исчез. По винтовой лестнице на третий этаж,

скажете, от Валентина, приятного отдыха... Не зажигай, не надо, попросила Саша, смотри, как светло.

За окном горела, пылала Эйфелева башня, и кружилось вокруг: на сопках Манчжурии воины спят, и русских не слышно слез... пусть гаолян навеет вам сладкие сны... меня стянуло в комок, и Саша все поняла, задернула шторы, зажгла свечу, в свете свечи комната съежилась, и только зеркало черной полыньей... спите, герои русской земли... Бедный ты мой, бедный, шептала Саша, там было очень страшно?.. отчизны родной сын... Страшно, сказал я, но это не главное, это не главное, это можно пережить... Я не мог сказать того, что хотел: стыдно, или: противно, или: сам себя презираю... это застряло во мне, и тогда я сказал: я там умер.

10.06.1991. Около 8 часов. Улица Гете, д. 17, кв. 3.

■

Я проснулся, как всплыл — не помню, откуда, не помню, что там было, но именно всплыл: с радостью, с облегчением, хватая ртом воздух... все было родное, свое: и помойка во рту, и свинцовые шарики позади глаз, и восприятие действительности, откровенное, как мат. Но — родное, свое. Только здесь, в России... Я даже не пытался вспомнить, что видел во сне. Вылез оттуда — слава Аллаху — без потерь, и вовсе я не желаю знать, что было бы, продлись очарованье... обкурился, понял я, обкурился, как пацан. Шторы сочились светом. Уже день? Ох, как не хочется поднимать голову... поднял. Так... отдохнули, отвязались... расслабились. Пейзаж после битвы: пустые бутылки и бокалы, целые и битые, окурки и сигареты россыпью, чулки, мусор; в углу опадает надувной фаллос ростом с крокодила. И тела, оттрепетавшие: Командор в позе подстреленного на бегу — и вокруг, как обрамление, переплетясь и приникнув, молочно-белая Криста, бронзовая Сашенька и черная Анни — и я на периферии, выброшенный центробежной силой за пределы райского сада, но зато я могу тихонечко, никого не тревожа, спустить ноги на ковер и осторожно, стараясь не наступить на битое стекло, пробраться в ванную и там, встав под душ, предаться обливанию сначала горячей, потом холодной, потом опять горячей... блаженство, господа, подлинное блаженство... Кое-как обтеревшись крошечным полотенцем, я вернулся в гостиную и встал у окна.

Солнце, висящее весьма высоко, припекало доже сквозь стекло. Свет его был неприятный, режущий, как край жестянки. Я хотел отойти, вернуться в уютный полумрак за красными шторами, но что-то было не так, и я стал присматриваться... Не было полицейского поста у консульства, а вместо этого по тротуару медленно шла пятерка наших морских пехотинцев, все с короткоствольными АБК. Это выходило за рамки всяческих соглашений и протоколов; похоже,

ночью произошло нечто, заставившее фон Боскова обратиться к послу с такой вот нескромной просьбой... Нет, стоять у окна было поистине невыносимо. Я отвернулся. Замкнутый в шести плоскостях мирок устраивал меня куда больше. Здесь были мягкие диваны и почти полная пачка черных марокканских сигарет. Не было спичек, поэтому пришлось шлепать на кухню и прикуривать от газовой плиты. Глубокомысленно рассуждая, что газовая плита — это самая большая зажигалка, если не считать таковой огнеметный танк «Горыныч», я вернулся к своим диванам и лег, распрямившись и вытянувшись, расслабившись и раскрывшись — следя, впрочем, за тем, чтобы выкурить не более половины сигаретки. Хорош. Тяжесть понемногу вытекала из тела через пробитую где-то внизу дырочку, и вот уже только непонятное упрямство диванных пружин не позволяет им распрямиться и послать меня к потолку. Вместе с тяжестью вытекла боль, и раскаленная паутина на мозгах сменилась другой паутиной, мягкой и прохладной. Пришла тихая радость — не предыдущая короткая и судорожная радость избавления от чего-то жуткого, но неизвестного, а несуетная радость мирного и мерного существования... я жил, и этого с меня было довольно. Я лежал, замерев, чтобы не расплескать себя. Но что-то шевельнулось внутри, двинулось, рванулось — сильно, неподконтрольно — и в один миг я будто вывернулся наизнанку... даже не так: мой черепаший панцирь раскрылся — сломалась застежка — и распахнулся, как чемодан, и я предстал голый под стрелами... я был вне кожи, вне защиты, вне того привычного твердого кокона, который мы сами сплетаем вокруг себя из навыков, привычек и наработанных рефлексов, а потом приходят наши умельцы-психоделы и укрепляют его, цементируют, обвешивают стальными бляшками... превращая нас в надежные и трудноуязвимые боевые машины... Такое раскрытие на операции со мной случилось впервые, хотя я слышал про подобные случаи с другими... мы раскрываемся в Гвоздево — там, где абсолютно безопасно и где каждый может подставить свету себя самого, а не свою броню и не свое оружие. Мы выбираемся из панцирей, беззащитные, бледные, как новорожденные морские свинки, и тычемся друг в друга и в ласковые, добрые руки доктора Мориты и всей его банды, и эти руки оглаживают и ласкают нас, и похлопывают ободряюще, и чешут, где надо, да, в Гвоздево мы совсем не похожи на себя же, но в иных географических точках... потому что там, в иных точках, мы сделаны, а в Гвоздево — мы то, что мы есть. Крупицыны, например, будут там сильно не любить друг друга и хоть раз, но подерутся: неуклюже, неумело, но зло и отчаянно; Гера будет приставать ко всем с плоскими шуточками и обижаться, что его отовсюду пинают; Командор найдет себе пожилую шлюху и будет каждую ночь рыдать у нее на груди; Панин уйдет в лес и в лесу будет прятаться от всех, там у него есть землянка, маленькая, как могила, и там ему спокойно... Люди мы только там,

здесь мы боевые единицы, но вот не все это понимают... иногда не понимает Командор, и совсем не понимает Саша... здесь мы сделанные, слепленные: вот как мы лепим «Буратино», так слепили и нас: на раз. Если уцелеем — а я постараюсь, чтобы уцелели,— с нас снимут посеченные панцири и потом слепят новые: может быть, такие же, а может, совсем другие, непохожие... слепят камикадзе, и мы, ликуя... за Родину!..

На подламывающихся ногах мимо меня прошли, не заметив, Саша и Анни. Я почти в панике принялся натягивать доспехи. Натянул, застегнул, опустил забрало. Успел. Вышла Криста, потягиваясь, как кошка.

— О-о,— она выгнула спинку,— ну и ночка!

— Понравилось?

— Я теперь буду искать только мужчин с реактором,— промурлыкала она,— это что-то особенное.

— Наука умеет много гитик,— сказал я.

10.06.1991. 13 часов 40 минут. Черемисовская, 40. Фирма «ЮП».

■

— Яков, ты золото,— сказал я.— Тебе цены нет, ты это знаешь? И место тебе в Золотой палате, как достоянию республики...

Яков засмущался. Ночью он сумел взломать защиту телефонного номера, по которому звонил Иосиф, установил его номинал: 171-65-65,— и локализацию: гостиница «Алазани-2», служебное помещение, третий этаж. Но на этом Яков не остановился, проявил настойчивость — и сумел незаметно залезть в память телефонного аппарата. Память была на тридцать два номера, и все их Яков списал. Более того: по степени следовой намагниченности он определил, какими номерами пользовались чаще. Таких оказалось шесть: один здесь же, в гостинице, две в шлафтблоке Центрального рынка, два — в коммерческом центре «Восток» и последний — на стадионе общества «Гром» в Лефортово. Кроме того, там были телефоны камер хранения на всех вокзалах Москвы и в речных портах. Были телефоны трех частных квартир и телефон бюро погоды. И был, наконец, телефон посреднического агенства «Арфа»: продажа и прокат недвижимости и транспортных средств. Кучеренко, получив эту информацию, отправился в «Арфу», представился сотрудником Крипо и переписал из регистрационного журнала все имевшиеся там кавказские фамилии. За последние десять дней кавказцы купили или арендовали четыре легковых автомобиля, грузовик, речной катер и три частных квартиры — именно те квартиры, которые попали в список Якова. Яков понял, что ухватил удачу за хвост, и рискнул: влез

в память раухера паспортного отдела городского полицейского управления. Риск его оправдался: он скопировал регистрационные карточки всех ребят, попавших в список Кучеренко. Двоих — взявшего катер и купившего легковушку,— можно было исключить: они имели давнюю московскую прописку; все прочие прибыли почти одновременно: двадцать восьмого и двадцать девятого мая. Итак, трое, снявшие квартиры, вне всяких сомнений, принадлежали к «Пятому марта»; взявший грузовик жил в шлафтблоке Центрального рынка; одну из легковушек арендовал врач тифлисской команды кетчистов, которые на стадионе «Гром» готовились к показательным выступлениям... наконец, две легковушки не номерами, но цветом и моделью совпадали с теми, которые Кучеренко пометил маячками.

Итак, итак, итак... Я стал раскладывать свой пасьянс. Иосиф Агладзе, двадцать семь лет, прибыл второго июня — из Пишпека. Живет в «Алазани» в дорогом одноместном номере. В группе выполняет функции, условно говоря, шефа контрразведки. Подлежит захвату или ликвидации в первую очередь. Дальше: Кетеван Дадешкелиани, девятнадцать лет, прибыла двадцать восьмого, самолетом, из Хельсинки. Живет в «Алазани-2», занимая одна двухместный номер. Функция в группе не ясна; безусловно, имеет отношение к руководству, но чем именно занимается и как влияет на принятие решений — вопрос. Возможно, главную роль играет ее княжеский титул, и тогда она сама — знамя или талисман группы... Ираклий Хорава, Георгий Микава, Сакуа Оникашвили, восемнадцати, девятнадцати и двадцати лет соответственно; прибыли двадцать девятого, поездом, из Тифлиса. Через бюро «Арфа» сняли квартиры в фешенебельном районе между Смоленской площадью и Смоленской набережной. Леван Лежава, двадцать два года, прибыл вместе с ними, но живет при Центральном рынке, арендует грузовик. Александр Калабадзе, двадцать лет, Акакий Даушвили, двадцать три года. Самолетом, двадцать восьмого. Живут в кемпинге «Тайнинка» на Ярославском шоссе. Арендуют легковой полуфургон «Оппель-пони-800» и спортивный «Центавр». Доктор Самсон Шанидзе, тридцать семь лет, спортивный врач, прибыл из Ростова самолетом двадцать девятого; живет в спортивной гостинице на стадионе «Гром». Пустые карты: абонент еще одного номера в шлафтблоке Центрального рынка, два неустановленных парня, прикрывавших Иосифа на контакте (одному из них Командор сломал руку), и, главное, сам абонент номера 171-65-65...

Яков и Кучеренко сидели рядком на диване и, сияя, посматривали на меня. Свою работу они сделали блестяще.

— Яша, тащи сюда Панина,— велел я Якову, и Яков, герой дня, побежал вниз — выполнять. Сзади Яков был безумно похож на большую собаку-колли, занявшуюся прямохождением.

— Что они могут возить на грузовике? — задал я вопрос Кучеренко, и Кучеренко, конечно же, пожал плечами.— И вообще какой у них грузовик?

— Нижегородская полуторка с крытой платформой...

Он произнес эти слова, и мы уставились друг на друга, потому что здесь уже мог быть готовый ответ на многие вопросы: дело в том, что у Русского территориального корпуса на вооружении состояли сташестидесятимиллиметровые минометы, смонтированные именно на нижегородских полуторках...

— Та-ак... чем дальше, тем смешнее...

— Может, пометим грузовичок, Пан?

— А ты его найдешь?

— Попытка не пытка.

— Па-апитка нэ питка... вэрно, Лаврентий?

— Так я поищу?

— Сережа... хорошо бы не в ущерб остальному.

— Обижаешь, начальник.

В дверях Кучеренко посторонился, пропуская Панина. Панин хлопнул его по плечу — так, что задребезжали оконные стекла. Кучеренко покачнулся, но устоял на ногах.

— Высший пилотаж! — сказал Панин.

— Это не я,— сказал Кучеренко, огибая Панина по дуге.— Это все Яков...— он ускользнул от второго поощрительного тумака и затопал по лестнице. Лестница была непарадная, с железными решетчатыми ступеньками, удивительно громкая.

— Ну вот, Сережа,— я широким жестом предъявил ему свой пасьянс.— Работа по твоей основной специальности. Этот, этот или этот,— я показал на тех троих, которые снимали квартиры.— Выбирай. Надо чтобы он тихонечко исчез, квартиру осмотреть, а самого допросить и потом куда-нибудь незаметно пристроить.

— Три карты, три карты, три карты...— пропел Панин хорошим, едва ли не профессиональным баритоном. Я никогда не слышал, чтобы он пел.— Понятно. Возьмем... вот этого.

Он протянул руку и подцепил карточку Оникашвили. На фотографии был очкастый, начинающий лысеть мальчик.

— Попробуй управиться до полуночи,— сказал я.

— Это уж, Пан, как получится,— сказал Панин, не отрывая взгляда от карточки.— Как получится, как пойдет масть... нет, Пан, за сроки не ручаюсь.

— А ты попробуй,— зачем-то сказал я.

Панин быстро взглянул на меня, хотел сказать что-то злое, но промолчал.

10.06.1991. 16 часов. Ресторан «Алазани».

■

Машину пришлось оставить на стоянке на набережной и топать пешком: и Ордынка, и Пятницкая были забиты грандиозными пробками. Вроде как через мосты пускали уже только по пропускам... Хвоста за собой мы не видели, но, с другой стороны, если «Алазани» под превентивным наблюдением — а Кучеренко был уверен, что так оно и есть,— то и подходы к нему могут скрытно контролироваться через оптику, а это такой способ наблюдения, от которого не оторвешься. С другой стороны — ну и что? Даже если гепо сфотографирует нас входящими в ресторан... пусть. Такие методы разработки требуют значительного времени, а нас, если все пойдет как задумано, завтра ночью здесь уже не будет.

Было знойно. Мы старались прятаться в куцые тени домов и редких деревьев. Кто придумал этот город, заворчала Саша, Томск куда лучше... Она запрыгала на одной ноге, вытряхивая камешек из туфли. Томск действительно был лучше: плотный, чистый, зеленый, очень удобный для житья город — только вот мне он изредка начинал давить на виски, и хотелось попасть куда-нибудь, где смешались времена и стили, проросли, проломились одно сквозь другое... побыть там сколько-нибудь времени и вернуться. В Томске — да и в других наших городах — я ловлю себя на чувстве, будто попал на страницы рекламного каталога «Ваш дом» или «Уют», или даже «Шик» — все чуть-чуть слишком: слишком красиво, слишком уютно и слишком продумано. Когда я говорю, что у меня дом в Старом Томске — с печным отоплением, без горячей воды, но зато с садом — на меня смотрят, как на ненормального. У тебя что, с деньгами туго? Нет, с деньгами у меня полный порядок. Так зачем тебе этот хлам, посмотри, какой домик можно за две недели... Зато у меня есть баня и кузница, говорю я. Может, у тебя и сортир во дворе? — смотрят подозрительно. Нет, сортир теплый, есть у меня слабость к теплым сортирам... Мало кто понимает, что я не могу видеть над собой гладкий, без малой трещинки, потолок — и поэтому у меня самый-самый удобный и уютный — для меня одного — дом...

В этом ресторане горное эхо начиналось от самого входа. Замечательно пахло пряным. Метр, похожий на генерального директора процветающего концерна, проводил нас к сервированному на четверых столику. Первым делом я налил Саше и себе по бокалу фруктовой воды. Потом достал из кармана детектор микрофонов, поводил им над столом, под столом, над диваном — чисто. С точки зрения скрытности столик был очень неплох: его окружал С-образный диван с высокой, выше голов, спинкой. Поэтому дистантный аудиоконтроль был, мягко говоря, затруднен — если, конечно, не ввинтить направленный микрофон в потолок над нами — что маловероятно: ведь если гепо распоряжается здесь, как у себя на Лубянке, то на кой

черт наружные посты? Мы с Сашей потягивали фруктовую, я изредка смотрел на часы: наши хозяева задерживались. Это было против всех и всяческих законов разведок и контрразведок, и если следовать им, то нам сейчас надо было удалиться и никогда сюда не показываться. Но мы, слава Всемогущему, были не разведкой-контрразведкой; мы были, если формально, вольнонаемными служащими ВВС, «Отделом Особых Операций», или «Трио» — «Три-о» — наследниками знаменитой «Бригады "Сокол"», той самой, которая в шестьдесят шестом отбила у мятежников Гурьянова, тогдашнего президента, вытащила его из зоны боевых действий — и при этом полегла практически вся. Почему-то имя этой бригады досталось пресловутой «форме "Сокол"» — самому грязному, на мой взгляд, изобретению Тарантула. Суть формы заключалась в том, что группа, выполнившая задание, не эвакуировалась, а ликвидировалась на месте. Правда, за всю историю «Трио» форма «Сокол» в полном виде применена была только один раз: в семьдесят третьем году в Гамбурге. Усеченная, повседневная разновидность формы — это когда все заботы по эвакуации перекладываются на саму группу. Конечно, сознание того, что тебе купили билет только в один конец, не радует; но почему-то всегда получается так, что группы, работающие по стандартным формам, несут не меньшие потери...

Княжна и ее спутник, среднего роста человек в светло-сером костюме-тройке, похожий, скорее всего, на преподавателя гимназии, появились через полчаса после назначенного срока. Я сравнил портрет абонента 171-65-65, составленный Яковом, со спутником княжны — совпало. Средний рост, короткая шея, лицо квадратное, тонкие губы, мимика бедная, не жестикулирует. По-русски говорит грамматически правильно и почти без акцента, свободно владеет немецким, английским и, возможно, итальянским... Да, Яков,— сказал я,— вряд ли мне удастся это проверить.— Яков посмотрел на меня и пожал плечами: твои проблемы...

— Здравствуйте,— сказала княжна,— извините нас, но мы даже не имели возможности предупредить вас о задержке... спасибо вам, что дождались. Позвольте представить: Нодар Александрович Гургенидзе.

— Меня вы знаете,— я пожал руку Нодару Александровичу,— а это Саша Полякова.

Нодар Александрович поклонился и поцеловал Саше запястье.

— Какие красавицы посещают иногда наши места! — восхитился он.— Зураб, сделайте музыку,— не оборачиваясь, бросил он метрдотелю.— Что будут пить дамы? Я порекомендовал бы «Напареули», почему-то в этих погребах оно совершенно необыкновенное...

Полилась музыка. Под такую музыку, обняв рог с добрым вином, следует плакать от любви и счастья, клясться в вечной дружбе или

уж если драться — то на саблях и на краю ущелья... Мы же под эту музыку — под такую музыку! — творили медленный Иудин поцелуй.

— Теперь можно говорить все,— улыбнулся Нодар Александрович.— Как раз над этим столиком образуется интерферентный звуковой купол.

— Глухая зона? Замечательно. Видите ли, на улице мы засекли два поста аудиоконтроля,— сказал я.

— Там их семь,— сказала княжна.— До вашей акции был один.

— Ага,— сказал я.— То есть мы в осаде.

— Да. Они думают, что мы в осаде. У нас по этому поводу несколько отличное мнение. Давайте выпьем вот этого великолепного коньяка — и потом поговорим о деле.

— Это чем-то напоминает мне пирушку трех мушкетеров и д'Артаньяна в обстреливаемом бастионе...

— Причины те же,— улыбнулась княжна.

— О деле,— сказал я.— Мы обсудили ваше предложение и решили согласиться на него. Более того: мы готовы помочь вам... секунду,— я жестом остановил Нодара Александровича, который хотел что-то сказать.— Нам не нужны ни ваши планы, ни ваши лавры. Мы просто пришли к выводу, что в обстановке, которая создастся в результате вашей акции, у нас будет больше шансов на успех. Больше, больше, не сомневайтесь. Поэтому мы хотим предложить вам вот что: непосредственно перед вашей акцией провести нашу — и отвлечь на себя внимание гепо и полиции.

Княжна и Нодар Александрович переглянулись. Княжна что-то сказала по-грузински, тут же повернулась к нам:

— Извините, забылась. Я сказала, что нужно обдумать это...

— Это очень интересное предложение,— сказал Нодар Александрович.— Сейчас мы попробуем взвесить все «про» и «контра»... при разработке нашего плана мы намечали проведение отвлекающей акции, но нам не удалось перебросить сюда достаточно людей. Поэтому ваше предложение... давайте понемногу пить, есть и думать.

Мы пили, ели и думали, изредка перебрасываясь короткими репликами. Соглашайтесь, думал я, чего тянете, соглашайтесь. Но тогда надо будет вставать и выходить на жару... Ладно, думайте дальше. Думайте еще... Официант принес блюдо с шашлыком. Как интересно, сказала Саша, я думала, шашлык едят прямо с шампуров. О, нет, сказал Нодар Александрович, так едят только на... забыл, не в походе, а на... На пикнике, подсказал я, да, на пикнике, да и то не всегда, и не всякий шашлык можно так есть, вот этот, царский, так есть нельзя... Нежнейшее мясо таяло во рту, и я тут же пустился в рассуждения о том, что прогресса в кулинарии нет, и в этом наше немалое счастье. Да, подхватил Нодар Александрович, это как в поэзии: все лучшее уже написано — много веков назад... Он стал декламировать, гортанная речь лилась четко и завораживающе кра-

сиво, это как музыка, сказал я, это и есть музыка, согласился он,— где вы сейчас услышите такое? Великий Шота из Рустави написал это восемьсот лет назад, и с тех пор никто не мог подняться на такую высоту... почему? Потому что это от бога, сказала Саша, тогда еще был бог, а теперь его нет. Нодар Александрович с уважением посмотрел на нее: я тоже так думаю — и думаю, что именно поэтому за последние двести лет было столько претендентов на эту вакансию. Если бога нет, то все дозволено — так, кажется, писал ваш Достоевский? Не писал так Достоевский, давя в себе внезапное раздражение, сказал я. Это слова одного из его героев, некоего Смердякова, который, в свою очередь, переиначивает, подгоняя по себе, философию Ивана Карамазова... По-моему, это тайный ужас Достоевского: что все дозволено, потому что бог есть...

— Давайте вернемся к более частным проблемам,— прервала меня княжна.— Сможете ли вы устроить небольшой фейерверк где-нибудь в центре во второй половине дня?

— Почему нет? — ответил я.— В любое время и там, где скажете.

— Тогда нерешенных вопросов больше нет,— сказал Нодар Александрович.— Но неплохо бы устроить нам «горячую линию», как вы думаете?

— Давайте обменяемся телефонами,— предложил я.— Это проще всего.

— Проще — да...— Нодар Александрович задумался.

— Нет, давайте иначе. Давайте обменяемся людьми, ваш человек будет с нами, и наоборот.

— Что-то в этом есть,— сказал я.

— На старом Востоке вожди, заключая союзы, обменивались детьми,— сказал он.— Детей у нас под рукой нет, а вот дамы...

Мы с ним одновременно посмотрели на дам. Княжна согласно кивнула. Саша пожала плечами — якобы равнодушно. Мы обсуждали этот вариант, но не предполагали, что инициатива будет исходить от противника.

— Хорошо,— сказал я,— дамы меняют кавалеров — и расходимся. И вообще, вы планируете отход после акции?

— Нет,— ответил он,— какой уж тут отход, а вы?

— С нашим образом действий вы знакомы,— сказал я.

— Надеюсь, Игорь, у вас найдется и для меня место в одной из торпед? — спросила княжна ровным голосом.— Ты ведь не станешь возражать, Гриф?

— Нет, девочка,— сказал Нодар Александрович.— Да и стала бы ты меня слушать...

10.06.1991. 23 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

— А здесь и был аэродром. До войны и немного после. А когда заключили Дрезденское соглашение и иметь авиацию стало нельзя, на месте аэродрома разбили парк. Так и осталось.

— Очень неуютно без гор,— княжна приподнялась на локте.-Подсознательно чего-то не хватает, отсюда — постоянная тревога... Зато какие роскошные сумерки — этого мы лишены. Какие закаты!..

— А в Петербурге вы были?

— Да, но только зимой, к сожалению. Пойдемте еще в воду, там хорошо...

— Будет холоднее — не простыть бы вам.

— Никто не простывает на войне.

— Это правда. Пойдем купаться, старый,— я ткнул Командора пяткой в бок.

— Нет, я тут полежу,— сказал Командор.— Я, наверное, и правда старый...

— Я пойду,— из-под покрывала вылезла Валечка. Единственная из всех нас она сохранила верность натуральному стилю. Мы с Командором, ренегаты, в присутствии гостьи со строгого нравами Востока облачились в плавки; на самой же гостье был черный глухой купальник с короткими рукавами и штанишками — в таком можно гулять по городу, и никто не оглянется. У лавочника выпали глаза, когда он понял, что эту реликвию мы действительно хотим взять и даже отдать за нее какие-то деньги. Так мы и поплыли, выпавшая из довоенного учебника живая диаграмма прироста трикотажа на душу населения: слева голая Валечка, в центре я — в очень экономной, но уже одежде, справа княжна как символ грядущих достижений. Дно ушло из-под ног, но впереди, метрах в сорока, была песчаная отмель, где можно будет постоять и передохнуть: княжна плавала плохо, по-собачьи.

— Странно,— сказала она,— мы жили так близко от моря... два часа на машине... и так редко бывали там... три раза всего. Не понимаю, клянусь...

— Не надо разговаривать в воде,— сказал я.— Потеряете дыхание.

Валечке надоело плестись наравне с нами, она молча нырнула и через минуту вынырнула далеко впереди, прямо в лунной дорожке. Там уже шла отмель, и Валечка стала, приседая, выпрыгивать из воды — почти вся целиком.

— Вы все так... хорошо плаваете...

— У нас отличные реки. У нас океан. У нас столько озер.

— У нас море... в двух часах... Папе просто... не хотелось... не любил моря... и нам не ...

— Давайте руку.

На короткий миг она потеряла контроль над собой: судорожно вцепилась мне в кисть. Но тут же расслабила пальцы и дальше держалась почти спокойно.

— Расслабьтесь, Кето, расслабьтесь,— сказал я.— Не держите так высоко голову, не прогибайтесь так сильно, свободнее, свободнее...— я греб одной левой, и так, гребков в двадцать, мы добрались до Валечки. Почувствовав песок под ногами, княжна отпустила мою руку и приложила ладони к щекам.

— Я вдруг испугалась,— сказала она.— Я вдруг чего-то испугалась. Не боялась ничего, и вот, пожалуйста...

— Постоим, отдышимся, а потом обратно мы отвезем вас на буксире,— сказал я.

— Нет, я поплыву сама... рядом, но сама... надо же учиться плавать. Я уже поняла, что неправильно делаю. И... вот...

Она стояла по шею в воде, и я видел только ее лицо с виноватой улыбкой, но понял — она выбирается из своего костюма.

— О-о, я и не знала... не знала вовсе... мы всегда так запираемся от природы, от бога... это же — как лететь, лететь самому...

Валечка скользнула к ней и за руку потянула ее от глубины на мелководье, а я лег на спину, раскинув руки крестом, и поплыл по течению, чуть шевеля ногами, и позади остались две девы в лунном свете, а слева висела сама госпожа луна, голубоватая, как свежий снег, а справа проступали крупные и мелкие звезды, и под всем этим великолепием плыл я, раскинув руки, и уже не плыл, а висел, висел без опоры — это было упоительно. Не знаю, сколько времени я провисел так. Наверное, долго, потому что отнесло меня довольно далеко. Я возвращался тихим брассом, глядя вперед, потому что там было на что посмотреть: Валечка и Кето, взявшись за руки, взмывали над водой, как молодые дельфины, и плюхались обратно, поднимая фонтаны серебряных искр.

— Девочки,— я вынырнул позади них и обнял обеих за плечи,— нам пора.

Командор стоял на берегу и махал рукой.

— Не хочу уходить,— сказала княжна,— просто не хочу...— Ее колотила легкая дрожь.— Еще пять минут.

— Еще пять,— согласился я. Но из веселья уже вышел пар, мы попрыгали, побрызгались и поныряли — без былого восторга, потом шагнули на глубину и поплыли.

— Никогда не думала, что может... быть такое наслаждение...— говорила княжна.— Наверное, когда всегда так... это не так остро... а когда первый раз... и последний... очень остро... очень сильно... спасибо...

На берегу княжна с Валечкой забрались под одно покрывало и вздрагивали там, согреваясь. Вода была куда теплее воздуха. Я насухо протер себя полотенцем и натянул футболку.

— Панин идет,— сказал Командор.

Вдали кто-то шуршал по песку.

— Нюхом учуял? — не поверил я.

— Говорю — Панин...

Это действительно оказался Панин.

— Вот вы где,— сказал он, подходя.— А я ищу на обычном месте.

Обычным было место на траверсе затопленного контейнера со снаряжением. Мы ушли оттуда на случай, если Панину понадобится что-нибудь спрятать или взять. Не понадобилось: Панин был сух.

— Командор тебя метров с двухсот опознал,— сказал я.

— А у него в левый глаз ноктоскоп вставлен,— усмехнулся Панин.

— Это чтоб ты знал.

— Княжна,— повернулся я,— позвольте представить: Сергей Панин, наш лучший актер. Княжна Дадешкелиани.

— Можно просто Кето,— высвободив из-под покрывала руку, княжна подала ее Панину. Панин тут же продемонстрировал, что он актер и в старом смысле этого слова: пал на колени и приложился к ручке так, как не снилось и д'Артаньяну.

— Как работа? — спросил я его, когда он наконец оторвался — вернее сказать, отвалился — от руки.

— Более-менее,— сказал Панин.— Но это нужно видеть глазами. Гера там сейчас кипятком брызжет.

— Гера? Интересно... Княжна, оставляю вас на Командора, извините...

— Она что, настоящая княжна? — спросил Панин, когда мы отошли метров на двести.

— Да, вполне.

— Странные вещи творятся на этом свете... Так вот, о деле. Мальчика мы взяли очень тихо, хорошо взяли... но подержаться нам за него не удалось.

— То есть?!

— Анафилаксия.

— На аббрутин?

— Да. Сдох на игле.

— Но-омер... вот это номер...— я даже остановился. До сих пор считалось — не без оснований,— что выработка непереносимости к аббрутину — монополия нашей фирмы. Никого из нас нельзя превратить в Буратино: смерть наступает мгновенно. Значит, теперь и в этом мы не одиноки...

— В квартире мы нашли одну штуку, но пока не скажу, что.— Сам увидишь.

— Труп куда дели?

— С трупом все в порядке: продали мусорщикам.

— Сколько они сейчас берут?

— За все — две с половиной.

— Нормально.

— А знаешь, откуда пришла дробилка? Из гаража Скварыгина. Страшный народ эти мусорщики... Ну, документы мы забрали, купили билет в Бейрут — на сегодня... в общем, мальчик улетел.

— Ну, Серега, все-таки — что вы там нашли?

— Нет, все сам — и посмотришь, и пощупаешь, и полижешь — все сам. Гера бродит вокруг нее, как кот вокруг сала...

— Бомба, небось?

— Угм.

— А кроме?

— Вещественного — ничего. Абсолютно чисто. А вот обозвал он нас — как бы ты думал?

— Как?

— Японскими болванами.

— Японскими?

— Вот и я удивился. Очень. Понимаешь, когда я уже воткнул в него иглу, он выпихнул кляп и крикнул: «Позовите... а, дураки, японские болваны!» — и все.

— Интересненько... Да, жалко, что так вот...

— Неожиданно, правда?

— Весьма неожиданно... японские болваны... Может быть, это просто идиома? Типа «японский городовой»?

— Почему это у грузин должны быть японские идиомы? Тьфу, черт — не японские, а русские...

— Русские... За кого он вас мог принять? По мордам видно, что не японцы...

— В том-то и дело. Мы его ждали в квартире. Я и Гера. Эта штука, бомба — мы ее распаковали, и она лежала прямо по центру. Он это видел, когда мы его взяли. Он даже не сильно сопротивлялся. Вырываться стал, когда я взял шприц...

— Все забавнее... Ладно, показывай, что вы добыли...

Панин постучал сложным стуком, а потом отпер дверь своим ключом. Гера неподвижно сидел в позе роденовского Мыслителя над предметом, размерами и формой похожим на пятилитровый молочный бидон. Японский городовой... Я нашарил сзади какой-то стул и сел. Правильно Панин темнил — я все равно не поверил бы. Именно такую форму и размер — пятилитрового молочного бидона — имела японская атомная фугасная мина «Тама»: плутониевая, тротиловый эквивалент восемь тысяч тонн...

— Получилось? — спросил Панин.

Гера молча протянул ему кусок фотопленки — совершенно прозрачный.

— Тогда я ничего не понимаю,— сказал Панин.

— Я тоже,— заметил я.— Нельзя ли чуть подробнее?

— Когда мы ехали,— начал Гера,— в одном месте машины проверяли радиометрами. Я думал — все. Но нас пропустили, хотя вообще-то «Тама» очень сильно светит: до пяти рентген в час. Плутоний, сам понимаешь, а свинца в ней всего двадцать килограммов. Ну, я решил проверить...

— Фотопленкой?

— Да. И получается, что так и есть — никакого излучения.

— Тогда, значит...

— Надо лезть внутрь,— сказал Гера.— Надо лезть внутрь, и все. Плутония там нет, это ясно, а остальное... В общем, ребята, вы пока погуляйте, я вас позову.

Мы отошли от дома метров на сорок и остановились. За деревьями играла музыка и бродили цветные сполохи — там танцевали. Кто-то громко смеялся — громко, заливисто, пьяно.

— Водочки бы,— сказал Панин.— Как твое мнение?

— Не возражаю. Вот сейчас с Герой и возьмем на троих.

— А девочек?

— Не знаю, пьют ли княжны водку.

— Спросим. Она настоящая княжна?

— Ты уже интересовался.

— Ну и что? Я свободный гражданин свободной страны...

— Настоящая.

— Тогда надо будет найти еще двух девочек.

— Подождем, чем там кончится у Геры — может, эта штука оторвет ему яйца...

Мы оглянулись на дом, и мне вдруг представилось: окна вспыхивают магнием, и все вокруг становится черным, и из черного пространства начинают медленно выплывать багровые клочья... Но вместо этого открылась дверь, и возникший на желтом фоне истонченный светом силуэт Геры дал нам понять, что все в порядке.

Все в порядке... Под предохранительной крышкой имелся вполне работоспособный подрывной блок тройного действия, но под блоком не было ничего: колодец, куда помещается собственно заряд, титановый стакан с плутонием и взрывчаткой — этот колодец был до краев наполнен крупной свинцовой дробью...

11.06.1991. 02 часа. Турбаза «Тушино-Центр».

■

— И что бы вы без меня делали? — гордо сказал Панин, входя. В руках у него была картонная коробка, из которой высовывались красные головки бутылок.— Как раз по штучке в ручки.

— Мозель? — недоверчиво вытянул шею Гера.— Где взял?

— И вовсе не мозель. Токай. А где взял... где взял... если все рассказывать, то как раз до утра хватит. Поэтому — давайте просто тяпнем за любовь.

Девочки, которых все тот же Панин подцепил в аллеях: Оксана и Грета — зааплодировали. Гера, как обладатель самой точной руки, руки минера, стал разливать по стаканам. Потом Командор взялся сказать тост.

— Милые дамы и уважаемые господа! Либен дамен унд вертер геррен! Шановни панове! Генацвале! Только что на наших глазах человек совершил поступок, достойный героя античных времен: в этом переполненном людьми Вавилоне, в этой обители кошмаров, где по наступлении темноты спрос начинает резко превышать предложение и в ночном воздухе повисает вполне уловимый аромат совдепии — он добыл, урвал, оттяпал у судьбы чудесный напиток, дар благословенной Паннонии, и принес его сюда, нам, для нашего наслаждения, хотя вполне мог бы выпить все это сам, мы знаем его способности. Но — принес. Что подвигло его на это? — спросил бы недоуменно какой-нибудь законопослушный гражданин республики Иудея. И был бы в корне неправ со своим вопросом, ибо мы-то с вами знаем заведомо правильный ответ: им двигал исконный арийский коллективизм, то есть такое умоположение и миросозерцание, при котором невозможен иной образ действия, как тот, что отражен в древней русско-арийской пословице: сам погибай, а товарища выручай. Отдать другу утром последнюю банку пива — кто на это способен? Вижу ответ ваш на ваших лицах. И потому на землях, заселенных арийцами, которые волей богов и кознями врагов оказались разбитыми на многочисленные племена и народности, часто и без нужды враждующие между собой,— на этих землях возник Интернационал. Мы помним Первый Интернационал, Второй Интернационал, Третий Интернационал, который позже стал именоваться Коминтерном, и, кажется, Четвертый Интернационал... Но беда всех деятелей всех Интернационалов заключалась в том, что, зря в корень, корня-то и не замечали — очевидно, в силу благоприобретенной застенчивости. Это блестяще доказал великий Фрейд, который, хотя и не принадлежал к арийской нации, понимал в людях все. Он понимал и поднимал свой голос, вопия, что главной движущей силой истории является не борьба классов, не национальные претензии и не масонская возня, а сексуальная неудовлетворенность. Именно она заставляет миллионы мужчин сбиваться в армии, брать в руки винтовки, которые представляют собой действующие фаллические символы, захватывать чужие города и делать с побежденными женщинами то, что они не решались делать с собственными женами. Вот в чем корень бед, и поэтому миротворческая, пацифизирующая роль женщин должна заключаться в том, чтобы, пропуская через себя — заземляя на себе, если

хотите — сексуальную энергию мужчин, не допускать использование ее в военных целях. Поэтому я предлагаю прямо здесь и сейчас, не откладывая дела в долгий ящик, учредить Пятый Интернационал и назвать его Сексинтерном...

— Тогда уж сразу Шестой,— предложил я.

— Гениальная мысль! — восхитился Командор.— Сексинтерн Шестой Интернационал! Оставим номер пятый каким-нибудь политическим пигмеям, которых так много развелось на наших просторах в наше беспокойное время. Итак, мы, представители двух, а в ближайшей перспективе трех или даже четырех держав, представители ... так... русского, немецкого, грузинского, украинского и польского народов, провозглашаем свободу и равенство полов и наций в выборе партнеров: во-первых, ограничение зон боевых действий и межнациональных столкновений пределами постелей, во-вторых...

— Тихо! — выдохнула княжна.

Командор замолк, а остальные перестали дышать.

— А-а-а, помогите же кто-нибудь! — донесся голос снаружи.

— Гера, останься,— велел я.

— Помогите, сволочи-и-и!!! — кричала женщина, молодая и, кажется, пьяная.

У Командора действительно был инфракрасный глаз: мы с Паниным еще стояли, озираясь и стараясь хоть что-то увидеть после яркого света, а он уже бежал, и я слышал его голос: что, что случилось? Он там, с ножом, он заперся! Где? Кто заперся? Мы с ним были, а потом он схватил нож, я успела, а Верка с Олей там остались...

Девочка была в куцем халатике и вся дрожала. Там, там, вот этот дом... Окно, выходящее на аллею, было занавешено, за шторой горел свет. Серега, под окно! Руки в замок! Командор пошел первым: разбежался, оттолкнулся ногой от «замка» Панина и, перевернувшись так, чтобы выбить стекло спиной, влетел в окно. Я рванул следом. Панин бросал сильно, как катапульта, я приземлился посередине комнаты и чуть не упал, поскользнувшись на чем-то жидком, позади Командор выпутывался из штор, а передо мной, в углу, сжавшись, как рысь, готовился прыгнуть огромный голый парень... прыгнул с места, головой и руками вперед, в левой нож. Я сместился вправо, блокировал опасную руку и ударил ногой в корпус, он отлетел к стене и тут же, как резиновый, вскочил на ноги. По идее, он должен был остаться лежать, потому что у него было сломано три или четыре ребра, плюс неизбежный висцеральный шок, но он вскочил — а это значит, что он под хинком. Да, под хинком — термоядерная эрекция... это плохо, отключить его не удастся, придется просто грубо ломать. Он опять прыгнул, и теперь я, нацелившись на руку с ножом, вцепился в нее, грохнулся на пол, но нож отобрал, а предплечье сломал. Другой рукой он лез мне в лицо — эту руку я завернул ему

за спину и вывихнул сначала в локте, потом в плече. Подоспел выпутавшийся из сетей Командор, мы связали парня проводом от настольной лампы. Глаза его смотрели только прямо, на губах пузырилась желтая пена.

— Хинк,— сказал Командор.

— Ага. Слушай, ты весь в крови...

— Ты тоже.

Я провел рукой по щеке, щека была липкая. Что за... Пол был залит кровью.

— Игорь,— хрипло сказал Командор,— смотри сюда.

Возле кровати с измятыми, скомканными простынями под ковром лежало что-то длинное, Командор приподнял край, я посмотрел и отвернулся. На подоконнике на коленях стоял Панин.

— Позвони в полицию,— сказал я ему.

— Уже позвонили... слушай, а где третья?

— Кто третья?

— Третья девочка. Их же три было.

— Черт, точно...— Я огляделся, вышел на веранду. Проверил двери. Дверь в душевую была заперта изнутри.— Эй, откройте! — громко сказал я,—полиция! — Молчание.— Откройте, уже все в порядке.

Молчание, шорох. Ладно, плевать, сама девица была мне неинтересна, главное, что она жива и что она здесь — я повернулся, чтобы уйти, и тут дверь будто взорвалась. Я еле успел перехватить руку — страшные скрюченные пальцы, но вторая рука вцепилась мне в щеку, глубоко вонзились ногти, и я чудом спас глаз, но, наконец, завернул этой гарпии локти за спину и, с огромным напряжением удерживая их так — она билась, как дикий зверь,— стал наклонять, сгибать ее вперед, чтобы уберечь лицо от ударов ее головы, и тут ей сразу — хинк! — страшно захотелось, она прогнула спину и стала втираться в меня задницей: На, на меня, стонала она, ну, где же ты?... Командор, помоги, крикнул я. Вдвоем мы ее кое-как скрутили. Козлы вонючие, орала она, друг дружку дерете, а на бабу у вас и не встанет! Подъехала полиция, сразу три машины. Теперь надолго, сказал Командор, ребята основательные...

— Криминальная полиция, лейтенант Шмидт,— подошел к нам офицер.

За спиной его белой тенью моталась позвавшая нас девочка; кто-то сердобольный одолжил ей купальный халат.— Что тут произошло?

— Собственной персоной,— пробормотал я, не в силах одолеть дурацкую усмешку.— С флота вы ушли?

— Простите?..

— Нет, это я так, болтаю... Вот, лейтенант, утихомиривали этого парня. Она нас позвала...

— Подробнее, пожалуйста. Вот сюда, в микрофон...

Комната наполнялась полицейскими — в форме и в штатском. Засверкали вспышки. Кто-то откинул ковер, я не успел отвернуться. Длинная тонкая девочка, очень молоденькая, с короткой стрижкой. Лицо изрезано все, нос висит на лоскутке кожи, голова откинута, и зияет огромная, от уха до уха, рана на горле. Отрезана грудь, и великое множество колотых ран: на груди, на животе, на бедрах. И страшно, клочьями, изрезаны ладони — хваталась за нож... Красный свет вдруг стал нестерпимо ярким, меня повело вбок. Сейчас, сказал я. Ощупью дошел до туалета — вырвало. Перебрался в душ, стал пить воду, потом сунул голову под кран. В глазах плыли лиловые круги. Лейтенант Шмидт ждал. Давайте выйдем на воздух, сказал я, я тут не могу больше, я тут сдохну... Что-то творилось со мной, и надо бы было пойти и отлежаться, но вот — полиция...

Девочка Тамара, которая тоже увидела все это, лежала в обмороке, и над ней хлопотал полицейский врач. Потом он вколол ей что-то и сказал, что пусть полчасика полежит, а там можно будет с ней и побеседовать. Ладно... Пока что я рассказывал лейтенанту Шмидту все, что знал, видел и делал. И вы побежали на помощь, зная, что преступник вооружен? — усомнился он. А что оставалось делать? В конце концов, учили же нас чему-то. А в каких вы войсках служили? В егерских. И давно? Шесть лет, как списали... вру, семь. И не разучились с тех пор? Разучился? А вы знаете, какая у нас система переподготовки? Нет... слышал кое-что, но... У нас один месяц в год и один день в месяц — сборы. Так что разучиться довольно трудно. Разумно, похвалил он, разумно. А правда, что ваши резервисты все оружие держат в доме? Правда, сказал я, автомат, патроны, гранаты — в опечатанном ящике. После шестьдесят шестого года ввели такой порядок. Значит, ваше правительство доверяет народу, задумчиво сказал он. Иногда доверяет, согласился я. А скорее — просто платит за верность. Каждый резервист получает избирательный коэффициент «3» — его голос считается за три голоса простого штатского избирателя. Интересно, я и не знал, сказал лейтенант. Наверное, это разумно...— он задумался. А вот и девочка наша очнулась...

Глаза у девочки были слегка остекленевшие, а голосок слишком ровный. Она с подругой, той самой Веркой, которую... вот... они приехали из Вятки на бек-фестиваль, должен был проходить в Лужниках, но их всех оттуда погнали, и теперь непонятно что будет, вчера познакомились с Лавриком и Олей, пошли к ним слушать музыку и вообще, и Лаврик сказал, что мы ему нравимся, а Оля сказала, что он такой, что одной женщины ему всегда мало, и они остались, сначала все было очень мило, а потом стали пить из бутылки, прямо из горлышка, что-то очень горькое, она так и не смогла это проглотить, а те напились и стали сходить с ума, делали

такое, что и сказать невозможно, а потом стало просто страшно, они царапались, резались и сосали друг у дружки кровь, она хотела убежать, а ее не пускали, но потом она все-таки убежала...

11.06.1991. Около 7 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

Я открыл и тотчас же закрыл глаза: княжна стояла на коленях в углу перед крошечным образком, из тех, что носят на шее, и шептала что-то, задыхаясь от этого шепота. Мне нельзя было видеть это. Никому нельзя было этого видеть. Вряд ли я проспал больше часа, но тело затекло, брючный ремень глубоко врезался в кожу. Изо всех сил я старался не шелохнуться, не сменить дыхание. Безумная ночь. Самая безумная из всех безумных ночей...

Мы вернулись, и Командор объявил, что по случаю славной победы над случайным противником пленарное заседание Сексинтерна прерывается для работы по секциям и что, согласно духу и букве Манифеста, провозгласившего равенство полов в выборе партнеров, сегодня такое право предоставляется женскому полу, и княжна тут же подошла ко мне, подала руку и посмотрела в глаза — так глубоко, что заныло несуществующее сердце.

Только ничего не говорите, прошептала она, когда мы остались одни и я запер дверь,— ничего... ничего... Мы стояли в полной темноте, взявшись за руки, и молчали. Что-то творилось... Зачем, шептала она, зачем все так, для чего? Кто-то играет нами... Я не плачу, говорила она, когда я пытался вытереть ей слезы, я не плачу, не плачу, не плачу. Мы сидели рядом, я обнимал ее за плечи, а потом оказалось, что лучше лечь, и мы легли, и я продолжал обнимать ее — просто чтобы было теплее, и уютнее, и спокойнее, и надежнее, а она говорила не умолкая, что-то давнее, темное, тяжелое изливалось из нее, как в школе учитель немецкого высмеивал ее акцент, он не смел наказывать ее, как детей простых фамилий, но тем гнуснее были его насмешки, и как арестовали отца, вывесившего на доме национальный флаг с траурной лентой на Пятое марта, и какой ужас был в Телави: женщины вставали в цепи перед танками, они думали, что танки не пойдут по живым, а танки пошли, там погиб ее жених, бросился на танк с канистрой бензина и факелом и сгорел вместе с танком, а сама она там впервые убила человека, солдата-немца: дала затащить себя в темный подъезд и застрелила из револьвера, из старенького, оставшегося после отца нагана, потом у них организовалась группа: она и еще одна девушка-армянка заманивали солдат и офицеров на квартиру, а парень, прятавшийся там, душил их тонким тросиком, так они убили одиннадцать человек и провалились на двенадцатом, видимо, их уже давно ловили и этот двенадцатый был подсадным, и тогда только чудо спасло ее: она

спряталась за створкой двери черного хода, и ее не заметили... ее друзья отстреливались, а она стояла, безоружная, и ничем не могла им помочь. Потом она познакомилась с Грифом, и Гриф сделал ее настоящим бойцом.

Я что-то говорил в ответ, а потом неожиданно стал читать Лермонтова, оказывается, я еще многое помнил: Кавказ! далекая страна! Жилище вольности простой! И ты несчастьями полна и окровавлена войной!...— ...И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови...— ...И божья благодать сошла на Грузию! Она цвела с тех пор в тени своих садов, Не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков...— а это прочла она, прочла и заплакала опять, одиночество, вы понимаете, такое вселенское одиночество, а казалось, что — братья! Тогда и было так, наверняка, так и было, но так давно, так давно, с тех пор все поменялось, все изменилось, и уже не братья, уже каждый сам по себе, и — одиночество... Наш народ совершенно одинок в этом мире, непостижимо одинок, этого нельзя понять, нельзя объяснить, и только иногда, почувствовав, находишь слова, но эти слова не переводятся на другие языки. Душа народа не переводится, и не переводится боль души, и одиночество, и разочарование в тех, кто называл себя братом, а делался хозяином... или вел себя как хозяин... Девочка, говорил я, да разве же в этом проклятом мире есть хоть один народ, который был бы счастлив? Который был бы не обижен? Русские — разрезанные по живому, натасканные друг на друга, и еще неизвестно, что будет вот-вот? Немцы, которым вдруг забыли все хорошее и припомнили все плохое, которых проклинают на каждом углу и скоро начнут резать за то только, что немцы? Или поляки, извечные анархисты, и им любая власть хуже рвотного? Или армяне, которых уже почти не осталось? Французы, вспомнившие, что были когда-то великой державой? Евреи, со всего света свезенные на несчастный пятачок — фактически в огромное гетто? А чем им хуже, чем нам? — спросила княжна. Я знаю, они недовольны, но чем им хуже? Свое государство со своими законами, свой дом... не улей и не небоскреб... За гранью дружеских штыков, напомнил я. Ах, это...— она отмахнулась. А что, Грузия была бы довольна таким же статусом, как у Иудеи? Как у Иудеи, у государства Турана?.. Довольна? — переспросила княжна. Довольна... какое нелепое слово... Впрочем — да. Для начала. Тогда — да здравствует Грузия! — провозгласил я. Я так давно не плакала, сказала она, вытирая слезы, я думала, что разучилась, и вдруг — такое наводнение... Мы случайно сведены судьбою. Мы себя нашли один в другом, И душа сдружилася с душою, Хоть пути не кончить им вдвоем!.. Я рожден, чтоб целый мир был зритель Торжества иль гибели моей... — я читал и читал, передо мной раскрывались листы

книг, я не подозревал, что помню так много: По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел; И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песне святой... Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез; И звук его песни в душе молодой Остался — без слов, но живой. И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли... Наверное, так оно и есть, шептала княжна, наверное... я чувствую иногда, что такое было со мной... а вы? Не знаю, сказал я, если и было, то я чересчур хорошо научился не помнить этого. Зачем? Не знаю... казалось, будет легче. Только казалось? Мне не с чем сравнивать... с собой — другим, каким был раньше? Или мог бы быть... Есть другие миры, убеждала меня княжна, и в них живем мы же — но иные, настоящие, чистые,— но для того, чтобы эти миры сохранились, мы здесь должны быть такими, какие мы есть сейчас... непонятно? Нет, все понятно, все очень понятно, как мне хотелось бы, чтобы все было именно так! Все и есть именно так, мы выкупаем здесь их безмятежность там... Наверное, я тоже буду в это верить, сказал я, это очень здорово, это как раз то, во что я поверить способен. А в бога? Нет, сказал я, не хочу... у меня слишком много претензий к нему. Я верю, сказала княжна, верю в бога-творца, который бессильно смотрит на мир, созданный им когда-то, и в Христа, сына человеческого, однажды собравшего на себя все грехи мира и унесшего их Господу... рассказать, что там было на самом деле? Вы знаете это? — удивился я, откуда? Просто знаю... просто поняла, как это было... как должно было быть, чтобы случилось то, что получилось... Рассказать?

— Да,— сказал я.

— Иисус вовсе не был божьим сыном,— сказала княжна.— Он был нормальным мальчиком в большой семье плотника. Ему и самому предстояло стать плотником... времена были смутные, семья бежала в Египет, вернулась... Иосиф работал, Иисус помогал ему, он уже многое умел, он был способным мальчиком... так бы все и шло, но умер Август, а в провинции было неспокойно, и однажды несколько еврейских мальчиков напали на римский патруль и убили солдата. Их тут же схватили, а может быть, схватили других — какая разница? По закону их должны были передать местным властям, а те — осудить на смерть, на побивание камнями. Но слишком неспокойно было в провинции, и комендант сделал вид, что не слишком силен в тонкостях законов... На территории гарнизона действовали законы Рима. Комендант послал за плотником, привели плотника с подмастерьем, и комендант — сам или через кого-то из подчиненных — велел им изготовить по чертежам три креста для распятия. Им дали дерево и инструмент... а может быть, инструмент они принесли с собой... Римский крест для распятия, изготовленный по всем правилам, не так уж прост: там и блок для поднятия перекладины, к которой приколачивают руки, там и специальный колышек, на кото-

ром распятый как бы сидит — потому что иначе, виси он только на руках, дыхание остановится через три-четыре часа — слишком быстро, по мнению римлян... Плотники сделали то, что от них требовалось. Комендант посмотрел, остался доволен и велел хорошо заплатить за работу: по десять серебряных тетрадрахм за крест. Мальчиков распяли. Они мучились несколько суток — как и положено по римской процедуре казни... Иисусу было четырнадцать лет. Он рос — и вдруг обнаружил, что случай этот растет вместе с ним. Проходили годы, а из памяти ничего не стиралось. Хуже того: стиралось все остальное, а это — занимало освободившееся место. Иисус не мог больше смотреть на плотницкий инструмент. Братья и сестры раздражали его. Мать казалась мелочной мещанкой. Отец чуть ли не преступником. Стоило побыть немного в тишине, и в ушах возникал тот звук, что исходил от распятых мальчиков и который мог бы быть стоном, если бы у них оставались силы стонать. Он пытался пировать с друзьями — это было еще тяжелее. Он просил совета у раввинов — они не понимали его. Тогда он уходил в пустыню — специально, чтобы слушать этот звук. Он понял в пустыне, что бог избрал этот способ, чтобы говорить с ним. И понял, что именно он должен делать... потому что — и это он тоже понял в пустыне, каждый из живущих отвечает за все. За все, что происходит в этом мире. Да, он должен собрать у людей их грехи, предстать перед богом и сказать: боже, мы ведь не просили тебя создавать нас, ты сделал это по собственной прихоти, так почему же теперь ты отвращаешь лицо свое от нас? Мы — образ твой и подобие, значит, наши грехи — это и твои грехи, и ты, когда смотришь в нас, смотришься в зеркало; так на, возьми себе грехи наши, ибо люди виноваты лишь в том, что пришли в этот мир такими, какими ты сотворил их. И Иисус ходил и проповедовал среди людей самых низких, среди бродяг, мытарей и блудниц, чтобы собрать на себя их грехи, и многие ходили с ним, и среди всех — его двоюродный брат Иуда и Симон по прозвищу Петр, то есть камень. Помните, что все вы есть образ и подобие божие, говорил Иисус, так будьте же достойны того: прощайте врагов ваших, не противьтесь насилию, ибо волос не упадет с головы без воли Божьей, и не блудите даже в помыслах ваших... Так он шел, приближаясь к Иерусалиму, где и должен был завершиться путь его. Была Пасха, день освобождения из египетского плена, день, когда следовало ждать нового мессию. И тогда Иисус открыл свой страшный план тем, кому верил, как самому себе: Иуде и Петру. Ему долго пришлось убеждать их и доказывать, что без этого последнего, смертного шага все прочее — напрасно. Наконец, он их убедил. Иуда пошел и донес на него, что он называет себя царем Иудейским, а Петр свидетельствовал о том перед судом синедриона, потому что по закону никто не может быть обвинен, если против него не будет двух свидетелей. Остальное известно. Иисус взошел на крест и принял ту смерть, которой желал, Иуда отправился вслед за ним, а Петр сумел избежать подозрений и проповедовал именем Иисуса еще

много лет... Бог принял искупительную жертву Иисуса, назвал его своим приемным сыном и пообещал потом, когда в мире все придет к концу, разобраться с каждым в отдельности и каждому воздать по делам и вере его. Пока же, сказал Бог, вмешательство нежелательно, потому что каждый случай проявления божественной воли лишь усугубляет страдания людей, и с этим уже ничего поделать нельзя, такова структура этого мира; а потом Иисус — если у него сохранится это желание — может создать свой новый и прекрасный мир, такой, каким он его себе представляет. Бог поможет ему в этом деле...

Гордая история,— сказал я.— Да, так оно и было... Так оно и было, подтвердила княжна, я вздохнул: Гордая история... не было никакой ночи, вечерние сумерки, утренние сумерки, и ничего между ними, солнце,— сказала княжна, солнце, оранжевый лучик косо пополз по стене... новый день, девочка, новый день... еще один день, подаренный нам для наших злодейств... Спасибо,— сказала княжна. Помилуйте, за что? За то, что не стали меня... Соблазнять? догадался я. Да, сказала она, вам ведь хотелось? Хотелось. Мне тоже, сказала она. Только почему-то нельзя было, вы чувствовали? Да. Все это странно и не понятно... А разве есть что-нибудь не странное и понятное? — спросила она. Пожалуй, нет... Орали вороны. Немыслимое воинство «московских соловьев», серых ворон, встречало возвращение светила. Что-то есть в них зловещее, сказала княжна. Да, согласился я, к этим птицам подошел бы набатный звон и зарево на все небо. И летящие черные хлопья бумажного пепла, сказала княжна. Видели? Да. Видела. Видела... Зачем вам все это? — спросил я. Не знаю, сказала она, почему-то не получается по-другому... можно, я повернусь чуть-чуть? Мы так долго лежали неподвижно, что перестали чувствовать свои тела. Она отстранилась слегка, повернулась на спину, лицом вверх. На щеке отпечатался уголок воротника моей рубахи. Наверное, в этот миг я и уснул. Проснулся, ощущая боль от врезавшегося в тело ремня — и острое, пронзительное чувство то ли непоправимой ошибки, то ли огромной утраты — одно чувство, без предмета его; это было так сильно и внезапно, что жаром охватило лицо и руки — и сердце, замерев, забилось сразу в третьем режиме. Я лежал, не шевелясь, не меняя ритма дыхания, но воздух надо мной дрожал, как над горячей крышей...

11.06.1991. 10 часов. 30 минут. Улица Черемисовская, 40. Фирма «ЮП».

■

— Ты как адмирал Нельсон,— сказал я.— Главное — ввязаться в схватку, а там — Бог поможет Англии.

— Кац-Нельсон,— поправил меня Командор.— Да, прадедушка Хаим был бы таки доволен этим сравнением, нет?

Прадедушку Хаима Командор выдумал. Он чернявый — так что, может быть, и течет в нем еврейская кровь. А может быть, армянская. Или ассирийская. Он сирота — как почти все актеры «Трио». Он даже не знает, откуда взялась в метрике эта его фамилия: Резанов. Крупицыны вот знают... Похоже, поэтому в нем просыпается время от времени национальная озабоченность. А может, он и впрямь потомок того самого командора Резанова, врага и соратника Крузенштерна?..

Интересно, что Командор уверен, будто привлечение в «Трио» сирот объясняется только экономикой: не надо потом платить пенсий. Я пытался рассказывать ему об янычарах, но он не очень-то слушал.

Панин потряс сигаретной пачкой, порвал ее, заглянул внутрь, потом вопросительно обвел глазами нас; я отдал ему свою. Панин закурил и откинулся на спинку стула. Стул угрожающе заскрипел.

— По-моему, Пан,— сказал Панин, скося глаза на сигаретный огонек,— ты сам отворачиваешься от своих же правил. Необходимый минимум информации мы имеем,— он кивнул подбородком на стопку личных карточек,— а все остальное — это праздное любопытство...

Я курил и смотрел на них обоих. Конечно, они были правы. И по форме, и по существу. Нам нужно сорвать покушение, обеспечить безопасность четверки — все прочее не наше собачье дело. Но, но, но... Что-то не давало покоя. Эти триста миллионов в сейфах «КАПРИКО», о которых сообщил Феликс? М-м... а что мне до них?

— Где у нас карта? — спросил я.

Панин подал карту.

Так... Здесь найдена псевдобомба... здесь и здесь — еще две квартиры, снятые «пятимартовцами»... Это — посольство Союза Наций, это — Сибири. Это — «КАПРИКО» со своими сейфами... Не может же быть случайным то, что все они расположены на пятачке диаметром полтора километра?

— Сколько могут весить эти триста миллионов наличных? — спросил я Командора.

— Тонны две,— сразу же ответил Командор.— Крупными купюрами, разумеется.

— Крупными... крупными... конечно, крупными! О, черт! Парни, я все понял. Смотрите сюда: завтра кто-то звонит в гепо, в бургомистрат — неважно — и говорит, что в окрестностях сибирского посольства установлена атомная мина. Что делают власти? Эвакуируют население и ищут мину. Находят. Прежде чем всех не эвакуируют, за обезвреживание саперы не принимаются. Так? За все это время — сколько пройдет? Час, два, три? — можно вскрыть десяток сейфов. Что дальше? Надо вывезти — две тонны бумажек. Как? Ясно — повязать саперов и в их форме, на их машине, при мигалках, при полицейских мотоциклистах... понятно. Но это еще не все! Встреча четверки назначена на полдень. Утром они слетятся... ладно. Если в городе будет объявлена атомная тревога, их же спустят в

бомбоубежище — а как раз под Иглой проходит туннель Внешнего кольца метро... и вот здесь он тоже проходит! — я ткнул пальцем в то место Лосиноостровского парка, где густыми штрихами отмечены были челночные рейсы легковушек.

— Внешнее же кольцо затоплено,— сказал Панин.

— Ну и что? Если заряд от мины есть...

— Ребята,— сказал Командор,— а ведь может оказаться, что мы опоздаем...

— Да,— согласился Панин.— Тем более надо убирать всех сегодня.

— Я думаю так же,— сказал Командор.— Времени уже нет. И потом не забывай — на нас в любую секунду может наткнуться гепо. И тогда вообще — все.

— Анекдот про обезьяну помнишь? — спросил Панин.

— Про шкурку банана?

— Нет. «Не надо думать, надо трясти».

— И впрямь про нас.

— Про нас.

Я разворошил стопку карточек. За сутки она пополнилась еще четырьмя выявленными террористами. Фотография грузового фургона, взятого ими в прокате. Фургон второй день стоит на охраняемой стоянке в трех километрах от Иглы. Впрочем, дальность боя сташестидесятимиллиметрового миномета, состоящего на вооружении Русского территориального корпуса и используемого, в числе прочего, для стрельбы атомными минами, составляет семь с половиной километров... Ладно, грузовик можно просто сжечь. Банальной бутылкой с бензином — Командор бросает их на восемьдесят метров. А вот всех этих ребят придется убирать голыми руками... или почти голыми.

— Слушай,— сказал Панин,— а может, все не так? Возьмем этот муляж бомбы... Нодар звонит на квартиру, ему не отвечают, он звонит еще, потом посылает туда Иосифа. Иосиф видит, что нет ни бомбы, ни парня. Возвращается к Нодару, вместе они звонят в разные места, наконец, в кассы, и узнают, что этот парень взял билет в Бейрут. Но в аэропорт, чтобы узнать, улетел ли он, они уже не звонят. Что, уверены, что улетел? А по-моему, наоборот: они знают, что на дорогах радиационный контроль, а мина светит — и не проскочить... То есть они сами не подозревают, что мина свинцовая...

— Думаешь, если бы они знали об этом, то позвонили бы в порт?

— Думаю, да.

— То есть кто-то их с этой миной надул?

— Скорее всего, так.

— Интересный оборот... японские болваны... да.

— Чуешь, чем пахнет?

— Надувными танками пахнет... Но все равно — нам надо доделывать дело.

— Придется.

— Придется, Сережа... А мне придется постоять в сторонке и подождать, пока вы там ковыряетесь.

— Не самая худшая участь.

— Да. Ладно, тогда я съезжу сейчас в Лосиный Остров, посмотрю там на месте, что и как. Оттуда вернусь на турбазу, отпущу Крупицыных. Ну, а вы — можете начинать.

— Как Яков скажет,— усмехнулся Командор.— Он теперь главный...

В подвале Гера возился с правой передней дверью нашего «зоннабенда». Мы потому так любим «зоннабенд», что в нем огромное количество мест, где можно устраивать тайники — причем такие тайники, что без автогена не доберешься, если не знать, как они открываются. В каждой дверце, например, можно спрятать по паре пистолетов, при этом даже заводские пломбы остаются на месте. Достать же пистолет можно секунд за пятнадцать. Я перекинулся с Герой парой слов, взял большую канистру с «лешачьим бензином» — жидкой взрывчаткой очень неплохой мощности, по запаху и консистенции действительно почти неотличимой от бензина,— и взрыватель к ней. Яков сидел в своей конуре.

— Ну, как? — спросил я.— Скоро?

— Уже почти все. Шлифую. А что, надо быстро?

— Нормально, Яков. Не суетись. Времени у нас вагон — делай хорошо.

Времени у нас на самом деле почти не оставалось, но на этой работе его экономить не следовало: Яков синтезировал голоса Нодара, Иосифа и княжны. Примерно такую фразу: «Молчи и ни о чем не спрашивай. Выходи из дома, тебя ждет машина. Делай все, что тебе скажут...» Что-то в этом духе. Командор у нас большой спец по убедительным текстам. От того, как убедительно получится это после перевода и обработки на Яковом раухере, зависит наш успех — а также целость шкур и Командора, и всех остальных...

— Где там у нас Валечка? — громко позвал я.

— Ту-ут...— тоненький голосок из-за штабеля коробок.

— Минута на сборы. Форма одежды охотничья...

11.06.1991. 13 часов.45 минут. Лосиноостровский парк.

■

Валечка оказалась куда лучшим следопытом, чем я: это она заметила слегка примятый и надломленный по низу куст. Похоже, волокли что-то тяжелое. Если бы не этот след, мы так ничего и не нашли бы: бетонная крыша этой будки, или колпака, или как его еще

назвать? — была вровень с землей, заросла мохом, и с трех шагов ни черта не было видно. Яма, в которой этот колпак стоял, окружена была кольцом ломкой прошлогодней травы, и тут «след волочения» виден был отчетливее. Яма как раз скрывала человека, а между земляным ее краем и стенкой колпака промежуток не превышал одного метра. Валечка осталась на стреме, я полез в яму. Пришлось встать на четвереньки, чтобы увидеть это отверстие, примерно шестьдесят на сто, забранное толстой решеткой. Судя по царапинам на темной ржавчине, решетку недавно снимали. Я просунул между прутьями булыжник и отпустил его в свободный полет. Раз... два... три... плюх. Метров сорок — и вода. Хорошо... Я сходил к машине за канистрой и шведским ключом. Болты, на которых крепилась решетка, были хорошо смазаны. Я поставил взрыватель на двухчасовую задержку, просунул его в горловину канистры, намертво запер канистру и бросил ее туда, вниз. Гросс-плюх! Поставил решетку на место. Атас, прошептала Валечка, солдаты! Это было хреново. Извиваясь, как змеи, мы ползком пробрались сквозь кусты, стараясь как можно бесшумее и как можно дальше убраться от колпака. Наконец мы решили, что отползли достаточно, обнялись и начали целоваться, изображая романтически настроенную парочку. В этой имитации любострастия мы зашли уже достаточно далеко, когда, наконец, над нами раздалось дружное жизнерадостное ржание и посыпались советы нам обоим. Патруль состоял из четырех солдат и офицера. Судя по акценту, солдаты были венграми, офицер — баварец. Валечка изображала дикий стыд, я — бессильную ярость. В ответ на мою гневную тираду о том, что скоро к каждой койке поставят по солдату с автоматом, офицер поощрительно похлопал меня по плечу: уходим, уходим, ничего не поделаешь, государственная служба. А то бы мы тебе помогли. Так что задай ей перцу от нашего имени. Кстати, там ваша машина? Где? Во-он там. Должно быть, наша, а что? Ничего, просто уточнил. Так что — успехов вам обоим в вашем нелегком деле... Они двинулись дальше, оглядываясь и делая поощрительные жесты. Продолжим? — предложила Валечка. Я посмотрел на часы. Некогда, некогда, надевай трусы и в машину. Чертовы гансы, сказала Валечка, всю малину обгадили. Какие же они гансы, когда они венгры? — сказал я. Все одно гансы, сказала Валечка, змеей вползая в свои узкие обтягивающие брючки, помнишь, как у Гоголя? В машину, в машину, торопил я. Что, неужели эта чернявка лучше меня? — Валечка, если можно так выразиться, всем телом сделала непристойный жест; ее маленькие, с лимон, грудки возмущенно топорщились. Что-о? Да не делай такого лица, сказал Валечка, поворачиваясь, видела я, как ты на нее смотрел... Глупости какие-то городишь, сказал я ей в спину. Черт-те что...— Голос у меня был немыслимо фальшивый.

11.06.1991. 15 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

— Алло, справочная? Дайте мне, пожалуйста, номер телефонной станции сто семьдесят первой. Да, да, аварийную службу. Спасибо, запомнил. Спасибо...

Я набрал шесть цифр, до кнопки «7» дотронулся, но не вдавил ее; естественно, никакого соединения ни с кем...

— Алло, аварийная? Я не могу дозвониться по телефо... что? Вас плохо слышно. По телефону сто семьдесят один — шестьдесят пять — шестьдесят пять... Да. Не понял. Что? Как это нет контакта? Что? Несколько часов? У меня срочное дело, я не могу ждать несколько часов. Да, именно убытки. Да, предъявлю. Да. Хорошо. До свидания.

Я положил трубку и повернулся к княжне. Она, наклонив голову, стояла у окна.

— Я все слышала,— сказала она.— Но как же это не вовремя, о, боже...

— Предлагают воспользоваться услугами телеграфа — за счет телефонной компании,— сказал я.— Но, думаю...

— Нет-нет, это не годится... это совсем не то...

— Вряд ли это гепо,— сказал я.— Они предпочитают устраивать телефонные засады.

— Кто знает? Может быть, им проще прервать связь... перекрыть дороги?..

— Вообще-то на их месте я бы так и сделал. Но, Кето... не поймите меня как-нибудь не так... неужели нет какого-нибудь запасного канала связи?

— Есть,— сказала княжна.— Но еще не время прибегать к нему. Нет ведь никакой спешки, не так ли?

— Спешки пока нет...

— В конце концов, у Грифа есть возможность самому связаться со мной.

— Об этом мы не договаривались.

— Не беспокойтесь, Игорь, это одноразовая и односторонняя связь... условный сигнал.

— Об этом я должен был догадаться... Впрочем, все это действительно неважно.

— Пан,— подала, как и условливались, голос Валечка.— А не сменить ли нам географию?

— Географию... географию... можно и географию.

Я разыгрывал нерешительность — я и на самом деле ее испытывал. Мне вдруг остро разонравился первоначальный — мой же — план: накачать княжну наркотиками и держать в подвале у Ганса до тех пор, пока не появится возможность вывезти ее в Сибирь. И вот

сейчас я на ходу решал, как сделать так, чтобы наша группа тоже «погибла» и мы с княжной остались вдвоем в Москве — с перспективой безумного романа на краю братской могилы и моего форсированного внедрения в систему «Пятого марта»... И в этом случае Валечка была третьей лишней — не только как ревнивая соперница — ха! — а, главным образом, как «человек без паспорта». До сих пор никому еще не удалась полноценная подделка паспортов Рейха, и в нашей группе только я и Командор имели документально обеспеченные легенды и могли не опасаться проверки любого уровня. Валечка же имела только сибирский паспорт, что не вызывало бы подозрений, будь она лояльной гражданкой; но террористка из Сибири — это уж слишком. Тарантул как-то философствовал на тему идеальной паспортной системы. Конечно, в Рейхе трудно работать, говорил он. С тех пор, как стало невозможно подделать паспорт, или жить по чужому паспорту, или без паспорта, классическая конспирация потеряла смысл. Зато, когда паспорт Рейха удается все-таки добыть — это сложная, многоходовая, ювелирная, штучная, безумно дорогостоящая операция,— то обладатель его получает настоящую шапку-невидимку: любой проверяющий поверит тому, что есть в паспорте и в памяти паспортного раухера — пусть даже вопреки бьющей в глаза реальности... В принципе, Валечку уже можно отправлять домой, свое дело она сделала...

— Давай-ка съездим к Гансу,— сказал я.

— Я переоденусь,— сказала княжна.

Она скрылась в своей комнате. Я наклонился к уху Валечки.

— Все меняется,— прошептал я.— Ты летишь домой — прямо сейчас. Я тебя высажу у аэропорта. Выходя, скажешь мне: через час у Ганса — и, естественно, не придешь.

— Ты переигрываешь, Пан,— покачала головой Валечка.

— Я просто делаю другой ход.

— Как знаешь.

Мы замолчали. Валечка, хмурясь, смотрела куда-то в угол. Вошла княжна, в черной юбке и белой кружевной блузке — купила в той же лавочке, где и знаменитый купальник с рукавами. Но на этот раз стиль десятых годов оказался к лицу.

— Я готова,— улыбнулась она.

— В путь.

Машину, которая нам осталась, брал сам Венерт, автомеханик милостью божией, и я сразу отметил это. «Хеншель-адажио», семидесятого года, драный и мятый — но мотор! Но подвески! Мы выпорхнули на шоссе и полетели к городу, почти не касаясь асфальта.

Но прямым путем к аэропорту нам не дали проехать: примерно в полукилометре от коммерческого центра «Норд» Питерская была перекрыта танками, и всех сгоняли на Хорошевский проспект, с которого не было съезда до самого Пресненского узла, там мы

покрутились по лепесткам, пытаясь выскочить на Питерскую, но ничего у нас не получилось: аэропорт был прикрыт со всех сторон. Да, пожалуй, не следует лезть туда очертя голову... И вообще — можно уехать в Питер или в Нижний, а уж оттуда потом...

Я крутил руль, жал попеременно то газ, то тормоз, перепрыгивал из ряда в ряд, сквозь синюю пелену вглядывался в обезумевших дорожных полицейских, пытаясь угадать их следующие жесты, сделать так, чтобы оказаться там, куда я хочу попасть — а между тем внутри меня рождалось и сомораживалось в тяжелый лед глухое, безнадежное отчаяние, и рука непроизвольно тянулась к приборному щитку: включить «дворники», смахнуть, протереть все это, перед глазами, что мешает, застит, не дает увидеть, не дает проехать... Наконец, нас вынесло на зады геринговского Культурного центра, в тихий переулок, прямо к открытым боковым воротам грандиозной подземной автостоянки.

Пешком, оно надежнее... Рассуждая на эту и сопутствующие темы, под рукой с двумя обаятельнейшими девушками видимой стороны земли, я и не заметил, как угодил в ловушку: переулочек, выходящий на Садовую рядом с сибирским посольством, оказался забит народом, мы полезли сквозь толпу, на нас зашикали, и волей-неволей пришлось снизить темп и слушать, что говорят. Над головами лениво шевелились трехцветные флаги, было несколько плакатов: «Россия — россиянам», «Толстой! Скажи мне, кто твой друг...», «В единстве — сила». Еле видный над головами, лысый человечек яростно кричал, доносились отдельные слова, понять общий смысл было невозможно. Впрочем, «Великая нация» у него получалось очень четко. Что он говорит, что? — подпрыгивал рядом со мной парень в спецовке. Спроси что полегче, посоветовал я. Они у него, гады, всегда микрофон отключают, сказал парнишка и полез в толпу. «Гуманный и демократический национал-социализм — это...» — донеслось до моих ушей. Таща за собой девочек, я стал продираться по бритому пролетарием проходу... Продвижение проходимца... Просто проницательно... Наконец, мы вырвались на тротуар Садовой.

Здесь было ничуть не просторнее. Перед посольским фасадом на тротуаре и узкой полоске бывшего газона — еще два года назад здесь был шикарный газон с полевыми цветами и какими-то экзотическими елочками, карликовыми соснами и стелющейся полярной березкой — на этом пятачке собралось тысячи две московского люда. Вдоль ограждения тротуара цепью стояли полицейские в защитных шлемах и наплечниках, с дубинками в руках; на стоянке машин виднелись три узколобые морды серых тюремных автобусов.

Между тем у трибуны — или на чем там они стояли? На ящике, бочке, лотке мороженщика? — то есть шагах в десяти от нас, началась возня. Кого-то не пускали, кого-то вталкивали наверх. Вот он

возвысился: красная круглая морда под нашлепкой черных слипших-ся волос. Голос не в пример сильнее, чем у лысого, никакой микро-фон не нужен. «Сограждане!!!» — даже не надсаживаясь, он пере-крыл и шум толпы, и шум уличного движения. «Россия на распутье! И как она пойдет! Знает только Господь! Нам грозят! Справа и слева! И внешний враг! И внутренний! Нас призывают! Хранить верность тому! Против чего отцы! Шли с винтовками в руках! Или присягнуть тому! Против чего восстали! Наши деды! Национал-социалисты! Хотят навечно повязать нас! С дряхлеющей Германией! Возрожденцы! Желают видеть на нашей шее! Сибирских купцов! И генералов! Не выйдет! Господа! Путь России лежит поверх! Замшелых догм! Не раса и не мошна! А вера! Вот что будет определять! Вехи новой России! Нельзя служить богу! И маммоне! Ибо сказал Христос! Раздай деньги свои! И иди со мной! Не с Германией! И не с Сибирью! А с Христом! И путем Христа! Мы выйдем из нынешнего мрака! Встав на святой путь!..» — так он вещал минут десять. Мы потихоньку продавливались назад, к краю толпы. Вдруг рядом вспыхнула потасовка: несколько парней в черных кожаных куртках набросились на кучку гемов, черт знает как попавших на этот митинг. Гемы отбивались. Тут же засвистели полицейские свистки, замелькали дубинки. Толпа шарахнулась, девочек оторвало от меня и закружило — впрочем, рядом. Внезапно меня схватили сзади, повисли на руках, подсекли, и, я упал лицом вниз. Защелкнулись наручники. Я не сопротивлялся, не тратил силы. В конце концов, в моем положении такой вот арест на пару часов, быстрый суд, штраф в полсотни марок — самое лучшее, что можно придумать. Валечка же вполне способна позаботиться о княж-не... Так я думал, пока меня волокли за локти, потом заставили бежать... Но мы пробежали мимо тюремных автобусов, обогнули их — там с распахнутой дверцей стоял легковой «пони». Меня втол-кнули на заднее сиденье, один из нападавших сел рядом, другой — за руль, и мы рванули с места, как на гонках. Вот это мне уже не понравилось.

— А в чем вообще дело? — как можно агрессивнее осведо-мился я.

— Узнаешь,— пообещал мне тот, который сидел рядом со мной. Он был очень доволен собой — спортивного вида парень лет двад-цати пяти, коротко стриженный, с квадратной челюстью и очень светлыми глазами,— все узнаешь. В свое время.

«Ладно,— подумал я.— Я к вам не просился...» Гудини освобож-дался из наручников за полминуты, мне для одной руки требовалось минут пять. Я сидел вполоборота к светлоглазому, скованные руки за спиной, и старательно делал вид, что смотрю по сторонам. На самом деле я и не видел ничего снаружи, не до того мне было...

— Но ты, козел, учти, что тебя я не забуду,— сказал я, когда левая кисть выскользнула из браслета и кости встали на место.— Таких ублюдков, как ты...

Он чуть наклонился вперед и вправо, чтобы вмазать мне в челюсть, и подставился: правым запястьем, утяжеленным браслетами, я ударил его в подбородок, а когда он откинулся назад, рубанул по шее. Тут же отключил обернувшегося шофера, перехватил руль, свернул к обочине, кого-то подрезав,— завизжали тормоза — и ткнулся в бордюр. Вспыхнула синяя мигалка, взвыла сирена — пересекая ряды, ко мне поворачивал полицейский патруль. Нет, это было ни к чему — я, пригибаясь, пересек тротуар и нырнул в подворотню. Меня вело наитие. Другая подворотня... Дыра в заборе... Низкий заборчик... Наконец я понял, что оторвался.

Так... Вот теперь, сев на эту удобную скамеечку, можно попробовать сориентироваться... Правая рука освободилась, я повнимательнее рассмотрел наручники: странно, нет ни номера, ни фабричной марки... Бросил в мусорный контейнер. Хорошо... Где же меня везли? Нет, не помню. Места странно знакомые... Вот эти дома за литыми решетками?.. Черт, не могу сообразить. На углу таблички с названиями улиц... Осел ты, Пан, и память у тебя дырявая... Хотя, с другой стороны, дорогу проходными дворами ведь нашел же? Переулок Незаметный, улица Деникина — не того Деникина, который Антон Иванович, командующий Добровольческой армией, зимой сорок второго года возглавивший Комитет граждан России и умерший при странных обстоятельствах летом сорок шестого года на борту военного транспорта по пути из Сиэтла во Владивосток,— а того, который «даже не однофамилец»: Федор Федорович, премьер-министр первого послебольшевистского правительства России, добившийся для России перехода из статуса протектората в статус земли Рейха... Так: вон тот дом. Подворотня с мусорными баками, старый дворик, столетний вяз посередине... Я поднялся на второй этаж и позвонил. Не открывали долго, я уже поворачивался, чтобы уйти, но тут зашлепали шаги и знакомый голос спросил:

— Кто там?

— Я, Клавдия Павловна.

— Игорь?! — дверь приоткрылась, и возникло мышиное личико Клавдии Павловны, экс-квазитещи. Квази — потому что у нас со Снежаной был квазибрак, тогда, в то время, браки россиян и сибиряков уже не преследовались, но еще не разрешались. Ну, а экс — это понятно.

— Ну, конечно, я.

— Ой, ну проходи же, проходи, только не смотри на меня, я еще не одевалась сегодня...— она зашлепала в полумрак комнат. Клавдия Павловна сама про себя говорила, что выше пояса она как мышь, а

ниже — как лягушка, и в этом была определенная доля истины; человек она, однако, была исключительно хороший.

— Сколько же это ты не был у нас, а? — спросила она, возникая вновь; теперь на ней был нарядный японский шелковый халат и мягкие домашние туфли — и то и другое из моих подарков, она не упускала случая сделать мне приятное.— Больше года, так, кажется?

— Больше года,— согласился я.— Много больше. Трудно стало выбираться. А Мишка?..

— Не застал ты Мишку,— покачала она головой,— вчера они уехали — в Крым. Ты же знаешь, что Снежка замуж вышла?

— Знаю, писала.

— Вот они все и поехали, у Карла где-то там виноградники, Мишка все говорил, мол, буду виноград прямо с кустов есть, я ему: зелен, говорю, а он не верит...

— Ах, черт,— сказал я,— не застал. Ах, черт...

— Вот уж... Ты надолго?

— Ночью уезжаю. В Питер.

— Чувствуешь-то себя хорошо? Все-таки такая операция...

— Прекрасно чувствую. Как и не было ничего. Ах, да...— я полез в карман. Отложенная давно для этого случая, там болталась и мешала при ходьбе пачка пятидесятирублевок.— Вот.

— Игорек, что ты...

— Только без рук! Время нынче непростое, лишние деньги не помешают. Марка падает...

— Ужас, такие цены...

— Я и говорю.

— Может, ты там у себя чего-нибудь вызнал: как дальше-то все пойдет?

— Не знаю... Да и никто не знает. Ну, границы не будет, это точно, а вот что дальше... Не знает никто.

— Вот ведь... Благое дело — соединиться, а страшно-то как! Войны, думаешь, не будет?

— Да ну... Нынче войны себя не окупают.

— Вот и я думаю... А старухи все, как одна: будет да будет. Спроси, с кем, такого наговорят: и с турками, и с Америкой, и между собой, с Сибирью, за власть...

— Ну, это смешно,— сказал я, а сам подумал: ничуть не смешно; сплошь и рядом у нас за объединением следует размежевание с дальнейшим мордобоем...

— Ах, Игорек,— сказала Клавдия Павловна, качая головой,— ты всегда был добрым мальчиком...

Пожалуй, что и был, подумал я. Лет сто назад... Вслух я сказал:

— Нет смысла паниковать. По крайней мере, деловые люди не паникуют, а у них чутье потоньше нашего.

— Да и я думаю, нет смысла паниковать... А если что, все равно никуда не денешься...

Клавдия Павловна была стихийной экзистенциалисткой с элементами стоицизма. Если бы я писал роман и мне понадобился образ несгибаемой героини, я взял бы ее. В свои шестьдесят пять лет она успела побывать в сталинском лагере, в сороковом году ее закатали как террористку: дала пощечину школьному комсомольскому фюреру — или как они там назывались? — и до января сорок второго рыла землю в Богучанах; в январе записалась в третью добровольческую сибирскую армию, ту самую, которая во время апрельского прорыва Гудериана к Омску совершила самоубийственный марш от Воркуты до Котласа, взяла Котлас и пошла на Нижний, разгромила брошенную против нее танковую дивизию СС, но понесла слишком большие потери, два месяца держалась в полукольце, потом в полном окружении; наконец, после прекращения огня была выведена за Урал в обмен на остатки группы Гудериана. Сама же Клавдия Павловна попала в плен еще в боях за Котлас, больше года провела в немецком лагере для военнопленных, а потом ее передали местной администрации для принудительных работ по восстановлению хозяйства — так это называлось. Она проработала три года на этих работах и считает, что труднее ничего не было — даже в Богучанах. А потом ей вдруг влепили десять лет каторги за службу в иностранной армии — это был страшный сорок шестой год, когда новая большая война не разразилась каким-то чудом; в Томске стоит монумент в память о том кризисе: американская «Летающая крепость B-17», тогда почти две трети американских ВВС перебазировались в Западную Сибирь и на Урал; впрочем, главная заслуга в предотвращении войны принадлежит, по справедливости, толстому Герману: он арестовал нескольких генералов, особо желавших повоевать, и первым прилетел в Томск для переговоров... В сорок девятом Клавдию Павловну выпустили по амнистии, хотя могли бы просто сактировать: она уже была инвалидом. А потом пошла обычная российская чересполосица: как жертве большевистского террора ей дали неплохой пенсион на время получения образования, она закончила экстерном школу, поступила в Берлинский университет — а потом долго не могла найти работу не то что по специальности, а вообще; наконец, устроилась в бесплатную школу и на грошовый заработок учительницы перебивалась до самой пенсии, а тут неожиданно разбогатела: сибирское правительство разыскало ее, вручило — очень торжественно — ветеранский знак «1942» и военный крест св. Екатерины второй степени, а также денежное содержание к ордену за сорок пять лет... Что-то подобное было и в личной жизни: любила одного, родила от другого, вышла замуж за третьего... И наверняка эта ее незадачливость передалась по наследству и Снежане...

— Кофе будешь пить? — спросила она, похоже, уже не в первый раз.

— Обязательно,— сказал я,— просто умираю без кофе.

Включился телевизор и впустил в комнату звук рожка «Вечернего курьера». На экране появился Паша Абраамян.

— Похоже, профессия журналиста становится не только второй древнейшей, но и второй опаснейшей. Только что сообщили: неизвестными обстреляна машина, в которой находилась съемочная группа московского городского информагенства; все, находившиеся в машине, получили ранения, причем водитель — тяжелые. Преступление произошло на Варшавском шоссе вблизи пересечения с окружной железной дорогой. Как сообщили нам в крипо, при нападении использовалось то же оружие, что и при нападении на редакцию «Садового кольца»; тогда, как вы помните, погибло шесть человек, в том числе главный редактор газеты и известный обозреватель Валерий Кононыхин. Высокопоставленный сотрудник гепо, просивший сохранить его анонимность, сказал, что эти нападения, по имеющимся сведениям, не носят политического характера и связаны с журналистским расследованием деятельности так называемой «транспортной мафии». По его же словам, переполнение города воинскими подразделениями не только не способствует, но и препятствует борьбе с организованной преступностью и политическими террористами. Этот однозначно отрицательный опыт должен быть учтен нами и ни в коем случае не забыт,— заключил он.— Да,— сказал Паша, посмотрев прямо на меня своими печальными глазами,— жизнь города практически парализована, а уверенности в том, что безопасность — уж бог с нами — так хотя бы глав государств, которые прилетают завтра утром, обеспечена... такой уверенности у нас нет, и даже совсем наоборот...

Это ты прав, подумал я.

Он вздохнул и продолжал:

— Рейхсканцлер фон Вайль сегодня дал интервью британской радиовещательной корпорации. Как вам известно, вопрос о присоединении Британии к рейху тоже будет обсуждаться на встрече в Москве. Полностью интервью вы увидите в нашей ночной программе «радиоперехват», а сейчас посмотрите фрагмент из него.

На экране появился фон Вайль, в клетчатой рубашке без галстука и неопределенного цвета замшевой курточке, кормилице уже не первого поколения карикатуристов. Фон Вайль изо всех сил старался сохранить свой первоначальный образ, образ университетского профессора, на минутку заглянувшего в большую политику.

Поговорить бы с его студентами, подумал я, двойки, наверное, ставил только так...

— Вы совершенно правы,— сказал он невидимому интервьюеру, — ничто не пропадет без следа. Рейх создавался огромными

усилиями, сверхусилиями миллионов и миллионов, и если его конструкция даст трещину — эта энергия начнет высвобождаться, но уже в иной форме, в форме энергии распада. Это страшно. С другой стороны, такой распад противоречил бы общим законам природы, в которой развитие идет от простого к сложному, от малого к большому. Живые шли, наконец, к человеку. Так же и в обществе: от разрозненных племен к государству, к союзам и блокам государств, наконец, к современным империям; в исторической перспективе нас ждет, возможно, слияние империй... Можно ли вмешиваться в естественный исторический процесс? Наш век показал, что можно и что вмешательство такое может привести к успеху,— но этот успех временный, реакция неизбежна, и общество вернется в лучшем случае в ту точку на линии исторического развития, где начались безответственные эксперименты. Но кровь бесчисленных жертв уже не вернется в тела... Сепаратисты выдвигают идеи, которые кажутся и здравыми, и справедливыми — хотя, знаете, «восстановление справедливости» похоже на оживление мертвеца: вроде бы и ходит, и говорит, а не живой; но все эти идеи так или иначе сводятся к разрушению империи, а я уже упоминал про энеогию распада... Да и что мы получим в результате? Десятки враждующих между собой национальных государств — как это было сто лет назад? Это все уже было и отвергнуто историей, как нежизнеспособное. Разрушить Рейх чрезвычайно легко: завтра же издать указ о праве народов на создание самостоятельных государств. Но никакими силами и никакими указами мы не сможем воскресить тех, кто погибнет, не дожив до воссоздания нового Рейха...

Вернулась Клавдия Павловна с кофейником, расставила чашечки, вазочки с печеньем, конфетами, фруктовыми палочками.

— Я не спросила — ты в отпуске или по делам? — она подвинула ко мне чашечку, до краев полную черным, как деготь, напитком. Себе она налила молока и чуть-чуть закрасила его.

— Какой у нас отпуск,— махнул я рукой,— дела, конечно.

— К деду не заедешь? Он был недавно, про тебя спрашивал.

— На обратном пути если...

Дедом и она, и я звали ее бывшего мужа. Мы с ним дружили. У него была ферма не доезжая Ржева.

В телевизоре Паша и какой-то лысый, бородатый и в темных очках хмырь строили прогнозы на недалекое будущее. Кофе был чуть пережарен. Из открытого окна доносились крики и веселый собачий лай. Тянуло накопившимся зноем. Все было таким настоящим, знакомым, прочным, а казалось почему-то: повернись неловко — и все исчезнет.

11.06.1991. 23 часа. Красная площадь.

■

Несколько раз я себя буквально за шкирку оттаскивал от таксофонов: подмывало позвонить Якову и сказать, что я вовсе не арестован и вообще все замечательно. Режим консервации суров: я не имел права выходить на связь до окончания операции, то есть до трех часов ночи. В операции типа этой всегда один-два человека остаются в резерве, на случай, если потребуется подчистка; ну, а запрет связи — это понятно... И все-таки я смог удержаться и не позвонил. Главным образом потому, что мной овладело отвратительное самокопательное настроение.

Я топал себе по Деникина Федор Федырча улице к центру, обходя на хрен никому не нужные посты и патрули — ни разу у меня не спросили документы и ни разу не обшарили; похоже, фон Вайль и фон Босков, друг его, переборщили все-таки с гражданскими правами, я представил себе Томск в такой же ситуации: да меня бы раз пять уже вывернули наизнанку, просветили рентгеном, а мощнейший раухер, занимающий два этажа в помещении ведомства Гейко, отмечал бы, где, на каких перекрестках у меня проверяли документы, и чесал бы в своем электронном затылке: какого дьявола этот парень ходит такими кругами? Терроризм — это довесок к свободе, говорил Тарантул, желаете свободы — вот, получите вместе с терроризмом; не желаете терроризма — гоните свободу. С другой стороны, у Сибири большой опыт в такого рода делах, а главное, никто не боится государства; здесь же — да и вообще в Рейхе — до сих пор больше опасаются собственных солдат и сотрудников гепо, чем бандитов с бомбами. Это пройдет.

Я шел и старательно думал об этом, а потом будто выключили звук, и другой голос сказал во мне: а ведь ты настоящий зомби, Игорек. Труп, оживленный — причем дважды — для выполнения каких-то особых, неизвестных тебе самому задач... Ну и что? Да нет, ничего, пожалуйста. Но вот попробуй просто вспомнить себя самого — до «трио» Можешь? м-м... Вот. Что в тебе осталось твоим, что не изменено, не усилено или не вытравлено тренажем, гормонами, гипнозом и прочей сволочью? Ну? Да черт его знает... Наверное, ничего. Гад ты, доктор Морита, хоть и спас мне жизнь... Все равно — гад. Все вы — гады... Подонки... Трусливые скоты... И что мне теперь делать? Да, что мне теперь с собой делать?

Или — методом Фила Кропачека?..

Слишком просто, слишком надежно...

Нет. Фил подождет. Ждал столько лет, подождет еще...

Фил, тебе не скучно там в парадном мундире и при всех орденах?

«Березин» бьет больно...

...а вот «Садовое кольцо»! Экстренный выпуск «Садового кольца»! Мой господин, всего за полмарки — все о новом министре внутренних дел! Мальчишка лет двенадцати подпрыгивал, размахивая газетным листом, как флагом. Я купил, развернул. Так... Фон Босков подал в отставку, отставка принята... На его место назначен... Что?!! Чушь собачья! Не бывает! Однако вот, черным по белому, русскими буквами: Василий Полицеймако. Интересно получается, господа: то вы смешиваете его с говном, то делаете рейхсминистром. С говном — лет пять назад, когда он, начальник следственного управления российской прокуратуры, раскопал «черный банк» с миллиардным оборотом: туда стекались доходы с тотализаторов, игорных домов и крупных сутенерских сот,— и обнаружил, что главными пайщиками банка являются центральная канцелярия российской НСП и хозяйственное управление кабинета министров. Его мгновенно скинули за якобы — а может, и правда — применяемые при допросах пытки, и до последних дней он кантовался на каких-то третьестепенных должностях где-то в Трансильвании. Так, и что же он сам говорит?

«...намерен положить конец (велик русский язык!) насилию и беззаконию...» — «...Восстановление закона и порядка, гарантирующего безопасность мирных обывателей...» — «...идти на переговоры без предварительных условий со всеми, подчеркиваю, со всеми политическими группами, партиями и движениями, готовыми к таким переговорам,— но вооруженное сопротивление будет подавляться всей мощью наших вооруженных сил...» — «...Склоняюсь к тому, что введение режима чрезвычайного положения уже запоздало и не даст необходимого эффекта, но отказ от него эффект даст — к сожалению, не тот, который хотелось бы получить...» «...Находить новые, нетрадиционные формы и методы работы и в этих целях использовать как можно шире накопленный уже зарубежный опыт...» ну, дай тебе бог, старый ты сыщик Василий Тимофеевич... «...нахожу нелепым и постыдным площадное поношение полиции и прикомандированных к ней войсковых частей, которым занялась вдруг печать и телевидение, но любую критику готов выслушать и принять необходимые меры для устранения действительных недостатков...»

Так вот, читая, я вышел к Манежу. Здесь освещение было уже не то, читать стало нельзя. Время подходило к одиннадцати. Никакой конкретной цели я не имел, а ноги сами перенесли меня через площадь, по Триумфальному проезду и дальше — на Красную. Здесь было людно и декоративно-красиво. В свете сотен прожекторов белые стены и башни Кремля казались опалово-прозрачными.

Толстомясенькая крылатая дева с мечом, венчающая монумент Освобождения, парила себе в ночном эфире, а кучка пацанов, сгрудившись на известном всем пятачке, разглядывали ее, отчаянно веселясь при этом: с того места ночной ангел выглядел крайне

своеобразно, комично и непристойно. За хорошо рассчитанное тонкое унижение Вера Мухина расквиталась не менее тонко.

— Видишь, идут,— сказал по-немецки высокий старик мальчику, наверное, внуку.

Они стояли рядом со мной, чем-то до ужаса похожие на крыс: покатые лобики, острые носы, срезанные подбородки. Слева к монументу приближалась смена караула: два солдата и офицер в форме рейхсгренадера сорок первого года, солдаты с карабинами, офицер с обнаженной шашкой в вытянутой руке. Под медные удары курантов начались сложные многоходовые маневры у вечного огня. С последним ударом смененные часовые начали было свой церемониальный марш в казарму: вытянули левую ногу горизонтально — и тут раздались выстрелы. Первым опрокинулся навзничь офицер, шашка сверкающей полоской отлетела далеко в сторону — а солдаты, пригнувшись и выставив перед собой штыки, бросились почти прямо на меня,— я оглянулся и увидел человека с длинноствольным пистолетом (маузером?) в руках, он выстрелил еще дважды подряд, и один из солдат покатился по брусчатке, громыхая каской и карабином, но второй все еще бежал, и стрелок выпустил в него пять или шесть пуль... Сунул пистолет за борт пиджака, броского, яркого клетчатого пиджака, и небыстро побежал прочь. Все стояли, пораженные. Вдруг шевельнулся и застонал солдат, упавший первым, и я неожиданно оказался рядом с ним — пули попали ему в живот и в бедро, под ним растекалась лужа крови, а когда я разорвал его суконные штаны, кровь ударила струей, фонтаном: хреновое ранение, прямо в «корону смерти», ну, чуть пониже... Я просто пережал артерию пальцами — ничего другого нельзя было сделать. Солдат хрипел и слабо вырывался. Завыла, приближаясь, сирена. Больно,— громко и отчетливо сказал солдат,— мамочка, как больно! За что он меня?

Первой подлетела полиция, меня тут же взяли в кольцо револьверных стволов и попробовали поставить в позу для обыска. Кретины, не вставая, сказал я, вы охренели, я же кровь останавливаю! Давай врача! Дубинкой вдоль хребта я все-таки получил, — тогда, не убирая пальцев с пробитой артерии, сделал «кокон»: голову к коленям, свободная рука прикрывает затылок и шею, мышцы в эластичном напряге... Но больше меня не били: подбежал офицер, подлетела «скорая», парня взяли на носилки, артерию перенял здоровенный усатый санитар... Солдат все пытался что-то сказать, я разобрал только: «...Никогда...» и «...Очень старые...». О, сказал я, это опять вы. Лейтенант Шмидт выглядел скверно: лицо почернело, глаза ввалились и горели, как у тифозного. Я еле отмылся; я был, оказывается, в кровище с головы до ног. Да, сказал он, опять я и опять вы. Курить будете? Если есть что. Есть, он достал слегка помятую пачку «герцеговины флор». Ха, сказал я, оказывается, вы еще и скрытый сталинист. Что?! Брови лейтенанта вопросительно

приподнялись. А вы не знали? Все почитатели Сталина курят «герцеговину флор». Он тоже ее курил. Правда, тогда это были папиросы. Он набивал ими трубку. Папиросами — трубку? Так гласит легенда. Но зачем? Я пожал плечами. Глупость какая-то, сказал лейтенант Шмидт после паузы. Почему было не купить трубочного табака?.. Как будем говорить: по-русски, по-немецки? — спросил лейтенант, когда мы докурили и задавили «бычки» в казенной алюминиевой пепельнице. Мне все равно, сказал я. Но скажите — это что, допрос? Ни в коем случае, сказал лейтенант Шмидт. Это беседа без протокола. Без протокола, повторил я, подходя к окну. Отсюда, с третьего этажа участка, Красная площадь была как на ладони. Место происшествия все еще было оцеплено. О, смотрите — поймали! Слева, от Москворецкого моста, приближалась процессия: четверо в военной форме и полицейский вели того — в клетчатом пиджаке. Смотрите, лейтенант: поймали... Ну, поймали, сказал лейтенант, проблема...

Я сох на подоконнике, слушая, что говорит мне лейтенант. Иногда он как бы задавал вопросы, но ответов не ждал и продолжал говорить сам. Вот что я узнал: сегодня в три часа дня был тяжело ранен следователь Зайферт. Его нашли лежащим рядом с собственным автомобилем на полосе отчуждения Санкт-Петербургской железной дороги, неподалеку от пересечения ее с Дмитровским шоссе — то есть в районе ночного происшествия со мной и Валерием Кононыхиным. Следователь Зайферт, очень пунктуальный человек, оставил запись, что получил новые оперативные данные по налету на редакцию «Садового кольца»; придя же на несколько секунд в сознание, он назвал мое имя и добавил еще несколько не совсем связных слов, из которых можно было понять, что мне угрожает серьезная опасность. После операции он несколько суток пробудет без сознания, так говорят врачи, и узнать что-нибудь конкретное у него пока невозможно. Однако он, лейтенант Шмидт, входивший в оперативную группу Зайферта, считает своим долгом, во-первых, передать мне лично слова своего шефа, во-вторых, попытаться выяснить, чем же я интересен моим врагам. Может быть, свойством притягивать к себе различные криминальные ситуации? Мое имя фигурирует уже в трех делах крипо — везде, правда, как свидетеля или случайного участника. Но, посудите сами, такой кровавый след: дорожное происшествие с моим участием обошлось, правда, без жертв, но три часа спустя второй участник происшествия погиб вместе с пятью своими сотрудниками, а через сутки тягач со следами столкновения был обнаружен, если можно так выразиться, в обрамлении трупов: девять покойников, среди них женщина со следами нечеловеческих пыток, убитая, впрочем, из того же оружия, что и остальные. Я же участвую в обезвреживании зашкалившего хинкера, только что убившего девушку из провинции. Связывают эти два случая не только мое участие, но и личность хинкера: охранник того самого гаража,

которому принадлежал тягач. Ну и, наконец, последний случай: расстрел почетного караула... Итого восемнадцать убитых, один тяжелораненный и один с ног до головы в переломах и вывихах. Не смогу ли я прокомментировать это? Чего ж не смочь, подумал я... особенно если приплюсовать два полицейских патруля по четыре человека в каждом, двух мальчиков-грузин, генерала Шонеберга, его сотрудников, случайных жертв большого взрыва на Лубянке, наконец, пятимартовцев, уже убитых и тех, которым эта процедура еще предстоит... И, возможно, Сашу... Понятно, что ничего этого я не сказал, а, сделав долгую паузу, которая должна была проиллюстрировать глубокое душевное потрясение, выдавил:

— Нет... Какие тут комментарии... Это ужасно...

Лейтенант Шмидт внимательно смотрел на меня.

— Герр инженер,— сказал он,— как вы понимаете, никакого обвинения вам пока не предъявлено. Однако я обязан предупредить вас, что вы являетесь объектом полицейского расследования. Завтра... Вернее, уже сегодня утром мы обратимся к консулу с разрешением на ваш допрос. Вы можете нанять адвоката, либо поручить свою защиту государственной юридической коллегии, либо защищать себя сами.

— Понятно,— сказал я.— Когда и куда я должен прибыть?

— В двенадцать часов дня вы должны обратиться в приемную городского полицейского управления. В случае неявки против вас автоматически возбуждается уголовное дело по статье двести девятой, часть седьмая: «препятствование ходу следствия», что влечет за собой немедленный арест...

— Герр лейтенант,— сказал я, помолчав приличествующее время,— не могли бы и вы ответить на один-два вопроса?

— Попробую,— кивнул лейтенант.

— Возросло ли число насильственных преступлений в Москве за последние, скажем, полмесяца?

— Да,— сказал лейтенант,— во много раз.

— Присутствие военных помогает или мешает полиции?

Лейтенант не ответил, но сделал такое лицо — может быть, непроизвольно,— что ответа и не потребовалось.

— Тогда — до встречи,— сказал я, направляясь к двери.

— Стрелять,— выдохнул мне вслед лейтенант Шмидт,— просто стрелять, стрелять на месте... Зачем мы нянчимся с ними?

Точно,— подумал я,— собственно, этим мы и занимаемся все эти годы...

12.06.1991. 03 часа. Черемисовская, 40. Фирма «ЮП».

■

Из такса я позвонил Якову. Яков сказал условную фразу и положил трубку Голос у него был усталый — выдохся за эти дни Яков,

выжал из себя все, что мог и не мог... Смысл сказанного им был такой: все ребята отметились, задание выполнено полностью, потерь нет. Так что операция вступала в последний, формально несуществующий этап. План эвакуации у меня был старый, успешно обкатанный в Кабуле и Фергане. На военной базе в Нарьян-Маре в полной готовности дежурит «Лавочкин-317»; в его бомбоотсеке и специальных капсулах, подвешенных вместо ракетных кассет, помещаются — без всякого комфорта, конечно, но полтора часа вытерпеть можно — двенадцать человек. Если не пороть такую горячку, как в Фергане — а там мы забаррикадировались в верхнем этаже «дома Азии», и снимали нас с крыши,— то можно рассчитывать на полную незаметность отхода: «Лавочкин» этой модели не засекается радарами. На этот раз он уйдет не с полной загрузкой: остаюсь я, остается Командор и, возможно, Саша: мы попытаемся через княжну внедриться в «Пятое марта» — в базовую их часть. Надо будет тонко имитировать наш разгром... Впрочем, об этом чуть позже.

Над входом в подвальчик ярко переливался наш рекламный щит: «ЮП — это безупречно!», в радужном треугольнике под щитом менялись буквы: В — Х — О — Д — Е — I — N — G — A — N — G — B — X — O... Окна в доме были темны сплошь, только на пятом этаже горел свет в кабинете управляющего. За углом раздался характерный звук набирающего скорость автомобиля — через мгновение этот автомобиль, полыхнув стоп-сигналами, выскочил на перекресток передо мной, с визгом свернул направо и скрылся за следующим поворотом. Похоже было на то, что он отъехал от парадного входа нашего дома. Я метнулся вниз по лестнице. Дверь была приоткрыта, за дверью горел яркий свет, тянуло какой-то химической вонью — я не сразу понял, что это за вонь, потому что увидел лежащего поперек пути Мальцева. В него в упор стреляли из чего-то скорострельного: правое плечо и голова почти отделились от тела. Слева, вбитый в угол, скорчился Говоруха. Дверь в заднее помещение была распахнута настежь, оттуда валил светящийся дым. Я перешагнул через Мальцева и остановился, прислонясь к косяку двери.

Посреди разгрома догорала военная осветительная ракета. В первые секунды такая ракета горит настолько ярко, что свет ее вызывает болевой шок. Мы не используем их — у нас на такой вот случай есть американские гранаты «оверлайт». А здесь, значит... Я стоял и смотрел. А может, мне только казалось, что я стоял и смотрел, потому что иначе откуда на моих руках и коленях оказалось столько крови? Откуда я знаю, что Командор, которому срезало полчерепа, умер не сразу, а ползал по полу, собирая свои разлетевшиеся мозги? Откуда я знаю, что увидел, повернув к себе голову княжны... пуля попала ей в затылок, и вместо лица у нее была глубокая воронка, из которой вытекала, смешиваясь и пузырясь, алая

и черная кровь... и вдруг в глубине воронки что-то бешено задергалось, забилось, и правая рука судорожно поползла вверх, к груди, выше, выше, на горло, выше — наткнулась на осколки зубов и костей и замерла... Я видел Панина: Панин лежал за штабелями ящиков с пистолетом в руке. Разбросанные и изломанные очередями, лежали Крупицыны и грузин Вахтанг, Яков и Гера; сидел на стуле, зажимая рукой рану в груди, мертвый Венерт. На Валечку стрелявший истратил, наверное, столько же патронов, сколько на всех остальных, вместе взятых: опознать ее можно было только по длинным волосам да по маленькой кисти руки, неожиданно чистой и целой в этой груде кровавого мяса... Да, конечно, я ползал на коленях между ними всеми, тормошил, заглядывал в лица... Потом я нашел в кармане у себя использованную «ромашку» — пулю с раскрывающимися лепестками. Но это потом... Все это было потом, а тогда мне казалось, что я просто стою в дверях и смотрю. Вдруг я оказался перед другой дверью, с неудобным, не моим пистолетом в опущенной руке... Дверь была чуть приоткрыта, и за дверью не было света. Я вкатился туда, и навстречу мне щелкнул боек автомата. Теперь в свете, идущем из коридора, я увидел сидящего на корточках Вахтанга в мотошлеме на голове и с автоматом в руке. Он сидел рядом с кроватью, с кровати свисала вниз неживая рука. Я захлопнул дверь и включил свет. Вахтанг не пошевелился. Саша была с головой укрыта простыней, на простыне расплылись два кровавых пятна. Мне пришлось долго разжимать пальцы Вахтанга: хватка у него была, как у мертвеца. Такими автоматами мы не пользовались: «рейнметалл» нестандартного калибра шесть миллиметров, магазин на семьдесят пять патронов, мощный барабанный глушитель эжекторного типа — такой автомат стрекочет, как швейная машинка... И тут до меня дошло, что Вахтанга я уже видел — убитого. Ясно. Кто-то из наших все-таки успел выстрелить. Успел, несмотря ни на что. И тогда Вахтанг подобрал автомат. Черт знает, что ему могло привидеться... Он же боевик, он должен стрелять... А подкорка штука хитрая, она такое подскажет...

На всякий случай я его связал. Он не сопротивлялся. Похоже было, что его вообще нет здесь. Я осторожно выглянул в коридор. Было абсолютно тихо. То ли действительно никто ничего не слышал, то ли затаились. Вдруг меня замутило, а потом начался чертов бред. Я обнаружил, что крадусь вдоль какой-то бесконечной стены, а может быть, даже не крадусь, а лечу на малой высоте, потому что не прилагаю для перемещения ни малейших усилий; меня как бы несло течением воздуха. Похоже, я знал, куда лечу и что мне там надо, но это было какое-то запрещенное знание. В то же самое время я отмывал руки под струей холодной воды, льющейся из ничего, и часто подносил их близко к лицу, к глазам, которые почему-то плохо видели, будто их заливало дождем. Потом я вошел в комнату,

посреди которой сидел полуголый мокрый человек, подняв лицо к потолку и пальцами правой руки касаясь рукоятки какого-то оружия, лежащего на полу. Это его я должен был убить, для этого я и летел сюда, я протянул руку к оружию, и его пальцы сомкнулись на рукоятке, я ощутил ее рубчатую поверхность, оружие было тяжелым, я поднимал и поднимал его, ловя на мушку висок того, сидящего, но это почему-то оказалось страшно трудно сделать, пистолет оттягивал руку вниз, как двухпудовая гиря, а висок ускользал из-под прицельной линии, будто был сделан из живой ртути. Я поднес пистолет к лицу: это был панинский «Березин», от него пахло сгоревшим порохом и ружейным маслом. Деревянными пальцами я вынул обойму, передернул затвор — вылетел и волчком закружился на полу желтый патрон. Потом я стал выщелкивать патроны из обоймы. Там их было три. Разбросав, рассыпав их по полу, я еще раз передернул затвор, поднял легкий, будто бумажный, пистолет к виску, вдавил ствол черт знает на какую глубину и нажал на спуск. Откуда-то из непонятных пещер вылетело и заклубилось, не опадая, розовое блаженство. Не знаю, сколько я так сидел — только рука, как неживая, поползла вниз, ударилась об пол, разжалась... Черный человек, тонкий, как хворостина, отступил назад и растворился во мраке. Опять стало пусто и холодно. С мокрых волос стекала вода. Наощупь я нашел дверь на лестницу и, стараясь не греметь железными ступенями, пошел вверх, вверх, вверх...

Окончательно я пришел в себя в машине. Рядом, распространяя сильный запах коньяка — я влил в него полбутылки — сидел Вахтанг. Дорога летела под колеса, слева тянулась цепочка зеленых, справа — красных огоньков-катафотов на бордюрных камнях, мотор работал ровно, где-то впереди было Тушино, а вот совсем рядом — контрольный пост, и солдат с автоматом поднимает полосатый светящийся жезл...

12.06.1991. 04 часа 30 минут. Турбаза «Тушино-центр».

■

Сибирские паспорта горят плохо, и мой не был исключением: он чернел, корчился, обугливался, но не сдавался. Я извел на него полную заправку зажигалки. Теперь я был Оленецкий, имя и отчество прежние, гражданин Рейха, житель города Архангельска. Паспорт был подлинный. Метод добычи паспорта Рейха разработал Яков, он же и применял его — просто потому, что больше никто не мог забраться в память раухера паспортного отдела полиции. Мне не положено знать, сколько наших оперативников имеют такие паспорта, но сомневаюсь, что больше десятка — слишком трудоемкая операция. Кроме паспорта, у меня было еще удостоверение штабс-поручика внутренней службы — недавно созданного подразделения,

объединившего функции корпуса спасателей, гражданской обороны и отчасти распущенных пять лет назад жандармских частей. Удостоверение было поддельным, но очень похожим на настоящее. По крайней мере, до сих пор ни у кого из проверяльщиков не возникло ни малейших подозрений. Владельцем оригинала удостоверения был Фенске Рудольф Оттович, и что характерно, штабс-поручик Фенске существовал в природе, только находился он сейчас в зиндане города Бухары, куда попал за какие-то наркошные проделки: Его Величество эмир строг по этой части. Так что появление в свободной продаже офицерского удостоверения — вещь более чем естественная .

Телевизор так и работал на канале новостей. Впрочем, самую главную новость я услышал еще в машине, по пути сюда: российское правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером назначен Владимир Мстиславский, до последнего времени глава российского гепо. Министром внутренних дел предложен генерал Березко, командующий Русским территориальным корпусом; генерал вылетел из Найроби и находится на пути в Москву. Президент Тихонов заявил, что назначать срок досрочных президентских выборов может только парламент. Госдепартамент Союза Наций Америки заявил, что в сложившейся ситуации встреча глав четырех держав должна быть отложена и перенесена в другое место. С аналогичным заявлением выступил личный представитель премьер-министра Японии. Президент Толстой, человек решительный, возражал против такой, как он выразился, капитуляции перед экстремистами и добавил, что, поскольку за спинами экстремистов стоят силы, кровно заинтересованные в срыве встречи, то пойти у них на поводу — значит, навсегда выпустить инициативу из своих рук и в дальнейшем оставаться не более, чем нервными наблюдателями за игрой, правил которой мы знать уже не будем, в ход которой не сможем вмешаться, но разменной монетой для настоящих игроков послужим... Что же, Юрий Гаврилович знает, чем рискует. Президент Финляндии Ларне предложил перенести встречу глав четырех держав в Хельсинки, гарантируя обеспечение как условий работы, так и безопасности участников. С подобным же предложением выступил бургомистр Санкт-Петербурга Вадим Эрмоли. Он подчеркнул, что встреча, где будет рассматриваться главным образом судьба России, должна проходить на ее исторической территории. Директор агенства «Росс-Адлер» Белобоков заявил, что введение, пусть даже на ограниченный срок, института политической цензуры вызовет непредсказуемые последствия не только в прессе, но и в обществе. Информационный коллапс может быть гибельным, предупредил он. Задержан террорист, убивший офицера и ранивший двух солдат роты почетного караула на Красной площади. Это Леонид Бауэр, без определенных занятий, состоит на учете у районного психоневролога.

На фотографии был совсем другой человек, даже не очень похожий на того, который стрелял. Единственное сходство — яркий клетчатый пиджак... Заключение о вменяемости Бауэра даст психиатрическая экспертиза в ближайшие дни. Продолжается война мафий. Только что получено сообщение о вооруженном налете на помещение торговой фирмы «ЮП» в Бескудниково. Есть убитые, подробностей полиция не сообщает. По сведениям из неофициальных источников, этот налет и налет на редакцию «Садового кольца» совершены, по всей видимости, сдной и той же преступной группой. На это указывает... Оружия... Из Царицына передают: завершена ликвидация окруженной позавчера группы экстремистов из «фронта «декабрь». «В заключительной операции принимали участие спецподразделения русского территориального корпуса, использовавшие боеприпасы с ослепляющим газом «блаублюме». За три дня боев шесть экстремистов погибли, сорок один взят в плен. Командир группы бежал, очевидно, еще до того, как кольцо окружения сомкнулось. На счету ликвидированной группы десятки убийств, уничтожение построек и посевов, отравление водоемов. Начала работу следственная группа криминальной полиции. В окрестностях тихого до последнего времени Владимира около десятка молодых людей, вооруженных охотничьими ружьями и бутылками с горючей жидкостью, окружили ферму, принадлежащую Эрнсту Клюге. Однако фермер и двое его сыновей сумели дать отпор бандитам. Нападающие отступили, унося раненого. Ущерб, составивший полторы тысячи марок, будет возмещен страховым фондом «Селбстабвер». Этот же фонд финансирует создание фермерских отрядов самообороны. Патриарх Московский и Владимирский Нестор призвал единоверцев не поднимать оружие на сограждан, к какой бы конфессии они не принадлежали. Профсоюз транспортных и неквалифицированных рабочих призвал к всеобщей забастовке с требованием отставки президента и правительства и передачи всей полноты власти рабочим комитетам на местах. Московская полиция пополнила свои ряды: первым же указом рейхсминистра внутренних дел Полицеймако четыреста армейских резервистов унтер-офицерского состава наденут полицейские мундиры. Это временная мера, заявил министр, полиция не собирается отказываться от контрактного принципа комплектования. Из центра космической связи сообщают: продолжается совместный полет воздушно-космического аппарата «Алтай», стартовавшего девятого июня с аэродрома военно-воздушной базы «Абакан-17», и пилотируемого трабанта «Академие», на борту которого, как известно, находится сейчас женский экипаж. После выполнения маневра коррекции орбиты «Алтай» приблизился к «Академие» на расстояние около полукилометра. Неисправности в системе поиска и сближения устранены, и если все пойдет как задумано, Вера Ангелова, Бригитта Хехст и Анна-Мария де Вилль вернутся на землю уже сегодня, а их

место займет пилот-инженер Валерий Скопцов, который будет поддерживать работу систем трабанта до прибытия следующего штатного экипажа. Как сказал руководитель программы «Академие» доктор Гюнтер Зигель, такое сотрудничество должно стать обычным делом не только в космосе, но и на земле...

Ладно... Я смыл пепел, еще раз мысленно перебрал все предметы, остающиеся после нас в тех коттеджах, которые мы занимали — нет ли чего-нибудь среди них специфического? пожалуй, нет. Естественно, всего знать нельзя, но все же... В большую дорожную сумку я бросил все наши деньги, аптечку, свой раухер и блок памяти от «Алканоста» Якова и, наконец, ББГ-камеру. Получилось около пуда. Распылил одортель в комнатах, где мы жили, обрызгал себя и Вахтанга — он сидел, как я ему приказал, неподвижно, закрыв глаза и зажав уши — наверное, этого не требовалось, зачем я так с ним?..— еще раз оглянулся по сторонам, достал из шкафа новую свою куртку, обрызгал ее, надел... Вот теперь, кажется, все. Да, все. Можно идти.

Снаружи был туман, густой, как сметана. Когда такой туман, что-то странное начинает происходить со звуками: привычные, повседневные: речь, птицы, автомобили — почти не слышны, зато откуда-то прилетают непонятные шелесты, скрежеты, скрипы, вздохи, гудки... Я шел впереди, едва различая тропу под ногами, Вахтанг следом, механически-легкий, пустотелый, а вдали кто-то терзал огромным смычком огромную скрипку. Наших шагов слышно не было.

На берегу на нас обрушился преувеличенный туманом скрип уключин и плеск воды под веслами. Невидимая лодка кружила вокруг, потом исчезла. Наверное, затонула.

До заросшего тальником овражка, куда я вел Вахтанга, было метров четыреста, но путь этот показался мне едва ли не бесконечным. Проклятый туман искажал не только звуки. Наконец, мы пришли.

По дну овражка сквозь заросли вела узкая, почти незаметная тропа. По трапе мы дошли до крошечной пролысины в тальнике. Здесь было старое кострище, несколько ящиков и чурок, пригодных как на дрова, так и для сидения, и солидная куча пузатых баночек из-под баварского. Безналоговый ночной бар.

— Пришли,— сказал я, сбрасывая с плеча сумку.— Садись... Вот сюда.

Вахтанг сел. Команды он выполнял мгновенно, без малейшей заминки. Пожалуй, это единственный способ опознать «буратино». Человеку нужно хотя бы четверть секунды — понять, что от него требуется...

— Сними куртку. Дай левую руку.

Из аптечки я достал шприц, набрал сорок единиц инсулина. Наложил Вахтангу жгут, нашел вену, вкололся, снял жгут и стал медленно-медленно вводить инсулин. Это надо делать очень осторожно, потому что никто не может знать заранее, на какой дозе

инсулин начнет действовать. Вахтанга, наверное, давно не кормили, потому что уже на пятнадцати единицах он мелко задрожал, а кожа его стала влажной, как лягушачья. Я быстро довел ему еще единицы три и выдернул иглу. С гортанным криком он, запрокидывая голову, повалился назад и забился в судорогах. Я придерживал его под затылок. Через несколько минут характер судорог начал меняться: мышцы входили в гипертонус. Теперь нужно было поймать момент: не поспешить с выведением из шока, потому что тогда все напрасно, и не промедлить, потому что тогда тоже все напрасно... Вахтанга выгнуло дугой, он приподнялся на локтях, ноги рыли песок. Пора, подумал я, сосчитал до пятнадцати, взял систему с глюкозой, вкололся еще раз — вены были толстые, как веревки — и изо всех сил сжал руками мешок с раствором. Через полминуты Вахтанг вытянулся, как мертвый, и вздохнул глубоко и жалобно. По-хорошему, ему надо было бы дать вздремнуть минут четыреста... Да. Не только ему. Обстоятельства не те. Я доввел глюкозу, потом через ту же иглу вкатил тюбик «седьмого дыхания» — нашего фирменного коктейля из стимуляторов, анаболиков и синтетических эндорфинов. Вахтанг зарумянился и заулыбался во сне. Ладно, десять минут — твои...

Истраченную систему и шприцы я засунул в пивную баночку, смял ее и вдавил в песок. Если будут искать, то найдут, а случайно никто не наткнется. Потом взял ББГ-камеру, проверил кассету — свежая, нацелился объективом в зенит, включил запись и стал наговаривать текст — по-немецки, усредненно, лишь изредка и как бы невзначай позволяя проскакивать намекам на рейнский диалект.

— Российскому министру и рейхсминистру внутренних дел, шефам гепо всех уровней и прочим, кто заинтересован в этой информации. С шестого по двенадцатое июня сего года на территории Москвы действовала команда истребителей террористов «ФАГ», принадлежащая международной организации «Социум-77». Задачей команды был срыв террористической акции, направленной против глав четырех держав. Акция готовилась совместно группами «666» и «Пятое марта». В ходе операции группа «666» уничтожена полностью, группа «Пятое марта» понесла большие и вряд ли восполнимые потери. Команда «ФАГ» погибла. Я, единственный уцелевший, обращаюсь к руководителям служб безопасности России и Рейха: не тратьте время и силы на разработку групп, базировавшихся в комплексе «Алазани» и на улице Черемисовской. Их уже нет. Однако возможно, что оставшиеся в живых террористы имеют атомную мину «Тама», которой попытаются заминировать подземные помещения Измайловской иглы, которые сообщаются с внешним кольцом подземки. Не исключено, что минирование уже состоялось. Желаю успеха, коллеги.

Ну, все. От вчерашнего, так и не дочитанного «Садового кольца» я оторвал полоску с адресом и телефоном редакции, подсунул

ее под прозрачное окошечко на кассете. Протер кассету и камеру, сунул кассету в карман спящему Вахтангу, камеру — в свою сумку. Избавлюсь по дороге. Так, теперь последнее... Рядом с кострищем я вырыл небольшую — на две пригоршни песка — ямку, положил на дно блок памяти, сломал предохранительный язычок и вдавил кнопку ликвидатора. Снова засыпал песком. Через несколько секунд песок побелел и задымился. Это надежнее, чем размагничивание. Все? Похоже, что все.

Можно трубить побудку.

— Эй, парень!

— А? — Вахтанг распахнул глаза.— Что? Что случилось?

— Не знаю,— сказал я.— Просто ты спишь не в самом удобном месте. Тебе куда, на поезд?

— Да... На поезд...— он добавил что-то по-грузински, махнул рукой и медленно встал, озираясь.— Как я сюда попал?

— Тебе лучше знать... Но если хочешь успеть на поезд — то надо торопиться. Идем?

— Идем,— сказал он.

Мы выкарабкались по невысокому, но крутому склону овражка наверх. Туман расслоился: лощинка была заполнена им до краев, а здесь он подвсплыл вверх — так, что видимость вперед и в стороны открылась, а кроны деревьев, стоящих вдоль невысокой насыпи грунтовой дороги, размывались и исчезали. Остро пахло травой, землей, водой — всем сразу. Потом вдруг над головой возникло медового цвета сечение: где-то там, по другую сторону Москвы, солнце поднялось выше дымки, выше облака, скопившегося за ночь над городом, выше...

— Красиво,— сказал Вахтанг.— Знаешь, так бывает в горах, в горных долинах... Ты был на Кавказе?

— Нет,— соврал я.

— Значит, не видел...— он вздохнул сочувственно.

— Чем ты занимаешься? — спросил я.

— Занимаюсь? Я? Я занимаюсь... Русской филологией. Да, русской филологией.— Он замолчал, нахмурился.— Извини, у меня что-то... Мы ведь знакомы?

— Более-менее. Позавчера, у костра — помнишь? Вино, песни...

— Да-да-да, помню, конечно же!

Сейчас в памяти его зияла приличных размеров дыра. Ни сознание, ни подсознание человека не могут мириться с таким положением, и заполнение этой дыры идет очень интенсивно. В пожарном порядке ее заваливают обрывками прошлых воспоминаний, фантазий, снов, пройдет еще час-два — и все они склеются, соединятся, срастутся в причудливую, может быть, но вполне законченную и логичную картину. В поезде он найдет в кармане кассету с адресом и вспомнит, что именно поэтому едет в центр... И так далее.

Мы вышли на ровную, хорошо убитую грунтовку и бодро потопали вперед. Отсюда было минут пятнадцать ходьбы до платформы, у которой останавливаются поезда, везущие рабочих из шлафтревиров к большим заводам. Человеку без документов сейчас нет более надежного способа попасть в центр города... Конечно, ничего страшного не случится, если его возьмут по дороге, но лучше, чтобы кассета попала к журналистам.

Оставшийся путь мы прошли молча: он «вспоминал» себя, а я ему не мешал. На платформе было десятка два человек, и, хотя поезд был набит, как бочка сельдями, Вахтанг втиснулся в дверь. Я помахал ему рукой и перешел на противоположную платформу. Встречный поезд подошел минут через семь.

12.06.1991. 14 часов. Где-то между Волоколамском и Ржевом.

■

— Во,— сказал фарер,— наконец-то. А старики яйцами трясли — сушь, мол, сушь...

Мы врезались в стену дождя, как в настоящую стену. Звук ударов капель заглушил звук мотора, под колесами вода ревела. Видно было, как бурлит она, не помещаясь в переполненных кюветах.

— А вот только не было бы хуже,— продолжал фарер.— Посмывает все к пропащей матери...

Водяная пыль как-то прорывалась в кабину и кружилась, не оседая. Все машины на шоссе плелись медленно или вовсе стояли, лишь наш восьмиколесный дредноут пёр по третьей полосе, презирая стихию.

— А вообще-то тебе куда? — спросил фарер.— Под такой ливень высаживать — не по-русски получается. А возле того танка никакой крыши на километр...

— Да, там с час ходьбы. Ферма Сметанина, не слышал?

— Неважно, покажешь.

— Так ты меня что, до места довезти хочешь?

— Нет, если ты против...

— Не против, конечно, только с какой стати?

— Так...— он пожал плечами.

Я подумал вдруг, что до сих пор не знаю его имени. Как, впрочем, и он моего. Дорога. Обычное дело.

Навстречу с ревом пронесся красно-черный двухэтажный «Хефлинг». Следом — еще один. Мне показалось, что за непрозрачными снаружи стеклами мелькнули детские мордашки. Фарер мотнул головой:

— Детишек из лагерей забирают. Волнуются родители...

— У тебя-то есть?

— Жена на восьмом месяце...

— О-о...

— То-то и оно. Короткие рейсы беру, чтобы день-два — и назад. Денег почти никаких, конечно... Не то что раньше: до Владика и обратно — семь с половиной плюс за скорость полторы — две. Дом построили без долгов, обставили, прошлым летом в Ницце два месяца... Отец с матерью приезжают — плачут. Ну, мол, за что боролись и все такое... Долгая песня. И жалко их, и зло иной раз берет. А жену я, можно сказать, на дороге нашел: выпал фрахт в Грецию — ну, понятно, через Румынию. А в Румынии дороги плохие, узкие, машин много — еле тащимся. Девчонки две голосуют, никто их не берет, ну а мы подобрали... Так и съездили в Салоники, обратно приезжаем — одна сошла, а другая не хочет, да и я ее отпускать не хочу — прилипли друг к дружке, и все. Что делать — поехали домой. А я тогда в казарме жил, копил деньги на этого вот крокодила,— он похлопал по баранке,— пять человек в комнате, и никуда не денешься. Месяца три мы так прожили, спать всем мешали, потом уж смогли отдельную комнату снять. Ну, дальше — больше... А детей все нет и нет. Куда только не обращались. А в Ницце подружились с иркутским фирмачом, он говорит: какие проблемы! оказывается, есть специальный курорт где-то в горах, от Иркутска еще два часа вертолетом. И в сентябре она туда полетела. Месяц пробыла, вернулась, а в ноябре уже — ага! Попалась! И вот теперь бы только жить и жить, черт бы всю эту заморочь побрал...

— Да уж.. — я почесал лоб. Мне вспомнилась Тува.

— Это он, твой танк,— сказал фарер.

На постаменте из фальшивого гранита стоял старый танк T-IV: высокий, угловатый, с похожей на кукиш башней. На задранной вверх короткой пушечке висели, как венки, бухты проволочного корда от сгоревших шин. Даже сквозь дождь видно, какой толстый слой жирной копоти покрывает броню.

— Во, опять спалили,— проворчал фарер,— хоть бы убрали его, что ли. А то — то обосрут весь, то сожгут. Зачем это надо? Здесь, что ли, сворачивать?

— Да, вот...

— Отец иной раз подопьет — и: Сталин, Сталин!... Сталин то, Сталин се, Сталин детей любил... А я ему говорю — правильно его повесили. Ну, не за то, за что следовало, а все равно — правильно. Ладно, он войну проиграл — а если бы выиграл? Теперь куда?

— Налево, вон где деревья.

— Ага, вижу... Какие, говорит, колхозы, какие концлагеря? Не было ничего, все немцы выдумали. Бесполезно с ним спорить. Что же, говорит, я бы за эти колхозы воевать бы пошел? А, ну его...

— С какого же он года?

— С двадцать третьего. Как раз их начали призывать... Только он, по-моему, и винтовку-то в руках не держал: сразу из учебного лагеря — и в плен. Это на третье мая они с друзьями собираются... Вот тоже интересно: раньше отмечали как праздник, что ли... Не совсем праздник, ну, в общем... Так... Не грустно — начало освободительного похода, что-то в этом духе... А теперь так просто траур, смотреть больно. Ну, и один из этих приятелей мне и рассказал: вечером, мол, уснули — глубокий тыл, двести, что ли, километров до фронта, а утром будят: гут морген, кляйне руссиш зольдатен... А отец, помню, такие подвиги расписывал... Такие бои...

— Что мы будем рассказывать в старости? — пожал плечами я.

— Тоже верно... Здесь?

— Да, здесь.

— Погудим?

— Давай.

Он нажал на клаксон. Дверь дома приоткрылась, выглянула женщина — молодая. Возможно, новая жена деда — я ее еще не видел. Потом появился сам дед. Я помахал ему рукой, он помахал в ответ и через минуту уже торопился к машине: в сапогах, плаще, под огромным брезентовым зонтом.

— Ну, пока,— сказал я фареру,— спасибо. Держи вот...— я протянул ему пять десяток.

— Нет, это много,— он помотал головой.

— Купишь сыну соску...

Я открыл дверцу — меня тут же окатило водой с крыши кабины, и спрыгнул к деду под зонт.

— Игореха! — Дед отвесил мне доброго тумака.

Фарер подал сумку.

— Счастливой дороги! — пожелал я ему.— И вообще успехов!

Он помахал рукой.

— Здорово, дед! — Я облапил деда свободной рукой, дед облапил меня, и мы пошли к дому, как влюбленная парочка под одним зонтом. Впрочем, дождь был такой, что и зонт толком не помог: ноги мгновенно промокли до колен и выше. За спиной взревел мотор, грузовик развернулся и понесся к шоссе.

— Чего ж ты не позвонил, что приезжаешь? — укорил меня дед.— Я бы кабанчика завалил... Предупреждать надо, вечно сваливаешься как снег на голову... Привыкли там в своей тундре...

— Э, дед,— сказал я,— всего не предусмотришь, жизнь такая... Я утром еще не знал, что поеду к тебе.

— Так ты откуда?

— Из белокаменной.

— Черт тебя носит... Там же палят бесперечь. Подвернешься под шальную...

— Я потому и удрал.

— Мишку-то видел?

— Они в Крым мотанули. Снежка с новым мужем — ну, и Мишка с ними.

— В Крым — это хорошо, это спокойно... Слушай, а Стефу мою ты еще не видел?

— Когда бы я успел?

— А, ну, значит, познакомитесь...

Строго говоря, мы с дедом не были никакими родственниками: когда мы со Снежкой еще жили вместе, дед уже поселился отдельно от Клавдии Павловны — на этой самой ферме. Потом они как-то незаметно развелись, дед женился на турчанке Софии — это было ее христианское имя, старого я не запомнил. Но через год София задохнулась в дыму, когда загорелся старый дедов дом, а сам дед уехал на базар в Ржев; София должна была вот-вот родить, у нее страшно опухли ноги, и она не смогла выбраться из своей комнаты, дом потушили, но ее не спасли. Прошло пять лет с тех пор, теперь и дом у деда новый, и жена новая, и сам дед все еще был как новенький: черный, мелкоморщинистый, но совершенно железный... А все равно что-то от Софии осталось во всем: и в доме, и в деде, и даже в новой его жене...

— Стефания...— важно сказала мне новая дедова жена, подавая руку. Рука у нее была жесткая и шершавая, зато сама она сдобная, состоящая из тугих шариков, с соломенными выгоревшими волосами, веснушками на круглых щечках и курносом носу, но чернобровая и черноглазая.— Лучше просто Стефа.

— Игорь,— сказал я.— Лучше тоже просто.

Она фыркнула и почему-то смутилась. На вид ей было лет двадцать шесть — двадцать восемь. Деду в октябре стукнет семьдесят...

— Собирай на стол,— скомандовал дед.— чтоб все было как надо.

— Будет, Иван Терентьевич,— засуетилась Стефа,— все будет.

— Ну и ладно. А мы пойдем перекурим чуток...

Курить мы расположились на втором этаже, в кабинете — так называл дед эту комнату, где у него хранились всякие бумаги, деньги, прочие ценности. Тут он и отдыхал, если было время. Одна из стен была целиком завешена турецким ковром — память о Софии. От ковра несколько лет пахло дымом. Посередине ковра висело отделанное серебром охотничье ружье. Это было так — украшение. Мне бросилась в глаза новая фотография на стене: дед, молодой, двадцатилетний, в летном шлеме и очках-консервах на лбу стоит, положив руку на лопасть винта тупомордого самолетика. Белыми буквами в углу: «19.VI.1941 г. Южный фронт».

— Вот, повесил,— проследив мой взгляд, сказал дед.— Сохранилась же как-то... Маленькая такая, не разобрать ни черта. Отвез в

Ржев, в ателье, увеличить. Они говорят: ладно, завтра будет. А сделали вон как — лучше новой. Но и взяли, канальи... Да.

— Много взяли?

— Хорошо взяли. Я аж вспотел, как услышал. Но стоит того, как тебе кажется? А немчик там, в ателье-то, сидел, скалится на меня, в «ишака» пальцем тычет: о, мол, руссиш вундер! Я ему и говорю: а я на нем, между прочим, тринадцать «мессершмидтов» завалил. Его всего и перекосило, бедного...

— Тринадцать? — я приподнял бровь.— Раньше я слышал про четыре.

— Ну, это всех — тринадцать. «Мессеров»-то четыре всего. Остальные — «юнкерсы», «хенкели», под завязку — «дорнье»...

— Все помнишь.

— Да вот — помнится,— погрустил дед.— Чем дальше, тем...

12.06.1991. 19 часов. Сорок километров к востоку от Ржева. Ферма Сметанина.

■

Гости прибыли не абы как, а на черно-лимонной «Испано-сюизе» производства двадцать восьмого года. Из такой машины должен появляться Вертер Геррен в белых цилиндрах и фраках с либен даммен, ну просто не знаю в чем. Поэтому благородно-серый парижский костюм отца семейства, темно-вишневое и черное с золотом платья дам, изящные, но недостаточно замысловатые, как-то, не так выглядели на фоне машины. Красиво. Но не так. Но красиво. Если не рядом с машиной... Мы с дедом соорудили галерею из парниковых рам, и гости могли пройти в дом, не намокнув. Итак, Дитер Клемм, отец семейства, лет сорока пяти, стрижен под ежик, голубоглаз и как-то сразу располагающ; фрау Ольга Клемм, та, что в черном с золотом, слегка за тридцать, бронзового цвета тяжелые волосы, в глазах что-то татарское, фигура со склонностью не то чтобы к полноте, но к пышности; сестра ее Вероника, помладше лет на пять, тщательно сдерживаемая бесоватость в лице и повадках, необыкновенно красивые ноги; плюс две девочки, семи и девяти лет, Ева и Ута. Еще одна семья, Виктор и Дарья Тихомирновы, тоже приглашенные дедом, просили начинать без них: ветеринар делает прививки, и когда закончит... Предполагался «русский ужин» — наедимся пельменей, сказал дед, напьемся водки и будем петь похабные частушки. Но и кроме пельменей — боже ж ты мой!.. учитывая, что на все про все у Стефы было три часа времени и одна помощница... Нет, она явно родилась с поварешкой в руке. Рыбные и мясные салаты, маринады, холодные тушеные грибы с горчицей, копченое мясо, фаршированные блинчики, что-то еще, еще, еще — и водка. Девять сортов водки в заиндевевших графинчиках. Дед по

каким-то одному ему известным признакам ориентировался в них. Это для дам, говорил он и наливал понемногу в хрустальные рюмочки. А это — для настоящих мужчин... Ну, как? Неимоверно! Тогда — за прекрасных дам, господа офицеры!..

Сам дед имел офицерские чины трех армий. В Красной Армии он был лейтенантом, командиром истребительного звена. После разгрома он и еще два десятка летчиков на дальнем бомбардировщике перелетели в Иран к англичанам. Там он поступил на службу в королевские ВВС и за три года дослужился до капитана. Сбитый над Францией, дед через Испанию и Португалию добрался до Лиссабона, откуда хотел попасть в Англию или Америку, но сумел получить лишь венесуэльскую визу. В Венесуэле его сразу произвели в полковники и поручили комплектование истребительной авиадивизии. Дивизия уже была готова к погрузке на корабли и отправке в воюющую союзную Великобританию, когда грянул переворот. Часть самолетов дед сумел перегнать на Кюрасао, а оттуда через Колумбию — в Панаму. В Панаме были американцы. В это время в Каракасе высадились первые полки германской морской пехоты. Начиналась затяжная карибская кампания. Поучаствовать в ней деду не удалось: в одном из рутинных перелетов с аэродрома на аэродром у его «тандерболта» загорелся мотор. По красноармейской привычке дед спасал машину до последнего и сел на брюхо на речную отмель. Машину все равно списали в лом, а ноги деда обгорели до костей. Ходить без костылей он начал только года через два, перенеся полтора десятка операций...

— Так точно, сеньор полковник! — отозвался я.— За дам-с!

— Я в отставке,— сказал герр Клемм,— но присоединяюсь. А вы, Игорь?..

— Поручик егерских войск, действующий резерв,— отрекомендовался я.

— О-о! — с уважением сказал герр Клемм.— Сибирские егеря — это очень крутые парни!

— Воистину так,— согласился я.

— А ну-ка, ребята, еще по одной,— распорядился дед.— Вот этой, прошу...

Под холодные закуски мы удегустировали четыре графинчика. Герр Клемм раскраснелся, взъерошился и освободился от пиджака и галстука. Сестры Ольга и Вероника мило щебетали, и подтекстом щебета было: ах, как бы поближе познакомить Веронику с этим мужественным, но ужасно одиноким сибирским офицером. Дети сначала вяло ковыряли угощение, но потом я догадался принести свой раухер, поставить игровую программу — и теперь из угла доносились ничем не сдерживаемые вопли восторга. Стефа смущалась так, что румянились даже пухленькие плечики. Каждая похвала

ее искусству — клянусь, не было незаслуженных похвал! — вызывала новую вспышку румянца.

— В наших краях пока нет бандитов,— веско говорил герр Клемм.— Но!..

— «Но» — это ты верно сказал,— кивал дед,— именно что «но».

— Нужно быть готовым, а еще лучше всем собраться и договориться,— герр Клемм положил себе еще грибов,— и организовать охрану, может быть, нанять кого-нибудь... Есть же небогатые отставные офицеры, пенсионеры-полицейские... Назначить им неплохое содержание, вооружить...

— Дитер, не налегай зря на грибы, сейчас будут пельмени,— сказал дед.— Не знаю, как ты, а я надеюсь только на свои силы. Наемники почему-то всегда оказываются не там, где стреляют.

— Мужчины,— укоризненно сказала фрау Ольга,— зачем вы об этом?

— Так уж получилось, дорогая, что говоришь не о самом приятном, а о самом животрепещущем,— объяснил герр Клемм.

— О! — вспомнил я.— Герр Клемм, у вас..

— Дитер,— поправил он,— просто Дитер.

— Дитер, у вас нет брата в Кургане?

— Есть племянник,— кивнул он.— А что?

— Он служит в полиции?

— Да, в эйбапо. Вы встречались?

— Боюсь, что да.

— Почему боитесь?

— Потому что после этой встречи у него наверняка будут неприятности.

— Ему не привыкать к неприятностям. Что же он напроказил?

— Пожалуй, это я напроказил. Долго стояли на границе, я налил ему пару рюмок коньяка — ну, и...

— Кстати, о паре рюмок,— оборвал нас дед.— Вот это — собственной выработки.

— «Сметановка»,— сказал я.

— Именно. Нет, это все-таки надо под пельмени. Стефа, командуй!

Стефа упорхнула на кухню, и через краткий миг в густом облаке потрясающих ароматов вплыли пельмени, почти что сами, фарфоровая супница была для них обрамлением, а две женщины справа и слева — фрейлинами, необходимыми по этикету...

— Пиздец.— сказал Дитер по-русски. Вероника прыснула.

— За искусниц и прелестниц,— сказал дед, налив.— За тех, на кого Адам променял райские кущи — и ни разу не пожалел об этом.

— Если можно, дед, я встряну,— сказал я.— Давайте выпьем за хозяев дома, за дорогих мне людей, за соль земли, за тех, благодаря

кому процвел этот край. Стефания Войцеховна и Иван Терентьевич! Мира вам, счастья и долгих-долгих лет вместе!

— Вот за что я и люблю русских! — сказал Дитер.— Вот потому я и женился на русской! Хрен вам какой дойч так скажет!

— Пьем,— скомандовал дед.

Мы выпили.

— Дед,— сказал я, переводя дыхание,— так не бывает. Хочешь, познакомлю тебя со Степановым? Такая водка — это же золотое дно!

— Дорогонькая получится,— ухмыльнулся дед.— Четверная перегонка, а сколько угля березовского уходит!.. нет, это для друзей, для себя...

— Иван,— сказал Дитер.— Иван... У меня нет слов. Ты гений, Иван.

— За такие слова получишь литр с собой,— сказал дед.

— О, не смею надеяться!..

Дамы тут же изъявили желание перейти со слабенькой дамской вот на эту, которую все так хвалят.

— Пельмени,— напомнил дед.

Чего уж тут напоминать... Все до единого целенькие, налитые, они мгновенно таяли во рту, и вкус... Нет, господа, нет таких слов, чтобы передать вкус настоящего, мастерски приготовленного пельменя. Если над шашлыком, например, хочется мыслить о вечном и плакать от любви к человечеству, то пельмешек превращает вас в законченного эгоцентрика, и ничто в этом мире не отвлечет вас от напряженного внутреннего созерцания собственных вкусовых ощущений... Эх, да что там... Даже вторая, третья, четвертая рюмочки бесподобной «сметановки», и те... Ручку, ручку поцеловать... Ах, боже ж ты мой милостивый...

Покурить мы вышли на крыльцо.

— Нет дождя,— удивился Дитер.— А в доме слышно, что идет.

— Это дети музыку включили,— сказал я.

— Ах, вот оно что... Слушайте, Игорь, а вы не боитесь, что они сломают ваш прибор? Наверное, он дорогой?

— Пять тысяч рублей,— сказал я.

— В марках это получается — двенадцать тысяч?! Ну и цены у нынешних игрушек!

— Детский — дешевле,— сказал я.— Раз в двадцать.

— То есть вы советуете купить?

— Отговаривать не стал бы,— сказал я.

— М-м... А вот говорят, детям все это вредно... Глаза портятся, с ума сходят...

— Дитер,— сказал дед,— когда я был как твои девочки, мне отец читать не позволял: глаза, мол портятся, с ума сходят... И вообще вредная штука — чтение. Понял?

— Понял,— сказал Дитер,— все повторяется... А табак, Иван, ты тоже на своих плантациях выращиваешь?

— Нет, табак турецкий... Свояк посылает, Сонечкин брат...

— Слушай, дед,— спросил я,— где нынче берут таких девушек?

— О,— сказал дед,— это такая история... Войцеха, отца ее, ты разве не помнишь? А, хотя нет, это еще до тебя было. Короче, Войцех продал свою землю — тут у него земля была, недалеко, по ту сторону шоссе — и подался в Африку, в Кению... Нет, вру, в Кению Шульга рванул, а Войцех, кажется, в Замбези... Да, точно, в Замбези. Поначалу писал оттуда, потом и писать перестал — новостей нет, глушь, вкалывают побольше, чем здесь — чай он выращивал... А в позапрошлом году, зимой, морозы тогда ого-го какие были — сопля на лету замерзала — стучат. В окно. Открываю, смотрю: девчонка, в кацавейке драной, ноги тряпками обмотаны... Пустил, конечно, как иначе... Долго не узнавал, пока сама не сказала. Уезжали-то — такая вот фигушка была, как тут узнаешь? В общем, отца негры убили, мать от малярии померла, брат пропал — тоже, наверное, убили... Саму ее чем-то пугнули так, что бросила все — и в чем была... Добралась кое-как. Где добрые люди помогли, а где... Но добралась. Не вспоминает она больше этого, не говорит — только иной раз приснится если, так плачет. Вот и все. Это насчет где берут. А ты-то сам?.. вон Дитер тебе какую невесту приволок, а, Дитер?

— Вполне.— сказал Дитер.

— Не время, дед,— сказал я.— Не с руки.

— Бросал бы ты к едрене фене свою службу, доканает она тебя.

— Брошу, дед,— сказал я совершенно искренне.— Вернусь — и все! Вот где мне это уже,— я показал на горло.

— Ладно, пошли внутрь,— сказал дед,— там еще одна водочка неопробованная осталась — та вообще золотая...

И все смешалось нетревожно и беспечно. Стефа, ничуть не смущаясь, целовала деда и шептала громко, почти крича: люблю, люблю, люблю! Вероника оказалась рядом со мной и, блестя глазами, расспрашивала, в каких баталиях я участвовал и скольких супостатов погубил — я без стеснения врал. Дитер играл на гармошке и пел немецкие куплеты — голос у него оказался сильный и хорошо поставленный. Потом сестры расшалились и заставили его подыгрывать частушкам. Я в очередной раз подивился, как силен русский фольклор. «Подари мне, милый, мину, я в манду ее закину — если враг в село ворвется, он на мине подорвется!» — спела Вероника и хитро подмигнула мне. Роскошная фрау Ольга отчебучила что-то не менее зажигательное. Дед вмазал такое, что дамы покатились со смеху, закрываясь ручками. Дошла очередь и до меня. «В небе уточки летают, серенькие, крякают. Любку я в кустах бараю — только серьги брякают!» — я поддержал реноме гвардейского офицера.

Ах, чай, чай! — всполошилась вдруг Стефа. Самовар хрипел и кашлял. Не могу больше...— простонал кто-то. Но тут подоспели Витя и Даша. Они были похожи, как брат и сестра: светлоглазые, с плоскими круглыми лицами. Штраф, штраф! — и дед вручил им по зеленому стакану, полному до краев. Они проглотили водку, закусили крошечными огурчиками, жгучими, как стручковый перец, и чинно сели за стол. А теперь пирог, сказала Стефа, и возник пирог. «Это конец»,— подумал я. А то поживешь у меня недельки две? — спросил дед, я тут собрался было старый трактор перебрать, да все рук не хватает, а ты в механике не самый последний... Наверное, дед, сказал я, надо подумать, позвонить кой-куда...

Дитер играл остервенело, от гармошки валил пар. Витя с Дашей и сестры плясали — бешено, со свистом. «А мой миленький герой, у него штаны горой! как горою поведет, так у меня все упадет!» я стоял на крыльце, один, в стороне от вылетающего из двери света. Потом в дверях появилась Стефа. Я ее видел, а она меня нет. Ох, божечка, сказала она, и в голосе ее зазвенело страдание. Ох, божечка, страшно-то как...

13.06.1991. 5 часов утра. Ферма Сметанина.

■

Мне снился скверный сон, причем я прекрасно понимал, что это именно сон, но не мог его пересилить и не мог проснуться. Все происходило на каком-то плацу. Посередине плаца стоял наш «Лавочкин», только он был почему-то раза в три больше, чем на самом деле. На краю плаца прямо в асфальте зияли узкие щели, и не сразу я понял, что это могилы. Рядом с могилами расположился сводный оркестр, музыканты играли, но не было слышно ни звука. Зато отлично слышались шарканье ног, неразборчивые голоса, скрип, завывание. От «Лавочкина» и до могил протянулась шеренга офицеров всех родов войск, стоящих «смирно» и отдающих честь. Позы их были абсолютно одинаковы, я присмотрелся к лицам: лица тоже. Это были манекены. Вдоль шеренги манекенов маршировали солдаты в парадной форме — в две колонны по три человека в каждой. Они маршировали, одной рукой давая отмашку, а другую держа у плеча, и я долго не мог понять, что к чему, пока они не подошли к могиле и не стали опускать в нее невидимую ношу. Гроб, понял я, невидимый гроб... Или нет никакого гроба, а они только притворяются, что есть. Солдаты сделали свое дело, отдали могиле честь и плотным маленьким каре двинулись в обратный путь. Они ходили, туда и обратно, а я, страшно злясь, смотрел на все это и вспоминал наши похороны, и видел, какая злая пародия эти похороны — на те, наши. У нас в архиве хранятся маленькие керамические контейнеры, в которых спрятаны по пряди волос каждого из нас и по

фотографии. И если человек гибнет там, откуда его тело доставить нельзя, то контейнер помещают в печь, а потом пепел пересыпают в урну, и урну эту ставят в колумбарий... И мне всегда казалось, что это правильно. Солдаты отдали честь предпоследней могиле, но возвращаться к самолету не стали, а попрыгали в последнюю и оттуда, изнутри, стали засыпать себя землей. И глухо, как из-под толстого войлока, стали появляться отдельные звуки музыки, выстраиваться в нечто, и вдруг это нечто явилось целиком: *спит гаолян, ветер туман унес, на сопках...*

Я проснулся мгновенно и мгновенно оказался на ногах. В доме был чужой — я ощущал это каким-то десятым чувством, спинным мозгом, кожей... Из окон цедился голубовато-серый полурассветный свет. Рука сама скользнула под подушку, достала пистолет: «столяров» калибра двенадцать и семь. Медленно-медленно, чтобы не повредить тишину, я оттянул и вернул на место затворную раму. Мягкие, кошачьи шаги за дверью: два шага, еще один... Стоп. А вдруг это Вероника... С пьяных глаз... Вот смеху-то будет... Еще два шага — под самой дверью. Нет, не Вероника: она пришла бы босиком или в туфлях на высоком каблуке, а здесь что-то легкое, типа теннисок... Дверь медленно, по миллиметру, стала приоткрываться. Ну, смелее, смелее... В образовавшуюся щель просунулась рука с темным квадратиком в пальцах — зеркальце, догадался я. Зеркальце поворачивалось, сейчас тот, кто за дверью, увидит меня... Я выстрелил в стену — туда, где, по моим расчетам, были колени. Не теряя времени, вылетел за дверь. Кто-то слабо ворочался на полу, и кто-то другой удирал вниз по лестнице. Я прыгнул через перила, сократив себе путь на два лестничных марша, но не достал убегавшего — он был быстрый, как крыса. Когда я выкатился на крыльцо, он уже стоял шагах в десяти, ловя меня стволом. Пришлось бить на поражение. Дульная энергия у «столярова» колоссальная, парня отшвырнуло шагов на пять. Тут же на дороге появилась набирающая скорость машина. Я успел упасть — очередь прошла выше. Зазвенели стекла. Я дважды выстрелил вдогон — заднее стекло покрылось густой сеткой трещин. Из машины больше не стреляли. Через секунду она скрылась за поворотом. Я подошел к убитому. Очень короткая стрижка, очень молодое лицо. Дыра в груди, крови почти нет. Немного в стороне, отлетел при ударе — «парабеллум» образца тысяча девятьсот девятнадцатого...

В доме стояла мертвая тишина, и у меня все мгновенно замерзло внутри — а что, если и вправду мертвая? Если они успели?.. Нет, слава богу. Просто у меня после стрельбы вата в ушах. Вот они все, мои дорогие... Что? Нет, там все в порядке. Что? Ох, дьявол... Я поднялся по лестнице. Вот он, лежит. Тоже мальчик, тоже короткая стрижка... Ноги превращены в кровавое месиво, особенно колени... И

маленькая треугольная дырочка над левой бровью. То ли осколок кирпича, то ли пули... Наповал. Все.

В меня понемногу просачивались нормальные звуки: речь, дыхание, плач. Все целы?

Все, все, Витю только стеклом немного порезало, немного, ничего, заживет... Заживет как на собаке, верно я говорю? Дети? Ничего, ничего, поплачут и успокоятся, ничего... Игорь, тормошит меня за плечо дед, тут такое дело... Полицию надо вызывать. Надо, тупо соглашаюсь я. Так лучше было бы, если бы это сделал я. Я хозяин, имею право... Да, дед, соглашаюсь я, да вот поверят ли? Поверят, вон сколько свидетелей. А ты пока у Дитера пересидишь, Вероника тебя свезет... Свезешь, Вероника?

Я смотрю на них всех — будто больше никогда не увижу. Бледная, как стена, и очень решительная Стефа, ей некуда уходить отсюда, это ее земля... Дробовик-многозарядку она держит чуть небрежно, как вещь привычную. Дед — пергаментно-коричневый, глаза светятся, как у кошки, опирается на ручной пулемет неизвестной мне системы: откопал, наверное, на своих полях. Дитер, очень деловой, спокойный, подтянутый. Один револьвер в руке, два за поясом. Ольга, спавшая с лица, заплаканная, готовая на все. На плече двустволка. Даша и Витя, Витя в крови и бинтах, прижимает к лицу пятнистую тряпку. Оба с МП-39. Тоже, наверное, откопали...

— Ребята,— говорю я,— они не вернутся. Они меня искали. А теперь — все.

— Как знать,— говорит дед.— Ты поезжай лучше. Поезжай. С полицией мы сами все уладим. Верка, возьмешь мотоцикл — и вдоль речки, чтобы вас никто не видел.

— Да, дядь Вань.

— Ну, Игореха,— обнял меня дед,— спасибо тебе. Мы-то спали, как сурки — я, старый филин, и то сопел.

— Сейчас, дед,— сказал я,— сейчас, надо еще посмотреть...

Я склонился над убитым, проверил карманы его парусиновой курточки. В правом боковом лежал пружинный нож, очень хороший золингеновский нож. В левом боковом штук пять пустых пластиковых мешочков, а в левом нагрудном — моя фотография шесть на девять...

Это, пожалуй, меняет дело, засомневался дед. Я смотрел на фотографию и никак не мог понять, откуда она такая. Потом вспомнил. Нет, дед, сказал я, ничего не меняется, давай играть как задумали. Это я все забираю... А это? — подняла с пола Вероника. А, зеркальце... нет, это что-то другое. Какой-то прибор... непонятно. Тяжелый металлический квадрат примерно семь на семь, с одной стороны матовое темно-серое покрытие, с другой — полоска жидкокристаллического индикатора. Интересно... ну очень интересно.

Вообще все понемногу складывается в забавную картину... и еще моя фотография с медицинской карты... Да, господа, неладно что-то в датском королевстве...

Впрочем, как говаривал Тарантул, не начать бы делать поспешные выводы из слишком ярких предпосылок...

Пока Вероника переодевалась в рабочее и выводила мотоцикл, я обыскал второго убитого. У него тоже была моя фотография и пара тонких резиновых перчаток. Дитер, расстроенный, ходил вокруг «испано-сюизы». В нее попало несколько автоматных пуль.

— Да заварим,— сказал Виктор,— пригоняй ее сегодня к нам.

— Сто двадцать тысяч мне за нее предлагали,— сказал Дитер,— не взял.

— Ну и правильно,— сказал Виктор,— деньги что тьфу,— и нет их, а это надолго. Так что заварим, закрасим — с лупой не найдешь, где дыры были.

— Спасибо, Виктор, я видел, как ты варишь — это высокий класс,— сказал Дитер.— Поэтому я не расстраиваюсь.

Вероника подкатила на легком «тиере», похлопала по сиденью: садись.

— Витя,— сказал дед,— дай Игорю пока свой автомат, мало ли что.

Виктор протянул мне МП и запасной рожок.

— Спасибо,— сказал я.

— Пустяки,— сказал Виктор и отошел.

— С Богом,— сказал дед.

— Вам того же,— я помахал рукой.

С дороги Вероника почти сразу свернула вправо, в поля, заросшие чем-то густым и высоким, выше колена — пшеницей, ячменем?.. Мотор глухо рокотал, во все стороны летела грязь. Ноги мгновенно промокли.

— Крепче держись, не болтайся! — крикнула Вероника.

Я забросил автомат за спину и обнял ее обеими руками.

— Теперь другое дело!

Она повела плечами и добавила газу. Мы неслись к извилисто тянущейся через поля полосе черемуховых зарослей.

13.06.1991. 14 часов. Ферма Клемма, пасека.

■

— Тьфу на тебя, Верка,— сказал за окном дед, и я открыл глаза.— Жопу бы хоть прикрыла, валяешься, как не знаю кто.

— Жопа как жопа,— сказала Вероника,— чего ее прикрывать? Была бы косая какая, тогда уж...

— Эх, не моя ты дочь,— вздохнул дед.— Так бы щас ремнем утянул...

— Да чего, дядь Вань, загораю, никого не трогаю. И вообще мокрое все. Сверзились мы таки в речку, не миновали.

— Ну, еще бы. Таких пилотов, как ты, у нас в эскадрилье дроводелами звали. Ладно. Все тихо у вас?

— Тихо. Я собак спустила, если бы что...

— Видел я твоих кобелей: валяются под плетнем, и мухи по ним пешком ходят. Дохи только шить из таких сторожей.

— Так нет же никого.

— Угу. Так вот нет, нет, а потом открываешь глаза: ангелы, ангелы... Он-то спит?

— Спит.

— Не сплю,— сказал я и сел. О-ох... Потянулся с хрустом и подошел к окну.

За окном было ярко, жарко, пахло горячей травой и медом. Гудели пчелы. На солнцепеке расстелен был выгоревший брезент, на брезенте в соломенной шляпе лежала Вероника. Смотреть на нее было одно удовольствие. Рядом, опираясь на какой-то столб, стоял дед и ехидно щурился.

— Отдохнул? — спросил он.

— Более-менее.

— Пчелки не покусали?

— Почти нет. На кой им дубленая шкура?

— Как сказать...

— Как у вас там дела?

— Нормально. Уладили. Следователь, конечно, очень удивился, что старый пердун уложил двух бандитов... он их, кстати, узнал. Есть такая группировка «Муромец» — так они из нее.

— О, дьявол! — сказал я.

— Ты их знаешь?

— Знаю. Самое говно. Гитлерюгенд.

— И что теперь?

— Надо двигаться. А вам, наверное, стоит действительно нанять каких-нибудь пистолетчиков... хотя нужен-то им я.

— Чем ты их так зацепил?

— Да случайно копнул глубже, чем надо — и вылезло дельце на триста миллионов. За такие деньги, сам понимаешь, и морду набить могут.

— Но как они тебя тут нашли?

— Черт его знает... через фраера, который меня подвез? Разве что... хотя...

Какая-то догадка у меня, кажется, возникла, но тут Вероника лениво поднялась и подошла к деду.

— Слушай, дядь Вань,— сказала она,— ты же все понимаешь, а?

— Да чего уж не понять. Только учти, Ольга уже матом тебя кроет, чего-то ты там не сделала.

— С Ольгой мы сочтемся...— в голосе ее прорезалась хрипотца.— Дай я тебя поцелую.— Она обвила шею деда руками и томно поцеловала в одну щеку, в другую...

— Хватит, Верка, хватит,— смеясь, отбивался дед.

— Ну, раз хватит...— она шагнула назад, а я вдруг снова вернулся в тот миг, когда мы, цепляясь друг за друга и хохоча, выбрались из речки, повалились на песок и стали бешено целоваться.

Дед что-то говорил, а она ему отвечала, я отступил от окна и запнулся взглядом о приемник — и чисто автоматически, не знаю зачем, включил его.

Эфир был полон Вагнером, все диапазоны содрогались от могучих аккордов, и с огромным трудом пробивалась сквозь них взволнованная дикторская речь. Массовые аресты, произведенные накануне... под лозунгами... призвали к невмешательству... однако армии государств... многочисленные жертвы... из стрелкового оружия и минометов, число убитых превысило... выступление рейхсминистра внутренних дел по телевидению только обострило... переход вооруженных сил на сторону восставшего... удерживают пока... к утру обозначились позиции... германские части, расположенные южнее... по неполным данным, на стороне народа выступают чешские, финские, болгарские, греческие... неопределенность относительно... покинув летние лагеря, движутся к Москве... перестрелка с применением реактивных... судьба до сих пор... ста танков сосредоточено в районе Кремля, кроме того, контролируется... толпами беженцев... растущие жертвы... чревато разрушением реактора, последствием чего могут стать...

Рядом со мной молча стояли дед и Вероника: дед неподвижно, как соляной столп, а Вероника слепыми и непослушными пальцами пыталась застегнуть на груди комбинезон. Я тихонечко вышел из дому, снял с веревки высохшие клейды, оделся. Когда она успела постирать?.. Почему-то сдавило горло. Все было неправильно, все, кроме... Я взял себя в руки. Спокойно. Не сходи с ума. Не имеешь права сходить с ума. Не имеешь права...

Уже другой голос, сорванный, хриплый, выкрикивал: сограждане. настал решительный... чаша гнева... притеснения, не виданные за все годы существования... культурный и моральный кризис, полный тупик... расстреляв мирную демонстрацию, поставили себя вне закона... более трехсот человек... братья — солдаты, которые никогда... тем самым окончательно похоронил надежды... распространено обращение командующего русским территориальным корпусом генерала... на защиту безоружных москвичей встали солдаты чешской бригады, их поддержали... потеряв несколько танков, отошли... запершись в Кремле, вряд ли могут рассчитывать... волна народного гнева сметет, как мусор... последний шанс, данный нам историей...

только свободная, единая, независимая Россия... к оружию, граждане, к оружию, россияне!

— Эт-то но-мер...— протянул дед.

Я вдруг почувствовал, что меня колотит крупной внутренней дрожью. Такая — почти радостная — дрожь бывает при игре, когда надо делать последний ход — и ты знаешь его. В какой-то момент возникло чувство повторности происходящего, и в то же время по неведомо каким ассоциативным путям всплыло, как я читал, продираясь сквозь кошмарный почерк, повесть Фила Кропачека «Неистребимый». Несколько измятых, засаленных тетрадей я получил по почте через день после того, как Фил, надев парадную форму и все награды, которые у него были — немало, надо сказать, в том числе и Андрей Первозванный,— вышел на площадь перед Розовым дворцом, достал из кобуры «березин» и выстрелил себе в висок. Действие повести происходило в период Тувинской экспедиции — вот выдумали же, сволочи, название для войны: «экспедиция»! Мы посмеивались над этим и сочиняли анекдоты, но было противно,— так вот, у Фила в эти дни в продажу начинают поступать мясные консервы в банках, по форме напоминающих цинковые гробики... было там еще множество разных происшествий, комичных и кошмарных, и был главный герой, то ли чудак, то ли гений — короче, в какой-то момент он начал понимать, что все происходящее сейчас с ним и вокруг него на самом деле лишь символы, аллегории того, что происходит вне нашего мира, в каком-то высшем, истинном мире... и вот, поняв это и разгадав значение аллегорий, он понимает, что следующее событие будет происходить с ним самим и что это должно быть что-то мерзкое: в числе прочего он должен будет изнасиловать и убить свою сестру, а к сестре у него очень сложные и какие-то взрывные чувства — и вот, чтобы избежать неизбежного, он вешается. Сестра же, придя, деловито вынимает его из петли и начинает оживлять: оказывается, это она навела на него «зов петли» — ей нужен был его труп, чтобы сделать зомби для каких-то своих целей. Она оживляет труп, но забывает вдруг одно заклинание, и мертвец насилует ее, а потом загрызает... а утром идет на призывной пункт и вербуется добровольцем, и вот он в Хем-Белдыре, неуязвимый, оружие не берет его, и он страшно мучается этим, потом узнает, что есть такой шаман, который... Рукопись оборвана на полуслове. Фил запечатал ее в пакет и бросил в ящик, а сам переоделся в парадную форму, нацепил ордена и вышел на площадь перед Розовым дворцом...

— Дед,— сказал я,— мотоцикл ты мне дашь?

— Игореха,— не поворачиваясь ко мне, прошептал дед,— что же это делается, а? Ведь война, Игореха...

— Война не война, а все равно — подлое дело, очень подлое.

— Ты хоть понимаешь, что происходит?

— М-м... местами.

— Сказать можешь?

— Только самое тривиальное: империя распадается. Идет борьба за власть. Кто к кому присоединится: Россия к Сибири или наоборот. И прочее вокруг этого.

— А ты причем?

— Воюю с террористами.

Я поймал на себе взгляд Вероники, повернулся к ней. Лицо ее посерело, глаза неподвижно смотрели на меня.

— Ты... обратно?..

— Нужно...

— Кому? Тебе? Мне? Зачем?

— Он офицер, Верка,— сказал дед.— Ты уж не это...

— Офицер...— она судорожно вздохнула и быстро, почти бегом, бросилась из дома.

— Подожди, Игореха, не бегай за ней,— поймал меня за руку дед.— Лучше послушай-ка меня. На шоссе не суйся. Вон тот лесок видишь? За ним деревня, Санино. За деревней начнется насыпь, узкоколейка там была, рельсы сняли, так что ехать по ней можно. И ведет эта насыпь через Поречье до самого Звенигорода. А там уж...

— Там рукой подать.

— А то лучше спрячешься тут где-нибудь?

— Сам видишь — не получается. Надо двигаться, надо шевелиться.

Дед хотел еще что-то предложить, но только сморщился и махнул рукой — слабо, беспомощно...

— Господин полковник!..

— Да. Да, все понимаю. Не дело...

И вернулась Вероника. Другая. Не похожая на себя. Другое лицо... Я никогда не видел таких лиц.

— Ты только не исчезай совсем,— сказала она.— Ты появляйся иногда, хорошо?

Мне вдруг сдавило горло, и я долго ничего не мог ответить.

13.06.1991. 20 часов 30 минут.
Где-то между Рузой и Звенигородом.

■

Как я ни крутил, как ни прикладывал фирменные заплаты, ничего не получалось: разрез был слишком велик. Осталось пройтись вдоль дороги и поискать брошенную дырявую камеру: вряд ли один я пострадал на этой промоине. Похоже, когда делали насыпь, в ней схоронили всякий военный мусор: я, например, напоролся на зазубренный осколок бомбы или крупнокалиберного снаряда. Так, в поисках подножных запчастей, я прошел метров сто пятьдесят — и

наконец увидел то, что нужно. У жерла дренажной трубы, полуутонувшее в грязи, виднелось колесо от трактора. Я стал спускаться вниз — и тут сзади раздался вой автомобильного мотора.

Это был полноприводной «хейнкель-ягд» ядовито-желтого цвета. Выцарапавшись из промоины, он остановился. Открылись двери, вышли двое, огляделись по сторонам. Один расстегнул штаны и стал мочиться прямо с насыпи, другой сбежал вниз, в кустарник... сейчас увидит мотоцикл... увидел! Все — нет ни того, ни другого, а из машины выбирается третий, и в руках у него какой-то ящик, похожий на старинный радиоприемник, и он поворачивает его из стороны в сторону, заглядывая в него сверху, будто в кастрюлю... и тут мне стало нехорошо, какая-то дурнота, какая-то маятная, тошная слабость возникла повыше желудка, и черт его знает, как было бы дальше, но парень этот поставил свой ящик на капот и взялся за бинокль, и стал смотреть вдаль... Стоило ему чуть опустить очи долу — и все. Но тут опять раздался рев мотора и гудок: кто-то еще не желал сидеть в чертовой промоине. «Хейнкель» тронулся с места и отрулил на самый край насыпи, пропуская того, кто ехал следом. Это оказался фермерский грузовичок-трактор «тролль». Фермер притормозил возле «хейнкеля», крикнул что-то нелестное водителю, газанул, наполнив салон «хейнкеля» синим перегаром, и покатил вперед. Я же, пользуясь этой заминкой, скатился к трубе, влез в нее и, елозя локтями по жидкой грязи, переполз на другую сторону насыпи. И не зря: здесь кустарник подходил вплотную к дороге, а от трубы тянулась канава, промоина, и была эта канава, похоже, достаточно глубока, чтобы меня скрыть... от бинокля — да. А от той чертовой штуки, напоминающей приемник? Ладно, думать будем после...

По кустам я — где согнувшись, где на карачках, где и ползком — добрался до перелеска. Теперь я был метрах в трехстах от машины, сбоку и чуть сзади нее. Фарер сидел за рулем, тип с ящиком стоял рядом, но на ящик свой не смотрел, ящик стоял на капоте. Еще один тип шел впереди по дороге, время от времени останавливаясь и поднося к глазам бинокль. Четвертого видно не было.

Ну, что ж, ребята... смыться от вас без транспорта мне вряд ли удастся... а из оружия у меня одна рогатка... Соваться в нынешнюю кашу с незаписанным пистолетом — нет уж, проще запереться в чулане и отсидеть положенные три года. В дедовой мастерской мы за полчаса соорудили рогатку из титанового прутка и красного резинового шнура чуть потоньше мизинца. В карман я насыпал два десятка шариков от подшипника. С этим арсеналом я и готовился принять бой. Или навязать его.

Пистолет в ближнем бою, конечно, предпочтительнее. Из него можно стрелять стоя, сидя, лежа, на бегу, в прыжке, с одной руки, с двух, выпуская восемь пуль по восьми целям за две с половиной

секунды. Из длинноствольного «дерезина-600» или флотского «парабеллума» я попадаю в поясную мишень с полукилометра. Из рогатки стрелять можно только стоя, причем в одной позе: правым боком к противнику. Скорострельность не более выстрела в секунду. Убойная сила сохраняется метров до пятидесяти. И тем не менее я знаю несколько случаев, когда рогатка одерживала верх над пистолетом — благодаря двум неоспоримым преимуществам: бесшумности, во-первых, а во-вторых, тому, что у противника при виде рогатки не срабатывает приоритетный рефлекс на оружие, ему приходится сначала подумать, а уж потом стрелять, теряя на это бесценные доли секунды....

Итак, три противника были в поле моего зрения — следовательно, начинать надо с четвертого. Я короткими перебежками направился к промоине, чтобы перейти дорогу за спиной у этих ребят. Вполне могло быть, что четвертый, невидимый, затаился и ждет — или идет мне навстречу. Но нет, до промоины я дошел спокойно, а дальше было непросто — метров пятнадцать совершенно открытого пространства, причем в виду стоящего на горочке «хейнкеля»... повезет — не повезет... не повезло: парень, стоящий у машины, взял свой ящик, что-то там нажал или покрутил — во мне взорвался кусок льда — повернулся кругом и увидел меня. А ведь именно его я собирался сохранить и побеседовать... да, удивиться он успел, а вот испугаться вряд ли...обхватил руками брызнувший лоб и повалился навзничь. Фарер, как чертик из коробочки, вылетел из машины и дважды выстрелил куда-то влево — что-то он там узрел, в кустах. Ему я попал в висок, он рухнул и покатился с насыпи. Тут я наконец завершил начатый маневр — пересечение плеши. Теперь я был опять справа от дороги, в кювете. Машины отсюда видно не было, ее скрывала гора мусора, зато как на ладони была полянка, где я ладил мотоцикл. Шевельнулись кусты, показалась макушка, рука с пистолетом махнула: туда, туда! До «макушки» было метров семьдесят — не достать. Тот, кому он делал знаки, видимо, тоже что-то показал ему, потому что «макушка» высунулся по пояс из кустов, быстро огляделся, а потом рванул напролом, как кабан, взбежал на насыпь и прилег около машины. Ага, они были уверены, что я на той стороне... отлично. Я на полкорпуса высунулся из моего окопа. Где он там? Так... видны ноги и кусочек задницы. Надо полагать, последний, четвертый, крадется в поисках меня... может быть, даже по моему следу. Нет возражений. Я пошарил вокруг себя и подобрал два булыжника размером в кулак — трудно без артиллерии, господа... Стараясь не шуршать, я подобрался к «макушке» метров на двадцать и навесом, несильно, чтобы не убить, запустил одним и тут же другим булыжником именно в макушку... и промазал — он вскрикнул и дернулся назад, бежать — ну и, естественно, покатился вниз. Я подскочил к нему, рубанул по затылочной ямке, отключая, схватил

пистолет — новенький элитный «вальтер» — и бросился за деревья. Все — теперь будет работать выдержка... у кого нервы крепче... Интересно, а вдруг поедет мимо кто-нибудь?.. Прошло пять минут, десять... Ага, вот он! Шевельнулась прошлогодняя крапива возле той дренажной трубы, по которой я полз вначале. Ну, давай, давай... Я вложил в кожанку шарик и легонько, в четверть натяга, выстрелил в насыпь примерно в полусотне метров перед машиной. Посыпались камушки. Он затих. Я ждал, что он постарается оседлать дорогу — нет. Потом я понял, что он ползет по кювету. Ты бы еще окопчик отрыл, подумал я. Пехота. Стрелять из элитного «вальтера» мне еще не приходилось, и, хотя я знал, что точность боя у него даже лучше, чем у длинноствольных систем, противника моего следовало, пожалуй, подпустить как можно ближе. Полз он медленно и осмотрительно. Я даже зауважал его за это. Полгода хорошего тренажа — и тебя можно будет брать на акции... Наконец, он поравнялся со мной. Нас разделяло семьдесят метров низкорослого кустарника. Стоя за деревом, я хорошо видел срез кювета. Вот опять шевельнулась трава... Я выпустил шарик в склон насыпи чуть позади ползущего, бросил рогатку и поднял «вальтер». Над срезом кювета мгновенно появились руки с пистолетом. По пистолету-то я и выстрелил.

Что было по-настоящему тяжело — так это ломиться сквозь кусты. Я даже почти успел, я еще увидел, как он, скорчившись, что-то пытается сделать — в такой же позе на ветру, на холоде закоченевшими пальцами зажигают спичку... и тут же распрямился, дернулся и затих. На губах видны были осколки стекла.

Полчаса у меня ушло на заравнивание следов. Спрятал трупы в дренажную трубу, засыпал пятна крови на дороге, поднял мотоцикл на верхний багажник «хейнкеля»... я был грязный, как не знаю кто, мне надо срочно смыть эту грязь, я трясся, она сводила меня с ума... Еще не все, еще не все... «Языка», перевязав и связав, я положил в задний багажник, таинственный ящик поставил на переднее сиденье и сел за руль. Почему-то казалось, что ящик на меня смотрит. Дорога сама покатилась мне навстречу, все быстрее и быстрее, а я не мог оторвать взгляда от ящика. Он выглядел непристойно. Потом дорога почему-то кончилась, под колеса летела целина, машину трясло, ящик подбрасывало, наконец, он свалился с сиденья. Я смог посмотреть вперед. Там темнела вода. Это был довольно большой пруд с пологими берегами, поросшими камышом и осокой. На другом берегу его, ближе к плотине, стояло низкое длинное здание с множеством темных окон, а за ним — водонапорная башня, похожая на марсианский треножник. Я залез в воду по шею и с остервенением стал сцарапывать с себя грязь. Понемногу становилось легче.

Легче... легче... легче... Уже почти спокойно я отжал одежду, натянул штаны, надел на голое тело куртку — в бою она не участвовала и потому осталась сухой. Вынул из багажника «языка» — он уже

пришел в себя и пытался брыкаться. Без глупостей, предупредил я, жалеть мне тебя не за что. Повязки его сползли, волосы склеились. Хорошо, короткие... но все равно опять лезть в воду... Я отмыл его, проверил рану. Рана была маленькая, хотя кровила сильно. Ладно, зарастет... не такое зарастало. Бинт последний — ну, да разживемся, если понадобится...

— Тебя как звать, парень?

— Ва... Вадим.

— Ты из «Муромца»?

Кивок в ответ.

— Жить хочешь?

Замер, съежился.

— Расслабься,— сказал я.— Вас хоть предупредили, что дичь кусается?

Помотал головой: нет.

— Ладно, выкладывай, какого черта вы прицепились именно ко мне? Что вам там про меня наврали?

Он молчал.

— Или ты хочешь, чтобы я устроил тебе пытку?

— Ла... ладно. Нам приказали... князь сам приказал... найти человека — вас — и доставить... можно — мертвого... а можно... достать из... из тела... прибор... вот отсюда...

— А эта штука, значит, пеленгует тот прибор? — я показал на ящик.

— Да-а.

— Интересное кино,— сказал я.— Надеюсь, на аббрутин у тебя аллергии нет?

— На... что?

— На аббрутин.

— ?..

— Он же кси-диацин.

— Я не понимаю...

— Снотворное.

— А... нет, кажется, нет.

— Тогда закатывай рукав. Да не бойся так, дурашка, убить тебя я могу просто двумя пальцами,— я показал, как. Он мгновенно вспотел.— Не дрожи. Это чтобы не связывать тебя опять веревкой. Не бойся. Сейчас ты уснешь. Ты уснешь, и тебе захочется посмотреть сны. Ты будешь смотреть сны и рассказывать мне, что видишь... и тебе приснится райский сад, и ты услышишь пение гурий, но стражи не пустят тебя туда, пока ты не расскажешь все, что знаешь про вашу организацию...

Он уже спал, дыхание было ровное. Я откинулся на спинку сиденья, в уютный мягкий угол, обхватил колено руками и приготовился слушать.

14.06.1991. 5 часов утра. Звенигород.
Пристань «Хассель, Денисов и К°».

■

Я долго бился над своим лицом, но зато в конце концов оно ничем не напоминало ничем мою фотографию, попавшую в лапы «Муромца». И на сегодня надо озаботиться какой-нибудь экранировкой — пока не попаду в Москву, под защиту армейских вседиапазонных шумогенераторов. Чем бы ни был прибор, впаянный в меня, он отзывался на кодированный запрос серией весьма мощных радиоимпульсов, пеленгуемых в радиусе по крайней мере двадцати километров. С другой стороны, я, похоже, чувствовал — не знаю, почему — этот запрос и, следовательно, мог заранее знать о приближении преследователей. Кроме того, Вадим рассказал, что первые два пеленгатора собрали вручную, один из них я грохнул у дома деда, а другой захватил, а мастерская, принявшая заказ, выдаст первые приборы не раньше, чем в четыре часа дня сегодня. Следовательно, определенный резерв времени у меня был... вот только на что его потратить?

Ворота пристани были закрыты, я посигналил, как требовалось: три коротких и длинный. Из будки на территории пристани вышел седоватый толстяк, сонно потянулся и направился к нам. Судя по всему, это и был дядя Саня.

— У меня партия груза по контракту «Кенигин»,— сказал я, опустив стекло и высунув голову.

— Контракт «Кенигин» начинает действовать с полудня,— ответил он. На лице его не было и следа сна.

— Мне нужно в Москву,— сказал я.

— Ты с вещами?

— Нас двое. Вещей очень мало. Машину можем оставить.

— Я тебя что-то не видел...

— И не могли видеть.

— А это кто там с тобой? Вадька, что ли?

— Вадим, проснись,— сказал я.

— О, дядя Саня,— сказал Вадим.— Приехали, да?

— Приехали, приехали,— сказал дядя Саня.— Щас я ворота открою...

Мы загнали машину в дальний угол товарного двора, там их уже стояло несколько, и напоследок я ввел Вадиму еще одну дозу аббрутина. Я взял сумку, он — пеленгатор, и мы пошли к дебаркадеру.

— Что-то тебя качает, Вадька,— сказал дядя Саня.

— А-а... контузило малость...

— Может, тебе здесь отлежаться?

Вадим посмотрел на меня. Я поколебался.

— Нет, надо ехать.

— Там ведь вплавь придется...

— Ничего — сказал я,— в крайнем случае, я его на себе доплыву.

— Рисковые вы ребята,— покачал головой дядя Саня...— Ладно, пошли...

Мы перешли дебаркадер и спрыгнули на палубу самоходного лихтера. Вся палуба была заставлена скамейками: досками на козлах. Двигатели лихтера работали, по ногам пробегали волны вибрации. «Кузьмич!» — гаркнул дядя Саня. Из люка в палубе высунулась голова. Кузьмичу было лет восемнадцать. «Чего?» Увидев нас, он в два движения выбрался из люка. «Возьмешь вот этих ребят в собачий ящик»,— сказал дядя Саня. «Угу»,— был ответ. «Куда сегодня?» «Еще не знаю. По каналу уже не пускают, говорят, кто-то затопиться пытался на фарватере. А у них же канонерки на Волге». Дядя Саня почесал затылок. «Да уж, затопиться — это мы всегда пожалуйста... Что Семин?» «Нормально, грузится. Через полчаса, говорит, отвалит». «Ладно, Кузьмич, разберешься на месте». «Разберусь,— сказал Кузьмич,— пойдемте, покажу вам ваше место...»

Это был подлинный собачий ящик: в корме, рядом с шахтой руля, выгорожено было пространство метр на два на два. «Запретесь изнутри,— сказал Кузьмич,— снаружи абсолютно незаметно. Когда я скомандую, отдраите вот этот люк и уйдете. Ласты и маски в рундуке, дыхательные патроны я вам дам. Имели с ними дело?» «Свежие?» — спросил я. «Да, на полчаса хватит». «Годится. И все-таки — где именно мы будем выходить?» «Постараюсь высадить в самом удобном месте. Устраивает такой ответ?» «Что вообще в Москве?» «Никто не знает. Все говорят разное». «Ладно, разберемся... Нам сейчас запираться или погодя?» «Зачем сейчас? Когда на подходе будем... за час, скажем». «Хорошо...»

Полчаса назад с вокзала Вадим позвонил Князю и условными фразами сказал, что группа продолжает поиск. Следующее контрольное время связи полдень. До полудня еще...

С дебаркадера попрыгали на палубу лихтера еще трое парней. «Ну, вот, экипаж в сборе»,— сказал Кузьмич. Дядя Саня сбросил носовой швартов с кнехта. «Петька, расхиляй драный, отдавай кормовой!» — голос у Кузьмича был зычный, как и положено речному капитану. Один из парней рысью метнулся на корму. Кузьмич солидно поднялся на мостик. У лихтеров этого типа рубка и мостик не на корме, как обычно, а ближе к носу и на правом борту, как у авианосцев.

— Ну, что.— сказал я Вадиму,— поплыли?

— Да,— сказал он. Вид у него был измученный, вокруг глаз — синяки, как у лемура. Поплыли... Палуба задрожала сильней, и берег, слегка изогнувшись, стал уходить влево и назад. Я сел на край

скамьи, повиснув подмышкой на леере ограждения. Вадим сел напротив, спиной к движению.

— Иди, поспи,— сказал я,— спроси у шкипера, где можно поспать, и поспи. Я тебя разбужу.

Туман еще не рассеялся, но поредел, стал прозрачнее. Видно было и оба берега, и то, что на берегах. Виллы, дачки, прочие постройки — сплошным рядом. На воде — лодки, катера. И — очень тихо. Неимоверно тихо.

Собственно, мне следовало просто сложить два и два, записать результат и сверить его с ответом в конце учебника... что я, собственно, сделал уже раз сорок за последние двое суток... да только в ответе вместо ожидаемого «четыре» возникали огненные письмена: «А на хрена все это?» И не было у меня под рукой премудрого Даниила... и сам я не Бальтазар... Вальтасар... кстати, пожрать бы неплохо... шкипера, что ли попросить? Не отвлекайся. Действительно: на хрена такие сложности? Операции подобного рода проводятся с минимальным — минимально возможным, точнее,— количеством ходов и поворотов. У меня же получается нечто водевильное... «Женитьба Фигаро» со стрельбой и переодеваниями... и в финале: «Унесите трупы. Скомандуйте дать залп!»

Интерес «Муромца» ко мне — учитывая все, что я видел сам и что мне сказал Вадик — можно объяснить только одним: тем, что в теле пана Валинецкого спрятана маленькая атомная бомбочка. Я их никогда не видел, эти бомбочки из рентгения-252, слышал только, что они страшно дорогие, размер имеют с толстую многоцветную авторучку, а мощность — порядка двадцати тонн тротила.

Если бомба есть и «муромцы» пронюхали об этом — стало быть, идет утечка из самого штаба Тарантула. Но поскольку тут замешан Тарантул, то больше верится в вариант, при котором бомбы нет, а утечка информации — есть. Но опять же — мне ведь куда больше хотелось бы верить именно в этот вариант... тем временем завершая траекторию полета... где? Куда меня вообще несет?

Да, я намерен рассчитаться за ребят. Почерк тех, кто орудовал в «Садовом кольце», и тех, кто перебил моих — одинаков. И есть одно важное обстоятельство: мои ни под каким видом не должны были после акции концентрироваться на базе. Ни под каким... если не получали соответствующего приказа от меня, координатора, или Командора, старшего группы «А». Я такого приказа не давал. Значит — Командор? Без моего ведома? Не верится. Возможно только теоретически. И вдруг мне вспомнился странный бред, поразивший меня там, в меблирашках, рядом с убитой Сашей. Ч-черт... что-то мелькнуло — и исчезло. Над глазами стала скапливаться боль.

Обойдем этот момент. Эх, Игорек, как многим ты позволял копаться в своих мозгах!.. и все же, все же, все же — вспомним. О другом. Первые дни после операции, потом — первые шаги. Доктор Морита...

фотография из медицинской карты — кстати... так вот: я совершенно уверен, что какая-то телеметрия у него была. Сердце вовсе не сразу стало работать так, что я перестал его чувствовать: поначалу были очень неприятные ощущения. А когда упал в саду — помнишь? Нашли сразу, через две минуты — о! Ясно же, что получали сигналы от меня, и ясно, что могли пеленговать источник этих сигналов. Точно, точно. И вполне возможно, что с того пульта можно посылать... ну, скажем так: разные сигналы. Замри — умри — воскресни... направо — налево... вряд ли, старина, вряд ли — слишком сложно технически. Другое дело — внушенная программа...

Если так — то дело плохо. Если так — то это значит, что вся миссия нашей группы была лишь прикрытием чего-то иного, и я всего лишь зомби, всего лишь ходячий футляр для маленькой бомбочки большой разрушительной силы, и эту бомбочку, хочу я того или нет, я доставлю-таки в нужное место и в нужное время — даже если буду стремиться к чему-то прямо противоположному...

Значит, бомба все-таки во мне...

Козел, сказал я. Все же проще простого: есть бомба — значит, есть и программа. Нет бомбы — нет и... хотя постой, постой... Тут тоже появляются варианты.

Искать в себе программу бесполезно. А вот попытаться определить, бомба у меня внутри или нормальный реактор — это, пожалуй, можно попытаться сделать. Пацаны искали меня с какими-то приборчиками. Ясно, что это детектор некоего специфического излучения. Что я знаю про рентгений? Я закрыл глаза, сосредоточился. Производится искусственно, используется как расщепляющий материал... и как источник бета-частиц. О! Реактор же мой, как я знаю, слабо́ светится в гамма-диапазоне. Кроме того, бомба должна светиться на несколько порядков сильнее... козел, козел, козел! Что сделал Гера? Гера приклеил к бомбе кусок фотопленки! Кто же мешает и мне? ..

Ну, а дальше? Что это даст? Предположим, выяснили: бомба есть.

Тогда надо будет сходить с траектории.

Да? И как это ты себе представляешь практически?

Практически?.. Практически я себе представляю это так: достаю из кармана серебряную марку, кладу на ладонь. Орел: продолжаю путь в Москву. Решка: ни о какой Москве и речи быть не может. И далее — в любой ситуации выбора... Бросаю.

Решка.

Взвыла сирена. Меня скрутило в тугой комок. Это был всего-навсего звуковой сигнал нашего лихтера, и впереди кто-то отозвался низким басовитым гудком, но что прикажете делать с проклятыми инстинктами?.. Хорошо хоть, со стороны всего этого не видно. Навстречу шел озерный катер, и даже издали видно было, что он набит людьми до последней возможности. Фарватер был узкий, суда разми-

нулись, едва не царапнувшись бортами — так, что я видел выражения лиц... не выражения, а выражение, одно на всех: злая, ожесточенная усталость. Лечь и сесть там было негде, кое-кто спал стоя. Катер прошел, оставив запах мазутного перегара, многих тел — и странный, на пределе слышимости, шепот... или это волны выплескивались на прибрежную гальку?.. Покидать город могли все беспрепятственно, без каких-либо разрешений и даже без личных документов — об этом объявляло и официальное радио на длинных волнах, и подпольные радиостанции, иногда продиравшиеся через глушение. Уже за первые сутки смуты число беженцев превысило миллион человек...

Решка, значит... ветер туман унес... да, Пан, да, дорогой, ты молодец, ты это хорошо придумал... и все твои рассуждения достойны быть выбитыми в мраморе и так далее... но кто даст гарантию, что они не внушены тебе умным прохвостом, который сидит сейчас где-нибудь в Нарьян-Маре или в Гвоздево и ждет, попивая пивко, когда придет сигнал с трабанта: объект вышел в точку рандеву? Нет такой гарантии... и даже это не гарантия — я посмотрел на монету. Решка... ну, что же, надо резко менять траекторию...

И есть еще один способ... но для этого мне надо найти гемов... найти глатц... Найдем.

Я огляделся. На палубе никого не было. С мостика я не виден. Хорошо... Пеленгатор я поставил рядом с собой на скамейку и ударом локтя пробил экранчик. Звук был, как от лопнувшего воздушного шарика. Столкнул за борт. Он булькнул чуть слышно. С этим все. В сумке деньги, раухер и что-то из одежды. Килограммов пять. Нормально. Расправил прокладку под «молнией», застегнул «молнию», надул прокладку — теперь все, ни капли воды внутрь не попадет. Отправил сумку вслед за пеленгатором. Минут пятнадцать стоит подождать — отплывем подальше... покурим... еще покурим... Я честно просидел пятнадцать минут, потом еще минуты две — до бакена. Дождался, когда поравняемся с бакеном, перевалился через леер, распрямился в воде и стал изо всех сил уходить вниз, чтобы не попасть под винты.

14.06.1991. 11 часов. Правый берег Истры, дачный поселок.

■

Велосипед я не то чтобы украл, а купил без спроса: вывел его из сарайчика и бросил в почтовый ящик две сотенные бумажки. Вообще велосипед — как, впрочем, и рогатка — незаслуженно забыт в наше время. Если и вспоминают о нем, то только для того, чтобы начинить «МЦ» или подобной ей гадостью, да и поставить в нужное место. А вот то, что за велосипедистом почти невозможно установить

незаметную слежку,— как-то ускользает от понимания. Впрочем, для меня сейчас это обстоятельство было третьестепенным: когда носишь своего шпиона с собой — тут, знаете, никакой велосипед...

Судя по тому, что я видел вокруг себя, сведения о всего лишь миллионе беженцев сильно устарели. Или весь этот миллион собрали тут... Я уже час ехал сквозь гигантский табор, сквозь людское море... странное море, надо сказать, непонятно тихое. Казалось, что здесь все говорят только шепотом. Я видел беженцев, я знаю, как они все ненавидят друг друга... русский лагерь под Абазой: не напирайте, не напирайте, еды много, еды хватит всем! — нет, толпа, лезут, валят с колес кухню, девочка из «Милосердия» умирает от ожогов... вы здесь, кричат нам, почему вы здесь, а не там? Где вы были, когда нас резали? — и тому подобное, и это как раз более понятно, чем здесь: тихая толпа. Может быть, количество играет роль? Может быть... Полицейские, изможденные, но тем более предупредительные, открывали пустующие домики, пуская туда женщин с маленькими детьми на руках, и никто, кроме этих женщин с детьми, не пытался туда войти. Польские саперы рыли отхожие ямы, ставили над ними палатки; ставили и большие палатки, громадными рядами, квадратами, беспорядочными кучками — как позволяла местность. Врывали в землю столбы и натягивали тенты. Повсюду дымились полевые кухни, с грузовиков всем подряд раздавали зеленые солдатские котелки. Польская речь была слышнее всех прочих. Здесь было задействовано не меньше саперного полка плюс интендантство рангом не ниже армейского.

А потом я увидел гема. Ищущий да обрящет... Гем брел мне навстречу, и было ему лет семнадцать.

— Привет,— сказал я, останавливаясь перед ним.— Брат, где ваш глатц?

— Там,— он показал рукой за спину.— Где-то в той стороне. У тебя не найдется пятидесяти пфенингов?

Я дал ему марку.

— Спасибо,— сказал он.— А зачем тебе наш глатц?

— Ищу одного человека.

— Кого? Может быть, я его знаю?

— Себя.

— Нет, не встречал,— он сделал попытку меня обойти, но я опять заступил ему дорогу.

— Брат,— сказал я,— не торопись. Продай мне свой абвер.

— Зачем тебе абвер?

— Здесь очень тяжело дышать. Я задыхаюсь в этой слизи.

— А как же я? Мне тоже будет трудно без абвера.

— Я дам тебе триста марок.

— У меня старый абвер,— сказал гем,— и немного слизи в него попадает. Он порван в двух местах. За триста марок ты сможешь купить себе новый и целый.

— Это ничего. Ты купишь себе новый и целый, а этот отдай мне. Помоги мне, брат, я уже по-настоящему задыхаюсь...

— Хорошо,— сказал он.— Но дай мне еще пятьдесят марок, потому что я до вечера должен буду ходить голый в этой слизи.

— Пусть будет так,— сказал я.

Я отслюнил бумажки, а гем разделся. Абвер действительно был очень старый, колечки позеленели, поистерлись, под мышками были солидные прорехи: пот разъел латунь.

— А вонючка в глатце есть?— спросил я.

— Есть.

— Как его зовут?— я отстегнул еще одну десятку.

— Карузо. При нем два столба. Не спрашивай ни о чем сам — они подойдут и спросят.

— Отлично, брат,— сказал я.— Ну, просто лучше не бывает.

Я натянул абвер, ежась от кислого прикосновения металла. Рукава были пониже локтя, фартук впереди доходил до середины бедер, капюшон с тонкой вуалью закрывал лицо, оставляя только рот. Ладно, а прорехи под мышками мы заделаем... и все. Теперь эти кандидаты в потрошители меня могут бегать со своими пеленгаторами, пока не изойдут на пот и слезы.

А гем ушел, ни о чем не спрашивая и не оглядываясь. Хороший народ — гемы. Ненавязчивый. Вот только граждане их не любят. Вообще, я обратил уже внимание, граждане здесь многих не любят: гомиков, наркоту, бродяг, трансверзов, хюре; в Германии с этим помягче, а в Сибири нет совсем, так что национальный характер тут, похоже, ни при чем. Покойный Кропачек говорил, что такая безопасная «праведная злость» характерна для комплекса поражения, а у сибиряков этого комплекса нет, сознание успело перестроиться: империя развалилась, метрополия погибла, но колония-то обрела независимость и процветает... С Филом можно было бы поспорить, тыча пальцем в разные места и времена, но это не самое благодарное занятие: спорить с теми, кто уже там, где нас нет. И еще Фил говорил: а вот представь на минуту, что победили большевики — и разворачивал апокалипсическую картину: ГУЛаг от Лисабона до Анадыря, истребление десятков миллионов — сначала по имущественному признаку, а потом, учитывая, что побежденный всегда воскресает в победителе — и по национальному,— торжество серости; остановка в развитии, сползание и опрокидывание в средневековье... Боюсь, я не слишком прислушивался к нему — недаром он мне так часто вспоминается последнее время. Все чаще и чаще... Большевики вовсе не были так уж фатально обречены, говорил Фил, затяни Гитлер с началом похода, или окажись на месте душки Ворошилова

какой-нибудь солдафон — вон сколько их постреляли! — какой-нибудь Штерн, Тухачевский или Жуков — и ага! И даже в Сибири они могли бы остаться у власти, догадайся быстренько сделать то, что сделал чуть позже толстый Герман: облей говном бывшее начальство, покайся в грехах, побей себя в грудь, покричи, что ошибки исправлены — исправлены ведь, все же на свободе! — и вперед, к победе коммунизма... дать небольшую передышку — и можно опять набивать лагеря... Да, это было классе в девятом: мы с Филом, Майкой, Копытом, еще с кем-то, человек семь нас было,— спускались по Чулыму на плоту и остановились на ночевку у старой пристани, зашли в тайгу — и наткнулись на старый лагерь. Сто лет тут никого не было, все заросло осиной, тонкой, больной, проволока, конечно, была снята с кольев, но сами колья остались, и колья, и вышки, и бараки, конечно, и мы вошли в один барак, там было темно, мы стояли и ждали, когда глаза приспособятся к полумраку, и вдруг сверху стал падать какой-то мусор, сначала показалось: чешуйки коры... оказалось — клопы, они падали на нас и присасывались на лету, и жрали, сразу наполняясь красным... с Майкой сделалась истерика, мы тут же бросились к реке, смывать с себя это, вода была ледяная — июнь, самое начало, потом голыми плясали у костра, пока сушилась одежда, стало даже смешно, но оказалось, что мы так ни черта и не смыли, и только на третий день удалось устроить настоящую баню и стирку... ждут, гады, сказал Фил, это сколько же они ждут...

За всеми этими воспоминаниями я едва не проскочил глатц. Я и не понял бы, что глатц, если бы не пустота вокруг странного здания: плоской коробки из серого бетона с окнами-щелями под крышей — и ампирным фасадом. Вокруг было огромное множество людей, всем было плохо под открытым небом — но никто даже не смотрел в сторону этого дома... так уж брезговали гемами... Ну да, начать выгонять гемов из-под крыши — значит, по самые уши искупаться в том презрении, которое гемы питают к «плаве». Поэтому плава, то есть не-гемы, то есть так называемые «нормальные люди», просто вынуждены делать вид, что непреодолимо брезгуют гемами... Даже передо мной расступались и отворачивались, если я подходил близко — а ведь я по внешности был «высоким гемом», то есть гемом не из глатца, гемом, имеющим работу, семью, квартиру... гражданином, слегка съехавшим на учении мудреца Урси. Итак, я подошел к фасаду — он был фальшив до омерзения — и поднялся на крыльцо.

За дверью меня встретил полумрак, прохлада с привкусом подвальной сырости и сложная гамма запахов. Изнутри здание выглядело еще страннее, чем снаружи. Войдя, я оказался на узком, меньше метра шириной, карнизе, который по периметру опоясывал все помещение — недостроенный плавательный бассейн, догадался я... большой, однако... Внизу, на трехметровой глубине, был глиняный

пол, изрытый окопчиками, земляночками и прочими щелями — собственно глатц. Карниз с полом сообщались где лестницами, где просто широкими досками. На глатце было около сотни гемов лежали, сидели, искались, что-то шили, вязали, занимались мелким ведьмачеством: так, прямо подо мной лохматая девочка деятельно мастурбировала, уставясь в качающееся на нитке круглое зеркальце; многие курили травку, и сладковатый запах дыма оттенял все прочие ароматы глатца. Я прислонил велосипед к стене и пошел по карнизу влево — мне показалось, что там дальше есть незанятые места. Так и вышло. По третьей по счету лестнице я спустился и, перешагнув через спящую парочку, расположился на треугольнике примерно два на три метра, не помеченным ничьим присутствием. Я положил сумку под голову, разулся и лег. На всей земле не было для меня более спокойного места.

Может быть, я даже уснул. По крайней мере, когда я смог поднести к глазам часы, прошло уже сорок минут, а я совершенно не помнил ничего — ни мыслей, ни ощущений... нет, ощущение было, одно, то же самое, что и год назад, при остановке сердца: тело воздушно, ничем не привязано к земле и может лететь куда угодно... тогда я так никуда и не улетел, но ощущение — очень приятное — осталось... Сорок минут я был беспомощен, как младенец, но даже сейчас, задним числом, меня это не пугало.

Кто-то подошел и встал рядом. Я открыл глаза.

— Я тебя не знаю,— сказал подошедший. Это был, наверное, один из столбов вонючки: невысокий, но очень тяжелый парень лет тридцати, из коротких рукавов железного абвера торчали руки толщиной с мою ногу.

— Я тоже.

— Вообще я тут знаю всех, а тебя нет.

— Я недавно пришел.

— Хавла не принес?

— Нет.

— Зря.

— Плевать.

— Тут ты прав. Покурить хочешь?

— Да. Карузо есть?

— Ты его знаешь?

— Я никого не знаю.

— Значит, покурить. Какую: сизую, желтую?

— Черную.

— А еще что?

— Десять путешествий.

— Ого! А рвань у тебя есть?

— На это хватит.

— Ты же отплывешь с десяти доз.

— Ты пришел заботиться о моем здоровье?

— Тоже верно. Ладно, жди.

Он ушел. Мне надоело лежать, и я сел по-турецки. И тут же почувствовал на себе чей-то взгляд. Мощный, почти обжигающий взгляд. Я обернулся. На меня в упор смотрел парень... что-то знакомое мелькнуло в лице...

— Точно. Это ты,— сказал он.

— Это я...— начал я и вспомнил: — Терс?

— Терс,— кивнул он.— И Таня здесь. Она манила тебя, ты почувствовал?

— Нет,— сказал я.— Зачем я ей?

— Ну, это может знать одна она. Но она манила тебя, и ты пришел.

Черт-те что, подумал я. Не верю.

— Принес.— сказали за спиной.— С тебя тонна сто.

Я отдал столбу пачку десяток и набрал еще сотню разными. Терс, подняв брови, смотрел на все это.

— Ты его знаешь? — спросил столб Терса.

— Худей,— сказал Терс.

Столб, изменившись в лице, попятился.

— Это тебе? — спросил Терс удивленно, кивнув на мои приобретения.

— Да.

— Странно, ты не похож...

— Не похож,— согласился я, и вдруг пришла мысль: а может быть, Таня поможет мне в задуманном? Может быть, это судьба, что меня занесло именно в эту глатц... без ассистента риск слишком велик... Я достал монету. Решка — риск, орел — Таня.

Орел.

— Хочешь обмануть судьбу? — спросил Терс, улыбаясь.

— Нет,— сказал я.— В точности наоборот.

14.06.1991. Около 19 часов. Глатц.

■

— Осторожно, здесь...— сказала Таня, но я уже приложился лбом о перекладину. Звук, должно быть, был услышан.— Стойте, я сейчас...

Я слышал ее шаги в темноте, легкие и уверенные. Потом загорелся свет голая лампочка на шнуре. Таня стояла под ней, прикрывая глаза ладонью. Она показалась мне маленькой и очень хрупкой. Помещение, куда мы попали, было совершенно пусто, только у дальней от входа стены на небольшом кирпичном возвышении стояла некая мебель, которую не сразу и опишешь. Две козетки, поставленные «валетом» и сросшиеся, как сиамские близнецы,

сиденьями. И еще — шандал со свечами. И большая черно-медная шкатулка. И ничего больше.

— Заприте дверь на засов,— медленно сказала Таня, не меняя позы,— и снимите с себя все. Оставьте там, на полу. И садитесь на менго.

Странно — мне было неловко раздеваться. Казалось бы... но вот же черт — я с трудом сдерживался, чтобы по-стариковски не прикрываться руками.

— Абвер тоже,— сказала Таня.

— Но...

— Здесь глубоко. И армированное перекрытие. Тотже абвер, только больше.

— Может, начать курить?

— Нет, ждите меня...

Менго — так, кажется, звалось это сиденье,— прямо скажем, освежало. Гладкое твердое холодное дерево, в которое вбито громадное количество медных гвоздиков с полусферическими шляпками. Я поерзал, устраиваясь. Все казалось глупым, как чужая свадьба. Терпи, Пан, это скоро пройдет. Таня подошла к стене, поставила в нишу и зажгла свечу, короткую и толстую. Огонек был как раз на уровне моих глаз. Потом поставила две свечи на менго у моих ног. Эти свечи были, наоборот, тонкие и длинные, похожие на церковные, только черные. И одну свечу она зажгла в шандале. Села на краешек менго со своей стороны, подмигнула мне:

— Теперь можно и покурить.

В руке у нее внезапно возникли две горящие самокрутки. Одну взял я, другой затянулась она. Потом, положив самокрутку на край сиденья, пристально посмотрела на лампочку — и вдруг сделала резкое движение левой рукой: будто оторвала или открутила что-то. И свет погас.

— Ого,— сказал я.— Никогда бы не подумал...

— Молчите. Курите. Досчитайте про себя до ста и тогда задайте вопрос.

Черная трава — очень сильная вещь. Уже со второй затяжки голова у меня закружилась, как велосипедное колесо. То есть нет: голова осталась на месте, а колесо закружилось где-то над ней. Наверху стали появляться и исчезать тускло-багровые цифры: 11... 12... 13... Они были высоко и чуть ли не сзади меня, но все равно в поле моего зрения. Таня наклонилась и достала из шкатулки что-то звонкое, звенящее. Передернув плечами, сбросила свой черный балахон, через голову стянула абвер — легкий, короткий, безрукавый, символический. Плевать ей было на слизь, на чужие биополя. Потом она опустила на грудь колье, то, которое достала из шкатулки. Колье превратило ее грудь в лицо совы: между грудей поместился черный клюв, а сами груди мрачно следили за мной из-под сереб-

ряных совиных век. Потом Таня повела пальцами по бровям, отняла руку — и меня пронзило мертвенным холодом ее нового взгляда. 60... 61... 62... Меня вдруг стало вдавливать в сиденье, я становился все тяжелее и тяжелее, шляпки гвоздей впечатывались в спину, в задницу, в бедра, в икры. Треугольник свечей должен был что-то значить. Колесо пропало, но легкости, как это обычно бывает, не наступило, вместо этого странным образом изменилась голова: то есть снаружи она была как обычно, но внутри вместо затылка был туннель, уходящий черт знает куда, и оттуда всего можно было ждать. 88... 89... 90... Таня Розе, колдунья. И парень по имени Терс. Только имя, больше ничего. Как вещь, как чемодан. 99... 100. Сто. С-Т-О. Цифры и буквы зарябили, меняя цвет и форму, потом пропали. Таня, я выдавливал слова, как пасту из тюбика, а почему вы тогда сказали: бедный мой? Я сказала? Да. Потому что пожалела вас. Я достоин жалости? По-человечески, да. Что же мне делать? Начать испытывать боль. Я испытываю. Не всю и не до конца. Вам заморозили почти всю душу, вы так и ходили — с ледышкой. С льдиной. С Гренландией. Я хочу разморозить. Тогда начнется боль. Я заслужил ее? Да. Я готов. К этому невозможно быть готовым, смотри и чувствуй... В самом средостении шевельнулся огненный крючок, ухватил за что-то, пронзая, дернул — и исчез.

Я провел рукой по лицу. Чужой тяжелой рукой по чужому деревянному лицу. Кури еще. Сладкий дым... чем-то напоминает запах пороха, правда? Запах сгоревшего пороха. Правда... но откуда ты знаешь про порох? Знаю... не отводи глаза... Темные, как могилы, глаза Тани... как могилы... Я и есть могила... для миллионов, так и не рождённых... Почему у тебя не получилось с ножом? Не знаю... еще... хочу узнать сегодня... от тебя... Ты весь пропитан смертью — как ангел... ангел... план «Ангел»... что?.. не торопись, не торопись, ты узнаешь про себя все, про себя все... себя все... а ты все знаешь? нет, я знаю только будущее... разве может быть?.. ты не понимаешь, смотри мне в глаза, есть только будущее, есть люди, деревья и цветы, живущие там, куда еще не пришло время — такие разноцветные колбаски или червячки, или змеи — представляй их тем, что тебе менее противно, а время движется откуда-то снизу и обрубает их кусочками, тонкими слоями, делает срезы, представил себе это?.. да, кажется, да... эти срезы, они и есть настоящие, есть этот мир, который нам виден, а ощущение жизни — это всего лишь чувство боли от соприкосновения живого тела с лезвием времени, мало кто может заставить себя не чувствовать эту боль, а постараться ощутить себя всего... или другого, с кем он рядом... мы рядом?.. конечно, мы рядом... и ты можешь узнать, что будет со мной?.. да, могу, дам-м-м-о-о-о-г-г... даммм... падая, разрывая струны, но вместо звуков рождался серый дым-м-м... звенело в голове и вокруг, и крапчатая пелена стояла перед глазами, и Таня нагнулась ко мне, в

руке ее был шприц, в шприце — тройная доза путешествия, тройная, слона свалит, она только дотронулась иглой до кожи, как в шприце заклубилась черная кровь, докури, сказала Таня, и я, обжигая пальцы, сделал последнюю затяжку, сейчас, сказала она, в шприце осталось меньше половины, а я все еще ничего не чувствовал, иногда путешествие начиналось совершенно внезапно, а иногда издалека, с покупки билетов, когда кассир с сизым лицом в форменном кепи, мусоля карандаш, выводил ваше имя на малиновом бланке и говорил: ждите, теперь ско...— и приходили ночью, хрустя битым стеклом на лестнице, откройте! — и предлагали выпить из бутылки, а иначе — иначе просто нельзя, немыслимо, и я выпил, жидкость была тяжелая и холодная, она пробиралась по мне все ниже и ниже, разогреваясь от трения и начиная жечь, и — этого я боялся — ударила в член, и член стал расти, бурно и страшно, боли не было, было только невыносимое чувство распирания, я куда-то бежал, обезумев, покачивая этим баллоном, это был уже баллон, тот надувной фаллос у Аннет, я обхватил ствол руками и полетел — земля ушла из-под ног, и где-то далеко внизу мерцал посадочный треугольник, дух захватило от падения, только бы влезть, только бы дотянуться до штурвала, только бы дотянуть, дотянуть... мимо мелькала уже разметка шоссе, деревья, я несся с неимоверной скоростью, туннель, красные огни, что-то навстречу — мимо! — еще раз, свело все тело, я — комок мускулов и ни единого нерва, я — туннель поворачивает вверх, красные огни, я следую его изгибу, это уже вертикальная шахта, вверх — небо! — я ухожу в небо! — пламя позади, а я ухожу в небо!

Раскидываю руки, ложусь и плыву, меня несет осенним ветром, ниже, говорю я, ниже, ниже, соглашается множество голосов, я плыву над кронами, касаясь верхних ветвей... Что-то острое, режущее возникает во мне и рассекает, разваливает меня от горла до лобка, я наклоняю голову, чтобы посмотреть: черви, клубки червей, толстых и розовых, шевелятся — дикая, невыносимая щекотка внутри, ее невозможно вытерпеть, я слышу свой визг, я визжу и хохочу, я хочу встать на четвереньки, чтобы они выпали из меня, но не успеваю, потому что сквозь меня начинает прорастать трава, кусты, деревья, на черном небе происходит движение звезд, они кружатся, как чаинки в чае, собираясь в центре вращения, и оттуда, срываясь, несутся ко мне и гаснут, шипя, а в горах отверзаются пещеры и выходят из них, держась за руки, карлики и уроды, ночь добра, кричат они, ночь добра, всем добро, всем, вам, вам, и вам, и вам! Меня подхватывают под бока и вталкивают в хоровод, и я начинаю, дергаясь, как от ударов током, выплясывать невозможные фигуры, а что это ты тут делаешь, спросила Саша, тебя разве звали, звали, звали, сказал Командор, все нормально, меня подстригли, смотри, как замечательно: полголовы у него не было,— теперь так носят, сказала Валечка,

летом так носят, она была голая и совершенно целая, но я знал, что это только маска на груде мяса и обломков костей, в это превращает человека выпущенная в упор очередь из «рейнметалла» калибра шесть миллиметров, эти длинные тонкие пульки кружатся в теле, кружатся.

Да пустите вы его, сказал Панин, видите, у человека своих забот по горло, ну, я пошел, сказал я, иди, иди, сказали мне, шляпу не забудь, постараюсь, сказал я и пошел, помахивая шляпой, забрел в воду и поплыл, опустив лицо и открыв глаза: там, под водой, было и солнце, и небо, и белые облака над зелеными холмами, а тут над головой нависал каменный свод, замшелые тысячелетние камни, и там можно было дышать, а тут — нет, я это понял сразу, легкие наполнились горячим песком, горячий песок набился под веки, я задыхался, не было воздуха, на всей земле не было для меня воздуха, я попытался разодрать себе грудь, но один я не мог ни черта, и тогда я выбросился на берег, чтобы кто-нибудь нашел тут меня, я лежал неподвижно, обросший соленой корой, и те, кто шел мимо, меня обходили, не узнавая во мне человека, веселые голоса раздавались рядом, я сделал сумасшедшее усилие и приподнялся, я увидел, как на плот погрузились все наши, весь славный семьдесят пятого года выпуск девятой гимназии имени Короленко: Майка, Копыто, Смысло, Кол, Ондря, Гри, Храп, Гизель, Сайра, Комод... ребята, я, я с вами, но они меня не слышали, оттолкнулись от берега и поплыли, и только я один знал, что это не плот, а льдина, ребята, бессильно кричал я, ребята... они уплывали вдаль и куда-то вниз, будто проваливались, и скоро я видел их сверху, нависнув над ними, как облако, ждешь, сказал кто-то, жду, ответил я, ну и напрасно, все равно ничего не будет, а мне и не надо, сказал я, только бы с ними ничего не случилось, льдинка сверкала внизу невыносимо, празднично, морозно, это тебе, сказала тетя Белла, ой, как красиво, сказал я, расти большой и умный, умный, умный, я поднял глаза от льдинки на ладони, но не увидел ничего, стылый сумрак осенних ночей Магадана, тетя, позвал я, тетя! — щелканье замка и строенные шаги вниз по лестнице, по осколкам стекла, я смотрел на ладонь — ничего, только капелька света скользит по мизинцу вниз, сорвалась — и нет, и молчанье во тьме.

Эй, вставай, шефы приехали, сказал вожатый Марек, я открыл глаза, на потолке набухла паутина из трещин, сейчас она мягко упадет на меня, на лицо, я кричал и барахтался, но паук был сильнее, руки мне стянули за спиной ремнем, и черный, подойдя, ударил меня в грудь кулаком и плюнул в глаза: мразь,— и я понял, что в живых из нас останется один, но стрелять в спину не стал, сказал: вон скала, ты с той стороны, я с этой, вообще ненавижу черных, сказал Командор, мы лежали с ним на песке и пили коньяк из горлышка, передавая бутылку друг другу, плывут, сказал я, плывут, плывут, смотри,

плывут!вдали показалась льдина, но то, что я принял за людей, было просто изломанными куклами, точнее, одной куклой, повторенной многократно, я поднял ее, повертел в руках и бросил в угли, и она сразу вспыхнула ярко и дымно, страшно воняло горелой кошмой, горелым мясом, блеяли раненые овцы, а сержант Филичкин с остановившейся улыбкой наклонялся над ними и перерезал им горла, приказ был беречь патроны, просипел он и стал резать пленных: трех парней в зэковских бушлатах, старика, который поил нас чаем, он ненавидел и боялся нас, но чаю налил и принес, его старуху, сноху и внучат, за ротного, сипел сержант, за ротного! — а попробуй меня, сказал Командор, Филичкин медленно ввел в грудь Командора нож, вот видишь, сказал Командор, попробуй еще раз, Таня, спросил я, что у вас там получилось с ножом? — не знаю, сказала она, здесь у тебя такая концентрация...— она сказала, чего, но я не знал этого слова, теперь смотри сюда, сказала Таня, на ладони ее появился перламутровый шарик, смотри, смотри... в него ты должен войти... а потом?.. ты выйдешь с другой стороны... а что там?.. там ты, ты сам... сова моргала на меня, лети, крикнул я, и она поднялась, взмахивая крыльями, нависла надо мной, я упал в снег, готовясь отбиваться, поздно: мягкий пушистый вихрь ослепил меня, кривой клюв вонзился мне в грудь, как консервный нож в жестянку, взрезал ее, умирать было упоительно, вместе с кровью вытекали свинец и яд, я стал легким как никогда, еще чуть-чуть, и все, дыши, кричали мне, дыши, гад, дыши! — не-чем, не-чем, не-чем, отбивали часы, не-чем — грубый войлок собственной кожи, обнять и плакать, сказал кто-то за спиной, я обернулся, там полыхали юрты, я никогда не уйду от этого, зачем, сказал тот же голос, зачем уходить, посмотри, как хорошо здесь: в тени сливового дерева обложенный диким камнем бассейн, и я сижу, спустив ноги в воду, Игорь, воскликнула мама, ты простудишься, ты простудишь все на свете! — мама, кричу я и бегу к ней и вижу, что что-то не так, еще не понимаю, что, и тут она начинает падать на меня, я хочу удержать ее, но не успеваю, она ударяется о землю и разбивается на множество острых осколков, осколки хрустят и визжат под ногами, пойдем, говорит тетя Белла, пойдем, не надо тебе тут быть, но что, что я сделал? — молчи, маленький, молчи, ты всех погубишь, и я молчу, мой рот зарастает, я трогаю: ровное, гладкое место, нежно-мягкое, как лунка на месте выбитого зуба, это пройдет, говорит доктор Морита, он почему-то в желтом шелковом халате с драконами, это пройдет, надо только отдохнуть.

Майка, шепчу я, мне только посмотреть, смотри, говорит Майка, а потрогать, прошу я, потрогай, я трогаю ее груди, глажу их, не так сильно, шепчет Майка, ну, не так сильно, раздвигаю их в стороны — сначала мне показалось, что это медальон на золотой цепочке, но нет, это неправильной формы дупло, вход в пещеру, золотая цепочка

уходит туда, внутрь, я ползу, ход раздваивается и цепочка тоже, куда дальше? — бросаю монету, и выпадает джокер, значит, налево, ползу налево, обдирая колени и локти, а замужем хорошо, говорит Майка, потягиваясь, он же старый, удивляюсь я, хочешь, я его убью? — неет, зачеем, не надоооооо... и открывается дверь, мы замираем и смотрим оба, а он смотрит на нас, с тонким звуком падает жемчуг, и тогда я, глядя ему в глаза, снова начинаю накачивать Майку, так хорошо? — хорошо, шепчет она, хорошо, да, хорошо, отпускай — я отпускаю, она всплывает в воздух, переворачивается спиной вниз и повисает, белая и пышная, как именинный торт, украшенный двумя сочными клюквинами, свечи продолжают гореть, и тоска, похожая на черную фасолину, застревает у меня под кадыком, и нечем теперь видеть себя изнутри, потому что именно там, под кадыком, сидит душа, а мечта у меня, говорю я громко, самая несбыточная — я хочу опустить генерала Родина, что? — не понимает палата, отпидарасить его, округлить — и тут все начинают хохотать, сначала робко, потом все громче и громче — и вот уже корчатся, больно, больно, кричит Витька и все равно хохочет, горы — это все, говорит генерал и вдруг делает мне козу, и я заливаюсь счастливым смехом, так щекотно в животе, да перестань же, говорит мама, ты же мужчина, солдат — я моряк, кричу я, я моряк, я моряк, тем более, моряк... мама? — оглядываюсь я, но никого нет, пусто, поземка по плацу, белое на черном, генералы в черной форме и какие-то штатские, но в генеральских папахах, принимают парад, парад меня, я прохожу перед ними строевым парадным шагом, я один, нет даже оркестра, только барабанщик: боммм, боммм, боммм,— и откуда-то скрипка: *спит гаолян, ветер туман унес...* я хожу по кругу, равнение направо, бесконечно хожу по кругу, это же цирк! — доходит до меня, вот и конферансье: Фил Кропачек, делает, гад, вид, что не знаком: «Весь вечер на манеже коверные Владимир Ленин и Иосиф Сталин!» — буря аплодисментов, Фил, зову я, он незаметно для других машет рукой: сейчас, сейчас, но нет: я падаю, все говорит кто-то, и запах горящей кошмы наполняет меня, клубясь, как черная кровь в шприце, еще... берег, зеленый песок и оранжевая трава, и кровавые волны с черной пеной на гребнях, и ослепительно-черное солнце в бордовом небе, теперь пой, мать твою, сказал черный, и я запел хрипло: широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, рек, рек... он дергался уже только от пуль, но я продолжал нажимать на спуск, пока не щелкнул боек... уберите это от меня, брезгливо задергалась биологиня, вы с ума сошли, уберите, кто позволил мучить бедных тварей? — какое же это мучение, удивился Кол, смотрите, им нравится, а меня снова швырнуло на песок, зеленый песок, жар нарастал, и из моря на берег полезли скользкие студенистые черепахи с венчиками щупалец вокруг беззубых ртов, они ползли медленно, но удрать от них было безнадежно

трудно, я выбился из сил, бродя между камнями, а камни, поросшие длинными нечистыми волосами, смотрели мне в спину.

Расслабься, сказала Таня, она провела ладонями по мне, нашла точку, пробила там отверстие и стала всовывать внутрь меня какие-то палочки, горелые спички, кусочки сургуча, а теперь, смотри: она взмахнула рукой, и из меня ударил тонкий хрустальный фонтанчик, она поставила руку под струю, ладонь наполнилась, и она плеснула этой холодно парящей жидкостью себе в лицо, и мгновенно распалась плоть и обнажился череп, потом весь скелет, череп улыбался: превосходно, дорогой мой, превосходно, фонтанчик иссяк, а вокруг того места, откуда он бил, тоже произошел распад плоти, и обнаружилось хвостовое оперение мины от полкового миномета, скелет Тани протянул к нему тонкую ручку и стал оперение раскачивать, и с оперением раскачалась муть во мне, не могу больше, простонал я, вот что мешает тебе пройти на ту сторону, сказал скелет и потянул сильнее, и с чавканьем, как из жидкой грязи, из меня вылезла вся мина, за ней тянулись какие-то жилы и студенистые нити, а теперь давай, Таня, вновь покрывшаяся молодой, нежной, беззащитной плотью, накрыла рукой перламутровый шарик и поднесла его ко рту, и зажала зубами, он светился, и зубы Тани просвечивали жемчужно, а губы — как красное вино, свечение нарастало и тянуло, как высота, и я не удержался на кренящейся палубе и прыгнул ногами вперед, я летел, а шарик увеличивался, становясь сначала диском, потом чашей, потом края его сомкнулись за мной, и я оказался внутри... внутри чего-то, не имеющего аналогов, не имеющего слов для описания, иди, подтолкнула меня в спину Таня, иди и не бойся ничего, и я шагнул в пустоту, Таня подставила ладонь, я ступил на ее ладонь и удержался, балансируя над чем-то, чему нет названия, дальше, сказала она, и я сделал еще шаг в подставленную ею другую ладонь, так я и шел до середины, подо мной с мерным рокотом проворачивалась гигантская воронка, вязкий водоворот, узнаешь, спросил доктор Морита, нет, сказал я, ну, так добавьте ему еще, боль вошла в затылок и стала грубо пробиваться в позвоночник, а я все равно не узнавал, хотя и знал каким-то образом, что это все мне знакомо и было раньше, хотя под другим именем... но ты же все понимаешь, кричали птицы, они бились в стекла и разлетались кровавыми кляксами, ты же все знаешь, скорей! — а я, хоть убей, ничего не понимал, понимание было рядом, но проникнуть в него было так же безнадежно, как нырнуть в озеро ртути, на дне, на дне, кричали птицы перед смертью, перед ударом, на дне же! — только это могло их спасти, они гибли тысячами, а я все не мог нырнуть, и вдруг огромный чугунный сапог наступил на меня и вдавил в то недосягаемое дно, впечатал в него, и это было так неожиданно и так ужасно, что я закричал... но как-то так получилось, что я, крича, перетек из того, кто слабо ворочался под сапогом, в

другого, кто в идиотическом блаженстве парил над зеленым клеенчатым столом, на котором в непостижимом порядке лежали яркие и разноцветные слова и фразы, и невидимые руки задумчиво перекладывали их то так, то этак, и голос доктора Мориты задумчиво произносил то, что было написано, но мое розовое блаженство не позволяло мне ни прочесть, ни услышать, ни понять, что же происходит.

Ты хоть запомни, сказала Таня, ты запомни, а поймешь ты все потом... и я успел запомнить, прежде чем те же невидимые руки схватили меня, скомкали в снежок и швырнули за окно... я разлетелся в пыль, а мир вокруг меня стал знаком и неимоверно четок: знакомая дорога по дамбе меж двух озер, темная, маслянистая вода в озерах — без ряби и без блеска, но под водой что-то движется, мощно и гибко, и я даже знаю, что... и если пройти по дороге, а потом подняться в гору и чуть спуститься по противоположному склону, свернуть вправо и пробраться через плотный колючий кустарник, то можно выйти к этому старому каменному дому с зарешеченными окнами, с забитой дверью, но по скобам в стене можно добраться до карниза второго этажа, а потом по карнизу дойти до того места, где был балкон, и толкнуть дверь, и войти — пола нет, есть только балки, но они широки, и по балкам можно добраться до внутренней лестницы, спуститься на первый этаж, подойти к задвинутой тяжелым засовом подвальной двери, встать напротив и смотреть, как медленно, осыпая ржавчину, отодвигается засов, медленно открывается дверь, открывается, открывается... настежь, и тебя начинает втягивать в нее, мягко, но неодолимо, и это блаженство, блаженство — когда ты подчиняешься и заранее знаешь, что никакого сопротивления быть не может, нет,— блаженство до экстаза, до тяжести в животе, и ты стекаешь вниз по лестнице, марш за маршем, вниз, вниз, дух захватывает от падения, и ты влетаешь в теплую темную комнату, в скользкую толпу голых людей, тысячи прикосновений рук, губ, грудей, ягодиц, и через минуту ты перестаешь понимать, где ты сам, а где остальные, а сзади напирают, напирают, а впереди под потолком окошко, и ты выскальзываешь, выныриваешь около него, хватаешься за край и втягиваешься внутрь, там длинный ход, по которому можно только молча ползти, и кто-то ползет впереди, и кто-то подталкивает сзади, дорога у всех одна, и ползешь, выбиваясь из сил, и выталкиваешься наружу, не сразу понимая, что произошло, а это — это тот самый перламутровый шар, но до него еще надо доплыть, и плывешь, потому что иначе смерть, и сколько их, которые тонут рядом с тобой, плывут и тонут, тонут, тонут один за другим, но вот — дотрагиваешься рукой до светящейся, ледяной на ощупь поверхности — и намертво примерзаешь к ней, и видишь, как становится ледяной твоя рука — по локоть, по плечо, выше, выше,— доходит до сердца, и сердце останавливается на полуударе, и перед

глазами вспыхивает что-то черное, с миллионом золотых полосок, а потом сменяется черным же небом, ледяным черным небом с вмерзшими в него звездами, но это только полнеба, понимаешь ты, а еще полнеба скрыто землей под ногами, никогда не увидишь всего, никогда, а может быть там, где ты ничего не видишь, и происходит главное, главное и страшное, но вот меняется что-то, исчезает, небо становится старым и дряблым, морщится, опадает, обнажаются пружины и зубчатые колеса, еще немного — и они тоже распадаются в прах, и ржавая поземка летит над призрачной землей, и я, маленький и голый, замерзший, синий, дрожащий, делаю свой первый шаг, потом еще один, потом еще, еще — и иду куда-то, потому что всегда, когда тебе все равно, идти или стоять на месте, то лучше уж идти...

Без времени. Глатц.

■

Была странная, состоящая из кирпичиков темнота, и просачиваться сквозь нее можно было только между кирпичиками, вдоль, поперек, вверх, вниз — но зато это было легко, тепло, приятно, и приходилось даже слегка сдерживать себя, как хозяин добродушно сдерживает разыгравшегося в снегу молодого пса, сдерживать, чтобы не течь сразу во все стороны. Я подносил руки к лицу, и они радостно выплескивались из просветов между кирпичами, я наклонялся вперед — и лицо мое, дробясь на блики, проносилось по извилистым лабиринтам, иногда встречая и выручая свои заблудившиеся части; я вставал на носки и кружился в этом тихом пространстве, чувствуя себя стаей рыб, проскакивающих в ячейки слишком крупной сети; изредка я со ржавым скрежетом цеплялся чем-то за что-то, и тогда казалось, что цепкая ручка скручивает мои кишки, но стоило сдать чуть назад, и зацеп исчезал, и можно было опять кружиться, кружиться, кружиться — до одурения, до судорог, до бесконечности...

15.06.1991. 22 часа. Где-то в Подмосковье.

■

Я лежал в бурьяне на краю бывшего футбольного поля. Головная боль прошла, но мышцы продолжали ныть, будто меня измолотили резиновыми палками. Страшно было подумать, что вот еще немного, и опять придется вставать, куда-то идти, бежать, скрываться, стрелять... Надо мной в немыслимой вышине парили первые звезды. Чуть ниже, золотые на синем, шли, развертывая за собой инверсионные следы, два истребителя. Наверное, «Блитцверферы». Каждый из них по своей боевой эффективности превосходил крейсер времен первой мировой. В то же время их появление в небе было лишено всякого практического смысла...

Истребители... соколы, сокол... форма «сокол»... Истребители... пилоты... ангелы... план «Ангел»... Я еще не вполне освоился с собственными прочищенными мозгами, а все еще поминутно ожидал болезненного удара мысли о барьер и потому думал робко, коротко, мелкими шажками. Да еще чисто физиологический отходняк, который требует постоянного внимания, постоянного присмотра, потому что впадать в депрессию сейчас — роскошь неописуемая. Итак, форма «Сокол», легендарная, а потому прикрытая всяческими эвфемизмами. Согласно этой форме, наши актеры могут не стесняться в выборе средств для достижения цели — уничтожения террористов. Однако при этом они знают, что в случае возникновения сколько-нибудь реальной опасности их идентификации, а тем более захвата они будут уничтожены спецгруппой «В», которая постоянно маячит где-то в пределах досягаемости. А чтобы эта вполне реальная перспектива не слишком тяготила актеров, все они получают перед выходом на задание медикаментозно-гипнотическую «сбруйку». До сих пор с моими группами команду «В» не посылали — по той причине, что каждый раз требовалось кого-нибудь или что-нибудь доставить на базу. Это была моя личная специализация — «контрабанда». Но сейчас... Впрочем, кой-какие детали не укладывались в версию о действиях ликвидаторов. Маятно было Саше, маятно было Панину, похоже, что «сбруйки» на них не было. Не было и реальной опасности захвата группы. Наконец, почерк нападавших был не наш. И совсем уж наконец — меня бы не упустили. И Кучеренко... С другой стороны — наши почему-то собрались вместе, как в центр мишени... но это уже о другом. И план «Ангел»... папка с таким названием лежала — случайно? намеренно? — на столе Тарантула в день последнего инструктажа, и из нее он достал несколько третьестепенных бумажек, вроде бы необходимых для нас... что там было, кстати? А вспомнил: электрофото чеков, выданных Кабульским отделением банка «Стахат», самого грязного из легальных банков, некоему Агниашвили... План «Ангел» — и мы, судя по всему, действовали в русле этого плана. Эх, Тарантул... неужели это все — твоя работа?

Иначе почему я вспомнил о нем только после снятия запрета, после разрушения введенных программ?

...я не аналитик, сказала Таня, я не понимаю в этом ничего, не хочу понимать, может, ты хоть что-то запомнила? — нет, не запомнила ничего, ничего, ничего! — это так страшно? — это омерзительно — то, что ты позволил с собой сделать!..

Омерзительно...

Возник какой-то звук, напоминающий журчание, и исходил он с неба. Тут же, легко ступая, появился Терс, махнул рукой: пошли!

Над полем скользнула тень, исчезла, через минуту вернулась. На фоне неба ни черта было не разобрать. Звук шел как бы со всех

сторон сразу, даже мне с моим умением стрелять на шорох приходилось вертеть головой, выискивая источник. Тень вернулась в третий раз, опустилась низко, и только когда она коснулась земли, раздался конкретный звук: шорох колес и скрип тормозов. Терс заговорил с кем-то, я присмотрелся и с трудом увидел пилота. Пилот был под стать своему аппарату: почти невидим. Темный комбинезон, темный матовый шлем.

Ну, а аппарат... ужасное зрелище: два сиденья размером с детские стульчики, укрепленные на тонкой жердочке; прозрачное, звезды просвечивают, крыло; две прозрачные бочки над крылом, и в них медленное мерцание...

— И как такое может летать? — вырвалось у меня.

— Летает,— сказал летчик. Голос у него был глухой — не голос, а громкий шепот.— Еще как летает.

— Где мы сядем? — спросил я.

— Я уже объяснял,— летчик кивнул на Терса.— Сесть можно только на полях фильтрации. Но и там можно напороться. Трудно скрываться. Открытая местность.

— Это в Люблино? — уточнил я.

— Да.

— А где-нибудь на севере, на северо-востоке?

Летчик покачал головой.

Я прикинул дальнейший маршрут до станции Яуза: там, в переулке Марии Шеммель, на третьем этаже конторского здания, находится наша запасная площадка: московское отделение рекламного агенства «Паритет». Там можно будет не только отсидеться...

Но маршрут получается тяжелый...

— Ладно,— сказал я.— В Люблино так в Люблино.

— Деньги,— напомнил пилот.

— Ах, да,— вспомнил я. Достал четыре пачки, подал ему. Не проверяя и не пересчитывая, он сунул их в карман.

Плата Харону, подумал я. Таня сказала: раньше у тебя не было шансов. Теперь появились. Но ты должен их использовать. Угадать, что это именно твой шанс, и вцепиться в него, и не отпускать. Как? — спросил я, как угадать? Не знаю...— она зябко поежилась.

Но если во мне сгорели чужие программы, то какого черта я лезу в пекло, вместо того, чтобы лечь на дно... хотя бы в том же глатце? Не знаю...

Ладно. Жребий брошен, Рубикон перейден. Взявший меч, от меча и... Кто не со мной, тот про... *Спит гаолян...*

Летчик опустил на лицо щиток ноктоскопа. Теперь он видел все, а я нет. Я видел только его, да справа невдалеке белело лицо Терса и его поднятая в прощальном приветствии ладонь. Это напомнило мне что-то давнее, но что, я так и не вспомнил, потому что летчик скомандовал мне: садись,— сел сам, аппарат закачался под нами,

пристегнись, я пристегнулся, что-то мигнуло, мотор заработал сильнее, но это чувствовалось не ушами, а только спиной, винты над головой, шелестя, погнали воздух, наконец, летчик отпустил тормоза, подуло в лицо, аппарат запрыгал по кочкам, все дольше зависая в воздухе, и, наконец, полностью оторвался от земли. Меня прижало к сиденью, мы взмыли над трибунами старого стадиона, и тут же передо мной раскинулось море огней. Костры, тысячи костров, группами, россыпью, по одиночке — вправо, влево, вперед до горизонта. Потом все накренилось, развернулось, осталось сзади. Под нами и перед нами лежала темная равнина, и тьма ее не нарушалась почти ничем, а на горизонте, доходя до высоких легких облаков, стояло оранжевое электрическое зарево. Туда и лежал наш путь.

16.06.1991. 02 часа 30 минут. Люблино, ул. Паулюса, д. 7/11, кв. 7.

■

Пятясь, пятясь, пятясь, скребя ребрами по стене, я добрался до угла. Ослепленный и высвеченный, я был как на ладони, но они почему-то не стреляли. И только когда я, загремев водосточной трубой, рванул за угол, ударил одиночный выстрел. Трассирующая пуля огромным бенгальским огнем размазалась по асфальту и врезалась в стену дома напротив. И тут же забухали сапоги. У меня было полсекунды форы и легкая обувь, им нужно было пробежать на полсотни метров меньше. Спасло меня то, что впереди замелькали фонарики, и те которые гнались за мной, не стали стрелять, чтобы не попасть в своих. То есть пальнуть-то они пальнули, но в воздух, я даже полета пуль не слышал. Подворотня справа... проходной двор... еще подворотня... через забор... подво... Все. Ворота закрыты. Пришли. Спрятаться в подъезде? Заперто. Свет в окне на третьем этаже. Пять этажей, пятнадцать кнопок на щитке, окно левее лестницы — скорее всего, седьмая квартира. Я вдавил кнопку. «Сашка?» — тут же спросил низкий голос. «За мной гонятся солдаты,— сказал я.— Впустите, пожалуйста». Замок щелкнул. Я толкнул дверь и мгновенно оказался в подъезде, и захлопнул ее за собой, и привалился к двери изнутри. Сапоги... сапоги... сапоги... не заметили... не заметили... не заметили... Дверь подергали, потолкали — без особого, впрочем, рвения. «Открыто, господин сержант!» — закричал кто-то вдалеке. Кричали по-немецки, но с сильным акцентом. Сержант... Французы? Вроде бы не было французских частей... впрочем, все смешалось в семье народов... На крик побежали. «Брать живым!» — начальственный голос. Живым так живым, кто бы возражал...

На третий этаж я поднимался, наверное, полчаса. Было абсолютно темно. Как в пещере. Как в фотолаборатории. Как у негра в...

— Вы ранены?

Впустивший меня человек стоял в дверях своей квартиры. Я видел его силуэт на серо-синем.

— Нет, я цел,— сказал я.— Вы меня спасли.

— Похоже, вы удирали от них по канализации,— сказал он, потянув носом.

— Хуже. Я прятался в отстойнике.

— Вода есть, хоть и не очень горячая. Вот сюда, направо. И не зажигайте свет — окно выходит во двор.

Отмываясь, я извел большой кусок табачного мыла. Все равно казалось, что от меня разит, как от козла. Одежду я замочил в содовой пасте. Сумку просто обмыл, внутрь говно не попало. Хозяин дал мне пижаму.

— Перекусить? — предложил он.

— Если можно.

— Можно.

Кухня была освещена своеобразно: шкалой включенного приемника. Света было достаточно, чтобы видеть, как хозяин ставит на стол сыр, хлеб, коробку с картофельной соломкой, бутылку вина.

— Мяса я не ем,— сказал он.— Поэтому не держу. Так что не обессудьте...

— О, господи,— только и смог сказать я.

Сколько-то минут мы молча ели. Я вдруг почувствовал, что пьянею — не столько от легкого, кислого вина, сколько от покоя и еды. Потом он спросил:

— Значит, вы были у отстойников?

— Да,— сказал я, помедлив.

— И вы...видели?

— Да.

Я видел. Из двух армейских крытых грузовиков в отстойник сбрасывали трупы. И я это видел. Но засекли меня не там. Засекли меня позже на улице: то ли ноктоскопом, то ли просто по запаху.

— Значит, все это правда...

Он налил вино в стаканы.

— До часу ночи еще было что-то слышно,— он кивнул на приемник. Приемник был старый, но очень хороший: «Полюс».— Еще что-то пробивалось. А с часу... Армейские глушилки. Вы их видели, наверное. Такие фургоны, похожие на цистерны...

Тут он был не прав, армейские глушилки на цистерны не походили, это были обычные крытые прицепы с телескопической мачтой, наподобие тех, с которых ремонтируют уличные фонари и прочее. Но возражать я не стал. Собственно, вся моя надежда и была на эти фургоны...

— Пейте,— сказал он.— И я с вами. У меня сын ушел. Позавчера еще. Когда стреляли на улицах. А сегодня передали: партия берет власть непосредственно...

— Партия...— пробормотал я и в два глотка опустошил стакан.— Партия... Ах, суки...

— Жена на курорте,— сказал он.— Вчера звонила. Сутки дозванивалась. Я ей не сказал. Сказал, что все нормально.

— Суки позорные.

— Я бы пошел — вместо него. Но я не знаю, куда надо идти.

— Никуда не ходите. Это все провокация. Очень подлая провокация.

— Я понимаю. Только я все равно бы пошел. Может, еще пойду.

— Не надо. Скорее всего, обойдется.

Он покачал головой.

— Они разливали бензин по бутылкам,— сказал он.— В гараже еще целый ящик. Они бы пришли за ним...

— Можно? — я кивнул на приемник.

— Да, конечно...

На всех диапазонах был дикий вой. Только на коротких, на четырнадцати метрах, пробивалась то ли морзянка, то ли цифровые группы, да на длинных царила тишина. Не было даже Вагнера.

— Эти тоже молчат,— вздохнул хозяин.— Наверное, нечего сказать...

И как бы в ответ в приемнике зашуршало, защелкало, потом непрофессиональный, не дикторский, но довольно сильный голос произнес: «Внимание. Господа, всем внимание. Через несколько минут будет передано важное сообщение. Ахтунг, ахтунг. Нах ейнигер цайт...»

— Вас как зовут? — спросил хозяин.— А то неловко как-то...

— Игорь.

— Хорошее имя,— похвалил он.— В нынешних условиях особенно хорошее. А меня — Герберт. В честь Уэллса. Родители увлекались. Сашке отчество досталось — все думают, что он дойч. Говорил ему: смени...

— Не хочет?

— Не хочет, мерзавец.

— Ну и правильно.

— Это сейчас правильно...

«Не отходите от приемников. Через одну-две минуты будет передано важное сообщение...»

— Коррумпированное правительство низложено, власть переходит в руки партии, всем сохранять полное спокойствие...— предположил я.

— Скорее всего,— согласился Герберт.— Ничего смешнее уже не не выдумать. Хотя нет, почему же...

Если бы я смотрел на окно, то, наверное, ослеп бы, как ослепли в свое время Рыбаков и двое его ребят, их каким-то чудом, через Красный Крест, выцарапали у короля Бехруза, я помню их лица: бронзовый загар с розовыми рубцами там, где сошла кожа, и неподвижные, обесцвеченные, вареные глаза... но я смотрел на приемник, а Герберт смотрел в стакан, он наливал вино, и в этот момент все вдруг превратилось в негатив: черное окно стало ослепительным, белый холодильник — черным, рука Герберта — тоже черной, а бутылка — прозрачной... В следующий миг я прижимал Герберта к полу, зажмурив изо всех сил глаза и ожидая испепеляющего жара, и в то же время автоматически вел счет секундам: семь... восемь... девять... десять... одинна... И тут врезало.

Впрочем, я ожидал большего. Я ждал — кувалдой по голове, и долгий звон в опустевшем черепе... оказалось: тугой толчок, металлический протяжный удар и сходящий на нет далекий вой... впрочем, в ушах все равно была вата, и что говорил Герберт, я не слышал. Он что-то говорил, кричал. Сиди, крикнул я, сейчас! Я встал на ноги и повернулся к окну.

В половине окна стекло уцелело, и там, я потом понял, отражался холодильник, а на нем приемник со светящейся шкалой, но я никак не мог взять в толк, что это шкала, и смотрел на нее, как баран, ничего не понимая... потом все-таки понял и смог перевести взгляд наружу, в темноту. Сквозь лиловые пятна проступила красная точка, я сощурился: действительно, красная точка, похожая на огонек тлеющей сигареты — в небе, невысоко, неподвижно. Потом от нее полетели искры, вверх и вбок, погасли, полетели снова — сноп искр... Это Измайловская игла, сказал рядом Герберт. Это взорвали Измайловскую иглу...

Я покрутил настройку приемника. Не было слышно даже несущей волны. На коротких... на коротких по-прежнему вой и скрежет. Взорвали, сказал Герберт, надо же... Он тяжело, боком опустился на стул и вдруг затрясся. Глаза у него были закрыты, рот свело, руки вцепились в край столешницы — мертво, как якоря. Кажется, он что-то говорил, но на волю прорывались лишь искореженные лающие звуки. Я сунулся в холодильник: там стояла еще одна бутылка вина. Нашел чайную чашку, налил до краев, поднес ему ко рту. С трудом, расплескав половину, он выпил вино. Чуть обмяк. Ничего, сказал я, все это ничего... пойдемте, я вас положу. Он дал увести себя в комнату, показал на диван: здесь. Он был слабый, как столетний старик. Разберитесь тут, что и как, сказал он, вон — комната сына, там и ложитесь...

Я прибрался на кухне и даже помыл уцелевшую посуду. Выстирал и развесил свою одежду. Просто постоял у окна. Игла полыхала, как свечка. Взрывом ей, похоже, срубило вершину, и образовалась труба, набитая всякой горючей и полугорючей дрянью. Потушить

такой пожар невозможно. Надо просто ждать, когда все выгорит. Да, а взрыв-то был, по всей видимости, мини-ядерный: скажем, рентгеневая бомбочка двадцатитонного эквивалента...

Ровно в пять часов раздался звонок в дверь, и голос в динамике сказал:

— Папка, открой, это я.

16.06.1991. 11 часов. Ул. Паулюса, д. 7/11, кв. 7.

■

Сквозь сон я видел: Герберт стоит в дверях и смотрит на этот табор, смотрит долго-долго, и глаза у него при этом... Умереть можно за такие глаза. В комнате сильно пахло гарью, пылью, бензином, табаком, потом — не было у них ни сил, ни времени отмываться... они повалились на брошенные на пол одеяла, как срезанные одной очередью. Семь человек: пять мальчиков и две девочки, лет по пятнадцать-семнадцать, не больше. Команда... Щенячья бригада.

Потом откуда-то снизу тяжело и душно, как смрад, всплыло ночное: кузов грузовика наклоняется, и через борт в жидкую грязь начинают падать кукольно-мягкие белые тела... Я рывком сел. Было очень светло.

Тихонько, стараясь никого не разбудить, я пошел в ванную. Герберт лежал на своем диванчике лицом вниз. Возможно, спал.

Одежда моя просохла. Не до конца, но надеть было можно. Я снял с себя полосатые пижамные брюки, сел на край ванны — и вдруг весь застыл. Полное оцепенение, телесное и умственное... я сидел, держа в руках свои чуть влажные штаны, и изо всех сил о чем-то думал.

Когда это кончилось, лицо и ладони мои были мокрыми от пота. Вот так, переведя дыхание, сказал я в пространство и не знаю кому. Пространство улыбнулось в ответ — то ли рассеянно, то ли как-то еще.

Надо, надо умываться... Я залез под душ и пустил холодную воду. Великое, господа, изобретение — холодный душ... гениальное изобретение. Куда гениальнее, чем миниатюрные бомбочки большой разрушительной силы... Впрочем, им тоже не стоит злоупотреблять. Я растерся полотенцем, оделся, попрыгал на месте: не гремит ли что. Тут же сообразил, что греметь нечему, оглянулся: какой гад разыграл? На стене ванной показывала толстый язык нарисованная смешная рожа. Она. Один — ноль.

Один? Я внезапно возмутился собственным лицемерием. Я проиграл уже все, что только мог, вон они лежат, мои проигрыши: Командор, девочки, ребята, журналист Валерий, Анжелика Папст, грузинские мальчики, княжна — все лежат... А игра идет, ставки до небес, и все, что я могу поставить — это я сам. Ну, что же... так тому

и быть. Вдруг стало страшно. Давно забытое, подавленное чувство вернулось, и почему-то от этого страха мне сделалось легче. Как будто ощутил опору под ногами...

После долгого отсутствия в меня возвращался я сам.

Да, сказал я себе тому, который возвращался, да, именно так. Не пугайся, тут малость неприбрано и навалено по углам, но мы разберемся. Мы понемногу разберемся — и сам показал язык развеселой роже на стене.

16.06.1991. 12 часов. Люблино, ул. Паулюса д. 7/11, кв. 7.

■

Мальчики знали и видели очень мало, пожалуй, немногим больше, чем я. Ну, что... Три дня назад началась стрельба, поднялся вой в эфире, прорезались неизвестные радиостанции. Призывали к вооруженному сопротивлению. В названных местах действительно были какие-то люди, они давали указания: идти туда-то и туда-то, строить баррикады, готовиться... пригнали грузовик с карабинами и всем раздали карабины, но без патронов. Кричали, что нельзя стрелять ни в каких солдат, кроме рейхсгренадер, а тех, как назло, не было. Потом на трех панцервагенах подъехали зулусы и открыли огонь — сначала поверх голов, а потом уж... но все равно многие успели убежать. Сбились в кучку человек тридцать, стали добывать оружие. На тридцать бойцов пришлось два карабина, девять пистолетов и граната. Стали делать зажигательные бомбы. Назвались взводом имени Савинкова, выбрали командира — самого горластого. Решили идти в Останкино — там, по слухам, окопались чешские полки. Везде стреляли, кое-где — даже из пушек. Казалось, что только у них какое-то затишье. Ночью в темноте напоролись на патруль, многих потеряли и, как бы это правильно сказать... рассеялись. Остались вот они и еще двое, но эти потом куда-то ушли: сказали, что за едой, и не вернулись. По радио кричали о боях и баррикадах, о сожженных танках. На другой день добыли автомат: в подворотне спал пьяный унтер. На улице хватали всех подряд, им чудом удалось отсидеться на старом товарном дворе: там такой кавардак, что можно дивизию спрятать, и никто не найдет. Ночью опять начались перестрелки, непонятно, между кем и кем. Забросали бензиновыми бомбами армейский грузовик. А в полночь по официальному радио объявили: восстание подавлено, обанкротившееся правительство арестовано, партия берет власть непосредственно. Ну, а потом... видели, да? Кто-то до них, гадов, добрался. И что интересно: за все время не попалось ни одного убитого солдата и ни одного сгоревшего танка. Убитых штатских — да, видели. А вот солдат... Ни черта не понятно, говорили мальчишки, похоже, что из нас сделали клоунов. Выходит, мы воевали за партию? Я слушал и

кивал. Герберт в полном отчаянии метался по комнате. Потом остановился и ткнул пальцем за окно. А это? Обломленная на уровне смотровой палубы, Игла все еще дымилась. Это кто мог сделать? Ну, сказал я, не все ведь в восторге от такого поворота событий. Вот я, например... и другие. А кто вы, Игорь? — спросил Герберт совсем другим голосом. Я поручик егерских войск Сибирской армии, сказал я. Мальчишки уставились на меня круглыми глазами, у девочек одинаково приоткрылись рты. Что-то такое я в вас чуял, сказал Герберт. И какое же отношение ко всему этому?.. Почти никакого, сказал я. Мы должны были обеспечивать безопасность глав государств, но теперь, очевидно, встреча не состоится... мою группу провалили, я скрываюсь... От гепо? Возможно, что и от гепо тоже. Это надо запить, пробормотал Герберт и пошел на кухню. Слушайте, Игорь, сказал Сашка, сын Герберта, похожий на него неимоверно, а что вы думаете по поводу всего происходящего? Я помолчал. Они ждали. Я маловато знаю, чтобы делать серьезные выводы, сказал я. Все равно, гнул свое Сашка, маловато — но больше, чем мы. Да? — я почесал затылок. Скажите хоть, на чьей вы стороне! Нет, не так: на чьей стороне Сибирь? Ну, ребята, сказал я, Сибирь большая... Наткнулся на его взгляд и махнул рукой: ладно.

Герберт с девочками расставили бокалы, откупорили бутылки. Похоже было на то, что погреба здесь бездонны. Я пригубил вино и вдруг выглотал все до дна: такая приключилась жажда. Мне тут же налили еще. Чтоб егерские офицеры — и не пили вино, как воду? Ха!

— Давайте попробуем,— сказал я.— Попробуем разобраться. Ну, начнем с того известного факта, что в Москве сплелись интересы по крайней мере десятка... м-м... носителей этих интересов. Носителей... да. Хорошее определение. Перечисляю: правительства Японии и Союза Наций, правительство Рейха, правительство России, правительство Сибири, национал-социалистическая партия России, армии Рейха и Сибири, спецслужбы,плюс к тому всякого рода патриотические и национальные движения, плюс союзы предпринимателей... И вот все это сошлось в одной точке и в одно время. Вы же помните: правительство Тихонова побило национал-социалистов и пришло к власти, пообещав добиться воссоединения России с Сибирью. На том же держится правительство Толстого. Японцам безумно выгодно ослабление Рейха, они спят и видят, как Россия поворачивается задом к бывшей метрополии. Если это произойдет, они тут же начинают копать под Иран, не говоря уже об Индии, которая просто упадет им в ладошки. Они уже вложили много миллиардов марок в ухудшение отношений между Рейхом и Россией. Союз Наций, в свою очередь, хочет выгодно сбыть с рук Британию, ему хотелось бы иметь дело с сильным и стабильным правительством. НСПР при воссоединении имеет шанс остаться легальной партией только в том случае, если на Сибирь будет распространено государственное устройство

нынешней России. Может быть, вы не знаете: в Сибири запрещены и преследуются партии, провозглашающие национальное или социальное неравенство. Ни армии, ни предприниматели от воссоединения на любых условиях не выгадывают ничего: слишком много сил и средств уйдет на конвергенцию экономик, унификацию вооружений и тому подобное. Похоже, что Толстой на несостоявшейся встрече готовился предложить некий компромиссный план: восстановление национального единства при сохранении государственной самостоятельности... создание некой конфедерации или, может быть, объединение России и одновременное вступление объединенной ее в состав Рейха... не знаю, трудно сказать. Понятно, что все это не устраивало ни в малейшей мере ни патриотов, ни новых националистов, ни партию. Это здесь. В Сибири свои сложности. Там, например, очень сильны прояпонские настроения. «Мы — азиаты...» — ну, и так далее. Есть и проамериканские, так сказать, в благодарность за прошлое — а следовательно, антигерманские. Толстой держится на объединительной идее, его германофильство как бы входит в условия игры — но, сами понимаете, в такой ситуации ему необходим чистый выигрыш. Даже потеря темпа для него сейчас почти поражение. И вот в этой заморочной ситуации к власти в России приходит партия, которая, с одной стороны, желает отделения от Рейха, а с другой — не воссоединения с Сибирью, а присоединения Сибири...

Я не успел договорить. Раздался страшный треск, грохот, в воздухе мелькнуло что-то красно-черное, полосатое — я понял, что, и успел зажмуриться, но даже сквозь веки пробился свирепый розовый свет, опалило лицо, забило уши, и несколько минут я ничего не слышал... Это была шоковая граната. Нас взяли тепленькими. Я таращил глаза, делая вид, что ослеплен начисто, и видел, как солдаты в черной полевой форме собирают с пола скорчившихся детей, вяжут им руки и выталкивают за дверь. Мне тоже связали руки за спиной, подхватили под локти и повели, направляя, к двери, к лестнице — я думал, столкнут, нет — дали нащупать ступеньки и спуститься нормально. Во дворе машины не было, солдаты брали детей за шкирки, как котят, и вели к подворотне — той, через которую я не смог пройти ночью. Мне вдруг показалось, что это — здоровенный солдат, и в каждой руке у него по мальчишке — уже было, недавно... но потом сообразил, что это вспомнился детдом. Решетчатые ворота были открыты, в них просовывался зад армейского крытого грузовика. Унтер-офицер, худой, как жердь, негр, обшаривал всех с головы до ног, а два солдата, подхватывая мальчишек под коленки, перебрасывали их через борт. Девочек унтер обшарил так же равнодушно, как и ребят. Потом принялся за меня. Закончив, он вдруг двинул меня кулаком в живот — я непроизвольно напрягся, и удар получился как по доске. Зольдат? — спросил негр. Спортсмен,

сказал я. Он ухмыльнулся и что-то крикнул наверх, в машину, невидимым мне охранникам. Потом тем же манером меня перебросили через борт. Через минуту за мной последовал Герберт.

Сидеть можно было только на дне кузова. Кроме нас, взятых только что, в машине было еще человек десять. Три автоматчика и офицер надзирали за порядком. Через борт заглянул еще один офицер, что-то сказал — кажется, по-португальски. Махнул рукой и исчез. Машина тронулась и свернула направо.

— Он сказал, что на стадион заезжать не будем,— сказал Герберт.

Я кивнул.

— Вы поняли, что это значит? — с ужасом спросил он.

— Молчите! — приказал офицер.

— Прорвемся,— сказал я.

Освободить руки от веревочных пут было не так трудно — это вам не наручники. С наручниками приходилось возиться иной раз по часу. Я посидел немного, держа руки за спиной, чтобы как следует восстановилось кровообращение.

— Куда нас везут, как по-вашему? — шепотом спросил я у Герберта.

— В котлован,— сразу же ответил он.— Говорят, там вчера уже расстреливали.

— Какая туда дорога и сколько ехать?

— Дорога по полям... грунтовка... ехать минут десять... вот мы на нее сворачиваем.

Грузовик замедлил ход, свернул налево, кренясь, преодолел ухаб и покатился дальше, трясясь на мелких неровностях.

— Хорошо,— сказал я.— Герберт, сосчитайте медленно до двухсот, а потом постарайтесь привлечь внимание этого хмыря...

16.06.1991. 17 часов. Турбаза «Тушино-Центр».

■

— Сигарету...— прошептал я, валясь на песок. Кто-то из мальчишек бросился к одежной куче. В глазах у меня плыло, вместо легких было по мотку колючей проволоки.

— Ну? — нетерпеливо выдохнул Сашка.

— Нашел,— сказал я.— Открыл. Пусто.

— Пусто? — не поверил он.— Как — пусто?

— Абсолютно,— сказал я.

Алик, бегавший за сигаретами, вернулся, раскурил одну, сунул мне в зубы.

— Спасибо,— кивнул я.

— Там пусто,— сказал Сашка.

Алик с невыразимой обидой уставился на меня.

— Как же так? Вы же говорили — никто не откроет...

— Если не знает ключа — то да. Значит... значит... Парни, это значит только одно — еще один из наших жив и действует. И, видимо, не в одиночку — иначе он не стал бы выгребать все. Так что...

— Это хорошо,— сказал Сашка.— Но нам-то что теперь делать?

— Подумаем,— сказал я.

Я сел. Стряхнул песок со щеки. Я был в песке по самые уши. На меня налип весь пляж.

— Но как же? — не мог успокоиться Сашка. Алик хлопнул его по плечу.

— Надо подумать,— повторил я.— Пошли в машину.

Пацаны подождали, пока я окунусь, смою песок, потом оделись и потопали впереди меня по тропе. Я нес форму в руках, обсыхая на ходу. Машина наша так и стояла на обочине, часовые прохаживались рядом, Герберт без фуражки сидел в кабине. Увидев нас, он спрыгнул на землю и быстро пошел навстречу.

— Нашли? — нервно спросил он.

— Пустой,— сказал я.— Опоздали.

Он вопросительно поднял брови.

— Один из моих парней уцелел,— сказал я.— Думаю, что это его рук дело. Больше некому.

— Ясно... Что ж, так, может быть... У нас все спокойно,— резко переключаясь, четко отрапортовал он.— Один раз мимо проехал «панцерваген», затормозил, но не остановился.

— Вам идет офицерская форма,— сказал я.

— У нас в роду были офицеры,— сказал Герберт.— Был даже генерал. Генерал Линевич, не слышали? Русско-японская.

— Не помню... Один мой дед был польский офицер. Он воевал с Гитлером, но расстреляли его большевики. Другой дед был испанский офицер, он воевал за Гитлера, потом со своей частью перешел на сторону Сибири. В сорок девятом его расстреляли возрожденцы. Мой отец был на сборах, когда начался офицерский мятеж шестьдесят первого года. Не знаю даже, на чьей стороне он оказался...

— У вас есть дети? — спросил Герберт.

— Нет.

— Это очень плохо...

— Иной раз мне кажется, что все долги моих предков достались мне. И не хочу никого нагружать своими долгами...

— А у меня Сашка. И я не знаю, что делать.

— Надо уходить из города.

— Как они могли узнать, что у нас... что дети...

— Телефон.

— То есть?

— Я слышал, как кто-то из девочек звонил родителям.

— О, боже! Какие же сволочи.

— Да уж.

— Слушайте, Игорь! — бешено зашептал Герберт.— Надо спрятать детей! Надо спасать детей!

— Спрячешь их, как же...

— В метро! Во внешнее кольцо!

— Я не в том смысле. И внешнее кольцо не подходит — там-то уж точно будут искать.

— Ну, придумайте хоть что-нибудь!

— Они просто не захотят прятаться... если их не убедить, что это засада...

— Я знаю, что вы придумаете.

На меня вдруг накатило: нетерпение, раздражение, разочарование во всем на свете — все вместе. Отвернувшись, я стал одеваться.

— Мы будем стоять тут или поедем дальше? — напряженным голосом спросил Герберт.

— Поедем,— сказал я.— На Черемисовскую...

16.06.1991. 18 часов 15 минут. Ул. Черемисовская, 40.

■

Мы постарались произвести побольше шума. Дверь, по крайней мере, я вышиб очень громко — автоматной очередью. Потом те ребята, которым досталась форма, стали вытаскивать и грузить в машину коробки и ящики, а штатский наш контингент незаметно прошмыгнул вниз. Пока все это происходило, мы с Гербертом обошли дом кругом. Подъезд меблирашек был заперт на огромный висячий замок, на стук никто не отозвался. Похоже было, что все действительно смылись.

— Господа ищут владельцев? — спросили сзади по-немецки.

— Да,— я обернулся. У крыльца стоял старичок с зонтиком. У старичка были пепельные волосы до плеч и пепельная бородка.

— Мы из военной комендатуры.

— Все уехали позавчера,— сказал старичок.— Одних грузовиков для перевозки вещей было две дюжины.

— Вот как,— сказал я задумчиво.— Как же нам проникнуть в дом? Не может быть, чтобы никого не осталось. Кто-то же должен следить, охранять...

— Да, господин, но вчера вечером сторожа забрали, и теперь дом совсем без наблюдения.

— Кто забрал?

— Этого я не знаю, господин. Какие-то люди приехали на микроавтобусе, о чем-то долго говорили с ним, потом посадили его в автобус и увезли с собой. Он не вернулся еще.

— Спасибо, что сказали. Мы постараемся выяснить все это.

— Да, господа, постарайтесь выяснить. Здесь разыгралась страшная трагедия. Говорят, все было залито кровью...— глазки его сверкнули.— А утром, когда выносили трупы...

Он долго рассказывал, что было утром и днем, и кто приходил и что говорил на следующий день, я слушал, но ничего нужного не слышал. Только какие-то люди, забравшие сторожа... но и сторож ничего не мог знать, потому что той ночью еще не был сторожем, а был неработающим пенсионером и, естественно, спал. Наконец, старичок выложил все, что знал, что слышал от других и что придумал сам или с помощью таких же вот праздных старичков и старушек. Пообещав узнать специально для нас всю правду о происшествии, он удалился.

— Опасный старичок,— глядя ему вслед, сказал Герберт.

— Опасный,— согласился я.— Пойдем отсюда.

В подвале стоял трупный запах. Тела, конечно, вынесли, но уборки никакой не делали, присыпали под опилками, и все. Мальчишки мои тупо сидели на ящиках. Некоторые даже головы не подняли при нашем появлении. Сашка ходил, глядя под ноги и загребая грязные опилки. Начиналась меланхолия, реакция, депрессия. Устали. Очень устали.

— Отряд, стройся,— негромко скомандовал я.

И в глазах, как порох, вспыхнула надежда... Фил писал когда-то романтические стихи, как там: *поражение в битве суровой, жестокой и праведной, где давно не помощник надежный и верный наган... что-то еще... и друзья, погибая, уходят во вражеский стан...* Дай бог, чтобы на этот раз Фил ошибся.

— Парни,— сказал я, когда они, все шестнадцать — еще двое в солдатской форме караулили снаружи — выстроились, подравнялись и приготовились внимать всему, что я скажу.— Сейчас я уйду. Возможно, надолго. На сутки минимум. Когда вернусь, у нас будет оружие, транспорт, квартиры, документы. Мы станем полноценной боевой единицей. Но для этого вам надо просидеть здесь минимум сутки. В режиме молчания — знаете, как на подводных лодках? Свет не зажигать, к окнам не приближаться, в комнаты, где есть телефоны, не входить. Вести себя разумно. Герберта слушаться, как бога. Если через пять суток я не вернусь, значит — все. Тогда... в общем, постарайтесь тогда сами что-нибудь сделать. Но я хочу быть спокоен насчет того, что в любой момент у меня будут наготове два десятка бойцов. Всем все ясно?

Нестройно и в общем не очень бодро отозвались, что да, все, конечно, ясно. Вот только нельзя ли со мной? Нельзя. Там, куда я иду, и один человек — толпа. И все. Никаких пререканий. Считайте себя в засаде. Это тяжело, это нудно, это долго — но таков приказ.

Я отпер решетку, отделявшую подвал от лестницы, осторожно, чтобы не греметь железными ступенями, поднялся на этаж, взял со щита ключи от дешевых комнат — там, как правило, не было телефонов. Не поленился сам отпереть эти комнаты и во всем убедиться своими глазами. Телефон — это островок государства в твоей квартире, говаривал, бывало, Фил. И Яков, помнится, утверждал, что обычный гражданин не в состоянии представить себе и десятой доли того, на что способен его скромный «Чудов и К°». Потому — застраховаться хотя бы от этого...

Застраховался.

Мальчишки разбрелись по комнатам. Я открыл буфетную, осмотрелся. Огромный шведский холодильник был полон всяческой едой. В подвале тоже есть какие-то консервы. С голоду не умрут. Вода течет и холодная, и горячая. Ну, все? Пожалуй, что все. Надо идти. Уходя — уходи.

— Пойдем, Герберт,— сказал я.— Покажу, как дверь запирается...

На лестнице я оглянулся. Сашка смотрел нам вслед. Я кивнул ему и улыбнулся — он не ответил. Он не считал нужным скрывать свою обиду.

— Хороший у тебя парень,— сказал я Герберту внизу.— Теперь вам еще везения бы чуток...

Герберт молча кивнул.

Решетка, отделяющая лестницу от подвального помещения, запиралась обычным, хотя и очень сложным знаком. Дверь же из магазинчика в подвал была стальная, снабженная системой засовов, делающих ее практически неуязвимой для обычных средств взлома... если, конечно, не отпирать ее налетчикам...

— Вот так это делается,— я показал Герберту, что надо нажимать и что крутить.— Снаружи это можно пробить разве что из гаубицы.

Он шевельнул губами, показывая, что понял юмор.

— Если вы сами не откроете, никто ее не откроет,— я продолжал вбивать это в него, как гвозди в доску... кстати, о гвоздях — где-то тут были гвозди, ага, вот они... и молоток.

— Ты действительно вернешься?— спросил Герберт.

— Если останусь жив,— сказал я.

— И тебе так необходимо идти?

— Не знаю,— сказал я.— Но чтобы выяснить это точно — тоже надо идти.

— Понимаешь...— он замолчал. Я ждал.— Понимаешь, я тебе столько обязан...

— Баш на баш,— сказал я.— И вообще...

Что именно «вообще», я не знал.

Мы пожали друг другу руки — и вдруг обнялись, крепко, неистово.

— Мальчишки,— сказал я.— Все на тебе. Удачи вам.

— Тебе удачи. Возвращайся.

— Вернусь.

Наших часовых я отправил в подвал и постоял немного, слушая, как Герберт запирает дверь. Кажется, он все делал правильно. Тогда я забил наружную дверь гвоздями, поставил замысловатую закорючку, сегодняшнее число и значок двойного треугольника на куске липкой ленты — и запломбировал дверь.

Улицы были мертвенно-пусты. Казалось, что город брошен многие месяцы назад. Только изредка мерещилось, что за стеклами шевелятся шторы. Кто-то еще жил здесь, кого-то еще тревожил звук мотора. Кто-то еще надеялся...

А на что надеюсь я?

Ни на что.

Ни малейшего просвета впереди. Ни малейшей зацепки. Ни единого шанса на успех.

И очень мало шансов уцелеть.

Было жутко и весело, как во сне, когда падаешь с большой высоты.

16.06.1991. 22 часа. Пустошь в районе пересечения Ярославской и Окружной железной дороги.

■

Задачка: как поймать в Сахаре льва?

Лес рук перегородить пустыню, господин учитель! Пополам, каждую половину еще пополам, потом еще, еще — наконец, лев сам собой оказывается в клетке. Можно просеять Сахару через сито. Можно посыпать нюхательным табаком: лев начнет чихать, по чиху мы его и найдем. Сделать надувную львицу, вставить в нее пищалку типа «уйди-уйди» — лев прибежит сам. Поймать зайца, но в документах оформить его как льва. Покрасить пустыню черной краской, а в клетку насыпать песку: лев подумает, что от пустыни только это и осталось. Хорошо, а ты, Игорь, почему молчишь? Но львы вообще не живут в пустынях, господин учитель...

Весной восемьдесят восьмого я поучаствовал в настоящей охоте на льва. Правительство Родезии пригласило группу из «Трио» помочь организовать аналогичную службу, и семь человек, в том числе и я, полетели в Солсбери и поработали там два месяца — и кое-что сумели сделать, хотя и предупредили хозяев сразу: наши методы действенны против террористов и городских партизан, а здесь их донимают партизаны классические: мелкие подвижные отряды, проникающие с территории Рейха. Но, повторюсь, кое-что получилось, и нам в благодарность устроили недельное сафари. Так что я имел возможность убить льва, причем не из ружья, а саантагом — коротким зулусским копьем. Там я усвоил главное правило охоты на львов: их надо подстерегать в засаде неподалеку от дичи, на которую львы охотятся.

В крайнем случае, можно изготовить надувную дичь.

Как правило, горожане не имеют ни малейшего представления о метаболизме их родного города: откуда поступает, условно говоря, пища, где и как она переваривается, куда исчезают отходы. Даже специалисты, занятые в этой сфере, знают только свой участок — и почти ничего о системе в целом. Полиция, которой по должности требуется знать свой город досконально, почти всегда плавает в этих вопросах. Охранные спецслужбы: тайная полиция Рейха и контрразведка «Щит» Сибири — уверены, что достаточно контролировать основные коммуникации: связь, электроснабжение, тепло, воду и канализацию,— чтобы в решительный момент овладеть любой ситуацией. Если же им потребуется дополнительная информация, они могут в любой момент привлечь необходимых специалистов. У нас такой возможности нет, поэтому приходится все держать в голове. Вот, например, сможет ли рядовой москвич, или московский полицейский, или военный комендант, или сам бургомистр ответить, ни у кого не спрашивая и не заглядывая в справочник, куда денут грузовик, сгоревший на автостоянке неподалеку от «Матросской тишины», если уголовное дело по этому факту не закрыто? Не знаете? Тогда спросите меня, и я отвечу: его отбуксируют на арестную закрытую площадку гаража Скварыгина. Там он и будет стоять, доступный полицейским следователям... Я сорок минут ползал под колесами авторуин, моля бога, чтобы охранник не пришел в себя раньше времени, и уже соображая, каким способом пробраться к «Алазани» и поискать там на стоянках маркированные машины, прежде чем не наткнулся на тот самый грузовичок — про который мы думали, что у него миномет в кузове. А может быть, и был миномет — как теперь узнаешь? «Маячок» я нашел сразу, в обычном месте: на правой задней рессоре. Сюда огонь, похоже, не попал — по крайней мере, копоти не было. До перелаза я добрался очень вовремя: начался шум, замелькали фонарики, залаяли собаки. Но все — я уже был по другую сторону стены. Все: я уже в машине. Все: я уже еду, на ходу вытаскиваю из кармана «маячок» и прикладываю его к первому попавшемуся железу — к рулевой колонке. В «маячке» щелкнуло магнитное реле, и из бока его полезла, раскачиваясь, белая ленточка: запаянная во фторогласс антенна. Теперь, пока грузовик не остановится, «маяк» будет через определенные промежутки времени выплевывать миллисекундные импульсы на волне два и две десятых метра. Это диапазон армейских и полицейских переносных радиостанций, вряд ли он заглушен сейчас; в то же время импульсы настолько коротки, что динамиками радиостанций не воспроизводятся. Зато если Кучеренко жив и действует,— а в этом у меня нет сомнений, иначе на кой черт ему шесть автоматов, два ящика патронов и реактивный гранатомет? — то я очень сомневаюсь, что он не следит за эфиром. Если же он следит за эфиром, то не

может не заметить того, что одна из помеченных ранее машин вновь ожила, проделала маршрут по городу и остановилась в подозрительной близости от нашей резервной базы... И Кучеренко не был бы сотрудником «Трио», если бы не попытался хотя бы глазами увидеть, а при благоприятных условиях и руками пощупать, кто же это такой на меченой машине катается?

Здесь можно было бы снимать фильмы о войне. Выходящие на пустошь дома стояли мертвыми, пустыми, закопченными коробками. И пространство между ними, и пустошь до железнодорожной насыпи, высокой, как крепостной вал,— все было неимоверно захламлено, изрыто и изгажено. Так обычно и действовали домовладельцы: доводили район до полной непригодности для жизни, потом сносили старые дома и строили новые — гораздо более дорогие. То же самое недавно происходило в Раменках: поставленные во времена оккупации многоэтажные бараки запылали, как свечи, в ночь случалось до десятка пожаров. Потом в дело вступил консорциум «ФТРК», всего за год построивший на месте тупых и пыльных кварталов замечательный шлафтревир типа «Пари— 2001» — и положивший в карман, как подсчитали журналисты, четыре миллиарда золотых марок. А здесь наверное, поставят особняки и будут продавать по миллиону, по два, по пять, по десять...

Я сидел на чердаке выгоревшей четырехэтажки. В наследство от португальского офицера, командовавшего нашим арестом, мне достался хороший полевой бинокль с фотоумножителем. Это, конечно, не ноктоскоп, но — трофейному коню... При полной луне в него видно, как днем, и кое-что можно рассмотреть при свете звезд. Но, к сожалению, в рассеянном свете сумерек изображение получалось размытым — как в светящемся тумане. Тем не менее, когда два неясных силуэта приблизились к машине-приманке, обошли ее, и один из них присел у правого заднего колеса, все стало ясно. Теперь — не упустить... где их машина? Я повел биноклем влево. Ага, вот она. Выше обычной легковой... микроавтобус? Про микроавтобус говорил «опасный старичок»... И еще два силуэта рядом с машиной. Ну, что же...

Со всей возможной скоростью я спустился на землю и, стараясь оставаться за домами, рванул по направлению к ним.

Я чуть-чуть опоздал. Выглянул из-за последнего угла — дверца машины хлопнула, и она мягко, бесшумно, упруго тронулась с места. Черный «хорьх-уни», нечто промежуточное между семейным автомобилем и микроавтобусом. До него было метров сто, и пара-тройка секунд для размышления у меня оставалась. Но я их не использовал. Будто кто-то толкнул меня в спину — я вышел на дорогу — если позволительно назвать дорогой то, на что я вышел,— и поднял руку.

Метрах в пятнадцати от меня «хорьх» резко затормозил, приоткрылась дверца, показалась голова...

— Пан! — закричал Кучеренко.— Пан! Парни, это же Пан! Я понял вдруг, что все это время не дышал.

16.06.1991. 23 часа. Переулок Марии Шеммель, 1. Рекламное агентство «Паритет».

■

Десять минут полной тишины. «Сонный хав». Антон и Мартин засыпают мгновенно: Мартин верхом на стуле, уткнувшись лицом в скрещенные руки, Антон на коротком конторском диванчике. Во сне у них трогательно-детский вид. Я и не думал даже, что в БД — «Брюнхильддолх», «Кинжал Брунгильды» — принимают таких пацанов. Хотя, впрочем, и у нас есть молодежный отряд — для разного рода агентурных операций. Валечка, например, начинала там, и Дима Крупицын тоже...

Я спать не стал. Включил монитор и принялся в быстром темпе прогонять через себя информблоки, поступающие через трабант по каналу МОЭС. На нашем приемнике стояли дешифраторы всех систем, и поэтому на монитор шла информация и от «Азии», и от «СИ», и от «Империума», и от «Юнаб». Перестановки в сибирском правительстве: министром обороны назначен маршал егерских войск Коломиец. Арестованы начальник генштаба генерал-майор Перевозчиков и начальник военной разведки полковник Швец. Застрелился в своем кабинете полковник ВВС Крестовиков, по-простому — Тарантул... Еще два тяжелых ледокольных авианосца: «Адмирал Колчак» и «Адмирал Канивец» — вышли вчера из порта Седов и взяли курс на запад. Они присоединятся к Ударной группе САФ. На сегодняшний день к северо-востоку от полуострова Канин сосредоточено уже около пятидесяти боевых и вспомогательных кораблей Сибири, среди них семь авианосцев и семь тяжелых атомных ракетных крейсеров типа «Петр Великий». По непроверенным данным, сегодня в шестнадцать часов в Варшаве встретились президент Толстой и рейхсканцлер фон Вайль; правительственные службы информации обеих стран не подтверждают, но и не отрицают факта встречи. Не вернулся на базу самолет «Та-220», совершавший плановый инспекционный полет над Южной Сибирью. Связь с самолетом была потеряна, когда он находился над озером Балхаш. Продолжается эвакуация населения из Москвы. По данным российского Красного Креста, число беженцев превысило три миллиона человек. В руках журналистов телекомпании «Свет» имеются документы, неопровержимо доказывающие факты массовых расправ армии над гражданским населением в Москве. Глава Московской городской канцелярии НСПР Грузинов найден убитым около собственной машины. Убиты также его шофер и двое телохранителей...

Это уже Серега и вот эти парни. Оставшись без начальства и найдя друг друга, они принялись действовать на свой страх и риск. Впрочем, «друг друга» — не совсем точно. Это Серега нашел их.

Еще одиннадцатого днем он, высадив на Цветном бульваре Крупицыных, поехал по проверочному маршруту — и засек за собой слежку. Серега показал высший пилотаж: сначала он выбросил на дорогу «лягушку» и заставил машину преследователей проехать над ней, а потом оторвался — воспользовавшись неимоверной проходимостью «волгаря», перемахнул через железнодорожные пути. Зарулив на ближайшую автостоянку, он стал отслеживать по «лягушке» машину преследователей, и делал это до трех ночи, до контрольного часа возвращения. Похоже, что мы разминулись с ним на несколько минут. Он только заглянул в подвал и сразу уехал. Убитого Командором чужака он посчитал за меня. Следующие сутки у него ушли на вычисление базы преследователей. Он был уверен, что побоище в подвале дело их рук. Наконец, он их локализовал: оптовый магазин-склад неподалеку от перекрестка Варшавского и Каширского шоссе. Серега нашел себе точку наблюдения, задействовал всю технику, что у него оставалась: несколько узконаправленных дистантных микрофонов, релихт-звукосниматель, позволяющий слышать то, что говорят в помещении, сверхчувствительный приемник, способный принимать сигналы, генерируемые обмотками телефонных наушников. К исходу следующих суток он понял, что эти ребята к акции против нас отношения не имеют, что это БД, родственная нам служба, подчиненная лично рейхсканцлеру, и что ход событий в Москве категорически не устраивает верховное правительство... Тем временем началась стрельба, по шоссе пошли танки. Тринадцатого, в двадцать два часа, вся группа, около тридцати человек, собралась вместе, и прозвучал приказ: атаковать и уничтожить руководителей заговора. Очевидно, началась подготовка к выполнению приказа, но через полчаса территория была оцеплена рейхсгренадерами, раздались выстрелы, а вскоре подошли четыре танка и из пушек разнесли все постройки. Впрочем, один танк кто-то ухитрился подбить. Серега не видел, чтобы хоть кого-то захватили живым. Самого его не нашли чудом. Утром, пробираясь к своему фургону, он обнаружил знакомую по погоне машину. Естественно, он навел на нее релихт-звукосниматель и послушал, о чем говорят. Потом подошел и представился. В отличие от всякого рода разведок, и у нас, и в БД сотрудничество с иностранными родственными службами при выполнении задания теоретически допускается, хотя и не приветствуется. «Разбор полетов» после подобных эпизодов и длителен, и тяжек. Но ситуация — Серега это понимал — складывалась исключительная, и действовать приходилось не по уставу, не по традициям и обычаям службы (которые, как правило, суровей устава), даже не по зрелому размышлению — а исключительно по интуиции. Да и речь шла не о борьбе с террорис-

тами, а о чем-то прямо противоположном. Тем не менее Серега сделал то, что сделал. У ребят из БД имелся четкий приказ, но не было средств для его выполнения, кроме трех пистолетов, очень хорошего автомобиля и пропуска гепо. И Серега вскрыл для них сначала наш оружейный контейнер, а потом — и нашу резервную базу, вот эту самую. Базу он поначалу отдавать не хотел, они съездили на Черемисовскую, но там было глухо: сторож плел черт-те что, а когда его попытались припугнуть, выскочил из машины прямо в толпу уезжающих...

Грузинова убрали технически очень гладко: за четыре секунды. Больше ничего они пока натворить не успели...

Да, и еще, сказал Серега перед тем, как уйти: правительство Тихонова тайно арестовано то ли одиннадцатого, то ли даже десятого июня, все последующие действия предпринимались от их имени, но совсем другими людьми. Чуешь? Хем-Белдыр, сказал я, восемьдесят второй год: на посту премьера сменилось пять человек, но приказано было считать, что это все один и тот же: Чодан-Оол. Как-то уж слишком все похоже, неуверенно сказал Серега...

— Подъем, ребята,— командую я.— Пора.

Тренаж у ребят отличный: они вскакивают мгновенно и так же мгновенно, без пауз, начинают действовать. Действие, в сущности, простое: выйти из конторы и сесть в машину, но в наших условиях оно разрастается до полномасштабной акции с разведкой и прикрытием. Я выхожу последним, шифрую замки и защиту и с мрачным удовлетворением думаю, что тому, кто войдет сюда без моего ведома, достанется лишь пепел — в том числе его собственный...

Ребята уже в «волгаре», зажигают спичку: все хорошо. Сажусь справа, тесновато, конечно, но лучше так, чем в будке. За рулем Антон. Я уже заметил, что Мартин у них за старшего. Иерархия в нашей группе еще не установилась, но наметилась. Мы сейчас как солдаты не то чтобы воюющих, но и не союзных армий, попавших в окружение некой третьей силы, общего врага. Они — рядовые, но их больше, и у них имеют приказ действовать. Мы — офицеры, но нас меньше, и это мы присоединились к ним. Негласно условлено, что они готовы подчиняться нам — до тех пор, пока мы действуем в рамках их приказа. Что будет дальше — бог весть.

Ехать приходится с фарами, уличного освещения нет. Если бы не два-три светящихся окна во всех домах, стоящих вдоль нашего пути, можно было бы подумать, что отключено электричество. Антон петляет по переулкам, целясь на Ярославскую, но натыкается на заторы, на скопища автомобилей. В одном месте, в другом... Наконец, застава: два «панцервагена», солдаты у костра, офицер поднимает руку. Антон молча показывает пальцем на пропуск под ветровым стеклом. Офицер светит фонариком, читает. Долго читает. Потом отходит, командует. Пердя густыми выхлопами, один панцерваген

трогается, освобождая дорогу. В свете наших фар дым похож на пламя. Проезжаем сквозь него — и проваливаемся в пустоту широкой, как футбольное поле, Ярославской. Направо — ни огонька, налево, страшно далеко — косые лучи прожекторов. Нам налево. Антон выжимает из «волгаря» все, прожектора приближаются, но он сворачивает налево, опять бессловесный диалог с офицером на заставе, и мы несемся по узкой, похожей на ущелье двумя бесконечно-длинными многоэтажками, улице, и проходит немало времени, пока я начинаю понимать, где мы и куда едем: вокруг Сокольнического парка, потом — по яузским набережным... Мы несемся, дорога пустая, лишь в одном месте — колонна «панцервагенов» на обочине, и солдаты с брони смотрят вслед. Гепо... черт бы его побрал. Гепо. Ничего. Скоро мы будем знать все. Восторг. Осталось мало. Женщина кричит и грозит кулаками. Мимо. Только во сне мы боимся крови. Толпа, человек двести, вокруг какого-то дома, светятся все окна, в окнах движение теней. «Верните наших детей! Верните детей!» Мимо. Нас слепят фарами. У Артема белое, ничего не выражающее лицо. Мартин кусает костяшки пальцев. Здесь людей больше, море голов, и солдаты, солдаты... «Где наши дети?!» Я спрятал нескольких, остальных не успел... Пропуск! Артем тычет пальцем в стекло. Нет, этого мало, требуется пропуск военно-гражданского комитета. Мартин, перегнувшись через Артема, кратко объясняет офицеру, где именно и при каких обстоятельствах видел военно-гражданский комитет. Я обязан задержать вас... Кретин, кричит Мартин, ты вон туда посмотри! — в небе над крышами тлеет красное пятно: Игла все еще горит. Ты хочешь, чтобы следующая петарда сработала под жопой твоего вонючего комитета? Счет идет на секунды, говорю я. Офицер колеблется. Поехали, говорит Мартин, и Артем бросает машину на шлагбаум, треск — мы уже по другую сторону. Еще секунды две чувствую себя на мушке, потом понимаю — не будут стрелять. По обе стороны дороги пустые машины, многие побитые, мы еле протискиваемся местами — и так до поворота на набережную. Набережная восхитительно пуста.

Мы несемся, несемся, плавно повторяя изгибы реки, и только один раз — встречные фары и мелькнувший мимо «мерседес», да еще хищные силуэты на мостах, под которыми хрипло взревывает наш старенький дизель. С Лефортовской сворачиваем в переулки, петляем, петляем, петляем — вокзал, и на площади два десятка полевых кухонь в ряд, очереди к ним, с открытых грузовиков раздают хлеб — лес протянутых рук... Все, теперь медленно, медленно... вот они. Ждем, когда перейдет дорогу старуха, неся перед собой фарфоровую супницу. На обочине, одним колесом на тротуаре, стоит наш «хорьх», чуть дальше — светлый «центавр»... Ай да Серега. Ай да сукин сын. Я выпрыгиваю из кабины, он вскакивает и почти бежит навстречу. Глаза у него по чайнику, и уже ясно, что сейчас он

преподнесет мне подарочек. Молча он распахивает багажник, и я вижу... больше всего это похоже на кусок ствола корабельного орудия: цилиндр высотой с полметра, с внутренним диаметром тридцать сантиметров и толщиной стенки сантиметров двадцать пять — двадцать семь... Я уже все понимаю, я царапаю металл ногтем, и остается след. Массивная крышка с выступающим рантом лежит отдельно, в ранте пропилен паз, вот для этого провода со штекером... Я сразу почувствовал, что она тяжелая на ходу, говорит Серега, и я киваю: тут мудрено не почувствовать, когда в багажнике с полтонны свинца. Какой взрыватель? — спрашиваю я. Чисто радио. Частота? Двадцать один и четыре, семизначный цифровой код. Двадцать один и четыре, тупо повторил я. Это сколько метров? Примерно четырнадцать. Четырнадцать... Меня будто ударило током. Скорее, завопил я, скорее, пеленгуй! Кого? — уставился на меня Серега. Какой-то передатчик на четырнадцати метрах гонит цифровые группы! Иду,— Серега попятился, повернулся и побежал к своему фургону. Я закрыл багажник, обошел машину, открыл правую дверь и сел на низкое сиденье, оставив ноги на тротуаре. Этой зимой группа Фотеева обезвредила в Новониколаевске некую «Миссию» — любителей минировать автомобили и взрывать их в людных местах. Раздобыв агентурным путем характеристики взрывателей, которыми те пользовались, ребята Фотеева запрограммировали раухер так, чтобы он выдавал все возможные комбинации кода, подсоединили его к передатчику и постоянно гнали это в эфир. «Миссионеры» перед очередной акцией стали проверять свою технику — и вся их база ухнула. Фотееву вставили трехдюймовый фитиль, так как пострадали посторонние, и перевели в разработчики... Теперь какие-то козлы намерены повторить его подвиг, думая почему-то, что противник располагает только обычными или, на худой конец, мини-ядерными фугасами. А замечательную мину «Тама» в восемь килотонн не желаете попробовать? Теперь я более чем уверен, что она есть — не в этом, так в другом автомобиле, в массивном свинцовом контейнере, исключающем обнаружение приборами...

Да уж. Не было ни гроша, да вдруг алтын... хотя и алтына тоже нет, а есть непонятно что. Хотели, называется, разжиться фаршированным автомобильчиком... разжились. Сколько Сереге потребуется на пеленгацию? Сможет ли он в этих помехах дистанционно перенастроить на другую волну приемные станции? Или придется ездить по городу на фургоне, рисуя треугольник ошибок? Эх, черт, вспомнить бы мне об этой дурной морзянке немного раньше! Нет, вот он, Серега. Все? Все!

Запеленговал, почти кричит Серега, но там ничего нет! Где, показывай! Вот... вот... Да нет, Серега, тут же всякие особняки и дачки, их просто на карту не наносят, чтоб не дразнить народ. Ну, ребята, говорю я и в трех словах объясняю, что, собственно, проис-

ходит. Ты уверен? — впивается в меня Мартин. Уверен. Серега, какие группы идут? Семь-семь семь-семь-один-пять, последняя переменная... принцип магических колес. Сколько осталось? Часа полтора. Нельзя рисковать, говорю я, машину не найти, надо брать передатчик. Чей он может быть? Господи, какая разница! Ухнет «Тама»... или тута...

Едем, говорит Мартин, и мне вдруг становится легко.

Едем!

Фургон и «Феникс» бросаем, обуза, все вместе, и парень, который ходил с Серегой, тычет мне локтем в бок и улыбается, зубы белые, глаза блестят. Антон гонит так, что нас просто колотит друг о дружку, мостовые разбиты танками, кусками выворочен асфальт, и он петляет, как слаломист, но держит скорость.

Как же зовут этого третьего, третьего?..

Ференц. Точно, Ференц.

И он здорово похож на Фила Кропачека, Фила в юности, мы еще только летели в Хем-Белдыр, и он что-то кричал мне сквозь рев моторов и вот так же скалил зубы...

Никто из нас не знал, что будет потом.

У моста через Яузу два танка, но нас не останавливают, наоборот, машут: скорей, скорей! Буквально перепрыгиваем речку, я оглядываюсь и вижу, как с тяжелого самосвала на мост валятся бетонные блоки. Антон нацеливается на Таганскую площадь, где-то впереди и очень близко большой пожар, военный полицейский машет жезлом: здесь не проехать, свободен только Рогожский вал. Не страшно, крюк не велик, летим по Рогожскому, слева тоже что-то горит, и справа, далеко, но очень сильно — не Кремль ли? Переулками — к Новоспасскому мосту, короткая задержка у заставы, зулусы растаскивают рогатки, освобождая нам дорогу — и снова скорость. На съезде с моста нас заносит на трамвайных рельсах, задницей о столб, сыпется заднее стекло — не останавливаться, дальше, дальше! По Кожевнической, мимо вокзала — и здесь длинный ряд полевых кухонь, люди с кастрюльками, котелками — и точная копия предыдущей, старуха с фарфоровой супницей в руках, переходит дорогу, и рядом — седая собачка... На Зацепе — затор, несколько машин горит, толпа, ничего не понятно, Антон сворачивает в переулки, дикий слалом, я теряю ориентировку и снова начинаю понимать, где мы, когда медленно, объезжая брошенные автомобили, мы пересекаем улицу Гете, справа пылает юберляден «Крым», пожарные в блестящих касках, пенные струи, дым, черное стекло — рушится... До Кристы отсюда пять минут небыстрой ходьбы, но круг не замыкается: мы удаляемся, мы гоним по голым, как кость, переулкам, сейчас выезд на проспект Александра Второго Освободителя — затор. Пятимся, теряя секунды. Меня вдруг будто окатывает кипятком: все, опоздали, сейчас рванет... сейчас... сейчас... Нет, это я рвану, это за мной идет охота... Давлю

в себе все. Низкий рев моторов — над крышами, освещенные близким пожаром, проходят пять «Готтсхаммеров». Следом и чуть выше — еще пять. Наконец, застава у выезда на проспект. И здесь зулусы, белая форма, автоматы за спинами, в руках толстые короткие плети. Офицер, тоже негр, отдает честь, немецкий его безукоризнен: господа, выполняю приказ, никакие транспортные средства на проспект допущены быть не могут, объезд через... Нет, нам сюда, говорю я, сверхсрочно, машину мы можем оставить. Офицер размышляет две-три секунды. При наличии пропуска... Пошли, ребята, говорю я. Пешее движение похоже на неподвижность. Я советовал бы вам взять хотя бы отделение солдат, говорит офицер. Простите, капитан, говорю я, но тогда я должен буду отнять у них патроны: они не должны стрелять, даже если их начнут медленно резать. Капитан сдается. Гуськом: Серега, я, Артем, Ференц, Мартин — мы бежим по тротуару, глядя по сторонам, пеленг взят с точностью до пятидесяти метров, но передатчик находится где-то посредине между проспектом и набережной, и попасть туда... здесь? Очень может быть. Узкий проезд между домами, знак: движение запрещено. Всматриваемся. Не видно ни черта. Я тормошу Серегу: здесь? Нет? Похоже, что здесь, говорит, наконец, он.

Жилой дом... еще жилой дом... а дальше асфальтовая дорожка между живых изгородей в человеческий рост, за левой изгородью стена, за правой решетка, за решеткой — темный парк. Плевое дело — перепрыгнуть через такую решетку, но вот те кубики наверху мне не нравятся совсем: это релихт-защита, и хорошо, если она только поднимет тревогу... вообще-то в спокойной обстановке для преодоления ее нужно всего-навсего три зеркальца и кусок толстой проволоки, но у нас нет ни того, ни другого, да и спокойной обстановки тоже нет... Поэтому мы пойдем, как солидные люди — через дверь.

Вот они, сетчатые ворота, их отпирают вон из той будки, должен же быть какой-то служебный ход, точно, железная калитка с окошечком на уровне лица и тоже с дистантным замком, ну, что же... стандартная ситуация номер семь... Мартин становится перед калиткой, слева и сзади от него Антон, обматывает курткой пистолет. Я стою справа, в опущенной руке взведенный автомат — на самый крайний случай. Серега с Ференцем в резерве. Мартин властно колотит в калитку рукояткой пистолета. Из будки мгновенно появляется амбал в форме внутренней стражи. Автомат у него под мышкой, ствол смотрит на нас.

— Кто такие?

— Имперская тайная полиция,— говорит Мартин, сует пистолет за пояс и достает удостоверение. Охранник подходит к калитке, щелкает выключателем, на столбе вспыхивает яркая лампа. Мартин держит удостоверение напротив окошечка, охранник наклоняется и

читает, щурясь, и тут Мартин роняет удостоверение, в этой же руке у него баллончик с парализатором, и он пускает струю газа прямо в лицо охраннику. Тот падает, как подкошенный, с шумом, с обвальным грохотом, и на шум выскакивает второй, автомат наготове, но Антон успевает выстрелить раньше, звук негромкий, будто уронили кирпич, и охранник пятится и оседает... Я готов принять следующего, но следующего нет, дежурят обычно по двое, Мартин сует в окошечко руку, силясь дотянуться до замка, но нет, конечно, кто же ставит замки так, чтобы до них можно было дотянуться?.. Тут потребна некоторая хитрость... я отстраняю Мартина, достаю нож, но вижу, что Серега уже встал на плечи Ференца и что-то ковыряет на самом верху ворот, падает вниз какая-то жестянка, Серега сопит и ругается сквозь зубы, потом что-то звонко ломается и Серега, повиснув на одной руке, начинает другой рукой что-то крутить, сначала ничего не происходит, потом раздается скрип, и ворота начинают медленно-медленно ползти в сторону. Минута... вторая... Наконец, щель достаточно широка, чтобы в нее пролезть. Первым лезет Антон, он самый крупный из нас, кряхтит, но протискивается, и за ним протискиваемся мы все. У Сереги с пальцев капает кровь. Перевяжись, говорю я ему и бегу в караульную будку. Так... пульт, телефон, рация. Снимаю телефонную трубку и кладу на стол. Охранник очнется через полчаса, не раньше, но на всякий случай я связываю его ремнями, затыкаю рот. Автоматы забрасываю на крышу будки. Гашу фонарь над входом. Вот и еще минута ушла...

Аллея, кусты, молодые деревья. Несколько фонарей освещают лужайку, за ней — двухэтажный дом новой постройки, свет за шторами, а рядом, выглядывая из-за угла — роскошный легковой прицеп, «вилла на колесах» по имени «шметтерлинг» — так написано над окнами — но почему-то с огромной, не менее десяти метров высотой, телескопической антенной. Серега, она? Оно? Наверняка, говорит Серега. Оно.

— А вот и охрана.

Ну, ребята... парень, руки в карманах, мягкие движения, очки... нет, не очки — ноктоскоп! Идет... остановился... смотрит... увидел! Артем опять успевает раньше: коротко — сдвоенным выстрелом — бьет автомат, и охранник, подпрыгнув, падает и выгибается назад, пистолеты вылетают из рук, а нам надо пробежать всего пятьдесят метров. Мы бежим, ветер в ушах, две секунды, никого нет, три секунды, никто не стреляет, четыре секунды, дверь распахивается, и навстречу... вижу только кружок дула, руки делают все сами, запрокинутое лицо, темнота, лестница вверх, поворот, еще лестница, позади короткие очереди, передо мной три двери, выбиваю ногой — сортир, черт, дальше никого, третья дверь, выстрелы навстречу, щепки и вонь пороха, и будто кирпичом по темени, бью поверх голов, но впритирку, чтобы присели, а рядом уже Артем, и у тех нет шансов.

— Пистолеты на пол,— в три приема выговариваю я.— И прошу садиться ..

Под ногами — длинная, взахлеб, очередь. Вопль. Еще очередь. Тишина. Горячая струйка за правым ухом, по шее, на спину.

— Всем сидеть,— повторяю я.

Вот он, раухер. На мониторе — семь колонок цифр, в последней, седьмой, цифры меняются, меня опять ошпаривает кипятком, и я даже не тянусь к выключателю — просто всаживаю в раухер десяток пуль. Наверное, от сотрясения экран монитора покрывается густой сетью трещин, раздается громкое шипение, все меркнет. Успели. Успели. Успели, черт побери...

И вот теперь я оглядываюсь по сторонам. Их четверо, все в гражданском. Но по-настоящему штатский валенок среди них, похоже, только вот этот, у стола, белее штукатурки, с ужасом смотрит не на меня, а на остатки раухера: программер? Наверное. А остальные...

— Что все это значит? — подсевшим, но вполне твердым голосом спрашивает один из них, самый старший, бульдожьи щеки, ежик — совершенно полковничья рожа.— Кто вы такие?

— Трио,— охотно отвечаю я.

— Что-что? — он от изумления чуть не падает.

— Отдел особых операций при штабе ВВС Сибири,— подчеркнуто медленно говорю я.— Старший координатор Валинецкий.

Секундное молчание и глаза, которыми он видит не меня, говорят о многом — почти обо всем. Сейчас он начнет врать, и я его опережаю.

— Господин полковник,— наобум говорю я и, кажется, попадаю в десятку,— мы прекрасно знаем, кто вы и чем занимаетесь. Дело, однако, в том, что...— я посмотрел на часы,— тридцать две минуты назад мы получили неопровержимое доказательство того, что вас недоинформировали о характере радиофугасов, тралением которых поручили заниматься...— у меня начинает медленно плыть перед глазами, я нашариваю стул и сажусь, хорошо бы лечь, но это нереально.— Дело в том, что один из них представляет собой плутониевую мину мощностью восемь килотонн и, по нашим данным, установлен где-то в районе сибирского посольства... Вы понимаете, надеюсь, что акция наша носила вынужденный характер и имела целью предотвратить злодеяние, которое иначе бы...

— Всем к стене! — оглушительно кричит Артем, а я мягко, как в вату, падаю на пол. В глазах уже почти темно, но сквозь эту темноту я еще вижу, как в дверь косо входит Серега, а с ним кто-то такой знакомый...

— Феликс,— ласково шепчу я сквозь липкую сладость во рту,— как хорошо, что и ты здесь...

17.06.1991. 0 часов. 35 минут. Пушкинская набережная, 2, строение 9.

■

— А дом этот тоже им принадлежит? — спросил я, оглядываясь. Холл на первом этаже, где мы сидели, был великолепен, только обивка немного пострадала.

Феликс испуганно кивнул.

— А где они зарегистрированы? Совет директоров где находится?

— В Каире.

— Тоже хороший город...— я вздохнул.— «Эйфер». «Восторг». Придумали же название... Ладно, давай дальше.

Я продолжал вертеть в пальцах шприц-тюбик, и Феликс, как загипнотизированный, не мог оторвать от него взгляд. В тюбике, вообще-то, был промедол, но Феликсу я сказал, что аббрутин. Дальнейших объяснений не потребовалось, он стал рассказывать все, что знал, и пока я не видел серьезных лакун в его информации.

На фирму «Эйфер» Феликс набрел в прошлом году, расследуя по поручению крипо убийство петербургского инженера, подозреваемого в коммерческом шпионаже. Заинтересовавшись некоторыми странностями в делах фирмы, Феликс стал незаметно, но глубоко копать под нее. Выяснилось, что фирма формально сибирско-российско-египетская, создана на деньги — весьма немалые, восемьсот миллионов золотых марок,— полученные в виде займа у банка «Стахат». Даже не размышляя о причинах такой безумной щедрости банка, останавливаешься перед другим, куда более чудесным феноменом: никто и не помышляет о возврате долга. То есть под видом займа откуда-то эти деньги и были перечислены. Далее: собственно коммерческая деятельность фирмы полна тайн и мистификаций, так, например, налог ею выплачен с сумм в тридцать-пятьдесят раз меньших, чем следовало бы ожидать, исходя из видимых объемов ее оборота. Очень трудно заподозрить налоговое управление Рейха, пусть даже его египетский филиал, в некомпетентности или нечестности. Следовательно, вся — или почти вся — деятельность фирмы фиктивна, и прибыли ее берутся вроде как ниоткуда. Кое-что удалось отследить: так, например, внесение на счета фирмы в кабульском и пишпекском отделениях все того же банка «Стахат» анонимных взносов в размере от сотен тысяч до миллионов марок. Расходы фирмы тоже не слишком обычные: на счета московской городской и общероссийской канцелярий НСПР перечислены в общей сложности сто сорок миллионов марок. Еще порядка двухсот пятидесяти миллионов ушло по сложным маршрутам, но, очевидно, на те же адреса. Обратил Феликс внимание еще и на то, что в банке «Стахат» некоторые выигрышные счета пользуются особым вниманием фортуны. Например, вклад генерала Шонеберга за время

существования фирмы «Эйфер» четырежды утраивался — так что к финалу своей карьеры генерал подошел счастливым обладателем трех с лишним миллионов золотых марок, причем, что особенно ценно, законным и легальным их обладателем. В отличие, скажем, от Феликса, который стал обладателем поистине бесценной информации, но обладателем незаконным и нелегальным. Для крипо все это — в силу известных юридических положений о методах расследования — не представляло ни малейшего интереса. И тогда Феликса попутал бес: он решил продать собранные материалы... кому бы вы думали? Самой «Эйфер». То есть он решил продемонстрировать им несовершенство их систем безопасности и предложить свои услуги по созданию новых, абсолютно непробиваемых систем. На всякий случай многократно застраховавшись по классическому принципу «мертвой руки», Феликс вышел на контакт со службой безопасности фирмы — и не успел моргнуть, как был скручен, напичкан какой-то дрянью и уложен в небольших сравнительно размеров картонную коробку. В следующее мгновение он уже лежал в железной клетке, подвешенной между полом и потолком (карантин какой-нибудь из пожизненных тюрем? Очень похоже...), а секундой позже стоял на зеленом ковре в кабинете человека, который не стал скрывать своего имени и должности: Гейко Николай Павлович, шеф контрразведки Сибири... Мы убедились в вашей искренности, Феликс, сказал Гейко и объяснил Феликсу, что такое аббрутин. Спасибо вам за то, что вы для нас сделали. Это исключительно ценно. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Так Феликс стал обладателем земельного участка в Красном Яре, самом престижном пригороде Нового Томска, и десяти миллионов рублей, положенных на его имя в Военно-крестьянский банк. На следующее утро он уже был в Москве. Через неделю ему полностью обновили аппаратуру, и он занялся тем, что на жаргоне программеров называется «тинтенвелке» — «чернильное облако». Вскоре добраться до каких бы то ни было следов деятельности «Эйфер» стало почти невозможно. По ходу дела Феликс получал информацию о все новых и новых операциях фирмы: об отмывании — под весьма значительный процент — денег туранских «конопляных шейхов», о незаконной продаже предприятий и земельных участков в Индии японцам, наконец, о финансировании откровенно террористических формирований в России, Польше, Грузии, Египте, в странах Турана... Феликс предлагал вообще уничтожить эту информацию, но получил строгий приказ: маскировать тщательно, но не уничтожать ни в коем случае. Только тогда он понял истинную цель и смысл деятельности фирмы «Эйфер»...

А я сидел и, насилуя свой несчастный мозг, пытался совместить то, что говорил Феликс, с тем, что я знал помимо него и, в частности, о Гейко Николае Павловиче. С одной стороны, он бессменный шеф

контрразведки аж с шестьдесят пятого года, то есть показал себя аполитичным, лояльным специалистом. С другой — все «азиаты» почему-то считают его своим. До сих пор ориентация и политические симпатии того или иного деятеля серьезного практического значения не имели, но сейчас ситуация переменилась. Значит ли это, что Гейко проводит некую свою, независимую от Толстого, политику? И вообще — что это за последние перестановки в правительстве? Стоп. Предположим, план Толстого срабатывает, Рейх и Сибирь образуют некий тесный союз, «уральский кордон» рушится, целостность России восстановлена. Троекратное ура, но через некоторое время рвется бомба: оказывается, правительственное ведомство Сибири занималось перекачкой наркомарок в Рейх... Толстой уходит в отставку — ой ли? — его преемник... Нет, как-то это ненадежно и мелкотравчато. С другой стороны, только для компрометации НСПР — партия существует на деньги торговцев наркотиками, ату ее! — лишком громоздко и чрезмерно убедительно. Да еще японские деньги и японские бомбы...

Япония... Япония зависит от сибирской нефти, как наркоман от своего «миттела». Рейх не продаст им ни грамма, пока те не вернут бывшие французские колонии — что почти нереально. Сибирь же берет только золотом, и это для Японии страшно накладно. Союз Сибири и Рейха для нее страшнее атомной войны, а тот сценарий, который изложил мне покойный Кононыхин, рискован, но дает шанс оказаться на коне. И тогда они находят себе союзника в правительстве Толстого... но надо же сделать что-то еще, чтобы оторвать потом Россию от Рейха... атомный взрыв, а потом оболочка от мины будет найдена в другом месте? Замечательно... Кретин, подумал я. Резня, учиненная рейхсвером в Москве! Что еще нужно? Так это значит... что все? Все уже произошло? И — поздно?

Я думал и в то же время слушал, как Феликс рассказывал о том, что произошло в последние дни. Внезапно от него стали требовать еще более интенсивной маскировки, и когда он сказал, что слишком хорошо — тоже нехорошо и что такое количество «чернил» привлечет внимание, просто махнули рукой. Тогда он понял, что события входят в последнюю фазу. Потом, почти одновременно, произошло несколько очень важных событий: кража важных документов в конторе «Эйфер», поиски и поимка похитительницы, мой визит и убийство Шонеберга... Феликс сказал, что по-настоящему потряс его я: он до сих пор искренне считал, что имеет дело с недалеким и не слишком удачливым охотником за коммерческими тайнами. Но, увязав все это вместе, понял, кто есть кто. Тогда он начал делать примерно то же, что делал Яков, провел сорок часов за пультом, наткнулся на раухер Якова и сумел его обыграть... Подставив мне сначала гараж Скварыгина, а затем КАПРИКО, он выиграл темп и вообще сделал все, что

надо, выложив нас на блюдечке, но вот боевая группа подкачала... Потом началась пальба.

— Посмотри сюда,— сказал я и еще раз продемонстрировал ему тюбик. Феликс сжался.— Ты соврал. Ты не мог сам переиграть Якова. Тебя снабдили информацией...

— Да.

— Какой именно?

— Рабочие характеристики раухера.

— А принцип защиты?

— Тоже...

Тоже... Как говорил когда-то Фил, формулируя принцип Оккама: если в вашу дверь поздно ночью постучат, то вы, конечно, можете предположить, что к вам на палочку чая пожаловала иранская шахиня — но все-таки вероятнее, что это у соседа кончились спички. Так что и я могу, конечно, предположить, что у каждой утечки информации — свой виновник...

Но, поскольку числить Тарантула в банальных предателях бессмысленно, остается одно: все это творилось и творится в рамках какого-то сатанински-изощренного плана, и что является конечной целью, не знает уже никто, потому что главный разработчик лежит сейчас где-то на холодной полке с пулей в мозгах...

По лестнице прошуршали шаги, и Серега, перегнувшись через перила, крикнул:

— Пан, давай скорее сюда! Тут такое!..

— Идем,— сказал я Феликсу.

Когда мы непочтительно ворвались в особняк, господа контрразведчики занимались, помимо траления радиомин, срочной систематизацией данных обо всех общественных, политических и прочих организациях в Москве: с адресами штаб-квартир и канцелярий, персональными карточками активистов и так далее — и, в том числе, прогностическим профилем действий в условиях подполья. Срок исполнения: два часа ночи семнадцатого июня. К этому же часу должно было закончиться и траление. Серега, обходя помещение наверху, наткнулся на трабант-приемник, включил его и тут же услышал сообщения сразу нескольких агенств, переданных из уральских городов: в полночь восточную границу Рейха пересекли несколько сот сибирских самолетов...

— Это десант,— сказал я.

— Война? — без голоса, одними губами спросил Феликс.

— Вряд ли. Наверное, Толстой и фон Вайль договорились, наконец, как именно произойдет объединение...

Мартин, стоящий тут же, молча покачивался с пятки на носок. Потом он, набрав побольше воздуха, подняв голову и закрыв глаза, выдал такой загиб, что даже я уловил в нем несколько незнакомых

слов. Выговорившись, он ударил кулаком в открытую ладонь, резко повернулся и подошел к окну. Чуть отодвинул штору, замер...

— Летят,— глухо сказал он.

Оттуда, от окна, а потом и со всех сторон в комнату проник медленный низкий звук. Он нарастал. Вдруг резко задребезжали стекла.

— Рано,— я посмотрел на часы.— Еще очень рано.

— Это не самолеты,— сказал Серега.— Я знаю, что это...— голос его был пустой, белесый.

Можно было не договаривать — я тоже знал, что это, и Мартин, наверное, тоже знал, потому что отшатнулся от окна, а Феликсу можно было и не объяснять... надоел... догадается сам.

— Лучше бы они пустили газы,— сказал Серега.

Лучше бы, подумал я, от газов в городе можно укрыться, от инфразвука — нет. От него не спасает ни танковая броня, ни убежища... экипажи самих «иерихонских труб» прячутся в вакуумированных рубках... они еще греют, разгоняют генераторы и диффузоры, доля инфразвука в спектре невелика, он быстро затухает... но через полчаса они выйдут на боевой режим, и тогда — все. Погибнет десант — но и десятки тысяч москвичей, забившихся в квартиры, погибнут — от внутренних кровоизлияний, от инфарктов, покончат с собой в приступе безысходной тоски или невыносимого ужаса... Надежда только на то, что солдаты — танкисты, главным образом,— поймут, что к чему, и расстреляют СУВы... вряд ли они успеют это понять и вряд ли среагируют до подавления рассудка, до паники. Нет, армия побежит. А через час навстречу волнам инфразвука повалятся егеря... а мы... а что мы? С автоматом против СУВ? Тут нужны пушки или штурмовики...

— На Марии Шеммель остался гранатомет,— напомнил Сережа. Наверняка мы думали об одном.— И у Ганса в подвале...

— Не успеть,— сказал я.

— А у этих?

Я посмотрел на Феликса. Феликс был бледен, как покойник. Наверное, он тоже все понял. Или хотя бы догадывался. В конце концов, об «иерихонских трубах» хоть краем уха, но слышали, наверное, все. Пятнадцать лет назад это было сенсацией. Потом оказалось, что на поле боя они практически бесполезны, и их списали ко всем чертям. И вот они выползли на волю...

Уже на лестнице, ведущей в подвал, появилось чувство нехватки воздуха. СУВы отдают значительную часть мощности в землю, а в земле инфразвук распространяется лучше. Наверное, сейчас уже начинают сходить с ума и умирать танковые экипажи в своих чугунных ящиках...

И дети... и старухи...

Скоро дойдет очередь и до остальных.

До нас тоже.

Мордатый полковник был плох. Остальные еще как-то держались. На руках мы вынесли полковника наверх и положили в прицеп, в радиостанцию. Резиновые скаты, рессоры — пока что это неплохая изоляция.

— Господа...— я посмотрел на оставшихся трех.— Господа офицеры...— Они стояли белые, мокрые от пота. И мне вдруг сдавило грудь.— Стало неважно, кому мы подчиняемся, кому служим — сейчас только наша честь...— совсем сел голос, я махнул Мартину: продолжай — и отошел чуть в сторону. Показалось, меня сейчас вывернет. Как тогда, на старой насыпи... Мартин говорил, те отвечали, я все слышал, но не понимал слов. Потом стало легче. Вероятно, это было разгонное увеличение мощности — или удар по какой-то цели. Не по нам. Нам достались отголоски. Эхо. Я повернул к дому. Оказалось, я отошел довольно далеко. Навстречу шли Сережа, Мартин и один из людей Гейко, которого звали Алексеем.

— Все есть,— сказал он мне.— Пойдемте. Я покажу, где.

— Не в доме?

— Нет, не в доме.

— А что — все?

— Егерские «горбы». «Болты». Минометы.

— К чему-то всерьез готовились?

— Видимо, да...

Тайник оказался под караульной будкой. Связанный мною охранник пришел в себя, но, видимо, акустический удар ввел его в грогги. Он ничего не понимал и не разговаривал.

Вчетвером мы отодрали половицы, под ними была бетонная плита, Алексей поколдовал над ней, и открылся люк, совершенно незаметный. Того, что было внизу, могло хватить на егерский взвод. Мы выволокли наружу пять «гобов», канистры с керосином, два десятка сдвоенных и счетверенных пеналов с «болтами», стомиллиметровый горный миномет и два ящика мин к нему. Я взял на плечи по «горбу» и, пошатываясь, двинулся к дому.

Через пятнадцать минут мы разобрались с вооружением. По-настоящему «горбами» владели только Сережа и я. Гейковцы умели обращаться с ними на уровне рядового: перелетать с места на место и стрелять, находясь на земле. Поэтому их главным оружием должны были стать «болты»; модификация, которая досталась нам, была настроена на звук, тепло и металл. Полковник, как и ребята из БД, с «горбами» дела не имел, поэтому они образовали минометный расчет. Феликс вообще не умел стрелять, и на его долю выпало оказание помощи тем, кто вернется. Керосин, патроны... Было двадцать пять минут второго, когда мы, пятеро, в пухлых пулестойких комбинезонах с титановыми нагрудниками, в огромных ботинках, обвешанные оружием, как елки игрушками, разошлись по лужайке, чтобы не опалить

друг друга выхлопами турбин. В желтом свете окон, отбрасывая резкие длинные тени, мы вдруг сделались похожими на космонавтов единственной покуда лунной экспедиции. Я опустил на лицо щиток ноктоскопа и подождал несколько секунд, пока глаза не привыкли к новому режиму. Феликс, стоя у стены, медленно поднимал руку. Лицо его было плоское и неподвижное, как фотография. Я запустил турбину. У нее пронзительный, сверлящий звук, от него не спасают ни прокладки на спине, ни шлем с плотными наушниками. На какое-то время этот звук подавляет, лишая чувства и времени, и пространства. Я стал считать про себя. Нужно десять секунд, чтобы турбина прогрелась. На всякий случай я досчитал до пятнадцати, поудобнее перехватил ручки управления и взлетел первым.

Мы условились: я беру на себя север и северо-запад, Сергей центр и северо-восток. Ребята Гейко, как менее опытные, действуют группой над ближайшими окрестностями и южнее. В крейсерском режиме полета керосина хватало на сорок минут. До выброски десанта оставалось меньше.

Первую «трубу» я засек сразу, едва набрал высоту. Она стояла на широкой площади перед станцией метро «Крымский мост». То, что мост мог обрушиться, этих гадов не волновало. Их, похоже, вообще ничто не волновало. Сверху «труба» на трубу не похожа — скорее, на огромный цветок с семью жирными лепестками, распластанными по земле, и с толстым пестиком в форме гриба. На конце одного из лепестков кубический нарост — рубка экипажа. О подготовке экипажей в армии ходят самые гнусные слухи... Моя высота была сейчас шестьсот метров, этого впритык, но хватало. Я установил релихт на стрельбу серией, чуть прижал пальцем спусковой крючок — на экране ноктоскопа высветилась рамка прицела. Врубил генератор. Тон турбины понизился, ушел в басы. Четыре пятых ее мощности теперь шло на зарядку батареи, оставшейся одной пятой хватало только на то, чтобы стабилизировать падение. Меня стало раскачивать, крутнуло на полоборота — ветер. На ста сорока метрах мигнул индикатор заряда, я тут же выключил генератор и стал разгонять турбину. На это уходит три секунды и метров восемьдесят высоты. Я потерял «трубу» из виду. Пришлось подняться и зависнуть. Ага, вот она. Поймал в прицел, дал увеличение, навел перекрестие на рубку экипажа и выстрелил. Десять импульсов, пробивающих двухсантиметровую броню. На месте рубки расплылось белое пятно, прочее изображение на секунду пропало. Все, одной меньше. Косо набираю высоту...

Город уходит назад и вниз, неимоверно четкий, вычерченный меловыми линиями на черной бумаге. Разве может кто-нибудь выжить в таком четком черно-белом городе?.. По черной, загибающейся вправо полоске Садового кольца двигалась ослепительно-белая точка. Я был на высоте около километра.

Вторую «трубу» я нашел возле Белорусского вокзала. Высоты мне хватило, и ее я расстрелял как на полигоне: не зависая, в свободном падении, с уходом в горизонтальный полет. Теперь — к аэропорту, там обязательно должна быть «труба» и, может, не одна... Меня спасла высота. Будь я метров на двести пониже, акустический удар убил бы меня. А так... каким-то безумным усилием я выровнялся и свечкой пошел вверх — будто выныривая из глубины... Гады... Я опомнился на двух тысячах. Так я сожгу весь керосин... Врубив генератор, пошел вниз, но цели не видел, поэтому поймал один из пеналов с «болтами» и стал водить им вокруг. Батарея зарядилась, я перешел в горизонтальный полет. Головка «болта» захватила цель — источник звука — и я выстрелил, не видя даже куда. Экран опять померк, ослепленный выхлопом ракеты. Я был уже в зоне аэропорта. Где-то над дальней его границей, в районе ремзавода, вспух комочек пламени — «болт» нашел свою цель. Еще одна «труба» стояла прямо на поле, окруженная — для маскировки, что ли? — гражданскими самолетами. Я разрядил в нее релихт.

Второй «болт» из пенала я решил пока не тратить, используя его пока только для поиска цели. Он вывел меня на третью в этом месте «трубу» — перед зданием аэровокзала. Я сделал «горку» и в падении изрешетил ее. Наверное, влепил ей в бак: она взорвалась и заполыхала, как бензовоз.

А вот мои баки были пусты более чем на половину, облетать же еще было что. Ну, заправиться, конечно, можно будет на любой автостоянке, турбина жрет все... Я поводил еще — на прощание — «болтом» по сторонам, но ничего не обнаружил. Стал набирать высоту курсом на Останкино и вдруг увидел мелькнувший внизу, между домами Питерской, хищный силуэт. Это был «шварцрабе», очень опасный противник. Я тут же стал уходить на форсаже вправо-вверх, он завис, крутнулся на месте, задрал нос и врезал по мне из всех стволов. Мне буквально опалило пятки. С полминуты я крутился над ним, держась в мертвой зоне, а он все пытался достать меня огнем. Мне никак не хотелось тратить «болт», тем более что слишком уж мала дистанция, зацепит осколками — и ага... но ничего другого не оставалось делать, тем более что он решил не соревноваться со мной в пилотаже, а просто начал тупо загонять меня на высоту. С четырех тысяч у него будет уже преимущество в скороподъемности... Отключив головки самонаведения, я выстрелил «болтом» навскидку — как по тарелочке. Взрывом ему оторвало лопасть ротора, он затрясся и стал разваливаться. Хвост с продолжающим крутиться винтом отделился и закружился вокруг. Потом брызнули в стороны оставшиеся лопасти ротора. От фюзеляжа отделились два комочка, тут же превратившиеся в прямоугольные купола парашютов. Моя высота была две тысячи семьсот, и керосина оставалось только для пристойной посадки...

Зарядив батарею, я опустился на территории топливного склада. Никого... Поработали «трубы»... Я снял с себя «горб», шлем, отсоединил релихт и, взяв его под мышку, пошел поискать, где тут можно заправиться. После черно-белой графики ноктоскопа все вокруг даже в резком прожекторном свете казалось бледным и размытым. Проволочная изгородь в одном месте была прорвана, будто сквозь нее прошел танк, а рядом с этим местом лицом вниз лежал солдатик в серой форме Российского территориального корпуса. Я перевернул его на спину, потрогал запястье. Пульс был.

— Эй, парень,— я похлопал его по щекам.— Очнись.

Повторять не понадобилось — он мгновенно открыл глаза.

— Ты кто? — голос у него был, как у воробья.— Тебе чего надо?

— Керосинчиком разжиться.

— Керо... синчиком?

— Ну да.

— Подожди... Что это было?

— «Иерихонские трубы». Слышал про такое?

— Слышал... Подожди. А ты кто?

— Поручик Валинецкий, егерские войска.

— Егер... так мы что, в Сибири?

— Еще нет. Но, думаю, скоро будем.

Он сел и оглянулся по сторонам.

— Тут везде керосин,— сказал он.— Но я не знаю, как его качать. И еще вон в той бочке. Там тоже керосин.

Он замолчал и снова лег.

Я подошел к бочке. Открутил пробку, понюхал. Керосин. Крана нет, но есть шланг. Справимся. Подтащил «горб», залил баки. Солдатик, приподнявшись на локте, смотрел на меня. Я забросил «горб» за спину, пристегнул. Подсоединил релихт к кабелю. Солдатик с трудом встал и, пошатываясь, подошел.

— Так, говоришь, «труба»? И какие же суки?..

— Сейчас полечу, добью их. Ты отойди в сторонку.

— Голова кружится, а то бы я с тобой...

Я надел шлем и перестал его слышать. Было без трех минут два. Десант где-то рядом...

Я сделал широкую петлю над Москвой, стараясь не пропустить больших площадей и прочих открытых мест, и сжег еще три «трубы»; у Савеловского вокзала, в парке Сокольники и последнюю, уже на обратном пути к Пушкинской набережной — в районе зоопарка.

Суки, подумал я, хоть бы слонов пожалели... выходя из атаки и набирая высоту, я краем глаза увидел волнообразно соскользнувшую над крышами угловатую тень. Это был «Ла-317», разведчик-невидимка, предвестник вторжения. В стороне аэропорта и где-то справа, далеко, вспухли оранжевые пузыри разрывов: «лавочкины» расстре-

ливали радары. Значит, транспортники уже на подходе. Я поднялся выше и увидел их.

Наверное, если бы не наушники и не дикий вой моей турбины, их можно было бы услышать. Даже один «Добрыня» возвещает о своем появлении чуть ли не за полчаса. На Москву их шло не меньше сотни. Весь восток — полнеба — светился красными и зелеными огнями, мигал лиловыми вспышками маяков. Непонятно, как воздух мог удерживать столько металла...

Зарядив на всякий случай релихт, я спустился на плоскую крышу «Гамбурга», шестидесятиэтажной гостиницы, самого высокого здания в этой части Москвы. Почему-то хотелось увидеть все своими глазами. Ноги гудели и подгибались, как после сотни приседаний со штангой. Я снял «горб» и, встав на колени, навалился грудью на низкий парапет. Подо мной искрилась Пресня, левее горбатились ангары «Московского Юнкерса», а дальше расстилалось темное пространство аэропорта. Правее и еще дальше, пожалуй, что в районе Аграрного университета, разгорался очень большой пожар. Были данные, что партийное руководство где-то там и собиралось. Ну, что же...

Низкий рев тяжелых турбин вошел в меня через колени и кончики пальцев, и только потом я его услышал. Самолеты были уже, наверное, над восточными пригородами. В небе проплыли медленные метеоры, оставляя за собой бледные облачка: ракеты «Лена» сыпали осветительное конфетти. Пройдет несколько секунд... По облачкам пробежали искры, и вспыхнул синеватый сварочный свет. На небе начерталась раскаленная решетка. Я приподнял ноктоскоп: режуще-сиреневый свет заливал все, было светлее, чем у воды в солнечный полдень, но от отсутствия теней, от двухмерности, беспространственности мира затошнило, и я поторопился отгородиться щитком ноктоскопа от призрачного города. Да уж, рисуемая ноктоскопом штриховая, без полутонов, картина мира была куда реальнее, чем сама реальность в этом новом свете...

Солдаты внизу, «поймавшие зайчиков», еще минут десять будут дезориентированы. Егерям этого хватит.

Первая волна самолетов вышла в зенит. Клянусь, даже я, дослужившийся до второго офицерского чина, прошедший от и почти до Тувинскую экспедицию, совершивший более тысячи десантирований, учебных и боевых, присутствовавший по долгу дальнейшей службы на многих маневрах и прочих подобных мероприятиях — даже я никогда не видел, как десантируется целая егерская армия. На фоне блестящего, как фольга, неба проплывали размытые светом силуэты «добрынь», и из распахнутых люков сыпались вниз черные, как маковые зерна, фигурки, быстро вырастая в размерах; иногда, при каком-то особом падении света, над их головами вспыхивал бледный круг — как очень большой нимб. Лишь над самой землей

срабатывали двигатели, рисуя бенгальское колесо, и лопасти ротора подхватывали солдата и плавно опускали его на землю. Над головами уже опустившихся метались «горбатые» прапорщики, готовые прикрыть в случае внезапного огня. Через прицел релихта, дав полное увеличение, я видел, как егеря бежали по летному полю, а мимо меня — рукой подать — уже заходили на полосу «Добрыни» второй волны. Они не садились, они только проходили над полосой и взмывали, облегченные, круто вверх, а за ними на поле оставались, раскатываясь, как мячики, «Барсы» на воздушной подушке, мчались куда-то, поводя тонкими стволами своих универсалок. Далеко, где-то в районе Кунцева, взорвалось что-то большое. Потом там же — еще и еще раз. Поднялось пламя. Похоже, горел бензин. «Добрыни» уходили, но воздух не пустел окончательно: на малой скорости и небольшой высоте кругами ходили разлапистые двухфюзеляжные «Сапсаны» — машины смешные с виду, но страшные в деле. Позади меня — крыша мешала видеть, откуда — донеслись пушечные очереди, и в небо потянулись трассирующие струи. В ответ грянуло несколько ракетных залпов — стрельба оборвалась. По-моему, это была единственная попытка отпора.

Выброска десанта длилась одиннадцать минут. Не было потеряно ни одного самолета.

Через прицел я бегло осмотрел ближайшие улицы. Тройками и пятерками сновали егеря. На бульваре перед «Гамбургом» уже строили в шеренгу обезоруженных солдат Рейха. Никто не сопротивлялся. Небо понемногу меркло. «Сапсаны» изредка добавляли одну-две «Лены», но это было уже не то... Вторжение состоялось.

С чем вас и поздравляем, господа...

Я нацепил «горб», встал. Керосина оставалось на семь минут полета. Запустил турбину и шагнул с крыши. Перелетел реку — подумал еще: может быть, над водой? — нет, решил срезать угол. На бреющем, почти касаясь крыш, полетел над старыми кварталами. Надеюсь, Феликс не такой идиот, чтобы ждать меня...

Удар был медленный, с оттяжкой: ниже колен ноги обожгло огнем, все опрокинулось и рванулось навстречу, наверное, я зацепился за какой-то провод или за антенну — грудью ударился обо что-то еще, невидимое, и удар этот был так силен, что лопнул узел крепления, «горб» покинул меня, и я повалился вниз, без опоры, но и без страха, с холодным неодолимым любопытством, это уже было, недавно, только что — и тут мне показалось, что растрескался экран ноктоскопа, но нет, это оказались переплетенные ветви дерева, в них-то я и вломился с треском не знаю чего, не было ни малейшей боли, не было вообще ощущения тела, падала чужая ненужная кукла, падала, падала — запах горящей кошмы! — удар спиной, затылком, меня впечатало в матушку-землю, как холодный штемпель в расплавленный сургуч...

Похоже, что я даже не потерял сознания. Просто лежал, и лежать мне было хорошо, и где-то над всем этим парила мысль, что вот все кончено и ничего больше не надо делать, и не потому, что все сделано, а потому, что с человека, который не в состоянии шевельнуть пальцем, совсем другой спрос... сломан позвоночник, боже мой, какое облегчение... ни тени страха, боли или сожаления... ничего... Так я лежал, время куда-то шло, не останавливаясь, а потом кровь застучала, задергалась, забилась и запульсировала во всем теле боль, и я понял, что цел, и что самое большее, на что могу рассчитывать — на переломы конечностей, и я встал на ноги, просто чтобы проверить, есть они или нет — переломы — и, конечно, никаких переломов не оказалось, и надежды умерли, не успев родиться...

Я стоял на цветочной клумбе, овальной, размером примерно три на четыре шага. В клумбе после меня осталась глубокая воронка. Валялись сучья и ветки. Одинокий тополь, в который мне повезло попасть, торчал посреди страшно захламленного двора: бревна, старые доски, битый кирпич. Позади меня чернел скелет полуразобранного старого дома, другой дом, еще целый, но уже, наверное, нежилой, стоял впереди. Справа и слева двор замыкали каменные брандмауэры. На секунду меня охватила глупая паника: мне показалось, что отсюда нет выхода. Потом я увидел промежуток между домом и правым брандмауэром. Наверное, там ворота. Я снял шлем, было светло, но то ли дымно, то ли туманно. Пахло керосином. Я двинулся к выходу. Я даже не чувствовал, что иду: все забивала боль. Боль и подавление боли. На этом меня сейчас замкнуло. Иначе нельзя, иначе не сделать и шага. Навстречу и мимо, обогнув мои ноги, проплыл «горб» — вернее, то, что от него осталось. Генератор, почти отделившийся от корпуса и державшийся на каких-то металлических нитях, казался головой на свернутой шее. Я вплыл в проход между стеной дома и брандмауэром и увидел женщину. Женщина, одетая странно: в светлый, расшитый блестками халат и овчинную безрукавку — сидела на корточках, привалившись спиной к стене, и пела: *а-а, а-а, а-а, спи-усни...* это могло бы сойти за колыбельную, если бы не звучало так громко и отчаянно. В руках, обняв, она держала релихт. Очевидно, мой. Горел зеленый индикатор полной зарядки. Крепкие вещи делают в Сибири, крепкие, надежные... очень опасные... Женщина не видела меня. Я встал так, чтобы ни при каких обстоятельствах не угодить под луч, и стал потихоньку отбирать у нее оружие. Она долго не замечала этого и продолжала тянуть свое: *я котище-коту за работу заплачу...* Я отошел на несколько шагов, когда она обнаружила, что руки ее пусты. Она замолчала и несколько секунд сидела молча, потом посмотрела на меня, мимо меня, на небо, на свои руки. «Женя, Женечка мой!» — крик ударил меня в лицо, я повернулся и поковылял к воротам, боль опять раздирала все

тело, еле продрался между скрежущими створками, я уже думал, что скрылся от этого крика, но он догнал меня: «Женечка мой, Женечка, сыночек!» — я уже бежал какими-то переулками, проходными дворами, спасаясь, но бесполезно: «Же-е-еня-а-а-а!!!» Наконец, крик отстал, затерялся, угас. Я стоял на каком-то перекрестке, под алюминиевым небом, среди безликих и слепых домов, у которых нельзя было сосчитать этажи, в городе, в котором я никогда не был.

Деловитые егеря в комбинезонах цвета ночи и с автоматами наизготовку носились по этому городу, как крысы по лабиринту, у них было задание и была цель, а я стоял на проклятом перекрестке, не имея ни цели, ни средств для ее достижения. А главное — плотная пелена перед глазами, перед внутренними глазами...

Постой. Средств для достижения — чего?

Цели.

Цели? Осталась еще какая-то цель?

Может быть, именно цель-то и осталась...

Впереди, кварталом дальше, пылала, выбрасывая зеленоватые языки пламени, «иерихонская труба», а ближе ко мне, наполовину въехав кормой в витрину, стоял танк. Ствол его пушки направлен был точно в костер, и я подумал, что хоть в одном экипаже нашлись настоящие мужики. Все люки танка были открыты, из водительского доносились бессильные рыдания. Вылазь, сказал я, вылазь, говорю! Дяденька, не тронь! — голос был совершенно мальчишеский. Не трону, не трону... Вылез совершеннейший пацанчик, мне до подмышки, чумазый и зареванный. Что теперь делать, что теперь делать? Иди поспи, сказал я. Продолжая всхлипывать, он прошел через разбитую витрину в темное помещение — кажется, это был магазин одежды — и затих там.

В боевом отделении воняло жженым порохом и в боекомплекте не хватало двенадцати фугасных снарядов. Это действительно стреляли они. Молодцы, парни, горжусь...

Ну, так что дальше?

А дальше вот что...

Вот что... вот что... вот что...

Эхо.

Я запер изнутри люки, выволок из кормовой ниши тяжелый брезент, бросил его на дно. Взломал ящик с НЗ. Консервы меня не интересовали. Засургученная фляга лежала на самом дне. Отвернул, кроша сургуч, пробку, сделал три добрых глотка. Перехватило дыхание. Это был не шнапс, а чистый спирт. Содрал крышку с баночки какого-то сока, не чувствуя вкуса, выпил. Лег на брезент — на спину, раскинув руки и ноги. Болело все жутко. Приказал себе: пятнадцать минут. Над лицом, у верхнего люка, горела лампочка: толстый, голубоватого стекла, баллон, окруженный мелкой сеточкой. Снаряд попадает в танк, лампочка лопается, но все стекло

остается в сетке. Страшно важно, особенно если снаряд бронебойный. Лампочка медленно меркла. Вот остался только багровый волосок. Наконец, исчез и он.

17.06.1991. 5 часов. 45 минут. Москва. Финал.

■

Я крался по лестнице, стараясь не производить никакого шума. Подошвы егерских ботинок мягкие, но сами ботинки тяжелые и имеют стальной выступающий рантик. Внизу я уже цокнул рантиком по ступеньке, и мне не хотелось бы повторять это под самой дверью. Хотя, возможно, за дверью никого и нет... Все равно — обидно было бы из-за такого пустяка, как неподнимающиеся ноги, завалить эту последнюю операцию. Все. Дошел. Снял шлем, прислушался. Ничего не слышно, но слух притуплен — сначала турбиной, потом танковым дизелем. Нужно несколько дней тишины, чтобы восстановить его... чтобы потом снова портить стрельбой и тому подобным.

Минута на отдых. Сосредоточься. Понадобится вся твоя реакция.

Время пошло, а в памяти, ошалевшей совершенно после снятия блоков, прокрутилась еще одна картинка из тех, которые силился вспомнить, но не мог. Мне восемнадцать лет, полевая школа егерей. Приехал Кренкель, недавно ушедший на пенсию министр связи и информации. Егеря, помимо всего прочего, охраняют наиболее важные объекты этого министерства. Кренкель оказался замечательным рассказчиком, официальная встреча затянулась до вечера и незаметно перешла в какой-то скаутский костер. Мне запомнилась история о том, как на станции «Северный полюс» Папанин проводил партийные собрания. Их там было четверо, и Кренкель — единственный беспартийный. И на время собрания Папании выгонял его из палатки на мороз. Кренкель бегал вокруг станции, пытаясь согреться, и вынашивал планы мести. И выносил. Папанину, как начальнику, положен был наган, и этот наган он регулярно и очень демонстративно чистил. Улучив момент, Кренкель во время одной из таких чисток подкинул к лежащим на тряпочке частям еще одну маленькую железку. Несколько часов подряд Папанин, матерясь, пытался эту железку пристроить на место... Помню, я удивился тогда. Сам бы я после двух-трех попыток избавиться от «лишней детали» просто проверил бы механизм на работоспособность. Другое дело, если бы каждый раз после сборки лишней оставалась бы другая деталь... но обязательно оставалась... а сам наган действовал бы, но по-разному: один раз, скажем, стрелял бы пулями, другой — нафталиновыми шариками, третий — начинал бы выдувать розовые пузыри. Вот тогда, пожалуй, и я бы взбесился...

И вот сейчас я позволю своему бешенству вырваться наружу...

Я поставил релихт на режим резанья и раскроил дверь вдоль от пола до притолоки.

Шаг вперед — как во сне, как в патоке, безумно медленно и плавно, плыву, отпихивая с пути половинки дверей: правым коленом и левым локтем,— проплывают назад огненные линии, металл — дверь усилена стальным листом — еще не остыл... я в темной прихожей, еще толчок ногой, и я по пологой дуге, разворачиваясь ногами вперед, влетаю в гостиную и приземляюсь на ковер в классической позе для стрельбы, релихт перед собой на уровне глаз, только левая рука выброшена вперед и вверх — и замираю в этой позе... дурацкой, как сразу становится понятно... и каким-то вторым планом неясное чувство досады или даже чего похуже, потому что слишком уж часто я в своих мечтах видел себя именно так: с оружием, готовым к стрельбе, а на мушке — тот, кто во всем виноват... слишком часто, и когда это произошло — вот сейчас, сию секунду,— я оказался не то чтобы не готов... а как бы это сказать? В общем, выстрел был бы уже лишним. Выстрелы, кровь и трупы были уже ни к чему...

Тарантул сказал что-то, прокашлялся и повторил:

— Игорь?

Он не играл изумления. Он действительно был изумлен. Поражен до глубины души.

Если понятие «душа» хоть как-то применимо к Тарантулу.

— Оружие на пол,— сказал я.— И без штучек. Ты меня знаешь.

«Тыкать» Тарантулу мне еще не приходилось. Оказалось — не лишено приятности.

Он медленно отстегнул портупею с кобурой и бросил ее мне под ноги.

— Из кармана. Левого бокового.

Он достал маленький «вальтер» и точным броском положил его рядом с кобурой.

— Садись. В это кресло. Руки на подлокотники, ноги на стол.

Он сел, как было велено. На лицо его откуда-то сбоку выползла глуповатая улыбка. Он гнал ее, но она опять выползала.

— Игорь... ничего себе — Игорь...— он хихикнул.

— Ты, конечно, думал, что я, как остальные...— я провел пальцем по горлу.

— Дурачок,— сказал он и опять засмеялся — уже громко, в голос.— Нет, ну как ты влетел сюда... ангел возмездия!..

— Было намерение,— сказал я.— Впрочем, оно и осталось.

— Поздно,— становясь серьезным, сказал Тарантул.— Они уже ушли. Я тоже опоздал.

— Они — это кто?

— Ну кто... к кому ты сюда ворвался? Я не знаю, как они себя называют.

— Неважно. Дальше.

— Послушай, Игорь. Мы не на допросе... и вообще я пока что твой начальник. Так что будь, сынок, повежливее.

— Мы оба покойники. Это наши единственные звания и должности. А в предыдущей жизни, мне кажется, ты слегка провинился передо мной. Это о вежливости.

— Интересная мысль... Ты хочешь сказать, что это я подставил твою группу?

— И это тоже.

— Нет, сынок. Я просто не смог вывести тебя из-под удара, потому что вынужден был скрываться сам. И не смог уничтожить все документы, которые следовало бы уничтожить...

— Мою медицинскую карту, скажем?

— Медицинскую карту?

— Именно.

— У меня ее не было.

— А где же она была? И как фотография с нее попала к «муромцам»?

— О, если тебя стали занимать такие детали...

— Ничего себе — детали!

— Детали, сынок, не обольщайся... Значит, ты просто не понимаешь, что происходит.

— Допустим, не понимаю. Действительно не понимаю. Или понимаю...

— Понимаешь часть происходящего. Меньшую, большую — не важно. И части эти не совпадают. Не совмещаются.

— Да... что-то вроде этого.

— Я столкнулся с этим — вот так, в лоб, вплотную шестнадцать лет назад. Будешь слушать?

Не знаю почему, но я кивнул. И Тарантул стал рассказывать.

К тому времени, к зиме семьдесят четвертого — семьдесят пятого, уже несколько лет прекрасно работал Центр стратегических исследований, и Тарантул, естественно, имел туда полный доступ. Ребята из Центра насобачились делать региональные прогнозы на два — три месяца, а глобальные — на полгода и больше. Шло к тому, что в делах государственных наступала какая-то совершенно новая эпоха, эпоха если не полной зрячести, то, по крайней мере, полузрячести. Политикам теперь открывалась возможность весьма точно знать последствия любого серьезного шага — не совершая при этом самого шага. Такие ненадежные материи, как чутье, интуиция, уходили на третий план, уступая место умению четко формулировать вопросы. Но вот той памятной зимой произошел большой конфуз: разразились два кризиса, Месопотамский и Сахалинский. Месопотамский был предсказан за три месяца в деталях; Сахалинский не был предсказан вовсе. Он произошел как бы на пустом месте, хотя вся информация с мест была доступна, обработка ее велась на общих

условиях, а тщательнейшее разбирательство признаков саботажа не выявило. Кризис между тем разросся до масштабов военного столкновения, была проведена ставшая сразу классической Курильская десантная операция, произошло два крупных морских сражения, в Манчжурии развернулись три танковые армии — и Япония сдалась, отказавшись от притязаний на все сделанные ею в ходе русско-японской войны территориальные приобретения... Понятно, что ребята бросились смывать свой позор. Они разобрали весь ход кризиса буквально по минутам, и оказалось, что информация о каждом вновь возникающем действующем факторе появлялась у рецепторов за несколько часов, максимум за сутки до того момента, как фактор вступал в действие. Такое могло быть, скажем, при проведении тщательно спланированной операции в условиях строжайшей секретности. Здесь этого не было: операции планировались на ходу и приблизительно, ставка делалась на командиров среднего звена; никаких специальных мероприятий по усилению режима секретного не было. Для армии все происходящее было не меньшей неожиданностью, чем для ЦСИ...

Я слушал и начинал злиться: все это я более-менее знал. Знал и то, что и в дальнейшем в прогнозах ЦСИ появлялись небъяснимые просчеты. И была создана теория, которая утверждала примерно следующее: можно делать очень точные прогнозы и можно руководствоваться ими в деятельности. Но тогда в природе начнут возникать явления, прогнозами не предусмотренные. И чем точнее и тотальнее наши прогнозы, тем чаще и неожиданнее будут эти явления. Теория называлась «теорией сохранения вероятности» и имела солидный математический аппарат, в котором я, разумеется, ни бельмеса не смыслил И если Тарантул желает прочесть мне лекцию на эту тему...

Нет, этого он не пожелал. В свое время он потолковал с создателями этой теории, сказал им все, что он о них думает, и пошел искать несогласных. Втроем они принялись анализировать — буквально под микроскопом — все несовпадения прогнозов с действительностью. Потом стали брать шире, обращая внимание на несовпадение текущей информации с действительностью. Наконец, взялись за информацию о событиях прошедших. Выводы их были дики и не сразу понятны...

Будто бы реальная структура нашего мира очень далека от наших представлений о ней. Принято считать — причем вопреки очевидности,— что будущее вероятностно, настоящее однозначно, а прошлое неизменно и представляет собой лишь мертвый слепок с настоящего. На самом же деле вероятностно все: и будущее, и настоящее, и прошлое — просто разные события в разной мере. Для примера возьмем простейшее: бросок монеты (я тут же вспомнил свою серебряную марку). Бросая ее, мы знаем, что она примерно с равной вероятностью упадет вверх той или другой стороной. И статистически это так, но мы никогда не сможем предсказать этого в

каждом конкретном случае. Можем только угадать. Вот она упала. Мы видим, что выпало. Запоминаем. Событие остается в прошлом. И у нас могут появиться сомнения: а правильно ли мы запомнили? И если эти сомнения появились, если была причина для того, чтобы они появились, то это значит, что монета наша выпадала и той, и другой стороной. Я напрягся, пытаясь себе представить. На секунду показалось, что понял — потом все смешалось. Тарантул усмехнулся. А каково мне пришлось?.. Ладно, пример посложнее. Екатеринбургский расстрел. Император Николай Кроткий с супругой, детьми и челядью. Сорок седьмой год, следственная комиссия. Год работы, все перерыто, опрошены сотни три свидетелей... Итог: то ли все расстреляны сразу, то ли часть увезена куда-то. То ли увезены все, а расстреляна для отвода глаз другая семья. Тела: брошены ли в шахту, растворены ли кислотой, сожжены?.. Вскрыто четыре захоронения, каждое, согласно одной из версий, может оказаться настоящим — тогда чьи остальные? Наконец, будто бы по свежим следам могила вскрыта в присутствии Колчака Александра Васильевича, останки уложены в гробы и вывезены — куда? Есть сведения, что в Шанхай. И так далее. Что это значит? А значит это, что стабильность мира в том месте и в то время была очень низкой, что полоса нестабильности оттуда продолжалась и в сорок седьмой год, и в наши дни и что в то время произошло всё, о чем рассказали свидетели: и расстреляли всех сразу и бросили в яму, залив кислотой, и расстреляли царя и наследника, а царицу с дочерьми вывезли куда-то и убили после; останки лежат в тех могилах — и ни в какой конкретно, и как бы в каждой, и в то же время выкопаны, уложены в гробы и увезены куда-то для честного захоронения ... Когда-нибудь останется одна версия, незыблемая, перекрестно подтвержденная — что будет означать, что вот эта конкретно мировая линия стабилизировалась... и вот тут возникает вопрос о причинах и следствиях. Казалось бы, все однозначно: кризис приводит к дроблению реальностей. Но если представить себе, что наоборот... или что существует хоть какая-то обратная связь...

— Ты спишь? — прервав рассказ, спросил Тарантул.

— Нет,— сказал я.— Я просто пытаюсь понять.

— Давай-ка, сынок, для разнообразия — расскажи, что было с тобой. Кстати, могу я сесть нормально?

— Да, конечно...

Тарантул сел нормально: спустил одну ногу на пол и подпер щеку ладонью. Я помолчал немного, собираясь с мыслями, и начал рассказывать — «ничего не скрывая и ничего не добавляя от себя».

Тарантул не перебил меня ни разу.

Потом мы оба долго молчали.

— Ладно,— сказал, наконец, он.— Дорасскажу, а уж потом...

В общем, эти его ребята, объясняя несовпадения прогнозов с реальным ходом событий, создали ни больше, и меньше, как новую модель мироздания. В этой модели главной структурной единицей мира был не атом и не пси-функция, а некая одномерная нить причинно-следственных связей, в которую и атом, и вулкан, и человек входили на равных правах «капель дождя для ворот радуги». Нить тянулась из практически бесконечного прошлого в практически бесконечное будущее. Таких нитей существовало бесконечное множество, они перекрещивались и переплетались, но никогда не исчезали и никогда не возникали из ничего. Как во вполне материальных натянутых нитях: струнах, проводах и тому подобном,— в них возникали колебания, распространяющиеся в обе стороны: и в прошлое, и в будущее. Колебания переходили на соприкасающиеся нити, постепенно гасли или, напротив, усиливались. Иногда возникал резонанс, охватывающий большое количество нитей, и человек, живущий в этой зоне резонанса, воспринимал происходящее как кризис. Именно на этом интуитивно — создали в свое время систему прогнозирования кризисов: улавливались колебания, идущие из прошлого в зону резонанса, а именно: раухер оценивал не столько содержание информационных пакетов, сколько расхождений, диастаз информации, полученной с разных рецепторов...

— Ты все понимаешь? — оборвав лекцию, спросил Тарантул.

— Пока да,— мрачно сказал я. Зрело ощущение, что Тарантул то ли заговаривает мне зубы, то ли тянет время.

— Просто я все равно не решаюсь перейти к главному,— усмехнулся он.— Мне, видишь ли, понадобилось в свое время... в общем, много чего понадобилось... Можно, я возьму портфель?

Так, подумал я, началось. Он уверен, что укачал меня. Ну... И вдруг я понял, что мне все равно, что у него там, в портфеле: граната, пистолет? Я не сдался — мне вдруг стало безумно скучно. Безумно скучно продолжать играть в эту игру, пусть даже ставка и высока. Я бросил карты... в смысле: я выключил релихт, закрыл диафрагму и пустил его по полу к пистолетам Тарантула.

— Бери,— сказал я.

Он внимательно посмотрел на меня, потом понимающе кивнул и чуть улыбнулся. Вообще улыбающийся Тарантул — зрелище не для слабонервных, но сейчас у него получилось что-то людское.

Я подсознательно ожидал, что появится знаменитый кожаный рыжий портфель, доставшийся Тарантулу еще от отца; я застал время, когда на крышке портфеля была латунная планка с надписью «XX лет РККА» Но нет — из-под стола выскочил плоский канцелярский портфельчик, сплющенный так, наверное, от тысячелетнего лежания на складах. Тарантул щелкнул замочком и достал черный бумажный пакет.

— На вот, посмотри.

Так... Электрокопии каких-то газетных вырезок, фотографии. Я разложил их на столе и стал рассматривать. Все фотографии были групповыми, официальными, какие-то делегации, депутации, черт знает... На каждой несколько лиц были обведены рамочкой... Ага, вот они, с увеличением и раухер-ретушью... И белые стрелочки — к одному из лиц.

Таня Розе.

Я поднял глаза на Тарантула.

— Посмотри на обороте,— сказал он.

Я посмотрел и ничего не понял.

Париж, 1912. Париж, 1928. Берлин, 1931. Берлин, 1939. Берлин, 1942. Лондон, 1949. Токио, 1950. Токио, 1959. Владивосток, 1967. Владивосток, 1973. Токио, 1974. Санкт-Петербург, 1981. Томск, 1982.

— Это то, что я нашел сам,— сказал Тарантул.— А вот это они мне, думаю, подкинули. Чтобы натолкнуть на мысль...

Он подал мне еще одну фотографию. Цветную. Очень четкую. На первом плане стояли, обнявшись, девять человек в одинаковых коротких кожаных куртках: я, Командор, Панин, Дима Крупицын, Сережа Кучеренко, Гера, Яков, Саша и кто-то незнакомый. Рядом, но как-то отдельно, стоял, засунув руки в карманы светлого плаща, Тарантул. И Таня. Над головами нашими нависало серебристое самолетное крыло, а на заднем плане виднелось красивое белое здание с множеством лестниц, балконов, галерей, башенок... На горизонте вырисовывались странные сопки: с голыми обрывистыми склонами и плоскими лесистыми вершинами. Я никогда не был в этом месте.

— И похоже, что мы здесь постарше,— сказал Тарантул. Присмотрись-ка.

— Да, пожалуй...

— Ты понял это, сынок?

Я пожал плечами:

— Я очень устал.

— Давай хряпнем кофе,— предложил Тарантул.— У хозяек должно что-то остаться.

— Не возражаю...

Он пошаркал на кухню, а я расслабленно осмотрелся. Знакомая гостиная, огромная и неприятно-пустая. Приоткрытые двери спален: черная и белая. Красные раздернутые шторы, серое небо за ними. Темпера.

Дотянуть бы до полудня, вдруг подумал я. А что будет в полдень? Не знаю... Опять блок? Я прислушался к себе. Нет, не блок. Просто понимание, что до полудня сил еще кое-как хватит, а дальше — все. Край. И надо найти себе надежную нору...

А блоков, наверное, больше нет. То есть наверняка нет. Электрошок — это такая сила... как я допер до этой идеи? Ведь тоже

должна была быть блокировка? Скорее всего, падение повлияло. Хорошая встряска...

Когда, сидя в танке, я понял, что не смогу ни до чего додуматься, потому что о некоторых вещах мне по-прежнему думать запрещено, я по какому-то наитию соорудил приспособление для электрошока, подсоединил провода к батарее релихта и дал на собственный бедный мозг три пятисотвольтных импульса. Полчаса я был без сознания, кожа на висках обгорела страшно, зато в голове все стало на места. И я понял, куда надо нанести первый визит. Но вот опоздал...

А может, и хорошо, что опоздал. Что бы я с ними делал?

И вообще — если все, что говорит Тарантул, правда... То что тогда нам делать?

Понятно, что делать с террористами. С агентами иностранных разведок. Но с агентами... будущего?..

Несчастная моя голова.

Противодействовать им? Содействовать? Тупо истреблять?

Вернулся Тарантул, поставил чашки. Сходил за кофейником. Потом, отдельно, за сахаром. Четвертой ходкой принес бутылку с остатками коньяка на дне.

— Для запаха,— пояснил он.— Капель по пятнадцать.

Кофе был что надо — ложка стояла. У коньяка был странный запах зеленых лесных орехов.

— А как эта штука к тебе попала?— я кивнул на нашу фотографию на фоне самолета.

— А помнишь, как меня пытались захватить? После этого я ее и нашел.

— Хочешь сказать, что все то было затеяно для того, чтобы?..

— Почему нет?

— Черт его знает... как-то не в одном масштабе...

— Дорассказать тебе, что напридумывали мои хлопцы?

— Дорасскажи.

...если иметь возможность передвигаться вдоль мировых линий в обе стороны, причем вне хода времени, то определенную — хотя далеко не абсолютную, как казалось бы — власть над миром можно получить. Правило причинности исключает вмешательство непосредственно в те или иные события — и хлопцы тут же проиллюсстрировали это таким примером: вы пытаетесь убить своего дедушку, но безуспешно: вас поражает молния, сбивает извозчик, режет пьяный хулиган,— но зато можно возбудить или погасить колебания выбранных вами линий. Гасить, видимо, легче; возможно, и точность при этом достигается более высокая. Так, например, в бильярде: разбивая пирамиду, самый лучший игрок не может быть уверен в исходе партии. Однако в середине игры даже очень посредственный игрок, украв незаметно со стола нужный шар, может предопределить выиг-

рыш. В случае с царской семьей прекратить колебания линии очень легко: достаточно подбросить исследователям неопровержимые доказательства одной из версий. Этого не происходит, скорее, наоборот: чем больше информации появляется, тем больше возрастает неопределенность, а, следовательно, выше амплитуда колебаний. Можно предположить, что где-то в будущем эта линия, пересекаясь с какой-то другой, гасит ее колебания, не позволяя развиться резонансу — кризису. Это, конечно, чистые спекуляции. Но в рамках этой же гипотезы можно объяснить, скажем, Сахалинский кризис. Где-то в прошлом, относительно недавнем, были транквилизированы некоторые проходящие через ту зону линии, несшие колебания, условно говоря, одного знака. Другие линии, лишенные стабилизирующего противодействия, стали колебаться в резонанс. Возник кризис, в который мы вкатились, как по рельсам, по стабильным линиям... Зачем? Зачем им все это? О, это вопрос! Это вопрос вопросов, который Тарантул и хотел задать, летя сюда вместе с десантом... Допустим, они там, в будущем, страшные эстеты и в то же время полные засранцы. Теребя прошлое, они строят для себя роскошный гармоничный мир. Но, скорее всего, они просто бьются за свое существование, гасят пожар, который вспыхивает у них под ногами... Ведь чем дальше в будущее, тем плотнее становится сеть, сотканная из мировых линий, да и сами линии, сами эти нити становятся тяжелее, что ли. Темп жизни нарастает, число причинно-следственных связей в каждом отрезке нити увеличивается. Наверное, там, в будущем, колебания гасятся с гораздо большим трудом, а резонансы возникают чаще — и бывают куда более разрушительными... Почему бы не предположить, что и мировая линия имеет некий предел прочности, и если ее потрясти как следует...

— Ладно,— сказал я.— Будем считать, что я кое-что понял. Хотя, может быть, понял не совсем правильно... Шеф, мне хотелось бы погасить некоторые колебания... м-м... в себе самом.

— Спрашивай.

— Могу я верить ответам?

— Можешь не верить. На сами ответы это не повлияет.

— Кто вывел на улицы «трубы»?

— Еще не знаю. Вообще про эту кашу я знаю слишком мало. Давай про другое.

— Хорошо. Гейковцы тралили эфир семизначным скользящим кодом. Это?..

— Это из того пакета дез, который они съели. Когда я понял, что Гейко играет в свои ворота, я стал скармливать ему все, что попадало под руку. Надо было сбить его с темпа, заставить нервничать, озираться...

— Код пять-пять-семь-пять-семь-шесть-четыре — что он включает?

— Ты и это знаешь?!

— *«Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны...»* — напел я.

— Молодец... Этот код отключает твою телеметрию.

— Отключает?

— Отключает.

— А включает ее что? А, знаю. *«Спит гаолян...»* Да?

— Правильно.

— Бомба во мне есть?

— Нет.

Я посмотрел Тарантулу в глаза. Он не удивился моему вопросу, не спросил «какая бомба?» Просто сказал «нет».

— Нет бомбы, сынок, не смотри так. Но вся эта жестяная требуха в тебе — в рамках той программы. Программа сорвалась... Не удалось создать надежной защиты. Рентгений излучает сильно, а слизистая кишечника очень чувствительна. Агент с постоянным кровавым поносом — это, знаешь ли, нонсенс.

— А взрыв в «игле»?

— Не наш.

— «Тама»?..

— «Тама» нашли еще позавчера. Ты же дал гепо наводку... С вертолета засекли излучение.

— Слава Богу...

— Ты тоже молодец. Вернемся, мой шею. На «Андрея Первозванного» я тебя представлю.

— Всех.

— Посмертно «Андрея» не дают.

— Тогда Кучеренко.

— Если жив — представлю.

— Слуга народа.

— Вольно, поручик... Еще ничего не кончилось...

Это точно, подумал я. Еще все длится и продолжается.

— И вот что, Игорь. Будешь работать на новом направлении?

Я не стал уточнять — на каком «новом». Это было ясно.

— А — нужно? Вообще? На этом направлении?

Тарантул долго молчал. Очень долго. Я ждал. Он тоже не знал ответа, но думал-то он об этом куда больше, чем я...

— Нужно... не нужно...— проворчал он, наконец.— Не то это. Не тот разговор. Они есть, они действуют — значит, мы должны знать о них все. По возможности все. А зная — решать, что делать. Но — зная. Не гадать, как сейчас... Может быть, мы будем помогать им. А может, истреблять, как псов. Это решится само — потом. А сейчас — знать. Они лезут в нашу жизнь, играют нами, как... как куклами...— Тарантул закашлялся.— Как оловянными солдатиками.

Это унизительно, наконец. Мы люди, и мы должны заставить их считаться с собой...

— Заставить...— усомнился я.— Шеф, а не кажется вам, что мы с вами в какой-то степени уже их агенты? Независимо от своего желания?

— Кажется,— тут же согласился он.— Ну и что? Пусть мы даже на триста процентов будем действовать в их интересах — но и в наших же тоже! Представь — им вдруг станет невмоготу от того, что творится тут, и они решат, скажем, отдать победу Сталину? Что получится?

— Шеф,— сказал я,— вы меня убедили. Но прежде чем дать ответ, я хотел бы принять душ и выспаться.

— Душ — пожалуйста. А выспаться — уже дома.

— Но — сегодня?

— Сегодня.

Я чуть не умер под душем. От наслаждения, боли и слабости. Но все-таки не умер.

Когда я вышел из душа, похожий на полурастаявшего снеговика, Тарантул сидел все в той же позе: одна нога на столе, щекой опирается... о, нет, переменил позу — не на ладонь, а на сжатый кулак. Он напомнил Атоса из богато иллюстрированного, но очень древнего, без обложки и многих страниц, «Виконта де Бражелона», который как-то приблудился ко мне и живет в моем старом доме — вместе с другими странными и никому не нужными вещами и книжками вроде черного репродуктора-тарелки, двух белых фарфоровых собачек, фарфоровой бутылки в форме рыбы, стоящей на хвосте, «Красного курса истории ВКП(б)» с карандашными пометками на полях, пачки перевязанных ленточкой писем с ятями и твердыми знаками, подшивки журнала «Знание-сила» за тридцать третий год без последнего номера... Домой, подумал я, домой. Без Гвоздева. К черту Гвоздево Домой.

И тут снова побежала по щеке — на подбородок — на пол струйка крови: потревожил, приподнял коросту. Я матюгнулся, а Тарантул, вспорхнув, закружился, засуетился вокруг меня, перевязывая, обмазывая с головы до ног йодом, давая какие-то советы и что-то объясняя. Наконец, он закончил малярные работы, дал мне надеть, кряхтя и поеживаясь — это я, конечно, кряхтел и поеживался,— комбинезон, потом почесал нос и спросил:

— Слушай, сынок, а нет ли тут места, где можно выпить?

Места выпить... В памяти моей пролистнулось несколько страниц, и я ответил:

— Есть такое место!

Небо было пепельного цвета, а солнце висело над крышами близким и четко вырезанным оранжевым диском. Тени густо-черные.

После ночной пиротехники, если не пройдут дожди или не подует ветер, такое непотребство может продержаться не один день.

Мы пересекли Гете — морпехи маячили на обычном месте, за оградой консульства,— и углубились в переулки. Так, пытался я сообразить, а теперь — налево... Ага, вот и скверик. В скверике биваком расположился егерский батальон. Были натянуты навесы на легких козлах, на газонах стояли каре из рюкзаков. Дымилась кухня. Десяток «Барсов», уже на колесах, со скатанными юбками и убранными винтами, выстроились в очередь к заправщику. Самих егерей было немного, вряд ли больше роты: слонялись лениво и без очевидного дела, лежали на траве или на раскатанных циновках, и только часовые истово несли службу. Интересно, что среди темных комбинезонов я заметил песчаного цвета гимнастерки солдат Русского территориального корпуса: надо полагать, активно шло братание. Не видно было только гражданских, и это как-то неприятно посасывало...

Пивная «Боруссия» занимала цокольный этаж и подвал «дурацкого дома» на Шаболовке. Традиционно «Боруссия» работала круглосуточно и без выходных, и я рассчитывал, что из-за такого пустяка, как десант, они традицию ломать не станут. Так и оказалось. Дверь была распахнута настежь, и егеря тянулись к ней, как муравьи по своей муравьиной дороге. Тарантул остановился и покрутил носом. Сначала я подумал, что он не хочет туда, где много других, но оказалось, что его смутил «дурацкий дом». Я объяснил, что, несмотря на производимое домом впечатление, он стоит уже почти тридцать лет и еще ни разу не падал. Тарантул кивнул головой и пошел, но чувствовалось, что это требует от него некоторых волевых усилий.

Мы шагнули за порог и погрузились в темный воздух, почти такой же густой, как «дуплышварцэнгельхенсбир». Вот куда бы Кропачека! Вот где увидел бы он апофеоз «панибратства наций»! Но Фил был далеко, и оставалось просто помянуть его хорошим глотком хорошего здешнего пива. .

Потные испуганные кельнеры не успевали наполнять кружки, и от стойки отваливали, прижимая к груди добычу, егеря, морпехи, рейхсгренадеры, территориальщики, чехи, финны, танкисты, зулусы, венгры, польские уланы и гусары, стоял ровный разноязыкий гул, и если кто-то что-то кричал, то кричал приподнято и радостно. Шел необъявленный праздник, самые первые и самые искренние его часы, когда враг вдруг перестает быть врагом, и маятник откачивается в противоположную сторону... солдаты были предупредительны друг с другом, а офицеры платили за всех. Нас, полковника авиации и егеря с окровавленной повязкой на голове, не то что пропустили — чуть не на руках донесли до стойки, а потом Тарантулу не позволили самому взять свои полдюжины, сержант-территориальщик донес за него и даже расчистил место на столе.

Если б не вы, сказал он мне, нас бы всех и закопать бы не смогли, тут неподалеку вашего одного нашли — еле соскребли с асфальта, упокой, Господи, душу его... Серега, подумал я. А может, кто-нибудь из гейковцев. Никто не вернулся: когда я заезжал на танке, дом был пуст. Феликс смылся куда-то, проклятый шпион... Мы не успели моргнуть, как выпили за солдатское братство. За тебя, Фил, подумал я. За вас, ребята.

Вместо потолка колыхался войлочно-серый дым, и можно было поднять руку и потрогать его. За спиной в три губных гармошки начали наигрывать сиртаки, я оглянулся, приподнялся на носки: расчищали место, сдвигая столы, и солдаты с кружками в руках выстраивались полукругом, а в кругу, положив друг другу руки на плечи, топтались пятеро низкорослых морячков в беретах с помпончиками, темп нарастал, потом в их круг попал зулус в белом мундире, потом высокий улан... Темп нарастал, все смешалось, и за головами не видно было, что происходит там, а там лихо отплясывали, и в помощь губным гармошкам били в ладоши или отбивали такт пивными кружками... темп нарастал, слышался смех, кто-то повалился, передо мной егерь встал коленями на стол, чтобы лучше видеть, и вдруг Тарантул толкнул меня под локоть: пойдем? У него что-то посверкивало в глазах. Да куда мне, сказал я. Жаль, сказал он, а я пойду... Он полез сквозь толпу к кругу, а я, прихватив пару кружек, пошел за ним, чтобы посмотреть на это вблизи. Темп был уже безумный, и Тарантул сходу ввинтился в хоровод... там было два хоровода, один внутри другого, и плясали все, надо сказать, каждый свое, но делали это весело и упоенно. Я с удовольствием смотрел на шефа, обнявшего слева чешского пехотинца, а справа — гренадера, музыка неслась, сапоги гремели, летели голоса — и вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Не прицельный, не недобрый — но внимательный. Я резко оглянулся.

Справа и чуть позади меня, недалеко, отделенный, может быть, четырьмя-пятью солдатами, стоял и смотрел на меня, приветливо улыбаясь, обер-лейтенант люфтваффе. Он встретил мой взгляд спокойно, чуть прищурился и легонько отсалютовал мне своей кружкой. Мне показалось, что я его где-то видел. Определенно видел... Где? Меня толкнули в бок, я машинально взглянул на толкнувшего, а когда перевел взгляд на летчика — того уже не было. Летчика... я произнес про себя это слово и вспомнил: фотография. Девятый в ряду. Единственный незнакомый.

Меня обдало жаром. Тарантул танцевал и самозабвенно созерцал свои мелькающие ноги. Пятясь и раздвигая народ плечом, я выбрался из толпы зрителей. Сунул на первый попавшийся столик опустевшую кружку и с одной, последней, в руках вышел на улицу. По глазам, как плетью, ударило светом. Жмурясь и пережидая, когда иссякнет, наконец, это нестерпимо-розовое сияние, я стоял неподвижно, и

кто-то проходил мимо меня, преувеличенно аккуратно огибая внезапную преграду. Потом я открыл глаза. Наверное, сказалась дикая, дичайшая усталость, и четыре кружки очень хорошего пива на давным-давно пустой желудок, и внезапный удар по нервам... Я очень отчетливо, даже как-то слишком отчетливо видел перед собой: сильно чадящий зеленый штабной автобус, и стайку мальчишек лет четырнадцати на противоположном тротуаре, и сапера, оседлавшего маленький велосипед и виляющего наискось через дорогу... и в то же время меня будто бы отбросило на несколько часов назад, на крышу «Гамбурга», и я с двухсотметровой высоты... не могу сказать, что я понял, но увидел, охватил одним взглядом все, что происходило и происходит, и будет, наверное, происходить со мной и вокруг меня. Я увидел, как я сам, мертвый, лежу в каком-то закутке в Измайловской игле, а ребята Гейко гонят в эфир комбинации цифр, и вот одна из них совпадает с той, которая приводит в действие взрыватель, и вмонтированная в меня бомбочка сносит пол-иглы — это было... и плыву на барже «муромцев» до конца, высаживаюсь на берег — и вот я уже в каком-то туннеле, опрокинутый пулеметной очередью, но гранатомет еще есть силы поднять, я поднимаю и бью под маску накатывающегося танка, белое пламя... и не лечу на прозрачном самолетике в Москву, а бреду куда-то в абвере гема, босиком, по теплой пыли — не в Тифлис ли?.. это все было в одно время и на одной земле, но как бы на разных улицах и так, что пересечься или встретиться с самим собой невозможно, я это видел — что невозможно, а почему так, меня мало волновало. И так же было впереди, разно и по-своему одинаково, и можно было выбирать — при условии, что ничего не меняешь...

Я оттолкнулся от косяка двери, сделал несколько убывающих шагов и сел на газон.

Ракурс сместился, и картина исчезла.

Интересно, подумал я, неужели нам ничего не будет?.. Столько всего натворили, и — ничего?

Обидно...

Если Тарантул прав и если то, о чем он говорит, не очередной его трюк и не маразм, то... то — что? Принимать предложение? Поверить ему на слово? Клюнуть на фотографии, которые подделать — три часа работы? Ч-черт...

Вот выйдет сейчас обер-лейтенант...

Но обер-лейтенант не выходил. Вообще долго никто не выходил, а потом появился Тарантул. Он, как и я, постоял в дверях, жмурясь, и медленно направился ко мне. Я сидел, не шевелясь, он опустился на корточки передо мной и спросил:

— Ну, что?

Морда у него была красная, потная. Дышал он часто и только что язык на плечо не вывешивал.

— Копейка найдется? — спросил я.

Не удивившись ничуть, он пошарил по карманам и вытащил гривенник. Я подбросил монетку, поймал, не разжимая руки, поднес к лицу.

— Орел — да,— сказал я.

— Понятно,— он усмехнулся. Я бы на его месте не стал усмехаться.

И вдруг что-то случилось. Я не смог раскрыть ладонь. Пальцы не разгибались. Ниже локтя рука была не моя. Я напрягся, и рука задрожала. Она дрожала все сильнее и сильнее, мерзко тряслась — это было унизительно и страшно. Наконец, сделав безумное усилие, я отшвырнул монету, не глядя. Дрожь унялась, и пальцы снова шевелились, как надо, и только студенистая, омерзительная слабость...

— Понятно,— повторил Тарантул.— Что же... считай себя в отпуске. Четыре месяца хватит?

Я покачал головой.

— Отставки,— голос был тоже не мой: слабый и просящий.— Отставки... Отставки...

— Отпуск кончится, и поговорим,— сказал Тарантул.— В Гвоздево я тебе, естественно, не предлагаю...

Он смотрел на меня, а я сквозь него, потому что на краткий миг вернулась, всплыла и вновь погрузилась куда-то та картина, что появлялась недавно — с видами непременного будущего. И я опять ничего не понял, но на этот раз успел сфотографировать ее взглядом и сейчас фиксировал в памяти, чтобы позже, наедине с ней, во всем разобраться. И что-то, наверное, Тарантул понял, потому что моргнул, и дьявольская уверенность в себе и в подчиненности ему прочего мира куда-то исчезла, оставив только след.

— В общем, думай до октября.

Я молчал и смотрел на него.

— Знаешь, сколько раз я уходил?

Меня это не интересовало.

— Тебе станет очень скучно...

Скучно? Бог ты мой! Да я бы отдал свою бессмертную душу за то, чтобы мне было скучно. Что может быть лучше скуки, осени, дождя за стеклом и долгого одиночества?

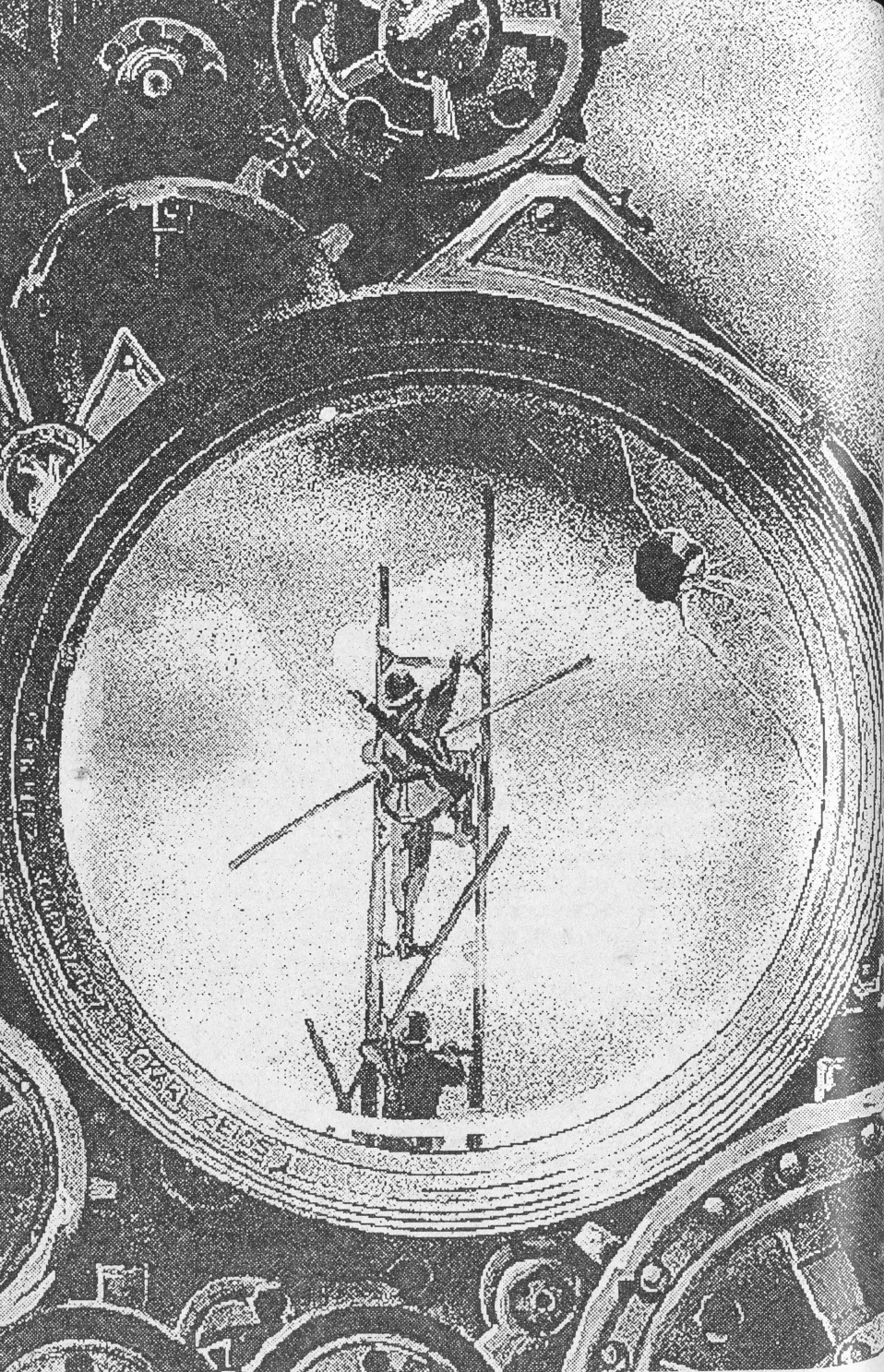
Я знал, что ничего этого у меня не будет никогда.

— Думаешь, почему я набирал вас таких — дурачков, мечтателей, молчунов? Потому что знал — рано или поздно мы с ними схлестнемся, и шансы у нас будут только тогда, когда здесь,— он постучал по лбу,— не сплошная кость...

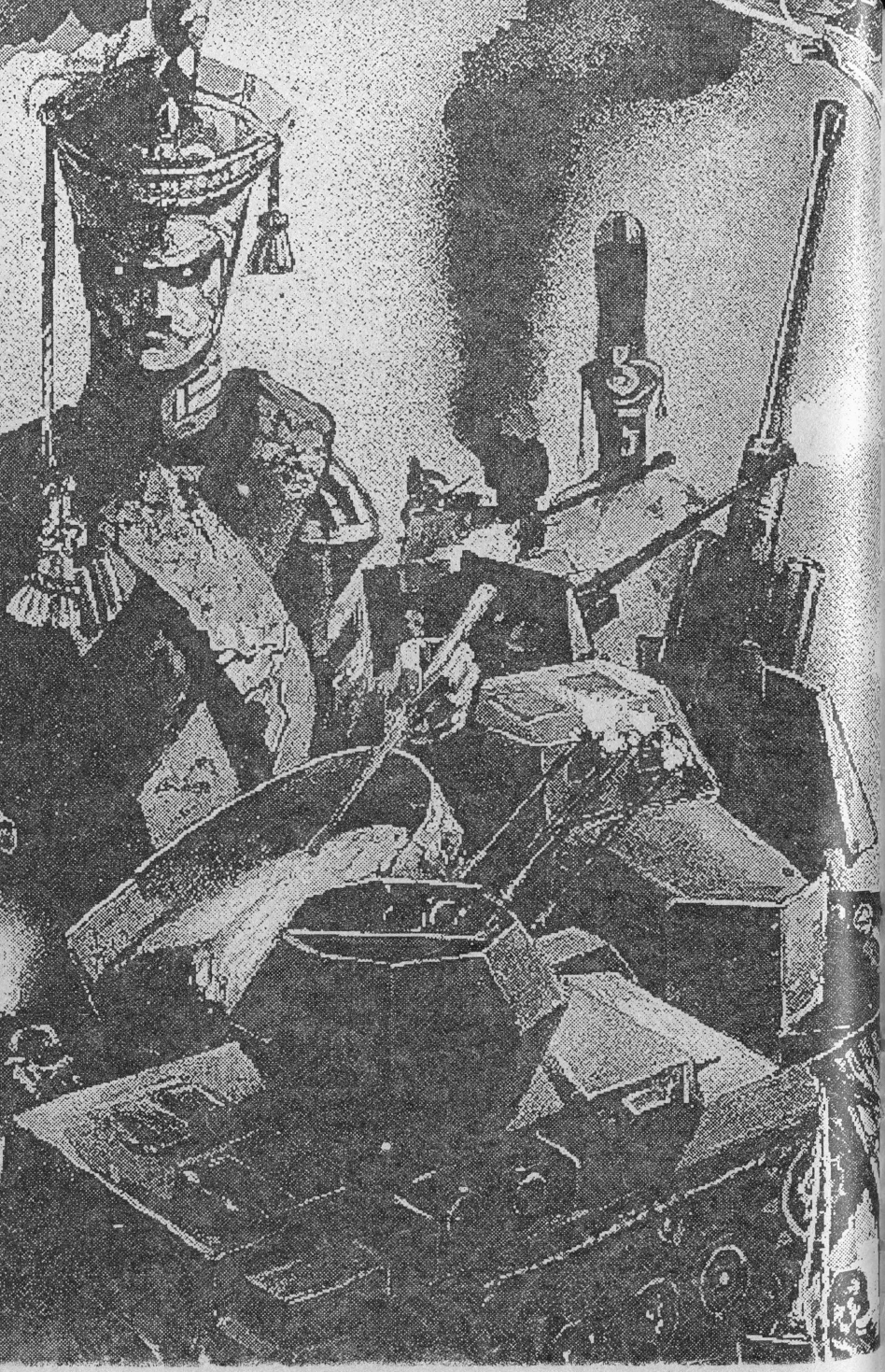
Все то же, то же, то же...

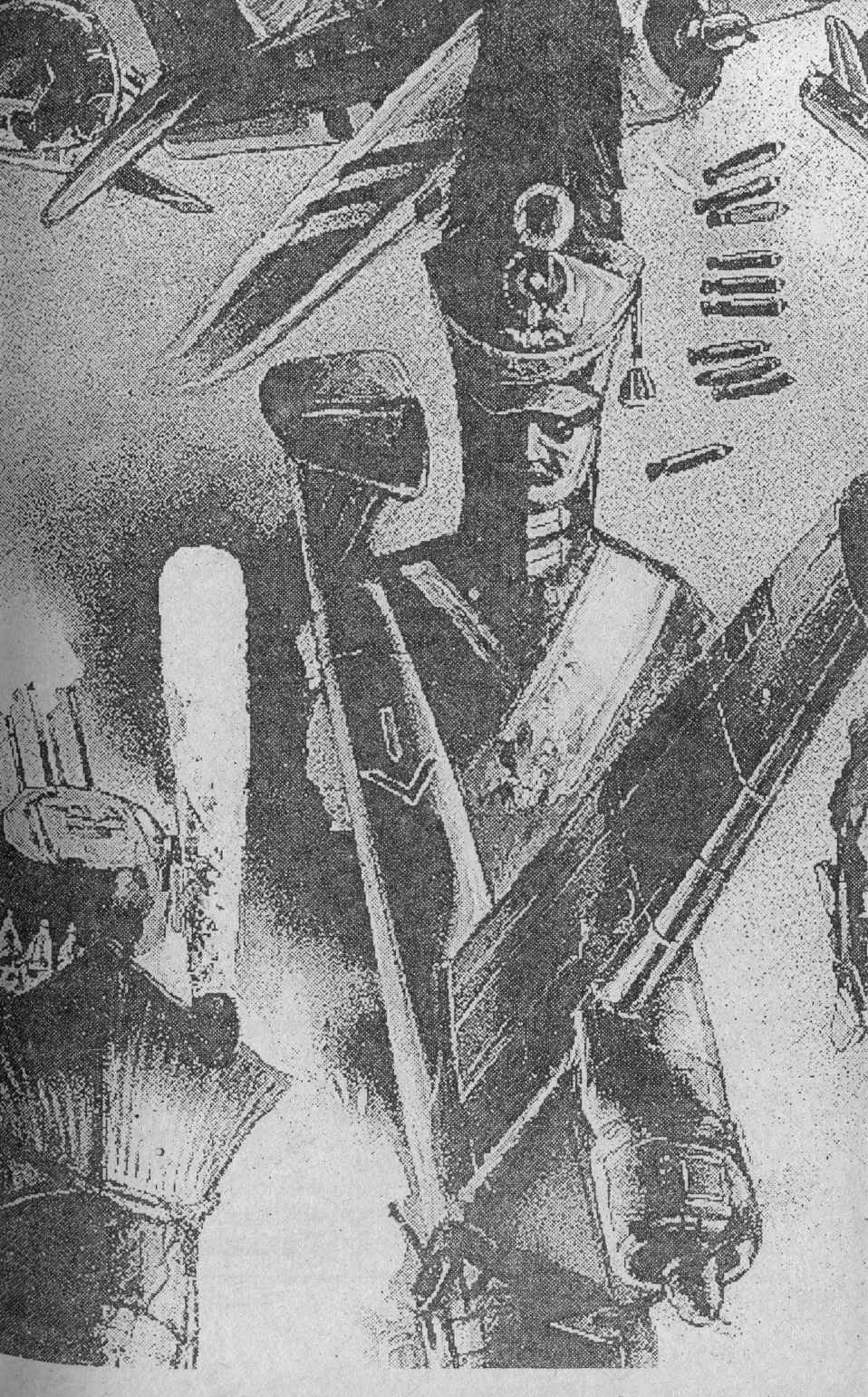
Я смотрел на него, как сквозь щель между створками почти закрывшихся ворот...

1989 — 1991 гг.



МОСТ ВАТЕРЛОО





В этом странном и запутанном деле, которое зовется жизнью, бывают такие непонятные моменты и обстоятельства, когда вся вселенная представляется человеку одной большой шуткой, хотя, что в этой шутке остроумного, он понимает весьма смутно и имеет более чем достаточно оснований подозревать, что осмеянным оказывается не кто иной, как он сам.

Г. Мелвилл

Пылинки в солнечном луче...

Дальняя комната освещена ярко, а здесь полумрак и прохлада.

Что-то хрустит под ногой, и льется из крана вода.

Дальняя комната вся завалена бумагой, весь пол в бумагах, смятых и не смятых...

Камерон стоит в двери и весь колышется, как зной, как медуза, как желе на блюде, и кудри его золотой короной... Ворона Камерон. Ворона-рона-она-на! Пылинки в солнечном луче.

Петер!

Это кто-то зовет меня, но я не вижу никого, и только имя отдается в глубинах сердца моего, и только пятна световые ползут по стенам к потолку, и только воды низовые...

Вот именно. И только пить. Пить, есть и спать. Это все, что я могу, хочу и буду.

А женщину?

А, вот это кто. Это Брунгильда. Нет, Брунгильда, спасибо, но в другой раз. Сейчас на повестке дня совсем иные вопросы...

Пылинки в солнечном луче...

А Летучий Хрен уже спрашивал про тебя,— гудит Камерон, продолжая колыхаться на свету, расплываясь при этом в широченной улыбке, но уши-то у него все равно просвечивают багровые, и я ничего не могу с собой поделать, я набираю воду в рот и опрыскиваю его уши. Уши шипят и брызгаются, Камерон недоволен, а я хохочу, потому что... Ворона Камерон докрасна раскаленными ушами доблестно прокладывает себе путь в сугробе, приближая час нашей решительной победы! Летучий Хрен? А хрен с ним! Что ты ему сказал? А надо было правду — приполз, мол, и брык! Готов.

Готов.

Шиш, ребята, рано вы меня списываете в «готов», рано, мы еще повоюем, поборемся и помужествуем с ней, знаете, как это там делается? Подумаешь, неделю не спал, я и еще неделю... Что? Ах, пылинки...

У тебя шнапс есть?

Это Камерон спрашивает Брунгильду, конечно, не меня же ему спрашивать. Что? Молчу, молчу. Но я молчу так красноречиво тая под взором ваших воспаленных глаз вздымаемых высоко к небу блестящими во тьме звездами печали бережно хранимой и возносимой к небесам без тени страха перед томленьем слиянья бешеного тела с душой нежной и кроткой... селедкой, водкой, сковородкой...

Это что, все мне?

Да что вы! Да нет, ребята, я же просто не смогу... это все... ну хватит же... хва...

Дай ему по спине, пусть откашляется.

Уже не надо.

...в штопор — у-у-уп! Готов. Сплю.

■

...прикуп — прилипала — приличие — примадонна — примак — приманка — примат — пример — примерка — примета — примесь — примечание — примирение — примитив — примочка — принудиловка — принцесса — принятие — приоритет — припухлость — приспособление — нец — прочее — прочее — прочее... Все на свете слова начинаются на «П», и хоть лопни — на «П» и на «П» и на «П» — и никуда от этих «П» — ну что ты будешь делать, обложили со всех сторон...

— Подъем! — Петера похлопали по плечу.

По периметру перистра поднимались перфорированные портики, по первости принятые паломниками-пломбировщиками...

— Вставай, скотина! — его тряхнули сильнее.— А то сейчас водой!

— Что? — Петер попытался сесть, не получилось, глаза более не открывались, но по команде «Подъем» следовало встать и одеть-

ся за сорок шесть секунд, потому что команда «Подъем» зря не дается...

— Вставай, соня, курорт окончен.

Это Камерон. Ну да, это Камерон, я же вернулся, вернулся и — ха-ха! — кое-что привез! Ну, да.

— Сколько времени?

— Семь вечера. И учти, что это уже завтрашний вечер.

— Как это?

— А так, что тебе дали поспать — ну, ты и поспал.

— Сутки? — не поверил Петер.

— Тридцать один час. Абсолютный рекорд редакции.

— Врешь ведь.

— Чтоб я сдох! — поклялся Камерон.— Вчера пытались тебя будить, но ты заехал Летучему Хрену в нос, и он велел оставить тебя в покое. А сейчас позвонил и очень тебя хочет. Н чью бомбежка была — не слышал?

— Ничего я не слышал... А мой материал?

— Экстра! Ультра! Супериор! Он сам монтировал и был близок к оргазму, его просто успели вовремя отвлечь...

— Но я голоден!

— Он сказал, что все будет.

Летучий Хрен принял Петера с распростертыми объятиями. Это на памяти Петера еще никогда добром не кончалось. Всегда за этим следовало что нибудь... мм... экзотическое. А тут еще и тон разговора: и гениален-то у нас один Петер Милле, и потери в личном составе громадные, аж пять человек (двоих завалило при бомбежке, один стал заговариваться, и еще две машинистки не уберегли и забеременели), а учитывая, что задача под силу лишь подлинному таланту, так она грандиозна и значительна, тем более что через завесу секретности кое-что просачивается, и он, Летучий Хрен, глядишь, и плюнул бы на все и поехал сам, но — приказ есть приказ, он вынужден подчиняться... Петер сразу понял, что параши не избежать, поэтому сидел тихо, в ударных местах кивал и думал, как это все обернется с Брунгильдой — а надо ли, чтоб оно как-то оборачивалось? — и не таких видали — а жаль...

— Итак,— бодро продолжал Летучий Хрен,— группу будем формировать заново, потому что пополнение прибыло и следует пускать его в дело, а Варга твой уже оперился, и ему пора давать работать самому, возьмешь двух новеньких, я их тебе покажу, и еще должен приехать какой-то из министерства пропаганды — будет старшим. Сам понимаешь, что старшим он будет только формально, потому — ну что чиновник может смыслить в наших делах? Остальное ты знаешь все, готовься, послезавтра — адью!

— Я есть хочу,— сказал Петер.

— Тебя, что, Камерон не накормил? Плохо. Бездельник. Ада! Ада! Где тебя черти носят? Накорми Милле, он у нас нынче герой. Ест он все, и помногу, но ты придумай ему что-нибудь повкуснее, только чтобы не обожрался, он мне живой нужен...

Ада увела Петера в машбюро и там под стрекот десятка машинок соорудила ему гигантскую яичницу на сливочном масле. Пока Петер ел, она сидела напротив и, пригорюнясь, смотрела на него. Аде было под шестьдесят, но и в эти годы она оставалась машинисткой экстра-класса; ее подобрал где-то Камерон и пристроил в редакции в обход всех приказов и правил, никто не знает, как это ему удалось. Ада натаскивала девочек-машинисток, сама вкалывала наравне со всеми да еще умудрялась каким-то чудом обихаживать всех, до кого успевала дотянуться. Камерон ею страшно гордился.

— Спасибо, Ада,— сказал Петер, подчищая сковородку корочкой хлеба.

— Что за несчастье,— отозвалась Ада и больше ничего не сказала, молча убрала со стола и молча ушла куда-то.

Новеньких Петер нашел в канцелярии. Прелесть что за новенькие: бледные, коротко стриженные, курносые, угловатые, в коротеньких солдатских мундирчиках шестого срока носки, с наспех нашитыми жесткими погонами, с парадными золотыми офицерскими коронами. Петер разыскал Менандра — тот, кот помойный, сговаривался с поварихой — и погнал его за новой формой для пацанья.

Переодетые, они преобразились, и Петер стал улавливать кой-какие отличительные признаки: один чуть покрупнее, помедленнее, глаза голубые — лейтенант Армант; другой тоньше в талии, гибкий и быстрый, глаза темные, лицо и руки нервные — лейтенант Шанур. Петер поставил их перед собой и толкнул речь.

— Значит, так,— сказал он.— Вы поступили в мое распоряжение, и теперь я что захочу, то с вами и сделаю. Это ваше счастье. Я — майор Петер Милле, по должности — режиссер-оператор, по сути — та ось, вокруг которой вертится все это заведение. Послезавтра мы с вами отбываем куда-то к черту на рога снимать то, не знаю что. Поэтому сегодня и завтра будете упражняться с аппаратурой. По службе я для вас «господин майор», вне службы и по вопросам ремесла — Петер. Сейчас пойдете к майору Камерону, он вас экипирует, в смысле — выдаст аппаратуру и пленку. Тренируйтесь. Я буду проверять. Можете идти.

Новоиспеченные хроникеры вразнобой повернулись и вышли.

— Менандр! — позвал Петер.

— М?

— Найди мне какие-нибудь ботинки и пары три носков.

— Опять пропить изволили?

— Только подошву, верх решил оставить.

— Беда мне с вами, господин майор, как огнем на вас все горит... Знаете, я тут одного интенданта раздоить хочу, у него несколько пар есть — видели, такие высокие, на крючках — итальянские? Но нужен шнапс. А ботиночки что надо, главное — крепкие, нашим не чета.

— Бутылки две ему хватит?

— Бог с вами, и одной за глаза будет. Шнапс — это же не для обмена, это же для смазки. Я вам тогда пока старые дам, разношенные, а завтра к вечеру принесу те. Хорошо?

— Конечно.

— Но все равно не пойму, как вы умудряетесь так обувку уродовать? Господин полковник за все время одну только пару износил, сейчас вторую изволит...

— Вот потому, Менандр, все и стремятся зарабатывать побольше корон — чем больше корон, тем меньше забот об обуви.

— Ваша правда, господин майор, но все-таки как вы — ну никто так больше не может...

Менандр был пройдоха из пройдох — такой пройдоха, что Петер его даже побаивался... ну, не то чтобы побаивался, а так — стеснение испытывал. Скажем, прямые обмены Менандр презирал как нечто примитивно-низменное, все комбинации его были многоходовыми и чрезвычайно сложными; пару раз он пытался растолковать Петеру смысл той или иной сделки, и Петер приходил в состояние полнейшего обалдения перед хитросплетениями ходов и выгод, с точки зрения Менандра, совершенно простыми. Полезен же Менандр был чрезвычайно, так как мог все. Среди офицеров поначалу возникла мода заключать пари на Менандра, выдумывая самые невероятные предметы, якобы необходимые для редакции, но мода эта быстро прошла, исчерпав все ресурсы фантазии. Кажется, последним, что Менандр достал (в результате этого коллекция коньяков Летучего Хрена перешла в собственность Камерона), был незаполненный, но подписанный и испещренный печатями пропуск на территорию Императорского дворца.

— Петер! — раздалось над ухом, и, конечно, кулаком по хребту, и за плечи потрясли, и опять кулаком, уже под ребра — ну, конечно, это был Хильман, кто же еще? — Петер, старина, сколько лет, сколько зим!

Хильман, откуда-то вылетевший чертиком, чтобы, ошарашив своим появлением, сгинуть — такая уж у него была натура. Когда-то они с Петером три дня болтались в море на сторожевике, Петер ничего снять не мог, а Хильман сделал замечательный очерк, Петер потом прочел его и посмеялся про себя: в очерке было все, кроме того, что было на самом деле. Там-то, на сторожевике, Хильман и ошеломил Петера замечательной фразой о друзьях, а именно: «У меня этих друзей,— сказал он,— ну тысячи три, не меньше.» «А я?» — спросил тогда Петер. «И ты, конечно»,— сказал Хильман. «Понятно»,— сказал Петер; ему на самом деле все стало понятно. «Ты что, не веришь? — обиделся Хиль-

ман.— Да я для тебя все, что угодно.. » «Спасибо, Хильман,— сказал Петер.— Верю.» Хильмана звали Роем, но все почему-то называли его только по фамилии.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Петер.

— Послали,— сказал Хильман.— Сказали, у вас тут что-то намечается. В смысле — отсюда поедете.

— И ты с нами? — спросил Петер.

— Ага. Ты чем-то расстроен?

— Не знаю,— сказал Петер.— Нет, наверное. Просто устал. Вчера... пардон — позавчера вернулся, хотел поработать здесь... Опять без меня монтируют. Ты бы дал кому-нибудь свои блокноты, чтобы они там все по-своему переставляли?

— А никто не просит,— сказал Хильман.— Хорошо попросили бы если — может, и дал бы.

— А меня вот гложет... Да нет, просто устал.

— Когда ехать-то?

— Не знаю. Приедет какой-то шишковатый из министерства, скажет.

— Мне намекнули,— сказал Хильман,— что все это не на одну неделю и куда-то в тыл. Представляешь?

— В ты-ыл? — недоверчиво протянул Петер.— Что-то ты путаешь, старик.

— Ничего я не путаю. Что я, нашего главного не знаю? Он когда губу вот так делает — то на передовую. А если вот так — то или флот, или тыл. Проверено.

— Твои бы слова — да богу в уши,— сказал Петер.

Он не знал, почему это невозможно, но это было действительно невозможно — войти к Летучему Хрену и сказать: «Знаешь, я страшно устал. Мне надо отдохнуть, потому что, если я не отдохну, я сломаюсь по-настоящему. Я очень устал.» Странно, конечно, но он точно знал, что это невозможно, хотя никто и никогда не пытался этого сделать. Небеса бы обрушились, если бы кто-то попытался сказать это Летучему Хрену. Молния бы сорвалась с ясного неба...

— ...вечером,— сказал Хильман, это он приглашал на коньяк, и Петер кивнул: «Хорошо»,— но вспомнил Брунгильду и добавил: «Посмотрим». Хильман опять легко обиделся и легко распростился с обидой. «Да приду я, приду»,— успокоил его Петер, и, по своему чертикову обыкновению, Хильман пропал мгновенно — только пыль взметнулась над тропою, только стук копыт отдался эхом...

Новенькие занимались с аппаратурой, и Камерон, который маячил тут же, исподтишка показал Петеру большой палец.

Петер лег, не разуваясь, задрал ноги на спинку кровати. Неизвестно еще, какими окажутся обещанные итальянские ботинки, а эти надо оставить себе: мягкие, легкие, нигде не давят, не трут и не хлябают... Он задремал и проснулся от голосов.

— Потому что это дрянь, дрянь, дрянь! — шепотом кричал один из новичков.— Потому что мне страшно подумать, что будет, если мы победим!

— А что будет? — говорил второй.— Ничего нового не будет. Зато наверняка объявят амнистию, и все твои драгоценные...

— Да разве в этом дело! Ты вдумайся: победит система, для которой главным в человеке является что? Ум? Совесть? Деловитость, может быть? Нет. Тупость, исполнительность и форма черепа. Все. Представляешь — что из этого получится лет через пятьдесят? Это же конец, конец...

— Тихо ты, услышат.

— Боишься? А представляешь: целое поколение, которое всего боится? Прелесть, а? А ведь они этого добиваются — и добьются. Каждый не от слов своих, не от дел — от мыслей вздрагивать будет! Не дай бог, догадается кто! Хочешь такого?

— Перестань, правда. Ну что — тебе ответ нужен? Так я не знаю ответа...

Ай да ребятки мне достались, подумал Петер. Это что же с молодежью-то делается? А, Петер?

Он встал, пошумел немного, чтобы не подумали чего, и вышел к ним, потягиваясь.

— Вольно, мужики,— сказал он, предупреждая их позыв бросить камеры и встать.— Начинаем зачет. Итак, на время: зарядить камеры!

Мужики чуть суетились, но справились с этим делом вполне прилично.

— Теперь пошли на натуру.

Петер увел их в развалины неподалеку и заставил снимать друг друга, непрерывно перебегая и заботясь при этом о собственной безопасности. Чтобы создать кой-какие иллюзии, он щедрой рукой разбрасывал взрывпакеты и два раза пальнул шумовыми ракетами — есть такие, с сиреной; вторая из этих ракет заметалась рикошетами по двору и произвела впечатление на него самого. Потом, придерживая за пояса, чтобы не разбрелись и не попадали, он отвел ребят в лабораторию. Пленку проявили мигом, девоч-ки-лаборантки были на высоте; тут же зарядили проектор и стали смотреть, что получилось. На экране что-то возникало и металось, обычно не в фокусе, три-четыре раза появлялся и пропадал человек с камерой в руках, невозможно было понять, кто именно, мелькали тени, дымки разрывов, стены, небо, упорно вновь и вновь появлялась в кадре торчащая из груды щебня балка с кроватной сеткой наверху... Вторая пленка была не лучше, только один кадр годился: это когда оператор снимал его самого с ракетницей в руках в момент выстрела: черненький дьявол, разбрасывая огонь и дым, рванулся прямо в объектив... Петер несколько раз прокрутил это место. Дальше шла прежняя неразбериха, но это было хорошо.

— Это хорошо,— сказал он.— Рука не дрогнула.

— Не успел испугаться,— сказал темноглазый — Шанур.

— Это хорошо,— повторил Петер.— Рука должна быть твердой. Даже если снимаешь собственный расстрел.

Он гонял их по этому полигону еще трижды. Лучше не становилось, но это от усталости, к концу дня оба ног не переставляли, зато завтра, когда отоспятся, уже не будут вздрагивать и торопиться...

Брунгильда как сквозь землю провалилась, он так и не нашел ее, и с оставшейся бутылкой шнапса Петер заявился в гости. Хильман поселился у Бури, инженера-оптика; Бури занимал длинную, как вагон, комнату в полуподвале, свободное место у него было всегда, и постояльцам он был рад.

Посидели, выпили и шнапс, и коньяк, поговорили. Впрочем, говорили главным образом Бури и Хильман, Петеру все больше молчалось. Хильман красочно и с массой подробностей рассказывал, как ходил в смертный десант на Жопу Адмирала; Петер хорошо помнил этот северный архипелаг из двух близлежащих островов, получивших такое прозвище за округлость, мягкую покатость и обширность. Прозвище настолько привилось, что даже в официальных документах после названия аббревиатурно пояснялось, что же конкретно имеется в виду. В позапрошлом году Петер сам ходил туда в десант. Три дня морская пехота и кавалергарды выбивали из окопов маленький гарнизон; низкая облачность и дожди не давали действовать авиации. На четвертый день прояснилось, и над островами повисла целая авиадивизия. Вечером, когда там сгорело все, что могло гореть, кавалергарды пошли вперед. По ним не было сделано ни единого выстрела: бомбардировщики смешали с землей всех. Потом, выходит, архипелаг снова сдали, подумал Петер без особой грусти. Сдали, опять взяли... Перепихалочки и потягушки — и вся война. Плевать.

Голоса, кажется, звучали громче, но Петера почему-то не проняло, ему стало скучно, и он пошел опять искать Брунгильду и опять не нашел. В его отсутствие Хильман и Бури заспорили о чем-то, дело дошло до взаимных оскорблений, и решили стреляться — здесь же, в подвале, с пятнадцати шагов, три выстрела, беглым огнем. Отметили барьеры, отошли, стали сходиться. Хильман начал стрелять первым, выстрелил сразу все патроны и все три раза промахнулся. Бури промахнулся дважды. Поняв, что наделал — пуля попала журналисту в лоб, он умер мгновенно — Бури сбежал. Его поймали через месяц и по приговору полевого суда повесили за дезертирство. Если бы он не убежал, максимум, что грозило бы ему — это передовая или три года лагерей.

■

— Итак, господа офицеры, вы поступаете под команду человека штатского, так сказать, шпака... да; тем не менее господин

министр счел возможным сделать такое, хотя это и не в традициях нашей доблестной армии. Позвольте представиться: Гуннар Мархель, первый советник министра. Мы с вами отправляемся в то место, откуда начнется наше победоносное шествие, наш марш в истории, наше, с позволения сказать, вознесение над всеми нынешними трудностями и неудачами. Экспедиция наша продлится около двух месяцев, и за это время мы станем свидетелями и участниками величайшего торжества нашего военно-инженерного гения, свидетелями и летописцами великого свершения наших доблестных войск — творцов и носителей нашей грядущей и неминуемой победы. Эта неминуемость нашей победы, думаю, сыграла свою роль, отрицательную, подчеркиваю, роль в деле торжества наших идеалов и нашего оружия, потому что вызвала расслабленность и заторможенность у некоторых молодых солдат и офицеров, уверовавших в то, что победа, раз она неминуема, придет все-равно — независимо от того, как ты воюешь. Нет, господа! Победа сама не придет! Победу надо добывать потом своим и кровью своей, ибо потоки пота и крови под ее фундамент — необходимое условие ее неминуемости! Его Императорское Величество просил лично передать вам, что всегда и во все времена герои на плечах своих поднимали и удерживали здание победы, и не стоит верить своим глазам, если вы, ослепленные красотой этого здания, не видите, на чьих плечах оно держится. Но его величество никогда не забывает этого, вот потому-то и встречают с таким подъемом на фронте и в тылу бессмертные речи Императора, как всегда, посвященные бессмертным подвигам наших героев, достойных наследников ратной славы великих предков, сокрушивших древний Рим, Вавилон, Византию, Сирию и Египет! Тех, кто пронес сквозь века и страны чистоту и беспредельную преданность идеалам гиперборейским, воплощенным издревле в великих атлантах: Гангусе, Слолише и Ивурчорре! От самого Заратустры и до нашего дорогого Императора пролегла вечная дорога истины, и никому не удастся опорочить ее прямизну! По машинам!

Слава богу, все, подумал Петер. Но силен советник. Без бумажки, а как по писаному. Редкость по нынешним временам. Все так боятся оговориться, что перестают говорить совсем, а только пишут. И слава богу, что у него своя машина. Что-то мне не хочется сводить с ним дорожное знакомство — все равно придется, я знаю, но потом... но как неохота!

— Мужики! — в свою очередь обратился он с речью к своим.— Маршрута я не знаю, все засекречено до этого самого, следуем за лидером. Так вот: следить за воздухом в восемь глаз. Тип самолета не разбирать, сразу давать команду «Воздух!» — и из машины. Если есть кювет, то лучше всего в кювет. Нет кювета — отбегайте шагов на дцать — и носом в землю. И не метаться. Вообще не шевелиться, пока все не закончится. Ясно?

— А говорили, что у них авиации нет совсем,— сказал Шанур.

— Кто говорил? — грустно спросил Петер.

— В газетах писали, и по радио тоже было,— сказал Шанур, и Армант покивал — да, мол, я тоже слышал.

— Ребята,— вздохнул Петер,— это вам просто очень наврали. У них такие штурмовики, что дай вам бог успеть навалить в штаны. Усекли? Тогда вперед.

И они покатили...

Сначала новички, повергнутые Петером в состояние особой настороженности, глазели в небо так, что стали навертываться облака.

Потом встречные машины перестали попадаться. Это был плохой признак. Очень плохой. Это значило, что впереди что-то случилось, а что еще может случиться на рокадном шоссе, кроме?...

Продвижение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Господин Гунар Мархель нервно расхаживал возле машины, поглядывая на часы. Как ток, пробежало известие, что на перекресток впереди, километрах в двадцати отсюда, положили бомбовый ковер. Ясно было, что следует ждать налета. Машины поползли в стороны от дороги, полотно расчищалось, и некоторые, самые отчаянные и бесшабашные, или те, кто ну никак не мог задерживаться и пережидать, тронулись потихоньку вперед. Господин Мархель был из отчаянных — то ли по характеру, то ли по свойственному штатским недомыслию. Он помахал рукой Петеру и полез в свою машину. Ох, как надо было бы переждать, но черный «мерседес» уже катил вперед, пробираясь между остановившимися на дороге машинами. «Вот дурень»,— сказал шофер Эк. Петер с ним согласился — молча, конечно,— но приказал следовать за начальством. Новички, почуяв, что дело серьезное, крутили головами с удвоенным усердием. Но первым заметил штурмовиков все-таки Эк. Это случилось, когда они почти подъехали к злополучному перекрестку — стоял знак-указатель, что до него всего два километра и головным в колоннах следует подать звуковой сигнал...

Эк не стал кричать «Воздух!» или как-то иначе выражать свое отношение к происходящему — он просто газанул, круто вывернул руль вправо, перескочил через кювет и погнал к лесу. Эти триста метров они пролетели почти мгновенно, и тем не менее штурмовики успели раньше. Рев моторов и грохот пушечных очередей покрыл все на свете. Петер и не заметил, как оказался на земле — зеленые угловатые самолеты наискось промелькнули над дорогой. Черный «мерседес» перевернуло и подбросило, в мелкую щепу разнесло громадный крытый грузовик, обломки его долго и медленно падали сверху, а за дорогой взорвался и огромным чадным костром заполыхал бензовоз. «Сейчас вернутся!» — крикнул кто-то рядом. Штурмовики — эти же или другие — вновь пронеслись над дорогой, еще ниже, по самым головам, треща пулеметами, передние кромки их крыльев так и исходили короткими злыми язычками; загорелось еще несколько машин. Штурмовики на

этот раз не пропали из виду, а, развернувшись и набрав высоту, спикировали на что-то, невидимое отсюда, и сбросили бомбы; потом еще раз развернулись и прошли опять над тем же местом, добивая из пушек и пулеметов то, что там еще оставалось. Наконец все стихло. Едва ли налет продолжался больше трех минут.

Отряхиваясь, Петер поднялся. Звенело в ушах, поэтому казалось, что вокруг страшно тихо. Их полугрузовичок стоял невредимый, и Эк уже копался в кабине, что-то там приводя в порядок. Баттен, техник-лаборант, вылез из-под машины и, щурясь, глядел вверх. Армант и Шанур рука об руку шли к машине, Шанур прихрамывал, но легонько. Петер вздохнул с облегчением — бог не выдал на этот раз. Он снова стал отряхиваться и только тут вспомнил о начальстве.

Черный «Мерседес» лежал колесами кверху, и одно еще вращалось. Стоял резкий бензиновый запах — бак разнесло, бензин вытек, но почему-то не загорелся. Таким мелочам Петер привык не удивляться, ему пришлось насмотреться такого, во что уж точно нельзя было поверить: например, он видел стоящего мертвеца. Снаряд авиапушки попал в мотор, мотор разнесло, а дальше взрывная волна и осколки ворвались в кабину... Ничего там нельзя было разобрать, в кабине — кто есть кто.

Петер отошел от машины, и тут она загорелась. Что-то тлело, тлело — и дотлело до бензина. Вот и все. Приехали.

— Зачем вы подожгли машину? — спросили сзади.

Петер оглянулся. Это был невредимый, хотя и грязный донельзя господин Гуннар Мархель — невредимый, грязный и во гневе.

— Так зачем вы ее подожгли?

— Скажите еще, что и налет я устроил,— сказал Петер, не желая вдруг сдерживаться.

— Я видел: вы подошли к машине, осмотрели ее, отошли — и она загорелась. Что, разве не так?

— Все так,— сказал Петер.— А что?

— Так зачем вы ее подожгли?

— Я не поджигал.

— Вы же сами признались!

— В чем?

— В том, что поджигали!

— Наоборот, я это категорически отрицаю.

— Но вы подошли к машине, потом отошли, и она загорелась! Следовательно, вы ее подожгли, не так ли?

— Разумеется, не так.

— А как?

— Я подошел к машине, осмотрел ее, отошел, и она загорелась.

— Без причины?

— Без причины даже лягушки не квакают.

— Ну?

— В смысле?

— В смысле — я жду от вас признания.

— В чем?

— В том, что вы подожгли машину, принадлежащую министерству пропаганды.

— Я же говорю, что не поджигал.

— Что же она — сама загорелась?

— Выходит, что так.

— Эти басни вы будете рассказывать трибуналу!

— Даже так?

— Именно так!

— Тогда,— сказал Петер, медленно начиная сатанеть,— вам придется давать объяснение тому же трибуналу, поскольку это именно вы машину подорвали и теперь пытаетесь свалить вину на меня. Зачем вы подорвали совершенно исправную казенную машину?

О, к такой наглости господин Мархель не привык! Он стоял, глотая ртом воздух и багровея, и Петер понял, что сейчас решается многое.

— Пользуясь воздушным налетом, вы попытались сорвать выполнение чрезвычайно ответственного задания! Это саботаж, и я имею право расстрелять вас на месте! Как иначе объясните, что остались в живых? — резко изменив тон и перейдя с громов и молний на иезуитский полушепот, спросил Петер и стал расстегивать кобуру, зная прекрасно, что заехал уже чрезвычайно далеко и обратной дороги нет. Это диктовалось не расчетом, а начисто расстроенными нервами — умомто он понимал, что это игра, но эмоции испытывал самые натуральные. Вполне могло дойти и до стрельбы — а если вспомнить несчастного Хильмана, то со стрельбой в этой редакции все было отлично,— но господин Гуннар Мархель, тоже, видимо, вспомнив несчастного Хильмана и понимая, что со стрельбой в этой редакции все отлично, вдруг выпустил лишний воздух, принял нормальную окраску и отступил на шаг, всем своим видом призывая к компромиссам.

— Извините,— сказал он голосом, который мог бы показаться спокойным, если бы не остекленелое постоянство высоты звуков.

— Вероятно, это недоразумение. Вполне возможно при нынешних обстоятельствах, когда действия быстры, а результаты трагичны. Я успел выпрыгнуть из машины за секунду до взрыва. Возможно, имело место самовозгорание.

На том и порешили.

Планшет с картой уцелел, и господин Мархель, на четыре пятых утративший свою неприступность, разложил карту. Да, от перекрестка их путь лежал на запад, потом на северо-запад и далее, до самого Плоскогорья. Петера это не просто удивило — поразило. Плоскогорье — это место, забытое богом, а не то что людьми и тем более министерством пропаганды. Но — раз едем, значит, есть куда.

Да, но вот эти два километра до перекрестка и потом еще столько же от него — это было страшно. Танки пробили коридор в догорающих остовах грузовиков, но разгрести все, конечно, нечего было и думать, и стоило ли догадываться, на чем подпрыгивает машина? По обе стороны дороги горели грузовики, танки, бронетранспортеры — дым был настолько плотен и удушлив, что пришлось надеть противогазы, резина мигом раскалилась и жгла лицо... Надо полагать, здесь накрылась сразу целая дивизия. И слава богу, что на перекрестке они свернули влево: рокада была загромождена разбитой техникой до отказа, видимо, основная каша только здесь и начиналась. И даже обломки бомбардировщика, дымно полыхающие в нескольких местах, не меняли жуткого впечатления от этой бойни...

Долго ехали молча, новички были бледны, глаза Баттена бегали.

— Останови,— сказал он вдруг Эку полузадушенно и полез из машины. Петер думал, что его сейчас будет рвать, но Баттен просто сел на землю, упершись кулаками, и долго сидел так, потом полез в кузов:

— Поехали. Поехали... но как они нас... как они нас... а? Никогда бы не подумал...— он замолчал.

— То, что вы видели,— сказал господин Мархель,— это лишь эпизод великой битвы. Никогда победы не даются бескровно, а предатели не упускают случая всадить нож в спину. Все это, разумеется, результат предательства, как вы еще сможете объяснить такое? Но наша армия найдет в себе силы ответить достойно, причем в честном и открытом бою, а не предательски, трусливо и подло, как это сделали они.

Ему никто не ответил.

Вечером добрались до Сорокаречья, местности в отрогах Плоскогорья. Дорога здесь, за годы войны не ремонтировавшаяся, была почти непроезжей. Хотя и не было дождей, в отлогих местах колеи наполняла жидкая грязь, и Эк часто врубал передний мост и блокировку — только это и выручало. В темноте уже въехали в городок, нашли комендатуру и определились на ночлег, да не как-нибудь, а в гостиницу.

Гостиница была пуста и тиха, кроме них, постояльцев не было. Каждый получил ключ от отдельного номера, Эк вернулся ненадолго к машине, а остальные разошлись спать. Новички не жались друг к другу больше, но выглядели такими сиротами, что Петер сжалился и просидел с ними целый час, отвлекая от грустных мыслей. Он помнил, и очень хорошо, это состояние полнейшей потерянности, безысходности и черной грусти. На встряску, подобную сегодняшней, люди реагировали либо такой вот прострацией, либо идиотским возбуждением. Петер считал первое нормальным, а второе — проявлением интеллектуальной недостаточности. Господа офицеры, как он знал, придерживались противоположного мнения. Поэтому новички, которых в войсках задолбали бы до потери инстинкта самосохранения, приобрели в глазах Петера... ну, скажем, так: он стал к ним теплее относиться.

Коридоры гостиницы, устланные ковровыми дорожками, все равно были невообразимо гулки, и невозможно было побороть ощущение, что за тобой кто-то идет. Ну то есть действительно кто-то шел, и нельзя было оборачиваться, потому что, если обернешься, то лопнет что-то внутри, такое тугое и тонкое — и все... Это снилось Петеру беспрерывно, наконец он встал, напился воды, отворил окно, выходящее во двор, и стал дышать холодным ночным воздухом. Стояла безумной прелести ночь.

Близость гор давала себя знать, и звезды усеивали небо тесно, плотно, ярко и четко. Воздух чистый, без примесей звуков и запахов, пропускал их свет беспрепятственно, поэтому они не мигали, а горели ровно, уверенно, зная, что горят не без пользы. Общаться со звездами было просто.

Потом Петер лег, уснул спокойно, и ему приснился я, автор. Я время от времени снюсь ему, не часто, но с самого детства — с тех самых пор, как я начал его придумывать. У нас с ним время идет поразному, и там, где у меня год, у него — полжизни. Вот сейчас мы с ним ровесники. Но пройдет еще сколько-то времени, и начнется обратный процесс — я буду становиться старше, а он — он будет по-прежнему оставаться тридцатилетним... Нет, вовсе не то, что вы подумали,— он останется жив, он выйдет почти невредимым из той катавасии, которая им вскоре всем предстоит; просто почему-то, когда поставлена точка, автор и герой вдруг меняются местами... это будто проходишь сквозь зеркало... черт знает что.— Все это очень странно... Зря я, наверно, думаю обо всем этом, наверное, глядя на меня, Петер о многом догадывается — говорят, я не умею скрывать свои мысли и на лице у меня все написано. Ну и пусть. Почему бы и не разрешить неплохому человеку заглянуть в свое будущее, тем более что это будущее у него есть — а ведь этим могут похвастать очень немногие сверстники! Да, есть — в этом будущем будет долгая, сложная и не слишком счастливая жизнь. Правда, Брунгильды там не будет... почти не будет. Так уж получилось. Нет, хорошо уже хотя бы то, что он останется жив. Он женится на вдове Хильмана — пока что вины по поводу Хильмана он не чувствует, но потом им овладеет необоримая идефикс: ведь не уйди он тогда полупьяный, на поиски Брунгильды, Хильман остался бы жив. Эта идефикс победит разум, и Петер будет считать себя виновником гибели Хильмана, и начнет искупать свою вину... Вдова Хильмана, женщина властная и недалекая, измучает его, отравит ему существование, и лишь в шестьдесят лет, овдовев, он почувствует себя человеком. К тому времени он станет владельцем солидного фотоателье, и, просуществовав в такой ипостаси еще десять лет, семидесятилетним стариком возьмется за пустяковый частный заказ: проявить пленку какого-то любителя... молчу, молчу! Я и так уже сказал слишком много. Это будет нескоро: ему потребуется прожить всю жизнь, постоянно мечась между службой и домом, между нелюбимой женой и несчастными любовница-

ми, воспитывать детей, двух своих и одного — Хильмана... Согласен, Петер? Не смеешь возразить... Ну, что же — быть посему.

В соседнем номере не спит господин Мархель. Вот этот — загадка для меня. Кто он, откуда взялся, кем был раньше, что его ждет? Не знаю. Сейчас он сидит и смотрит перед собой, губы его шевелятся, а глаза остры и внимательны, будто видят что-то — и не будто, они определенно что-то видят, потому что в них это что-то отражается, и если бы я мог заглянуть ему в глаза... Не могу. И не просите — не могу. Не могу я смотреть в глаза господину Гуннару Мархелю. Не потому, что у него какой-то особый взгляд... просто что-то вроде брезгливости, только на порядок сильнее... не могу, в общем. Извините.

Но что он там видит? Что-то ведь видит...

Шофер Экхоф, или просто Эк, спит спокойно, он сегодня на совесть поработал, и надо отдохнуть перед завтрашней дорогой. У Эка прекрасные нервы.

Баттен... пардон, Баттен с дамой, не будем подглядывать. Но когда и где он успел?! Ах, Баттен, ах, озорник! Такой увалень, тихоня, но ведь всегда все успевает — и без натуги, будто бы случайно. Характер, что вы хотите...

Новички спят беспокойно, Шанур разметался и будто бежит куда-то, Армант, наоборот, зарылся в подушку... ничего, ребята, привыкнете, все привыкают; ну, не то чтобы привыкают... притупляется восприятие. Вот так: шесть постояльцев гостиницы в маленьком городе... как он называется? Забыл... — в отрогах Плоскогорья, обширнейшего плато, рассеченного пополам Гросс-каньоном — километровой ширины и такой же глубины длиной почти в четыреста километров; на западе он выходит к океану, на востоке теряется в горах, между хребтами Слолиш и Ивурчорр; противник занимает противоположный берег каньона, но, сами понимаете, ни о каких активных действиях речи пока быть не могло. Пока — пока не появился в поле зрения командования некий военный инженер Юнгман... Что? Ах, ночь прошла, и Петер просыпается... Доброе утро, Петер. Думаю, я больше тебе не приснюсь, пока не закончится эта история. Хотя... кто знает?

А наверху была красота! Поднимались долго и утомительно, зато, когда поднялись — о, это стоило трудов! Воздух пах снегом — это при полуденном солнце, при жаре, яростной, но легкой, свежей; дорога вилась по холмам, нетронуто-зеленым, между рощами низкорослых неизвестных деревьев, между заросшими бурьяном виноградниками; попадались ручьи и речки, через которые переезжали вброд, попадались озера, до неправдоподобия синие и холодные даже на взгляд. А потом все переменилось.

С земли будто содрали кожу. Здесь поработали бульдозеры, и прочая гусеничная техника, дорога, теперь бетонная, шла по широченной глиняно-красной полосе, где все было перерыто и перемешано, где то справа, то слева возникали непонятные строения, явно бро-

шенные, поодиночке и группами стояли заржавевшие тягачи и тракторы, полуразобранные грузовики, громоздилось всякое железо, бетон, валялись бревна, доски — все ненужное, неприкаянное, негодное, устрашающе многочисленное. Так примерно выглядит зона прорыва, когда армия уходит вперед, а тылам еще недосуг заняться разборкой лома. Потом дорога расширилась и стала прямой, как стрела, как посадочная полоса. «Да это и есть посадочная полоса,— понял Петер,— резервная посадочная полоса для тяжелых бомбардировщиков. Хотел бы я знать, на что в такой глуши резервные полосы? Спросить, что ли?» Он посмотрел на господина Мархеля. Господин Мархель сидел прямо, придерживаясь за поручень, и всматриваясь вдаль. Профиль его был острый, как бритва, глаза прищурены, а губы медленно шевелились — медленно и торжественно, будто он читал... нет, не молитву... заклинание?.. именно заклинание. Петеру показалось вдруг, что в лицо брызнуло холодом, а самый свет солнца стал разреженным и призрачным. «Тьфу, чертовщина! Ладно, бни там, наверху, все на этом деле сдвинутые, но я-то! Я — нормальный, сравнительно разумный человек, вчера вогнавший этого проклятого колдуна в холодный пот — сегодня просто так, без причины, боюсь задать ему вопрос. Именно боюсь. Ну и дела...»

Но вскоре все стало ясно и без вопросов. По сторонам дороги вдали стали угадываться заводские корпуса, от них шли многочисленные и разнообразные «притоки» к шоссе, по притокам шли машины, и скоро на шоссе стало тесно до безобразия. Навстречу попадались главным образом тягачи с платформами на прицепе; по ходу обогнали несколько таких же, но груженных чем-то тяжелым и громоздким, но чем именно, непонятно — брезент. И вот так, в машинной толчее, в газойлевом чаду ехали километров сто, попадались регулировочные посты, палаточные городки, много чего попадалось, но Петер утратил способность воспринимать что-либо — на него запах газойля действовал крайне угнетающе. Он не вполне очнулся даже, когда машина затормозила, наконец, перед свежим, желтеньким еще щитовым домом, окруженным штабными машинами, сторожевыми вышками и колючей проволокой в два кола; проволока вдруг привлекла его внимание, он не сразу понял, чем — потом дошло только, что она блестела этаким синеватым блеском. Хромированная колючка! Оригинально, черт возьми...

— Ждите меня здесь,— сказал господин Мархель и пошел к дому. Часовому он предъявил некий документ, и часовой вытянулся в струнку с такой истовостью, будто перед ним был по меньшей мере фельдмаршал. Господин Мархель зачем-то оглянулся на пороге, обвел глазами окружающий мир и вошел внутрь. Петер расслабился. Голова болела, и рыжие круги ползли снизу вверх по внутренней стороне лба. Но посидеть тихо ему не дали: из дверей пулей вылетел полковник, подбежал к их машине и потребовал:

— Майор Милле, следуйте за мной!

И далее уже обычным шагом повел Петера туда, в недра дома, где что? Штаб? Резиденция? Короче, повел — мимо часовых: часовых внешних, часовых внутренних, через просторный предбанник, битком набитый офицерами — Петер вытянулся на пороге и выбросил вперед правую руку, и эти блестящие офицеры повскакивали с мест и тоже приветствовали его имперским жестом, нет, не фронтовики вы, ребята, и говорить нечего — ни один фронтовик вскакивать не станет, он приподнимется лениво и отмахнется, как от мухи,— за обитую кожей двойную дверь в кабинет с занавешенной картой на стене, со столом о трех тумбах и бронзовым имперским орлом — пресс-папье такое, что ли? — и трехкоронным генералом по ту сторону стола, и господином Мархелем по правую руку от генерала, и неким полковником в саперной форме (ох, и лицо у этого полковника!), и полковник-адъютант отошел на шаг влево, и Петер четко, без излишнего усердия доложил:

— Режиссер-оператор группы кинопропаганды майор Милле по вашему приказанию прибыл, господин генерал!

— Вольно — разрешил генерал, и Петер встал вольно.

— Майор еще не в курсе, Йо,— сказал господин Мархель, обращаясь к генералу.

— Тогда сам и объясняй,— сказал генерал.— Ему же все делать придется, так, нет? Чтобы потом вопросов не возникало — выкладывай ему все.

— Твоей картой можно воспользоваться?

— Можно.

Так Петер приобщился к военной и государственной тайне чрезвычайной важности. По ту сторону Гросс-каньона лежала территория врага, причем территоррия, войсками и инженерными сооружениями совсем не прикрываемая. Каньон практически непреодолим, это считалось за аксиому. Нет, в мирное время, конечно, можно было бы построить мост — но ведь для этого надо вести работы на обоих берегах. Только инженерный гений полковника Юнгмана — вот он стоит, познакомьтесь, вам вместе работать и работать — позволил решить эту задачу. Итак, подготовительные работы закончены полностью, завтра начнется непосредственно строительство моста; через двадцать три дня мост будет наведен, и наши доблестные бронетанковые и мотомеханизированные части, пройдя по нему, развернут победоносное наступление — поистине победоносное, потому что, смотрите: все коммуникации врага перерезаются, и сама столица беззащитна,— да это просто удар кинжалом в мягкое брюхо! Это завершение не просто кампании, это завершение войны — победоносное завершение! И все это — благодаря вот этому мосту, стальной стреле, пронзившей пустоту над Каньоном! Вам, майор, предстоит во всех деталях запечатлевать все этапы великого события. Разумеется, в общих чертах мы будем направлять вас и руково-

дить вами, но инициатива и предприимчивость ваши будут иметь колоссальное значение. Сейчас вы будете определены на жительство, и тотчас — за работу!

Петер был не то чтобы ошеломлен, но озадачен. Ему, человеку как-никак с инженерным образованием — хотя эксплуатация машин и механизмов и строительство — это, вероятно, не совсем одно и то же,— так вот, ему все это казалось безусловной технической ересью. Впрочем, чего не бывает? На месте разберемся.

На месте... Легко сказать — на месте; а попробуй-ка, имея всего пару ног и рост метр семьдесят восемь, обойти и обозреть стройплощадку на дне ущелья глубиной метров триста, если не больше, узкого, извилистого, загроможденного стальными фермами будущего моста, да тем более еще никуда и не пускают без предварительного допроса... Часа через четыре, умаявшись до последней степени, Петер разыскал господина Гуннара Мархеля и потребовал вертолет.

Господин Мархель сидел за пишущей машинкой в блиндаже, где расположилась киногруппа, и стучал по клавишам — хорошо стучал, быстро. В зубах у него была зажата длинная тонкая сигарета. Не переставая стучать и не разжимая зубов, он объяснил Петеру, что, согласно режиму секретности и повышенной бдительности на данном объекте, все летающие предметы автоматически считаются вражескими и подлежат уничтожению всеми возможными способами, в большинстве случаев — методом расстреляния из зенитных орудий, которых здесь очень много. Ну а что касается постоянного и повсеместного пропуска, то пропуск будет, и немедленно, а пока Петер может ознакомиться с первой частью сценария будущего фильма. Фильма? Сценария? Я полагал, что мы будем делать хронику... я всегда считал, что сценарий для хроники... м-м... излишен, события сами... События никогда не идут сами, запомните это! За каждым событием в наше время непременно стоит ум и воля Императора — или злой ум и злая воля врага, и мы, летописцы, не можем позволить себе увлечься кажущейся естественностью и спонтанной самотечностью событий! Читайте!

Петер стал читать.

«Мост Ватерлоо. Сценарий документального фильма. Часть I. Кадры фронтовой хроники: наши войска, напрягая все силы, отбивают атаки противника, нанося ему огромные потери в живой силе и технике. Карта военных действий, у карты военачальник. Задумывается, глядя на карту. Да, обстановка на фронте не радует... Инженер Юнгман склонился над расчетами. Ночь, но при свете свечей он продолжает свою работу. Глаза инженера блестят. Еще немного, еще одно усилие мысли... Есть!!! Он лихорадочно чертит чертеж, и мы видим, каким вдохновением горят его глаза. Закончив работу, он засыпает тут же, за столом, он счастлив. Следующий кадр: преодолевая волнение, инженер Юнгман докладывает высшему Во-

енному совету свой проект; генералы встречают его недоверчиво, инженер нервничает, но вот трехкоронный генерал Айзенкопф подходит к инженеру, жмет ему руку и похлопывает по плечу... И вот мощные бульдозеры прокладывают дорогу в горах, саперы взрывают скалы... и вот расчищено место, откуда начнется великое строительство. Вы видите сооружение, похожее на немыслимых размеров прокатный стан? Это и есть тот стапель, с которого и двинется вперед наш корабль победы! Настал торжественный день. Саперы, стоя в строю, принимают поздравления генерала Айзенкопфа; и вот они в одном порыве устремляются на свои рабочие места; взревели сервомоторы, засверкали огни сварки, и первая секция моста медленно, почти незаметно для глаза двинулась вперед — и повисла над бездной. А на стапеле уже следующая секция, саперы, вооруженные сварочными аппаратами, дружно пристыковывают ее к первой, превращая в единый сплошной монолит. Стальные тросы, натянутые как струны Эоловой арфы, поддерживают это сооружение. Вот мы со стороны видим, как стометровая стрела вынеслась над каньоном, и солнечные лучи преломляются в паутине блестящих тросов над ней. Сапер, снимая защитный щиток, улыбается, смеется от души — он доволен своей работой, он вытирает рукавом пот со лба, и это честный счастливый пот. Бдительно несут службу зенитчики; солдаты и офицеры всматриваются в небо — неприятельский самолет! Огонь! В небе кучно возникают шарики разрывов, еще, еще — и, пылая, вражеский ас врезается в скалы. Обломки самолета — крупным планом. Еще обломки. И еще, и еще. Никто не прорвется к мосту!

Часть II. Блиндаж, саперы отдыхают. Кто-то читает письмо из дома, кто-то пишет; а вот, усевшись кружком, поют, и один подыгрывает на губной гармонике. Два сапера играют в шахматы, другие смотрят, обсуждая партию. Приносят ужин, появляются фляжки, унтер-офицер произносит тост: «За Императора! За победу!» — саперы чокаются фляжками и выпивают; потом приступают к ужину. Ночь. Саперы спят. Бдительно несет службу часовой. Шорох в темноте. «Стой! Стреляю!» Вспышка выстрела из темноты. Часовой, раненный в плечо, бросает гранату. Взрыв гранаты. Тревога! В отдалении вспыхивает и затихает стрельба. Темноту прорезают трассирующие пули. Взлетают осветительные ракеты. Приносят и складывают в ряд трупы вражеских диверсантов. Крупно — их мертвые лица. Это мальчики лет пятнадцати, еще безусые, тонкошеие. Кто послал их на верную смерть? В глазах саперов мы читаем жалость к убитым мальчикам и ненависть к их настоящим убийцам. Надо скорей прекращать эту войну! И саперы с новыми силами принимаются за работу. Уже двести метров — длина моста...»

— Я все понял,— сказал Петер.

— Не сомневался в вас,— сказал господин Мархель.— У вас великолепные данные.

Без камеры — солнце ушло — Петер спустился вниз, к основным сооружениям. Стапель,— понял он.— Это стапель. Ничего себе... На прокатный стан это совершенно не похоже, господин Гуннар Мархель, наверное, и не видел никогда прокатного стана. Скорее всего это напоминает увеличенный раз в десять каркас товарного вагона... бог ты мой, вот это балки! Тавры два на три, не меньше.— Петер уважительно похлопал ладонью по глухому железу. И вмуровали прямо в скальное основание — на какую глубину, интересно? Что тут от прокатного стана, так это роллинги — по ним, надо думать, будут катиться фермы моста. Но какое же усилие потребуется, чтобы их выдвигать, сотни тонн, если не тысячи... если не тысячи... Вот оно что! Это такие гидроцилиндры — мать твою... Даже сравнить не с чем. Ну, Юнгман, ну, инженер! Или вправду гений, или чокнутый. Впрочем, одно другому не мешает... одни глаза чего стоят...

— Дайте свет! Репетируем сцену в штабе. Господа генералы, вокруг стола, пожалуйста. Вы заинтересованы, но недоверчивы...

— Ладно, Гуннар, хватит,— это говорит трехкоронный генерал Йозеф Айзенкопф, или Йо — так его в глаза называет господин Гуннар Мархель и про себя — Петер. Генерал устал от всего этого шума, треска, жары и необходимости делать что-то по указке, генералы этого ужасно не любят, они натерпелись за годы своего пути к генеральству от собственных генералов и теперь превыше всего ценят в себе право выбора между здравым смыслом и желанием своей левой ноги,— тем более трехкоронные генералы.

— Хватит с нас на сегодня. Отсылай своих парней, и посидим с тобой, как прежде, помнишь, в Лондоне, в Брюсселе?

— Все помню, старина,— говорит господин Мархель, и голос у него расслабленный и теплый; жестом он отсылает Петера и операторов, и на сегодня рабочий день окончен.

Уже почти полночь, а небо светлое — север. Говорят, в июне здесь вообще не бывает темноты, только сумерки, и то недолго. Сейчас середина августа, и ночи наступают настоящие. Прохладно, но не потому, что земля остыла, просто небо здесь слишком близко, это от неба тянет холодом, а земля — земля еще очень даже ничего...

— А что, братцы,— сказал Петер неожиданно для себя,— не пойти ли нам на бережок да не посидеть ли? Что скажете?

— Пойдемте,— сказал Шанур,— как ты, Ив?

— Как все — так и я,— сказал Армант.— Ты же знаешь.

— Хотел удостовериться,— мягко сказал Шанур.

Петер почувствовал в этой скупой переброске фразами некий подтекст, что-то недоспоренное, недоговоренное — и интонация ка-

кая-то странная... Но ведь дружные ребята, явно знакомы сто лет и понимают друг друга с полунамека.

— Стоять! — раздался окрик.— Руки за голову! Пароль!

— Термит,— сказал Петер.

— Таракскон,— сказали из темноты.— Кто такие?

— Кино,— сказал Петер.— Имеем пропуск повсюду.

— Проходи,— часовой осветил их фонариком, мельком взглянул в пропуск, предъявленный Петером, и отступил в темноту.

— Кто это там? — спросили издали.

— Да киношники давешние,— ответил часовой.

— Ну, эти пусть идут,— разрешили там.

Несколько саперов сидели и курили в этаком гроте, образованном скалой, бетонным навесом и какими-то металлоконструкциями. Ничего почти не освещая, тлел костерок, несчастный крохотный костерок времен тотальной светомаскировки, лежала на газете наломанная крупными кусками гороховая колбаса «салют наций», да шла по кругу фляжка.

— Садитесь, мужики,— сказали от костра.

Мужики сели. Операторы вроде засмущались, а Петер, зная законы подобных сборищ, достал специально припасенную коробку матросских сигарок и пустил по кругу. Кто из саперов гасил свои самокрутки и подпаливал сигарки, кто совал их в нагрудные карманы про запас, но настрой теперь был только в пользу новоприбывших, фляжку передали им, им же протянули колбасу, а потом откуда-то из темноты возник дымящийся котелок, три жестяные кружки, и возник в воздухе неповторимый аромат крепчайшего чая.

— А вот сахара нет,— сказал один из саперов.— Чего нет, того нет.

Все почему-то засмеялись.

— А так даже лучше,— сказал Шанур.— Так вкуснее.

— И то правда,— согласились саперы.

«Интересно, из чего делают этот ром? — Петер отхлебнул еще, потом стал жевать «салют наций».— Шнапс — я точно знаю — из извести. А это? Опилки или брюква. Да, или опилки, или брюква, больше не из чего...»

— Где вы такой чай берете? — заинтересованно спросил Шанур.

— Э-э! — махнул рукой один из саперов — громадный мужик с рубцом во всю щеку.— Такие дела только раз удаются!

Все опять засмеялись.

— А хороший табак черти флотские курят,— сказал другой сапер.— Поутюжат соленую водичку, побаламутят, потом покурят, потом опять поутюжат. Чем не жисть?

— Нет, ребята,— сказал Петер.— Так тонуть, как они тонут — нет уж, я лучше курить брошу.

— Видел? — спросили его.

— Сам тонул,— сказал Петер.— Холодно, мокро, страшно, мазут кругом — слава богу, подобрали.

— У нас тоже — как минные поля снимать, такого натерпишься, потом неделю ложку до рта донести не можешь, все расплескивается...

— Да, медом нигде не намазано...

— Медом-то да, медом нигде...

— По штабам хорошо.

— По штабам-то точно хорошо...

Кому на войне хорошо, а кому и не очень — это самая благодарная тема; эта и еще — что начальство само не знает, чего хочет. Вырыли, допустим, капонир. Вырыли. Ага. Подходит. Вырыли, значит? Молодцы, хорошо вырыли. Теперь по-быстрому все это обратно заровняйте, а капониры во-он там отройте... Да и вообще, этот мост — затея, конечно, грандиозная, что и говорить, но какая-то уж очень канительная...

— Нас-то будете снимать? — спросили Петера.

— Само собой,— сказал Петер.— Кого же еще, как не вас?

— А говорят, артистов пришлют.

— Да бросьте вы, какие артисты?

— Да вот говорят, мол, артистов... Лолита Борхен, говорят, тоже будет.

— Документальное же кино, хроника,— сказал Петер, чувствуя мимолетный холодок где-то в области души, ибо сценарий — сценарий-то уже пишется...— Не должно,— добавил он менее уверенно.

— А этот... черный — он кто? — спросили опять.

— Не знаю толком,— сказал Петер.— По должности — советник министра пропаганды.

— Так ведь мы не про должность...

— Не про должность еще не знаю,— сказал Петер.

— Вот и мы тоже опасаемся...

А потом как-то неожиданно и беспричинно развеселились. Армант принялся рассказывать анекдоты, и вышло, что был он великим анекдотчиком, недостижимым ни по репертуару, ни по артистизму. Разошлись далеко за полночь, вполне довольные собой, обществом и времяпрепровождением.

— Все, ребята,— сказал Петер в блиндаже.— Завтра подъем до восхода, поэтому спать сразу и крепко.

— Слушаюсь, господин майор! — ответил Шанур по-уставному, и Армант не выдержал, захихикал.

Эти два обормота засопели сразу, а Петер долго еще ворочался — одолевали мысли, сомнения, планы, хотя и знал он совершенно точно, что грош цена любым его планам в означенных обстоятельствах. Потом он уснул и сразу же проснулся, но было уже утро — то есть начинало светать.

Ополоснувшись из ведра, Петер растолкал молодежь и погнал их на видовку. Надо было снять метров двести видовки — пейзажи при низком солнце. На младших Петер не слишком рассчитывал, потому накрутил эти двести метров сам. Солнце встает, плоскогорье освещено, а в каньонах мрак, глубокий и непроницаемый, с высоты снял стапель, там копошатся люди, маленькие такие мурашки; а на самом верху Петер нашел кое-что не менее интересное: бурили скважины в скале, в них на растворе загоняли двутавры, а потом к этим двутаврам приваривали мощные лебедки и наматывали на барабаны тросы, интересные очень тросы, Петер таких еще не видел: блестящие, ни пятнышка ржавчины, ни торчащей проволоки, хотя сами проволочки тонкие, едва ли не в волос толщиной; редуктор, электромотор, и кабель тянется вон в тот блиндаж, из которого выходит инженер Юнгман... Итак, инженер Юнгман в рабочей обстановке, в лучах восходящего солнца... есть.

— Уже работаете,— сказал Юнгман.— Хорошо.

— Когда же начнется? — спросил Петер.

— Через...— Юнгман посмотрел на часы.— Через пятьдесят минут. Пойдемте.

— Инженер,— сказал Петер.— Объясните мне суть дела. Я же должен знать, на что обращать внимание.

— А вам не объясняли?

— Только политический аспект.

— Я думал, вы уже в курсе... Так вот: там, внизу, на стапеле монтируются и свариваются фермы для моста. Разумеется, никакая ферма, как бы прочна ни была, не сможет выдержать своего веса при наращивании ее длины. Поэтому мы должны ее поддерживать. Отсюда, как с естественного пилона, ферма и будет поддерживаться особо прочными стальными тросами. Каждый трос способен выдержать три четверти веса одного звена фермы моста, поэтому каждое из них будет поддерживаться как минимум двумя тросами. Поскольку на последних этапах строительства из-за нарастания тангенциального коэффициента нагрузка на тросы, поддерживающие концевое звено, будет в три с половиной раза превышать его истинный вес, концевое звено будет крепиться четырьмя парами тросов, избыток прочности потребуется для компенсации собственного веса тросов, на случай возникновения автоколебаний... ну и прочего. Далее количество тросов на звено будет уменьшаться, и на последнем звене их будет минимум — два. Когда конечное звено упрется в противоположный берег, оно будет там зафиксировано, а затем, избирательно натягивая тросы и создавая сжимающее напряжение в ферме посредством домкратов, мы придадим мосту параболически-арочную форму, что позволит добиться его грузоподъемности в тысячу двести — тысячу четыреста тонн, то есть пустить по мосту колонну тяжелых танков с интервалом сорок метров,

либо колонну грузовиков с интервалом шесть с половиной — десять метров. Таким образом, при движении танков со скоростью двадцать пять километров в час, а грузовиков — тридцать пять километров в час, мы обеспечим переброску ударной танковой армии за четыре часа сорок минут. Я думаю, вам не надо объяснять, что произойдет при появлении в тылу противника ударной танковой армии?

— Не надо,— сказал Петер.— С этим мне все ясно.

Они спустились вниз на подъемнике, был тут, оказывается, и подъемник, и вовсе не обязательно было отсчитывать ногами полторы тысячи ступенек — да ладно уж... Саперы были построены, господин Гуннар Мархель черным вороном прохаживался в отдалении, младшие операторы тратили пленку, изощряясь в выборе точек съемки, и время подходило к назначенному, а генерала все еще не было. Наконец, опоздав минут на десять, он возник, стоя в рост в своем «Хорьке», инженер Юнгман рявкнул: «Смирно! Р-равнение — на середину!» — и стал было рапортовать, но генерал отмахнулся от него и, встав с ногами на сидение, прокричал, надсаживаясь:

— Орлы! Саперы! Вперед! Да не посрамим! По местам!

Строй распался, саперы быстро разбежались по местам, протрубил горн — и что-то началось. Началось незаметно, неявно, но движение, раз возникнув, перекидывалось на еще неподвижное, как невидимый глазу огонь, и вот медленно, с натугой, с тяжелым скрежетом растревоженного стоялого железа тронулась в стапеле, выдвигаясь из него клыкастой маской, насаженной на решетчатую шею, концевая ферма, та, которой предстояло проделать весь путь над пропастью и впиться в тугую скалистую плоть противоположного берега — вражеского берега, вражьего края... По верху стапеля суетились саперы, цепляя тросы, пока еще свободно висящие, безвольные, тяжелые,— нет, уже натянулись, уже держат, уже звенят от натуги, тонкие и прямые. Генерал стоял неподвижно на сиденье своей машины, вскинув правую руку; Петер поймал его в видоискатель и удивился — глаза генерала были плоскими, застывшими, подернутыми тиной. Манекен это был, а не человек, дешевый лупоглазый манекен — но тут манекен шевельнулся, глаза мигнули, сосредоточились на чем-то и вновь расплылись — и Петер понял, что генерал просто мертвецки пьян с утра. Распоряжался всем инженер Юнгман, да и вряд ли могло быть иначе: его замысел, его саперы... Инженер мелькал везде, неутомимо и проворно, ненадолго задерживаясь на каких-то, видимо, особо ответственных участках, и понемногу начинало казаться, что их здесь очень много, этих инженеров Юнгманов.

Петер старался побывать везде, было тесно и неудобно, и никак не удавалось найти той точки, с которой можно бы было дать панораму событий — да и не было, наверное, такой точки. Зато раз Петер сделал чудесный портрет Юнгмана, тот что-то говорил, показы-

вая рукой, и на этот раз не требовалось ему кричать: «Держи лицо», лицо и так было что надо: вставшие дыбом короткие седоватые волосы, обширный лоб с залысинами чуть не до темени, округлый как каска, и как каска, нависающий над лицом, развитые надбровные дуги то ли совсем без бровей, то ли с чрезвычайно светлыми бровями, а ниже — пещероподобные глазные впадины, какие-то неживые, жесткие и малоподвижные, как у черепахи, веки, но под этими веками глаза — яростные, страшные, быстрые; острые обтянутые скулы, острый нос, почти безгубый маленький рот и нежный девичий подбородок, решительно не имеющий никакого отношения к прочим участкам лица. Когда он говорил, почему-то казалось, что щеки у него тонкие, как пергамент — так они натягивались и сминались. Вообще инженер был быстр и экономен в движениях и, кажется, очень силен, хотя производил на первый взгляд впечатление хилости. Петер потратил на него метров пятьдесят пленки и знал, что потратил очень не напрасно.

Наконец, генерала увезли. В последний момент он потерял лицо, пытался спорить с адъютантом, хватался за кобуру и вдруг заплакал. Петер видел, как Шанур, держа камеру у бедра, пытается снять этот эпизод.

В гудение механизмов, скрип и скрежет металла посторонний звук проникал тяжело и, проникнув, значение свое почти утрачивал; поэтому частый перебойный стук, напоминающий стук многих молотков в отдалении и вызывающий такое же мелкое и частое подрагивание под ногами, внимание на себя обратил не сразу. Только когда вокруг стали поднимать головы и указывать пальцами вверх, Петер догадался, что бьют зенитки. Небо было рябое от разрывов, в кого стреляли, было неясно, потом среди белых, быстро темнеющих комочков сверкнул огонек, не погас и стал падать, рисуя длинную бессильную черту; зенитки перестали стрелять сразу — самолет был один. Он упал далеко за каньоном, даже звук взрыва не долетел сюда; лишь несколько минут спустя над скалами поднялся тонкий столб синего дыма. Сначала он поднимался вертикально, потом резко переломился под прямым углом и потянулся на север — там, наверху, дул ветер.

— Я это снял,— сказал Армант Петеру, вернее, не сказал, а прокричал на ухо.

— Молодец,— крикнул в ответ Петер.

■

Работы не прекращались и ночью, саперы сменяли друг друга, работая в две смены по двенадцать часов. Быт саперов снимать было фантастически трудно — они размещались поотделенно в таких тесных блиндажах, где не то что с освещением — с ручной камерой было невозможно повернуться. Поэтому, по распоряжению

генерала, саперы в свободное от работы время соорудили декорацию: поставили просторный сруб без окон и без передней стены, внутри отделали его — не без фантазии, надо сказать: там были не только нары, но и стол, и пара плетеных кресел, и аквариум, в котором плавала деревянная утка, и кинопроектор. Саперы изображали там фронтовой быт, а потом уходили спать в свои норы, неуютные, но почти неуязвимые при любой бомбежке. Потом господин Мархель придумал эпизод с баней, и саперы построили баню; после съемок они продолжали баней пользоваться, баня понравилась, раньше мылись просто из ведра.

Побывал Петер и у зенитчиков. В районе строительства было собрано что-то около восьмисот стволов, из них половина — в непосредственной близости от моста. Однажды там его застал налет — даже не то чтобы налет, просто пара истребителей на малой высоте пыталась прорваться к мосту, а может, это были свои, заблудившиеся; потом оказалось, что огонь вели только малокалиберные орудия — но от этого акустического удара он долго не мог опомниться.

— Как вы не шалеете от этого? — спрашивал он потом.

— Почему не шалеем? — ответили ему.— Шалеем.

Весь район был запретен для полетов, летчики, конечно, знали это, но иногда или теряли ориентировку, или выбора не было — когда тянули на последнем... Не так давно, рассказывали ему, пришлось сбивать ну явно свой бомбардировщик: он шел на одном моторе — куда уж тут огибать... Ну, постарались, сбили чисто: по второму мотору, кабину не задели, экипаж выпрыгнул. Оказалось, в экипаже этом был командующий воздушной армией, генерал. Он тут же стал орать и требовать, чтобы ему под пистолет подвели того, кто стрелял, он ему растолкует, в бога душу, как ясным днем стрелять в самолет с имперскими опознавательными знаками. Он так шумел, что кто-то вслух засомневался, а надо ли было стрелять так аккуратно. От этого генерал еще больше раззадорился, стал требовать самого главного, кто у них тут есть, тогда вышел командир полка Шторм и голосом скорбным, но твердым сказал, что выполнял категорический приказ генерала Айзенкопфа, к коему генерала-летчика сейчас доставят. Генерал-летчик уехал, остальной экипаж напоили спиртом и положили спать, а на следующий день отправили восвояси. С генералом же летчиком произошла странная история: в штаб он вошел, а из штаба не вышел, и это абсолютно точно, потому что ребята с той батареи, что стоит там рядом, секли за этим зорко. Поэтому сейчас — со ссылками на писарей, шоферов, адъютантов — поговаривают, что генерал-летчик томится в подвале штаба, оборудованном под тюрьму; в том же подвале, но оборудованном под вертепчик, пьет почерному с адъютантом генерала Айзенкопфа по особым поручениям майором Вельтом; в том же подвале преисполняется наслаждением посредством кинозвезды Лолиты Борхен; вынесен по частям в офи-

церских портфелях и сброшен то ли в каньон, то ли в нужник. И, надо сказать, это еще не самое странное, что происходит в штабе и вокруг него...

Мост был уже длиной около двухсот метров, когда случилась беда: лопнул один из гидроцилиндров домкратов. Струя масла под давлением триста атмосфер ударила в группу саперов, работавших на участке сварки, они собрались у трансформатора, что-то там не ладилось; пятерых рассекло, как сабельным ударом, остальные девять были ранены, покалечены, контужены, обожжены — трансформатор-то вспыхнул... Конечно, сработала блокировка, пожар погасили, масло теперь вытекало густой синей струей, нестрашной и безопасной, но работа остановилась. Запасной гидроцилиндр весил четыреста тонн, и установка его в такой теснине была мероприятием, мягко говоря, трудоемким. Шанур, дежуривший в то время, умудрился почти все снять, но господин Мархель пленку отобрал и тут же засветил, не вдаваясь в объяснения.

Трое суток потребовалось саперам инженера Юнгмана, чтобы снять лопнувший гидроцилиндр и поставить новый. Это была адская работа, Петер был там, в самой гуще, то снимал, то, когда кричали: «Помогай!» — помогал: подбегал и подставлял плечо, или тянул, или наваливался... Никто, наверное, не уходил отсюда все трое суток, если становилось невмоготу, спали тут же, вповалку — час, два, не больше. Юнгман посерел лицом и, когда монтаж цилиндра закончили, потребовал — именно потребовал — у Айзенкопфа отдых для саперов; Айзенкопф отказал, поскольку из-за аварии аж на три дня выбились из графика.

Ближе к вечеру господин Мархель устроил съемки в штабе. Петер сидел в уголке с камерой, а у стола в свете софитов решалась судьба двух якобы виновников аварии: помощника инженера Юнгмана, молоденького, только что из колледжа, паренька — его так и звали Студентом,— и саперного старшины. Суд вершили два майора из свиты Айзенкопфа и сам господин Мархель, почему-то в форме полковника кавалергардов и с приклеенными усами. Господин Мархель проинструктировал обвиняемых, как вести себя перед камерой, чтобы все выглядело естественно. Допрос начинался вроде бы с середины.

— Так вы признаетесь, что намеренно монтировали дефектный гидроцилиндр, заранее зная, что это приведет к аварии? — спросил господин Мархель.

— Да,— тихо сказал Студент. Старшина кивнул головой.

— Громче,— сказал господин Мархель.

— Да! — сказал Студент громко.

— Да, признаю,— сказал старшина.

— Таким образом вы намеревались сорвать постройку моста в срок и дать противнику возможность подготовиться к отпору? — снова спросил господин Мархель.

— Да,— сказал Студент.

— Да,— сказал старшина.

— Вы действовали по идейным соображениям или по недомыслию, или вас подкупили?

— Я вообще против войны,— сказал Студент так, как его научил господин Мархель.— Я пацифист.

— Мне пообещали поместье и сто тысяч динаров,— сказал старшина так, как его научил господин Мархель.

— Ясно,— сказал господин Мархель.

Он написал что-то на листочке бумаги и передал его одному из адъютантов. Тот прочел и подписал. Потом подписал другой адъютант. Господин Мархель встал.

— Именем Его Императорского Величества,— сказал он.— Согласно статье четвертой, пункт «д» вы, господин Валентин Болдвин, и по статье четвертой, пункт «с» вы, господин Иржи Костелец, в полном соответствии с положениями Процессуального кодекса Военно-уголовного уложения, были подвергнуты допросу и суду тремя офицерами высшего и среднего ранга, имеющих допуск к проведению правоохранительных и судебных мероприятий. Каждый из вас признан виновным в инкриминированном ему деянии и приговорен к лишению жизни посредством расстреляния. Приговор привести в исполнение немедленно.

Студент побледнел, старшина чуть улыбнулся в усы. Вошли четыре солдата комендантской роты и лейтенант в белых перчатках. Сложив руки за спиной, Студент и старшина вышли. Старшина был спокоен, его забавлял этот спектакль, Студент нервничал, на пороге он оглянулся и попытался поймать взгляд или жест господина Мархеля, но тот углубился в бумаги, вполголоса обсуждая что-то с одним из майоров. Потом он поднял голову.

— А ты что сидишь? — вскинулся он на Петера.— Марш за ними!

Петер нагнал конвой. Впереди шел лейтенант, потом два солдата, потом осужденные, потом еще два солдата. Петер шел, снимая с руки, потом забежал вперед и пропустил их мимо себя. Получилось неплохо. Дошли до обрыва, лейтенант поставил осужденных на край — Петер снимал,— солдат напротив, встал сбоку и посмотрел на Петера.

— Снял? — спросил он.

— Нет еще,— Петер отбежал подальше и снял всю группу.

Раздался долгий автомобильный гудок. Стоя в машине и размахивая рукой, сюда несся господин Мархель.

— Стой! — кричал он.

Лейтенант пошел ему навстречу, но господин Мархель объехал его и остановился перед Петером.

— Слушай, майор, я подумал — а если дождаться заката и тогда, а? На фоне заходящего солнца? Очень символично получится, как ты думаешь?

— Можно на фоне,— сказал Петер. Ему было все равно. Такие спектакли он просто презирал.

До заката оставалось с полчаса. Приговоренные и солдаты сели в кружок, закурили. Лейтенант стоял в сторонке. Господин Мархель встал на самый край обрыва и, сложив руки за спиной, раскачивался на носках. Петер забрался в его машину, шофер приподнял голову, спросил: «Куда?» и потянулся к ключу. «Спи, спи»,— сказал Петер. Наконец, господин Мархель решил, что антураж созрел, и велел всем строиться. Петер от обрыва снял солдат комендантской роты: в касках, с автоматами наперевес — очень воинственный вид; потом отошел так, чтобы в кадре были и те, и другие, и заходящее солнце тоже, отрегулировал рапид, крикнул: «Готов!»

— Именем Императора! — надрываясь, прокричал лейтенант.— Пли!

Коротко треснули автоматы. Старшина сразу стал падать навзничь, туда, в пропасть, а Студент поднял руку и будто что-то крикнул — хотел крикнуть, но не успел... Он упал лицом вперед, и солдаты, подойдя, сапогами спихнули его с обрыва.

Петер понял, что он все еще снимает, хотя пленка кончилась: индикатор горел, а он все давил и давил на спуск...

■

Он приходил в себя как-то послойно — вот ему казалось, что уже все в порядке, и то, что было на обрыве — просто сон, от которого трудно избавиться, но потом приходило понимание, что сон — это не то, что было на обрыве, а то, что происходит сейчас, когда тебе кажется, что сном было то; потом он посмотрел отснятую пленку и окончательно убедился, что все это было наяву, но потом ему стало казаться, что пленку он смотрел во сне, а настоящая пленка еще лежит у Баттена непроявленная, а Баттен, по обыкновению, смотался куда-то, и найти его невозможно, потом приходил Баттен и говорил, что все давно проявлено, просмотрено и складировано, потом появлялся господин Мархель и требовал от Баттена реальной работы, а не ее имитации, и оказывалось, что непроявленных лент чуть ли не больше, чем проявленных, в записях Баттена разобраться было невозможно, потом Петер все-таки разыскал эту ленту. Все было так, как ему запомнилось, это потом память стала, щадя рассудок, подсовывать миражи. И, просмотрев ленту несколько раз, Петер понял, наконец, что игра здесь идет совсем по иным

правилам и сначала надо в этих правилах разобраться, а уж потом делать ставки...

■

Постепенно Петер стал ощущать, что теряет плотность. Такие вещи случались с ним и раньше, и он знал, что это бывает и с другими кинохроникерами и корреспондентами: на них меньше обращают внимание, иногда вообще не замечают, они становятся как бы полупрозрачными и полупроницаемыми. Часто Петер входил без стука, и это никого не возмущало и не прекращало разговоров, причем всяких разговоров. Армант и Шанур тоже жаловались ему, что никто не обращает на них внимания до тех пор, пока они сами не заявят о себе. Это было, конечно, в порядке вещей и даже удобно тем, что вело ко многим творческим удачам, так, раз Петер зашел к инженеру Юнгману и застал его за листом, исчерченным эпюрами моментов и напряжений и испещренном формулами сопротивления на сжатие и на разрыв — Юнгман сидел и так напряженно смотрел на бумагу, будто хотел испепелить ее взглядом. Петер снял метров двадцать, и Юнгман его так и не заметил. Но в обыденной жизни это было весьма обидно: их не приветствовали, не приглашали к огоньку, ну и так далее. И еще надолго испортил настроение нехороший разговор с господином Мархелем.

— Прекращайте тратить пленку впустую,— потребовал господин Мархель.— Прекращайте. Есть сценарий, вот и работайте по нему. Зачем вам понадобился этот идиотский эпизод с трактором?

Петер вспоминал, что это был за эпизод с трактором, вспомнил и объяснил, что эпизод нужен был, во-первых, для демонстрации беззаветной преданности саперов делу строительства моста, во-вторых, для показа объективных трудностей, с которыми им приходится сталкиваться и сообща преодолевать, в-третьих, для колорита.

— Кончайте самодеятельность,— строго сказал господин Мархель.— Впредь работайте только в соответствии со сценарием. Ясно?

— А как будем снимать диверсантов? — поинтересовался Петер.

— До диверсантов еще дойдет очередь,— сказал господин Мархель.— Вот отснимем воздушные налеты, и тогда примемся за диверсантов. И помните: все изменения в сценарий вношу я. Не вы, а я. Поняли?

Налеты начались на второй день после этого разговора. Рано утром, невидимые простым глазом, прошмыгнули в вышине разведчики. Два было сбито, но несколько, видимо, сделали свое дело. В полдень из-за каньона, покрывая шум работы механизмов, накатился мощный, ровный, нарастающий рев множества моторов.

— Воздух! — раздалась команда, и тут же завыла сирена.

Саперы не суетясь покидали свои места и уходили в укрытия. Бояться до сих приходилось не столько бомб, сколько осколков своих же снарядов. Петер загнал операторов в блиндаж к саперам, а сам пока остался.

Он выбрал себе место на краю обрыва, под скалой: отсюда хорошо был виден и мост, висящий над пропастью, и самолеты, которые шли так высоко и так густо, что отдельные машины не улавливались взглядом, просто накатывалась туча, серая и тяжелая, только вот слишком уж быстро... Почти как свою уязвимость, Петер ощутил вдруг уязвимость моста — мост замер, ожидая, что будет, замер, накрепко притянутый к скале тросами, замер, как человек в ожидании выстрела — Петер удивился этому, но удивился мельком, потому что туча начала распадаться, эскадрильи расходились в стороны, а часть, те, что шли в центре, заскользили, снижаясь, разгоняясь для удара, предстоял знаменитый «звездный налет», когда самолеты нападают одновременно со всех сторон и с разных высот — Петер сумел снять это развертывание для удара, снять панорамой, кадр получался отменный, и мельком ему подумалось, что этот отменный кадр может сегодня и не уцелеть... И тут грохнули зенитки.

Это было как мордой об пол, а потом медленный звон в ушах, и мягкими кулаками молотило по голове, и где-то позади глаз сверкали белые вспышки, сливаясь в единое пламя, и Петер снимал, перезаряжал и снова снимал, уже плохо понимая, что происходит и что он сам в этом происходящем значит — орудия били, захлебываясь от спешки, и снаряды торопливо, обгоняя друг друга, лопались в вышине, выплескивая в небо свой жар и свою ярость, и небо сначала побелело, а потом раскалилось до ярко-розового сияния, и в сиянии этом истаивали бомбовозы и уже закопченными скелетами валились вниз, волоча за собой шлейфы сгоревшего стооктанового бензина и когда-то живой плоти — земля дрожала, ходила ходуном и вздрагивала, дергалась от ударов, и черные искры сыпались из разворошенного неба, и так было долго и кончилось как-то поразительно сразу, только пойманное эхо металось в каньоне и валил откуда-то тяжелый жирный дым.

Петер сидел на земле, камера валялась рядом, и не понять было, откуда взялась такая тишина, но вот кто-то подошел к нему и помог встать. Это был Шанур, вся морда в копоти и куртка прожжена во многих местах, он что-то сказал, но вновь вернулось эхо от того берега, и Петер не расслышал и переспросил, Шанур повторил, теперь Петер расслышал, но не понял. Шанур снял с него каску, сверху на каске была вмятина, а на голове — Петер потрогал — на голове вроде ничего такого не было, только болело под пальцами. Шанур и Армант, он тоже оказался здесь, взяли Петера под руки и

повели. Петер шел спокойно, ноги были как ноги, только земля покачивалась, как палуба.

— Отбились на первый раз,— сказал кто-то.

— И на второй отобьемся,— сердито сказал еще кто-то.— И на третий.

— Снарядов бы хватило,— сказал первый кто-то.

— Самолетов бы у них хватило, вот что,— сказал второй.— Видел, сколько сбили?

— Видел,— сказал первый.— Много.

— То-то же! — сказал второй со значением.

Странно это было: можно было либо слышать, что говорят, либо видеть, кто говорит, вместе это не складывалось, не стыковалось... хотя нет, вот вроде бы начала возвращаться острота, будто наводился фокус, и возникали звуки и цвета, фигуры и числа, и вроде бы объединялись в единую картину, как мозаика: кусочек белого стекла, кусочек красного стекла, три кусочка синего — глядь, и лебедь на пруду дует в медную дуду, а под деревом лиса распустила телеса, на нее взглянул монах и не смог сдержаться — ах!..

— Мужики,— позвал Петер, и немедленно в поле зрения сформировались встревоженные физиономии обоих мужиков.— Баттена — хоть с того света, и пусть немедленно проявит, что я тут наснимал...

А мост-то цел? Петер оглянулся. Мост был цел. Даже воронок поблизости от него не так уж много наковыряли.

Второй налет произошел часа через два. На этот раз бомбили с большой высоты, и целились, видимо, по батареям. Сбит был только один бомбардировщик. Вечером, перед самым заходом, батареи отбомбили еще раз. И весь следующий день налеты продолжались беспрерывно: эскадрильи с предельной высоты вываливали бомбы и уходили, уступая место следующим, не нанося существенного урона, но и почти без потерь. Когда подвели итоги этого второго дня, оказалось, что сбито четыре самолета и еще четыре «ушли со снижением, факт падения не зафиксирован»; бомбами выведено из строя одиннадцать орудий, тридцать два артиллериста убито, девятнадцать ранено. Противник решил применять тактику измора.

Работы приостановились. Саперам грозили не столько бомбы, сколько осколки снарядов: падая с такой высоты, они сохраняли убойную силу; крупные осколки, разумеется. Зенитные снаряды создаются с таким расчетом, чтобы при взрыве возникало большое количество мелких осколков, имеющих очень большую начальную скорость — два — два с половиной километра в секунду. Такой осколок, весящий десять — пятнадцать граммов, встречая препятствие, производит огромные разрушения; однако такую большую скорость он сохраняет на дистанции пятьдесят метров или чуть больше. Он вязнет в воздухе, как в песке, и падает на землю, уже

безопасный и остывший. Однако из-за отклонений в технологии производства взрывчатки, корпусов снарядов или взрывателей, из-за повышенной хрупкости или излишней прочности металла, или по другим причинам — но иногда, исключительно редко, в отдельных случаях при разрыве снаряда образуются один или несколько крупных осколков. Вес их колеблется от ста граммов до килограмма и больше, а начальная скорость сравнительно невелика, и в деле противовоздушной обороны их значение близко к нулю — рой быстролетящих мелких осколков произведет в конструкции самолета куда больше разрушений, чем один крупный и сравнительно медленный осколок; но потенциальная энергия его высока — из-за большой массы — и, по пути к земле трансформируясь в кинетическую, приводит в случае соприкосновения осколка с человеческим телом к летальному исходу. Сами понимаете, при зенитном огне под осколки подворачиваются тела тех, кого огонь этот призван защищать. Но — лес рубят...

Когда над головой рвутся десятки тысяч снарядов, крупные осколки падают дождем. Стали защищаться от осколков. Над рабочими местами установили навесы из листовой стали, наделали огромное количество щитов, чтобы прикрываться, пересекая открытые пространства. При монтаже навесов больше полусотни саперов выбыло из строя, из них половина — безвозвратно; зато работы возобновились и продолжались и днем, и ночью.

Где-то через неделю после возобновления работ в блиндажах к киношникам забрел инженер Юнгман. Он был явно не в себе, впервые Петер видел его настолько беспомощным. Баттен подливал ему шнапс, инженер пил, не хмелея, потом отказался: не в коня корм,— но не уходил, а все порывался, кажется, о чем-то поговорить, но все время — казалось Петеру — не решался и говорил о том, что не имело ни к чему ни малейшего отношения — то как женился во второй раз на женщине, выходящей замуж в четвертый раз, то перескакивал на свое детство и странным образом увязывал умение плавать и способность чувствовать свои ошибки, еще не осознавая их, то, чуть не плача, доказывал, что взрывать те мосты, которые только что перед этим строил — занятие не для разумного человека, но делать это ему приходилось, и многократно, поэтому за принадлежность свою к разумным существам он не поручится, то пространно излагал нечто о границе сред, и даже Петер со своим высшим техническим его не понял...

Погас свет, и минуту спустя лампочки чуть затеплились багровым — что-то случилось на электростанции. Тревоги, впрочем, не было, не было и посторонних звуков наподобие взрывов или выстрелов. Глаза привыкли к полумраку, и разговор возобновился, кто-то что-то сказал о неприспособленности человека к военно-полевым условиям, Петер возразил в том смысле, что попробуете еще насто-

ящих окопов, и здешняя жизнь представится раем, и тут Юнгман сказал:

— Ничего, приспособится человек. Машина приспособит,— и улыбнулся жестковато.

И голос его, и улыбка как-то обращали на себя внимание, и Петер спросил:

— Машина? Какая машина?

— Вообще машина. Машина с большой буквы.

Юнгман встал, уронил табурет и даже не заметил этого. Его, кажется, прорвало:

— Человечество... прогресс... процветание... свобода, равенство, братство и счастье... Чушь! Человек пребывает в приятной уверенности, что он является если не центром вселенной, то уж хотя бы царем природы здесь, на нашей планете. Чушь, чушь! С той минуты, когда первая обезьяна взяла в руки палку и привязала к ней камень, человек возник и сразу исчез, потому что появилась Машина. Нет человека в природе! Есть Машина, и есть полужидкие создания, которые при ней прижились. Человек как вид эволюции давно уже не подвержен, за него эволюционирует Машина. Идет эволюция Машины, и человек является только средством этой эволюции, так сказать, мутагенным фактором. Машина вполне сознательно отбирает себе людей. Когда-то ей понадобились люди с хорошо развитой кистью — они были отобраны и дали потомство, прочие сгинули. Ей нужны люди с хорошо развитым мозгом, на случай возникновения каких-либо кризисных ситуаций — пожалуйста, человек имеет мозг, стократно превосходящий тот, который ему необходим повседневно. Машина не подчиняет себе людей, это смешно — она их отбирает и развивает в соответствии со своими потребностями. Сегодняшними своими потребностями, заметьте. Эволюция слепа. Каменный топор не знал, что ему предстоит стать бронзовым, потом железным, потом бензопилой. Он просто потихонечку превращается из одного в другое. Цели у эволюции нет. Точнее, ее никто не знает — ни Машина, ни, тем более, человек. Конструктор, создающий новую форму Машины — ракету, скажем,— знает о результате своей работы не больше, чем космическая частица, поражающая яйцеклетку...

— Подождите, Юнгман,— сказал Петер.— Машина, по-вашему — это...

— Совокупность всех машин и механизмов, существующих сейчас в мире.

— Ага,— сказал Петер и задумался. Ему представились на миг расползшиеся по континентам железные шевелящиеся заросли, маслянисто блестящие, сверкающие, ветвящиеся, как кораллы...

— ...как кораллы,— подхватил его мысль инженер Юнгман, и Петер снова стал его слушать.— Новые слои нарастают, старые отмирают, все это приобретает самые причудливые формы — притом

старые слои не умирают сами собой, новые душат их, отнимая металл, энергию, людей — это приводит к конфликтам...

— И государственные границы,— напомнил Петер.

— Нет,— сказал Юнгман.— Это другое. Государственные границы для Машины — это как бы клеточные мембраны, они создают необходимую для развития разность потенциалов... впрочем, когда эта разность превосходит критическую, границы не выдерживают...

— Тогда война?

— Не обязательно. Аншлюс, колонизация, свободная торговля...

— А война?

— Война, мне кажется — это когда у Машины возникает что-то вроде раковой опухоли, и она ее удаляет...

— Интересно,— сказал Петер.— А когда мы станем ей не нужны, нас... того?

— Ну что вы,— сказал инженер,— как это — не нужны? Люди всегда будут нужны Машине, они — источник ее развития, ее изменений. Изменения всегда должны приходить извне, развития изнутри быть не может. Другое дело, что Машина вольна изменять нас самих по собственному своему усмотрению. Но что в этом страшного? Мы с вами — вид, выведенный ею искусственно. Ну и что? Вы чувствуете свою неполноценность?

— Да как сказать... До сих пор не чувствовал.

— Инженер! — вдруг заговорил Армант, голос его был напряженный и звенящий.— Получается, что вы отождествляете свою Машину с богом?

— Ну что вы,— сказал Юнгман,— какой бог? Организм, только и всего. Большой и сложный организм. Подумаешь, человеков выводит. Мы вот выводим новые породы собак — что мы, боги после этого? И вообще... бог... Бог не должен совершать таких ошибок. А то — уроды разные... тупиковые ветви эволюции... пирамиды там... и прочее. Хотя, может быть, создание бога — это и есть цель эволюции Машины? Бог из Машины... Только тогда, наверное, и человеку надо будет перестать быть лишь смазкой в ее шестеренках и возвыситься до нее. Всемогущество как цель... а если оно будет достигнуто и станет средством — тогда что? Новый виток? Ладно, пойду я...

Он поставил табурет на место и вышел. Утром его видели: совершенно спокойный, он обошел все участки, отдал несколько дельных распоряжений, потом вышел на мост, прошел по нему до самого конца — четыреста тридцать метров на тот момент,— долго стоял там, а потом прыгнул вниз. Армант, дежуривший в это утро с камерой возле моста, проследил объективом его падение до самого конца.

— Какая мелкая, себялюбивая сволочь! — негодовал господин Мархель, расхаживая по штабу; Петера он зачем-то притащил с собой.— Он что, не понимал, к чему это приведет? Как мы теперь

будем снимать сцены с ним? А? Что молчишь? — обернулся он к генералу Айзенкопфу, который тоже расхаживал по штабу, но с меньшей скоростью и большей амплитудой, вместе они смотрелись как маятник стенных часов и маятник Фуко.— Может, переснять все это? А где исполнителя взять?

— Любого из моих — дарю,— сказал генерал.

— Типаж не тот,— сказал господин Мархель с досадой.— Не тот, не тот, не убеждай меня! — он выставил перед собой ладонь.— Хоть он и сволочью оказался, а вспомни — какое лицо, а? Какие жесты!

— А может, так и сделать — мол, сволочью оказался? — раздумчиво сказал генерал.

— Да что ты говоришь? — возмутился господин Мархель.— Как это может быть, чтобы человек, который замыслил великое дело, и вдруг — сволочь? Нет, Йо, ты не понимаешь...— он забегал еще быстрее.— Ты ни черта не понимаешь. Тогда получается, что мост — это творение сволочи, а тогда — для чего он его замыслил и куда это смотрел генерал Айзенкопф? Что скажешь?

— А вот ты его сам и сыграй,— предложил генерал.

Господин Мархель задумался.

— А что, Йо,— сказал он медленно,— это, кажется, идея. Это надо обмозговать. Значит, так: у нас есть большая сцена представления проекта, у нас есть несколько сцен, где он на строительстве, и несколько, когда он за работой...

— Вы уже играете одну роль,— напомнил Петер.

— Вот и отлично,— сказал господин Мархель.— Выйдет так, что инженер сам вершит суд над изменниками.

— Вы в форме кавалергарда,— напомнил Петер.

— Да кто заметит! — начал было господин Мархель, но перебил сам себя: — Верно, майор.— Кому надо, заметят. Суд уже не переснять — или переснять?

— Нет,— сказал Петер.— Вы там в одном кадре... с теми.

— Жаль,— сказал господин Мархель.— А тебе, майор, это урок: впредь снимай так, чтобы было легко монтировать. Так, это отпадает. Что делать?

— Слушай,— сказал генерал,— эта сцена прыжка — она у тебя есть?

— Есть,— сказал господин Мархель.— Издалека, правда.

— Тогда дело можно представить так, что его застрелил снайпер,— сказал генерал.

— Точно, Йо! — вскричал господин Мархель.— Ну, ты и голова! И не подумаешь, что генерал!

— Стараемся,— сказал генерал, польщенный.

— Как сделать только, чтобы понятно было, что это снайпер? Телеобъективом... или в титрах просто? А, майор? Что скажешь?

— Можно просто в титрах,— сказал Петер.— А вообще-то... Есть кадр, я его снимал со спины, и он как раз закашлялся и вот так наклонился и схватился за грудь...

— Точно! — воскликнул господин Мархель.— Это то, что надо! Блестяще. Ну, майор, ну, молодец, это ж надо же так, а? Какие у нас люди, Йо, да с такими людьми нам бояться нечего, такие за нами и в огонь, и в воду, и к черту в пекло...

Они смонтировали кадры, снятые Армантом, с тем, что неделей раньше снял Петер, и получилось именно так: инженер стоял на мосту, потом вдруг наклонился вперед, схватился за грудь, и дальше он уже летел вниз, в бездонную почти пропасть, и камера безжалостно прослеживала его полет.

— Теперь надо траурное построение,— сказал господин Мархель.

— Можно использовать кадры построения при открытии строительства,— сказал Петер.

— Нет,— сказал господин Мархель.— И пусть стоят, обнажив головы. Выберите момент, когда стрельбы не будет, и снимите.

■

Начались трудности с подвозом. Чтобы обеспечить стройку всем необходимым — материалами, боеприпасами, едой, водой, горючим и вообще всем на свете, поскольку на месте, естественно, ни черта не было и быть не могло,— так вот, для этого требовалось не меньше шестисот авторейсов в сутки. Запасы, созданные заранее, растаяли моментально, с первыми же трудностями, а трудности, наоборот, все росли и росли. Авиация противника переключилась на дороги. Прикрыть зенитками все сотни километров дорог не было ни малейшей возможности, истребители по известным причинам вообще старались держаться подальше отсюда, поэтому вскоре шоферы даже под страхом расстрела отказались ездить днем — удавалось проскакивать лишь одиночным автомобилям. За ночь удавалось перевезти едва ли половину необходимого, тем более что и по ночам никаких гарантий не было: то налетали, как мошкара, легкие ночники и забрасывали грузовики мелкими бомбами и термитными шариками, то тяжелые — эти развешивали в небе «люстры» и бомбили неторопливо и прицельно, как на полигоне.

Вскоре стало совсем плохо с едой, воды выдавали по пол-литра на человека и зенитный огонь стал не таким оголтелым. Чего по-прежнему хватало, так это горючего для генераторов — сварка! — и всякого строительного железа.

Вместо инженера Юнгмана назначили другого — Ивенса. Этот был круглолиц и рыжеват и двигался замедленно, будто его рукам, ногам и туловищу приходилось преодолевать несильное, но вполне ощутимое сопротивление. Он принял дела от заместителя Юнгма-

на — майора Копитхеера; Петер при этом присутствовал. Они обошли стройку, а потом Копитхеер взял свое новое начальство за пуговицу и стал ему объяснять насчет формулы Кракси-Хомберга и модифицированной формулы Бернштейна — как начальство знает, всегда все считают по Кракси-Хомбергу, а Кракси и Хомберг интеграл сигма-эль-эф принимают за ноль, хотя при больших значениях эф зависимость сигма-эпсилон становится нелинейной, а мы имеем дело как раз с очень большими значениями эф, а это значит, что в пограничном слое возникнут напряжения, совершенно не учитываемые в расчетах, поэтому он, Копитхеер, осмелился посчитать по формуле Бернштейна, хотя это и запрещено по ряду причин, начальству, разумеется, известных — начальство покивало — и вот какой результат у него получился; более того, он полагает, что покойный Юнгман тоже считал по этой формуле — не сразу, а дня за три до того, потому что брал у него справочник, а сегодня он, Копитхеер, справочник этот забрал обратно, а там закладка именно на этой странице, понимаете? Да-да-да. Именно так. Вот и он, наверное, тоже — посчитал-посчитал, да и прыгнул с моста. Прыгнул? Почему прыгнул? Его же убил снайпер. Какой снайпер, что вы? Уверяю вас, именно снайпер. И формула Бернштейна не применяется совсем не по тем причинам, о которых вы думаете. Бернштейн не учитывает продольного сцепления силовых элементов, кроме того, он ведь неокантианец, субъективный идеалист — так что, инженер, не запудривайте разными глупостями мозги себе и другим. Идите.

Копитхеер постоял, потом порвал свои бумаги пополам, еще пополам, смял их и бросил в пространство перед собой, пнул ногой нечто воображаемое и ушел, бешено-бледный, яростно отмахивая левой рукой комментарии к какой-то произносимой про себя фразе. Петер, дождавшись ухода Ивенса, подобрал брошенные бумаги и сунул их в карман. С этим следовало разобраться подробнее.

Построение по случаю панихиды по инженеру Юнгману было назначено на пятнадцать часов. Саперы стояли, сняв каски, и генерал Айзенкопф говорил речь. Речь была длинная, хотя и укладывалась примерно в такое изложение: он был хорошим гражданином, верным слугой Императора и гениальным инженером, он заложил фундамент нашей победы и пал от пули врага. Наверное, говорить коротко и емко генерал считал несолидным. Когда он перешел к тезису о том, что вот сейчас самое время в едином порыве завершить начатое им строительство и тем способствовать окончательному разгрому врага, один из саперов упал — как стоял по стойке смирно, так и упал лицом вниз. Остальные стояли, не шевелясь, пока кто-то не крикнул: «Ложись!». Адъютанты генерала попадали на него сверху, прижав к земле. У сапера, упавшего первым, из-под головы выползала красная лужица. Петер подбежал к нему, перевернул на спину. Пуля попала саперу в висок.

Прикрывая Айзенкопфа со всех сторон, адъютанты увели его подальше отсюда. Сапера отнесли в тень, прикрыли брезентом. В тот день мост больше не ремонтировали: ставили дополнительные броневые щиты на рабочих местах, рыли траншеи и отсыпали брустверы, развешивали брезенты и маскировочные сети, прикрываясь от взгляда с того берега. Пули настигли еще двоих: был убит лейтенант и тяжело ранен рядовой сапер. Казалось, что принятые меры обезопасят работы — но черта с два! Пули прилетали неведомо откуда и неведомо как находили цель. Потери росли и росли. В своем блиндаже, где была только крохотная отдушина под потолком, был убит Копитхеер — в голову. Так же, в голову, был убит сапер, спавший на нарах: вечером лег головой в угол, утром стали его поднимать, а он уже холодный; уж там-то даже отдушины не было, и три наката сверху, и народ вокруг, и выстрела никто не слышал... Чудом избежал смерти Шанур: сидя на дне траншеи, он перезаряжал камеру, в какой-то момент он наклонил голову, и тут же в стенку траншеи ударила пуля. Она зацепила мочку уха, каменной крошкой посекло плечо и шею, несколько дней этим ухом Шанур не слышал. Место было глухое, вдали от каньона, совершенно не просматриваемое с той стороны, да и вообще со дна траншеи было видно только небо. Пулю Шанур выковырял и принес Петеру; это была сплющенная девятимиллиметровая пистолетная пуля. Петер велел помалкивать и пулю спрятал до лучших времен.

Бесчинство снайперов продолжалось с неделю, потом пошло на убыль. Может быть, после того, как прибыли минометчики. Они расположились наверху, где стояли лебедки, и целыми днями обстреливали противоположный край каньона. Петер поснимал их, потом перепоручил это дело Арманту, и тому поручение пришлось по душе. У операторов вообще наметилась некая специализация: Петер больше уделял внимания производственным процессам, Шанур углубился в быт саперов и артиллеристов — не в тот официально освещаемый быт, который вместо отдыха разыгрывали перед камерой солдаты в специально построенных декорациях, а реальный быт, подсмотренный почти тайно; Арманта увлекало все, связанное со стрельбой. Петер просматривал его материал: орлы-минометчики на позициях, наблюдатель с биноклем, вот он видит нечто шевелящееся и дает команду, по рукам плывет тяжелая мина и опускается в ствол, все зажимают уши — камера вздрагивает от ударной волны, снова тот берег, несколько секунд ожидания — и взрыв там, где только что что-то шевелилось. Потом еще и еще взрывы. Все заволакивает пылью и дымом. Еще с одним снайпером покончено! Петера занимал один вопрос: почему за все время у минометчиков не было ни одного убитого и даже раненого, если не считать того олуха, который в пьяном виде полез на часового? Минометчики рапортовали о своих победах, требовали огромное

количество воды якобы для охлаждения стволов, а по ночам приносили эту воду саперам и обменивали на всякие приятные безделушки наподобие ножей, зажигалок, динаров и прочего.

У Копитхеера был прескверный почерк, Петер немало помучился с ним, он даже хотел было к нему сходить и попытаться объясниться, но не успел застать его в живых. Тем не менее Петер вник-таки в существо вопроса. И никому ничего не сказал. Все равно изменить ничего уже было нельзя.

Мост до момента соприкосновения с противоположным берегом представлял собой рычаг, одно плечо которого — сам мост — длиной тысячу метров удерживалось другим плечом, расположенным под углом девяносто градусов — утесом трехсотметровой высоты, наверху которого и крепились тросы; осью вращения рычага был стапель. Юнгман, используя формулу Кракси-Хомберга, рассчитал, что прочности гранита, стальной фермы моста и тросов особого плетения хватит даже с некоторым запасом — примерно пятнадцать-двадцать процентов. Копитхеер же по запрещенной к использованию формуле Бернштейна высчитал, что прочности каждого отдельно взятого элемента действительно хватит, но в месте их взаимодействия, а именно там, где сталь вмурована в гранит, из-за различия в прочностных характеристиках этих материалов возникнут локальные напряжения, превосходящие критические. То есть в момент, когда длина моста достигнет метров восьмисот — восьмисот пятидесяти, начнется трещинообразование — вначале в месте закрепления стапеля, а чуть позже — там, где крепятся тросы, то есть у основания лебедок. Таким образом, сначала стапель «поплывет» назад, но это не так страшно, это можно скомпенсировать; однако лебедки... Вначале трещины будут распространяться локально, и сваи, на которых держатся лебедки, станут чуть наклоняться вперед, как бы продавливаясь сквозь образующийся щебень; образование щебня на некоторое время парирует нарастание напряжений — до тех пор, пока длина моста не достигнет девятисот пятидесяти метров; тогда микротрещины сольются в одну макротрещину, и весь этот гранитный утес — то есть оба утеса, справа и слева от моста — как отрезанные ножом, отделятся по линии пробитых скважин от основания и... и все. Вместе с мостом.

Мост был длиной уже семьсот шестьдесят пять метров, когда состоялся новый массированный налет. Почти две недели изматывания зенитчиков и террора на дорогах привели к тому, что зенитный огонь весьма ослаб. Какое-то количество орудий вышло из строя, люди устали до безумия и еле двигались, снарядов было в обрез... Первая атака по обычному сценарию: с большой высоты, дразня, три эскадрильи отбомбились по батареям. И тут же, без паузы, произошел второй налет — на бреющем полете одномоторные пикировщики попытались прорваться к мосту. Что там попытались — прорвались!

Не промахнись ведущий, и все было бы кончено. Маневр, предпринятый для атаки, был гениален: пикировщики, выстроившись цепочкой там, над своим берегом, незамеченными подкрались к самому каньону, перед мостом делали «горку», бросали бомбы и уходили в каньон, мертвую для зениток зону. Но ведущий промахнулся и вывел их чуть в стороне от цели, и у них не было возможности перестроиться, потому что каждый шел в хвост предыдущему, и все они четко повторили ошибку командира, и в тот момент, когда они видели цель, у них уже не было возможности что-то исправить. А когда ведущий, поняв, что его промах — это промах всех, пошел на второй заход, зенитчики уже опускали стволы, и полсотни пушек ударили навстречу пикировщикам. Шесть самолетов один за другим вспыхивали и рушились в каньон, пока, наконец, пикировщики, не выдержав такого огня в лицо, не стали отваливать в сторону.

Через полчаса появились новые самолеты — там, у противника, видимо, твердо решили, что с мостом пора кончать. Бомбардировщики прорывались сквозь поредевший огонь и бросали бомбы, как могли, прицельно. Петер, полуослепший и полуоглохший, забился между толстенными балками стапеля и продолжал снимать; несколько раз стапель содрогался так, что, казалось, вот-вот все обрушится к чертям, но не обрушивалось — и бомбежка продолжалась. Снова пикировщики попытались выйти на мост — их разметали, но они продолжали кружиться, и то один из них, то другой начинали падать, целясь по мосту; Петер заметил вдруг, что мост ходит ходуном, раскачиваясь все сильнее и сильнее, и, наверное, поэтому они никак не могли в него попасть — и эти раскачивания создавали странные, пробирающие до спинного мозга звуки, звуки, совершенно свободно проникающие сквозь грохот боя: будто в пустом пространстве настраивали исполинскую скрипку. Петер непроизвольно огляделся, а может быть, его так передернуло, от таких звуков впору было узлом завязываться — и увидел сапера, старого своего знакомца, того огромного парня с рубцом на щеке — забыл, как звать,— сапер несся, катя перед собой, как тачку, эрликоновскую счетверенку и ревел так, что Петер разобрал кое-что, когда сапер пробегал мимо него. «А-а-а, бля-а-а! — ревел он.— Катафалки к бою! Гробометы — огонь! Будем биться до усеру!!!» Он промчался по мосту, покачиваясь в такт его колебаниям, не добегая до конца, отжал установку на домкраты и открыл огонь по пикировщикам.

Бог его знает, что творилось наверху, но стапелю пока везло, узким и извилистым было ущелье, на дне которого он находился, и бомбы рвались все больше по склонам его, вниз летели камни, осколки, но прямых попаданий пока не было, пока не было, пока...

Тот бомбардировщик Петер увидел сразу. Подожженный в первом заходе, он развернулся и шел прямо на мост, вдоль оси моста,

шел по прямой, не отворачивая, оба мотора горели, и зенитки лупили по нему в упор, и тот сапер из своей счетверенки поливал его трассами, а бомбардировщик все шел и шел, пока снаряд крупного калибра не разорвался у него внутри — и самолет, показав желтое брюхо, не завис и не стал разваливаться на куски прямо в воздухе — но бомбы уже отделились от держателей и теперь шли туда, куда их нацелил разнесенный на атомы экипаж, шли, завершая последний отрезок замысленной и исполненной штурманом и пилотом траектории, и Петер ловил эти бомбы в видоискатель, и только в последний момент закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.

Бомбы легли в цель.

Удар был страшной силы и со всех сторон одновременно, Петера будто сплющило, вбило в балку и опалило сокрушительным жаром, но он странным образом продолжал оставаться живым и чувствовать себя и окружающее, и только когда его во многих местах сразу прожгло насквозь чем-то раскаленным, он испугался — и тут его взмело, подхватило и понесло, скручивая, по воздуху и совершенно небольно вмазало во что-то твердое и перевернуло, и покатило куда-то, и все это время, прекрасно понимая, что именно происходит, он прижимал к животу камеру и больше всего боялся, что не удержит ее в руках — его уже не так сильно, как вначале, вдавило во что-то, и он остался лежать в кромешной тьме, вокруг грохотало и рушилось, и что-то огромное упало на землю совсем рядом с ним, подпрыгнуло и снова упало уже окончательно — земля ударила Петера снизу, но он почему-то ничего не видел, не могло быть такого, чтобы вдруг наступила темнота, Петер потрогал глаза, но рука наткнулась на непонятную преграду, и только боль подсказала ему, что это его собственная, свисающая со лба, кожа. И с этой болью возвратилась боль остальная — такая ослепительная, что он чуть не закричал. А может быть, и закричал, потому что перестал чувствовать что-либо кроме этой боли. Наконец, его подобрали.

Две недели он пролежал в госпитале для легкораненых. Парадоксально, но факт — Петер отделался, если не считать ободранный лоб, только ушибами да массой ссадин: его будто бы наждачной бумагой поскребли во всех сколько-нибудь выступающих местах. Кожу на лбу пришили на ее законное место, и теперь она страшно чесалась, но чесать ее было бесполезно, потому что прикосновений она не ощущала — такие вот забавные вещи случаются. Петера сразу, раздев догола, с ног до головы вымазали каким-то вонючим маслом и завернули в простыню, этим же маслом пропитанную — так он и лежал, первые дни ему кололи морфин, потом что-то послабее, потом вымыли, смазали марганцовкой, выдали обмундирование и велели убираться на все четыре стороны и никогда сюда больше не попадать.

Его ждал Эк с машиной. Летучий Хрен, прознав обо всем, велел Петеру прервать командировку и вернуться в редакцию за дополнительными инструкциями. Езда причинила Петеру массу переживаний — ягодицы пострадали не менее, чем локти и колени; наконец, он приспособился ехать стоя, придерживаясь за дугу тента. Эк рассказал, что мост устоял, но работы пока ведутся только восстановительные, потому что разбомбили к чертям собачьим все подъездные пути, электростанцию — ее настолько основательно, что сразу стали строить новую,— и здорово покорежили стапель. Ну, и по мелочам... да. Но налеты прекратились. Почти прекратились. В тот день отбили, говорят, пятьдесят шесть самолетов — это кого хочешь отучит...

Летучий Хрен расспросил Петера — очень кратко — о делах и велел отдыхать. В тот же вечер Менандр свозил Петера в генеральскую баню, там за него взялся огромных размеров волосатый мужик и за два часа превратил Петера в розовую ватную куклу — размял, снял коросту, распарил и измолотил руки, ноги, спину. Наутро Петер проснулся легким и обновленным. И пошел к Летучему Хрену.

— Так сразу? — удивился тот.— А я хотел тебя еще здесь подержать.

— Позарез надо,— сказал Петер.— Просто позарез.

— Ну, тогда давай, выкладывай подробности,— сказал Летучий Хрен. И потом, когда Петер выложил все, что знал и о чем догадывался, и о чем только подозревал, согласился: — Поезжай.

■

«Возвращается на круги своя, подумал Петер,— все та же докрасна ободранная земля, следы наступления великой инженерной армии, но ведь я вижу это только во второй раз, почему же кажется, что в — сотый? А вот новенькое: дюралевые обломки, разбросанные вокруг — да как много! Специально стаскивали и раскладывали вдоль дороги. А машин разбитых нет, убирают с глаз долой. Рука господина Мархеля, это уж точно...»

Баттен спал в блиндаже, больше никого не было; Петер посидел, потом зарядил новенькую, привезенную с собой камеру и пошел бродить по окрестностям. Разрушения, причиненные последней бомбежкой, были велики и бросались в глаза даже сейчас, по прошествии времени: бесформенные обломки, сгребенные бульдозерами в кучи, захламленная территория бывшей электростанции — туда свалили изуродованные фермы моста, а вот этой глыбы раньше не было, она скатилась сверху... Но работа кипела, дорогу отсыпали еще лучше прежней, новая электростанция напоминала подземный форт, а главное, везде были понарыты щели, траншеи, ходы сообщения и прочее, и прочее...

В такой вот момент созерцания Петера и застал подполковник-адъютант.

— Подполковник Милле? — произнес он этаким полувопросом — знал ведь точно, но считал необходимым уточнить.

— Майор Милле,— Петер уточнил, как и предполагалось.

— Простите, подполковник,— сказал подполковник,— у меня более свежие сведения. Господин советник просит вас немедленно прибыть в штаб.

— Странно,— сказал Петер.— Почему-то я привык считать себя майором.

— Звание вам присвоено только сегодня,— сказал подполковник.— Час назад. Прошу в машину.

Господин Гуннар Мархель принял Петера стоя.

— Господин Петер Милле! — сказал он торжественно.— За примерное исполнение воинского и профессионального долга вам присвоено воинское звание подполковника от инфантерии. Примите мои поздравления.

— Слуга Его Величества! — ответил Петер, приняв предписываемую уставом стойку: пятки вместе, носки на ширину ступни, руки согнуты в локтях и локти отведены назад, подбородок приподнят.

— Вольно,— сказал господин Мархель.— А теперь побеседуем о нашей работе.

Беседа свелась к тому, что господин Мархель говорил, а Петер слушал и соглашался. В сценарий мы вынуждены внести некоторые изменения, говорил господин Мархель, и вы должны с ними ознакомиться. Возможно, придется переснять некоторые сцены. Завтра прибудет еще одна киногруппа, на этот раз с киностудии «ДОРМ», им предстоит снимать трюковые сцены, вас это не коснется, работать будете независимо друг от друга, хотя некоторая координация действий будет осуществляться, и не только мной, но и вами. Далее: участились случаи пропажи и недостачи лент у оператора Шанура. Разберитесь и доложите. Далее: по объективным причинам строительство выбилось из графика. Тем не менее при производстве съемок следует руководствоваться тем фактом, что строительство не прекращалось ни на минуту. Пока все.

Вошел лысый, гладко выбритый полковник в мешковатой шинели. Петер поприветствовал его, полковник ответил небрежно и стал по-хозяйски ходить по генеральскому кабинету, заглядывать в какие-то бумаги на столе; замерший от почтительности подполковник-адъютант, уловив некий тайный знак, сорвался с места и принял шинель. Под шинелью оказался генеральский мундир. Стоя у зеркала, лысый генерал с отвращением смотрел, как адъютант натягивает на него парик, расчесывает волосы, приклеивает усы — как на свет божий появляется привычный генерал Айзенкопф...

— Скотина ты, Гуннар,— сказал генерал, обретя свой былой вид.— Знал бы ты, как мне остомерзил этот маскарад!

— Но это же для твоей же безопасности, как ты не понимаешь, снайперы ведь так и охотятся за тобой.

— Да перестань ты — снайперы... Снайперы... Чуть голову нагреет — такое начинается, что впору о том снайпере молиться, сколько хочешь. Или пересними все, чтобы я в нынешнем виде везде был.

— Думал уже, не получается,— сказал господин Мархель.

— Заладил: не получается, не получается... Правда, возьми артистов, загримируй — и вытворяйте с ними, что хотите, слова не скажу.

— Ну, Йо, ты так говоришь, что неудобно становится, ей-богу,— сказал господин Мархель.— Это же кинохроника, не что-нибудь там...

— Придумай что-нибудь, на то ты и ...

— ...не что-то там! Ты должен выступить перед саперами.

— Ну вот еще. Мало я выступал?

— Надо призвать их к стойкости. К стойкости перед лицом врага.

— Было уже. И к стойкости, и к верности, и к умеренности, и к самопожертвованию — ко всему было.

— Тогда было перед строем. А сейчас ты обратишься по радио. Я так и вижу: ты перед микрофоном, а следующий кадр: репродукторы, и все оборачиваются, сбегаются, на лицах — самое предельное внимание... Ты выступишь символом объединения, понимаешь?

— А что я буду говорить?

— Что всегда: доблестные воины, наследники ратной славы великих гиперборейских атлантов Гангуса, Слолиша и Ивурчорра, перед лицом коварного врага — да не посрамим знамен... Ну и прочее в том же духе, сам знаешь. Призовешь к сплочению, к стоицизму, к подвижничеству.

— Надо тогда радио провести.

— Ну так проведи. Не мне же этим заниматься.

Генерал кивнул адъютанту, тот четко повернулся и вышел.

— Ну, подполковник,— обратился господин Мархель к Петеру,— вы поняли свою задачу? Вот вам сценарий — читайте и думайте. Я проверю. Завтра будем снимать генерала, говорящего с народом по радио. Готовьтесь. И насчет недостающих лент — проверьте.

— Есть,— сказал Петер.

Сценарий.

«Бдительно несут службу зенитчики: солдаты и офицеры из-под ладоней вглядываются в небо; неприятельский самолет! Огонь! — командует офицер. В небе кучно возникают белые шарики разрывов, еще, еще — и, пылая, вражеский ас...» Так, это уже было. Дальше что?

«Работает бульдозер. Вот он сгребает с дороги обломки вражеского самолета, и вдруг в стекле кабины появляется маленькая дырочка в центре паутины трещин. Дверца медленно открывается, и, хватаясь за нее руками, на землю вываливается тело сапера. Бульдозер продолжает двигаться вперед, но, лишенный воли и руки человека, застревает и впустую скребет гусеницами камень. Следующий кадр: в ряд лежат, укрытые национальным флагом, пять-шесть тел. Саперы с обнаженными головами клянутся отомстить за погибших. Следующий кадр: минометчики на позициях, наблюдатель с биноклем, вот он видит противника и дает команду, по рукам плывет тяжелая мина, опускается в ствол, все зажимают уши — выстрел. Снова тот берег, несколько секунд ожидания, и взрыв там, где только что сидел вражеский снайпер. Потом еще и еще взрывы. Все заволакивает дымом и пылью. Еще с одним снайпером покончено!»

Петер перелистнул сразу десяток страниц.

«Саперы со сварочными электродами в руках. Яркий свет сварки. Вдруг он меркнет. Гаснет электрическая лампочка. Останавливаются моторы, приводящие в действие масляные насосы домкратов. Останавливаются лебедки, натягивающие тросы. Роторы электрогенераторов делают по инерции несколько оборотов и застывают в неподвижности. В чем дело? Почему остановились дизель-моторы? Вот он, ответ: форсунки засорены песком! У кого поднялась рука на подобное злодеяние? Кто этот мерзавец? Он не ушел от ответа, он схвачен за руку, мелкий и скользкий тип, под чужой личиной проникший на стройку. Кто ты: убежденный враг, или продажная тварь, или мстительный, не прощающий мелких обид мизантроп? Все это мы узнаем. Два офицера полевой жандармерии уводят его...»

«...разбрасывая в стороны застывшие автомашины, танк рвется вперед, к мосту, но на пути его встает сапер с гранатой в руке. Бросок гранаты — и танк застывает, окутываясь дымом. Второй танк пятится, но уйти ему не удается: еще одна граната...»

«...торжественный момент. Да, свершилось! Исполинской стальной дугой соединились берега каньона, и тяжелые танки, грохоча по настилу, устремляются на вражеский берег. Вот они, не встречая сопротивления, сминают слабые заслоны и растекаются по оперативному простору. За ними идут бронетранспортеры с пехотой. Десятки истребителей и бомбардировщиков проходят над ними, и там, где враг не сдается, его смешивают с землей. Полная и окончательная победа, Ватерлоо наших дней! Торжество...»

Петер захлопнул папку. Шикарная кожаная папка, богатое тиснение, надпись: «К докладу». Это чтобы генералы не испытывали отрицательных эмоций, осязая ее. Тисненая кожа ласкает холеную кожу генеральских ладоней куда искусней, чем плебейский картон. И эти мягкие кресла... Как там у Вильденбратена? «Понимая Отечество

прежде всего как зеленое бархатное вместилище для собственного зада, пекутся, разумеется, о пользе его и процветании...»

Вошел Шанур и кинулся к Петеру чуть ли не с объятиями.

— Наш майор вернулся! — заорал он, и Баттен подскочил на койке и сел, озираясь.

— Тьфу, черт,— сказал он наконец.— Приснится же такое! Майор — это хорошо...— он лег к стенке лицом и снова уснул.

— Ты чего это так обрадовался? — спросил Петер, в общем-то польщенный такой встречей.

— Как — чего? — удивился Шанур.— Просто — хорошо. Ну и работа... тоже...

— Пойдем наружу, поговорим,— сказал Петер.

— А снайперы? — напомнил Шанур.

— А «Трех мушкетеров» ты читал? — в свою очередь напомнил Петер.

— Понял,— сказал Шанур.— Тогда я поведу.

Он привел Петера на монтажную площадку, к подножию покалеченного бомбами подъемного крана. Кран этот просто оттащили в сторону, чтобы не мешал. На его месте уже стоял новый. Петер и Шанур забрались по лесенке в кабину крановщика, прикрытую со всех сторон броневыми щитами, и там расположились.

— Христиан,— сказал Петер.— Я не буду вызывать тебя на откровенность и так далее, я просто хочу тебя предупредить: ты под очень серьезным подозрением у этого черта. Ты брал на складе больше лент, чем сдал отснятых. Как будем оправдываться?

Шанур молчал, покусывая губу.

— Десяток лент я могу взять на себя: после той бомбежки, сам понимаешь...

— Не получится,— сказал Шанур.— Я тогда подобрал и вашу камеру, и сумку.

— И сдал?

— Не все.

— Что оставил?

— Ту ленту, которая была в камере. И еще наугад две из сумки. Больше не смог.

— Понятно... Значит, так. Подашь мне рапорт. Примерно так: об отчетности за пленку предупрежден мною не был. Поэтому выбрасывал испорченные ленты. Напиши, что камера рвет перфорацию. Камеру отдай Баттену, пусть покопается. Теперь об ответственности предупрежден, будешь сдавать все ленты независимо от их состояния. Понял?

— Но как же тогда?..

— Что-нибудь придумаем. Да и сданные, они не пропадут: часть пойдет на эту стряпню, а остальные — в архив, и там будут храниться, пока...

— Да нет же! — перебил Шанур.— Нет же, нет! Их уничтожат сразу, понимаете, сразу, как только фильм будет сделан!

— Откуда ты знаешь?

— Я подслушал. Они меня не заметили, и я все слышал, что они говорили.

— И ты решил сделать собственный фильм?

— Я решил сохранить правду обо всем этом.

— А ты знаешь, например, что делают с солдатами, у которых находят дневники?

— Знаю. Но ведь дневники продолжают находить!

— Где ты их прячешь?

Шанур помедлил, и Петер вдруг остро захотел, чтобы он ничего не сказал, не выдал тайника, потому что... потому что это подрасстрельное дело, а так — не знаю, и все... Он чуть не сказал: «Молчи!», но не сказал почему-то, и Шанур, облизнув губы, прошептал ему на ухо:

— Под стапелем, возле самой крайней опоры, справа — там яма...

— Тебя никто не видел? — тоже шепотом спросил Петер.

— А я сам и не кладу,— сказал Шанур.

Петер посмотрел на него. Лицо Шанура было серьезно, губы упрямо сжаты — хорошее лицо...

— Ладно,— сказал Петер.— С пленкой мы что-нибудь придумаем. У Баттена такой бардак в учете... А рапорт напиши, и послезливее: мол, ничего не знал, не хотел, простите на первый раз... Изобрази испуг.

— Чего уж тут изображать,— сказал Шанур тихо.— Все нутро — как овечий хвост...

■

Вторая киногруппа прибыла не завтра утром, как ожидали, а сегодня вечером. Над Плоскогорьем стояла сплошная облачность, лили дожди, самолеты не летали, ездить стало можно в любое время суток. Петер смотрел, как они выгружаются: два десятка человек, пять машин, в том числе автокран для съемок сверху, стационарные камеры, прожектора, десятки контейнеров и ящиков — короче, народ серьезный. Господин Мархель отвел в сторонку режиссера и что-то ему втолковывал. Среди этих двадцати было несколько девочек, и Баттен уже крутился среди них. Баттен никогда не упускал ни малейшего шанса.

Шанур тронул Петера за рукав, кивнул головой в сторону:

— Поговорим?

Они пошли рядом.

— Саперы просили меня тебя привести,— сказал Шанур.— Познакомиться. Пойдешь?

— Просили? — усмехнулся Петер.— Ну, раз просили, то пойду. Ты мне вот что скажи: ты Арманта давно знаешь?

— Давно,— сказал Шанур.— Вместе жили, вместе служили, вместе в офицерскую школу попали, вместе — на курсы операторов, вместе — сюда. А что?

— Что он представляет из себя?

— А ты еще не понял?

— Да как сказать...

— Без лести предан.

— То есть? — не понял Петер.

— Это девиз был какого-то государственного деятеля — без лести предан. Вот и Ив — без лести предан. Понятно?

— Понятно. А если он узнает, что ты делаешь — как поступит?

— Не знаю. Думал над этим — не знаю. Не могу представить себе, что донесет, выдаст — и не могу представить, что смолчит. Не знаю.

— Но ты же бываешь с ним откровенен?

— Откровенен — не то слово. И потом — я бываю с ним открыт только мыслями, а это он допускает... инакомыслие он допускает... Думать можешь, что хочешь, это твое личное дело, а вот поступки твои должны быть лишь на благо Императора, диалектик Ив...

— А почему ты разоткровенничался со мной?

— А почему вы считаете, что я с вами откровенен?

Петер усмехнулся, но промолчал.

— Впрочем, да,— сказал Шанур.— На один расстрел, как минимум, я уже наболтал. Тайник — это... да... Но опять же: а может быть, никакого тайника нет, а я проверяю вас по поручению господина Мархеля? Проходит этот вариант?

— Проходит,— сказал Петер.

— Вот видите. Мы примерно в одинаковом положении — в одинаковом и одинаково безвыходном. Нет никаких гарантий, что ты разговариваешь не с агентом контрразведки. Нельзя доверять даже интуиции, нельзя доверять своим впечатлениям — они ведь выманивают на тебя твои симпатии. Но снимать под бомбами ни один контрразведчик не стал бы — у них другая профессия. А вы снимали. Да еще то, что заведомо не войдет в фильм. И я понял, что могу вам доверять. Правда ведь, могу?

Петер опять помолчал.

— Могу,— сказал Шанур.— Только не бойтесь, я не намерен втягивать вас в свои дела («Уже втянул»,— подумал Петер), я просто хочу познакомить вас с народом...

Знакомство с народом затянулось чуть не до утра. Сначала была скованность, не снимавшаяся даже шнапсом,— впрочем, шнап-

са было мало, только понюхать,— но потом заговорили о работе, Петер — о своей, саперы — о своей, как они с Юнгманом строили мосты и рвали мосты, и что это за человек был — Юнгман, хороший человек и инженер прекрасный, божьей милостью инженер, да вот напоследок, видать, взялся за безнадежное это дело, где это видано: одним мостом войну выиграть? Теперь вот Ивенс вместо него — нет, с этим каши не сваришь, ни одного слова у него своего, все заемные, да и ни черта он в нашем деле не понимает, пыжится только. Достраивать — надо достраивать, конечно, столько сил в это дело вломили, нет, надо до конца доводить, только переделать бы кое-что маленечко, потому как не выдержит скала, простым глазом видно, что не выдержит — а надо лебедки перенести метров на двести-триста от края да рассредоточить по площади, да не в линию ставить, тут Юнгман маху дал,— и тогда хоть сейчас на этот чертов мост танки выводи — выдержит! Лишь бы ванты не полопались, а прочее выдержит. А ванты — что ванты? Добавить, сколько надо. И все. А попробуй скажи. Копитхеер говорил — а где он сейчас? Ага! Генерал же ни черта в нашем деле не понимает, да и откуда ему понимать — пехота! А этот... черный?.. Это же ужас ходячий, и откуда только такие берутся? Генерала, говорят, в горсти держит, пикнуть не дает — правда это? Ну, вот... Руководит тут всем, а мосты до того, наверное, на картинках только и видел. Ни черта хорошего из этого не получится, помяните мое слово. Завалится сволочной этот мост, и мы в виноватых-то и окажемся. И в дураках, и в виноватых — во радость-то! Так что, майор, слушай нас да на ус мотай, чтобы потом нас от дерьма хоть посмертно отмыть. Христиан хорошее дело замыслил — рисковый парень, а все равно молодец. Конечно. А за что их любить, этих рисковых? Рискуют обыкновенно те, кому думать нечем — или когда за душой ни черта не осталось. Не-е! Христиан — парень душевный, и наше ему понимание, он с открытыми глазами на риск идет. Понимание, помощь и уважение. А верно говорят, что теперь нас артисты изображать будут? Ну и плевать. Пусть там хоть раздрыгаются — а наше дело строить, верно, братва? Нет, ясно, что обидно. Я только к чему? Пусть они там хоть черта голого снимают, а правда-то — вот она, под камушком! И рано или поздно она из-под камушка-то выскребется... Да, что поздно, то поздно — да и так нынче-то правда не в чести, так уж пусть ее полежит. Подрасстрельное это дело — правда. Что молчишь, майор? Нет, скажешь? То-то и оно.

Подхваченный темой, Петер рассказал о веселом парне Хильмане, у которого было две тысячи друзей, и как он был убит одним из тех, кого называл и считал другом, и как в госпитале, где кололи наркотики, ему раз почудилось, что Хильман пришел, присел на край постели и сказал, что теперь он обходит всех своих друзей и требует доказательств дружбы — хотя бы раз в жизни,— и что все теряются

и не знают, что сказать, и он сам тоже растерялся и не знал, что за доказательство можно представить, лежа в госпитале, да еще под уколом, тогда Хильман посмотрел на него очень укоризненно и сказал, что зайдет в другой раз. Все стали обсуждать этот случай, перекинулись на толкование снов вообще и сексуальных в частности, на этой почве вспомнили, что в сегодняшней киногруппе были девочки и что этого так оставлять нельзя, господь не простит, если это так оставить. Подумать только — почти год безвылазно тут, на этом невыразимом Плоскогорье, пока дорогу пробивали, пока основные сооружения ставили — и ведь ни одной юбки на триста километров вокруг! Поглядеть не на что, не говоря уж о прочем! Потом вдруг резко и матерно перекинулись на минометчиков, век их тут не видеть, дармоедов вонючих, к ногтю бы их, спекулянтов — жаль, устав не позволяет...

А вообще, майор, чтоб ты знал — саперная служба на войне самая благородная. Медицина? Н-ну... тоже, пожалуй. В один ряд можно поставить. Потому как саперы убивать не обязаны. Нормальная мужская работа у саперов — земля, бревна, камень, железо, бетон. Вот только мины — это да. С минами возиться ой как хреново. Что снимать, что ставить. А еще плохо проволоку резать. Юнгман нам цену знал, потому и берег нас, тратить задешево не давал. Наш полк хоть особым и не назывался, а считался. Так, как мы, никто больше не может. Нет, никто. Укрепрайон за сутки — не можешь представить? И правильно, что не можешь, мы вот тоже не могли, пока не сделали. Но вот с этим мостом мы, чувствую, того... сядем. Если не опомнится начальство, то сядем.

А хороший мост мог бы получиться! В мире никто такого не делал. Его же сейчас чувствуешь, как родного — как ему худо сейчас. Вон Карел как на самолеты кинулся! Это когда тебя, майор, ободрало всего. Ох, и красив ты был! Зажило хоть? Ну и славу богу. Так Карела вчетвером от его пушки отрывать пришлось, а потом еще спиртом отпаивать. Взбесился мужик — столько сил вложено, а они поломать хотят! Вон, смеется, а тогда — взгляд дикий, и орет не поймешь что. Великое это дело — когда что-то потом полито. Надежней, чем кровью. Кровь — она по разным причинам течь может, и вообще... А пот — это честно.

Так ты, слушай, заходи к нам, не стесняйся, нас стесняться нечего, а то ты все издали да пошире, а чтобы поближе подойти да как есть в подробностях отобразить — так это Христиан только, да и то не сразу. Нам-то, знаешь, такими штучками баловаться невозможно, когда это Хизри расстреляли — с месяц назад? Понимаешь, нашли у него блокнот, весь по-арабски исписанный; Хизри хоть и клялся, что это он стихи сочиняет, а только проверить-то никто не мог, вот и прислонили Хизри. Хороший был парень, потому и не уберегся. Так что на вас вся надежда, потому как обидно бы вышло,

если бы про нас тут всяких сказок насочиняют или еще чего похуже. А насочиняют, гады, это уж как пить дать. Артистов вон понаехало... Слушай, майор, а ты не обижаешься, что мы с тобой по-простому? Ну и правильно. Да и вообще — вон Христиан о тебе очень хорошо говорил, а под бомбами ты держишься, как полный фронтовик, да и то сказать — ты же не по тылам груши околачиваешь, верно? И стрелять, небось, приходилось? Ну, значит, правильно мы тебя понимали. Так что захаживай к нам, не стесняйся, не забывай, а если что надо, так только мигни — мы со всей душой... И еще, майор... это... как бы тебе сказать... Студента нашего и старшину — это при тебе было? Ну и?.. Понимаешь, поговаривают, что все это этот ваш черный подстроил, нет? Ты не молчи, майор. Ты скажи: за дело их прислонили, по правде? Говори! Молчишь... Ну, понятно. Спасибо, что не соврал. Значит, правду говорят. Что за власть такую этот черный над генералом взял? Ну, ясное дело, знай генерал, что все подстроено, он бы не допустил. Какой ему резон саперов за хрен собачий в расход пускать? Нас и так на треть поубавилось, вон кладбище какое уже. Тебе про эпидемию рассказывали? Тиф у нас тут свирепствовал. Все переболели. Нет, а что генерал? Генерал — порядочный мужик. Бурку вон ему свою подарил. Правильный генерал. Сделал дело — молодец, нет — получи, что положено. В саперном деле бы кумекал — цены бы генералу не было. Да, Юнгман был, и дело шло. Хотя без генерала и Юнгману бы туговато пришлось. Машины грузовые, машины саперные, бульдозеры — а солярка для них? А цемент, а профиля, а трубы — попробуй достать! А генерал — он все мог. Вечером Юнгман скажет — утром уже все есть. Нет, генерал в этом отношении молодец. И не мешался в дела. Так, изредка, для порядку. Нет, можно было работать. А что дальше будет — ох, черт его знает. Как себя новый инженер поставит? Что-то хлипковат он. Ну, да время покажет. Может, обкатается...

Остаток ночи Петер провел без сна. Запасся сном в госпитале — отоспался за все предыдущее и на две недели вперед. Он отлично понимал теперь, что именно происходит, но предугадать дальнейшее не мог, хотя и знал сценарий. По сценарию дальше должны быть диверсанты. Причем все события должны происходить перед камерой. Объясните мне, бога ради, как именно! Я не желаю быть пешкой в этой вашей грязной игре! Я не желаю!

Но, кроме этого «Я не желаю!», у него ничего не было.

■

Мост строился так: на тыловых базах накоплены были запасы стальных профилированных балок; тяжелыми грузовиками их доставляли на промежуточную монтажную площадку километрах в ста отсюда и там сваривали отдельные звенья фермы моста. Делалось так потому, что в непосредственной близости от моста сконцен-

трировать такие производственные мощности было невозможно по вполне понятным причинам. На монтаж доставлялись готовые уже звенья. Здесь их сгружали с трейлеров и сортировали: звенья были пяти различных типов — «Антон», «Берта», «Цезарь», «Дора», «Ева» — и на монтаж должны были поступать в этой последовательности. С сортировочной площадки звенья подавались на стапель, здесь кранами стапеля звено подводилось к торцу фермы и стыковалось с ней специальными стыковочными муфтами, в зависимости от типа фермы этих муфт было от шестнадцати до тридцати шести. Затем в дело вступали сварщики. На монтаж одного звена уходило около двух часов, за это время ферма сдвигалась вперед на четыре метра, и освободившееся место занимало следующее звено. На выходе со стапеля к звену присоединялись тросы, лебедки подтягивали их и принимали тяжесть звена на себя. Все эти операции были тщательно скоординированы и синхронизированы, но в любой сложной системе обязательно случаются сбои, потому и нужен руководитель. Пока был Юнгман, все шло как по маслу, никаких сбоев не было, то есть были, но ликвидировались моментально. Юнгман шестым, седьмым, десятым чувством предвидел, где его вмешательство будет сейчас необходимо; он придумал, выстрадал и вынянчил этот мост, знал его досконально и потому мог все. Он владел этим мостом, как музыкант-виртуоз владеет великолепным, но чрезвычайно капризным инструментом — все видят, что инструмент великолепен и никто не замечает, что он капризен. Ивенс же был просто грамотным помощником Юнгмана. Он знал, что мост должен выдвигаться со скоростью два метра в час, знал, что таким именно темпом, если не считать аварий и бомбежек, и были пройдены все семьсот шестьдесят пять метров, и никак не мог понять, почему это теперь вдруг приходится то и дело останавливать масляные насосы, почему на одно звено уходит когда восемь, а когда и шестнадцать часов? На промежуточной площадке что-то напутали со спецификацией, и звеньев «Антон» оказалось в избытке, потом на звеньях «Дора» стала появляться маркировка «Ева», а потом прислали несколько «Берт» в зеркально-симметричном исполнении, и это вообще не лезло ни в какие ворота. Там им тоже досталось от бомбежек, но надо ведь понимать!.. Студент тем и ценен был, объяснял Петеру тот сапер с рубцом во всю щеку, Карел Козак, что сразу различал звенья безо всякой маркировки, он на сортировке и стоял, что годное было — в дело шло, что с брачком — в отвал. А теперь что же: подцепляем, начинаем стыковать — не стыкуется. Назад его, тащи другое, а этому очередь еще только через три-четыре подойдет, все разгребай теперь — какой тут порядок будет и какой темп? А стыковочные муфты эти несчастные? Их же десять типов! И не дай бог, одного не окажется — приплыли! Как тут Юнгмана добрым словом не помянуть? Да что говорить — и нервы сдают, работаем, как разлаженные...

Нервы сдавали у всех. Инженер Ивенс сатанел на глазах. Он крыл саперов саботажниками и вредителями, лез во все операции и, наверное, еще больше все запутывал. Он орал, хватался за пистолет, угрожал им и, наконец, выстрелил в сапера, который настолько осатанел от тупости начальства, что стал этому начальству доказывать, что оно неправо. Инженер не попал в сапера: его ударили по руке, пуля ушла в небо. Потом у него отобрали пистолет и долго били морду. С набитой мордой он пошел к генералу — жаловаться. Саперов арестовали и увели. С тех пор инженер Ивенс мог ходить по стройке только в сопровождении автоматчиков из комендантского взвода.

На следующий же день он ввел новый порядок: офицеры, помимо прочих своих обязанностей, должны были вести постоянный хронометраж работ — кто из саперов сколько времени тратит на ту или иную операцию. Если сапер выходил за рамки установленного для этой операции времени, ему уменьшали паек; если такой выход за рамки был систематическим или особенно большим, сапер подлежал трибуналу как саботажник. Сам же он — Ивенс — контролировал офицеров. Офицер, исполняющий обязанности хронометриста недобросовестно, также подлежал суду трибунала — за покровительство саботажу.

Темп работ несколько возрос: офицеры из кожи вон лезли, чтобы хоть как-то добиться синхронности операций. Инженер Ивенс выше задрал подбородок.

Зарядили осенние дожди, липкие, бесконечные, стало почти холодно и очень сыро. Шанур пропадал у саперов, Петер и Армант занялись отснятыми лентами, Баттен, блудная душа, постоянно исчезал, и именно в те моменты, когда был особенно нужен. Заглядывал господин Мархель, интересовался, нет ли недостачи метража и, узнавая, что нет, удивлялся.

Бог его знает, по какому поводу их в тот вечер пригласили зенитчики — они сказали, но Петер забыл. Вечеринка — она вечеринка и есть, что по поводу, что просто так. Приглашали и ту, вторую, киногруппу, те приглашение приняли, но не пришли. Вообще они с самого начала повели себя странно, как-то свысока, с этакой брезгливостью-брюзгливостью, и Петер, раза два наткнувшись на высокомерное хамство, решил с ними больше дела не иметь — за исключением производственной необходимости. Зенитчики же, не зная всего этого, ждали их и обиделись, и вечеринка прошла комом. Операторы тащились домой, дождя не было и даже тучи стали редеть — в разрывы их изредка проглядывала половинка луны. Насторожило Петера то, что их не окликнул часовой. Не могло такого быть, чтобы часовой на КПП не окликнул идущих по дороге.

Петер, разведя в стороны руки, остановил своих операторов, молча уложил их на дорогу, а сам, пригибаясь, подкрался к грибку

часового. Часового под грибком не было. Не раздумывая ни секунды, Петер рванул шнур сигнала тревоги — и шнур остался у него в руке. Это уже было серьезно.

Он вытащил пистолет и загнал патрон в ствол. Затвор щелкнул непозволительно громко. Надо было хотя бы стрельбой дать сигнал тревоги, но Петер почему-то медлил. Вся эта ситуация была уж слишком знакома, слишком знакома... Вот сейчас мелькнут неясные тени — слишком знакома, потому что я читал это в сценарии, но там был часовой — неясные тени или мне это мерещится?.. И тут с ужасающим шипением взвилась осветительная ракета.

Все осветилось резчайшим лиловым светом, проявляющим и фиксирующим на дне глаза все мельчайшие детали, неподвижные или, не дай бог, движущиеся. Петер мгновенно увидел все сразу: сапоги часового, торчащие из канавы, и изгиб дороги, и своих орлов, лежащих на самом видном месте, и троих в маскхалатах, ныряющих в лощину метрах в сорока... Он не помнил, как и откуда оказалась в руке граната, когда это он успел переложить пистолет из правой руки в левую и достать из сумки гранату, но успел бросить ее еще до того, как последний из тех, в маскхалатах, нырнул в лощинку — Петер видел, как граната медленно, оставляя за собой ниточку дыма, описывает плавную кривую и ныряет следом за теми тремя... Каким-то образом взрыв гранаты не зафиксировался в его памяти, он просто знал умом, что она взорвалась, но и вспышка, и звук взрыва мелькнули мимо, как нечто необязательное, и следующее, что Петер отметил — это себя, летящего с пистолетом в руке к этой лощинке — не было ни ног, стучащих по земле, ни вообще ощущения бега — был полет, стремительный и беззвучный — Петер увидел, как там, на противоположном краю лощинки, облитая светом, судорожно рвется вверх бесформенная фигура, мокрые склоны скользили, как мыло — Петер выстрелил и попал, фигура переломилась и стала падать... Ракета догорела и погасла, на мгновение наступила темнота, а потом завыла сирена и стали взлетать новые ракеты — много и отовсюду, и стало плохо видно, потому что пропали тени. В этом бестеневом, а потому полупризрачном мире было очень шумно: стреляли, кричали непонятное, и сирена выла, не заглушая, а почему-то выделяя, подчеркивая все иные звуки — они будто взмывали на ее волнах, зависали и падали вниз во множестве, острые и грубо-рельефные, как битые кирпичи — к Петеру бежали люди и тоже кричали, а он стоял и не мог стряхнуть с себя оцепенения. Все, что произошло — произошло, но произошло будто не по его воле и почти без его участия, произошло по сценарию и было заранее знакомо и потому воспринималось как повторный сон.

Ракеты наконец погасли и сирена смолкла. При свете фонариков осмотрели убитых. Граната попала одному из них в голову, понятно, что осматривать тут было нечего. Другого посекло оскол-

ками, тронув при том и лицо. Третий, видимо, оказался довольно далеко и от гранаты не пострадал; пуля попала ему в шею, потому он и повалился, как тряпичная кукла. Петер посмотрел ему в лицо, повернулся и стал выбираться из лощинки. Мокрые склоны скользили, как мыло, и на секунду его обуял ужас — сейчас сзади выстрелят! Не выстрелили, подали руку — это оказался Шанур. Петер оглядел-ся. Армант с камерой стоял шагах в десяти и смотрел вниз.

— Он все снимал? — спросил Петер.

— Да,— сказал Шанур.— Кажется, все.

— Ты видел, кто это? — спросил Петер тихо.

— Да,— сказал Шанур.

— А он, значит, все это снимал... Ясно,— сказал Петер, хотя ясного ничего не было.

Они прошли мимо группы солдат, поднимающих носилки. На носилках, прикрытый шинелью, кто-то лежал. Петер подошел, приподнял край шинели. Ему посветили. Лицо лежащего было спокойно, рот чуть приоткрыт — будто собрался человек что-то спросить, но не успел.

— Чем его? — спросил Петер.

— Ножом,— сказали ему.— В спину. Сзади.

— Снимайте! — со злостью сказал еще кто-то.— Все, все снимайте! Кости начнем глотать — тоже снимайте!

— Друг это его,— объяснили из темноты.— Так вот получилось.

— Не обижайтесь,— сказали еще.— Бывает.

— Пойдем,— сказал Шанур. Голос у него был нехороший, сдавленный.— Пойдем, не могу я...

Они отошли оттуда, от чьей-то беды, от рыскающего света фонарей, от голосов. Ровный свет луны освещал дорогу, по которой они шли.

— Хоть ты-то что-нибудь понимаешь? — вдруг рыдающим шепотом спросил Шанур.— Хоть ты-то понимаешь? Или это я с ума схожу? Ну что ты все молчишь и молчишь? Что все это значит?!

Петер молча достал из кармана пистолетную пулю — ту самую, которая должна была попасть Шануру в голову, но не попала, только задела краешек уха.

— На,— сказал он.— Пользуйся.

Шанур резко остановился. Петер тоже остановился и ждал.

— Так ты. . знал? — выдавил вдруг из себя Шанур.

— Пойдем, Христиан,— сказал Петер.— пойдем. Не могу я больше. Ноги не держат.

— А как же тогда часовой? — спросил Шанур.— Часового-то они... как? Они ведь его ножом, понимаешь?

Петер взял его за руку, за кулак, в котором была зажата пуля, и еще крепче сжал ему пальцы.

■

То, что Петер называл потерей плотности, продолжалось. Это становилось даже страшновато, особенно после того, как Петер, задумавшись, прошел сквозь закрытую дверь. Приходилось специально контролировать себя, старательно соблюдая единство сознания и плоти, чтобы ненароком, оставаясь видимым, не пройти сквозь кого-нибудь. Такое уже случалось с ним и раньше, и не только с ним, но, во-первых, не до такой степени, а во-вторых, на короткие моменты особого увлечения работой; сейчас это заходило слишком далеко. Впрочем, Армант оставался почти прежним; Шанур, напротив, временами почти исчезал, приходилось напрягать зрение, чтобы его рассмотреть. Петер еще более-менее держался, но для сохранения осязаемости приходилось прилагать усилия.

На следующий день после истории с диверсантами Петер имел серьезный разговор с господином Мархелем. Иначе говоря, Петер потребовал объяснений — и он получил объяснения.

— Ваша беда в том, подполковник,— сказал господин Мархель,— что вы не пытаетесь даже толком понять великое мистическое единство факта и его истолкования. Видите ли, деяние, вещь ли, идея ли — короче, любая объективная реальность,— не воспринимаются нами в чистом виде, а только и исключительно посредством положения их в знаки. Предмет никогда не совпадает со своим изображением, это бесспорно. Вот перед нами настольная лампа зеленого цвета. Мы с вами смотрим на нее, и я говорю: «Это настольная лампа, у нее конической формы абажур зеленого цвета, а подставка круглая, из покрытого серой эмалью чугуна». Кажется, я все сказал, и вы меня поняли. Но я нисколько не сомневаюсь, что и форму ее, и цвет мы воспринимаем по-разному, просто мы привыкли и договорились между собой, что вот этот цвет — а каждый из нас видит, разумеется, свой цвет,— называется серым, а вот этот — зеленым, а вот эта форма — а каждый видит ее по-своему,— называется конической,— ну и так далее. То есть я, видя нечто, своими словами передаю вам не истинную информацию об объекте, а те условные знаки, которыми и вы, и я привыкли обозначать то или иное качество предмета. Говорят, в Китае на Севере и на Юге на совершенно различных языках и одни и те же иероглифы они называют и произносят по-разному, но каждый иероглиф и там обозначает один и тот же предмет, или качество, или действие. Ну а теперь предположим, что мы начнем внедрять в Китае фонетическое письмо — конечно, мы не начнем, стоит ли возиться, не так ли? — но предположим; предположим, что мы запишем, скажем, фразу «Мандарин пьет чай на веранде своего дворца», произнесенную северянином, латинскими буквами, и дадим прочитать ее южанину. Тот, конечно, ничего не поймет. Но если мы предоставим ему достаточно длинный текст, изображенный латынью, и одновременно — тот же текст в иерогли-

фах, он сможет — при достаточном, конечно, интеллекте — составить некий новый словарь и далее понимать тексты, написанные на Севере латынью. Однако ту же фразу, написанную латынью на Юге, он понять не сможет! Понимаете? Появление так называемых иероглифов второго порядка — а именно таковыми становится в этом случае латынь — резко снижают адаптивность знаковой системы, хотя, на первый взгляд, должно быть наоборот, не так ли? Вот и у нас: мы должны, даже не должны, это слишком слабое слово,— наш святой долг: не допускать засорения исторически сложившейся знаковой системы никакими новыми, вторичными иероглифами. То есть каждое событие, имевшее место в действительности, должно быть отражено абсолютно однозначно! Абсолютно! Я думаю, не следует объяснять вам, вы и так умный человек, к каким потрясающим основы последствиям приведет появление так называемых информационных вилок. Поэтому мы должны предусматривать все. Любые происходящие события должны быть нами зафиксированы, и потому лишь события, нами зафиксированные, должны остаться как имевшие место в действительности. Только они и могли иметь место! Допустим, нам не удалось бы зафиксировать на пленке момент выстрела в инженера Юнгмана, но тогда мы должны были бы найти материал, адекватно заместивший бы этот информационный проляпс. Нам не удалось зафиксировать на пленке попадание бомб в стапель; следовательно, появление материала о том, что стапель поврежден и работы приостановлены, нарушает всю имеющуюся знаковую систему и ведет к неоднозначному толкованию, о котором я только что говорил. Более того: раз противнику удалось нанести прицельный удар — значит, вся система ПВО района не так эффективна, как было ранее объявлено. Вот вам еще одна информационная вилка. К счастью, нам доступен монтаж, на разрушение электростанции надо же как-то пояснить — поэтому и было решено использовать актеров в роли диверсантов. Сцена получилась превосходная, я уже смотрел. Вас, правда, придется вырезать, гранату кинет офицер-кавалергард, но мотивы этого, надеюсь, вы понимаете? Не сомневался в вас. Сегодня вечером съемки в штабе, в сценарий пришлось внести некоторые изменения.

Господин Мархель кинул на стол папку со сценарием и вышел, а голос его еще долго продолжал звучать в помещении: «Появление различных истолкований одних и тех же событий, а тем более появление информации о событиях, которые по каким-либо причинам произошли, хотя и не были предусмотрены сценарием, породит неуправляемую цепную реакцию расфокусировки точности знания о событиях, подорвет у населения доверие к официальным сообщениям, более того — к самой политике правительства! Разумеется, это произойдет не сразу, но пусть через двадцать, пусть через пятьдесят лет — ведь страшно представить себе, что будет, если сомнению

подвергнутся хотя бы некоторые положения официальной истории! Нас ведь могут заподозрить даже в намеренной лжи! Более того — ведь если отдельные моменты истории вызывают сомнения — то можно ли доверять всей истории? Поэтому следует прикладывать неослабевающие усилия, дабы предопределить невозможность появления и сохранения подобной информации...»

Изменения в сценарий были внесены значительные. Во-первых, следовало снять прибытие киногруппы — той, со студии. Во-вторых, офицер контрразведки, которого играл сам господин Мархель, получал данные о том, что это не настоящая киногруппа, настоящую вырезали ночью во время ночевки в гостинице в том самом городке по дороге сюда. Офицер производил арест лже-киношников и завербованных ими офицеров-саперов, но оказывалось, что три диверсанта успели скрыться и начать осуществлять свой злодейский замысел. Офицер в одиночку бросался в погоню и осуществлял ликвидацию диверсантов посредством гранаты. Тем не менее предотвратить взрыв электростанции он не успевал, электростанция взрывалась и пылала, и офицер, бессильно сжимая пистолет в руке, стоял на фоне зарева и клялся быть беспощадным ко всем на свете врагам Императора.

Дальше шел суд над диверсантами — теми, кого удалось схватить — и саперами-предателями. С диверсантами все было ясно: это были специально подготовленные, хорошо тренированные и обученные враги, солдаты пусть не самой почетной, но нормальной военной специальности. Труднее было понять психологию предателей. Ведь они шли на смертельный риск — зачем? Что двигало ими? Неужто только страсть к наживе? А если нет — то что же? В этом и предстояло разобраться.

— Вот вы, например, как вы могли, офицер, присягавший на верность Императору, пойти на такое, встать на путь предательства?

— Да, я присягал на верность, но я не был искренен при этом. Это была маскировка, Я ждал, я долго ждал, когда же представится случай нанести ему вред посущественней. И вот я дождался. Очень жаль, что замысел наш сорвался, но я знаю — нас немало еще на свободе, и никто и ничто не помешает нам — моим друзьям и единомышленникам — совершить задуманное...

— А вы?

— Я всегда выступал против войны. Я пацифист, и горжусь этим. И если мне удалось хоть на несколько дней отсрочить новое массовое самоубийство, то моя жизнь и деятельность не были напрасными.

— Ну, а вы что скажете?

— Они узнали, что моя семья на оккупированной территории, и пригрозили убить их всех, если я не соглашусь сотрудничать.

— А вы?

— Я желаю поражения империи в этой войне. Я сожалею, что мы сделали так мало.

— Почему вы желаете нам поражения?

— Потому что Император обманул народ, пообещав немедленное благоденствие, а сам даже и не подумал выполнять обещание. Он и войну эту затеял только для того, чтобы было чем объяснять трудности...

— Итак, господа, мы с вами видим, что это за люди, которых противник пытается использовать в своих целях. Среди них нет тех грубопродажных тварей, которые так обычны среди всякого рода предателей. Нет! Мы имеем дело с убежденными, отъявленными врагами, в крайнем случае — с людьми, вставшими на стезю предательства по слабости духа. И, как мы поняли, еще многие такие же, как и они, ходят на свободе, общаются с нами, изображают бурную деятельность на благо Императора, а между тем только и ждут момента, чтобы ударить ножом в спину. Бдительность, только бдительность спасет нас, тотальная и напряженная бдительность! Доносите о своих малейших подозрениях, о странном поведении известных вам лиц, о неясных доходах, о враждебных Императору разговорах, о проявлении недовольства — ибо от недовольства прямая дорога к предательству! — и даже о шутках, потому что ничто не искажает правду так, как шутка. Будьте бдительны изо всех сил! А с этими предателями будет содеяно то, что они заслужили.

Петер сидел еще над сценарием, когда вновь вошел господин Мархель, на этот раз в форме полковника кавалергардов. В руке его была пачка исписанных листков.

— Снимайте,— сказал он.— Офицер контрразведки разбирается с донесениями.

Он сел и разложил листки перед собой. Петер выправил свет, снял господина Мархеля анфас, в профиль, зашел за спину и через плечо заглянул в бумаги. Это были доносы: много доносов, написанных разными почерками и напечатанных на машинке, на бумаге простой, линованной, газетной, не развернутой сигаретной пачке и на куске грубого солдатского пипифакса. Петер запечатлел этот эпистолярный вернисаж, а потом продолжил чтение поверх камеры.

Доносы были, как правило, на офицеров. Господин Мархель, перекладывая их с места на место, как пасьянсные карты, бормотал нечто нечленораздельное, но вполне удовлетворенное.

— А вот и на вас есть,— сказал он Петеру, протягивая тот самый пипифаксный листок.— Разговоры ведете подрывные и неуважение к начальству позволяете.

— Позвольте...— Петер взял листок, прочитал: «Довожу до Вашего сведенья, что Майор Миле который с кином ходит визде гаварил что, Генерал Наш челавек недалекий и ничиво в деле Сапернам никумекает и что Гаспада Артисты нас Саперав разыгры-

вать будут и пиреврут Все как никагда ни бывat. Остаюсь Присем ПРИСЯГЕ Вернай Сапер и Кавалер.»

— Однако,— сказал Петер.— Вот и я в подрывные элементы угодил. Будет делу ход?

— Разберемся,— рассеянно сказал господин Мархель.

Он еще позабавлялся перекладыванием бумажек, потом повернулся к Петеру.

— Вот вам еще одно доказательство моей правоты,— сказал он.— Ведь арест диверсантов и предателей еще не произведен, а посмотрите, как народ отреагировал на эту готовящуюся акцию! Поток разоблачений! И это только за один день! А дальше — о! Нет, с таким народом нам нечего бояться!

— Подождите,— сказал Петер.— Арест киногруппы — это на самом деле фальшивая киногруппа — или?..

— Подполковник,— укоризненно протянул господин Мархель.— Я ведь все утро потратил, растолковывая вам положение вещей. Это та киногруппа, которая требуется по сценарию. Понимаете? По сценарию требуется, чтобы киногруппа оказалась фальшивой — следовательно, она и есть фальшивая. Нельзя допустить, чтобы образовалось какое-нибудь двоякое толкование, чтобы остались двусмысленности и недоговорки... недоговорения... недоговоренности. Наше дело — представить истину так, чтобы она была понятна и доступна даже младенцу, даже клиническому идиоту. А если для этого приходится идти на некоторые разъясняющие... м-м... трюки, то что же делать — специфика жанра... Вы поняли?

— Кажется, понял,— сказал Петер.— Но что будет с актерами?

— Не с актерами, а с диверсантами,— поправил господин Мархель.

— Но ведь это же вы сделали их диверсантами!

— Я? Что за чушь? Кто вам такое сказал?

— Но ведь это вы пишите сценарий!

— Я пишу — но это не значит, что я выдумываю! Я просто расставляю те или иные события на места, им принадлежащие, и иногда даю необходимые объяснения. События, наблюдаемые без системы, могут производить впечатление стихийных — но в действительности нет никакой стихийности, а если события кажутся нам стихийными, это значит только, что мы не сумели разобраться в системе, ими управляющей. И если я проник в эту систему, я могу предвидеть и прогнозировать события с бесконечно большой точностью! Что я и делаю! Если я обладаю даром предвидеть и прозревать события, это вовсе не значит, что я их выдумываю. И если в системе сценария диверсанты — это диверсанты, то это действительно диверсанты! Сценарий — это теория, фильм — практика, а то, что происходит перед камерой — это пластичный мате-

риал, из которого в соответствии с теорией создается практика — высший критерий истинности. Теперь понятно?

— Чума на оба ваших дома! — в сердцах сказал Петер, и господин Мархель тихонько заржал.— Меня там нигде не должны шлепнуть?

— Вы сценарием вообще не предусмотрены,— сказал господин Мархель.— Вы всегда находитесь по другую сторону камеры. Так что личная ваша судьба, разумеется, продолжается за рамками этого сценария.

— По другую сторону, значит,— сказал Петер.— Ладно...

— Только не делайте скоропалительных выводов,— предостерег господин Мархель.

■

Арест киногруппы произошел нервно: дважды прерывалась подача электроэнергии, и дважды приходилось начинать все сначала. Второй раз это было очень трудно сделать, потому что до этого поднялась стрельба и два тела — режиссера и осветителя — положили в сторонке, под брезенты. Случившиеся возле девочек саперные лейтенанты были разоружены и тоже взяты под стражу. Суд состоялся вечером.

Председательствовал генерал Айзенкопф в своем лысо-бритом варианте и почему-то под именем интендант-полковника Мейбагса. Господин Гуннар Мархель в своей кавалергардской ипостаси исполнял функции одного из двух помощников председателя суда. Вторым помощником был адъютант Айзенкопфа по особым поручениям майор Вельт.

Суд проходил единообразно. Вводили подсудимого, майор Вельт зачитывал формулировку обвинения, господин Мархель зачитывал приговор — смертная казнь посредством расстреляния,— этого уводили, приводили следующего. Слова обвиняемым не давали; у некоторых рты были заклеены липкой лентой. Петер снимал, стараясь, чтобы все лица остались на пленке — это было единственное, что он мог сделать для обреченных; он чувствовал, как во лбу, над глазами и позади глаз скапливается тяжелая цементная тупость — как от большой усталости. Мысли сквозь нее не проникали. Броня, понял он. Толстенная лобовая броня. Только так и можно... Нельзя... жить можно только так... так жить нельзя...

Расстрел пошел снимать Шанур. Глаза у него были безумные. Шанура следовало предостеречь, но он ничего не слышал — то есть слышал, конечно, но не реагировал. Сам же Петер пошел снимать эпизод метания гранаты господином Мархелем.

Петер взял на складе три «орешка» — наступательные гранаты, не дающие осколков. Возле той самой лощинки Петер проинструктировал господина Мархеля, как обращаться с гранатами, и приступил

к съемкам. Господин Мархель встал около грибка, Петер отошел к дороге — туда, где лежал Армант с камерой,— шарахнул в небо осветительной ракетой и припал к видоискателю.

Господин Мархель перебрал ногами, как бы исполнив элемент некоего сложного бального танца, и, забыв выдернуть чеку, по-женски, из-за плеча, бросил гранату вперед — метров на пятнадцать. Петер сходил за гранатой, вернулся, очень спокойно повторил объяснения, еще раз все показал и прорепетировал движение, коим следовало гранату бросать, и вернулся на свое место.

Со второго раза более-менее получилось: господин Мархель не забыл выдернуть чеку и бросил гранату чуть дальше, правда, совсем не в том направлении. Пришлось переснимать. На взрывы сбежались саперы, поняли, что именно происходит, и стояли в отдалении.

Вторую гранату господин Мархель отбрасывал от себя, как змею, и Петеру пришлось быстро нырять в кювет, чтобы уберечься. Этот эпизод тоже не укладывался в сценарий, и пришлось продолжать съемку.

Он опять изготовился и пустил ракету. Господин Мархель, на которого гранатные взрывы произвели, видимо, сильное впечатление, долго не мог ухватить кольцо, наконец ухватил, вырвал чеку, но гранату не удержал, она выпала и покатилась по земле. Петер снимал. Он слышал тонкий визг, которым исходил господин Мархель, и видел, как стремительно темнеют его щегольские бриджи, и считал про себя: «Раз — два — три — четы...» — и тут рвануло. Петер повесил камеру на плечо и пошел подбирать начальство.

Наступательные гранаты не дают осколков. То есть осколки их настолько мелки, что и осколками-то считаться не могут — так, металлическая пыль. Но когда такая пыль с хорошей скоростью соприкасается со штанами... Господин Мархель был в обмороке. Он лежал, закатив глаза, голые тонкие ноги его стремительно покрывались красными пятнышками, от мундира остались клочья, а запах стоял — да от самого запущенного клозета пахнет приятнее... Рассуждая на эту и сопутствующие темы, саперы сложили господина Мархеля на носилки и унесли в лазарет. Петер перемотал пленку, спрятал ее в карман и побежал к стапелю.

Никто не видел его. За крайней сваей он нащупал прикрытую тряпьем яму, а под тряпьем — жестяные коробки. Он положил туда свою, снова прикрыл все и ушел, не оглядываясь.

В блиндаже никого не было. Петер содрал с себя все и в одних трусах побежал к бочке с водой — отмываться. Его все еще преследовала вонь, испущенная господином Мархелем. Понимая, что запаха уже никакого не может быть, он лил и лил на себя холодную, обжигающе-холодную воду, мылился жестким обмылком и снова лил... Как офицеру, ему положен был запасной комплект обмундирования, и Петер был этому несказанно рад. Хрустящая, в

мелких иголочках необношенная ткань гарантировала надежное укрытие от вони. Одевшись и спрятав в мешок грязное, он сел на кровать — и вдруг захохотал. Смех прорвался, давно сдерживаемый и подавляемый смех — и Петер корчился, не в силах вздохнуть, не в силах остановиться — и безо всякой надежды на хороший конец всей этой истории. Он слышал, как кто-то вошел, но залитые слезами глаза ни черта не различали в полутьме — электричества опять не было, а аккумуляторная лампочка уже чуть тлела,— но понемногу смог переключиться со смеха на внешнее и спросить:

— Кто?

— Это я,— сказал голос Шанура, и голос этот был таким, что Петер сразу оборвал смех.

Он знал, что именно чувствует сейчас Шанур, он помнил себя после этого, но что-то еще было в той интонации, которая состоялась всего в двух коротеньких словах, кажется, принципиально не могущих обозначать что-то кроме своего прямого словарного смысла — что-то еще более страшное, такое, после чего человек не знает, даст ли успокоение даже немедленная смерть, и медлит поэтому, и остается жить в недоумении...

— Говори! — приказал Петер, но Шанур, не слыша его, подошел к своей койке и бросился на нее ничком. Кажется, он и не дышал даже. Тогда Петер взял его камеру, проверил: пленка была отснята. Он вынул ее, положил в коробку — Шанур, не поворачиваясь, сказал:

— Не надо...

Неожиданно он вскочил, но сил у него было, видимо, только на одно движение — он остался сидеть на краешке кровати.

— Не надо,— сказал он опять.— Засвети ее, Петер. Прошу тебя, не надо. Засвети. Засвети, я тебя умоляю. Это нельзя видеть, это нельзя оставлять, нельзя...

— Что там? — спросил Петер.

— Засвети.

— Зачем же ты снимал?

— Не знаю.

— А я знаю. Ты хотел, чтобы я у тебя ее отобрал и спрятал.

— Нет. Нет, конечно. Я правда не знаю, зачем... только этого нельзя видеть. Засвети.

— Но ведь это же было? — Петер потряс коробкой — катушка забрякала внутри.

— Да. Было. Ну и что?

— Так чем же тогда ты отличаешься от господина Мархеля? У него свой, написанный сценарий, а у тебя — ненаписанный, так? Что скажешь?

— Не смей так! Я — это не он! Он...— Шанур вдруг резко замолчал и уткнулся лицом в ладони.— Да, правда,— сказал он, не

отнимая рук.— Но все равно — вот об этом, что у тебя в руках, знать никто не должен.

— Саперы оказались вовсе не ангелами во плоти? — спросил Петер.

Шанур резко вскинулся.

— Откуда ты... А-а! Ты тоже видел, да? Да? Только не соври, пожалуйста — если ты сейчас соврешь...

— Ты никогда не подашь мне больше руки?

— Хоть бы и так.

— Ладно. Тогда слушай: я ничего не видел, но кое о чем догадываюсь. Ты ведь не думаешь, что я непроходимый болван, не способный увязать пару-тройку намеков?

— Ты до-га-ды-вал-ся...— протянул Шанур так, будто голосу его приходилось выдираться из пут, из колючей проволоки, из склизи, осенней глинистой склизи.— Я-асно. Теперь ясно. Вот зачем ты меня туда отправил...

— Не только.

— Не только... Ты знал, что именно я увижу, да? А откуда ты знал? Это что, т в о й сценарий? Это твой, да? Почему ты за эту ленту так уцепился?

— Христиан, попробуй подумать, какую чушь ты несешь.

— Так ведь ты все равно не получишь, понял? Ты понял? — Шанур выхватил пистолет и направил его на Петера.— Засвечивай!

— Дурак,— сказал Петер.— И не просто дурак, а дурак с принципами. И еще с задуренной головой. И еще полагающий себя...

— Засвечивай!!!

— Сам засветишь. Но сначала убьешь меня.

— Засвечивай!!! — ничего человеческого не было уже в голосе Шанура.

Был, наверное, момент, когда Шанур действительно мог выстрелить, но момент этот промелькнул, и оба это поняли: Петер — умом, Шанур — руками: руки его затряслись и опустились, пистолет выпал и остался лежать на коленях Шанура, а сам Шанур обмяк, осел, сгорбился, сдался.

— Чего ты от меня хочешь? — тихо спросил он.

— Хочу, чтобы ты понял одну вещь,— тоже тихо сказал Петер.— Нельзя говорить не всю правду. Раз мы с тобой взялись за такое дело, так делать его должны честно. Мы можем — технически — подровнять подгладить истину. Можем. Но нам этого делать нельзя. Пусть господин Мархель этим занимается. Что там, на этой ленте?

Шанур помолчал, потом неохотно сказал:

— Саперы купили у охраны девочек из киногруппы...

— Так я и думал,— сказал Петер.— Просто...

— Не просто,— сказал Шанур.— Если бы просто... Они устроили целый обряд. Праздник Гангуса, Слолиша и Ивурчорра.

— Ну, и?..

— Все.

— Ты это и снимал?

— Это и снимал. Разожгли костры...

— А теперь хочешь засветить?

— Но ведь могло же меня там не оказаться, правда?

— Могло. Но ты оказался.

— И очень жаль.

— Жаль. И не только это. Знаешь, Христиан, сколько бы я дал, чтобы не оказаться в лагере «Ферт»? Или в Ловели у рва? Или на допросах в ГПТ? Или на переправе через Юс? Рассказать тебе, как там переплавлялись? Нагнали штрафников, поставили сзади пулеметы... сзади пулеметы, впереди пушки — куда, думаешь, они пошли? Лежали — как волна прибойная замерла... высокая такая волна... пулеметчики с ума сходили, а стреляли — приказ... А потом в воду — куда иначе деваться? Кипела вода... я раньше думал, когда говорят: река покраснела от крови — что это метафора. Вот тебе метафора. А я стоял и снимал. Или когда Примбау горел — его просто засыпали фосфором, и все горело, и люди горели, там же полным-полно народу было, беженцы, ребятишки,— а я снимал... Крепись, старик. Работа такая.

— Работа... То, что ты рассказал — это все в рамках, понимаешь? Это ужасно, но это в рамках. А у меня — за рамками. Как если бы... помнишь, в прошлую войну была осада Флоттештадта? Там половина гарнизона перемерла от голода и жажды, помнишь? Великий подвиг, образец преданности... Так вот, если бы оттуда дать репортажи о том, как, допустим, генералы поедали своих подчиненных... как бросали жребий, кому идти в котел... Понимаешь? Это ведь все могло быть, но точно-то мы не знаем — и слава Богу, что не знаем...

— Я понимаю. Конечно, это было бы страшно. Это погубило бы те красивые сказки, на которых нас с тобой воспитывали. А ведь ни один генерал в той осаде от голода не умер, кстати... Но по крайней мере мы знали бы все точно, и не было бы места для выдумок. Правдой историю не исказить.

— Не исказить. Но ведь есть же стыдные тайны?

— Это не нам с тобой решать.

— А кому? Господину Мархелю? — Шанур сморщился, как от зубной боли.

— Нет, конечно.

— А кому тогда?

— Не знаю. Никому конкретно. Это само собой решится. А должны дать материал для такого решения.

— Бесполезно все это,— с тоской сказал Шанур.— Все равно кто-то конкретный будет решать, и будет фантазировать на нашу

тему, и создаст нас по своему усмотрению — для подтверждения своих маленьких истин...

Оба вдруг замолчали, потому что почувствовали неожиданно, что земля уходит из-под ног и стремится куда-то далеко и неодолимо, и сам ход времени отдался гулко и протяжно, как безначальный звук лопнувшего в небывалые времена рельса, и будто пронизывающим ледяным ветром потянуло сквозь них, прозрачных, и сквозь мир, и сквозь вековечные скалы, такие крошечные и такие хрупкие, потянуло то ли из прошлого в будущее — и тогда непонятно было, почему же ветер настолько стерилен, и нет в нем запахов пожаров и хлеба; то ли из будущего в прошлое — но почему он холоден, как в бесснежную злую зиму, и тосклив, и ровен, будто бы там, в будущем, не за что зацепиться и не на чем задержаться и остается только лететь, лететь призрачно, зло, ледяно и свободно? Будто бы нечего ждать и не на что надеяться, и можно без суеты и ненужного шума устраивать потихоньку свои дела, чтобы быть готовым в урочный час... Петер опустился рядом с Шануром, и так они сидели долго, а ветер все дул, и дул, и дул...

■

Открытие памятника инженеру Юнгману было запланировано на двенадцать часов дня, но состоялось на три часа раньше, причем совершенно тайно; об изменении срока знали только господин Мархель, генерал Айзенкопф и Петер. Генерал произнес краткую речь, глядя поверх объектива — там был прикреплен лист бумаги с текстом. Господин Мархель с приклеенными усами и бровями и в форме саперного майора сдернул брезент. Бронзовая фигура инженера Юнгмана имела несколько неопределенный вид: то ли бронза не способна была передать особенности лица покойного, то ли сказалась нехватка мастерства и опыта у доморощенного скульптора, то ли еще что — но только в чертах инженера проглядывала то нехорошая улыбка господина Мархеля, то надменность генерала; и правая рука его, не то указывала направление движения — но для этого она была поднята чересчур высоко, не то означала римское приветствие — но слишком уж неуверенное, скованное, без приписанной уставом истовости и самоотречения; саперы говорили потом, что бронзовый инженер хочет проголосовать попутку через мост, да только вот что-то никто не едет.

— Странная закономерность, Гуннар, ты не замечаешь? — говорил после церемонии генерал.— Чем старше по званию становится сапер, тем больше вероятность, что он окажется предателем. Будто короны эти отравляют его душу... Две тысячи рядовых — предателей нет. Четыре сотни унтер-офицеров — предатель один. Девяносто два младших офицера — предателей шесть. Одиннадцать старших — из них трое наверняка и еще двое под подозрением. Кошмар! Будто

повышение звания не только не укрепляет естественной преданности Императору, а наоборот — стимулирует какие-то теневые, я бы даже сказал — негативные моменты сознания индивидуума. Конечно, обретая власть, человек начинает иначе относиться к власти над собой — но не до такой же степени черт побери!

— Чему ты удивляешься? — спросил господин Мархель.— Враг и не станет целиться вниз, в основание пирамиды. Он будет целиться в самый верх, в нас с тобой, но ведь мы-то ему не по зубам, не так ли? — ну и чуть ниже. Я уже давно думаю на эту тему. Все то, что мы видим сейчас: саботаж, явный и открытый, случаи неповиновения, снижение темпов — все это очень легко объяснить именно тонким, я бы даже сказал — деликатным вмешательством вражеской агентуры. И цель, которая стоит перед нами — это найти способ обезвреживать ее еще до того, как она начнет активно себя проявлять.

— Интересная мысль,— сказал генерал.— И как ты это мыслишь?

— Следует исходить из того, что любой агент — это человек с двойной моралью. Так или нет? Та, глубинная, истинная его мораль — это как бы лицо, а вторая, та, что мы видим — это как бы маска. А чем лицо отличается от маски? Чем, Йо? Не знаешь? Да просто лицо более пластично, а маска статична, и с этим ничего не поделать, даже если очень захотеть. Представь себе: тысяча человек, и все плачут. Тут выходишь ты и командуешь: смейтесь! И сразу становится ясно, кто в маске, а кто — настоящий. На таком вот сломе они все и попадутся.

— Интересная мысль,— повторил генерал.— А как ты это предполагаешь осуществить?

— Уж конечно это-то предоставь мне,— сказал господин Мархель.— И знаешь что? Твой этот майор по особым поручениям — он сильно тебе нужен?

— Да как тебе сказать,— замялся генерал.— Потерплю, если надо.

— Я хочу его на это дело натаскать, по-моему, он парень толковый.

— Толковый-то он толковый...— генерал не договорил.— Ладно, бери. Вельт!

Вошел и щелкнул каблуками майор Вельт.

— Поступаешь в распоряжение господина Мархеля,— сказал генерал.— Будешь ему во всем подчиняться, как мне. Понял?

На какой-то миг майор рассмеялся: губы его капризно надулись, глаза заморгали, и даже слеза блеснула. Но он, человек военный, взял себя в руки, судорожно выпрямился и четким штабным баритоном выразил свое полное и безоговорочное согласие с любым, даже таким бесчеловечным, решением генерала.

Инструктаж майора состоялся тут же.

— Значит, так,— сказал господин Мархель.— Слушайте и запоминайте. Вы будете работать с донесениями военнослужащих друг на друга. Какова ваша задача? Самым тщательным образом вы проведете статистическую обработку донесений и выявите следующие группы: первая — на кого поступает максимальное количество донесений; вторая — на кого их совсем не поступает; вычислите среднее количество доносов на один объект доносительства вообще и по категориям: рядовые, унтер-офицеры, младшие офицеры и старшие офицеры; вычислив это, установите поименно лиц, на которых падает среднеарифметическое и среднеалгебраическое число доносов — опять же вообще и по категориям. Произведете изъятие этих лиц. Далее: выявите субъектов доносительства, при этом обращая внимание на, так сказать, максималистов — агентура способна проводить подрывную работу и таким иезуитским методом — и на тех, кто вообще не пишет доносов; именно в этих группах наличие агентуры наиболее вероятно. Далее — выявите, кто именно донес на тех, кого вы подвергнете изъятию, и проведите поощрительные мероприятия, например, выдвинув их на руководящие посты. Вся эта работа должна проводиться циклически, и цикл установим... ну, дней пять. Надеюсь, за пять-то дней будет набираться достаточный информационный массив?

— Гуннар! — восхищенно сказал генерал.— Почему ты не в контрразведке? Ты хоронишь талант!

— Эх, Йо,— сказал господин Мархель.— Ничего-то ты не понял. Мой талант куда больше того, что нужен контрразведчику. Я бы заскучал там через неделю.

— А изъять — это обязательно на расстрел? — спросил майор.

— Всех расстреливать? — задумался господин Мархель.— Хм... Что скажешь, Йо?

— Сколько это будет в абсолютных цифрах? — спросил генерал.

— За цикл — десять-пятнадцать единиц,— сказал майор.

— Расточительно — всех,— генерал посмотрел на господина Мархеля.— По-моему, расточительно. Нет уж, давайте расстреливать только самых отъявленных. Ну, двух-трех, не больше. А остальные пусть работают. Сделаем трудовой лагерь — ну, и пусть искупают трудом.

— Так ты что же, хочешь за предательство наказывать только уменьшением пайка и переводом в ночную смену? — спросил господин Мархель.— Смешно, Йо, ей-богу.

— А ты что предлагаешь?

— Может, на время их работы убирать щиты и снимать маскировочные сети? Так сказать, поднявший меч — от меча и...

— А потом опять навешивать? Не-ет, надо что-то другое... Погоди! А пусть-ка они роют туннель под каньоном! А? Подумай только...

— Ты гений, Йо! Дай я тебя обниму!

— Подумай-ка, сразу двух зайцев...

— Ведь и не скажешь, что генерал! Гений, умница, эрудит!

— ...и работа тяжелее, и цель достиг...

— Это историческое решение, Йо!

— ...потому что никакой бомбой...

— ...довести до всеобщего сведения как пример беспримерной стойкости и борьбе с объективными...

— ...и пропускная способность никак не меньше...

— Готовь приказ!

— Будет приказ. Надо только штрафников поднакопить...

— Не беспокойся, будут тебе штрафники!

■

Исчезновение Баттена было плохим предзнаменованием. Для Петера, во всяком случае. Петер знал Баттена три года и только в последнее время стал по-настоящему понимать, какой же это пройдоха. В отличие от Менандра, скажем, Баттен никак не афишировал свои способности и потому казался просто везунчиком, простым и славным парнем, события вокруг которого сами собой складываются в наиболее благоприятный ряд. Он был до чрезвычайности скромен, этот Баттен, и цель у него была тоже достаточно скромная, хотя и вполне респектабельная по нынешним горячим временам: выжить. Просто выжить. И вот он-то, чуящий любую опасность за много-много дней до того, как она возникнет на его маленьком горизонте — вот он-то и исчез.

Надо сказать, что исчезновение это встревожило и господина Мархеля — правда, другой стороной.

— Я предупреждал! — потрясая перед носом Петера каким-то свернутым в трубку листком, надо полагать, доносом — то ли на Баттена, то ли на самого Петера,— злобился он.— Я еще во-он когда предупреждал вас о бдительности! И что же? Пропадает человек, без которого мы — как без рук! Агентура знает, куда нацеливать свои удары! Где мы теперь возьмем техника?

— Я извещу главного редактора,— сказал Петер.— Пришлет кого-нибудь.

— Нет, это я извещу главного редактора,— жестко сказал господин Мархель.— А то действительно пришлет кого-нибудь. Черт вас всех побери,— тоном ниже сказал он.— Ну что бы вы без меня делали?

Лето кончилось внезапно, в одну ночь. И так оно держалось долго, сколько могло, до сентября, до последнего патрона, до долгих звездных ночей и неожиданной прозрачности опустевшего воздуха, когда звуки, раз родившись, уносятся куда-то, не задерживаясь, не возвращаясь, но и не погибая, не истираясь по дороге. Эти горные осенние ночи, когда между тобой и звездами абсолютно ничего нет, когда даже сквозь подошвы казенных сапог ощущаешь вращение земли и гул, производимый ею при этом вращении, и неясные токи, бродящие в ее глубинах, и шаги многих ног в той стороне, где утро, и что-то еще, странное, неподвластное осознанию, но могучее — то, что снимает осторожно человека с шаткого его самодельного пьедестала и помещает к остальным явлениям природы, между реликтовым деревом гинкго и неполным солнечным затмением. Недолго длятся они, такие ночи, но в каждой осени высекают свой след, короткий, но глубокий — алмазную грань... Потом начинается водь и гниль, и раскисшие дороги под ногами, и все тихо покорно умирает — и не в том беда, что умирает, а в том, что тихо и покорно; умирает, пока морозом и снегом не обозначится межвременье, которое перемежит конец умирания с началом нового цикла, и так без конца — или до конца... конца — потому что свой час духов в каждой ночи, своя осень в каждом году и свое средневековье в каждой эпохе, и каждый раз безвременье прерывает нити и, губя окончательно все, что подвержено смерти, задерживается на миг, день, год, жизнь — но проходит, все равно проходит когда-нибудь.

Но осень еще только начиналась.

Ни черта не продвигалось дело с мостом — что-то безнадежно разладилось там, и все усилия прилагались вразнобой и потому без толку, команд хватало, команд, приказов и циркуляров было куда больше, чем нужно, и инженер Ивенс, волоча за собой хвост личной охраны, хищным ящером метался по всей стройке — но нет, за день удавалось нарастить мост на два, редко — на три звена; как-то раз сделали пять звеньев, и это было преподнесено как великое достижение. И без того не слишком просторная площадка перед стапелем была до отказа забита звеньями ферм — то не подходящими по номенклатуре, то некондиционными — и трейлерам приходилось буквально протискиваться, раздвигая их, к выгрузке, они застревали, калечились сами и калечили фермы, и чем дальше, тем сложнее становилось ориентироваться монтажникам. Офицеров арестовывали. Обстановка становилась невыносимой.

В Ивенса дважды стреляли.

Наверное, как сыпь при лихорадке — стало появляться громадное количество плакатов и лозунгов патриотического содержания. Это были бумажные или текстильные полотнища стандартных размеров, на которые типографским способом нанесены были рисунки и слова, доносящие до масс неизбывную мудрость Императора. Мудрость эта

выражалась обычно в нескольких словах, затрюизированных до потери смысла, поскольку к составлению лозунгов требования предъявлялись чрезвычайно жесткие: недопущение двоякого толкования, подбор слов таким образом, чтобы исключить возможность непристойного рифмования, возникновения каламбуров и преднамеренного или случайного извращения смысла путем изменения или перестановки знаков препинания или, скажем, ошибок и описок при написании слов. То, что при этих манипуляциях мудрость Императора ужималась до размеров житейского типа: «Чисти зубы только своей зубной щеткой!»,— никого не волновало. Поговаривали, что в подвалах Министерства пропаганды содержатся на полковничьем пайке два десятка завзятых зубоскала, которые поначалу отправлены были в каменоломни, но потом переведены оттуда специально для обкатки лозунгов и плакатов политического содержания. Это походило на правду: и потому, что выходящие из Министерства лозунги были совершенно неуязвимы для осмеяния, и потому, что только завзятые саботажники могли дать зеленую улицу таким перлам: «Герои! Ваш ратный труд — это наша гордость!», «Чистое тело солдата — первейший долг интенданта!» и, наконец, красочному плакату: солдат в мундире хватает за руку повара, чистящего картошку, и подносит ему под нос огромный кулак; крупными буквами надпись: «Мы себе не враги!!!»; мелкими, пониже: «Снизим количество картофелеотходов на душу населения!». Плакаты выпускались приличными тиражами, бумага, которая на них шла, была хоть и толще газетной, но не слишком жесткая, поэтому, хотя за использование плакатов не по прямому назначению солдаты получали взыскания, порой строгие, кампании по наглядной агитации солдатами всегда приветствовались. Часто кампании эти ими провоцировались: достаточно было, допустим, на старой плащ-накидке начертать здравицу Императору, как командование спохватывалось — и через день-два бумаги было в достатке и даже избытке.

Но на этот раз размах кампании был даже неприличен — сотни и тысячи типографских и самодельных плакатов залепили все вокруг, их клеили слой на слой, клеили все; то ли это был какой-то болезненный энтузиазм, то ли массовая демонстрация лояльности в условиях повышающейся смутности — непонятно. Армант, прикусив от усердия язык, выводил большими буквами прямо на стене: «Объективность — долг нашей совести!». Петер прочел это, перехватил хитрый взгляд Шанура, но промолчал.

С Шануром после той памятной ночи творились странные вещи. Во-первых, он сделался этаким воспаленно-веселым мальчиком, у которого любые слова и действия вызывают внутреннюю щекотку. Во-вторых, он как-то признался Петеру, что совсем перестал спать, но это не причиняет ему никаких неудобств, ночью он размышляет, или встает и бродит, благо, стены для него теперь не препятствие. Скалы,

земля — это да, а все, что построено людьми, пропускает его свободно. Но, что самое смешное, ни на что по-настоящему интересное он в своих блужданиях не наткнулся.

— А знаешь,— сказал он, подумав,— нам ведь с тобой, наверное, можно поумерить осторожность. Теперь с нами трудно что-то сделать. Помнишь, тебя бомбами накрыло? Я ведь потом посмотрел: швеллер тот, за которым ты прятался, весь осколками посечен, что твое решето. А тебя просто воздухом ударило да об землю ободрало...

— Мы и так вовсе страх потеряли, сказал Петер.— Я как подумаю, что будет, если обнаружат тайник...

— Расстрелять-то нас все равно не смогут! — горячо возразил Шанур.— И из любой тюрьмы...

— Э-э! — махнул рукой Петер.— Да эта наша неуязвимость до тех только пор существует, пока мы не боимся. А чуть испуг — и нет ее. Можешь знать назубок, что ты неуязвим, а придут за тобой комендантского взвода солдатики — сердчишко-то и ек! Рефлекс, будь он проклят. И где твоя неуязвимость?..

— Это точно? — спросил Шанур.

— Попробуй,— сказал Петер.

Нахмурясь, Шанур подошел к двери, оглянулся на Петера и протянул вперед руку. Рука уперлась в дверь. Шанур надавил, потом со злостью ударил по доскам и вернулся к Петеру, посасывая костяшки.

— Убедился? — спросил Петер.— Чуть-чуть — а хватило. Так что не рассчитывай слишком на это. В бою — да, в бою может спасти. А против этих...

Шанур сел на койку, вцепился руками в край, зажмурился и стал медленно раскачиваться вперед-назад, что-то неразборчиво бормоча и постанывая.

— Прекрати психовать,— сказал Петер.— Перестань.

— Да,— сказал Шанур.— Да, сейчас. Сейчас.

— Прекрати.

— Знаю. Дурак. Поверил. Ох, какой дурак!

— Не ты первый.

— Жаль.

— Если бы было так просто...

— А знаешь, я так поверил...

— Пройдет.

— Что пройдет?

— Легковерие.

— Пройдет, конечно... Ах, черт побери, как было бы здорово, а?

Петер не ответил. Ему вспомнился вдруг господин Мархель, как он говорил: «Вы сценарием вообще не предусмотрены... вы всегда

находитесь по эту сторону камеры...».— и Петер, положив руку Шануру на плечо, сказал:

— Ничего. Мы сценарием вообще не предусмотрены. Ничего с нами не случится, Мы всегда находимся по эту сторону камеры.

Шанур медленно, стараясь, чтобы это получилось необидно, высвободил плечо из-под руки Петера, встал, подошел зачем-то к двери, потом вернулся.

— Конечно,— странным голосом сказал он.— Что же.. С нами ничего не случится. И гори все ясным огнем. Правда?

— Правда! — зло сказал Петер.— Чистая правда. Ясным огнем. Именно ясным Ты что, всерьез считаешь, что хоть что-то можно сделать? Да оглянись ты! Это же... это... система! Очнись и оглянись! Хоть раз!

— Это я-то не оглядываюсь? — шепотом заорал Шанур.— Да я уже всю шею себе свернул, оглядываясь! Все я вижу, все. понимаешь ты — все! Всю дрянь и гниль вижу — но ведь нельзя же видеть и сиднем сидеть. видеть и молчать, видеть и не видеть, ну нельзя, не могу, понимаешь ты, не могу, тварь ты после этого, последняя тварь распаскудная, я-то думал, ты просто не понимаешь, а ты все понимаешь — да на хрена сдалась нам наша блядская жизнь. если все — на пропасть? Ну, скажи! Нет, ты скажи мне — на хрена? — Шанур уже тряс за грудки Петера, и тот, ошалев, попытался возразить — но что тут возразишь? — Да они купили нас на корню, они знают уже, что мы дерьмо, что мы за кусок мяса любого задавим, а потом еще себе воз оправданий найдем и гордыми будем ходить — а уж за шкуру свою мы что угодно сотворим, особенно если попросить уметь...

— Заткнись! — Петер чаконец пробил застрявший в горле ком.— Заткнись, дурень! Жить надоело?

Шанур попятился от него, глядя прямо в глаза — сначала с недоумением, потом с презрением; потом спокойно. Спокойно — глаза в глаза.

— Так — надоело,— сказал он. Тоже спокойно.

— Понятно,— сказал Петер. Помолчал, добавил: — Но ведь тебя убьют. Это очень неприятная процедура.

— Не убьют,— сказал Шанур.— Я не испугаюсь.

Петер покачал головой.

— Чего же ты хочешь добиться? — спросил он.

— Не знаю,— сказал Шанур.— Не знаю, чего хочу. Знаю только, чего не хочу.

— Чего же?

— Врать. Врать самому и помогать врать другим.

— Ты идеалист,— сказал Петер.

— Почему идеалист? — усмехнулся Шанур.— Я признаю первичность материи. Информация материальна, не так ли?

Петер подумал. Все, что сказал Шанур, новостью для него не было — это были его собственные мысли, давние и недавние; но Шанур, кажется, собирался пойти дальше простого думанья.

— А праздник в честь Гангуса, Слолиша и Ивурчорра? — вспомнил Петер.

— Все,— сказал Шанур.— Все в одну кучу. Ты прав — нельзя бороться со сценарием другим сценарием. Так что...— он замолчал, не договорив.

— Но что ты конкретно собираешься делать? — спросил Петер. Шанур молчал. Он молчал долго, и Петер не торопил его с ответом.

— Буду больше снимать,— сказал Шанур наконец.— Буду записывать. Будут записывать другие. Есть несколько фотоаппаратов, надо достать пленку...

— Будет пленка,— сказал Петер.

— ...надо добраться до архивов, до штаба, до лагеря штрафников — короче, сделать полную картину стройки. И сохранить ее, конечно. Такая вот программа.

— Хорошая программа,— сказал Петер.— На пять расстрелов с поражением в правах...

Он смотрел на Шанура и не знал, смеяться сейчас или плакать. Мальчишку нельзя предать, это единственное, что понятно до конца — предать в том смысле, что нельзя отказать ему в помощи, иначе он наломает дров и погибнет сразу. Да и не охота, честно говоря, отказывать ему в этой помощи... неловко, что ли... А все равно ты идеалист, Шанур, хоть ты и признаешь первичность материи — идеалист потому, что веришь, то есть принимаешь нечто за истину без каких-либо оснований. Ты веришь почему-то, что правда является силой сама по себе. Дудки. Правда — это сила только в руках тех, кто способен ею владеть — то есть вертеть то так, то этак. Правда — это грозная, но слишком тяжелая дубина, и одиночкам ее не поднять, и для них она не оружие. И неизвестно еще, кто именно возьмет в руки изготовленную тобой правду и на чью голову ее обрушит. Такие вот дела, дорогой мой Шанур, такие вот невеселые дела, а только я все равно буду помогать тебе и прикрывать тебя, как делал это до сих пор — буду, хоть и бесполезно все это, настолько бесполезно, что и представить нельзя — тошно, еще бесполезнее, чем сам этот мост, а только буду, буду, буду — потому, что мне та хочется, вот почему, я могу найти и придумать массу рациональных объяснений этому моему решению, но главное — именно вот это: мне так хочется; я считаю это правильным; я считаю это честным делом; пусть бесполезным и погибельным, но честным; а какая зараза доказать может, что человек не должен заниматься бесполезными делами? Человек, может быть, тем и отличается от обезьяны, что может совершать совершенно бесполезные поступки ради придуманных им же самим понятий: чести, совести, души... да он и придумывал их затем, чтобы

объяснять свои бесполезные поступки... Интересно все это — если вдуматься.

Если вдуматься... если иметь время вдумываться, если иметь желание вдумываться, если вообще уметь вдумываться, поскольку на протяжении всех лет существования Империи думанье было занятием, не способствующим ни карьере, ни долголетию... следовательно, если иметь мужество вдуматься... так вот: если вдуматься, то получается, что вся история человечества — это вовсе не история его развития, а история преобразования им природы, и не более того. Тут я почти смыкаюсь с Юнгманом... Возникали и гибли династии, на смену рабству прямому пришло рабство опосредованное, и совершенствовалась всякого рода техника, а вот человек — как был, так и остался несовершенной, противоестественной химерой, этаким кентавром, полубогом-полузверем, черт знает откуда возникшей душой на обезьяньем туловище. И все, что происходило, происходит и, видимо, будет происходить — это только потому, что душа, чтобы выжить, должна заботиться о сохранении тела, а тело от забот о душе свободно; что душа вынуждена довольствоваться малым, чтобы не потерять все, а тело ненасытно и неблагодарно и чрезвычайно изобретательно в смысле удовольствий, комфорта и безопасности; и нет и никогда не будет равновесия между ними. И тысячи лет человек балует свое тело и закармливает душу салом и сахаром, чтобы дремала смирненько и не лезла в дела общечеловеческие. И все было бы хорошо и спокойно, если бы почему-то люди не были такими разными — если бы некоторые души не были невосприимчивы к сахару и салу, а некоторые, наоборот, чрезвычайно прожорливы, но худы, вечно голодны и злы поэтому; и если бы совесть, этот подслеповатый судья в вечных спорах души и тела, не разрасталась бы у некоторых, как зоб, уродующий и потому начинающий влиять на поступки... Гипертрофия души, гипертрофия совести — болезни страшные, опасные, почти всегда смертельные. Кажется — заразные...

Но — странно все это, господа. К чему мы придем? Да, прогресс; да, противоречия — это двигатель его; а что такое сам прогресс? Мотаемся по кругу — по спирали? Пусть по спирали — виток, виток, еще виток... еще и еще? А дальше? Дальше-то что? И каждый этот виток устилается телами и душами, мертвыми, покалеченными, слепыми, пробитыми насквозь — а дальше? зачем? куда? К всеобщему счастью? Но с точки зрения тел, счастье — это когда тепло, сыто, мягко, нигде не жмет и ничего не нужно делать; а с точки зрения душ — это когда просторно, дико, ново, интересно, свободно... Так — куда?

Куда попроще?

Да, как обычно...

— Опять налет,— сказал Шанур.

В блиндаже надрывный, захлебывающийся лай зениток преображался в глухой рокот перекатывающихся камней, а потом земля стала

вздрагивать под ударами бомб, и с потолка потекли струйки пыли. Все повторялось вновь, чтобы потом повториться еще и еще, возвращалось на круги своя, и вырваться из круга казалось невозможным...

Через два дня температура резко поднялась, и все окутал туман — такой густой, что не то что работать — ходить стало трудно. Пользуясь этим туманом, диверсионная группа попыталась пробраться к штабу, но по чистой случайности наткнулась на зенитчиков, ввязалась в перестрелку, попыталась уйти и сослепу сунулась прямо под счетверенную пулеметную установку. Кто-то, может быть, и ушел, никто не поручился бы, что диверсантов было именно семеро, но и обратного доказать было нельзя, поэтому был составлен рапорт о полном уничтожении группы. Разумеется, ни о каких съемках речи не шло: не говоря уже о полной неожиданности — туман, господа, туман, какие тут съемки? Руководствуясь этими соображениями, а также полным отсутствием этого эпизода в сценарии, господин Мархель настоял на непричислении этого события к имевшим место.

Туман висел плотной серой пеленой, пропитывал насквозь плотной серой пеленой, пропитывал насквозь непромокаемые накидки, оседал слизью на скалах, крупными каплями повисал на балках моста. Мост стремительно ржавел. Одежду отжимали и вновь натягивали на себя — только так и можно было ее сушить. Приказа о переходе на зимний сезон и начале топки печей еще не отдавали.

Смешиваясь с соляровой гарью, туман образовывал такую ядовитую смесь, что саперам приходилось работать в противогазах.

Хроникеры, лишенные работы, слонялись по окрестностям. Их не замечали и пропускали везде, кроме штрафного лагеря — там, наоборот, они становились будто помеченными, и приблизиться к проволоке никому не удавалось.

Пусть туман — Петер продолжал таскать с собой камеру. Это было его оружие, и без нее он чувствовал себя, как пехотный офицер без пистолета. Мало ли?..

Хильман встретился ему внезапно — просто вышел из тумана чем-то знакомый офицер, Петер, продолжая думать о своем, сделал полшага в сторону, пропуская — и вдруг узнал его. Остолбенел — это слабо сказано, внутри все куда-то пропало и сердце запрыгало, как стальной шарик по бетону, выбивая тяжелую дробь; но наружно это проявилось именно так: Петер застыл столбом. Хильман, чуть подсмеиваясь и щуря глаз, обошел его кругом, встал навытяжку и истово отдал честь, потом не выдержал, прыснул, схватил за плечи и затряс:

— Ты что, чертяка, не узнал меня, да? Ну, память девичья, а еще друг называется! Ну, что молчишь?

Петер попытался сказать, что узнал, мол, только так не бывает, чтобы собственноручно похороненный — и на тебе, встретились! — но из горла вырвалось что-то неопределенно-задушенное, и Хильман понял все.

— Да не оживал я,— сказал он.— Все нормально, не бойся. Ты живой, я мертвый — ну и что? Все в порядке вещей. Не волнуйся. Пойдем посидим где-нибудь, а то я уже бродить устал...

Оцепенение не проходило, и Петер побрел покорно за оживленно тараторящим Хильманом, так ни черта и не понимая. Они сели в какую-то нишу в скале, как специально выдолбленную для того, чтобы два офицера могли сесть рядом и потолковать о жизни, не опасаясь падающего с неба осколка, дождя или ока вышестоящего начальства.

— Жду переправы,— сказал Хильман. Оказывается, по нынешним временам через Стикс так просто не перебраться. Пустили два парома, но все равно очередь еще не меньше, чем на год. Вот и бродим по свету, размещаемся, где можем... А я искал тебя, знаешь. Как-то недоговорили мы тогда с тобой, и так стало мне обидно — не договорили...

— Постой,— вспомнил Петер.— Ты ко мне в госпиталь приходил?

— Нет,— сказал Хильман.— А ты успел в госпитале побывать?

— Да, сказал Петер,— ободрало... А мне, когда лежал, казалось, что ты приходил.

— Померещилось,— сказал Хильман.— У тебя курево есть?

Петер поискал по карманам: с утра брал, но... Коробка была на месте, и в ней, смятые и сырые, три сигареты.

— Вот все,— сказал он.— Подожди меня тут, я сбегаю...

— Не надо,— сказал Хильман.— Потеряю тебя, потом искать снова... Хватит этих.

Он закурил, затянулся, зажмурился, прислушиваясь к себе, замер; лицо его на миг застыло в выражении готовности ко всему — и к разочарованию, тогда мимика передаст и само разочарование, и стоическое его преодоление; и, наоборот... наоборот... именно наоборот! Лицо расслабилось, растеклось от уголков губ и глаз блаженная улыбка, испарилось напряжение, и Хильман, выдохнув дым, обмяк и что-то такое изобразил из себя, что Петер сам ощутил прилив ясной радости, как при пробуждении в детстве.

— Как живой,— сказал Хильман и шумно вздохнул — безо всякой, впрочем, грусти.— Вот совсем как живой...

— Ну, рассказывай,— сказал Петер.— Как, что?..

Он сам понимал неуместность и нелепость подобных вопросов, но не мог удержаться от них или придумать что-нибудь получше.

— Да что там рассказывать,— сказал Хильман.— Нечего рассказывать. Скучища страшная. И... вообще... Не понимаю — нам ведь там делить нечего, терять нечего, а все почему-то друг на друга волком смотрят. Отчуждение... да. Ну, не все, конечно, так почти все. Что такое... странно. Не по-людски. Я думал, смерть людей примиряет, а — на тебе... Если хочешь, можем сходить, посмотришь. Тут недалеко. Пойдем?

— А... можно? — оторопело спросил Петер.

— Почему же нельзя? Ты хроникер, тебе все можно. Не боишься? Ну и правильно, это вас, живых, надо бояться...

Хильман повел его, уверенно раздвигая туман, куда-то по направлению к штрафному лагерю, вдоль непонятного бетонного забора, потом мимо свалки, мимо позиций минометчиков — часовой не окликнул их,— потом свернули направо, в узкую лощину, заросшую колючим кустарником, потом лощина кончилась, и они вышли на карниз, узкий, в полшага шириной, а дальше и ниже, метрах в ста ниже, лежала обширнейшая котловина, которой тут быть никак не могло, уж настолько-то Петер знал здешнюю топографию, и карту, и саму местность, но котловина — вот она, как на ладони, и простирается чудовищно далеко, теряясь в дымке — не в тумане, туман как отрезало ножом,— и вся эта котловина, отсюда и далее, заставлена ровными рядами бараков, и между бараками бродили, медленно и бесцельно, солдаты. Справа, в километре или немного дальше, возвышался над всем терриkон, черный конус, и вокруг него, маленькие и совсем не страшные, стояли вышки, сторожевые вышки с пулеметами и прожекторами, и было во всем этом что-то странное, мешающее принять эту картину за данность, а требующее размышлений и критической оценки, и Петер стал вглядываться, и понял наконец,то, что он видел, напоминало фотографию, отпечатанную сразу с двух негативов, потому что вон там сторожевая вышка торчала прямо из крыши барака, а вон там колючая проволока в три кола так и шла, наискосок прорезая ряд бараков, и в коридоре между колами шел, проходя сквозь стены, часовой с собакой на поводке...

— Спускаемся? — предложил Хильман.

Тропинка вниз была крутая и извилистая, камень скользил под ногами, и несколько раз Петер едва удерживался, чтобы не загреметь под откос, но не загремел-таки; потом тропинка перешла в каменную осыпь, и они с Хильманом сбежали вниз, увлекая за собой небольшой камнепад.

Отсюда, снизу, зрелище представало еще более угнетающее: бараки стояли в линию, и нигде эта линия не ломалась; дорожки посыпаны были желтым песком, деревянные бордюрчики побелены известью, и этот песок и эта известь нагоняли вдруг такую тоску, что Петер еле удержался от стона; у бараков сидели, опершись о стены, солдаты, или стояли, или слонялись, все в полном обмундировании, но без оружия. Не слышно было ни ругани, ни смеха, ни разговоров. Даже те, кто ходил по дорожкам, не нарушали картины общей тяжелой неподвижности.

— Снимать можно? — почему-то шепотом спросил Петер.

— Снимай,— сказал Хильман.— Отчего же нельзя...

Петер поднял камеру, ставшую вдруг свинцовой, установил расстояние и стал снимать панораму. Тихое жужжание механизма раз-

неслось, казалось, вокруг и даже отдалось эхом. Кое-кто повернул к нему голову, посмотрел и отвернулся равнодушно. Петер снял метров двадцать и опустил камеру. Ему было почему-то нестерпимо стыдно.

Хильман, кажется, почувствовал это.

— Пойдем,— сказал он.— Я тебя с ребятами познакомлю.

Стараясь не смотреть на лица встречавшихся им, Петер шел за Хильманом, по желтой песчаной дорожке, поворачивал, куда вели, и считал шаги, чтобы не думать, не думать, не думать... четыреста пятьдесят шесть, четыреста пятьдесят семь, четыреста пятьдесят восемь... а что я им скажу?.. четыреста шестьдесят... перед ними всеми?.. четыреста шестьдесят четыре, четыреста шестьдесят пять... но я, я-то лично — чем я виноват?.. четыреста семьдесят... тоже мог, тысячу раз мог — повезло... четыреста семьдесят семь...

Впрочем, все оказалось легче. Ребята даже слегка обрадовались появлению живого человека — или изобразили, что обрадовались; тут же образовался кружок, по нему прошли две оставшиеся сигареты, и завязался разговорчик о вещах простых и понятных. Новости они все знали, а вот мнение Петера по кой-каким вопросам их интересовало, тем более что Петер, как им казалось, был вхож если не на самые верха, то достаточно высоко. Петер отвечал, если мог ответить, или честно говорил: не знаю, не понимаю, не могу объяснить, какое тут может быть мнение, когда информации ноль, когда кругом вранье, и неизвестно, кого именно мы обманываем: себя, противника, свое начальство? Кто-нибудь знает хоть, с чего началась эта война? Кто на кого напал и почему? Знает кто-нибудь? Вот то-то и оно. Да, говорили ему, когда были живы — все знали, и кто, и почему, и за что именно помирать должны, а вот померли — и кончилось понимание. Кончилось! Поначалу здесь спорили, что-то пытались уяснить... Ладно, чего там. Черт с ним, когда и с чего началось — кончилось бы все поскорее! Смотри, что тут творится! Еще год-другой — вообще мужиков не останется! От кого бабы рожать-то будут — от генералов, что ли? Ну, ты и скажешь! Нет, ребята, карточную систему заведут, как на маргарин, значит. А что? Нет, братцы, не смешно все это.

...а сеять? А пахать? Баба, что ли, вспашет как следует? Баба — она тебе вспашет. Не может земля без мужика, как ни крути, а на земле только мужицкий пот в дело идет, это уж так от природы заведено...

...так ведь выгребают начисто! Ты пойми — они же там с голоду по-настоящему мрут! На семена, и то не оставляют, все, говорят, на муку — а тут у нас один сходил, посмотрел, мы же везде пройти можем, нас живые не видят,— так курей тем зерном кормят, а кто курятину ест? Вот, а ты говоришь — справедливость...

...скука тут смертная, вот скажи мне: опять под танки хочешь? Хочу, понимаешь ты, хочу! Год еще тут ждать, не меньше, а у парома,

говорят, ужас что делается, кому срок подошел, они же совсем уже... ну, понимаешь...

...да, тут и штрафникам позавидуешь, они там хоть что-то видят, чувствуют...

...слушай, подполковник, а верно говорят, что самого Императора давно уж и нету, а просто генералы сговорились и комедию разыгрывают? Само собой, что все равно, а интересно просто...

Одни отходили от кружка, другие присаживались, и Петер вовсе перестал видеть в происходящем нечто странное, и только иногда, когда задавали острые вопросы — а не выгодно ли генералам, чтобы потери такие большие были? А вот ты-то сам, подполковник, хоть раз начальству правду в глаза сказал? А на хрена, прости, тогда такой порядок, что мы за него мрем, как мухи, а для пользы дела приходится врать — так что это за дело такое и что за польза? — и говорили страшные вещи. Петер думал: неужто для того, чтобы поумнеть по-настоящему, человек должен быть убит? Неужели страх смерти в нас настолько силен, что может придать нашим мыслям любую направленность — при полной искренности. Неужели...

— Не устал? — спросил его Хильман.— Наших, знаешь, не переслушаешь. Им дай только, кто согласится слушать...

— Не понимаю,— сказал Петер.— А друг с другом?

— Не понимаешь,— горько сказал Хильман.— Какой смысл — друг с другом? Мы ведь... так... отработанный пар... израсходованный материал... потери... какой смысл? Какой смысл во всем? А? И я не знаю... Пойдем лучше в штрафной лагерь сходим. Там по-другому немного.

— А пройдем?

— Попробуем...

Только выйдя из барака, Петер понял, что еще угнетало его здесь. На небе не было солнца. Алюминиевого цвета дымка давала ровное, бестеневое освещение, и поэтому все теряло объем и перспективу.

— А ночь здесь бывает? — спросил Петер.

— Бывает.— сказал Хильман.— Бывает и ночь...

Если поначалу Петеру было просто неловко, стыдно, если он пытался смотреть только под ноги и считать шаги, то сейчас добавилось и пересилило чувство необходимости искупления,— и Петер шел, не опуская глаз, и хотя ничего не изменилось: все так же лениво-равнодушно поднимались на него взгляды, и пусть ни в одном не было ничего, даже отдаленно напоминающего неприязнь, Петер шел будто сквозь строй, обжигаемый этими взглядами, потому что только так имел право их воспринимать: как снисходительные похлопывания по обнаженным нервным окончаниям...

В штрафной лагерь они вошли беспрепятственно. Здесь все перемешалось, произошло наслоение разных пространств, которое

бросилось в глаза еще тогда, когда он озирал окрестности сверху. Потом он научился различать, где есть что.

Бараки штрафников были сбиты на скорую руку из горбыля и побольше размером, чем бараки мертвых. Перед входом в каждый барак стоял часовой. Наконец Петер освоился с таким взаимопроникновением предметов, и стал видеть как реально существующие лишь сооружения штрафного лагеря, а бараки мертвых казались лишь прозрачными картинками. И тогда он смог охватить всю картину в целом.

В центре лагеря был плац, и вокруг плаца выстроились по углам буквой «П» четырнадцать бараков. С той стороны, где бараков не было, стояли ворота. Вышки с часовыми располагались по углам плаца и по углам ограды — всего восемь штук. Террикон высился позади бараков с противоположной от ворот стороны. Петер и Хильман стояли, никем не видимые, на краю плаца. Кроме часовых, на территории никого не было.

— Они что, все на работе? — не поверил Петер.

— Да ну, что ты,— сказал Хильман.— Половина только. У них режим такой, барачный. Их под небо редко выпускают, только на поверку.

В первом бараке, куда они заглянули, никого не было. Во втором — тоже. Зато третий был полон. От огромных киловаттных ламп, свисающих с потолка, шел жаркий, режущий глаза свет; загустевший воздух раскалялся около ламп и кислым маревом уплывал под потолок, растекаясь там между бревнами поперечин по неоструганным доскам перекрытия. Запах стоял такой, что Петер поначалу не мог дышать совсем, да и потом долго вдыхал только ртом — а дышать нужно было глубоко, легкие требовали воздуха и жадно выцеживали из него последние проценты кислорода.

Тишины при такой плотности воздуха быть просто не могло, но прошло несколько минут, прежде чем Петер стал различать отдельные звуки — различать, не понимая еще, что эти звуки производит. Это мягкое шерстяное шуршание, поскрипывание, неясный гул; в них вплетались вздохи, кряхтение, иногда — стоны. Но постепенно, будто в нем медленно крутили ручку настройки, Петер услышал тихое заунывное пение, кто-то тянул старинную солдатскую песню, и припев подхватывало — тихонько, почти шепотом — еще несколько голосов, и с этого припева Петер стал слышать голоса...

Воевать идем, мать Таисия... Помирать идем, мать Таисия... Не боись за нас, мать Таисия... Помолись за нас, мать Таисия...

...а я думаю — все. Нет больше сил терпеть. До утра дотяну, и пойду на проволоку. И тут приказ — отменить экзекуции и зачислять провинности в дополнительный срок. Так вот мне счетчик и открылся, по сей день мотает, уже шесть лет дополнительных намотал...

...когда это было-то? Да, года за два до войны. Я только женился тогда, и поехали мы с женой — деньжонок подкопили подзаняли,— угадай, куда? На море! А вот так. Слушай, отдохнули мы там — не расскажешь. Как миллионеры какие-нибудь. Вернулись, еще пожили сколько-то — и началась волынка. То меня вызовут, то ее. И ничего конкретно не говорят, а вот так намекают, что, мол, если заметите за другим что странное — так сразу и доносите. Ага, разбежались... И вот помогло же мне тогда с тещей поцапаться, а теща у меня — что твой фельдфебель...

...думал, вернусь с войны, и заживем. Заживем... Это сейчас мне тридцать два, а срок изойдет, и будет мне пятьдесят семь... только не будет, наверное...

...а самого смешного никогда не забуду: строевые занятия проводил у нас капитан, по фамилии я его не запомнил, а прозвище у него было Гиппохватам, пузатый такой, китель на него по спецзаказу шили, а ремень на брюхе не сходился, а потому ходил он без ремня, полковник, начальник школы, ему разрешал...

...двое их у меня, как вспомню, как они меня провожали, так и подступит... Папа, говорят, ты только не насовсем, хорошо? Ты повоюй маленечко и возвращайся...

...двенадцать лет мне было, а помню, как вчера: приехала черная машина, вышел из нее этакий хлыщ, полицейские тут же по домам побежали, народ собирать, ну, собрали, стоят все... Вот он выступает, по особой, мол, необходимости — в сорок восемь часов... Что там можно собрать? Дома, скот — все осталось, не разрешили скот с собой брать. Погрузили в эшелон и повезли. Месяц везли куда-то. Повезут-повезут, потом остановят, а выгружаться не дают. Так в эшелоне и жили. Переругались все, перессорились, под конец, кажется, убили бы кого — так и не заметили. Зима наступила. И вот останавливают раз в чистом поле, двери открывают — выгружайтесь, живите... А потом я на карте смотрел: где наш полуостров был — ничего нет. Море. А ты говоришь — карта...

Голоса были глухие, бессильные, не голоса даже, а — будто вода сплывает с края неподвижного болотца, в рождении этих голосов не участвуют тела, просто сам воздух начинает дрожать, соприкасаясь с подкатившим к горлу комом мыслей, точно так же, как дрожит он, соприкасаясь с раскаленной поверхностью электрических лампочек, но это иная дрожь... это пройдет со временем, Петер знал это точно, он был в подвалах и лагерях ГПТ, там люди переставали быть людьми и становились сложными, но однозначно и легко управляемыми механизмами, и это было необратимо, это было необратимо — достаточно было только заглянуть раз в те глаза, в тот страх и готовность на все, вероятно, несломленных просто убивали или забивали, ломая, но этих, сломленных, было много, невыносимо много, и Петер, вернувшись, долго не мог избавиться от наваждения,

что во всех без исключения глазах, в глазах друзей, подчиненных, начальства, женщин, награжденных, генералов и маршалов в Ставке, чумных после боя танкистов, сестер полевого госпиталя — в глазах кого угодно проступал этот страх и эта готовность на все... и детей они будут воспитывать в страхе, думал Петер, вернувшись, и ему показалось, что те, убитые, чьи тела ровным рядком лежали возле рва, были последними несломленными — это был период великого его отчаяния, и только бракованный капсюль пистолетного патрона оставил его тогда доживать до конца — в страхе и готовности на все ради... ради... Ну, что же ты? Говори! Говори!!!

Не знаю...

Невыносимо яркий свет затапливал барак, и сто или больше человек, лежащих на двухэтажных нарах, мучились от жары и духоты, от вшей и клопов, от неизбывного зуда, от разъедавшего кожу пота, от вони гниющей параши и загнивающих тел, и все это было заблаговременно предусмотрено для них: и вонь, и жара, и гниение заживо, и мучительное отупение от тяжелейшей работы, которая тем тяжелее, что лишена всякого смысла — они лежали и намерены были лежать до тех пор, пока блокфризер не поднимет их и не погонит на плац для парада и рапортфюрер, стоя на трибуне, не будет орать: «Ногу! Ногу!» Двенадцать часов работы, четыре часа строевых занятий, два часа политзанятий, час на прием пищи, пять часов сна; раз в месяц выходной — это значит, что нет политзанятий, а вместо четырех часов строевых — только два часа...

Петер, чувствуя, как деревенеют скулы и веки — первый шаг к превращению лица в защитную маску — взял камеру, громко завел пружину и, установив диафрагму, стал снимать, ведя объективом слева направо; в тот постоянный звуковой фон, который стоял в бараке, жужжание камеры врезалось, как дисковая пила в бревно, но никто не пошевелился и не повернулся, только смолкла песня, смолкли голоса, смолк шорох мелких движений, все замерли, замерзли, застыли в привычном уже ожидании окрика, удара, выстрела — в гордых саперах инженера Юнгмана успели убить гордость и выработать несколько примитивных рефлексов... убить или заставить, приучить прятаться, притворяться отсутствующим — что в общем-то одно и то же. Петер снимал, пока хватило пленки. Потом кто-то, не поворачиваясь, сказал: «Уйди, майор. Уйди, ради Бога. Тебе-то все равно, а мы тут остаемся...»

Мы остаемся тут, а ты уйдешь. Мы остаемся за проволокой, а ты уйдешь. Мы остаемся тихими, без голосов и воли, без права жить и думать, а ты уйдешь. Ты уйдешь и будешь думать, что ты на свободе — потому что проволока будет не вокруг тебя, а вокруг границы, а там же вышки с часовыми. И, не видя проволоку вблизи, ты будешь считать себя свободным и даже сможешь воспевать эту свободу и ходить по улицам после наступления темноты, потому что

у тебя есть пропуск, и уж конечно ты не будешь делать ничего такого, чтобы у тебя пропуск отняли, а самого поместили туда, где проволока не за горизонтом, а вблизи. А здесь, майор, есть место, где проволока еще ближе, так близко, что можно только стоять, держа руки по швам, потому что вокруг тебя проволока. Так мы и рождаемся — руки по швам, и горды тем, что намерены и тверды в этом своем намерении: умереть, держа руки по швам; а если кто-то забывает, что это высшая добродетель, которую должен блюсти каждый благонадежный гражданин Империи, то ему можно мягко напомнить об этом, постепенно перенося проволоку из-за горизонта к самым рукам — так, чтобы их можно было держать только по швам. Так — руки по швам! — мы идем по жизни, распевая маршевые песни, с которыми легче идти и которые забивают в голове все прочие мысли, идем, стараясь держать равнение в шеренгах и видеть грудь четвертого, и любое отклонение от равнения воспринимаем как нарушение и едва ли не крушение строя — во всяком случае, покушение на оное; воспринимаем сами, никто не велит нам это так воспринимать, просто это впитано с молоком матери — видеть грудь четвертого и держать руки по швам.

...а какой, оказывается, лакомый пряничек — свобода! Нельзя давать его слишком помногу, потому что у населения начинает кружиться голова и разбегаются глазки, а с закруженной головой они мало ли что могут подумать: может быть, и не должно быть границы у этой самой свободы? А с другой стороны, нельзя ее отнимать совсем, потому что вкус ее должен помнить каждый, и время от времени невредно освежать эту память. И тогда, дав совсем небольшой кусочек свободы в повседневное пользование, как-то: перенеся колючую проволоку к границам и разрешив перемену места работы, а также безлимитное посещение кинотеатров и бань — и угрожая отнятием этого кусочка, понемногу, сами понимаете: за маленькую провинность маленький кусочек,— так вот, при умелом регулировании размеров этого кусочка можно заставить население творить абсолютно все; умелого манипулятора будут превозносить до небес, производя в полубоги, а неумелого будут молчаливо осмеивать, не осмеливаясь, впрочем, признаться в этом даже себе.

Итак, эластичный поводок и кусочек сахара — и гордый гомо сапиенс превращается в гордого собой гомо сервуса, человека служебного,— правда, не каждый, но тут-то и вступает в игру некий репрессивный орган. Сорную траву с поля вон! — и на поле остается отборная пшеница, колос к колосу, голос к голосу, и так из года в год, а потом на пшеницу нападает вдруг пятнистая парша, и открывается тогда, что сорные васильки от этой парши пшеницу раньше и спасали... И тут либо приходится признавать агротехнические ошибки и делать шаг назад, или уж ломить вперед, до логического конца. Что мы делаем.

Но любая система дрессировки и выбраковки, как бы точна она ни была, не в состоянии охватить весь массив личностных различий, и кто-то ускользнет от нее, а кто-то окажется невосприимчив, а кто-то станет ее убежденным врагом — не потому, что он родился врагом, а сама система сделала из него себе врага; системе, чтобы существовать, нужен враг, ибо без врага не нужна система. Так уж получается, что вакантные места врагов заполняются моментально, такова уж наша природа, и наказание любого виновного в непокорстве системе — как бы ни была сформулирована его вина — служит не к исправлению заблудшего и не к наставлению его на праведный путь, а лишь к сепарации тех, кто поддается принятым методам дрессировки от тех, кто им не поддается; последние изолируются или уничтожаются, по обстановке. В умелых руках эта система почти безотказна, но часто дрессировщики, увлеченные ее эффективностью, забывают о руках и начинают считать, что безотказность присуща самой системе...

— Очнись,— Хильман толкнул Петера локтем в бок.

— Да,— сказал Петер.— Да, конечно.

— Все увидел? — спросил Хильман, и голос его был странный, совсем не хильмановский голос — скорее, голос того Хильмана, что навещал Петера в его бреду, которым тот, призрачный Хильман требовал доказательств дружбы...

— Пойдем, Петер.

Они повернулись, и вдруг в спину им ударил крик: «Майор! Генералу скажи — я ни в чем не виноват! Юзеф Поплавски, сапер — ни в чем не виноват! Генералу! Скажи генералу!» «Молчи, сука»,— негромко, но веско, разом перебив крик, сказали Юзефу Поплавски, саперу.— «Молчи, гнида. Из-за тебя весь барак без баланды оставят». «Эка невидаль — не виноват»,— сказал еще кто-то. И кто-то прошептал: «А правда, скажи генералу, пусть разберется...» И тут от двери тонким, прерывающимся голоском кто-то пискнул: «Атанда! Блокфризер идет!», и Хильман, ухватив Петера за руку, рванул его из барака наружу, и, сразу окунувшись с головой в чистый холодный воздух, Петер понял вдруг, что дышать им не может, он хватал этот воздух ртом, насильно гнал в легкие, но воздух, дистиллированный и разряженный, никак не мог наполнить грудь, и Петер понял, что сейчас задохнется, и страх, такой смертельной силы страх, какой он испытывал едва ли когда еще, обрушился и подмял под себя все, это длилось мгновение, но за это мгновение, показалось Петеру, он успел раствориться и родиться заново, и когда он вновь ощутил себя таким, какой он есть, то есть стоящий на земле, он понял, что наконец вдохнул, вдохнул полную грудь этого проклятого воздуха и сможет отныне дышать — отныне и далее, до самого конца...

■

Расстались с Хильманом легко, будто до завтра, но Петер знал, что это насовсем, потому что такое может быть только однажды. Хильман звал его к берегу Стикса, но Петер не пошел — не захотел. По разным причинам. Просто не захотел, и все. Может человек чего-то не хотеть, не вдаваясь в объяснения? Может, согласился Хильман и не настаивал.

Он сказал еще, что Петер подсказал ему замечательную мысль: обойти всех тех, кого он зовет своими друзьями, и посмотреть, как они там. Петер подумал, что долго Хильман не продержится, но иллюзии потеряет; однако отговариваться не стал — бесполезно отговаривать.

Они пожали друг другу руки, Хильман пожелал Петеру дотянуть до конца, а Петер не нашелся, что пожелать в ответ, и Хильман усмехнулся понимающе, ткнул его кулаком в плечо, повернулся и пошел обратно — по направлению к лагерю. Он отошел на несколько шагов и исчез. Не то растворился в тумане, не то просто сделался невидим. И Петер, еле переставляя ноги, поплелся к своим.

Он тащился, сгибаясь под тяжестью сегодняшнего дня, и больше всего ему хотелось сейчас упасть и никогда уже больше не подниматься, но встречи, отпущенные ему судьбой на этот путь, еще не все состоялись, и вскоре сверху его окликнул очень знакомый голос, и Петер, наверное, просто ждал подспудно, что этот голос когда-нибудь окликнет его, потому что не удивился, не обрадовался и не испытал вообще никаких эмоций, а просто сказал:

— Я к тебе туда не полезу. Спускайся, и поговорим, если хочешь.

Сверху упала веревка, и по веревке ловко, как большая грязно-зеленая обезьяна, спустился Баттен.

— Привет,— сказал Баттен добродушно, но взгляд его был настороженный: а как воспримет бывшее начальство появление блудного техника?

— Решил отлежаться? — хмуро спросил Петер.— Умнее всех хочешь быть?

— Всех-то не получится,— сказал Баттен.— Как, например, умнее генерала можно оказаться? Но в меру сил и способностей.

— Тебе чего нужно? — спросил Петер.— Ты говори, а то я не могу — устал, как не знаю кто.

— Холодает,— сказал Баттен.

— Ладно,— сказал Петер,— придумаю что-нибудь.

— Придумай пару бочек солярки,— сказал Баттен.— Жратвы мне на полгода хватит, а вот если морозы...

— Заскучаешь за полгода-то,— сказал Петер.

— Нет, не заскучаю,— Баттен потупился.— Ко мне друзья заглядывают, то, се... За полгода тут все кончится, это уж точно. Еще

чуть-чуть, и завалится этот мост к энной матери, как его медленно ни строй. Ивенс это такой строитель, что не дай бог его в скорняки: из снега тулуп сошьет и за соболий продаст — ловкач! Смотрю я на него из своего далека — и прямо сердце ноет: ну почему я так не умею?

— Думаешь, ловкач? — раздумчиво сказал Петер.

— Ловкач,— уверенно сказал Баттен.— Уж я-то чую.

— Зря ты нас бросил,— сказал Петер.— Период пошел сложный, воевать нам приходится на два фронта, а у тебя рука легкая.

— Ты, старик, никогда хорошим нюхом не обладал,— сказал Баттен.— А я всегда чую, когда начинает порчей шкурки подванивать.

— Станут они тебе шкурку портить,— сказал Петер.— На кой ты им — мараться?

— Ты как вчера родился,— сказал Баттен.— Я вообще на тебя изумляюсь, как такие субъекты до половой зрелости доживают? И зачем, главное? Был бы себе ребеночком, умненьким таким — на радость папе с мамой. А то вырос, майором заделался... пардон, прими мои поздравления, я ведь не успел тебя тогда поздравить? Или успел? Впрочем, не помешает и лишний раз... так вот — вырос, заделался подполковником, пост такой значительный: Заготовитель Правды, Поставщик Двора Его Императорского Величества! Эх, Петер, Петер...

— Что «эх»? Почему мне все говорят «эх»?

— Да ведь ты же ни черта не видишь вокруг себя. Ты ни черта не понимаешь, не чуешь и не чувствуешь. Ни черта не слышишь. У тебя всегда такая гордая рожа, будто тебе под нос кусочек говна подвесили. Ты к людям-то присматривался когда-нибудь? Не к тому, что они делают или, как вы там говорите,— созидают, а к ним самим, к лиц выражениям, к... а, что тебе толковать! Ты скажи, за последнюю неделю каких-нибудь перемен в том, что ты ешь, не было?

— Нет, вроде,— пожал плечами Петер.— А что?

— А то, что пока я с вами был, ты с генеральской кухни жратву получал, а теперь, я думаю — с общей. Ну-ка, напрягись, припомни.

— М... кажется... Кажется, да. Точно. Последнюю неделю все каша да каша..

— Вот. Очень наглядно. А туда же — борец за правду. Ты ведь не знаешь правды и знать ее не можешь, потому что на мелочи тебе плевать, тебе общие планы подавай, ты их и лепишь, эти общие планы... Я понимаю — характер у тебя такой, и не приучен ты мелочам внимание уделять, ты ими брезговать приучен, приучен брезговать мелочами и сегодняшним днем — ты думаешь, что это недостойно пристального рассмотрения, что главное — это обязательно что-то большое и обязательно устремленное в завтрашний день...

— Ты меня совсем каким-то ослом выставляешь,— сказал Петер.

— Ты и есть осел,— сказал Баттен.— Если хочешь знать, на таких, как ты, все и держится.

— Это ты загнул,— сказал Петер.

— Ничуть,— сказал Баттен.

Они помолчали, и Петеру представилась вдруг во всей красе нелепость каких-либо возражений на эту голую истину — да, господа, истину, таким уж я уродился, таким выкормлен и выбит, чтобы не обращать внимания на детали быта и вообще все суетное и преходящее, а видеть явление целиком и проникать в суть, и обобщать с точки зрения прогрессивной философии пангиперборейства — а ты ее знаешь, ту философию? Вот то-то и оно...

И вообще все это действительно неважно, а важно то, что жив Баттен, что сработало его чутье и что, доверяя чутью Баттена, порох надо держать сухим.

— Пойду я,— сказал Петер.— Значит, солярки...

— Пожалуйста,— сказал просительно Баттен, и Петер вспомнил, что Баттен мерзляк и всегда кутается во что-нибудь теплое.

Интересно, почему они мне все доверяют: и чокнутый Шанур, и дезертир Баттен, с усталым недоумением думал Петер. Более того: почему я допускаю, чтобы они мне доверяли и втягивали меня в самые разные подрасстрельные истории? Как у меня там с инстинктом самосохранения? Петер прислушался к себе. С инстинктом было хреново: весь замордованный, он свернулся калачиком где-то на дне и тихонько поскуливал. Бедняга, пожалел его Петер, и инстинкт слабо огрызнулся: себя пожалей.

А в блиндаже господин Мархель устраивал разнос младшим операторам. Он сидел за столом, на котором горой громоздились катушки с пленкой и прочие атрибуты киношной деятельности, и выговаривал за развал работы, а операторы стояли навытяжку: Армант внимал ему со скукой, Шанур — с тишайшим бешенством в глазах.

— А вот и главный виновник,— сказал, поворачиваясь всем корпусом, как самоходное тяжелое штурмовое орудие «Элефант», господин Мархель; только сейчас Петер усек, что он в дрезину пьян.— Итак, господин под-пол-ковник, объясните-ка мне, соблаговолите, как вы понимаете политику нашего Императора в области... Смирна! Стоять, как подобает, когда речь идет об Его Величестве! ...как вы понимаете своей брюквой, которая у вас растет на месте наблюдательно-мыслительного органа, в просторечии...

Петер повесил камеру на гвоздь, подошел к господину Мархелю вплотную и четко, сдерживая себя из последних сил, произнес:

— Господин советник, потрудитесь покинуть наше общество. Вы находитесь в состоянии, недопустимом для продолжения разговора.

— Т-ты!..— глотнул господин Мархель и стал подниматься из-за стола, цапая себя за задницу, где должна была находиться кобура,

и тогда Петер ему врезал. Ох, и много же он вложил в этот удар! Все, что лежало на столе, так и брызнуло в стороны, и ноги господина Мархеля, обутые в мягкие шевровые сапоги, взметнулись над столом буквой «V» — символом победы и возмездия. Потом он тяжело грохнулся на пол по ту сторону стола и затих.

Немая сцена. Петер придерживает левой рукой правую, потому что правая занемела и ниже локтя ее будто бы нет совсем, поэтому он непроизвольно ее там ощупывает, чтобы убедиться, что она все-таки есть; Армант и Шанур растеряны до предела, такого оборота событий они не ожидали и теперь не могут вспомнить свои действия и реплики в этом варианте. Пять секунд, десять секунд... Кончилась немая сцена.

Армант: Вы что, вы что?.. Совсем уже? (чуть не плачет: огибает стол, наклоняется над господином Мархелем).

Шанур: Бог ты мой! Какой апперкот! Какой классический апперкот!

Армант: Господин советник? Господин советник? Не дышит! Что же будет? Что вы наделали? Что вы наделали? Нас же всех расстреляют!

Шанур: Перестань скулить! Петер... (не может словами выразить свои чувства, поэтому делает жесты, будто рвет на себе волосы и подбрасывает их вверх; в тех местах, откуда Шанур родом, это означает проявление наивысшего ликования души).

Петер: Да ну вас. Сами не могли послать его подальше... А как он ногами!

Шанур: А как он ногами! Я никогда не забуду — как он ногами! (начинает хохотать. Он хохочет громко и совершенно неэстетично, широко раскрывая рот и задирая голову, при этом звуки возникают такие, будто в горле у него работает небольшая камнедробилка).

Петер: Да ну вас... Ну вас всех... (скисает от смеха, отходит, держась за живот, и валится на кровать; дальше хохочет лежа).

Армант: Господин советник? Вы живы? Ну откройте же глаза. Не открывает. Что же будет? Вы что — с ума посходили? Не понимаете ничего? (внезапно тоже начинает смеяться; сквозь его страх прорывается странный рваный смех, иногда усилием воли Арманту удается сдержать смех и сделать скорбное лицо, но это на секунду, не более: губы начинают кривиться, и он вновь захлебывается смехом, только в глазах мелькает паника, как у настоящего утопающего).

Петер: Оставь его, Ив. Проснется утром и ничего помнить не будет.

Армант (с надеждой): Вы думаете?

Петер: Ты что, сам никогда не надирался?

Армант: Хоть бы обошлось...

Шанур: Да ладно тебе. Запричитал...

Господина Мархеля общими усилиями подняли с пола и уложили на кровать Арманта. Обморок его скоро перешел в сон, он

задышал глубоко и ровно, потом захрапел. Под утро он привел постель Арманта в негодность, но не проснулся.

Рапорт, подготовленный Петером, в кратком изложении трактовал события так: господин советник в нетрезвом виде угрожал оружием подполковнику Милле, был подполковником обезоружен и обездвижен. Просьба не придавать инцидент огласке. Однако подавать рапорт не пришлось, так как господин Мархель, проснувшись поздно и с тяжелой головой, несколько сконфузился, потрогал припухшую челюсть, извинился перед младшими операторами за причиненное беспокойство и, кое-как приведя себя в порядок, удалился. Через час он вызвал Петера и еще раз принес свои извинения; как Петер понял, о событиях вчерашнего вечера он имеет весьма смутные и спутанные представления. Потом господин Мархель сказал:

— Мне кажется, мы несколько расслабились и позволили себе... позволили расслабиться... да. Туман, снижение темпов работ, некоторая, я бы сказал, некинематографичность происходящих событий; но тем более надо собраться с мыслями, проявить определенную фантазию, мастерство, талант, наконец. Я прошу вас сегодня вечером в штаб генерала на совещание. Подумайте, не внести ли какие-нибудь изменения в сценарий? Да, и вот еще что: я вызвал усиление, и завтра прибудут еще несколько человек из вашей редакции, а во-вторых, есть информация, не слишком, правда, достоверная, что наш техник не был похищен агентурой, а просто дезертировал; прошу вас, попытайтесь проверить и, если возможно, опровергнуть эту информацию. Вам это сделать проще, чем мне.

— Слушаюсь,— сказал Петер.

— Ах, подполковник, оставьте этот официальный тон! Ну, какой вы, к черту, военный! А я? Зачем нам этот барьер субординации? Давайте на ты и по именам? Хотя бы без посторонних?

Петер понимал, что медлить при ответе нельзя, что самым неудачным было бы: помедлить и сказать «да», поэтому он без внешних проявлений сомнений и брезгливости протянул руку и сказал:

— Петер.

Господин Мархель руку принял, пожал — кисть у него была вялая и горячая — и сказал:

— Гуннар!

В голосе его была какая-то неподобающая случаю значительность.

Только позже Петер понял суть этого перехода на «ты» и далее — к разнузданному амикошонству. По въевшейся привычке господин Мархель намерен был поменять местами причину и следствие, чтобы после некоторой временной экспозиции казалось: вот были старые кореша, Гуннар и Петер, и Гуннар схлопотал в рыло от Петера, и ничего особенного в этом нет, то ли еще бывает между

старыми корешами, это вам не от подчиненного плюху получить, да еще при свидетелях...

Туман не поредел, и внизу, у стапеля, стало просто невозможно находиться: смешиваясь с соляровым чадом, туман превращался в нечто непереносимое, едкое и для дыхания непригодное, а оседая на камне, образовывал скользкую, как сало, пленку, по которой катились даже рифленые подметки итальянских хваленых ботинок, и дважды Петер припечатывался к земле-матушке весьма чувствительно. Работа почти стояла. Петер искал и нашел Козака, и Козак рассказал ему, что за последние три дня удалось поставить лишь одну секцию, и пока ничего не предвидится, потому что все порастеряли, новые начальники-выдвиженцы ни хрена не умеют, крепежных узлов опять некомплект, а площадка загромождена неочередными секциями так, что пешему не пройти. «Бардак»,— резюмировал он.

Инженер Ивенс пытался организовать рассортировку на монтажной площадке, но ничего лучшего, чем просто побросать секции в каньон, он не придумал. Несколько секций сбросили, а потом вниз сорвался трактор, и тракторист выпрыгнуть не успел. Ивенса опять чуть не пристрелили.

Дважды на глазах у всех, и у Петера в том числе, солдаты комендантского взвода подходили к офицерам-саперам и уводили их. Затем Петер подслушал интересный разговор:

— Пять против одного на Крюгера.

— Принято.

— Три против одного на Нооля.

— Принято.

— Семь против трех на Ивенса.

— Принято.

— Два против одного на сержанта Дегенхарта.

— Принято.

— Двадцать пять против одного на оператора Шанура.

— Принято.

Петер заглянул за угол трансформаторной будки. Саперы окружили человека в плащ-накидке, в руках у него были билетики, которые он раздавал, помечая что-то в них и в блокноте; деньги, получаемые от саперов, он складывал в полевую офицерскую сумку. Полагаясь на свою невидимость, Петер подошел поближе и взялся за камеру. В грохоте и лязге, производимом механизмами, в гудении, исходящем от трансформатора, услышать звук работающей камеры было невозможно, однако человек с билетиками поднял голову и подозрительно огляделся, но Петера не увидел. Это был адъютант генерала Айзенкопфа майор Вельт.

Петер, Шанур и Козак курили в той самой пещерке, где когда-то жгли костерок и пили хороший чай в теплой компании. Козак рассказывал самые распаскуднейшие новости. Не таясь, комендатурщики

подходили к саперам и требовали от них доносительства. Если кто-то отказывался, его уводили; если кто-то соглашался, но не выполнял — его тоже уводили. Был выпущен и распространен специальный бланк «Для донесения», в котором все излагалось типографским способом и оставалось лишь подставить имя и фамилию. С прошлой недели якобы неофициально работает тотализатор, и что из этого выйдет, еще неясно. Все смотрят друг на друга с опаской. Если так пойдет дальше...

Петер рассказал немного о лагере. Шанур смотрел на него с открытым ртом, а Козак выслушал почти равнодушно и проворчал: «Ясное дело...» Они докурили и разошлись.

Совещание у генерала открыл сам генерал.

— Думаю, можно подвести первые итоги,— сказал он.— Хотя ускорить темп работ не удалось, но в остальном успехи большие. Выявлено и изолировано либо уничтожено тысяча пятьсот два агента врага. Прорыто сорок пять метров туннеля под каньоном. Проведена замечательная кампания по наглядной агитации. Как я понимаю, взятое нами направление совершенно верное. Гуннар, когда ты намерен закончить фильм?

— Видишь ли,— сказал господин Мархель,— речь еще не идет о завершении фильма. Речь идет о продолжении съемок и возможном перемонтаже некоторых сцен.

— Пора уже думать о завершении,— возразил генерал.

— О завершении я думаю с самого начала,— сказал господин Мархель.— И я считаю, что приступать прямо сейчас к завершению еще рано.

— Почему? — удивился генерал.

— Потому что мост еще не построен.

— Ну и что?

— А то, что дезинформировать Императора нам никто не позволит.

— Ну, а если его построят только к лету?

— Значит, придется объяснять, почему так получилось.

— Ну и почему же?

— Да боже ж ты мой! Ты что, слепой, Йо? Каждый третий строитель оказался предателем! Кто же в таких условиях может выдержать сроки?

— Да-да-да...— генерал побарабанил пальцами по столу.— Видишь ли, Гуннар, я уже послал Его Величеству прошение о продлении сроков строительства...

— Ясно,— сказал господин Мархель.— А как было написано: просто «Отказать» или с подробностями?

— С подробностями,— сказал генерал.

— Значит, сам писал,— вздохнул господин Мархель.— Ну, что же делать, придется...

— С такими, знаешь, подробностями...

— Не переживай.

— Да я ничего.

— Вот я и говорю. Не такое мы с тобой переживали. Не такое осиливали.

— Правду говоришь. Только как все-таки быть? Я ведь в строительстве этом ни уха, ни рыла, сам знаешь. Если бы мог, так вмешался бы, взял бы на себя руководство...

— Положись на меня,— сказал господин Мархель.

— А знаешь, что еще в ответе Императора было? Что мы не уделяем внимания возвеличиванию императорской фамилии, отсюда все наши беды. Поставили памятник какому-то там инженеру, а до сих пор нет памятника Императору... пардон, не памятника, а скульптуры. Кто-то настучал, вот он и сердится.

— Да, это мы упустили,— согласился господин Мархель.— Не с того конца взялись. Но это еще не поздно исправить. Вмонтируем в ленту, и вся недолга. Будто бы летом еще поставили.

— Тогда надо успеть хотя бы до снега.

— Надо успеть. Это уж все в твоих руках.

Затем выслушали майора Вельта. Майор очень подробно разъяснил механизм выявления агентов с помощью тотализатора. Кроме того, сообщил он, тотализатор будет давать небольшой, но верный доход казне. Кроме того, личный состав будет получать моральное удовлетворение от реализации своих прогнозов. Деятельность майора Вельта была одобрена.

Ох, и изменился майор! Петер искоса разглядывал его ставшее необычайно значительным лицо, гордо развернутые плечи и выпяченную грудь, будто майор навсегда задержался на глубоком вдохе. Смотрелся майор на полковника минимум — а то и на генерал-майора. Далеко пойдет, подумал Петер. Потом он вспомнил лагерь. Далеко пойдет. .

— А со скульптурой мы выкрутимся очень просто,— сказал Петер, когда майор сел.— В реквизите, который привезли с собой диверсанты — ну, те, которые выдавали себя за киногруппу,— там у них есть скульптура Императора. Она, правда, из папье-маше, но раскрашена под мрамор, так что вряд ли кто-нибудь это заметит, особенно если постамент сделать повыше.

Генерал и господин Мархель переглянулись.

— Что же ты раньше-то молчал? — укоризненно сказал господин Мархель.— Догадаться не мог, что ли?

— Сценарием же не было предусмотрено,— сказал Петер, разводя руками.

— Так ведь все разве предусмотришь? — сказал генерал.— На то и задница мягкая, что не все стулья с подушками.

— Верно, верно,— сказал господин Мархель.— А постамент, наверное, сделаем из секции моста. Очень символично получится.

— Очень символично,— сказал генерал.— Император на какой-то клетке. Ты бы думал сначала, а потом уж...

— Ни на какой не на клетке,— горячо возразил господин Мархель.— Все знают, что это секция моста. А чтобы вообще не возникало никакого ненужного ассоциирования, секцию эту можно обшить фанерой или шифером... изнутри, да, точно — изнутри обшить, и тогда вся структура будет на виду, и в то же время — никаких ассоциаций с клеткой.

— Ну, так еще можно,— сказал генерал.— Давай, Вельт, ты этим и займешься. Чтобы к утру все было, как надо.

— Почему это я? — капризно сказал майор Вельт.— Мне за сегодняшний день еще восемнадцать агентов выявить надо.

— Р-разговорчики! — сказал генерал.— Р-разбаловался! Выполнять!

— Есть,— сказал майор с нехорошей сдавленностью в голосе.

Он четко повернулся и вышел. Генерал с нежностью поглядел ему вслед и вздохнул.

— Не люблю на людей шуметь,— сказал он.— Но вот приходится иногда...

А утром выпал снег. Петер встал очень рано, не спалось, и вышел из блиндажа в совсем иной мир. То, к чему он привык и без чего уже не видел окружающего его пространства: переплетения черно-ржавого железа, глыбы бетона, глыбы камня, горы щебня и просто горы — все это оказалось вдруг прикрыто пушистым и совсем не холодным покрывалом, и только местами из-под него высовывались особо острые углы, как локти и колени покойников, почему-то Петеру пришло на ум именно это сравнение, потому, может быть, что именно такое свежеприкрытое поле он видел прошлой зимой, после неудачного наступления на северо-западе... Снег не взбодрил его, а расстроил. Впрочем, расстройство в чувствах не помешало ему растереться до пояса этим самым снегом, приведя его в состояние, сравнимое с радостью.

По снегу местами были протоптаны дорожки, колеи и дороги, и внизу, у стапеля, снег моментально приобрел серо-черный цвет, как вокруг свежей воронки, и тем не менее пейзаж сменил очертания, и мир стал обманчиво велик и чист.

Петер ждал пополнения к вечеру, но они объявились уже в девять утра: взвизгнув тормозами, остановился знакомый полугрузовичок, и Петера, размышлявшего о дне минувшем, облепили с трех сторон Камерон, Менандр и Брунгильда. Из машины улыбались Эк и сам Летучий Хрен — оба в теплых шапках, оба довольные, что так все хорошо устроили... Петер, как ватный клоун, неловко топтался на месте и прятал руки, потому что они постоянно натыкались на

Брунгильду, потом она сама обняла Петера, ставшего вдруг маленьким и слабым, утопила в себе и, утопив, поцеловала в губы — так, слегка... «Закраснелся, как девочка! — хохотал Камерон, лупя Петера по гулкой спине,— отвык тут от нормального обращения, скажи ему, Брунгильда!» «А то он привыкал когда-то,— отвечала Брунгильда,— это же Петер-послушник, а не вы, кобели похотливые!» «Ну, вы и живете, я посмотрю, ну и дрянь у вас тут,— говорил Менандр, озираясь,— нет, я этого так не оставлю...»

— Ну, докладывай,— сказал, наконец, Летучий Хрен, когда все было развешено по гвоздям и растолкано по углам, когда угомонился Камерон и скрылся куда-то Менандр, младшие операторы привели себя в соответствие с моментом, а Брунгильда расположилась на кровати Петера в свободной позе, греясь в перекрещивающихся взглядах и чувствуя себя в этом перекрестии свободно, как, скажем, кинозвезда в лучах софитов.

— Работать очень трудно,— сказал Петер.— Советник не просто вмешивается, а начисто лишает возможности делать что-то самостоятельно. Все съемки только по сценарию, кое-что я пытался делать от себя — запретил и теперь учитывает всю пленку до последнего метра. Как я понимаю, по плану мост уже должен быть сдан, поэтому все, с чем саперы столкнулись в действительности, считается несуществующим. В сценарии есть поистине кретинические моменты, но все это мы должны работать под документ. Масса создания ситуаций, пересъемок, фальсификаций, игра монтажом. Все.

— Кое о чем я догадывался,— сказал Летучий Хрен.— Но ты был бы не ты, если бы не делал все поперек. Так ведь?

— Поперек — нечем,— сказал Петер.— Пленки едва хватает на вдоль. Я же говорю, он проверяет все до метра.

Летучий Хрен покивал головой.

— Хорошо... да. Значит, сенсаций не будет? — не то чтобы спросил, а почти с уверенностью произнес он.

— Будет пленка — попробуем что-нибудь сделать,— сказал Петер.

— Какое! — сказал из угла Шанур.— Поздно что-то делать. Такие сцены упустили!

— Ну, стройка-то еще не кончена,— сказал Петер.

— Ладно, насчет пленки — это я подумаю,— сказал Летучий Хрен.— Ну, и, наверное, попробую побеседовать с советником. Пусть он войдет в положение — мы ведь даем не только пропагандистский материал, нам нужна и информация.

— По-моему, это бесполезно,— сказал Петер.— Я пробовал.

— То ты, а то я,— возразил Летучий Хрен.— Разница?

— Посмотри,— сказал Петер.

В тот день, хоть этого никто и не ожидал, прибыло пополнение и саперам. Колонна грузовиков, две зенитные самоходки, впереди «Хорьх» — амфибия с огромным седым саперным майором,— все это вторглось в черно-белый мир ущелья и загудело, замелькало, заговорило. Шестьсот новобранцев, стриженных наголо, в новеньких шинелях, в войлочных теплых сапогах выстроились неподалеку от штаба, и майор, придерживая правой рукой положенный по уставу кортик — никто из саперных офицеров не носил кортиков! — отправился докладывать генералу о прибытии.

Его не было долго. Потом в штаб проследовал конвойный наряд. У Петера заныло под ложечкой. Через десять минут майора, уже без кортика, без ремня и без шапки, со скрученными за спиной руками, вывели из штаба и повели к обрыву. Он не хотел идти, упирался, его подталкивали; потом он плечом отбросил конвоира и хотел что-то крикнуть своим, но офицер, старший наряда, выстрелил из пистолета ему в затылок. Майор упал. Строй саперов заволновался, но тут с двух сторон ударили поверх голов зенитные пулеметы. Саперы повалились на снег. Солдаты комендантского взвода оцепили их и повели в глубь ущелья. Петер, не переставая снимать, пошел следом. Саперов положили на землю, огородили то место веревкой и флажками и поставили пулеметы. Тут же разбили палатку, внесли в нее печку, стол и несколько стульев, и майор Вельт с подручными стал проверять, кто есть кто.

— Фамилия?

— Кейнолайнен.

— Имя?

— Антон.

— Национальность?

— Гиперборец.

— Место рождения?

— Село Мустарлянц Северо-Йепергофского уезда.

— Отношение к религии?

— Чту Императора!

— Не католик?

— Ни боже мой!

— А то у вас там много католиков.

— У нас? Много?

— А чем, скажи мне, отличается свобода совести от свободы вероисповедания?

— Не понимаю вопроса. Спросите еще раз.

— Ладно, обойдется. Знал ли ты, что ваш командир — предатель?

— Нет, господин майор. Клянусь, не знал.

— Где же твоя бдительность, сапер?

— Да, господин майор, я же в этой части вторую неделю только, а командира всего раз и видел-то до сих пор, это любой на моем месте и не заметит ничего такого...

— Нашлись патриоты, заметили... Ладно. Ваша часть расформирована, тебя определят в другую. Служи, сапер. А главное — будь начеку. Враг не дремлет. Чуть что заметишь подозрительное — сразу ставь меня в известность. Не командира части, а меня. Понял?

— Так точно, господин майор!

— Следующего! Фамилия?

— Суливан.

— Славянин, что ли?

— Никак нет, господин майор, чистокровный гипербореец!

— Странная фамилия... Имя?

— Франклин.

— Еще не лучше! В лагерь его, запишите.

— Господин майор!..

— В лагерь, в лагерь. Еще славян мне тут не хватает...

И так далее.

Петер ушел.

«Не могу больше,— думал он.— Не могу. Все. Я кончился. Все терпение мое и вся выносливость — кончились. Не могу...» Только сейчас он заметил — впервые за много дней — а правда, сколько дней я тут провел? — сидящих на скалах воронов, сидящих и ждущих; временами то один, то другой снимались с места, делали круг над стройкой и возвращались. Издалека доносился вороний ор, и вот несколько сразу снялось и полетело куда-то. «Ждут,— подумал Петер.— Сидят и ждут».

Статуя Императора, вознесенная на постамент, кого-то или что-то смутно напоминала, но Петер так и не смог вспомнить, кого. Ее тоже припорошило снегом, лавровый венок на голове Его Величества приобрел вид прелестной зимней шапочки, а римская тога обзавелась меховой опушкой. «Император хорошо подготовился к зиме»,— подумал Петер.

И вдруг до него дошло по-настоящему, что начинается зима.

Поскольку открытие статуи Императора должно было состояться еще летом, пришлось расчистить снег в секторе съемок. Там, где метлами было не достать, поработали огнеметами. Получилось даже лучше, чем можно было желать: беломраморный Император замечательно контрастировал с закопченной скалой — это с одной точки съемок, и с клубами черного дыма — с другой. Господин Мархель был доволен. Летучий Хрен, имевший с ним беседу, вернулся слегка не в себе, посмотрел на Петера и молча развел руками. Камерон, тоже молча и по секрету от остальных, дал Петеру заглянуть в свой чемодан. Чемодан был набит коробками с лентой. Петер потряс Камерона за плечи, и тот широко ухмыльнулся.

Неведомо куда пропал Шанур. Он ушел сразу же после встречи с пополнением и не появился. Никто его не видел, не слышал и вообще не имел представления ни о каком Шануре. Поначалу Петер просто беспокоился, потом испугался. Майора Вельта нигде не было. Наконец, уже вечером, почти ночью, Петер, обегавший всю стройку и ее окрестности, догадался заглянуть в генеральскую квартиру. Он прошел сквозь часовых, сквозь дверь, сквозь дремлющего за столом капитана-кавалергарда и подполковника-адъютанта — он проходил сквозь них с отчетливым злорадством вора, взламывающего сверхнадежный и немыслимо секретный замок — и оказался в комнате генерала. Здесь забавлялись. Генерал босыми ногами стоял на карте полушария и изображал из себя статую императора: так же точно держал руку и так же откидывал голову, замысловато, но похоже на венок повязанную зеленой медицинской косынкой; господин Мархель с булавками во рту мычал что-то, прилаживая на нем простыню. Голый майор Вельт — то есть не совсем голый, на нем были все-таки сапоги, ремень, майорские погоны и фуражка — лежал на полу в позе Данаи, ожидающей золотого дождя. На столе и под столом громоздились разнообразные бутылки. Стоял непонятный приторно-сладкий запах.

Петер считал себя привычным ко всему, но от этого его почему-то замутило. Он отступил назад, в стену. На холоде ему стало легче.

Шанура нашел Козак. Шанур сидел на самом дальнем звене моста, свесив вниз ноги, и пел что-то заунывное. На обратном пути, когда Козак вел его, безвольного, приобняв за плечи, Шанур вдруг расплакался и наговорил всякой всячины, которую Козак не может да и не хочет передать. Забирайте его, путь отдыхает.

Летучего Хрена почему-то поселили отдельно, у штабных, а остальные разместились все вместе, благо блиндаж был просторен. Брунгильде отвели каморку, предназначавшуюся поначалу для фотолаборатории, но Баттен оборудовать ее там не стал, предпочитая почему-то работать в палатке. Из каморки выгребли разный хлам и завесили проем двери брезентом.

— Сегодня отдохну,— сказала Брунгильда, выглядывая из-за брезента,— а с завтрашнего дня начинаю прием. Сами устанавливайте очередь. Выходной — воскресенье. Спокойной ночи.

— Не возбуждайтесь, мальчики,— посоветовал Камерон, заворачиваясь в одеяло.— Тетя шутит.

— И не думаю,— сказала Брунгильда из-за занавески.— Что я, дура — такими вещами шутить?

Посмеялись, повозились, уснули. Ночью Петер проснулся от звука легких шагов. Брунгильда босиком, в одной рубашке, тихонько подошла к кровати Шанура, присела рядом. От раскаленной спирали «козла» исходило достаточно света, и Петер видел, как она осторожно протянула руку и погладила Шанура по голове. Тот глубоко

вздохнул и повернулся на другой бок. Брунгильда посидела еще немного около него, потом встала и ушла к себе. Петер слышал, как она ворочается и не спит. В блиндаже было душно, он встал и открыл дверь. Небо было ясным, и огромная луна, белая, как фарфор, стояла низко над испачканным снежным саваном земли, все было равноудалено отсюда и, как бездарная декорация, не имело ничего общего с реальностью. И поскольку отсюда, от входа в блиндаж, и было-то видно только, что этот край ущелья, да немного его края, пологий склон слева и крутой склон справа, да еще горы вдали — то, может быть, в мире вообще не было ничего, кроме этой декорации? Привычный рокот моторов и железный лязг раздавались будто бы из-под сцены. Петер представил себе, как эта декорация должна выглядеть с изнанки — и стал умываться снегом.

Он промучился всю ночь и встал поздно, благо, будить его не стали. В блиндаже было пусто, на столе, прикрытая бумагой, лежала нарезанная колбаса и хлеб, рядом стоял знаменитый трехлитровый термос Камерона. В термосе был горячий чай. Петер позавтракал, медленно и с наслаждением. Чай был отличный, и сахар в чае — настоящий, и колбаса — настоящая, и хлеб — настоящий. Петер поймал себя на мысли, что еда захватила его целиком. В этом было что-то странное.

Кроме колбасы Камерон привез газеты. Здесь были и почти свежие — позапозавчерашние — столичные и недельной давности швейцарские. За них-то Петер и взялся.

Президент Швейцарской конфедерации принял вчера находящегося с официальным визитом Премьер-министра Соединенных Штатов Мексики... плевать... по сообщениям корреспондентов, в городах Дайна и Андербург произошли столкновения полиции со студентами, имеются раненые... коронация христианнейшего короля Люции — где это? — Густава-Вальграфта Четвертого... Правительство Бразилии заявило решительной протест обеим воюющим сторонам по поводу морского инцидента в ее территориальных водах, подробности на четвертой странице... ага: бой крейсеров... ага... ага... Ну еще бы: три против одного. А это что? Мисс Вселенная объявила о своем желании принять участие в кампании по сбору средств для беженцев из зон военных конфликтов... отказ властей невоюющих государств в предоставлении им права убежища бесчеловечен, заявила она... Симпатичная девочка.

Но разве в этом чертовом мире хоть раз дадут дочитать до конца что-нибудь интересное? Ввалилась вся компания, шумные, веселые, с Летучим Хреном во главе, стали носиться по блиндажу, ронять вещи, и стало тесно, и Шанур был с ними, двигался и смеялся, но Петер, бог знает как, понимал, что движения Шанура, размашистые и быстрые, происходят не то от безволья, не то от чрезвычайной погруженности во что-то внутреннее и потому чисто автоматичны,

будто ноги и руки его привязаны ниточками к ногам и рукам прочих из этих скачущих; за улыбку же вполне мог сойти судорожный оскал, а смех — выдохи, короткие и быстрые, возникающие от мелких, невидимых простым глазом коготков, которые душа запускает в средостение тела. И именно сейчас, глядя на дошедшего до ручки младшего оператора и на Летучего Хрена, завершившего сложную траекторию кружения по блиндажу мягкой посадкой за стол — рука его, подчиняясь энергии продолжающегося, еще не погасшего движения, извлекла из-за пазухи плоскую, черного стекла, рифленую бутылку и закружилась, разливая по кружкам что-то очень текучее, цвета жженого сахара,— так вот, глядя на все это безобразие, Петер подумал, что надо бы отправить Шанура в редакцию, подзаймется, скажем, монтажом... Позже он много и бесплодно проклинал себя за это решение, но тогда оно показалось ему удачным... кто мог знать, чем это все обернется? И кто может сказать, что произошло бы, потеки события иным руслом? Но выпили, закусили колбасой, Летучий Хрен заверил, что дело пойдет, что советника он все-таки уломал, не такой дремучий оказался советник, как попервоначалу показался, хоть и странный тип, конечно, да и добронамерен чересчур, но общий язык с ним находить можно и должно, особенно если постараться (он заглянул в горлышко бутылки, потряс ее над кружкой и добыл еще несколько капель),— ну и продолжайте в том же духе, ребята, а пленку я сегодня увезу. Всю. Уезжаю сегодня, один, остальные остаются. Пока. Да... на фронте? Дерьмо на фронте. Ладно, не буду подрывать ваш боевой дух...

Веселились? А вот почему: по приказу генерала Айзенкопфа было решено с сегодняшнего дня вводить отправление обрядов культа Императора. Саперов построили, но никто не знал, как и что нужно делать. Наконец кое-как разобрались: сам генерал встал у подножья постамента, а саперы маршировали перед ним и кричали «Ура!» в ответ на провозглашаемые здравицы. Потом стали приносить жертвы: в довольно большой чаше зажгли спирт. Поначалу спирт горел нормально, но потом, нагревшись, закипел, пламя стало огромным, и занялась фанерная стенка постамента. И вот то, как офицеры генеральской свиты тушили спирт и постамент, при этом старательно делая вид, что ничего не происходит, как они старались быть торжественными и благолепными — вот это просто не поддается описанию! Но вот проявим пленку...

Майор Вельт вошел в сопровождении четырех солдат из комендантского взвода. Два солдата остались у двери, два шагнули на середину — автоматы у живота, пальцы на спусковых крючках, колючие быстрые взгляды из-под надвинутых касок,— а майор, затянутый в черную кожу, подошел медленно, мерзко вихляя задницей, поскрипывая в сочленениях и тем давая хорошо почувствовать свое приближение, к Летучему Хрену, который побледнел — Петер очень хорошо

знал, к чему именно бледнеет Летучий Хрен! — побледнел, но продолжал пока сидеть в позе самой пренебрежительной,— подошел и, протягивая руку ладонью вверх, скучным голосом сказал:

— Пленку.

Летучий Хрен неторопливо поднялся на ноги, стряхнул с рукава несуществующую пушинку — как-никак, он был действительный статский советник, чин, приравненный к генерал-майору, а полковничьи погоны свидетельствовали лишь о его независимом характере,— и, не глядя на майора, сказал с великолепным выражением:

— Майор, подите вон.

Майор Вельт как бы мигнул всем лицом.

— В таком случае,— сказал он,— вы арестованы. Взять их!

Солдаты подскочили с двух сторон к Летучему Хрену, им не впервой было арестовывать полковников, но тут у них сорвалось, тесноват для такого рода дел оказался просторный блиндаж, и майор Вельт, шагнувший в сторону, чтобы не мешать солдатам, оказался спиной к Камерону. Камерон поступил просто: он обхватил майора рукой за шею и заорал страшным голосом:

— Все к стене! Застрелю!

Со своего места Петер видел, что пистолет Камерона оставался там же, где и был — в кобуре, и что Камерон упирается в спину майора просто костяшкой пальца, но ни майор, ни его солдаты знать этого не могли и замерли на мгновение, и это мгновение Летучий Хрен использовал: выхватил из-за пазухи еще одну бутылку — точно такую же, рубчатую, черного стекла — и замахнулся ею, рявкнув:

— Ложись! Разнесу раздолбаев!

Солдаты отшатнулись, майор делал им какие-то жесты, которые можно было понимать двояко, и пока они опомнились, Петер и Шанур, уже с настоящими пистолетами в руках, поотбирали у них автоматы, один солдатик, у двери, плюгавенький такой очкарик с вывернутыми губами, совсем помертвевший от несообразности происходящего, автомат отдавать не хотел и что-то быстро-быстро бормотал в свое оправдание, и только налетевшая с фланга фурия — Брунгильда оплеухой привела его в чувство, солдатик отдал автомат и заплакал. Действуя трофейным автоматом как дубиной, Брунгильда поставила солдат лицом к стене, майора посадили на табурет и связали ему руки за спиной, и тут возник некий композиционный провал. Петер понял вдруг, что произошло непоправимое, что вот только что все они, поднявшие руку на этого ублюдка, подписали себе смертные приговоры, и обжалования не будет... Это же почувствовал, наверное, и майор Вельт. И прочие, кажется, тоже почувствовали, потому что повисла пауза, которую было нечем заполнить; как в шахматной партии, когда эффектный и отчаянный ход, оказывается, не имеет продолжения, развития — и все идет на пропасть, и вот сейчас посыпется...

Не посыпалось. Хотя и было на грани и даже чуточку за гранью. Вошел господин Мархель, и вновь что-то сдвинулось и переменилось. Петер, как это бывало с ним в моменты сильного волнения, будто отстранился и смотрел со стороны, и вновь ему увиделась шахматная доска — как тихий ход, сделанный где-то на одном ее краю, отдается громом на краю противоположном, разом меняя оценку позиции, и настроения, и планы игроков.

— Спокойствие, господа,— сказал господин Мархель. Он был в форме полковника кавалергардов.— Спокойствие. Итак, майор, вы пошли по шерсть, а вернулись стриженым? Замечательно.

Майор зло посмотрел на господина Мархеля, но промолчал.

— Извините, господа,— сказал господин Мархель.— Майор превысил полномочия. Ему было поручено попросить вас ликвидировать несколько метров только что отснятой пленки. Я надеюсь, вы не станете возражать, если я скажу, что сохранение для потомков этого прискорбного эпизода крайне нежелательно?

— Станем,— сказал Летучий Хрен.— Вы же знаете принципы нашей редакции. Мы можем его не обнародовать, но сохранить обязаны.

— Это особый случай,— мягко сказал господин Мархель.— Ведь мы с вами присутствуем при историческом моменте зарождения новой религии, идущей на смену прогнившим насквозь верованиям в полоумного еврейского бродягу. И допустить, чтобы наши потомки получили страшный эмоциональный удар, увидев, как мы, их легендарные предки, неумело отправляем священные обряды, допустить, чтобы их религиозные чувства были так оскорблены — нет, это немыслимо! Делайте со мной, что хотите, но этого допустить нельзя. Да, пусть мы сегодня чуть погрешим против объективной истины, но ведь потомки простят нам этот наш грех — они будут добры и снисходительны, наши потомки, новая религия привьет им эти качества. А об истине не жалейте: ее очень много в нашем мире. Весь мир состоит из объективных истин. Мир бесконечен. От бесконечности отнять один — сколько будет? Бесконечность! А отнять десять? Все равно бесконечность!

— А если бесконечно отнимать по одному? — ехидно спросил Летучий Хрен.

— Бесконечность есть бесконечность! — ликующе провозгласил господин Мархель.— Так просто ее не исчерпать! Так что давайте пленку, и инцидент исчерпан.

■

Неловко было глядеть друг другу в глаза, потому что и прощание оказалось скомканным и вообще не таким, как надо. Известие о том, что ему предстоит уехать, Шанур неожиданно принял спокойно и вопросов не задавал. Даже не то слово: спокойно,—

просто вспышка активности, настоящей, не марионеточной, когда разоружали комендатурщиков, и внезапная пустота потом, после капитуляции — они сожгли в Шануре все, что могло гореть, и ничем, кроме апатии, Шанур ответить не мог.

— Я буду продолжать,— сказал ему тихонько Петер, когда таскали и укладывали коробки с пленкой. Шанур кивнул равнодушно.

Потом они пожали друг другу руки и даже обнялись на прощание, но пусто и нелепо, исполняя ритуал, не более того, и Петер не мог отогнать ощущения, что прикасается не к человеку, а к измятой бумаге. Это было страшно, носить в себе такое ощущение, но мало ли страшного приходится носить — и ничего...

— Не стреляют,— сказал вдруг Шанур, озираясь, будто стрелять должны были по ним и сейчас.

— Уже давно не стреляют,— сказал Армант.— Говорят, у зенитчиков в пушках пауки завелись.

Шанура передернуло.

— Не люблю пауков,— сказал он.

— А я люблю,— сказал Армант.— Помнишь, у меня тарантул жил, его звали Сарацин.

— Помню,— сказал Шанур.— Я тогда старался не заходить к тебе.

— Но заходил же.

— Заходил. Но это было неприятно.

— Я для него тараканов ловил.

— Надо ехать.

— Везет тебе. Будешь там с девочками баловаться.

— Счастливого пути,— сказал Петер.

Шанур повернулся к нему.

— Петер,— сказал он,— я все пытаюсь вспомнить, что хотел тебе сказать, и никак не могу. Что-то надо было сказать — и забыл. Забыл, и все.

— Напишешь,— сказал Петер.

— Хорошо,— сказал Шанур,— вспомню и напишу.

Подошел Летучий Хрен, остановился в двух шагах. Шанур оглянулся на него, кивнул головой ему, потом кивнул Петеру, Арманту, потом махнул рукой и пошел к машине. По дороге он запнулся и чуть не упал.

— Петер,— сказал Летучий Хрен,— так неудобно все получается. Но не могу задерживаться. Ты давай. Работой. Плюй на всех — и работай. Учти, что в случае чего советник — в кусты, а расхлебывать тебе придется. Из этого и исходи. Пленки буду присылать больше, чем указано будет в накладных. Знай. Ну, вот...

— Ладно,— сказал Петер.— Не забывай там нас.

— Не забуду,— очень серьезно сказал Летучий Хрен.

Эк погудел, и Летучий Хрен заторопился к машине. До темноты надо было успеть спуститься по серпантину. На том же месте, где и Шанур, он запнулся, не устоял и выстелился во весь рост. Помощи ему, конечно, не понадобилось, он тут же вскочил, отряхнулся, чертыхаясь, и пошел дальше, но Петер видел, как Менандр сморщился и энергично поплевал через левое плечо. Петер помедлил и сделал то же самое. Армант жужжал камерой.

Снова пошел снег, и машина канула в него, как под упавший занавес. Петер, давя в себе распухающее чувство уже свершившейся беды, спустился по скользкому склону к мосту. Мост, такой черный и незыблемый, быстро терялся в белом мельтешении. Много лет Петеру снится именно эта картина: мост, пропадающий постепенно, шаг за шагом, метр за метром, тающий и истончающийся, как сахар в кипятке, в белом воздухе, в мелькающих хлопьях. Это будет сниться ему то часто, то редко, то под утро, то в самом начале ночи, но каждый раз он будет просыпаться от тихого, безнадежного ужаса перед уже свершившейся бедой, когда еще непонятно, откуда и в каком виде она придет, но точно известно, что уже ничего не исправить. И несколько раз другие мосты — обычные мосты через реки, разные мосты в разных местах — будили в нем этот ужас так внезапно и так мощно, что он не мог ступить или въехать на мост, и приходилось останавливаться и ждать, когда все уляжется...

На обратном пути Петер подвернул ногу, поэтому арест инженера Ивенса снимал Армант. Арест инженера был обставлен исключительно эффектно: к блиндажу, который занимал Ивенс, солдаты приближались перебежками, как под огнем; дверь блиндажа выбили головой шашкой. Инженера и еще одного капитана-сапера вытащили, завернув им руки за голову, и, подгоняя стволами автоматов, поставили перед генералом Айзенкопфом. Генерал долго и с сожалением на лице что-то говорил инженеру, а потом своей рукой сорвал с него погоны. При этом у генерала отклеился ус, и он машинально поправил его.

На суде инженер не отрицал свою причастность к заговору с целью задержать насколько возможно строительство моста и называл сообщников. По его показаниям было арестовано еще сто восемнадцать человек.

Сам инженер и те из сообщников, которые отрицали свое участие в заговоре, были расстреляны, остальные осуждены на максимальный срок.

Новым начальником строительства стал майор Тунборг, еще месяц назад ходивший в унтерах.

Странно, но после отъезда Шанура Петер ощутил полнейшую пустоту вокруг себя. Пустота эта обладала замечательными звукоизолирующими свойствами: все, что происходило вокруг, Петер видел, но звуков не слышал и потому почти ничего не понимал. Брунгильда,

встревоженная тем, что Петер не только молчит, но и не реагирует на обращенную к нему речь, попыталась его потормошить и, задев случайно лоб, отдернула руку: Петер был раскален, как печка. Его тут же растелешили, растерли спиртом, потом Менандр сотворил дьявольский коктейль: красный стрептоцид, аспирин, несколько капель йода, все это растворить в стакане шнапса; по вкусу питье напоминало опилки, и с этим ощущением — что рот набит опилками — Петер погрузился в бред. Бред его был мучителен и поразительно однообразен: Петер лежал на раскаленном дне реки, настолько раскаленном, что вода текла в метре над ним, над его лицом, и там медленно проплывали пузатые, как пузыри, рыбы и медленно колыхались водоросли, а потом сверху вниз стали спускаться утопленники с синими лицами, и струи воды шевелили их, придавая чудовищные позы, утопленники достигали жидкого дна реки, и вываливались оттуда на твердое дно, и начинали высыхать и корежиться от жара, и оставались лежать, глядя вверх, как там проплывают ленивые пузатые рыбины и колышутся водоросли, и так без конца...

При этом, оставаясь на дне, Петер ухитрялся время от времени возвращаться на свою койку в блиндаже; так, он запомнил, как приходил фельдшер и говорил, что это точно не тиф, потому что тиф бывает только при эпидемиях, и тогда санитарное управление дает указание лечить от тифа, а пока что таких указаний не было, поэтому здесь не тиф, а простуда, малярия или отравление. Потом он вернулся, когда рядом с ним сидела Брунгильда и думала, что ее никто не видит: лицо Брунгильды было некрасивое и почти старое, уголки рта опустились, а на отяжелевших веках стали видны лиловые жилки. Брунгильда не знала, что ее видят, поэтому по ее лицу было легко понимать, что она думает, и мысли ее были такие же усталые и некрасивые, как и ее лицо. Петер тоже был в этих мыслях, и даже не он сам, а карикатура на него: этакий брезгливый ломака, чистоплюйчик... и в то же время он был все-таки отдельно от остальных, которым от Брунгильды нужно было только одно... он да еще Шанур, но Шанур был не карикатурен, а наоборот... «Боже ты мой,— подумал Петер,— что же я натворил, я же видел, но я хотел как лучше, ладно, это мы исправим, хоть это-то можно исправить, завтра же, завтра...» Он задохнулся от жалости, он захотел сказать или как-то по-иному дать понять Брунгильде, что любит ее и желает ей счастья, но не удержался в этом мире и снова оказался на дне реки, на белом, спекающемся в бетон песке.

Он пролежал в бреду двое суток, потом быстро пошел на поправку, но в день, когда привезли то, что осталось от Эка и Летучего Хрена, Петер был еще очень слаб.

Их нашли только потому, что хорошо искали. У полковника Энерфельда, в которого сразу после смерти превратился Летучий Хрен, было много сильных друзей, они-то и организовали поиски,

когда полковник не вернулся в назначенный срок. Полугрузовичок нашли на плоскогорье, километрах в шестидесяти от стройки, причем тридцать километров из этих шестидесяти — в сторону от шоссе. Там, в развалинах древнего греко-православного монастыря, и наткнулись на сожженную машину с двумя трупами на сиденьях. Шофер и полковник были приколоты к спинкам сидений офицерскими кортиками — кортиками саперных офицеров со скрещенными топориками на темляках.

— Садитесь, лейтенант,— сказал Петер лейтенанту-десантнику, который доставил тела.— Садитесь и рассказывайте все. Извините, я просто очень слаб, переболел чем-то странным...

— Сверх рапорта — ничего, господин подполковник,— сказал лейтенант.— Каких-либо следов мы не обнаружили.

Петер покивал.

— Только два трупа,— сказал он полувопросительно.

— Так точно,— сказал лейтенант.

— В машине было трое,— сказал Петер.

— Только два,— сказал лейтенант.— На переднем сиденье.

Петер вспомнил очень отчетливо, как именно садились они в машину: Шанур на переднее сиденье, Летучий Хрен — на заднее, он всегда ездил сзади, потому что там можно было поспать... могли остановить под видом патруля и потребовать старшего по званию пересесть вперед, и Шанур мог схватиться за пистолет, и его застрелили на месте и бросили — там масса мест, куда можно бросить труп, и никто не найдет, скажем, в обломки машины или самолета, а потом Эку приставили пистолет к затылку, и полковнику тоже, и полковник возмущался, но ему отвечали — приказ, начальство разберется,— а потом обоих прикололи кортиками к сиденьям, облили бензином и подожгли...

— Должен быть еще лейтенант,— сказал Петер.

— Не было. Мы вернулись к дороге по их следам.

... диверсанты просто убили бы на месте всех — и дело с концом. А ребятки майора Вельта не стали бы загонять машину в глушь и прятать и сжигать тоже не стали бы, им нужен внешний эффект, причем такой, чтобы все догадывались, чьих рук дело, а доказать не могли...

— Ну, а груз? Там же был полный кузов.

— Ничего,— сказал лейтенант.— Кузов был пуст.

Неужели все-таки советник? Так...

— Спасибо, лейтенант.

— За такие дела благодарить нельзя.

— Вас накормили?

— Нет. Но мы уже уезжаем.

— Пятнадцать минут. Сейчас все будет.

— Простите, подполковник, приказ...

Приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, даже такие приказы, каких вовсе не бывает, например, приказ отбыть из расположения части без обеда, и тем не менее приказы следует выполнять, значит, и те приказы, которых никто не отдавал, потому что никто не мог предвидеть такую ситуацию, когда, допустим, приглашают пообедать после достойного выполнения задания, и очень легко сослаться на приказ, если обедать почему-то не хочешь, точнее, не хочешь обедать здесь, с этими людьми, и никто не обидится, все поймут, что приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, тем более приказы, отданные самому себе... Но почему, лейтенант? Что мы, прокаженные, что ли? Ты явно брезгуешь, лейтенант... или опасаешься? «Ни черта не понимаю,— подумал Петер,— ни в чем ни черта не понимаю, кто и за что их убил,— подозреваю, да, подозреваю, но ведь доказать не могу и не смогу... и при чем тут этот лейтенант?... Ах, господи, чем голова занята... Где Шанур? Вот что нам надо выяснить и решить, вот в какую точку надо бить: где Шанур и что с ним? Но для этого надо понять, кто напал и почему, и круг замкнулся, все совершенно непонятно, я насмотрелся здесь таких запредельных штучек, что всякая, самая шальная версия может оказаться правильной, всякая, любая, выбирай любую и крути ее, как вздумается...

Взять советника,— подумал Петер,— взять... я, Камерон, Брунгильда — Брунгильда в таком деле стоит двоих — взять... приставить пистолет к виску... а дальше что? Все. Все... Надо же, ничего не придумывается...

Ладно. Будем исходить из того, что он жив и захвачен. Кому он может понадобиться? Почему захватили именно его? Если это штучки советника, то может, ему понадобился личный оператор — так сказать, взамен меня? А? Он ведь о Шануре имеет весьма поверхностное представление — зеленый лейтенантик, не более того... это хорошо... это было бы замечательно, просто замечательно. Но слишком уж просто...

Но кто-то же захватил пленку! А если пленка была главной целью, а Шанур, так сказать, побочной? Допустим, его захватили для чисто технических нужд — управляться с проектором, скажем? Нука... А? Что?»

— Пойдем, Петер. Пойдем, не надо тут стоять.

Это был Камерон. Петер огляделся вокруг: он стоял над обрывом, на открытом месте — сам не помнил, как сюда пришел.

— Да,— сказал Петер.— Пойдем, конечно.

— Решили здесь хоронить,— сказал Камерон.— Могилу уже роют.

— Я найду, кто... найду, понимаешь? — Петер покачнулся, Камерон поддержал его.

— Вряд ли,— сказал Камерон.— Что из того, что найдешь? А...— он махнул рукой.— Ищи.

— Он не был твоим другом,— сказал Петер.

— Да разве в этом дело? — сказал Камерон.

— А как же тогда быть? — сказал Петер.— Рукой на все?

— Ему уже не поможешь,— сказал Камерон.

— Есть еще Шанур,— сказал Петер.

Камерон молча пожал плечами.

— Я ведь тебя ни о чем не прошу,— сказал Петер.

Камерон опять промолчал.

— Можно подумать, что тебе все равно,— сказал Петер.— Что ты только и хочешь...

Камерон издал неясный задавленный звук, Петер посмотрел на него и тут же отвернулся: стиснув зубы, Камерон плакал.

Первым серьезным мероприятием майора Тунборга в роли начальника строительства было введение режима строжайшей секретности. Запрещались к разглашению все абсолютно данные о темпах работ, о действительной длине моста, и так далее, и тому подобное — даже о расходе электроэнергии. Операторов перестали пускать на стройплощадку, все сооружения позакрывали щитами и маскировочными сетями — Петер пошел скандалить к советнику, и вместе они, два приятеля, Гуннар и Петер,— пошли к генералу. Генерал, однако, оказался тверже, чем предполагалось. Он объяснил, что на стройке, помимо интересов Министерства пропаганды, присутствуют еще и интересы военного ведомства, которые могут оказаться под угрозой из-за утраты бдительности и, как следствие, утечки оперативной информации. Да, мероприятия, направленные на пресечение утечки, создают определенные трудности для хроникеров, но что поделаешь, война есть война, а на войне без трудностей не бывает, придется смириться, но до окончания работ никакие данные не подлежат огласке, нет, Гуннар, и не проси, даже ради тебя, я все понимаю, но нет. Пусть твои ребятки займутся лучше освещением быта саперов, их боевой и политической подготовкой, внимательнее отнесутся к проблемам внедрения новой религии — а здесь еще немало проблем, старое все цепляется за души людей и тормозит их духовный рост и развитие. И преображение. А что касается самого моста — то нет. Не положено, может случиться утечка информации.

— Вот так, Петер,— сказал господин Мархель, разводя руками.— Ничего не поделаешь, он здесь хозяин.

— Не расстраивайся, подполковник,— сказал генерал.— Наплюй ты на это железо. На людей, на людей внимание обращать надо. Люди — вот настоящее железо!

В быт саперов Петер вгрызался яростно. Материалы Шанура — кроме тех, под мостом, конечно — погибли, поэтому Петер изо всех сил стремился наверстать потерянное. Он знал, что не сможет сделать это так, как Шанур, так неподкупно точно и с такой любовью, что-то внутри него придерживало изредка руку и отводило глаза, но —

он стремился, и иногда получалось. Приходилось, конечно, снимать и парадные сцены: новые и новые моления у статуи Императора, все более гладкие и вычурные, приторные, как сахарин; построения и зачитывания приказов; развод караула; обход генералом позиции артиллеристов; награждения. Но чаще — сцены обыденной жизни, текущей совсем иначе, чем жизнь показная, парадная,— иначе и отдельно. Еда; сон; сапер стирает портянки; сапер штопает шинель; четверо саперов дуются в самодельные карты, проигравшего лупят картами по ушам, остальные хохочут; сапер сидит на табурете, другой мальчишка с изъеденным оспой лицом на широкой струганой доске кусочком угля пишет его портрет; несколько саперов стоят сзади и тихонько, чтобы не помешать, спорят; голые саперы выбегают из бани и катаются по снегу; черные, как черти, копаются в моторе трактора; собравшись в кружок, травят анекдоты. Петера охватывала тихая злость, когда он чувствовал, что ему начинают позировать,— но обрести с саперами былую бесплотность ему не удавалось, то ли сил не хватало после болезни, то ли еще чего... Петер чувствовал перемену отношения, между ним и саперами появился ледок настороженности, прозрачный, тоненький и холодный. Несколько раз его буквально судорога сводила от внезапно возникавшей преграды между ним и людьми — будто они, люди, внезапно прозревали в нем что-то опасное или омерзительное, но старались не показать, изо всех сил старались не показать, и у них получалось, но все силы тратились на это...

Однажды утром возник подполковник-адъютант и сопроводил полуспящего Петера к генералу и господину Мархелю. Когда Петер вошел, генерал и советник сидели молча и понурившись.

— Проходи, Петер,— сказал советник.— Вот решаем, как быть...

— Что стряслось, Гуннар? — спросил Петер.

Генерал криво усмехнулся, а господин Мархель пожал плечами.

— Плохо дело,— сказал он.— Император требует, чтобы мост был сдан немедленно. Мы вот тут помозговали и решили...

— Другого выхода у нас не было,— сказал генерал.

— Другого не было,— подтвердил господин Мархель.— Тем более, что все материалы погибли. Так вот, решили сделать макет моста и снять его. Такой, понимаешь ли, трючок. Откупимся от начальства, а там потихоньку и настоящий закончим. Как ты думаешь?

— Мне-то что,— сказал Петер.— Снять-то что угодно можно.

— Верно мыслишь,— сказал генерал.

— Главное, чтобы там не узнали,— сказал господин Мархель и ткнул пальцем вверх.

— Не захотят — не узнают,— сказал генерал.

— Это точно,— сказал Петер.

— Да, но это не все,— сказал господин Мархель.— Если бы только это... Видишь ли, его,— он показал на генерала,— хотят

сделать этаким мальчиком для битья, все у них приготовлено — вызывают в столицу и... ну, сам понимаешь. Мы тут подумали и решили: а что, если...

— Вообще-то...— начал генерал, но не закончил, замолк.

— Ты не беспокойся, Йо, Петер свой человек,— сказал господин Мархель.— Так вот, я перепишу сценарий, а потом подумаем, как и что нам переснять... в общем, генерал Айзенкопф сегодня погиб на посту.

Петер посмотрел на генерала. Генерал внимательно разглядывал ноготь на мизинце.

— Сделаем так,— продолжал господин Мархель.— В том, что мост не сдан в срок, виновен генерал Айзенкопф, но он погиб на посту, а мертвые сраму не имут. А в предыдущие события внесем корректировку: дескать, реальный вклад в руководство строительством вносил полковник Мейбагс, а генерал только привносил разлад и беззакония. Как тебе такой оборот событий?

— Круто,— сказал Петер.

— Разумеется,— сказал Мархель.— Только круто и можно в таких обстоятельствах.

Преображенный сценарий был таким:

«...преодолевая волнение, инженер Юнгман докладывает Высшему Имперскому Совету свой проект; генералы встречают его недоверчиво, но вот мы видим, как полковник Мейбагс наклоняется к уху генерала Айзенкопфа и шепчет ему что-то, и трехкоронный генерал подходит к инженеру, жмет ему руку и похлопывает по плечу.. мощные бульдозеры прокладывают дорогу в горах, саперы взрывают скалы, и вот расчищено место для будущего великого строительства. И постоянно среди саперов мы видим полковника Мейбагса, окруженного подлинной любовью. Вот настал великий день: саперы, стоя в строю, принимают поздравления от генерала Айзенкопфа; вот они в едином порыве устремляются на свои рабочие места. Генерал садится в машину, где его ожидает кинозвезда Лолита Борхен, и уезжает. Полковник Мейбагс руководит работами. Взревели сервомоторы, засверкали огни сварки, и вот первая секция моста медленно, почти незаметно для глаза двинулась вперед — и повисла над бездной... Бдительно несут службу зенитчики: солдаты и офицеры во главе с полковником Мейбагсом вглядываются в небо. Неприятельский самолет! Полковник отстраняет наводчика орудия и сам занимает его место. «Огонь!» — командует он. В небе исключительно кучно возникают белые шарики разрывов; секунда — и, пылая, вражеский ас врезается в склады! Обломки самолета крупным планом. Еще и еще обломки. Никто не прорвется к мосту!

Часть II. Блиндаж, саперы отдыхают. Читают письма из дому, играют в шахматы, поют песни. Ужин. Появляются зеленые солдатские фляжки с добрым ромом, произносится тост: «За победу! За

Императора! За нашего генерала Айзенкопфа!» Но мы видим, как, отвернувшись, многие саперы шепчут: «За нашего полковника Мейбагса!» Ночь. Саперы спят...» — ну и так далее.

— Надо не забыть вскрыть гнусную сущность майора Вельта,— напомнил Петер.

— Да-да,— согласился господин Мархель, продолжая вписывать поправки в сценарий.— Мавр сделал свое дело. Поясним, что в силу своей перверсии ненавидел гетеросексуальных мужчин и подсознательно стремился к их устранению.

— По-моему, вы перегибаете палку,— забеспокоился генерал.

— Молчи, покойник! — весело сказал господин Мархель.

— Тогда бы надо освободить тех... в лагере,— сказал Петер.

— Да? — господин Мархель отложил карандаш, почесал переносицу.— Нет. Рановато. Они нам еще пригодятся. Вот закончим мост, тогда...

— Саперы говорят, рабочих рук не хватает,— напомнил Петер.

— Ерунда — сказал генерал.— Плохому плясуну всегда яйца мешают.

— Нет, Йо, ты не прав,— сказал господин Мархель.— Нельзя так сразу отказываться от такого резерва рабочей силы. Не по-хозяйски это. Давай-ка ты, пока живой, заставь Тунборга проверить, действительно ли не хватает и сколько. Можно будет часть штрафников освободить и направить на работу.

— А как же их предательство? — спросил генерал.

— Как было. Сажали-то их для перевоспитания, не так ли? Вот и отберем тех, кто успел перевоспитаться.

— Ваше дело,— сказал генерал.

— Да, и еще,— сказал Петер.— По сценарию у нас в одном кадре получаются и генерал Айзенкопф, и полковник Мейбагс. Но...— он кивнул на генерала и развел руками.

— Без проблем,— сказал господин Мархель.— Под бывшего генерала загримируем кого-нибудь из штабных. Подполковника этого... как его?

— Азаусси,— подсказал генерал.

— Азаусси? — переспросил господин Мархель.— Где ты их берешь с такими фамилиями?

— Старинная дворянская фамилия,— сказал генерал слегка обиженно.— Уж тебе-то надо знать историю Отечества.

— Ну извини,— развел руками господин Мархель.

— Извиняю,— сказал генерал.

— Значит, так, Петер,— сказал господин Мархель.— Сейчас в самом быстром темпе надо состряпать несколько сцен с генералом и полковником в одном кадре, потом с генералом отдельно, потом гибель генерала на боевом посту, и где-нибудь ближе к вечеру уже надо будет дать официальное сообщение.

— Тогда прямо сейчас и начнем,— сказал Петер.

Подполковника-адъютанта загримировали под генерала Айзенкопфа, получилось довольно похоже, но играл он плохо и путал реплики. В глазах его застыло выражение тихого панического страдания. Его снимали в группе офицеров и соло, статично и в движении, со словами и без. В одном из моментов съемки — около статуи Императора — Петер, воспользовавшись тем, что рядом никого не было, шепнул ему:

— Сматывайся, дурак. Убьют.

— Куда? — с полной безнадежностью в голосе спросил подполковник,— и стало ясно, что он все понимает.

— Куда-нибудь. Хоть в плен. Но поскорее.

— Убьют...— пробормотал подполковник, и ему было все равно: что так убьют, что так — тоже убьют, но уже при попытке к бегству.

Но все же получаса спустя он, позируя в легковой машине, вдруг быстро выбросил шофера — тот распластался на снегу,— вскочил на его место и дал газ. Ему стреляли вслед, но безуспешно.

Брунгильде было плохо, она не знала, куда себя деть, днем спала, а по ночам бродила по блиндажу, и Петер тоже не спал, засыпал и просыпался от ее хождений, и приходилось лежать и притворяться спящим, он боялся, что она наделает глупостей, сорвавшись; после того сеанса телепатии, который приключился с ним во время болезни, он стал относиться к Брунгильде по-иному, научившись различать, где у нее лицо, а где маска,— Брунгильду следовало оставить в покое, позволить ей самой пережить — перемолоть — все случившееся, никакого вмешательства она не потерпела бы и могла бы сорваться и наделать глупостей. Под глупостями Петер понимал не обычную женскую дурь, а глупости по большому счету, которые Петер, верный своей привычке не называть демонов по именам, старался не определять и не загадывать. Но пока что Брунгильда просто сумрачно ходила из угла в угол или сидела за столом, уронив голову на скрещенные руки, или, за столом же, начинала ворожить, водя пальцем по алюминиевой тарелке. Впрочем, днем она спала, и крепко.

Менандр стал исчезать временами. Петер посвятил его в тайну Баттена, и Менандр взял на себя жизнеобеспечение беглеца. Там у них велась какая-то своя жизнь, и Петер с облегчением выпростался из-под одной из нош. Менандр на новом месте развернулся сразу и широко, и еда вновь стала генеральской.

Объявление о кончине генерала Айзенкопфа породило массу самых диких слухов. Большинство их сходилось, впрочем, на том, что генерал остался жив, а сообщение сделано затем, чтобы ввести противника в заблуждение.

В одну из ночей, когда Менандр отсутствовал, бодрствующая Брунгильда услышала — сквозь бетон! — какую-то возню снаружи, а

потом стон. Никого не будя, она сама с одним пистолетом в руке вышла на разведку и обнаружила на снегу человека; снег под его головой стремительно темнел. Без посторонней помощи она втащила его в блиндаж, и от этого шума хроникеры наконец проснулись. Зажгли свет. Это был Козак, без сознания, но живой. Кровь обильно лилась из раны на голове, нанесенной, видимо, лопатой. Петер, полив на руку шнапсом, пальцем залез в разу и убедился, что череп сапера удар выдержал. Козака перевязали потуже, приложили лед — кровь остановилась. В сознание он не пришел, но и умирать не собирался.

Пока он лежал на тюфяке, без сознания, но с хорошим пульсом и приличным дыханием, вдали поднялась заполошная стрельба. Все выскочили наружу. Палили где-то в районе штрафного лагеря, там летели вверх ракеты, осветительные и сигнальные, и разноцветные нитки бус повисали над подсвеченным снегом. Побег, наверное, подумал Петер, сейчас они разбегаются по лощинам, а кто не успел, того настигают эти самые бусы, издали такие медленные и нестрашные, и люди остаются лежать на снегу, а некоторые пытаются ползти или вырвать из себя застрявший свинец, он вспомнил, как на его глазах танкист, сидящий у своего разбитого танка, руками разорвал себе живот, и оттуда хлынула кровавая жижа, и сопровождавший Петера капитан-танкист, сморщившись, дважды выстрелил танкисту в голову... Кажется, лаяли собаки.

— Не нашего ли Менандра пресекли? — не слишком серьезно спросил Армант.

— Ну что ты,— отозвался Камерон,— Менандр непресекаем. А, Петер?

Петер промолчал. Не в Менандре было дело там, в трех-четырех километрах отсюда, не в Менандре... кажется, я догадываюсь... или только кажется? Что это со мной последнее время? Комплекс Кассандры, что ли? Не хватает начать ворожить, как Брунгильда, или, скажем, заняться составлением гороскопов... но эти чертовы предчувствия взяли за правило оправдываться — особенно дурные предчувствия...

— Надо бы сходить посмотреть,— неуверенно предложил он. Оба подчиненных стали уверять его, что нужды в этом нет никакой, что все уже кончилось, а если не кончилось, то тем более нет резона подставлять голову. Петер с недоумением слушал их, потом вспомнил, как выглядели тела Летучего Хрена и Эка, и пошел греться. Козак все еще не пришел в себя, хотя вроде бы раз открывал глаза и что-то пытался сказать.

Петер сел рядом с Брунгильдой, приобнял ее за плечо — это было легко и естественно, все между ними прояснилось и сошлось на одном человеке — третьем — и никаких двусмысленностей и прочего быть не могло — и спросил:

— Ты гадала на него?

Брунгильда поняла и кивнула.

— Ну и?

— Ничего,— сказала Брунгильда тихо.— То есть совсем ничего. Будто его нет никакого — ни живого, ни мертвого...

— Совсем нет?

— Будто и не было.

Брунгильда доверчиво и уютно прислонилась к нему, и, чувствуя тепло, не для него предназначенное, Петер испытал острую зависть к Шануру, к честному сопернику, который вдруг исчез не только из жизни, но и вообще из бытия, оставив лишь короткую память, которой нет доверия,— исчез даже из прошлого, будто стертый отовсюду огромным ластиком, и тут вдруг, представив себе этот ластик, Петер догадался обо всем — догадка еще не сформировалась, но Петер все равно знал, что вот сейчас, сейчас — чувство понимания буквально захлестнуло его и, видимо, передалось Брунгильде, она внезапно оцепенела, а руку ее, лежавшую свободно, сжало в кулачок, твердый и сильный; они отстранились друг от друга, и им не пришлось ничего говорить, чтобы понять мысли другого... это было как вспышка, короткая и жесткая, от таких вспышек высыхают лица и сужаются зрачки, только благодаря им удается изредка прозреть душу насквозь, до самого дна, и заглянуть в нее без страха, а со спокойным пониманием и снисхождением к собственным заблуждениям и слабостям. И еще Петер вспомнил, как они точно так же сидели с Шануром на этой самой койке и прислушивались к ходу времени, и оба поразились тогда холодности и равнодушию этого хода. «Воды времени холодны и мертвящи, и тот, кто войдет в них, никогда не выйдет обратно»,— вспомнилось Петеру. Но Шанур, зная это, вошел в них, потому что не мог мириться больше с этим вселенским равнодушием к роду людскому, вошел, чтобы хоть брызг наделать... и нет Шанура, и не было никогда.

Камерон с Армантом долго не показывались, и Петер вышел вновь, оставив Брунгильду, посмотреть, где же они, в такую беспокойную ночь следовало держаться настороже. Они, оказывается, преспокойно любовались полярным сиянием. Сияние расцветало невысоко над горизонтом, над хребтом Ивурчорр, передергивалось временами, тускнело, потом разгоралось ярко — и погасло мгновенно, как перегоревшая лампочка. А на юго-востоке небо уже светлело, и вот оттуда, из светлеющего неба, протянулась вдруг огненная полоса и вонзилась в скалы неподалеку, беззвучно вспорола снежную пелену и, обрастая космами быстро остывающего пламени, ползла, еще среди скал, теряя остроту и силу, и, пока она ползла, до ног докатился тугой толчок и последующие содрогания, а потом по воздуху долетел звук — неожиданно глухой, надтреснутый, рассыпающийся; потом там, где упавшее замерло в бессилии — след, проби-

тый им, горел желтым чадным керосиновым пламенем — там вспухло что-то неясное, темное, клубящееся, и из этого темного стало напоминать голову Медузы, и Петер почувствовал на себе ее тяжелый, повелевающий окаменеть взгляд... тысячи змеящихся дымов рванулись в стороны и вверх, и вот они уже валятся сверху, а в ногах вата, ноги не сдвинуть с места и не перенести тела — в теле тоже вата, везде одна вата, такая дрянь... пятится назад Армант, то есть ему кажется, что он пятится, а лицо Камерона белее снега и белее ваты, а дымы валятся сверху, и уже не успеть, и тут рядом где-то заколотили в рельсу — раз! раз! р-раз! р-раз! — и заорали: «Газы!!!» Петера рванули за плечо, и, зацепившись за порог, он влетел в блиндаж, не удержался на ногах и упал, и тут же вскочил... Они набивали в щели какое-то тряпье и черную вату — Петер видел распотрошенный тюфяк,— они забыли отдушины под потолком, потом Камерон жеваным хлебным мякишем стал залеплять дыру, через которую входил электрический провод, и тут погас свет. В темноте продолжалось движение, шевеление, шорох и неясные звуки работы, потом кто-то включил фонарик, и свет его был неожиданно белым и ярким.

— Дайте бинт,— сказал Камерон,— руку ссадил.

— Сейчас,— отозвался Армант. Он пошарил где-то — лучик фонаря стал маленьким и ослепительным — достал пакет.— Подставляйся.

— Я сам,— сказал Камерон.— Посвети.

Камерон поранился то ли гвоздем, то ли острым бетонным выступом. Рану залили йодом и перевязали — Камерон шипел и ругался.

— Промыть бы надо,— сказал Армант,— да воды...

— Ладно,— сказал Камерон.— На мне, как на собаке.

— Долго нам тут сидеть? — спросила Брунгильда.

— Смотря что это было,— сказал Армант.— Если фтор-селентин, то сутки. А если «би-куб», то...— замолчал, и молчание повисло над всеми, потому что все, кроме Брунгильды, знали, что такое «би-куб».

— То что? — спросила Брунгильда, не дождавшись прямого ответа.

— Ничего,— совсем другим голосом сказал Армант.

— Если «би-куб», то можно сидеть до второго пришествия,— сказал Петер.

— А как мы узнаем? — спросила Брунгильда.

— Никак,— сказал Петер.

Брунгильда повозилась в темноте, встала и подошла ко всем остальным. Теперь они сидели кружком на кровати и двух табуретках. Луч фонарика, чуть потускневший, но все еще сильный, бил в потолок и, рассеиваясь, падал на лица.

— Ребята,— сказала Брунгильда,— объясните бедной неграмотной женщине, что все это значит?

Она не любила недоговоренности.

— «Би-куб»,— сказал Петер,— это особо стойкое вещество. Держится на местности до десяти дней. Особенно зимой. Воздуха в этом блиндаже нам на пятерых хватит едва ли на сутки. Противогазы от «би-куб» не спасают. Значит, через сутки будем решать — или задыхаться здесь, или выходить. Вот и все.

— Понятно,— сказала Брунгильда.

И тут в дверь заколотили кулаками и прикладами.

— Откройте! — глухо доносилось из-за двери.— Откройте, гады!

— Сидеть,— сказал Петер.— Им уже не поможешь...

Все и так понимали это, но там, за дверью, были свои, которые... нет, нельзя. Поздно.

— Открывайте, гады! — кричали там, снаружи.— Сволочи! Заперлись, суки! Открывайте!

Поздно. Поздно. Те, за дверью, уже вдохнули яд, и теперь он разрывает им легкие. Сейчас они замолчат...

Они не замолчали. Они дали очередь в дверь, и пули тупо рванули воздух. В нос ударило горячим запахом жженого пороха, и Армант в два прыжка оказался у двери и трижды выстрелил в ответ. Слышно было, как упало тело. «Ложись!» — крикнул Камерон, он ждал гранатного взрыва, и Петер тоже ждал взрыва, но Армант, видимо, не понимал этого, тогда Петер рванул его от двери и прижал к полу. Так они и лежали, Армант слабо шевелился, потом Камерон сказал: «Пронесло». Петер поднялся. Камерон уже, торопясь, впихивал в отверстия от пуль черную вату и спички. «Помогай»,— сказал он, и Петер стал разминать хлебный мякиш и замазывать им дыры поверх спичек...

Он стоял лицом к двери и не видел, как Брунгильда шла к Арманту, а он пятился от нее, как она приблизилась вплотную и влепила ему пощечину — тут только Петер оглянулся, Армант уперся в стол и ерзал вправо-влево, пытаясь нащупать путь отступления, руками он закрывался, но Брунгильда, почти невидимая, отвешивала ему то с правой, то с левой руки, шепча при каждом ударе: «Мерзавец... подонок.. крыса... мразь... ублюдок...» — и Армант не выдержал и завопил: «Уберите эту бабу!» «Ах, уберите!» — восхитилась Брунгильда и вмазала ему еще. Камерон вовремя оказался рядом с ним, он перехватил руку Арманта, вывернул ее — шутя — за спину и отобрал пистолет, рукояткой пистолета он тихонько долбанул Арманта по затылку — не так, чтобы отбить память, а просто чтобы напомнить о такой возможности — Армант обмяк и, обмякший, униженный, потек на свою койку и пролился на нее — и вдруг зарыдал.

Брунгильда, тяжело дыша, опустилась на кровать Петера. Петер сел рядом, потрепал ее по плечу.

— Ничего,— сказал он.— Как-нибудь... Ты только воздержись от резких движений, хорошо? Надо воздух экономить...

— А с тобой опасно связываться,— сказал Камерон.— Как... как...— он не договорил и вдруг заржал, и Петер подумал, что, пожалуй, впервые слышит, как смеется Камерон, причем совсем неясно, по какому поводу.

И тут подал голос сапер.

— Твою мать,— громко и отчетливо, будто и не пролежал полночи без сознания, сказал он.— Есть тут кто живой?

■

Кап... кап... кап... кап...

Клепсидра...

Если лежать не шевелясь, кажется, что и не лежишь вовсе и что тебя просто нет — и головная боль не твоя, ты лишь знаешь о том, что она есть... молоточки или капли? Кап... кап... тук. Тук. Тупо и беззлобно, не имея представления о том, как это больно... в виски... и в глаза — сзади. Больно до невозможности терпеть — но ты даже не тратишь силы на то, чтобы теперь, ты просто знаешь, что боль есть и что она твоя, но это далеко в стороне и поэтому никому не интересно...

Волки, что ли, воют?

Откуда капает? Сил нет, как хочется пить...

Что? Ничего. Я молчу.

Вечер? Где вечер?

Стоят. Может, и заводил. Не помню. Осталась только клепсидра.

Кап. Кап. Кап! Кап!!! Кап!!! Кап!!!

Пустите меня!

Пустите меня!

Пустите!!!

А... нет, ничего. Все в порядке. Карел. Голова — сил нет. Дурею. Скоро кончится.

...этот актер — который играл диверсанта и которого я в затылок — в ямочку между шеей и затылком, он даже не успел ничего почувствовать и повалился, как тряпичная кукла — я ведь успел понять — успел понять — успел понять... только не выстрелить не смог — странно... и часового они — ножом — почему? До сих пор вижу, как он валится — он умер мгновенно, раньше, чем упал, он падал уже мертвый, как тряпичная кукла,— тело мгновенно становится мягким и неуправляемым, потому что некому управлять — на секунду возникают эти видения — я знаю, что не виноват, но почему я не смог задержать выстрела — будто катился под гору... ты говорил ужасные вещи, Карел, но это правда — мы виноваты — да, не только советник, мы все, потому что без нас он не мог ничего — но если бы

мы ушли, пришли бы другие, ничем не лучше нас... но саперы тоже не правы, потому что убивать нас бесполезно, и я даже не знаю, как быть... но теперь это все равно, потому что «би-куб» решил все за всех... Карел? Молчишь... все молчат... и я молчу...

Конец?

Это так бывает, да?

...что раздвинется, и мы вдруг увидим... город, простой город, смотри, вон там — здание театра, видишь? Нет, правее, вон за теми домами — зеленая крыша? Не видишь... смотри: три красных дома, чуть дальше — такая решетчатая башня, там радиостанция, дальше деревья, и группой — одинаковые белые дома — увидел? Вот, за ними — зеленая крыша... да-да-да! Именно там сейчас идет это представление, на сцене — декорации блиндажа, и вы там задыхаетесь от нехватки воздуха, ты лежишь и бредишь, а Брунгильда поднимается и, спотыкаясь в темноте, идет куда-то...

Нет.

Я не хочу!

Что? Не бывает?

Это ты? Брун... когда? Прямо сейчас, потому что никогда больше... и умрем.. смерти без мучений... конечно... да... да... ты ведь знаешь... знаешь... все... да... такое... боже мой!.. это куда-то, куда-то... куда-то... где... волна ушла — и теперь бесконечное падение, падение, паде...

Чернота. Нет ничего.

Как долго ничего нет.

И ослепительный грохот. Вспышки боли над глазами, и после вспышек чернота лишь сгущается, но куда меня волокут... холод — и с холодом приходит зрение...

...потому что снег, и луна прожектором, и в белом снегу белая женщина, встает и падает, и страшно холодно, я голый в снегу, и рядом еще кто-то лежит, мы лежим и пытаемся подняться, снег тает на телах, и они блестят... голая Брунгильда в голом снегу... немыслимо холодно, надо одеться — нет, правильно, надо растираться снегом, да-да, надо растираться, чтобы жарко... вот зачем... как вата.. лицо, сначала лицо, грудь, руки, пошло дело, пошло, резко, как пригоршней иголок, но я уже не могу, да лежит, Камерон и не движется, помогай, девочка, вот и он оживает, вот оживает и открывает глаза, еще не видит, но уже открывает, в глазах боль, но это ничего, дружище, это пройдет...

...Армант на коленях и растирается сам, и Козак возится в снегу, ему хуже вдвойне, но он крепкий мужик, и вот вроде бы живы все и движутся, и вот наконец можно увидеть все целиком: сугробы, огромные вокруг сугробы, и черный провал двери, и истоптанный снег, все залито белым лунным светом, и пятеро голых людей на снегу и — и ничего больше нет в мире, кроме этого...

Дымка с разума сдирается послойно, и вот холод уже не бодрит, а вгоняет в озноб, и пальцы не чувствуют пуговиц, как деревянные, тело не чувствует прикосновений, ладно, застегнем потом, все наброшено как попало, не держится и холод не пропускает, Брунгильда, ноги! Сейчас... Сейчас... Умница, Камерон, давай все в кучу, это бензин? Осторожно... ну вот.

Вот и костер, и тепло, и живы, живы ведь, черт побери, черт вас всех дери — живы! Правильно, разливай скорей, продрогли насквозь, за воскрешение, так и раззтак!

Спирт вспыхнул внутри и потек по жилам — сначала к спине, вдоль спины, вверх и вниз, в живот, в пах, в плечи и шею, в голову — и боль ушла совсем, и руки уже теплы, и можно наконец похлопать по плечам тех, кто рядом, ребята, да ведь мы родились опять, и пелена на глаза — но уже не черная, а розовая, это от кружки-то спирта? Нет, братья, не так-то просто нас укокошить, но все-таки — кто открывал дверь? Ты? Брунгильда — ты? Да ты просто не понимаешь, что ты за человек, ты просто не можешь этого понимать, до гробовой доски — правильно, парни? До гробовой доски! И вытаскивала, да? Всех? Ребята, Брунгильде нашей — ура! Ура! Ура!!! В неоплатном долгу — это не слова, это так и есть. Нет-нет, очень серьезно — все твои должники...

...беззвучные вопли восторга исторгаются всеми и свиваются в единый вихрь, и в этом вихре несется Брунгильда и кружится в нем, ты с ума сошла, Брунгильда, боже мой, как красива Брунгильда, мир никогда не видел женщины красивее, чем ты,— и никогда не увидит, ты же замерзнешь, дурочка, оденься! Да, сошла с ума, да, сошла, да — хочу и буду, хочу и буду! Вот так, и вот так, и вот так... Петер наконец ловит ее, прижимает к себе — Брунгильда дрожит — и Камерон набрасывает на нее шинель, и ее несут к огню и отогревают у огня тихо и бережно, и растирают ледяные ступни, и чьи-то носки из толстой шерсти, и знаменитый свитер Менандра в три пальца толщиной, и вот из свертка видны только два огромных темных глаза, а мужчины все еще хлопочут о тепле...

■

Потери, причиненные газовой атакой, были огромны. Они были бы катастрофичны, если бы не внезапная метель, разразившаяся днем. Почти ураганной силы ветер снес зараженный снег, а потом выпал свежий снег, и стало можно жить. Повезло...

■

Две недели до рождества были суматошны — срочно, срочно, чрезвычайно срочно восстанавливались — фальсифицировались — киноматериалы о строительстве: начиная с первых кадров и кончая сценами торжеств по поводу завершения перекрытия. Однов-

ременно штрафники строили в некотором отдалении громадный павильон, где был прорыт очень похожий, только маленький, каньон — ну, не такой уж маленький, двадцать метров в ширину, двадцать пять — в глубину. Копии сооружений были похожи, но уж очень аккуратны, видно было, что это подделка, но господин Мархель был доволен, особенно ему нравилось, как лежат блики от блестящих ферм моста на скалах — то, что надо, восторгался он, то, что надо!

Странно, но газовая атака будто обрубила прошедшее время и память о нем. То, что было до газов, казалось уже страшно далеким и полузабытым — едва ли не легендарным. История почему-то начала свое течение вновь, с новой точки отсчета — Петер уже обращал внимание на подобные феномены человеческой памяти, будто, перегрузившись, она сбрасывала и оставляла позади недавнее и начинала впитывать новые впечатления...

Менандр готовил елку, он раздобыл ее где-то на этом безлесом плоскогорье и теперь наряжал в полном соответствии со своими вкусами. Было много ваты, посыпанной слюдяным блеском, и много свечей, и куклы с умильными рожицами, и апельсины на ниточках, Менандр был в своей стихии, и Петер с удовольствием смотрел на него, как он осторожно и аккуратно развешивает по колючим лапам яркие стеклянные бусы — не хватало дюжины ребятишек в масках и Санта-Клауса с его оленями, и ведьм на крыше, и самой крыши, и все это было бы уместно где-нибудь на фермерском Юге, а здесь только взбивало пену на поверхности и поднимало муть в глубине... Менандр был чужд подобных переживаний и радовался, что может соорудить уголочек прошлого — уголочек детства — здесь, среди снега и железа, и не понял бы ничего, если бы ему сказали правду.

— Индейки не нашел,— сказал он, с исключительным изяществом сервируя стол.— Но гусь — это тоже неплохо.

Гусь выплыл на деревянном блюде, распространяя сводящие с ума ароматы, и это было настоящее Рождество — может быть, последнее, потому что носились в эфире слухи о том, что искоренение старой религии зайдет достаточно далеко и день Рождества заменит День Тезоименитства Его Императорского Величества — но пока что было можно, и все поздравляли всех с веселым Рождеством и стали делать друг другу маленькие подарки: Петер подарил Брунгильде дамский браунинг, очень маленький и изящный, как игрушка — игрушка исключительно точного боя; Камерону досталась трубка из корня арчи — выточили саперные умельцы еще летом; Армант получил двенадцатикратный цейсовский бинокль и очень обрадовался; подарок для Менандра был особой проблемой, по части достать — Менандр мог все, и ему Петер торжественно вручил пачку писем из дому, пришедших в редакцию и доставленных сюда только вчера вечером. Надо было видеть лицо Менандра! Размашистый почерк жены; бисерные почерки трех дочерей; внуки и внучки писали печат-

ными буквами.. Сам Петер от коллектива получил букет цветов — Менандр мог все! — две бутылки коньяка: «Бурбон» и «Бисквит» и новую зимнюю шинель, мягкую, подбитую волчьим мехом. Гусь был хорош, коньяк был превосходен, весь мир остался за толстыми бетонными стенами, за бетонным покрытием, за снегом и темнотой зимнего вечера, здесь было тепло, сыто, пьяно, а настроение не приходило.

— А знаете что? — сказал вдруг Менандр.— Говорят, что наш Христиан где-то объявился.

— Как — где-то? — воскликнул Петер и бсковым зрением заметил, как напряглась и распрямилась Брунгильда.

— Да вот — разное говорят,— пожал плечами Менандр.— Ерунду, главным образом. То — что в лагере он, а то вроде как у зенитчиков его видели. Вроде как... ну... как бестелесный он все равно. Ходит и смотрит... говорят... разное.

— Так,— сказал Петер; он сразу вспомнил Хильмана.— И что он говорит?

— Так я что, слышал разве? — сказал Менандр.— Разное говорят. Кто что хочет — тот то и говорит.

— Легенды, наверное,— нервно сказал Армант.

— Может, и легенды,— согласился Менандр.— Сам не видел, врать не буду. Но — говорят...

— Мало ли что говорят.

— Это конечно.

— Мен,— хрипло сказала Брунгильда,— где его видели?

— У зенитчиков,— начал перечислять Менандр,— потом, говорят, в лагере — ну, те, которые в павильоне работают, они говорили кому-то, потом видели, как он по дороге шел, далеко отсюда, шофер подвезти хотел а Христиан отказался — вот. Ну, и еще, говорят, по ночам в блиндажи заходит, разговоры ведет — но тут уж, сама понимаешь, все молчок — где, с кем...

— Петер? — посмотрела на него Брунгильда.

Петер помолчал.

— Думаю, если это правда,— медленно сказал он,— то нас он не минет.

— Что ты говоришь, Петер? — удивился Армант.— Ты вправду думаешь, что такое может быть?

— А почему нет? — сказал Петер.— Тело-то не обнаружено.

— Тогда он — дезертир, государственный преступник!

— Да? — удивился Петер.— Интересная мысль.

— Ты странно относишься к такому важному вопросу! — гнул свое Армант.

— Тебе же сказали — он бесплотен,— сказал Петер.— А бесплотным может быть только дух. Потеряв тело, человек автоматически выбывает из рядов, и о дезертирстве речи быть не может.

— Это словесные выверты,— Армант, похоже, захмелел.— Суть дела состоит в том, что ч-человек может потерять плотность, а может ее и вернуть — так бывает, я знаю, это не имеет ничего общего с потерей тела, то есть со смертью. Я помню, как вы с ним говорили про это — я вошел, а вы меня не видели и сидели, а потом у вас чуть до стрельбы не дошло — я по-омню! — он хитро прищурился и погрозил пальцем.— Хитрые! Думаете, я ничего не знаю? Я все-е знаю...

«О-ла-ла,— подумал Петер,— а пацан показывает зубки... Ладно, потом».

— Господи,— глухо сказала Брунгильда,— да что с ним сделали-то такое? Петер, что они с ним сделали? Ведь он за них все — душу, кровь... все... а они? За что? Как так можно ослепнуть, чтобы своих?..

— Можно,— сказал Петер.— Еще и не так можно. Саперы ведь видят — мы появились, и пошла всякая мерзость. Значит, мы виноваты. Значит, нас под ноготь... виноват, к ногтю. Что они, могут со стороны разобраться, кто именно виноват? Да ни черта. Ни черта! И мы ни черта не можем, вот в чем самая-то беда...

■

Снег сыпал и сыпал, изо дня в день, понемногу, мелкий и редкий, но он сыпал без перерывов и заваливал все на свете, и все силы вскоре приходилось убивать на пробивание дорожек и дорог, на расчистку площадок и прочее, и прочее, и прочее. Козак заходил редко, с оглядкой — как он говорил, антикиношные настроения вроде бы рассосались, но опасаться, чтобы тебя еще раз не рубанули сзади лопатой, приходилось. Вероятно, наиболее активные сторонники террора погибли при газовой атаке, а сами киношники, удалившись в павильон, больше глаза не мозолили и рецидивов ненависти не вызывали. Работы стояли прочно, на мертвом якоре. Для чего-то саперы выходили на свои места, крутились по стройке, создавая иллюзию какого-то движения, но за последний месяц мост не прибавился ни на одно звено.

На экране же дело обстояло следующим образом: после восстановления разрушенной электростанции очень быстрыми темпами мост был достроен, соединен с противоположным берегом и закреплен. Предварительно там был высажен воздушный десант, который захватил плацдарм и удерживал его до момента введения моста в эксплуатацию. Танковая армия — пластмассовые танки в одну пятидесятую натуральной величины — форсировали каньон и прорвали наспех возведенные оборонительные сооружения противника. Однако противник не терял надежды на контрудар. Высадив танковый десант в нашем тылу, он попытался прорваться к мосту, но был остановлен и в тяжелом бою разбит наголову артиллеристами и

саперами. Апофеоз — генеральное наступление — решено было снимать на натуре, и не здесь, а на юге, и не сейчас, а весной.

— Темпы, темпы, темпы! — господин Мархель метался по своей резиденции — пол был завален исписанными и смятыми листами бумаги, окурками дорогих сигарет, фотографиями и кусками киноленты.— Как показать темп? Как создать темп? Петер, ты что молчишь?

Петер сидел, закинув ногу на ногу, и курил дорогую сигарету господина Мархеля. Они только что посмотрели отснятое, и... темп... господа, темп! Видно было невооруженным глазом, что саперы передвигаются.

— Не молчу,— сказал Петер.— Я думаю. И думаю, что надо не форсировать темп, а оставить так, как есть. Пусть будет видно, до какой степени измучены люди, что они еле стоят на ногах — но мост тем не менее построен. Как, Гуннар?

— Императору может не понравиться. Он не любит излишнего натурализма.

— Тогда дать им недельку отдохнуть, отоспаться, подкормиться — и переснять. Снять-то надо метров двести...

— Подкормиться... подкормиться...— пробормотал господин Мархель.— Пожалуй, да. Недельку, говоришь? Может, поменьше? Дня два-три?

— А куда торопиться? — спросил Петер.— Давай пока смонтируем остальное, а эти куски вклеим.

— Н-ну, давай...— как-то неуверенно сказал господин Мархель.

С ним в последнее время творилось что-то не совсем понятное — будто кончался завод его пружины, и в движениях и действиях стали возникать паузы и перебои. Не раз он принимал предложения Петера по поводу фильма и не раз уступал ему в спорах, когда вместо каменной стенки на его пути оказывалась труха, и не доводил дело до конца. Сейчас, почуяв слабину, он двинулся дальше:

— Да, Гуннар! Мы ведь забыли об одном деле — об одной сцене. Арест майора Вельта — до сих пор не снят. А может получиться очень эффектно!

— Да-да,— согласился господин Мархель.— Надо снять. Сделай это, пожалуйста. Комендантских тебе дать?

— Не надо,— сказал Петер.— Ну их. Я саперов возьму.

— Хорошо,— согласился господин Мархель.— А вечером суд.

Петер уже выходил, когда господин Мархель окликнул его:

— Подожди! Мы же не переснимали предателей — так за что же арестовывать майора?

Петер нашелся сразу — вероятно, ответ был уже заготовлен и лежал под рукой, один из многих:

— Как за что? За гомосексуализм, конечно.

— А! Ну да,— вспомнил господин Мархель.— Конечно. Извини, склероз...

Но арестовать майора Вельта не удалось: увидев вооруженных саперов и операторов, он понял, в чем дело, попытался бежать, потом открыл пальбу, саперы, разумеется, в долгу не остались...

— Ну вот,— недовольно сказал Петер.— Хоть бы морду целой оставили, что ли...

— Душу отвели,— сказал Козак, забрасывая автомат за спину.

Выход нашли: Арманта, похожего фигурой на майора, одели в майорскую форму, и Петер снимал со спины, как его ведут в блиндаж, запирают за ним дверь и пломбируют ее, и два сапера с автоматами становятся на стражу; потом господин Мархель в полковничьем обличии прочел Арманту — Петер опять снимал со спины — приговор, согласно которому майор Вельт за поведение, позорящее честь офицерского мундира, приговаривался к пожизненному заключению и полному поражению в правах.

— Скомкали эпизод,— сказал с сожалением Петер.— Могло лучше получиться.

— Сойдет — сказал господин Мархель.— Не будем отвлекать внимание зрителя на второстепенные сюжетные ответвления.

Вечером этого дня Петера попытались убить. Он возвращался из павильона один, и вдруг перед ним вырос человек, и скрипнул снег сзади, там тоже кто-то был, человек поднял руку и что-то сказал, Петер не расслышал, потому что, сделав обманное движение вправо, сам отклонился влево и повернулся боком, выстрел был глухой и мимо, Петер бросился в ноги стрелявшему, но тот успел выстрелить еще раз, и Петера обожгло вдоль спины, он сбил мазилу с ног, кто-то топтался рядом, Петер крепко держал своего противника за кисть с пистолетом, еще раз грохнул выстрел, потом из темноты мелькнул сапог — прямо в лицо, вспышка была поярче, чем от гранаты, но Петер выскользнул из-под этой вспышки, пистолет был уже в его руке, и он выстрелил по метнувшемуся еще раз сапогу, и тут вдруг стало легко, кто-то оторвал от него противника, потом ему терли снегом лицо, и, кажется, Козак сказал: «Ну и уделали тебя!» И тут вдруг поплыло, и очнулся Петер уже в тепле.

Это был тесный блиндаж саперов, он лежал на нарах, было душно и накурено, горел свет, саперов было много, во рту горело от рома, и кто-то сказал: «О! сразу и полегчало. Налей-ка еще», — и ему поднесли еще кружку. Петер выпил и пришел в себя окончательно. На правом глазу был бинт, вообще вся правая половина лица была как деревянная, и страшно горела спина.

— Говорил же я тебе — на хрена ты ходишь в одиночку? — сказал Козак, он был здесь, и еще были знакомые лица, а в углу сидели двое с набитыми мордами — должно быть, покушавшиеся.

— Эти, что ли? — кивнул на них Петер.

— Они,— сказал Козак,— они, родимые...

— Зачем это вы, ребята? — спросил Петер.

— Мы уж тут пытались им внушить,— сказал Козак.— Но тупые, как пеньки. Деревня...

— Сами вы тупые! — сдавленно сказал один из тех, помоложе.— Не видите, что ли — продали нас всех на корню! Это же заговор! А-а...— он обреченно махнул рукой.

— Так ты что же думаешь — киношников перебьешь, и все пойдет как по маслу? — спросил Петер.

Тот промолчал, глядя исподлобья, зло, как хорек.

— Чего молчишь? — ткнул его в бок Козак.

— Погоди, Карел,— сказал Петер.— Ребята не разобрались — бывает. Давайте с начала. Не было киношников — все шло хорошо. Приехали киношники — все стало плохо. Значит, убить киношников — и все опять будет хорошо. Так, что ли?

— Ну,— сказал один из тех. Другой молча кивнул.

— Поздно убивать,— сказал Петер.— Надо было сразу. В первый же день. Теперь уже поздно. Карты сданы, и игра сделана...

— Вот и Христиан про то же говорил,— сказал Козак.

— Да,— сказал Петер.— Это все равно, что пытаться остановить камнепад, вытащив из него самый первый камень — с которого началось... да и началось-то еще до нас... Я не знаю — все так перемешалось,— где есть наша вина, где ее нет... но главное — это подлость и трусость и вашего генерала, и нашего советника... и ваша, господа саперы, черт вас подери с вашими доносами и тотализаторами...

Саперы зашевелились, но никто ничего не сказал.

— Ладно, дело прошлое... хотя... ладно,— решительно оборвал себя Петер.— Вот я вас спрашиваю: вы все — хотите, чтобы о вас — о таких — память осталась? Или не хотите? Или — чтобы пригладить, причесать, подмазать? Как вам желательно?

Маялись саперы. Маялись, чесали затылки, подбородки, ладони, было им неловко говорить, что выбрали бы они, конечно, вариант подслащенный, чуточку сокращенный — потому что же... живые ж люди... жить-то хочется, правда?

— А, Карел? Ты-то что молчишь?

— Да я не молчу... в общем, так: делай, как нужно. Понял? Мне, может, и не все хочется.. только надо — чтобы все. Правильно, мужики?

Мужики ворчали что-то неопределенное, что, мол, грехи и прочее, и жись прожить — не поле перейти, да ты не обращай внимания, жаль, конечно, когда о нас плохое думать будут — так не надо было — по-свински — ну и так далее...

— А вашего черного я все равно убью,— сказал тот, похожий на хорька.

— Толку не будет,— сказал Петер.— А себя погубишь.

— Я не для толку. Я так... для себя.

— Ваши тогда, до газов, убили?...— Петер сглотнул, так почему-то резануло это воспоминание о предчувствии, что вот этот, сидящий перед ним — и есть убийца Летучего Хрена, Эка и Шанура.— Убили полковника, оператора и шофера?

— Наши,— кивнул тот.— Оператора не убивали, неправда. Он сбежал потом.

— Сбежал? — выдохнул Петер.

— Так я же тебе говорил, что видел его потом,— сказал Козак.

— Ничего ты не говорил.

— Только что говорил — видел его и разговаривал.

— Я не понял — что после того... Где он сейчас?

— Не знаю. Ходит где-то. Говорил, что будет ходить и смотреть — и думать.

— Подожди,— Петер опять повернулся к террористу.— Если это ваши — то где киноленты?

— Раздали по рукам. На сохранение. Но это еще до газов было, теперь где и что — мало кто знает.

— Ваш же Менандр их на тушенку выменивал,— сказал Козак.— Ходил и выменивал. Штук пятьдесят, наверное, унес, а то и больше.

— Менандр? — удивился Петер.— Ничего не понимаю.

— Он тебе не говорил.

— Ничего. Ну, допрыгается он у меня. Ты тоже отдал?

— У меня не было,— сказал Козак.

— Проклятье...— Петер сжал пальцы так, что они хрустнули.— Ребята — если кто найдет, если у кого есть, если кто знает, где спрятано — отдавайте мне. Тушенки у меня нет, но что-нибудь придумаем.

— Да что мы, совсем уж шкурники, что ли,— сказали саперы.— Принесем, если найдем, чего уж там...

Менандра не было, Петер перевернул весь блиндаж вверх дном, но ничего не обнаружил. Камерон и Брунгильда, матерясь, помогали ему, причем Камерон вспомнил, что дня три назад видел Менандра перебиравшим коробки с лентой, но и не подумал поинтересоваться — проклятье! — а Брунгильда высказывалась весьма произвольно по поводу всего на свете, пока Петер не сообщил ей свежую информацию о Шануре — она ахнула, села и молча сидела очень долго, будто ждала, что вот сейчас он войдет — никто, конечно, не вошел, а Петер ощутил вдруг страшную тяжесть во всем теле и еле дотащился до койки, оставив Камерона убирать все, что они поразкидали, в обжитом блиндаже оказалось поразительно много вещей, однако уснуть не смог, задремал и застонал, так заныло лицо и спина. Брунгильда разбинтовала его и, чуть не плача, стала промывать заплывший глаз и прикладывать снег к скуле, а со спиной вообще ничего нельзя было сделать, пуля сорвала узкую и длинную полоску кожи, даже перебинтовать это было трудно, наконец, Камерон приду-

мал приклеить бинт вдоль раны клеем для киноленты, и, неожиданно успокоившись, Петер крепко уснул. Во сне он видел Шанура, Шанур что-то говорил на каком-то ином языке, а потом Шанур повернулся и пошел прочь, Петер попытался удержать его, но рука проходила сквозь Шанура свободно, как сквозь призрак...

Утром его разбудила короткая, но злая канонада — звук, когда-то фоновой, стал редким, а потому резким и тревожным. Через несколько минут в блиндаж влетел Армант, схватил камеру и выскочил наружу, потом медленно и разочарованно вернулся и в ответ на вопрос Петера: что случилось? — рассказал, что только что над мостом появился странный, круглый, как тарелка, самолет, завис неподвижно — зенитчики, наверное, растерялись, потому что огонь открыли не сразу — и стал спускаться, и уже метрах в ста от земли его накрыли. Самолет оказался чрезвычайно живучим, видно было, что снаряды попадают прямо в него и взрываются внутри, а он все пытался уйти из-под огня, поднялся довольно высоко, но попал в сектор обстрела восьмидюймового дивизиона, и эти его доконали — упал в каньон. Очень живучий. Круглый такой. Никогда таких не видел...

Три дня Петер не вставал — не мог. Организм взбунтовался, ноги не держали, от малейшего усилия пробивал пот, и, втайне от себя довольный этим, он пролежал, читая какую-то ненормальную книжку без начала и конца, не зная ни автора, ни названия — речь шла о владетеле какого-то затерянного в горах города-государства, который расчетливо и жестоко вытравлял в своих подданных все человеческое, превращая их постепенно в подобия марионеток, послушных воле и руке владетеля; вначале описывалось, как он, размышляя о жизни, жег спички и смотрел на огонек — точно так же в конце он, размышляя, доводил своих подданных до убийства или самоубийства не прямыми приказами, а непонятными на первый взгляд действиями, поручениями, словами, но в результате получалось именно то, чего он хотел — причем обязательно в его присутствии. Можно было бы подумать, что он развлекается этими убийствами, но наоборот — с каждым разом он становился все мрачней и мрачней и, предаваясь размышлениям о человеческой природе, поджигал новую спичку... Конец был оборван, и неясно было, чем это все может кончиться.

Только в конце февраля удалось «восстановить» фильм. Господин Мархель вновь был оживлен и вновь все понимал — но теперь у него было более благодарное, чем натура, место приложения сил. Менандр стал вдруг неуловим, как Фигаро,— Менандр здесь, Менандр там — именно там, где Петера нет; Петер уже подумывал о том, не арестовать ли гада, но решил не рисковать — черт его знает, что выйдет из этого ареста, а у него вон какая семья. Саперы, хоть и обещали поискать спрятанные ленты, так ничего и не принесли.

Первого марта день был ясный, небо прозрачное, и бомбардировщик увидели вовремя, но он шел высоко, один, и огонь пока не открывали — смысла нет тратить снаряды по цели, идущей в двенадцати километрах над тобой. Крохотный светлый крестик прошел над головой в тыл, там развернулся и пошел обратно, и всем было ясно, что это разведчик и следует готовиться к налету — как вдруг высоко, прямо в зените, раскрылся парашют. Маленький белый круглый купол. Один. Это было непонятно, и все приникли к биноклям, а парашют снижался довольно быстро, и вот под куполом, в центре его, стало видно что-то черное и круглое, это был явно не человек — бомба! Все знали уже об этих новых бомбах и потому сначала оцепенели, а бомба спускалась сверху, как по нитке, прямо на головы, и вот сейчас она вспыхнет белым — и все люди испарятся, как капли воды на раскаленной броне, и камень, размякший, потечет вниз, туда, где в немыслимом жаре, оседая, плавятся и корежатся железные балки, потом по всему этому сверху туго ударит волна и расплещет, смешивая, камень и металл, и потом, когда все остынет, никто никогда не поймет, где и что было и где кто стоял...

Петер увидел это — и в тот же миг воздух над его головой загудел от густой пулеметной струи, кто-то успел — бомба задергалась под куполом и, оторвавшись, полетела вниз, упала — Петер не мог оторвать взгляд от нее,— и, раскалившись, загорелась зеленоватым и очень жарким пламенем, остывающим в густой белый дым, и несколько саперов бросились туда, к обломкам бомбы, и ломами, лопатами, прикладами, сапогами стали подталкивать их к обрыву, и Армант был среди них с камерой, потом он бросил камеру на землю и тоже, схватив руками что-то, побежал к обрыву и швырнул туда это, потом вернулся и вдвоем с кем-то, прикрываясь руками от жара, потащил по снегу горящий обломок, другие пытались снегом тушить самый большой костер, но от снега он только разгорался, но уже кто-то завел трактор и несся туда на тракторе, вспарывая снег, и вот все отошли, и в дело вступила техника. В две минуты бульдозер сгреб все в кучу и спихнул вниз, и саперов тут же раздели догола и голых погнали в баню — так было надо. Все побросали вниз — и одежду, и то, чем они работали, только камеру Арманта Петер подобрал и, вынув из нее кассету, бросил туда же.

Пережитое почти наяву смерть-испепеление смутило его, да и не только его, все вокруг говорили чересчур громко и весело и смеялись или противно, или ненатурально, стараясь притвориться дурачками, которым все равно — жить или не жить; на войне вырабатывались своеобразные правила хорошего тона. Но скоро они примут свои законные двести пятьдесят, и все станет простым и вполне приемлемым — так вот и живем... и помираем так. А что? Нам помереть — это раз плюнуть. Эх, солдаты-солдатики, оловянные лбы...

Вечером Арманта сильно морозило, но к утру он успокоился и уснул. Петер намеревался отправить его в тыл, но господин Мархель и слушать не захотел — самого дисциплинированного оператора — и в тыл? Ну, нет!

Кассету, снятую Армантом на тушении бомбы, Петер проявил, но лента почему-то оказалась засвеченной.

Наконец Петер выловил Менандра. Для этого пришлось устраивать форменную засаду. Менандр, прижатый к стенке, сознался в том, что выменял у саперов шестьдесят две коробки с отснятой лентой и что действовал, не ставя в известность начальника; но, оправдывался он, секретность была необходима для безопасности самого начальника — резонно? — а ленты хранятся в самом надежном месте, в берлоге Баттена, и о них можно не беспокоиться. Все было логично, и Менандр был предан и смотрел прямо в глаза, готовый обидеться за то, что возникли такие гнусные подозрения — в том, что он, Менандр, мог совершить нечестный поступок,— а все равно беспокойство Петера не уменьшилось, просто он уже не мог понять, из-за чего оно. Не из-за лент, выходит? Из-за Шанура, да? Или еще что-то висит? Ни черта не понятно...

Еще неделю возились в павильоне, доснимая кое-что — так, детали; Армант почти поправился, только изредка его знобило. Сняли фантастическую сцену, сочиненную господином Мархелем, вероятно, в момент обострения гениальности: полковник Мейбагс, узнав, что бомбой убило повара, сам становится на его место, готовит саперам обед и, в белом халате и колпаке, разливает им по тарелкам суп.

Петер, пользуясь своей невидимостью, пробрался мимо часовых на настоящую стройплощадку. То, что он увидел там, даже не удивило его, но почему-то надолго испортило настроение: все суетились, на сборке саперы старательно приваривали звено к месту его крепления, потом также аккуратно отрезали электропилами; шум стоял дикий. Насосы работали и исправно гнали масло в гидроцилиндры, но штоки поршней были отсоединены от ферм моста и выдвигались вхолостую. Петер снимал это и чувствовал, как что-то тяжелое сдавливает грудь, мешая вздохнуть. Нет, какого дьявола, со злостью отбросил он от себя эту тяжесть, мне он, что ли нужен, этот мост? Пусть у тех, кто это все затеял, голова болит, а я... Не помогало почему-то. Он повесил камеру на плечо и ушел.

Камерон выслушал его, похлопал по плечу, сказал: «Так оно все же лучше, чем если он обвалится», но проклятая тяжесть не проходила.

Штрафники, работающие в павильоне, рассказали Петеру, что генерал Айзенкопф на самом деле не погиб; на него готовилось покушение, но его вовремя предупредили, и он успел скрыться, и сейчас он готовит в тылу танковую армию — ту, которая должна пройти по мосту и принести полную и окончательную победу — и

скоро будет здесь с танками и снесет к чертям лагерь и будет судить всех, и тогда все свое и получат: и Вельт, и этот ваш черный, и комендантский взвод — все.

Примерно такие слухи ходили и среди саперов. На ухо шептали, что конец бардака не за горами и скоро вернется человек с твердой рукой. Козак сказал, что многие саперы носят с собой фотографии генерала, хотя по нынешним временам за такую фотографию легко влететь и за проволоку.

Наконец, появились подметные листки. От руки или по трафарету был изображен генерал в профиль, и текст гласил: «Я иду».

■

Армант разболелся по-настоящему. Он температурил, кашлял, покрылся какой-то гнусной сыпью, Петер не выпускал его наружу и заставлял лежать. Брунгильда, после газовой атаки смотревшая сквозь Арманта, не устояла против женской природы — обиходить болеющего — и подолгу сидела рядом с ним, то молча, то беседуя о чем-то. Шла уже середина марта, все еще зимнего месяца в этих широтах, но день становился заметно длиннее, и, кажется, изменился воздух — не было теперь в нем сплошной заледенелости и звонкости, что-то добавилось, что-то ушло, и небо странным образом поменяло оттенок; иней с него смахнули, что ли? Бледные зимние закаты налились кровью, и однажды такой закат, раскатанный на полнеба, вдруг оборвался пронзительной зеленью. В этот вечер пришел Шанур.

Менандр рыскал где-то, Камерон и Брунгильда были заняты в павильоне, Армант спал, тяжело дыша; Петер чистил пистолет. Шанур вошел неслышно, не открывая двери, позвал:

— Петер!

Петер хоть и ждал подспудно этого визита, хоть и узнал голос — вздрогнул и судорожно ухватился за рукоятку собранного пистолета. Потом заставил себя расслабиться и обернулся. Шанур шел к своей койке, застеленной по-прежнему, как и было в тот день, когда он уехал. Поначалу Брунгильда ухаживала за койкой, как за могилой, а потом как-то по другому.

— А, это ты,— сказал Петер.— Хорошо, что пришел. Почему не сразу?

Шанур смотрел на него темными глазами и ничего не говорил.

— Я почему-то уверен был, что ты жив,— внутренне суетясь, чувствуя эту суету и ненавидя себя за нее, продолжал Петер.— Внутри, знаешь ли, такое... ну, понимаешь, как лампочка горела — живой... хорошо, что так получилось... то есть, что я несу — хорошо, что обошлось. Ну, рассказывай.

Шанур покачал головой.

— Ты, суетишься, Петер,— сказал он негромко.— Ты устал?

— Конечно,— сказал Петер.— Я вот и чувствую, что суечусь. Но я очень рад тебя видеть.

— Хорошо,— сказал Шанур.

— Где ты? — Петер хотел сказать: «скрываешься», но не сказал, неудобно получилось...— живешь?..

— Хожу,— сказал Шанур.— Просто хожу везде. Нигде не задерживаюсь.

— Вот ты-то и устал, наверное?

— Смешно,— сказал Шанур,— но как раз на этом я замечательно отдохнул. А ты устал и...

Он замолчал вдруг и посмотрел на Арманта. Армант приподнялся на локте.

— Явление Христиана народу,— сказал он.— Или мне снится?

— Нет,— сказал Шанур.— Я пришел.

— Мне не о чем с тобой говорить,— сказал Армант.

— Ну и что? — сказал Шанур.— Это ничего не меняет.

— На что ты рассчитываешь, кретин? — сказал Армант.

— Ни на что,— сказал Шанур.— Уже ни на что.

— Ты скрываешься, ты прячешься, хочешь выжить, ты неуязвим,— горячо заговорил Армант,— говоришь саперам такие правильные слова про правду и долг перед историей, а сам прячешься от своего долга... ты присягал, а где твоя верность присяге? Ты неуязвим, а предлагаешь саперам заниматься тем, за что их расстреливают. Ты думаешь, они этого не понимают? Это подло — то, что ты делаешь!

— Нет,— сказал Шанур.— Это не подло. Когда убили полковника и Эка, а меня оглушили и заперли в подвале, я точно знал, что я должен делать — я должен был ходить и объяснять всем, кто и в чем виноват и что главное сейчас — это оставить правду обо всем, что здесь происходит. Я научился говорить и находить самые нужные слова, но потом они отворачиваются — хотя и соглашаются со мной, и говорят, что за меня и за правду пойдут в огонь и в воду,— но они отворачиваются, и все продолжается, как шло, хотя каждый из них считает, что теперь-то он горой стоит за правду и будет стоять до конца, понимаешь? Каждый стоит горой за правду, но все равно позволяет твориться лжи и позволяет делать с собой что угодно, я давно перестал понимать это — просто привык. Каждый по отдельности — борец за правду, а все вместе — глина, лепи из нее...

— Дурак,— сказал Армант.— Тебе надо было три месяца отираться меж них, чтобы понять это?

— Да,— сказал Шанур.— Три месяца и одиннадцать дней...

— А я, наверное, умру скоро,— сказал Армант.— Уже волосы выпадают.

— Из-за этой бомбы? — спросил Шанур.

— Да, из-за дыма. Говорят, кто его вдохнет — уже все. И знаешь — совсем не страшно. Только очень жалко. Особенно как о родителях подумаю...

— Я вот тоже.

— Тебе лучше.

— Конечно, лучше. Моя мама всегда твою жалела, говорила: не дай бог, с Ивом что-нибудь случится, Франсуаза не переживет.

— Помнишь, когда лазили по скалам и вы думали, что я струсил?

— Глупые были. Ты мне тогда правильно врезал.

— Я бы тебе и сейчас врезал, да сил нет.

— Найдутся, врежут, ты не думай.

— Я ничего,— сказал Армант, откидываясь на подушку.— Просто зря ты это. .

— Наверное, Петер, я похож на сумасшедшего?

— Слегка,— сказал Петер.

— Это плохо. Сумасшедшие вызывают жалость или брезгливость, а надо другое...

— Эх, ты,— сказал Армант, глядя в потолок.— Вера им нужна. Просто вера. Заставь себе поверить — и за тобой пойдут. Юнгман и генерал пообещали победу, скорую победу и славу, саперы поверили — и вот он, мост. Придумай что-нибудь хорошее и заставь их в это поверить, убеди — они мигом продадутся тебе душой и телом, причем учти: продадутся в кредит без начального взноса. Сейчас как раз кризис, в скорую победу никто уже не верит. Попробуй. А твоя правда — это не товар. Что им от правды — теплее станет? Думай, Христиан...

— Нет, Ив,— сказал Шанур, покачав головой.— Это не выход. Это кружение в той же плоскости.

— А ты желаешь подняться над плоскостью?

— Да.

— Поднимай себя за волосы? Или взмахивай руками и громко жужжа?

— Как-нибудь.

— Хорошая программа: научиться подниматься над плоскостью, потом летать, потом научить летать саперов, построить их в клин и улететь в жаркие страны...

— Хорошая, Ив. Самое забавное, что ты почти угадал.

— От тебя несет покойником. Боже мой, как от тебя несет...

— Я жалею, что начал всю эту возню... надо было выбирать, и почему-то выбралось это. Теперь надо продолжать... надо заканчивать.

— Их не расшевелишь,— сказал Армант.

— А вдруг? — невесело усмехнулся Шанур.— Бывают же на свете чудеса. Потом жить — и думать всю жизнь, что мог попытаться, но не попытался.

— Или не жить,— сказал Армант.

— Или не жить,— согласился Шанур.— Это тоже выход.

— Это не выход,— сказал Армант.— Я даже не знаю, что это. Просто очень жалко — лета уже не будет.

— Ну, что ты,— сказал Шанур.— Вот увидишь, все обойдется.

— Зря ты это говоришь,— сказал Армант.— Очень мало шансов.

— Мало, но есть,— сказал Шанур.— Только не сдавайся.

— Не получится,— сказал Армант.— Я уже тряпка. Эта штука сначала превращает человека в тряпку, а потом уже, обезоружив... Гадость.

— По-моему, ты неплохо держишься,— сказал Шанур.— Правда, он не плохо держится?

— Правда,— сказал Петер.

— Тоже мне,— сказал Армант.— Утешители нашлись.

— Вовсе я тебя не утешаю,— сказал Шанур.— Я говорю, что ты просто раскис заранее.

— Иди-ка ты, дружище, знаешь куда? — сказал Армант.— Раскис — не раскис... Сам-то — сопли по витрине развозишь. Туда же: не сдавайся...

— Я не говорю, что мне тяжелее,— возразил Шанур.— Мне просто по-другому.

— Я бы с тобой поменялся,— сказал Армант.

— Хитрый,— сказал Шанур.— Свое дело ты сделал — теперь хочешь мое у меня перебить?

— Твое — у тебя... Жаль, что тебя не оказалось тогда рядом. Сейчас бы лежали вместе... и сейчас, и потом...

— Жаль,— сказал Шанур.— Правда, жаль. А ты помнишь, как я учился ездить на мотоцикле?

— Помню,— сказал Армант.— У меня до сих пор этот шрам чешется. Жаль, что ты тогда ничего себе не оторвал. Мне бы сейчас спокойней было.

— Такова воля божия,— сказал Шанур, передразнивая кого-то, оба засмеялись, и тут Армант закашлялся, надрывно и долго, посинел лицом, задыхаясь, и Петер пытался отпоить его водой, а Ив не мог ее проглотить, так его скручивало кашлем, потом он все-таки перевел дыхание, и когда он откинулся на подушку, Шанура уже не было в блиндаже.

На просмотр готового фильма допущен был только генерал. Петер, естественно, управлялся с проектором и волей-неволей должен был находиться здесь же — правда, он был доверенным лицом (пардон: он был лицом, облеченным доверием; в тонкостях канцеляризмов разобраться, пожалуй, потруднее, чем в эпилектике морганиз-

мов Шарля Вержье); разумеется, присутствовал автор. Итак, втроем, при закрытых — и охраняемых — дверях они смотрели готовый фильм — готовый, законченный, оставалось лишь подклеить конец его, который будет снят летом, и не здесь, а на южном фронте.

Петер смотрел фильм. Титры. Название: «Мост Ватерлоо». Фронтовая кинохроника. Инженер Юнгман со своими размышлениями, офицеры и генералы, генерал Айзенкопф и полковник Мейбагс (которые на самом деле подполковник-адъютант и настоящий генерал Айзенкопф), потом начальные кадры строительства, которыми мог бы гордиться любой бутафор-профессионал, настолько натуральны были декорации, потом трудовой энтузиазм саперов и воздушные налеты — не такие, правда, как на самом деле, но все же взрывы пиропатронов, снятые рапидом, на экране вполне сходили за взрывы бомб, а обломки самолетов, облитые бензином и подожженные, горели так же, как горели уже один раз. Шли отлично сыгранные сцены с диверсантами, и офицер-кавалергард, один из главных героев фильма, стоял с пистолетом на фоне горящей электростанции (элементарный кинотрюк с наложением двух кадров — так называемая «блуждающая маска»); не было ни изменников, ни судов. Мост, достроенный до конца, упирался в противоположный берег, изгибался плавной дугой, и по нему шли танки, много танков, и ни у кого не могло оставаться ни малейших сомнений, что это — конец войне, победный, славный конец. Все было снято отлично, и Петер кусал губы, видя, что накладок практически нет, все правдоподобно, и полковник Мейбагс, появляющийся то тут, то там, был обаятелен, особенно в поварском колпаке, разливающий суп в солдатские котелки,— нет, господин Мархель был мастером своего дела. И, почти физически ощущая затягивающую гладкость происходящего на экране, Петер заставлял себя помнить о без малого четырех сотнях коробок с кинолентой, разбросанных среди саперов и спрятанных ими в тайничках, и о главном тайнике, где есть отличные вещи, которые когда-нибудь взорвут, как мины, эту добротно сработанную ложь.

— По-моему, неплохо,— сказал господин Мархель, когда Петер остановил проектор и включил свет.— Вот эта сцена у статуи Императора — это почти шедевр. Без ложной скромности.

— Хорошо,— сказал генерал.— Император будет доволен.

— Не знаю,— сказал Петер.— Чего-то не хватает. Чего-то остренького. Все слишком гладко. Перчику бы.

— М-м...— господин Мархель пожевал губами.— Как, Йо? Перчику добавим?

— Ни к чему,— сказал генерал.— Не испортить бы.

— И все-таки надо подумать,— сказал Петер.— Вечерком подумаем, Гуннар, ладно? Посидим, подумаем...

— Перчику...— сказал господин Мархель и задумался.— Остренького...

Весна началась порывами страшной силы ветра — ночью, тугими толчками, теплый и влажный, он ворвался в ущелье, расшвыривая остатки зимнего холода, распирая тесное пространство ущелья, страшно завывая в вантах моста, бросаясь на любые преграды, молодой, сильный, счастливый... К утру ветер стих, и поднявшееся солнце было уже весенним. Петер, вставший с сильной головной болью — в сочинениях «перчика» он и господин Мархель истребили немало растормаживающих воображение напитков,— не сразу понял, что именно произошло, потому что мир переменился и все вчерашнее стало именно вчерашним; такое уж действие оказывает весна на человеческие организмы, обманывая, конечно. Дверь блиндажа была открыта настежь, и оттуда тек воздух, полный странных, забытых за год запахов, и Армант, сидя на своей койке, жадно ловил этот воздух и вглядывался в проем двери, и оттуда появились Камерон и Брунгильда в расстегнутых шинелях, без шапок.

— Тает, ребята, тает!

— Какая весна!

— Скорей наружу!

— Боже мой, какая весна!

И на Петера пахнуло кружащим голову теплом, и те двое повели, придерживая, Арманта, накинув на него шинель и косо надвинув на голову Петерову шапку — какая подвернулась под руку, скорее! — и сам Петер, натянув только штаны, голый по пояс, вышел и ослеп на миг не только от света — и от света тоже, свет, голубой, белый, желтый, ослепительный и чистый, затоплял все на свете,— от света и от нахлынувшей горлом радости, первобытной радости простого бытия — и от желания жить, черт возьми, и он закричал что-то вроде: «О-го-го-го! Весна пришла!» и подпрыгнул высоко, показывая кому-то там, в небе, крепко сжатый кулак. Потом отхлынуло, вернулась головная боль — теперь это надолго, на весь день, не помогает от нее, проклятой, ничего, кроме пива, а до пива километров триста — ни шнапс, ни чай, ни аспирин. Ну, да ладно — болит и болит. Спина тоже болит и чешется, а часто ты про нее вспоминаешь? Так и здесь — отвлечешься и забудешь.

Снег уже отяжелел и там, где был примят, притоптан — чернел, много же грязи и сажи впитал он в себя за долгий свой срок... зима кажется такой опрятной... «опрятная» — не от слова ли «прятать»? Похоже. Вернувшись в блиндаж, Петер оделся, помог уложить Арманта, слабо улыбающегося и чуть порозовевшего, и отправился к господину Мархелю, потому что вчера так ничего и не решили окончательно — господин Мархель был тертый калач, но, может быть, на перчике его удастся купить и втолкнуть в фильм что-то, позволяющее сомнения относительно своей подлинности; все-таки, что касается вкуса — тут господин Мархель был не безупречен.

Уже текли ручьи, и о красное пятно Петер чуть не споткнулся — снег напитывался красным, проступающим изнутри, и красные струйки примешивались к воде ручья, растекаясь розовыми разводами, а саперы проходили мимо и не обращали внимания, пересекали это красное пятно, оставляя в нем свои следы, тут же наполняющиеся густой красной жидкостью, Петер оцепенело стоял, пока его не отодвинули — вежливо, подполковник все-таки: два десятка саперов с лопатами под командованием прыщавого обер-лейтенанта стали забрасывать пятно чистым снегом. Тогда Петер огляделся по сторонам. Пятен было много, ручьи, сливаясь, текли по дну ущелья мутным темно-розовым потоком, и везде мелькали лопаты, лопаты, лопаты... Шанура Петер увидел издали, тот шел медленно, останавливался около саперов и начинал говорить, и Петер, хоть и не слышал его и не мог слышать с такого расстояния, понимал все до последнего слова. «Земля не принимает больше нашу кровь,— говорил Шанур,— не принимает давно, она напиталась кровью и больше не хочет ее. Мать не хочет крови своих детей. Не для того она рожала, кормила и терпела нас, чтобы выпивать нашу кровь. Нет ничего позорнее, чем насилие над матерью. Вас со всего света согнали сюда, чтобы здесь убить... Вы все умрете, если останетесь здесь. Так что вас здесь держит? Только страх, что могут догнать и убить? Взятое с вас слово? Пролитый пот? Что еще? Привычка слушать и подчиняться? Какие химеры! Уходите отсюда все! Вы не нужны здесь никому, а главное — вы не нужны здесь земле! Она сама гонит вас. Вы думаете почему-то, что это геройство — остаться под огнем и помереть за что-то. А настоящее геройство — это сохранить себя, потому что это и труднее, и нужнее, а главное — потому что придется переступить через себя, через свое рабство и страх, для этого надо хоть на миг почувствовать себя свободным — так почувствуйте же! Смотрите на меня! Я, человек, пытавшийся сохранить правду о вас,— я призываю вас к свободе, к свободе перед всем в мире, а главное — перед самим собой. Человека нельзя заставить сделать что-то против его воли, потому что у свободного человека всегда есть возможность выбрать между бесчестием и смертью, и смерть в этом выборе имеет равный вес с бесчестием. Самое маленькое из бесчестий весит столько же, сколько смерть. Вы все знаете, что это так, но привыкли и смирились с тем, что от вас ждут не выбора, а послушания; что ваша голова и совесть не нужны никому, а нужны только руки и ноги. Так прозрейте! Учитесь быть свободными! Раб мечтает о том, чтобы иметь право выбирать себе хозяина, а свободный человек — чтобы быть хозяином в любом выборе. Всю свою жизнь человек идет рука об руку со смертью — от небытия к бытию, но раб ждет, когда его позовут, а свободный все выбирает сам. Так выбирайте же жизнь! Рискнуть жизнью, чтобы сохранить ее — это куда достойней, чем

рабски трястись над нею в надежде на милость судьбы. Уходите отсюда! Скрывайтесь, прячьтесь, сдавайтесь в плен — все достойно, потому что земле не нужна больше ваша кровь, потому что позорна смерть в этой войне, не нужной никому...» Шанура окружали и слушали, не выражая ни порицания, ни одобрения, слушали равнодушно, с усталым интересом, наконец, спины слушающих закрыли Шанура от Петера, а когда Петер протолкался к нему, Шанура уже уводили, завернув ему руки за спину, солдаты комендантского взвода. Они все прошли мимо Петера, меся ногами красный снег, и Шанур посмотрел на Петера и кивнул ему, узнавая.

Мимо, вслед за уходящими, проскользнул Камерон с кинокамерой, бледный и решительный, и Петер сказал ему: «Не отходи от них далеко, я его выцарапаю»,— Камерон кивнул, а Петер бегом, оскальзываясь на раскисшем снегу, ринулся к штабу, к квартире генерала, к резиденции господина Мархеля, прокручивая в голове комбинации, по которым освобождение Шанура исходило бы от них, но добежать не успел, потому что на дороге разорвался снаряд, потом еще и еще, Петер нырнул в кювет, стреляли откуда-то со стороны подъездной дороги, там поднялась заполошная стрельба изо всех видов оружия, непонятно было только, кто и в кого стреляет, взрывов поблизости больше не было, потом мимо Петера, обдав его грязью, промчалось несколько грузовиков — туда, в ту сторону — и за борт последнего Петер, догнав и подпрыгнув, ухватился, подтянулся и перевалился в кузов, на ящики со снарядами. Через минуту грузовик затормозил на позициях артиллеристов, Петер выпрыгнул и, пригибаясь, побежал дальше — туда, где что-то происходило. Стрельба поутихла немного, и в нее в паузах вклинивался новый звук — далекий рев многих моторов, танковых моторов,— уж его-то Петер мог вычленить из любой какофонии. Кто-то метнулся ему наперерез, но тут рвануло черным слева, Петер зарылся в снег, и над ним пронеслось распластанное тело. Перед ним шагах в сорока был гребень, за которым что-то творилось,— туда, за гребень, летели трассы из-за спины, и оттуда, кажется, прилетали снаряды. Он преодолел эти сорок шагов в несколько приемов и, наконец, увидел все как на ладони.

Танков было десятка два, и несколько задних уже горело, тяжелый жирный дым выбивался из люков, из жалюзи и стлался по земле; передний стоял поперек дороги, распустив гусеницу, и часто бил из пушки куда-то в противоположную от Петера сторону: потом он взорвался и зачадил. Это были вражеские танки, легко узнаваемые по характерным шестигранным башням и длинным тонким стволам пушек. Основная часть колонны была, кажется, в «мертвой» зоне, снаряды ее не доставали. Три танка обошли сбоку пылающий головной и на большой скорости рванулись вперед, один тут же вспыхнул, но не остановился, и все три пропали из виду. Остальные не двигались, потом у одного распахнулся верхний люк, и оттуда высу-

нулся по пояс танкист, тут же схватился за голову и откинулся назад, его втащили внутрь, люк закрылся. Боковым зрением Петер уловил какое-то движение — это артиллеристы на руках катили спаренную зенитную пятидесятисемимиллиметровку, дальше — еще одну. Слева, ревя моторами и опустив стволы, шевелились зенитные самоходки. Дальше все произошло быстро: захлопали выстрелы, и взорвались еще два танка, остальные ответили вразброд, одна самоходка подпрыгнула и опрокинулась от удара, а потом разметало расчет ближней к Петеру пятидесятисемимиллиметровки, но огонь нарастал, где-то еще подтянули орудия, и танки, зажатые в лощине, вспыхивали один за другим — отсутствие камеры Петер в этот момент ощущал как отсутствие оружия,— и тут со стороны стройки появился легковой вездеходик, в котором кто-то стоял и размахивал белым флагом! Вездеходик влетел прямо под перекрестный огонь, бесстрашно лавируя между горящими машинами, стоящими и еще пытающимися ползти, но то ли его не видел никто, то ли горячка боя затянула всех, но огонь стих не сразу, и только когда пламя разрыва метнулось из-под самого вездеходика и он опрокинулся, стрельба прекратилась. Тишина навалилась сверху, страшная, страшнее канонады, потому что говорила о новом несчастье, и Петер и остальные, кто лежал и стоял на гребне, на линии огня, не трогались с места и почти не шевелились, чтобы не приблизить тот миг, когда несчастье станет понятным и потому необратимым, а пока что оставалось еще подобие надежды... ничто не шевелилось там, в лощине, танки стояли и горели молча и неподвижно, лишь дым тек, то подымаясь, то стелясь, оставляя черные разводы на серо-красном снегу... кто-то ковылял между танками, кто-то выбирался из люков, но это не меняло картины общего оцепенения. Беззвучно взлетела на огненном столбе башня одного из горящих танков, и попадали черные фигурки, и вдруг издалека, оттуда, откуда пришла колонна, донесся звук автомобильного мотора, и на побоище влетела полуторка с прицепленной полевой кухней, затормозила, и из кузова скатился человек в белом полушубке, Петер видел это уже на бегу, он мчался вниз, и кто-то еще бежал следом, а человек в белом полушубке, пожилой и усатый, тормошил лежащих на снегу танкистов, тех, кто выпрыгнул под пули и осколки, и тех, кого вытаскивали из люков разбитых машин уцелевшими, он тормошил их, заглядывая в лица, в сгоревшие лица, в выбитые глаза, полушубок его был весь в крови, а он громко и недоуменно повторял: «Ребятки... да что же это? Да как же вы? Ребятки... ребятки... А я-то гнал за вами, картошка горячая еще... и компот, как просили... и рыбки я вам достал, красной, много... ребятки, да что же это?..» Танкисты перевернули вездеходик, и на снегу остались лежать шофер генерала Айзенкопфа с разбитой головой и майор Камерон с камерой через плечо, с обломком дерева в руках, и Петер встал на колени и нагнулся к нему, и Камерон открыл

глаза и сказал что-то громко и неразборчиво, изо рта его пошла кровь, Петер обтер ему лицо снегом, и Камерон, поморгав глазами, приподнялся и стал выплевывать изо рта осколки зубов и сгустки крови.

— Живой! — выдохнул Петер, и Камерон, кивая и отплевываясь, стал колотить его кулаком в плечо и показывать в направлении стройки, Петер понял его, но Камерон не мог идти, подламывалась нога, и Петер стал кричать на оглохшего танкиста, который неожиданно понял его, подогнал уцелевший танк, Петер и Камерон взобрались на броню и уцепились за скобы, и танк пошел на стройку, танкист стоял в люке, Петер наклонился к нему и показывал, куда ехать, и они остановились возле резиденции господина Мархеля. Петер влетел в помещение и столкнулся в дверях с Брунгильдой, через ее плечо он увидел лежащее на полу тело, и еще кто-то стоял, уперевшись руками в стену «Уже увели!» — крикнула Брунгильда, и они вернулись к танку, туда, куда уводили, можно было доехать, Петер крикнул: «Скорей!» и показал, куда, и танк, взревев, покатился, они стояли на броне и всматривались вперед, ожидая увидеть конвой, но никого не увидели. Площадка у обрыва, где расстреливали, была пуста. Петер и Брунгильда подбежали к самому краю, непонятно зачем; следов было много, старых и новых, и стреляных гильз тоже много, втоптанных в снег и лежащих на снегу. Они бросились обратно к танку, нужно было куда-то торопиться, только непонятно, куда.

— Где Мархель? — прокричал Петер, надсаживаясь, чтобы перекрыть рык танкового мотора.

— Готов! — крикнула в ответ Брунгильда.

— Нужно было взять! Живым! — крикнул Петер.

— Я! — Брунгильда ткнула себя в грудь.— Одна! — и Петер понял, что одной взять Мархеля было не под силу.

Танк снова остановился возле резиденции, и Петер влетел туда. На полу, лицом к стене, лежало тело, и Петер сразу понял, что это не Мархель — черт знает, как, но понял. Он перевернул труп на спину, лицо было похоже, но только похоже, не более.

— Не он,— сказал Петер побелевшей Брунгильде.

— Вижу,— одними губами ответила Брунгильда.— Не он. Удрал... Поехали трясти комендатурщиков.

Но возле танка уже стояли штабные офицеры, и танкист, сняв с головы шлем, все время пытался что-то смахнуть с лица, тер щеки руками, потом принимался обтирать руки о комбинезон, и полковник из генеральской свиты свирепо спрашивал у него что-то, а танкист смотрел на него ненормальными глазами и продолжал стирать с лица что-то невидимое, но липкое. Потом полковник повернулся и увидел Петера.

— Где ваш главный? — рявкнул он.

— Сбежал,— зло сказал Петер.

— П-проклятье,— скрипнул зубами полковник.— Давно?

— Только что,— сказала Брунгильда.— Я ошиблась, понимаете? Они там переодеваниями занялись...

— Вызывай своих по рации! — крикнул полковник танкисту.— Мимо них будет проезжать штабной «хорьх» — пусть стреляют!

Это танкист понял сразу и рывком нырнул в люк.

— Не видели нашего оператора, которого арестовали? — спросил Петер.

— Нет,— сказал полковник.— Ваших, значит, тоже арестовывают? Ну-ну...

— Где генерал? — спросил Петер.

— Генерал? — удивился полковник.

— Тьфу! — плюнул Петер.— Полковник Мейбагс. Где он?

— Полковник Мейбагс умер позавчера от сердечного приступа. Я заступил на его место.

— Поздравляю! — зло сказал Петер.

— Вот это вы зря,— сказал полковник.

— Господин полковник,— сказал Петер,— прошу вас дать приказ срочно разыскать нашего оператора — ему грозит смерть.

— Дел у меня больше нет,— сказал полковник.— Ищите сами. Заварили кашу... кино... Вон — двенадцать танков — как корова языком! Все этот ваш... ну, попадется он мне! Специально послали нам трофейные танки для диверсионных действий, а он... Снимали это?

— Нет,— сказал Петер.— Камер не было там.

— Слава богу,— сказал полковник.

Высунулся танкист.

— Проскочил,— коротко сказал он и полез из люка.

— Что значит — проскочил? — заорал полковник.— Промазали, что ли?

— Не успели,— сказал танкист.— Минутой бы раньше.

— У-у! — взвыл полковник.— Ну, я не я буду!..

Он еще орал и матерился, а Брунгильда уже тащила Петера за рукав, объясняя на бегу, что сейчас они нагрянут на комендантский взвод и вытрясут душу из конвойных...

Ничего они не вытрясли. Лейтенант, командир взвода, стоял перед взбешенным полковником навытяжку, бледный, как сама смерть, и твердил одно: арестованный был доставлен в штаб, дальнейших распоряжений не поступало.

— Он его что — с собой увез? — кричала Брунгильда.

— Ничего не понимаю,— повторял, как заведенный, Петер.— Ничего не понимаю...

В их собственном блиндаже было пусто, и даже больной Армант отсутствовал. Как вихрь прошелся по помещению, все было содрано,

сброшено на пол, сдвинуто со своих мест, кто-то торопливо и грубо искал что-то в вещах, в рюкзаках, в одежде.

— И этого нет,— сказала Брунгильда и вдруг опустилась на пол.— Боже мой,— всхлипнула она,— боже мой, что я наделала... он же не виноват, что так похож... господи, прости меня, я не хотела!

— Брун! — Петер попытался ее поднять.— Брун, не время, надо искать...

— Мы его не найдем,— вдруг совершенно спокойно сказала Брунгильда.— Его больше никто не найдет. Уже никто не знает, где он. Мы опоздали, он исчез из мира...

— Так не бывает,— сказал Петер.— Не бывает, чтобы исчез совсем — так сразу.

— Здесь все бывает,— сказала Брунгильда.— Его уже нет — я чувствую.

В дверях завозились, и в блиндаж задом впятился огромный сапер, волоча кого-то под мышки — это был Армант. Его положили на койку, сапер деликатно отошел в сторону, Брунгильда дала Арманту глотнуть шнапса, и тот открыл глаза.

— А... вы. .— Армант вздохнул.— Ну, вот и все... финиш.

— Кровь у него горлом шла,— сказал сапер.

— Петер,— зашептал Армант,— слушай меня. Христиана — это не я. Верь мне — не я. Они его пауком напугали и потом все время паука перед ним держали, он их боится страшно, но я тут ни при чем, клянусь... матерью своей клянусь — я ни при чем, я не знаю, как они узнали...

— Где Христиан? — спросила Брунгильда.

— Не знаю,— сказал Армант.— Кажется, убили. Или улетел. Не видел.

— Как — улетел? — спросил Петер, готовый поверить во все.

— Не знаю,— голос Арманта был совсем слабый, прерывающийся.— Так говорят... я не видел — так говорят — улетел... или убили. Не знаю. Видел, как его уводили.

— Из штаба?

— Из павильона.

— О, ч-черт! — простонал Петер.— Павильон! Как я забыл? А ты снимал? Что ты снимал? Ну?

— Советник показывал Христиану, как великие гиперборейские атланты держат мост на своих плечах...

— Что?!

— Трех голых саперов поставили напротив камеры, а мост простым наложением... вот его — за Слолиша...— Армант показал рукой на сапера.

— Ты видел Шанура? — спросил Петер сапера.

— Это чернявенький такой? — спросил сапер.— А как же, видел. Только, наверное, прислонили его. Потому как сняли и тут же увели.

— Я побегу, проверю,— сказала Брунгильда. С автоматом в руках она метнулась из блиндажа, и Петер больше никогда в жизни не видел ее.

— Ты представляешь, Петер,— великие гиперборейские атланты... Гангус, Слолиш... и младшенький их — Ивурчорр...— говорил Армант странным голосом, будто удивляясь тому, что сам говорит.— Наши великие славные предки... сыновья Одина, произведенные им от смертных женщин... жили в доме на берегу моря и занимались промыслом морского зверя, рыбы и птицы... никогда не видели женщин и округляли друг друга...— Армант хихикнул.— Потом Один вразумил их... они пошли на юг и набрели на рыбачий поселок... перебили всех мужчин, а женщин взяли себе в жены — от них-то, мол, и пошел наш великий народ. О, господи... потомки педерастов! Петер, ты представляешь?

— Представляю,— сказал Петер.

— А советник молился им — о, великие гиперборейские атланты Гангус, Слолиш и Ивурчорр, да протянется ваша могучая длань сквозь века и мили... и еще о падении нравов... и они явились и подставили свои спины под этот игрушечный мост — убожество! Убо...

Он вдруг замолчал, будто прислушиваясь к чему-то, замер — и тут кровь фонтаном хлынула ему на грудь. Он упал навзничь, руки его еще шевелились, ловя воздух, Петер перевернул его лицом вниз, но это ничего не изменило: через минуту Армант умер.

Когда Петер подбежал к павильону, от него остался уже только каркас. Под переплетением стальных арок и нервюр ворочались бульдозеры, заравнивая рукотворный ландшафт. Экскаватор ссыпал в киношный каньон лежавшую в отвалах землю, и на месте каньона уже высился большой бугор.

— Что у вас там зарыто? — спросил Петер руководящего работами капитана.

— Ничего,— сказал капитан и пристально посмотрел на Петера.— Ничего абсолютно. Просто земля рыхлая. Сейчас утопчем. Эй! Утопчите землю!

Саперы взобрались на бугор и принялись сапогами утаптывать его.

— Вот видите,— сказал капитан.— Утаптывается.

— Женщина-техник из киногруппы была здесь? — спросил Петер.

— Нет,— испуганно сказал капитан.— Нет-нет. Никого здесь не было! Никаких женщин!

Он искал Шанура и Брунгильду долго, обошел всю стройку, но никто ничего не видел — или пугался и отворачивался. Потом что-то толкнуло его — Баттен! Это было дурацкое предположение, но ведь ищем же мы иногда только что потерянные очки в бабушкином сундуке, не отпиравшемся сто лет,— конечно, не находим, но если не заглянем в него, будет постоянно мерещиться, что пропажа именно

там. Берлога Баттена была отлично замаскирована, и Петер потыкался там, в скалах, в тупики, пока нашел ее.

Лаз в берлогу был занавешен толстым войлоком, и войлоком же был устлан пол. Горела керосиновая лампа, и за столом сидело трое: Менандр, Баттен — и женщина — спиной — Брун!.. нет, не Брунгильда, другая, но почему-то знакомая, она обернулась и улыбнулась Петеру пьяной улыбкой, и он узнал ее: это была Лолита Борхен.

— А, Петер, давненько ты у нас не был!

— Петер, проходи, старина!

— Лолита, наливай-ка господину полковнику коньячку!

— Господин полковник, позвольте...

— На брудершафт!

— Лолита, не напирай

— Погодите,— Петер выбрался из-под них троих, как из-под упавшей липкой паутины,— погодите, у вас тут Шанура не было? А Брунгильды?

— Не было, не было!

— А коньячок?

— Ну, господин полковник!..

— Слушай, Петер,— сказал Менандр вполне твердым голосом.— Тут наклевывается выгодное дельце — но нужна чистая кинолента. Там у тебя не осталось ничего?

— Остается,— сказал Петер.— Катушек двадцать есть. А что?

— Да вот решили сами фильм снять. Камера у нас есть, свет добудем, а главное — исполнительница настоящая. Точно, Лолита? А представляешь — в этом антураже, в пещере, при свечах — и такая женщина! Да такую ленту и по ту и по эту сторону каньона с руками оторвут!

— Ладно,— сказал Петер.— Поглядим. А пока давайте-ка сюда мои ленты, я с десяток отберу... что?

— Так это... ну... как тебе сказать? В общем, нет их.

— Как это нет? Ты же говорил — здесь, в безопасном месте.

— Так это когда оно было безопасным? Это же давно... Я их в более безопасное место пристроил.

— Куда? — спросил Петер, холодея, потому что уже догадался — куда.

— Так это... за каньон. Там-то всего безопасней...

— Понятно,— сказал Петер. Внутри него стремительно разрасталась пустота, которую нужно было не медля чем-то заполнить, пока она не поглотила все.— Понятно...

Он вынул пистолет из кобуры.

— Предатели,— сказал он.— Паскуды. Иуды кромешные. Мразь поганая. Дерьмо. А ну, к стенке!

Менандр и Баттен медленно, как во сне, поднимались на ноги, а Лолита Борхен сползла на пол и сидела, широко открыв рот и, кажется, визжала.

— К стенке,— повторил Петер, показывая пистолетом, куда именно.

— Ты это. . Петер... погоди,— сказал Менандр.— Ты не думай, мы поделимся. Мы еще не все получили. Вот динарами... двести тысяч... все можешь взять, нам-то не надо, зачем нам деньги, правда, Баттен? А вот доллары, тридцать тысяч, тоже все забирай. И ее бери, она ничего девка, мягкая, забирай... только этого... твоего... не надо. Не надо, ладно? Ну что ты молчишь?

— Кончил? — спросил Петер.— А ты?

— Кончай волынку, не тяни душу! — взмолился Баттен, и Петер, подняв пистолет на уровень глаз, выстрелил Менандру в голову — в голову, но в последний момент его толкнули под локоть далекие отсюда жена Менандра, и его три дочери, и внуки, уже рожденные и еще нет — и пуля взбила пылевой фонтанчик у самой макушки Менандра, и он, черный, как войлок, осел на пол; на Баттена Петер только взглянул, и этим взглядом Баттена швырнуло об стенку, и так он и остался, повиснув на стене, как плевок; Лолита Борхен ползала в ногах Петера и голосила истошно, пытаясь поцеловать его разбитые итальянские ботинки, Петер брезгливо отстранился и вышел.

Снаружи было сумрачно и сыро. Где-то вдали гудели и завывали моторы, а потом ветер донес обрывки похабной частушки. Петер шел, спотыкаясь, что-то ему мешало, потом он понял — что, и засунул пистолет в кобуру. Все впустую. Полгода работы — коту под хвост. Предатели. Проститутки вонючие. Подонки. Все, все — к черту, к дьяволу... И тут его осенило — тайник! Есть же еще мой тайник!

У блиндажа, где якобы сидел майор Вельт, стояли часовые. Петер не стал туда заглядывать, он и так знал, что по ночам там собираются саперные офицеры, пьют ром и играют в карты. Пока, наверное, там пусто.

Подонки... предатели... паскуды...

Возле статуи Императора Петер остановился. Внимание его привлекли странные звуки, исходящие, кажется, из постамента. Приобретя невидимость и неощутимость, Петер заглянул внутрь. Там было тесно и душно, пахло разгоряченными телами и перегаром. На экране, висящем так высоко, что приходилось задирать голову, кинозвезда Лолита Борхен занимается любовью с красавцем восточного типа. Зрители бурно сопереживали. Петер пробкой вылетел наружу.

Так. Еще и это... ладно.

Он прошел мимо часовых, нашел ту яму и засунул в нее руку. Коробки были на месте... стоп! Это были не коробки. Он вытащил одну. Да, это были банки с тушенкой. Кто-то продал тайник...

Все, Петер?

Выходит, что все.
Все. Вообще все.

■

Ничего не осталось, будто ничего и не было.

Он не запомнил этой ночи. Это я стер ему память. Он не должен был запомнить ее, потому что мы были вдвоем. Я держал его за руку и говорил, не переставая, говорил, что не все потеряно, что никогда не бывает так, чтобы потеряно было все — а даже если и так — держись, Петер, Петер Милле, сожми зубы и сузь глаза, ты еще нужен мне и многим, и кто вместо тебя будет проживать твою долгую жизнь? Я говорил, что никакое поражение не бывает окончательным и что бывают такие поражения, которые важнее победы. Я говорил, что без него не возможно быть этому миру, что без него здесь не смогут ни черта, а он говорил мне, что я сволочь, что не помог ему в деле и не предупредил о предательстве, пришедшем отовсюду сразу. Еще он спрашивал про Шанура и Брунгильду, но, клянусь, их судьба мне не известна. Он то твердел и укреплялся в решимости драться, то начинал плакать, и я не был уверен в нем до самого утра. Только утром, пройдя с ним по всему мосту до самого его конца, я оставил его там и ушел, унося с собой его память.

■

Петер очнулся только на рассвете. Он не помнил, где скитался ночью, что делал и с кем говорил. Странная, пугающая пустота начиналась где-то за переносицей и уходила в глубину, где и терялась. Он сидел на мосту, на самом конце моста, и смотрел на противоположный берег каньона. До него было метров сорок. Мост медленно покачивался, и тот берег плыл перед ним попеременно вправо и влево, и эти плаванья сопровождались глухими всхлипами металла, и изредка вдоль моста, как вдоль обнаженного нерва, пробегала похожая на одновременный говор сотни детей волна — возникала и уходила. Потом сзади возникли еще и шаги, сначала искаженные до неузнаваемости, превращенные в ритмичный перебор сотен струн ненастроенного инструмента, лишь постепенно ставшие именно шагами. Петер помнил, какие ощущения от ходьбы по решетчатому настилу моста — будто одновременно с тобой и на те же самые места наступает кто-то снизу, то есть не совсем одновременно, а с крохотным запозданием, и это вырабатывает особую походку у идущих по мосту. Петер нехотя оглянулся. Это шел Козак.

Петер подвинулся, и Козак сел рядом.

— Ты чего пришел? — спросил Петер.

— Майор твой попросил тебя найти.

— Камерон? — спросил Петер. Козак кивнул.

— Христиан не нашелся? — спросил Петер.

— Говорят, он улетел,— сказал Козак хмуро.

— Странно,— сказал Петер.

— Ничего странного. Странно, как еще все не разлетелись.

— Привычка,— сказал Петер.

— Не только.

— А Брунгильда?

— Не знаю.

— Как Камерон? Очень плохо ему?

— На ночь морфий вводили — спал. Язык ему весь порвало и зубы повыбило.

— Видел.

Они помолчали. Утро стремительно превращалось в день, и в этот день следовало еще что-то сделать, потому что так принято в этой жизни.

Мост проплывал мимо того берега, и Козак, вглядываясь в него, сказал вдруг:

— Смотри, снайпер.

Там, где к серой скале прилепился густой куст краснотала, блеснул зайчик в стекле оптического прицела. Козак вяло помахал туда рукой.

— Не стреляй! — крикнул он.— Нихт шиссен! Донт шут! Но сачена!

Из-под куста показался сначала ствол винтовки, потом голова снайпера. Потом снайпер высунулся по пояс.

— Гива у ло смак цу? — спросил он, чтобы было совсем понятно, добавил: — Тобако!

— Закурить просит,— перевел Козак. Он похлопал себя по карманам, посмотрел на Петера. Петер вытащил пачку, заглянул. Там было еще пять сигарок. Он оставил по одной для себя и Козака, выщелкнул из запасной обоймы три патрона и бросил их в коробку для тяжести.

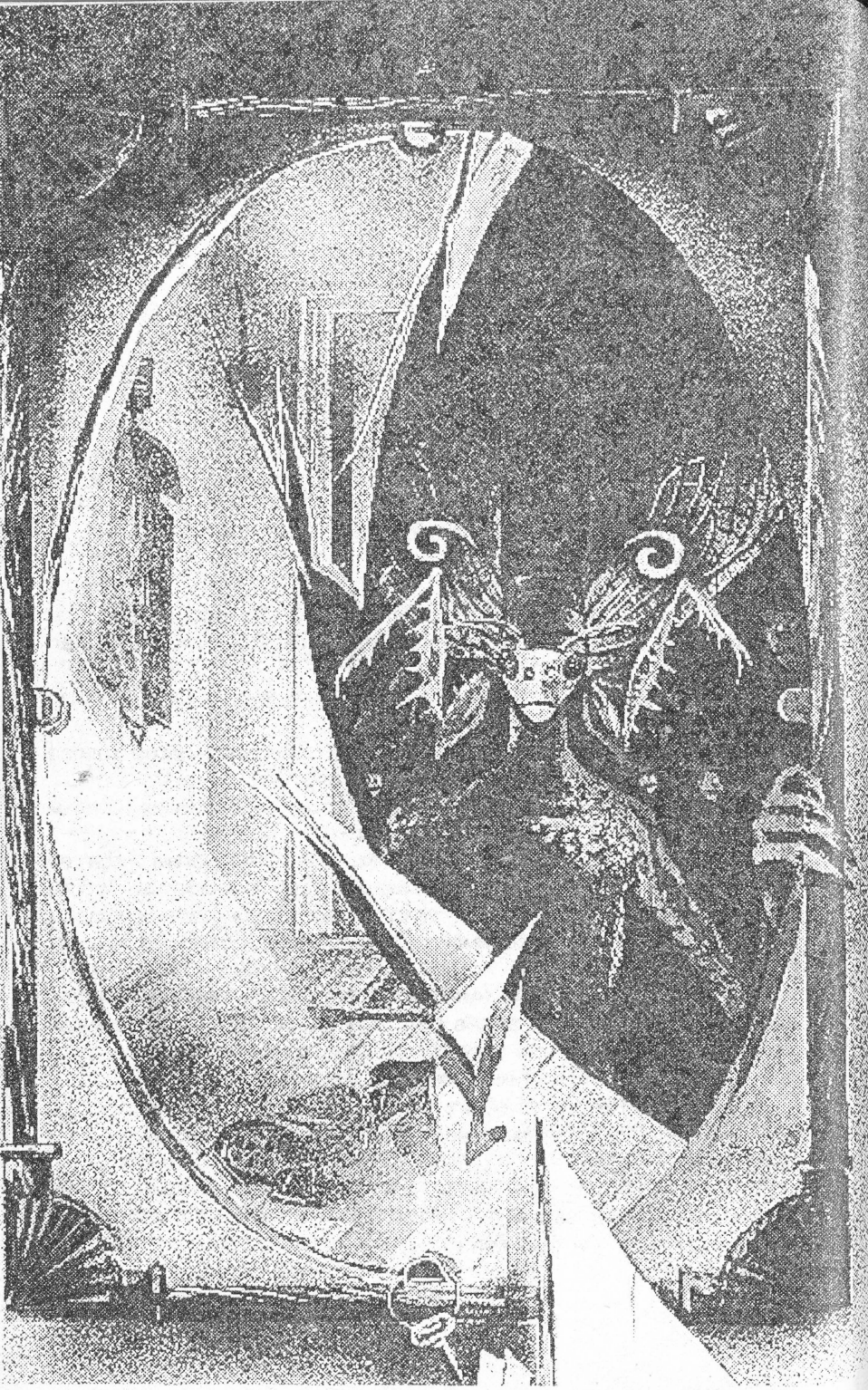
— Лови! — крикнул он и, размахнувшись, бросил пачку снайперу. Тот поймал ее, сунул сигарку в рот, закурил, выпустил клуб дыма и изобразил на лице блаженство.

— Тенгава ло! — крикнул он.— Блугадрен!

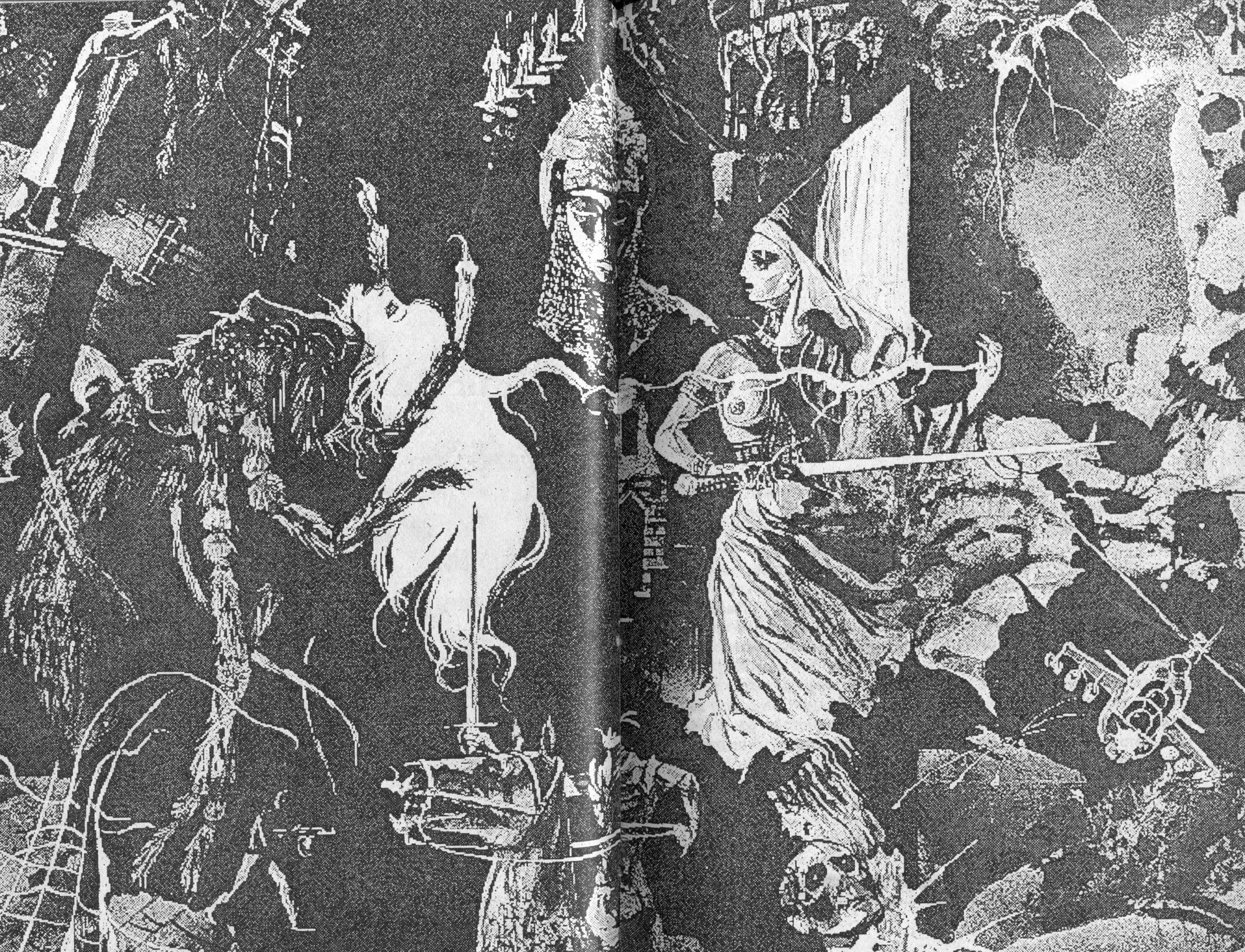
Козак дал Петеру прикурить, закурил сам.

— Война кончится, мост достроим,— сказал он.— Будем друг к другу в гости ездить.

— Угу,— согласился Петер. Он выщелкнул еще один патрон, наклонился вперед, заглянул в головокружительную пропасть, и уронил патрон вниз. Он был долго виден — летящей желтой искоркой. Потом исчез.



СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА



Если бы мы с тобой создавали этот мир,
он выглядел бы лучше, не правда ли?

Э. М. Ремарк

1. Ника

Горели леса, и в маревом безветрии отстоявшийся дым сплывал в долину, в город, растекался по улицам, въедаясь в стены, одежды и лица. Днем небо обращалось в раскаленный алюминиевый колпак, на котором неясным бликом обозначало себя солнце. Кроваво-черные закаты пугали. По ночам наступало изнеможение — не от жары, а от несбывшегося ожидания прохлады. На рассвете происходила слабая подвижка воздуха, но тем все и кончалось. Соседи говорили о нашествии крыс, но Ника пока ничего такого не видела — кроме одной полувареной крысы, однажды переползшей ей дорогу. Ника вскрикнула от отвращения и хотела чем-нибудь в нее запустить, но ничего подходящего не было — а крыса остановилась, посмотрела через плечо на Нику долгим запоминающим взглядом и скрылась в дикой траве нестриженого газона. Несколько дней Ника не могла отделаться от гадкого привкуса этой встречи, но потом все стерлось. Иногда с наступлением темноты начинали выть собаки, все окрестные собаки, хором и вперебой, и тогда Сид просыпался и плакал, и не оставалось ничего другого, как брать его на руки и включать кондиционер. Она носила Сида и напевала ему на ухо. «А по морю, морю хмурому корабли плывут черемные, Хельга-конунга кораблики, к граду-то Константинополю...» Грегори приедет и будет ее ругать, и будет прав, потому что сквозь воркование кондиционера доносятся позвякивания, будто проваливается монета, и на счетчике арендной

платы меняется цифра — и Сид должен засыпать без посторонней помощи, без всяких телячьих нежностей, потому что только так воспитывается настоящий мужчина... это так, это правильно, но как же можно не взять ребенка на руки, когда по всему поселку воют, и воют и воют собаки, и тебе самой жутко, и надо стать чьей-то защитой, чтобы побороть эту жуть? Она обволакивала Сида собой, и наконец он засыпал, а она еще долго ходила по комнате с ним на руках, оберегая от всех и всяческих напастей. Потом, конечно, засыпала и она.

Снилось ей только небо.

Слабые и прозрачные руки ловят восходящие струи и легко опираются о них, заставляя тело, которого как бы и нет, лениво скользить косо вверх, поворачивать, описывая пологую спираль и подставляя нежному солнцу то один, то другой бок. Восходящие струи невидимы, но руки сами чувствуют их и тянутся к ним; переход со струи на струю вызывает покачивание и легкий озноб. Земля глубоко внизу, раздавленные силой тяжести кварталы, голубовато-серая зелень городских больных деревьев, широкая полоса красного песка и красно-коричневая извитая лента реки, и где-то далеко — край моря... все похоже на утонувший город, видимый сквозь невыносимо прозрачную воду. И обязательно, рано или поздно, подступает: воздух из опоры превращается в пустоту, и — миг острого ужаса...

Липкая жара изводила. Ника принимала душ раз по пять в сутки — как только позволял Сид. Но тепловатая жидкость, текущая из труб, ни по температуре, ни по вкусу не напоминала воду. Это было так же тоскливо, как вой по ночам.

Дважды в день, утром и вечером, она выносила Сида на лужайку перед домом и пускала поползать по травке в тени выгоревшего полотняного навеса. Несмотря на запрет, она поливала траву, и санитарный инспектор Бенефициус знал это, но старался не замечать и не реагировал на нашептывания старухи Мальстрем. Бенефициус, сорокалетний лысоватый толстый сердечник, был давно и безнадежно влюблен в Нику. Никто, кроме них двоих, об этом не знал. Иногда он подходил, когда Ника пасла Сида, и рассказывал что-нибудь: что эпидемия среди крыс, как наконец выяснилось, не перекинется на людей, и то, что воду для ребенка следует сначала заморозить, а потом использовать только сердцевину ледышки, и то, что в будущем году, может быть, откроют береговую линию, и тогда можно будет пусть не купаться, так хоть лежать вблизи воды, а это уже много значит... Он смотрел на Нику строгими глазами, и соседи думали, что он выговаривает ей за лужайку, а Ника в ответ кивала и виновато улыбалась, и казалось, что она обещает никогда-никогда... Изредка, раза два в неделю, звонил Грегори и, экономя, торопился быстро-быстро сказать все, и лицо его от этого делалось напряженное и

чужое. Обычно он звонил с заправочных станций, последний раз — откуда-то из пустыни, за спиной его были серые, сточенные ветром песчаные холмы и серые жесткие кусты без листьев. Он сказал, что получил очень выгодный фрахт с премией за скорость и что теперь уж точно вернется домой, потому что устал и соскучился. Ждать его надо было со дня на день. Впрочем, бывало, что на полдороге он урывал еще один выгодный фрахт... Денег все равно хватало только-только.

Бенефициуса звали Лотом. Лот Бенефициус. Он очень смущался, когда называл свое имя.

Ника почувствовала приближение — непонятно как, но почувствовала. Сид, голенький, спал под марлевым пологом и крутился во сне. По раме показывали «Коктейль», и Ника, нацепив на ухо ракушку, ждала, что дадут хотя бы фрагменты из вчерашней демонстрации мод — она всю неделю хотела ее посмотреть, но Сид проснулся и раскапризничался, пришлось бросить все и укачивать, и петь, и носить на руках, успокаивая. Он никак не хотел возвращаться в кроватку, отбивался, плакал, и только через час устал, сдался и уснул, обиженный на всех. И вот сейчас Ника вполуха слушала музыку и петушиный голос конферансье Карлоса, отпускающего бессмысленные шутки,— и вдруг встала и шагнула к двери, еще не понимая, кто ее позвал. Постояв и ничего не увидев, она сунула ракушку в карман шортов и вышла из дому. Все вокруг было черным или желтым. Куда-то заторопилось солнце. Ника дошла до калитки и остановилась. К угнетающей духоте добавился странный внутренний жар. Через несколько минут из-за поворота пустынной улицы появилась черно-желтая морда «чудовища» — солнце плавилось в ветровом стекле, и возник его низкий рык, знакомый, родной, свой,— Ника вытянулась в струнку и неподвижно ждала, когда этот дредноут приблизится, запыхтит, сбрасывая обороты, отдуется сжатым воздухом тормозов и намертво станет, горячий, обратив к ней слепой профиль кабины, и с той стороны хлопнет дверца, и возникнут шаги — два, три, четыре шага,— и Грегори, лохматый, клетчатый, широкий, весь в облаках сложных машинных запахов Грегори возникнет из-за... Нику подбросило в воздух — и, пока она летела, рот Грегори все шире и шире растягивался в улыбке, а руки раскидывались крестом, посадочным знаком «Т», а из распахнувшейся рубашки перла буйная растительность, и в эту-то растительность мягко приземлилась Ника, обхватив руками и коленями все, что можно было обхватить,— и целуя беспрестанно эту жесткую, колючую и ненаглядную морду...

— Ну-ну-ну,— довольно заворчал Грегори, подхватывая Нику своими лапищами.— Я пыльный, я соленый...— не отпуская Нику, он легко зашагал к дому.— Сейчас мне кое-кто ванну соорудит, бельишко свежее даст..

— Что, только бельишко?..

— Да ну что ты, если бы только бельишко, и базару бы не было, я же кобелина, ничего не поделаешь...

— Кобелина, небось, девок полная кабина была, там за поворотом только и высадил, знаю я, что на дорогах делается...

— Ничего ты не знаешь и не представляешь даже, у тебя устарелые сведения, едешь вот так ночью, фарами светишь — а через каждые сто метров по девке, представляешь, девки, девки, девки, и, что характерно, все стоят раком, ничего себе, а?

— Какие ужасы ты рассказываешь,— Ника потерлась носом об его плечо.— Пусти, я ванну...— они были уже в доме.

Она отрегулировала воду: тридцать градусов, как он любит,— бросила в воду таблетку фитона и слепо смотрела, как тугая струя взбивает зеленоватую пену. Дышалось ртом и, как от щекотки, подбирался и втягивался живот, и Ника присела рядом с ванной, прижалась к ней боком...

Вошел Грегори в трусах, Ника засмеялась и крепко зажмурилась — он до сих пор стеснялся раздеваться при ней. Потом раздался громкий плеск и фырканье. Ника открыла глаза: Грегори стирал ладонью пену с лица.

— Черт-те что,— сказал он.— Как из огнетушителя... Да, слушай, а чем это таким странным в коридоре пахнет?

— Не знаю,— сказала Ника.— Не чувствую.

— Вроде как чесноком — и чем-то еще.

— Ничего там нет.

— Ну, показалось. Сидди давно спит?

— Больше часа.

— Надо поторапливаться...— Грегори стал быстро тереть себя мочалкой.— Задерни занавеску, я под душем ополоснусь. Все, завтра приварю к «чудовищу» ванну и бак для воды — невыносимо...

Ника перепорхнула спальню, расстелила чистую простыню, вернулась к двери, встала, прислонясь к косяку. Ежась, провела рукой по плечу, груди, животу, бедру. Все на месте? — ехидно спросила сама у себя. На месте... Похотливая кошка... А хотя бы? Почему-то медленно и тяжело стала открываться дверь ванной. Открылась. Закутанный с головой в простыню, вышел Грегори. У него была странная, какая-то одеревенелая походка. Люди так не ходят. Он приближался, и Ника чувствовала, как ее охватывает настоящий страх. Потом простыня соскользнула с головы. Лицо Грегори было синевато-белым, и наискось шла, вскипая кровью, рубленая рана... Он сделал еще шаг, и Ника, теряя себя, опрокинулась и полетела в глубокую звенящую темноту...

Она долго сидела на подоконнике, обхватив руками колено. Ей было уже почти хорошо. Почти хорошо... Она усмехнулась. Лучше сказать: почти не больно. Почти спокойно... И очень досадно. Прошли все чувства. Как всего этого жаль: ожидания, радости, желания — всего. Ничего не осталось. Рубец. Обидно... За окном с наступлением сумерек летали бессмысленными кругами какие-то новые мухи: медленные и крупные, как шершни, но безвредные. Раньше их не было. Впрочем, раньше многого не было... За спиной возникли мягкие шаги: Грегори опять шел извиняться. Ника обернулась. Грегори был голый по пояс, в каких-то немыслимых шароварах и красном тюрбане. В руках он держал блюдо с персиками.

— Зернышко...— с придыханием начал он; на этот раз голос был приторно-нежным.— Зернышко мое родное, ну, прости ты дурака.

— Дурак и есть,— сказала Ника.— Господи, какой ты дурак! Я ведь не за это сержусь...— Она сама не могла понять, за что сердится За пропавшее настроение? Не совсем, что-то еще... На миг ей показалось, что она сама — уже из последних сил — расковыривает обиду.— Я ведь и не сержусь даже, не то слово... а, да что с тобой говорить...

— Не говори, госпожа! — ослом взревел Грегори.— Не надо слов, пусть все нам скажет музыка!

Он махнул рукой в сторону рамы, экран осветился, из глубины его поплыли цветные шары, которые, лопаясь, издавали ксилофонные звуки. Это был, наверное, какой-то новый тоник, он привез, он знает, что она это любит и коллекционирует,— но вот сейчас, сию минуту это оказалось поперек всего.

— Выключи,— сказала Ника.

Грегори сделал ладонью движение, будто протирал стекло, и экран погас.

— Тебя не развеселить, наверное,— сказал Грегори.

— Так — нет,— сказала Ника.— Знаешь что: ты постереги пока Сида, а я прогуляюсь... проветрюсь.

— Пешком? — спросил Грегори.

— Да. Впрочем, нет: если ты позволишь, я возьму мотороллер.

— Возьми. Все так глупо получилось...

— Ладно,— сказала Ника.— Я проветрюсь, и все пройдет. Ты же не хотел, я понимаю.

— Я думал, ты... Нет, я просто дурак и не думал ни о чем.

— Где эта гадость? Дай, я выброшу.

— Я уже сунул ее в измельчитель.

— Ты ей отомстил?

— Да. Стер в порошок.

— Туда ей и дорога. Какая же сволочь придумала это делать?

— Да вот... нашлись. Ладно, ты приезжай скорей.

— Проветрюсь и приеду. Ты жди.

Крошечный мотороллер был закреплен на кузове «чудовища» — как шлюпка на борту лайнера. Ника шепнула пароль в замок и махнула рукой: вниз. Зашуршала лебедка. И что это я собралась делать, мельком подумала, удивляясь себе, Ника. Мотороллер опустился к ее ногам. Ладно, все равно. Сиденье почти горячее... Она тронула пальцем глазок ключа. Загорелись контрольные лампочки, приборный экранчик, фара. Ника мягко послала мотороллер вперед. Дорога была пуста. Можно погасить фару. Светло. Все еще светло. Мотор работал безупречно, только легкая вибрация ощущалась подошвами. У поворота на Загородное шоссе ее обогнал белый «Ниссан». Сидящий за рулем толстяк послал ей воздушный поцелуй. Ника отвернулась. Грегори говорил, что все такие микроавтобусы забрала себе служба эрмеров. Наверное, это тоже эрмеры. «Ниссан» свернул налево, поэтому Ника поехала направо — к центру.

До самого переезда дорога была скучная: пустырь направо и налево, и если справа пустырь кончался полутемными громадами корпусов авиазавода, то слева тянулась, и тянулась, и тянулась черная полоса стены, и за стеной все тоже было черное, и лишь иногда на фоне сиреневато светящегося неба возникали невразумительные силуэты.

Наконец Ника нырнула в гудящий туннель — поверху, похоже, шел тяжелый состав — и вынырнула совсем в другом месте, среди домов и огней. Здесь было оживленное движение и множество людей на тротуарах — и, естественно, множество желающих перебежать улицу не там, где положено,— поэтому приходилось держать ухо востро и не зевать по сторонам. Потом Нике надоело ехать в общем потоке, и она свернула в показавшийся уютным переулок. Впрочем, ничего уютного и интересного в переулке не оказалось, зато он вывел ее в совершенно незнакомое место: к солидного размера пруду с островом посередине. На острове росло большое дерево. Удивляясь, что никогда не была в таком приятном месте, Ника объехала пруд кругом и решила, что пора возвращаться,— но, очевидно, попала не в тот переулок. Здесь были старые двухэтажные домики, собранные в маленькие и очень зеленые квартальчики, и под колесами вдруг оказался не асфальт, а каменная мостовая. Понимая, что окончательно заблудилась, Ника решила развернуться и поискать дорогу назад от пруда, как вдруг увидела знакомую машину. Белый «рейнметалл» с красным крестиком под ветровым стеклом и до сих пор не покрашенным левым крылом стоял двумя колесами на тротуаре у подъезда. Сама не зная зачем, Ника остановила мотороллер, обошла машину и поднялась на крыльцо. Четыре кнопки звонков, все разные, и возле одной — медная табличка: «Д-р медицины Л. Л. Бенефициус». Странно, подумала Ника, доктор медицины — а работает санитарным инспектором. Впрочем, кого сейчас этим можно удивить? Она коснулась пальцами таблички. Табличка оказалась не-

ожиданно холодной. Задержав руку и чувствуя, как эта прохлада проникает в пальцы, Ника подумала: а что будет, если позвонить?..— но мысль эта оказалась сухой, пустой и никчемной. Что-то новое, большое и пока совершенно непонятное переполняло ее. Бездумно неся это в себе, Ника спустилась — три ступеньки — вновь обогнула машину — «рейнметалл» показался ей чудовищно громадным,— оседлала мотороллер и позволила ему везти себя. Минуты через две он вывез ее к ослепительно блестящему «Золотому веку» — целому кварталу ресторанов, ночных магазинов и клубов, кинотеатров, театров, голо, а также прочих «ристалищ и развлекалищ», как говаривал Грегори. Раньше они нередко совершали рейды по здешним подвальчикам и этажам. Раньше, до Сида, и пока Грегори мог выступать со своим номером, зарабатывая втрое против нынешнего... Здесь было светлее, чем днем. Рекламы, фонари и витрины. У полупустого уличного кафе Ника затормозила. Остро захотелось чего-нибудь сладкого. В кармане лежала смятая десятка, трехдинаровая монета из черного с золотыми точками пластика и несколько стареньких «никелей». Она взяла бутылку «Трокто» и три пирожных. «Трокто» рекламировали повсюду: полезен в любых количествах! дышите желудком! молодейте! По вкусу напиток походил на микстуру от кашля, которой Нику поили в детстве. Пирожные казались большими, но исчезли мгновенно. Выходя на тротуар, Ника заметила ночную галантерейную лавочку. На прилавке лежало все, что можно было отнести к галантерее, в том числе и ночной, и кое-что сверх того: например, очень похожий на настоящий игрушечный револьверчик. Сколько это стоит? — спросила Ника продавца, смуглого мальчика. Для вас — даром! — воскликнул продавец. Всего пятнадцать динаров! У меня только десять, огорчилась Ника. Ну, если вы добавите улыбку... Ника охотно улыбнулась. А вы не торгуете этими страшными масками? — спросила вдруг она. Нет, сказал мальчик, я ими не торгую, я их боюсь. Спасибо, сказала Ника. А можно, я вас за это поцелую? О-о-о!..— мальчик был на верху блаженства. Дело в том, сказала Ника, что я их тоже боюсь. Очень-очень боюсь. Они еще поулыбались друг другу, пока Ника пыталась засунуть револьвер в карман шортов. Карман был слишком узкий и тесный. Наконец это получилось. Вот теперь можно возвращаться, подумалось ей. Ну, я его напугаю, я его так напугаю ..

Сид вдруг заплакал — громко, навзрыд.

— О Господи,— сказала Ника.

— Не обращай внимания,— сказал Грегори.— Поорет и успокоится.

— Он собак боится,— сказала Ника.

— Я тоже не люблю, когда воют,— сказал Грегори.— Но должен же он привыкать.

Сид уже не плакал — кричал.

— Нет,— Ника села.— Как он кричит. Нельзя же так.

— Будем бегать к нему — он привыкнет и будет реветь постоянно. Пусть выплачется один раз.

Минуты две они пытались не обращать внимания на крик.

— Сколько же у него сил...— пробормотал Грегори. Похоже, ему становилось не по себе.

— Я схожу посмотрю,— сказала Ника.— Вдруг что-нибудь...

Крик перешел в какой-то хрип.

— Я сам,— сказал Грегори. Он натянул трусы и шагнул к двери.— Я ему покажу...— и Ника поняла, что Грегори испуган.

На каком-то немыслимом звуке хрип оборвался, и слышны были только удаляющиеся шаги Грегори, скрипнула дверь... Ника, замерев, прислушивалась. Ничего. Ни звука. Как долго... Она вскочила, стала искать халат. Халата не было, под руку ей попались шорты, она натянула шорты, ни майки, ни рубашки — плевать... Свет в коридоре горел, и дверь в детскую стояла полуоткрытой. Ника вдруг вспомнила об игрушечном револьверчике, вытащила его и маленькими шажками приблизилась к двери. Вообще у Грегори может хватить ума пугнуть ее сейчас из-за угла... Грег! — позвала она. Молчание. Нет — короткий звук, будто проволокли что-то тяжелое. Ника заглянула в дверь.

Света из коридора в комнату попадало достаточно, чтобы увидеть все — и ничего не понять. Где прямой свет ложился на пол, ковер был чист, но по сторонам от светлой полосы копошилось что-то темное, по колено и выше, похожее на плотную пену, и вдруг там, под пеной, что-то дернулось, пена прорвалась, на миг показалась костяная рука, судорожно сжалась и исчезла; и снова звук, будто рывком проволокли плотную тяжесть. Левее, у стены, стояла кроватка Сида, и в кроватке копошилась эта же пена, а за кроваткой Ника увидела будто бы наклонившегося вперед человека, нет, не человека — что-то округлое, плотное, сжатое, похожее на боксерскую перчатку в человеческий рост, и в следующий миг то, что там было, распрямилось, и Ника поняла, что оно на нее смотрит. Она стояла, оцепенев, не в силах ни шевельнуться, ни крикнуть, потому что крикни она или шевельнись — смерть, нет, что-то еще более страшное и более неотвратимое... То, что там стояло, с тошнотворным чмоканьем выдвинулось из-за кроватки и вдруг раскрылось, именно как перчатка, и из него выпал, тут же исчезнув в пене, крошечный скелетик. Ника отшатнулась, и потому метнувшиеся в нее раскручивающиеся спирали ее не достали: одна почти задела лицо, а другая ударила в револьверчик и с нечеловеческой силой рванула его на себя. Хрустнули пальцы. Ника попятилась, не в силах повернуться и бежать. В темноте усилилась возня, раздался хруст, будто давили стекло. Продолжая пятиться, не отрывая глаз от страшных дверей,

она дошла до спальни — и вдруг поняла, что и в спальне кто-то есть. Ее швырнуло из дому — и, воя, она побежала, не разбирая дороги, не понимая, кто перед ней, уворачиваясь от людей, от рук, и когда ее уже схватили и держали, она продолжала бить, кусать, царапать — и выла, выла... ей сделали укол,— она поняла, что это укол,— и тут же руки и ноги перестали слушаться ее, рот наполнился слюной, а на лицо упало что-то липкое, душное, жаркое — смерть... и она не захотела сопротивляться.

А потом — сразу — она открыла глаза. Очень белый свет, и шум в ушах, как далекая музыка... и тошнит. Что-то было? И вообще — где я? Она подняла голову. Кто-то сидел рядом, но она никак не могла увидеть лицо — все плыло.

— Ника,— сказал сидящий и наклонился, и голос показался ей знакомым.

Она заморгала глазами, и пелена рассеялась. Это был Бенефициус.

— Вы,— сказала Ника.— Господи, где это я? Что случилось?

— Ничего — сказал Бенефициус,— ничего. Все бывает. Это гипнологическая клиника.

— У меня... что-то... не так?

— Да, немного. Вы же знаете, как это случается... да и потом — такая жара...

— Почему жара?

— Не знаю. Никто не знает.

— Нет, подождите... Что со мной было?

— Ну, вы же слышали, наверное: это называется «поймать кодон». Когда человек вдруг начинает видеть и слышать то, чего нет... галлюцинации без наркотиков.

— Да-да-да... Я действительно что-то видела... что-то страшное. Но я не помню. Что я видела, Лот?

— Не знаю. Вы бежали по улице и кричали. Будто убегали от кого-то. Это неважно. Не пытайтесь вспомнить. Главное, что вы пришли в себя. Вам скоро сделают еще один укол, и вы опять уснете. Хорошо?

— А вы будете здесь?

— Я никуда не уйду.

— Как хорошо... Лот? Почему я ничего не помню? Чего я не помню, Лот?

— Не нужно пока вспоминать. Потом. Старайтесь не думать.

— Хорошо. Я не буду думать. Только останьтесь со мной.

— Я останусь.

— Не уходите никуда, ладно?

— Никуда.

— Лот...

— Что?
— Скажите мне что-нибудь...
— Все будет хорошо.
— А еще?
— Все будет хорошо.

Ника тонула в собственном сне — выплывала на секунду, чтобы глотнуть воздуха, и снова погружалась в зеленую бездну; потом она открыла глаза там, внизу, и увидела дно, увидела то, что ее ждет: буро-коричневая, медленно шевелящаяся масса, похожая на громадную амебу, ленивую и равнодушную, знающую наверняка, что пища не денется никуда... мимо Ники медленным градом падали, закрыв глаза, птицы с бессильными крыльями,— и из последних сил она забарахталась, продираясь сквозь зелень, сквозь ставшую вдруг густой, как патока, воду, она всплыла, открыла глаза — синеватый свет сбоку и спасительный холод,— она лежала совершенно голая на измятой простыне, подушка и одеяло исчезли, она перегнулась через край кровати и увидела их — и сама, преодолевая не боль, не слабость — тошноту во всем теле,— сползла на пол, чудом — так качало — поднялась на четвереньки, потом, цепляясь за кровать,— на колени. Так она стояла долго, привыкая к непонятным ощущениям в теле: тошнота в руках и ногах и мятный холод в животе; голова не кружилась, а раскачивалась, как маятник, но все меньше и меньше. Наконец Ника смогла встать на ноги. До подоконника было два шага. Мягкое жужжание ее не обмануло: это был кондиционер, он работал, и Ника нашла регулятор и выкрутила его до отказа: через минуту прохладная струя стала ледяной, Ника наклонилась и подставила под нее лицо, голову, грудь — это было упоительно.

В слабом синем свете ночника палата была таинственно-огромной: кровать, как мост, подушка и одеяло на полу — как облака, над которыми пролетаешь, дверь — крепостные ворота... Ника нашла выключатель, и в белом свете тайны исчезли. Тесная клетушка, которая в высоту больше, чем в ширину, бледно-зеленые неровные стены, серый потолок, под которым проходит короб вентиляционной трубы. Оконное стекло стало черно-зеркальным, и в этом зеркале Ника увидела себя: ломкий силуэт. Отражение было не свое и не чужое. Она и не узнавала его, но в то же время не ожидала увидеть кого-то другого. Поднесла руки к лицу: узкие кисти с тонкими пальцами, коротко стриженные ногти без лака, на среднем пальце правой руки тонкое белое кольцо с угольно-черным камнем. Она не знала, откуда у нее это кольцо, но и не испытывала уверенности, что видит его впервые. Ладони белые, все остальное — почти шоколадного цвета. Негритянка? Она посмотрела на себя: маленькая грудь, втяну-

тый живот, узкие бедра — все равномерно-шоколадное... нет, на бедрах узкая контрастно-белая полоска. Загар. Ничего не помню...

Ничего не помню!

Ее вдруг бросило в дрожь. Может быть, от холода. Закутавшись в одеяло, она села на край постели. Так... Меня зовут Ника Буковчан. Мне двадцать три года. Я живу... нет, не помню. Работаю... нет, кажется, учусь... не помню. Ничего не помню. Помню, как зовут — и все. Боже ты мой...

Нет, ложиться нельзя. Эта кровать только и ждет, когда я лягу... эта пасть притворилась кроватью и ждет... Ника вскочила. То, что было кроватью, как бы вывернулось наизнанку и стало похоже на ярко освещенный въезд в туннель. Воздух был ледяной, и пол тоже был ледяной. Она стояла на тонкой, прогибающейся под ногами льдине, а под льдиной ее ждала бездна. Да что же это делается, беззвучно зашептала Ника, Господи, что же это делается, делается... Она шагнула к двери, и тут дверь сама открылась навстречу ей. Это было так страшно, что Ника закричала.

. Рот тонкий, глазки маленькие, жидкие волосики стянуты в фигу, и говорит, как пилит: вжик-вжик, вжик-вжик... туда-сюда, туда-сюда... Мымра, неуверенно подумала Ника. Она слышала слова, которые произносила доктор Кимли, слова были знакомые, но до сознания доходили с огромным запозданием.

Итак, данные дактилоскопии показали, что вы — Ника Буковчан, двадцати трех лет, последнее место жительства — кемпинг «Соло», предполагаемый источник доходов — незарегистрированная проститутка. Шестнадцатого августа две тысячи четвертого года в двадцать три часа сорок минут подобрана бригадой скорой помощи на улице Прапорщика Пранова в состоянии фобического шока третьей степени, вызванного, предположительно, кодоном. Эрм-исследование не проводилось ввиду ясности клинической картины, с одной стороны, и необходимости принятия неотложных мер по купированию шока, с другой. На месте подвергнута медикаментозно-инструментальной гипнотерапии по методу Штольца-Гусмана; в стационаре лечение продолжено. Шок купирован, следовые мнемонические расстройства в пределах допустимого. Стационарное лечение не показано, выписывается немедленно, рекомендуется амбулаторное наблюдение в гипнологическом кабинете. От себя доктор Кимли имеет добавить следующее: на момент оказания помощи Ника Буковчан была одета только в шорты из джинсовой ткани; денег, драгоценностей и документов при себе не имела. Обследование показало, что незадолго до случившегося ею был совершен коитус. Мазок взят, и в течение суток можно передать его в генетическую лабораторию для установления личности партнера. Опыт доктора Кимли показывает, что обычно поражение кодоном происходит при просмотре нелегальной видеоп-

родукции: порнофильмов и наркоклипов. Доктор Кимли советует Нике Буковчан начать судебное преследование партнера, поскольку психика и сама жизнь пострадавшей были поставлены под угрозу; сумма же компенсации за моральный ущерб может составить несколько сот тысяч динаров. Поэтому в первую очередь надо перевести в генетическую лабораторию плату за анализ: двести пятьдесят динаров. Затем следует обратиться в любую адвокатскую контору и составить судебное исковое заявление. Доктор Кимли настоятельно рекомендует заняться этим немедленно. От себя она может предложить, поскольку Ника Буковчан была одета более чем легко, старый операционный халат. А теперь пойдемте со мной, через час вас отвезут к месту последнего жительства...

— Ника,— тихо сказал кто-то за спиной.

Ника обернулась. Прислонясь к стене, стоял пожилой грузноватый человек в измятой и испачканной рубашке. Ника никогда не видела его, но он, очевидно, ее знал, потому что повторил:

— Ника. Иди за мной. Ни о чем не спрашивай и иди за мной.

Он говорил это очень тихо, глядя куда-то мимо нее и едва шевеля губами. Лицо у него было отекшее, глаза измученные. Наверное, поэтому Ника ему поверила.

Человек оттолкнулся от стены и пошел куда-то в противоположную от выхода сторону.— Нике показали дверь и сказали: выходи и жди,— и Ника пошла за ним. Они пересекли коридор — в коридоре стояли койки и стулья, бродили тени, происходило медленное и неприятное больничное движение,— свернули на темную лестницу, поднялись на второй этаж, пошли вдоль по коридору, точно такому же, как внизу, и точно так же набитому до отказа; двери палат стояли открытыми, и в палатах было столпотворение. Коридор кончился, направо открылась глубокая темная ниша, заставленная больничным хламом. Человек, который шел впереди, толкнул незаметную дверь, и они вышли на узкую темную лестницу. Очень осторожно, сказал человек. Ступени были железные. По этой лестнице они спустились на четыре пролета, явно ниже первого этажа. Здесь был тускло освещенный туннель. Стоял запах немытой посуды. Пол местами был скользкий. Они шли довольно долго, потом туннель раздвоился. Боковой ход вел немного вверх. Тихо, сказал вдруг человек. Они остановились и стали слушать, но никаких посторонних звуков не было. Ты не помнишь меня? — спросил человек. Нет, сказала Ника, но это ничего на значит, я почти ничего не помню. Сказали, что это скоро пройдет. Человек достал из кармана зажигалку, высек огонь. Оказывается, они стояли перед дверью. Дверь была закрыта на засов, в проушины засова вдет замок. Человек вынул из кармана ключ и стал возиться с замком. Ключ явно не подходил к этому замку,

человек возился долго, а Ника ему светила зажигалкой. Наконец замок открылся.

Воздух снаружи был теплый и почему-то затхлый. Они стояли на широкой асфальтовой площадке. Справа возвышался прочерченный вертикальными строчками синих огней — лестницы? — темный больничный корпус. Слева, совсем рядом, стояла огромная железная клетка. На решетке ее висел красный противопожарный щит. Проходя мимо, человек снял со щита лом. Обогнув клетку, они оказались перед сетчатым забором и пошли вдоль него по протоптанной в траве тропинке. Метров через пятьдесят в заборе обнаружилась дыра. По ту сторону дыры тропа продолжалась, и по этой тропе они вышли к слепым коробкам многоэтажных гаражей. А дальше, в промежутке между коробками, видны были фонари нормальной человеческой улицы. Они прошли половину пути, когда с улицы навстречу им свернула длинная машина, осветив их фарами. Бежать было некуда. Они стояли, ослепленные, держась за руки. Фары остановились в двух шагах перед ними, позади фар раздались непонятные звуки, потом кто-то вышел и подошел к ним. Ника почувствовала прикосновение чужих рук, не злое, но решительное, ее повели, легонько направляя и подталкивая, и усадили в пахнущую табачным дымом прохладу. Снаружи раздался сдавленный стон, что-то звонкое упало и покатилось. Человек, который вел ее, сел рядом, прижимая к груди руку. Ника вздохнула. Перед глазами плыли черные круги. А с этим что будем делать? — спросил кто-то кого-то сзади. Действительно,— сказал другой голос, холодный, аристократический. Как вы могли, государственный служащий, санитарный инспектор... вы же знаете, какая обстановка в городе... черт-те что. Провожатый молчал. Черные круги стали лиловыми, сквозь них Ника на фоне освещенной фарами стены гаража видела профиль водителя и рядом с ним — профиль обладателя аристократического голоса, острый, четкий. Ника оглянулась. Сидевшего позади, на третьем сиденьи, видно не было. Вы же знаете, как предписано поступать в подобных случаях, продолжал острый профиль. Или вас не инструктировали? Что вы молчите? Вы понимаете, надеюсь, что и вас придется изолировать? Не дождавшись ответа, он кивнул водителю: поехали. Ника посмотрела на своего провожатого. Он поймал ее взгляд и улыбнулся ей. И Ника, как могла, улыбнулась ему в ответ своими деревянными губами.

— Прошу, мадемуазель,— сказал один из тех, кто привез ее сюда — высокий, белый, тонкий.— Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее.

Ника послушно села. Кресло, кожаное на вид, оказалось холодным и скользким. Еще в машине ей дали понюхать что-то, и теперь лицо онемело, глаза не мигали и почти не двигались, а мысли стали рыхлыми и медленными. С ней что-то сделали и собирались сделать что-то еще, но значения это уже никакого не имело.

— Смотрите, пожалуйста, сюда,— сказал тонкий.

Собственно, никуда больше она смотреть и не могла — кроме как на экран, большой и плоский,— на голо. Экран осветился, появились и стали растекаться, превращаясь во что-то другое, человеческие фигуры, и понять было невозможно. Потом все содрогнулось и потекло, покатилось на нее, понемногу убыстряя скорость, и скоро Ника, захваченная этим движением, неслась, едва успевая поворачивать, сквозь живой, кипящий, взрывающийся новыми, неизвестными природе цветами лабиринт, а потом, не удержавшись на краю, полетела куда-то вниз в потоке упруго поддающейся телу перламутровой ртути... Там, куда она падала, медленно вращался багровый водоворот... И тут же резкий сигнал зуммера вонзился в уши. Мигала лампа на пульте, и автопилот готовился перехватить управление. Если глаза закрыты более трех секунд... Она провела ладонью по лицу. Все нормально. Это туннель. Туннель ее ужачивал. Она никогда не любила туннелей.

Все, осталось немного... Ч-черт, пот пробил. Ровно год назад разбился Джэб — ехал без автопилота и на ровной дороге уснул за рулем. С тех пор она никогда не выключала автопилот, хоть это и считалось дурным тоном.

На выезде из туннеля по глазам ударило таким световым контрастом, что опять пришлось жмуриться и нервировать этим «черного Сэма». Асфальт казался фиолетовым в обрамлении сверкающих склонов, горы были небесно-белыми, как облака, а небо над ними имело такой сказочно-чистый синий цвет, какого вообще не бывает нигде, кроме как в небе над горами. Машина легла в плавный поворот, и сразу перед глазами, закрывая солнце, воздвиглась громада «Горной твердыни».

Площадка паркинга была еще почти пуста: дюжина машин, из них лишь две знакомые — черный «сабр» барона и новый, купленный месяц назад и уже помятый «форд-шериф» Яна Богница. Барон, конечно, приехал самым первым — его машина крайняя в ряду... У подъема на мост стоял седовласый дядюшка Гастингс. Увидев ее, он растянул серые губы в широчайшей улыбке.

— Наша маленькая принцесса! — воскликнул он.— Как давно я вас не видел!

— Чуть больше года, дядюшка, всего лишь чуть больше года,— она улыбнулась в ответ. Опираясь на его мощную, как из бронзы, руку, она поднялась по ступеням на мост и оглянулась. Ее «мерлин» уже стоял в ряду с другими машинами, выделяясь тяжестью и нескрываемой мощью, как артиллерийский снаряд рядом с детскими колясками.

— И правда,— согласился старый негр.— Чуть больше года. Но как долго тянулся этот год!

— Ничего,— сказала она.— Тяжелые времена тем и хороши, что проходят рано или поздно.

— Воистину так. Я желаю вам, принцесса, провести приятный вечер... а если захотите поболтать со старым негром и послушать разные истории, как слушала их девочка Аннабель... приходите.

— А чай будет с ромом?

— С черным ямайским ромом из большой зеленой бутыли с литой печатью на пробке...

— Спасибо, дядюшка. Если ничего не случится, я обязательно приду.

И, вновь ощутив себя почему-то девочкой Аннабель, она, пританцовывая, зашагала через мост. Дубовые брусья глухо принимали в себя удары ее каблучков. Вот здесь, где несмываемое темное пятно, двести лет назад стрела поразила преступную леди Канолу...

У ворот донжона дядюшка Гастингс передал ее дворецкому. Аннабель незаметно пожала твердую надежную ладонь старого привратника.

— Ее высочество принцесса Аннабель!— провозгласил, распахивая перед ней резные створки парадного входа, дворецкий.

Оркестр играл что-то легкое, полетное, и леди Денниус, хозяйка, маленькая и подвижная, шагнула к ней, поцеловала в щеку и шепнула: «Ты здесь, слава Богу!» Сэр Денниус, давний друг, наставник, почти отец,— напротив, холодно коснулся губами запястья и молча посмотрел в глаза, и Аннабель вдруг поняла, что он боится за нее.

И почувствовала, что благодарна ему за этот страх.

— Богниц,— сказал барон лениво,— вы неизбежны, как судьба. Как удар молнии. И так же несносны.

— Судьбу вы считаете несносной? — сделал домиком свои белесые брови Богниц; глаза его смеялись.

— Я с ней конфликтую с момента рождения,— сказал барон.

— Нельзя ли несколько подробностей для прессы?

— В раздел скандальной хроники?

— Как можно! В спортивный, разумеется. Кстати, правда ли, что вы оба,— Богниц поклонился Аннабели,— намерены выступить одним экипажем в «Трансафрике»?

Барон, не глядя, поставил пустой бокал — под бокалом тут же оказался поднос, а мгновением позже при подносе материализовался официант. Другой официант, несущий свежие коктейли, качнулся было в их сторону, но барон отмахнулся от него.

— Это неплохая мысль,— медленно сказал он,— поэтому, наверное, она мне в голову и не приходила... А что скажет ваше высочество? — повернулся он к Аннабели.

— Я вообще не собиралась заявляться на эту «Трансафрику»,— сказала Аннабель. Сейчас он спросит: почему? — мелькнуло в голове. Надо что-то сказать...— Хотела бы не торопясь подготовиться к Кубку Наций.

— Это, конечно, цель...— протянул Богниц недоверчиво.— А можно политический вопрос? То есть я обращаюсь к вам не как к знаменитым спортсменам, а как к представителям виднейших фамилий Конкордиума. Ваше мнение о завтрашней Конференции Гор и Долин?

— Я отвечу как частное лицо,— сказала Аннабель.— Я считаю, что в нынешней ситуации любые шаги навстречу друг другу надо только приветствовать — и помнить, что есть вещи важнее застарелых обид.

— А я вообще не отвечу,— сказал барон.— Во-первых, я ничего не понимаю в политике, о чем вы, Богниц, прекрасно знаете. Во-вторых, что бы я ни сказал, это будет вразрез с мнением моей семьи — кажется, так получается автоматически.

— Послушайте, Ян,— сказала Аннабель.— Вы тут знаете всех — кто вон тот человек с черной розой?

— О, это же Яппо. Говорят, он настоящий маг. Из старых. Я знаю, что его очень боялся покойный король Томас.

— Понятно,— сказала Аннабель.

Значит, вот он какой, этот Яппо, подумала она. Почему-то думала — старик, с бородой, с посохом... Как Хиид — таким он запомнился ей. Впрочем, может быть, это детские аберрации, тогда все, кто старше тридцати лет и выше пяти локтей, казались глубокими стариками и великанами...

— Король Томас, по-моему, боялся всего,— сказал барон.— Даже собственной тени.

— Вот именно,— поднял толстый палец Богниц.

Барон уже набрал в грудь воздуха, чтобы задать вопрос, когда Аннабель перехватила брошенный мельком на них взгляд высокого человека во всем черном и с черной розой в петлице и положила руку барону на плечо.

— Давайте лучше о скачках,— сказала она.— Или о боксе. Ведь наш друг Ян...

— В прошлом, ваше высочество, в прошлом!

— Не столько в прошлом, сколько в душе, правда ведь, Ян? Вот, допустим, волею судеб вы снова стали спортивным репортером — пари, что будете втрое счастливее, так? Или нет?

— Если с нынешним окладом — о, вдесятеро! Кстати, о пари: хотите свеженький скандал? Помните бой Раулингсон — Ферри? Третьего апреля? В восемнадцатом раунде Ферри проиграл техническим нокаутом?

— Сломал руку, кажется,— уточнил барон.

— Тот самый бой,— закивал Богниц.— Так вот, выяснилось, что оба боксера заключили пари на победу противника! Огромные суммы! Раулингсон дисквалифицирован и по уши в долгах, а Ферри вообще скрылся — но зато с двумя миллионами. Хотя, если его найдут, миллионы ему вряд ли понадобятся...

— То есть руки он не ломал? — решил уточнить барон.

— Естественно. Массажист в перерыве незаметно впрыснул ему под кожу что-то, вызывающее отек, и Ферри осталось только неудачно упасть...

— Свинство,— сказала Аннабель.— Массажист его и продал, наверное?

— Нет,— сказал Богниц.— Случайный снимок, и фотограф не сразу обратил внимание...

— Что осталось более или менее честного,— сказал барон,— так это теннис, шахматы, яхты и большие ралли. Все остальное...

— Я сказал бы иначе,— прищурился Богниц.— Бокс, лошади и футбол. Это продано, куплено и продано снова. Все остальное — с вариантами.

— Лошади,— сказала Аннабель.— Знаете, Ян, есть лошади и лошади...

— Я не имел в виду выездку,— сказал Богниц.— Я говорил про ипподром.

— Самый честный вид спорта — это рулетка,— сказал барон.— Ты знаешь, что всегда выигрывает казино...

— Смотрите, это Берт,— сказала Аннабель.

К ним подходил, заранее широко улыбаясь, Берт Яскульский, рыжий и круглолицый; четыре года назад, когда он только начинал свою карьеру, его простецки-легкомысленная внешность страшно мешала ему. Как и островной акцент. От акцента и веснушек он избавился — но не это, конечно, стало причиной его стремительного взлета. Сейчас он был товарищем премьер-министра Маргитании, второго по значению королевства Конкордиума.

По слухам, влияние его в кулуарах власти самого Конкордиума было колоссальным.

— О, милая Аннабель, как я рад вас видеть! Лео, я слышал, у вас проблемы? Поговорим за картами. Ян, никаких интервью, я отдыхаю. Что интересного в мире? Господа, позвольте мне похитить у вас принцессу...

Конечно, и Берт с ними, думала Аннабель, увлекаемая мягкой превосходящей силой. Как же без Берта... Она автоматически раскланивалась со знакомыми, окидывала взглядом платья и украшения дам, и вдруг оказалось, что они идут как бы по длинному коридору, в конце которого стоит, вовсе на них не глядя, человек в черном, но

в последний момент коридор слегка вильнул, и их пронесло мимо, куда-то ко входу в зимний сад...

— Берт, куда вы меня тащите? — спросила она, оглядываясь.

— Как, вы еще не знаете? У Денниусов зацвела инстрелла. Вы видели цветок инстреллы?

— Я выросла в этом доме, Берт,— сказала Аннабель.

— Ладно. Тогда сами подскажите место, где можно поговорить без посторонних. При этом не пропадая с глаз.

— Значит, то, что нас будут видеть беседующими,— не страшно?

— Предпочтительно. Мои агенты уже распускают слухи о моих матримониальных намерениях.

— Берт, вы совсем не в моем вкусе.

— Вкусы — вещь переменчивая... впрочем, говорить мы будем о другом.

— Тогда поднимемся на галерею.

На галерее слышен был мягкий шорох климатизаторов и ощущались токи прохладного воздуха. Пахло подтаявшим снегом. В зале собралось уже около сотни гостей, разговаривали, пили, знакомились и знакомили, было немало юных дам и молодых кавалеров, и кто-то замечал стоящих на галерее Аннабель и Берта — замечал, обращал внимание, запоминал для последующего перемывания косточек... А что, подумала Аннабель, с их точки зрения — Берт для меня прекрасная партия... как и я для Берта. Принцесса-изгнанница, пожизненная правительница государства площадью в один номер-люкс на территории отеля «Палас», которая не гнушается брать деньги за победы в автогонках... и молодой политик, представитель древнейшего дворянского рода, более древнего, чем коронованные Мартиниусы...

К развлечению гостей меры приняты.

— Так в чем дело, Берт?

Невидящими глазами Берт смотрел куда-то в противоположную стену.

— Отвечайте,— сделала улыбку Аннабель.— Или вы хотите, чтобы я ушла?

— Я хочу предложить вам участие в грандиозном предприятии. Риск колоссальный. Победитель получает все. Но на кон ставится, пожалуй, не только смертное тело, но и бессмертная душа...

— Заговор?

— Да. Мы хотим вернуть вам корону.

— У меня ее никогда не было.

— Была. Король Евгений за день до смерти тайно короновал вас.

— Не может быть. Я запомнила бы. Мне ведь было уже пять лет.

— Вы пробыли в руках у... мы называем их упырями, но это условно... вы пробыли у них неделю, прежде чем Конкордиум выта-

щил вас оттуда. Странно, что у вас вообще осталась прежняя личность.

— Берт, вы говорите что-то такое... Может быть...

— Да.

— Что «да»?

— Мы расскажем вам все. В последние несколько месяцев нам удалось добыть немало новой информации об Альбасте, и... это страшно, принцесса. Меры надо было принимать десять лет назад. Я боюсь, что сегодня уже поздно. Но ничего не делать — тем более нельзя. Сейчас Яппо расскажет нам кое-что... и еще — генерала Паулина вы помните?

— Нет.

— Он командовал внешней охраной дворца еще при вашем отце. Неделю назад бежал из-под ареста. Он сейчас здесь. Поговорите с ним тоже.

Конечно, она помнила этого генерала. Маленькая, она боялась его. У генерала — в те времена, наверное, полковника — был низкий лоб, приплюснутый нос, узкие губы и мощные челюсти. Вечно прищуренные глаза напоминали серые льдинки. Он никогда не улыбался. Люди с такими лицами не меняются десятилетиями и становятся стариками в одну зиму. Похоже, что генерал был на грани этого превращения.

Яппо уже замолчал, а Аннабель все пыталась зрительно представить себе хоть что-нибудь из рассказанного: котлованы, на дне которых живут сотни и тысячи людей — абсолютно, идиотически счастливых людей, которым вообще ничего не нужно; живых мертвецов, по ночам патрулирующих улицы столицы; необъяснимые и жуткие перерождения домашних животных и птиц; покинутые, но продолжающие жить непонятной жизнью села и города; и брата, короля Германа, до недавнего времени — слабоумного морщинистого мальчика, куклу в руках матери-правительницы... он стал выше ростом и тверже лицом, речи его разумны и указы точны, но никто не может встретить взгляд его глаз и остаться в здравом рассудке...

— Он умер, принцесса,— сказал Яппо, поняв, о чем она думает.— И смерть его души была долгой и невыносимо тяжкой. Снедаемая заживо, она...

— Не надо,— сказала Аннабель.— Я поняла. Но — что мы можем вообще сделать? Если все так...

— С нами Яппо,— сказал Берт.

— Яппо...— Аннабель подняла глаза на мага.— Яппо, а почему вы с нами?

— Потому что могущество тех, кого вы назвали упырями, угрожает и мне,— сказал маг.

— Только поэтому?

— Да, только поэтому. Восстановление справедливости в вашем смысле меня не занимает. Меня вообще не занимают людские отношения.

— Хорошо. А чем конкретно вы можете помочь?

— Информацией. В ближайшие дни я буду знать все о сегодняшней структуре Альбаста. Узнав ее, я смогу найти для вас способ проникнуть на его территорию. Научу бороться с магией упырей. Возможно, смогу нарушить их системы наблюдения и воздействия...

— Вы говорите — упыри...— начала Аннабель.

— Это вы так говорите,— поправил ее Яппо.

— А как на самом деле? И — кто они?

— Вот этого вам как раз пока знать не следует. Вы же не хотите, чтобы они слышали, что мы тут обсуждаем? В нужный момент я сообщу вам их настоящее имя.

— А пока?

— А пока, принцесса, остерегайтесь красного света. Закрывайте глаза, отворачивайтесь, не смотрите. С его помощью упыри способны перебрасывать людей в другой мир.

— Как это? — хором спросили Аннабель и Берт.

— Ваше активное начало, ваша истинная личность окажется где-то в другом месте, в другом мире, в другом теле. А это тело останется здесь — пассивной игрушкой в руках судьбы. Все будет, как раньше, никто не заметит,— только противостоять жизни вы уже не сможете.

— Интересно...— протянул Берт.— Об этом писал Келлер, если я не ошибаюсь?

— Да, Франц Келлер. Он умел перемещаться из мира в мир собственной волей. Трактат «Существование» — вовсе не результат употребления африканских грибов арау-рау, как писали его враги...

— То есть, вы хотите сказать?..

— Дорогой господин, давайте отложим лекции на более легкие времена. Скажем, через год после возведения принцессы Аннабель на трон Альбаста я готов познакомить вас с полной картиной мира. Правда, это будет стоить вам нескольких лет жизни и множества иллюзий. Хотите?

— Пожалуй, да.

— Я уважаю такие характеры, как у вас. Я буду заниматься вами с удовольствием.

— А мной? — спросила Аннабель.

Яппо покачал головой.

— Я помогу вам взойти на трон. В ученики вы не годитесь.

— И можно узнать, почему?

— Нет.

Это было сказано так, что от продолжения расспросов Аннабель удержалась.

— Через несколько минут,— продолжал Яппо,— вам придет в голову такая мысль: а почему мы должны доверять этому человеку — то есть мне — и действовать по его указке? Не преследует ли он свои интересы и не использует ли нас для собственных надобностей? Отвечаю: да, преследую. Использую. Из Альбаста сейчас исходит страшнейшая за всю историю Земли угроза для человечества — в том числе и для меня. В моем плане противодействия этой угрозе одним из основных пунктов значится: вернуть светскую власть в Альбасте живым людям. Сейчас у власти живых нет. Если вы откажетесь, принцесса, мне придется начинать головоломную династическую игру или пытаться создать там республику — что сложно, малонадежно и требует времени, которого у нас и без того практически нет. Если вы согласитесь участвовать в этом деле, вам придется принимать на веру все, что я буду говорить, так как добыча доказательств опять же потребует огромного времени и сил. Вот живой свидетель,— Яппо кивнул на молчащего генерала.— Это чудо, что он здесь, с нами. Чудо вдвойне, что это влиятельный человек, за которым гвардия пойдет на смерть. Я долго не видел возможности нанести поражение упырям. Сейчас эта возможность у нас появилась. Если мы ее упустим, то, я думаю, всем нам лучше умереть как можно раньше. .

Стало очень тихо.

— Если вы ждете моего слова...— Аннабель начала и замолчала. Ей даже не было страшно. Как перед любовным столкновением, которого не избежать. Так уже было однажды.— Да. Разумеется, да.

2. Вито

■

— Докуривай, и пошли,— повторил Стас. Он всегда куда-то спешил, но сегодня это было просто невыносимо.

— Суетишься,— сказал Вито, раздавливая окурок в пепельнице.— Нервничаешь. А смысл?

Стас не ответил. Он прекрасно понимал, что суетиться смысла не имело.

Дверь открылась, и вошли Джиллина и Куперман, по прозвищу Суперман. Джиллина был в оперкостюме и при полном снаряжении, Супер — в шортах и маечке, с кобурой на предплечье.

— Сидите сидите,— махнул рукой Джиллина.

— Никак не возможно,— вздохнув, сказал Вито и поднялся с дивана.— В присутствии дамы-с?

Джиллину будто ударили по лицу. Вито догадывался, что слухи о его пристрастиях действительности не соответствуют — иначе не

дергался бы так,— но не удержался и ткнул в уязвимое место. Без подготовки. Но Джиллине уже объясняли, и не раз, что непритязательные розыгрыши, принятые, может быть, в армии, здесь, в Корпусе, практиковать не следует. Вот, наконец Джиллина напоролся на свой камень.

— Брэк,— предупреждая развитие событий, Супер положил руку на плечо Джиллины — и, наверное, не только положил, потому что Джиллина скрежетнул зубами и непроизвольно под рукой подался.

— Не надо, Ноэль,— сказал Вито.— Извини, Джи, сорвалось с языка. Не хотел тебя обижать.

Он подошел к Джиллине и протянул руку. Джиллина через силу протянул свою. Ладонь его была совсем мокрая.

— Идем? — сказал Стас.— Время уже.

— Вот вы тут курите и ничего не знаете,— сказал Супер.— А там приехал Томаш.

— Вот это номер,— сказал Вито.— И что?

— Велено болтаться в пределах досягаемости.

— Ты с ним успел поговорить?

— Я сунулся к нему, но он, знаешь, такой...— Супер изобразил, как Томаш пальцами раздирает слипающиеся веки и никого не узнает.— Сказал только, что новостей целый вагон.

— Черт...— Вито вздохнул и выдохнул, чтобы не позволить начаться нервной дрожи.— Знать бы — получилось или нет?

— Думаю, получилось,— сказал Супер.

— Это надо перекурить,— сказал Стас и заозирался.

— У меня «Гренадир»,— полез в карман Джиллина.— Давайте по «гренадирчику» задавим.

Против «Гренадира» возражений не возникло. Помня об эрмеровских приметах, Джиллина своей рукой раздал сигареты, начав с того, кто слева,— с Супера. Супер выцарапал из тесного кармана обшитую кожей зажигалку, прикурил, погасил пламя и подал зажигалку тому, кто слева от него,— Вито. Пытаемся обдурить судьбу, подумал Вито. Это уже даже не смешно.

— Ты их сушил? — спросил Стас, принюхиваясь к дыму.

— Нет, а что?

— Вроде горчат...

Голос Стаса дрогнул, и могло показаться, что Стас просто поперхнулся, но Вито все понял и среагировал:

— Клинч!

Он повис на правой руке Стаса, на руке, ставшей вдруг железным рычагом, и на миг замедлил движение этого рычага к кобуре, а Супер в прыжке опрокинул Стаса на спину и заблокировал левую руку, и лишь Джиллина ничего не понял и смотрел остолбенело, руки Стаса напряглись еще, все тело напряглось и изогнулось, Супер

вдруг взлетел в воздух, а освободившаяся рука Стаса впилась Вито в горло, и только тут Джиллина бросился в кучу-малу, пытаясь разорвать хватку Стаса и освободить Вито и теряя бесценные секунды, но тут Супер снова оказался рядом, выхватил из патронташа Джиллины гипноген и прижал его к лицу Стаса. Багровая вспышка ударила по глазам, оставив на сетчатке подобие фотографии, и, смежив веки, Вито все равно продолжал видеть то, во что превратилось тонкое нервное лицо Стаса: кровавую вампирью маску. Хватка постепенно ослабевала, по телу Стаса пробегали волны дрожи. Наконец можно стало подняться на ноги.

— Вот так это и бывает, солдат,— сказал он Джиллине. Джиллина сидел на полу, весь белый, зажимая пальцами нос.

— Вовремя ты просек,— сказал Супер. Он стоял на коленях, плотно зажав голову Стаса, и сканером снимал движения глаз. Это позволяло судить о характеристиках разрушенного кодона.— Еще бы секунда — и все.

— Я с утра на него косился,— сказал Вито.— Что там получается?

— «Матрешка», естественно. Лиловый снаружи, внутри, кажется, желтый. Киллер прогрыз наружный слой — ну и...

— Дерьмо наши киллеры. Пора пойти и набить морду Алексу. Уже полгода обещает сделать новый киллер.

— Где он мог его поймать? — пробормотал Супер.— Бережемся ведь, как монашки...

— Кумулянт, скорее всего,— сказал Вито.— Черт, как он меня сдавил...

— Но ты молодец, толстый. Мне бы такую реакцию.

— Ладно, не прибедняйся.

— Какое... Ну, Джи, как тебе все это?

— Не слабо, ребята...— Джиллина пошмыгал носом, обтер пальцы о брюки.— Так я и не понял, кто мне двинул.

— Похоже, что я,— сказал Супер.— Ты в следующий раз не в потягушки играй, а за гипноген хватайся. Учили тебя, учили...

— Да я же знаю... на тренировках — все правильно делал...

— Ничего, Джи,— сказал Вито.— Нормально. Тренировки тренировками, а научиться можно только на поляне. Если за месяц не сморгнут тебя — станешь эрмером.

— Это я понимаю...

Супер отложил сканер и похлопал Стаса по щекам.

— Эй, старый, подъем! Просыпайся!

Стас поднял голову. Взгляд его был мутный и неосмысленный.

— Стас! Ты меня слышишь?

— М-да? Что? А, это ты... чесночная твоя душонка... что?

— Просыпайся, просыпайся. Нам всем пора к Стрептоциду.

— Не знаю такого... Пусти, я сплю. Я пьян и сплю.

— Желтый,— прокомментировал Супер. Вито и сам понял это. Кодоны желтого спектра вызывали сильнейший выброс эндофринов, и клиника постдеструкционного синдрома напоминала банальное опьянение. На поляне, случалось, это приводило к серьезным ошибкам.

— Что делать, пусть спит,— сказал Вито.— Давайте-ка, ребята, я вас проверю на всякий случай.

Через полтора часа, наконец, все, кого это касалось, собрались в «бункере» — особо изолированном помещении в пристройке. Попасть туда можно было только с помощью специального лифта, управляемого с центрального поста охраны. В случае чего оттуда же, с центрального поста, в бункер подавался усыпляющий газ.

Автономный стац-эрм гудел и попискивал, загружаясь. Томаш нервно расхаживал перед ним, потирая пальцами виски. Выглядел Томаш плохо. Нос заострился, скулы торчали, глаза ввалились и горели. Со щек не сходил лихорадочный румянец. Вито, увидев Томаша, прямо спросил — и получил прямой ответ, что да. Томаш ввел себе «джерри» — род лилового кодона семисотого разряда, который вызывает сильнейшее постоянное возбуждение; вот уже неделю он ходит под «джерри», возможно, нахватался чего-нибудь еще, но проверку и освобождение придется отложить хотя бы до вечера, потому что тогда он сразу уснет — и все, а дело не терпит отлагательств. Но ты уж, Вито, дружище, приглядывай за мной — вдруг...

Всяческие «вдруг» случались все чаще — хотя техника становилась все более совершенной, а методики — отлаженными. Тем не менее спрос на людей, имеющих особое чутье на приближение кодонной эксплозии, оставался прежним. Несмотря на введенные программы-киллеры, на ежеутренние проверки гипногенами, на поощряемую склонность обращаться за проверкой по малейшему подозрению, несчастные случаи с эрмерами продолжались. То, что только что было со Стасом, относилось к рядовым и легчайшим инцидентам. В прошлом году была волна смертей от остановки сердца в момент проверки — как оказалось, примитивнейший серый кодон соответствующим образом модифицировал киллер. С этим научились справляться, но весной появились многослойные кодоны, и киллер, разрушив внешнюю оболочку, высвобождал то, что было внутри. Первой их жертвой в Корпусе стал, похоже, Поплавски. Почувствовав усталость и раздражение, он решил, что поймал простой лиловый кодон, попросил кого-то освободить его — и вдруг учинил побоище на этаже, убив четверых и четверых ранив, после чего застрелился сам. Снятая с остывшего мозга нограмма показала, что височные, теменные и затылочные поля охвачены сверхвозбуждением, и можно только догадываться, что он видел и с кем сражался в свои последние минуты... После этого все стали в обязательном порядке сдавать оружие при проверках, но смертельные случаи продолжались. Бер-

гель сразу предложил перевооружить Корпус — чтобы пистолеты стреляли не пулями, а капсулами с парализующим веществом. Почему-то оказалось, что существующие виды оружия для такой переделки не годятся и только к осени новые револьверы «серпент» начнут поступать — сначала для натурных испытаний.

Что ж, а пока — надежда, в основном на то, что за несколько секунд до эксплозии человек начинает вести себя немного необычно, и это удается заметить тому, кто стоит рядом...

Эрм издал сигнал готовности, загорелся глазок лазерной головки — и в воздухе повисло изображение того, что Томаш слепил из грязи, осевшей на фильтрах городской информсети.

Вито присвистнул, втягивая воздух. Ноэль ударил себя кулаками по коленям. Не до конца проснувшийся Стас бормотнул неразборчиво, но энергично. Старик Вильгельм встал. Кароль и Бергель одинаковыми движениями взялись за подбородки. Только стажеры: Джиллина и Гектор — ничего толком не поняли. Впрочем, усмехнулся про себя Вито, все остальные вряд ли поняли тоже.

Свертка кодона — условная проекция его свойств на трехмерную сетку — напоминала по форме немного удлиненного морского ежа. На концах некоторых игл были утолщения, а одна из игл, изгибаясь, возвращалась в тело, образуя нечто подобное ручке чайной чашки.

— Разряд порядка четырех тысяч,— на глаз определил Ноэль.— И цвет от желтого...

— Разряд у этой хреновины — восемь тысяч четыреста тридцать пять плюс-минус пятнадцать,— перебил его Томаш.— А цвет меняется от синего до инфракрасного. Вот так...— он провел рукой над пультом, и свертка пришла в движение; иглы сдвинулись и поплыли к основанию «ручки», укорачиваясь, но делаясь шире, и на самой «ручке» сглаживались и исчезали; а из воронки, обнаружившейся с противоположной от ручки стороны, стали появляться подобия лунных кратеров, между которыми змеились узловатые корни.

— Это же по типу бутылки Клейна! — сказал Вильгельм.— Односторонняя поверхность.

— Именно так,— сказал Томаш.

Кратеры собрались у основания «ручки», превратившись в бородавки, а поверхность кодона вокруг воронки стала зеркально гладкой.

— А ведь это артефакт, Том,— сказал Вито.

Томаш молча кивнул.

— «Черный шар»,— добавил Ноэль.— Вот и дождались...

Год назад Ноэль, Вито, Томаш и покойный Сихард в обстановке самой неформальной родили идею о возможности возникновения «черного шара», неуловимого и неуничтожимого кодона; название родилось по аналогии с «черным кубком» — возбудителем компь-

ютерной чумы две тысячи второго года. Занявшись проработкой этой темы, они нашли огромное количество дыр в фильтрах и разработали несколько возможных моделей «черных шаров»; правда, тогда они исходили из предпосылки, что «черный шар» должен иметь возможно меньший разряд, так где-то на уровне полусотни, для лучшего прохождения через фильтр. О том, что могут существовать такие вот выворачивающиеся полиморфные кодоны, тогда просто не догадывались. Тогда о многом не догадывались. Это были как раз последние дни стабильности: киллеры успешно разрушали все известные виды кодонов, а фильтры не менее успешно их все задерживали, и о «черном шаре» заговорили в общем-то только для того, чтобы произвести впечатление на дам. Дамам было наплевать, но идея запомнилась...

— Покажи, где исходный материал, а где ты додумал сам,— сказал Вильгельм.

— Додумал вот это,— Томаш показал на утолщение в виде буквы «Н» у конца длинной иглы; гладкая поверхность втянулась внутрь, и кодон вновь походил на морского ежа.— Когда я допер до этой штуки, остальное сложилось само.

— Разверни, посмотрим.

— Довольно просто синий кодон двухсотого разряда. Вызывает положительные эмоции, легкую эйфорию и легкую потерю ориентации в пространстве. Но вот вкупе со всем прочим выступает, можно сказать, сборщиком.

— Именно сборщиком, Том? — решил уточнить Вито.

— Тут двухступенчатый процесс,— сказал Томаш.— Вначале синий играет роль пассивного центра адгезии, и в результате формируется агломерат, не имеющий свойств кодона, но активно собирающий те фрагменты информагентов, которые мы условно назвали грязью...

Парень и вправду нахватался чего-то, подумал Вито, говорит, как лекцию читает. Или это его научное окружение так исковеркало?..

— ...агломерат же, в свою очередь, выступает в роли активного сборщика, полностью формирующего данную структуру.

— Сколько времени занимает полный цикл? — спросил Ноэль.

— Сорок часов.

— Процесс идет на фильтре?

— Да.

— Я думаю, нам нужно, не теряя ни минуты, перенастроить фильтры так, чтобы они задерживали синие кодоны, скажем, от сотых до тысячных — и аннигилировали их без запроса.

— Задание группой Рацека получено.

— Это может оказаться долгой историей...— сказал Вито.

— А что ты предлагаешь?

— Можно попробовать сделать обманку и запустить...

— Это тоже долго. Пока сделаешь и проверишь...

— Кстати, о проверках,— вспомнил Вито.— Том, какой у него эффект?

— Не знаю,— сказал Томаш.

— Ты что, не пробовал его?

— Сам — нет. Ты же видишь, какой я. Дважды вводил лаборантам. Непонятно. Внешних проявлений почти никаких. Становятся... спокойнее, что ли. Послушнее. Вялость появляется. Легкая такая вяловатость. Реакция ухудшается, рефлексы замедляются — совсем немного. Аберраций восприятия нет. Так что эффект неясный...

— Освободил легко?

— Вроде да. Но я не вполне уверен, что освободил. Очень маленькая разница между...

— То есть может оказаться так, что он действует не сразу?

— Может. За парнями, конечно, наблюдают.

— Слушайте, а может быть, у этой штуки вообще нет никакого эффекта? — предположил Вильгельм.— Произошел качественный скачок, и кодон такой степени сложности на мозг уже не действует?

— Зачем-то же его лепили,— сказал Томаш.

— Ладно, ребята,— сказал Вито,— все равно надо проверять. Давайте быстренько с этим разделаемся — а потом, по результатам, будем соображать, что делать.

— Можно подойти еще с другой стороны,— подал голос Кароль.— Проверить грязевые источники.

— Если удастся,— сказал Томаш.— Я уже пробовал — правда, наспех. На ком испытаем? — он огляделся.

— На мне, естественно,— сказал Вито.

— Почему это вдруг: естественно, на тебе? — спросил Ноэль.— Что это ты себе за привилегии придумываешь?

— Никаких привилегий. Просто я первый сказал. Реакция у меня хорошая, ты же знаешь. Или ты решил, что я так проявляю свой антисемитизм?

— Я к тебе никогда не привыкну,— сказал Ноэль.

— Привыкнешь когда-нибудь... Держи пока,— Вито стянул с плеча кобуру, подал Ноэлю. Тот принял ее двумя руками. Ноэль с величайшим уважением относился к оружию. До Корпуса он был снайпером в спецбатальоне федеральной полиции.— Поехали, Том.

— Поехали, Чип.— Томаш на счастье назвал Вито старым прозвищем.— Будем жить.

— Будем жить...— Вито улыбнулся.

Свертка кодона исчезла, эрм запел, и на месте «морского ежа» появился туманный экран, постепенно набирающий яркость свечения. Потом светящийся туман поплыл навстречу, Вито привычно рассла-

бился, отдаваясь этому движению, не отвлекаясь на причудливые мгновенные картины, возникающие по краям поля зрения — он знал, что подсознание фиксирует их, накапливает, а когда они накопятся и сольются, произойдет нечто... еще неизвестно, что, надо ждать красного пятна... вот оно: рубиновый глаз, широко раскрывшийся навстречу, и в нем — алые и багровые волны, разбегающиеся от центра и в бесконечность... Вито повис над ним, над этой пылающей бездной, преломил страх — и рухнул вниз. Пробил багровое вязкое ничто — и вдруг с костяным стуком ударился лбом...

— Фу, ч-черт...— он протер глаза; казалось, все окутано туманом. В комнате было полутемно. Он так и уснул за столом, уронив лицо на скрещенные руки. Который же час?.. Половина четвертого. От долгого и, похоже, неудобного сиденья ноги затекли и теперь начинали отходить. Он застонал от боли. Наконец это прошло. Доковыляв до окна, он посмотрел на солнце.

Сквозь голые ветви берез солнце было отчетливо видно: яркий ободок и темная бахромистая клякса в центре. Кажется, сегодня ободок стал еще тоньше...

Только на восходе и закате солнце выглядит прежним...

В дверь поскреблись, а потом стукнули тихонько, кончиками пальцев: та — та — та — та-та. Он зашарил по карманам в поисках ключа.

— Это я, Дим Димыч,— сказали за дверью.— Оськин.

— Сейчас. Оськин, ключ найти не могу...

Ключ оказался на столе. Под конвертом из грубой оберточной бумаги.

Оськин проскользнул в дверь. Дима выглянул в коридор, прислушался. Никого.

— Принес? — шепотом спросил он. Оськин кивнул.

Одет Оськин сегодня был импозантно: выношенная школьная курточка, застегнутая на единственную пуговицу, не скрывала кроваво-красной надписи на зеленоватой футболке: «COKA-KOLA». Коричневые трикотажные штаны были в пятнах краски и пузырились на коленях. На впалом пузе тускло поблескивала латунная пряжка флотского ремня. С ремнем в руках Оськин был непобедим.

— Принес? — повторил Дима, не поверив.

Оськин завел руки за спину и стал там что-то делать, напряженно улыбаясь. Наконец он извлек из-за спины матерчатый сверток со свисающими полосками лейкопластыря, положил его на кровать и отошел на шаг, оправляя майку. Дима осторожно развернул ткань.

Там лежали пять чайных ложечек, вилка, половинка браслета, портсигар, смятая ажурная вазочка, моток проволоки, два полтинника двадцать пятого года чеканки, перстень, серьга в виде полумесяца, подстаканник и часы-луковица с толстой цепью.

— Шестьсот пятьдесят граммов,— сказал Оськин с гордостью.

— Ну, ребята!..— присвистнул Дима.

— У бабки Егорышевой самовар есть,— сказал Оськин.— Кило на два, не соврать. Не дает. Вот, говорит, если бы власть собирала... Может, побазарите с ментами, Дим Димыч?

— Побазарю,— сказал Дима.— Мать ничего не передавала?

— Вроде нет. Смурная она какая-то...

— Засмурнеешь тут.

— Пойду я. Выпускайте.

— Ну, счастливо. Благодарность тебе от имени штаба.

— Да ну. Пятерки на выпускном — вот так бы хватило!

Дима засмеялся.

— Год впереди — накачаю тебя на пятерку.

— Это не так интересно,— засмеялся в ответ Оськин.— Вот на халяву бы. На халяву, говорят, и уксус сладок, а?

— А еще говорят: тише едешь — морда шире. Беги. А то засекут тебя здесь...

Дима выглянул в коридор, убедился, что никого нет, и пропустил Оськина мимо себя. Прячемся уже просто по привычке, подумал он. Оськин, умудрившись ни разу не скрипнуть половицей, свернул на лестницу. Дима дождался, когда хлопнет входная дверь, защелкнул замок и вернулся к столу. Шестьсот пятьдесят граммов... Он свернул ткань — застиранную фланельку, похоже, четвертушку старой пеленки. На рубашку одной пули уходит два грамма. Если Оськин добудет и самовар... Ладно, это пока мечты. Что нам пишут? Он вскрыл конверт. Как и в предыдущие дни — голубоватая, очень тонкая бумага. Черные чернила. И его, Димин, почерк...

«Мой тебе привет и наилучшие пожелания! А также поздравления: ты включен в список. Впрочем, этого следовало ожидать: тебя сходу назвали восемь из Одиннадцати. Как понимаешь сам, это — не только честь, но и хлопоты, и дальняя дорога, и, может быть, пиковый интерес. Будь готов ко всему. Неизвестно, как долго продержатся сами Одиннадцать, напор все нарастает, оракулы же, по обыкновению, либо молчат, либо говорят банальности — которые постфактум будут общепризнаны эталоном провидческой мудрости. Такие пророчества сбываются при любом исходе дел. Кассиус передает просьбу: присмотреться к жене Архипова. По всем константам она из Неизменных, но либо латентна, либо предпочитает находиться вне игры. Либо... понимаешь сам. Постарайся вызвать ее на разговор о древних цивилизациях, древних знаниях — возможно, тогда что-то прояснится. Но не нажимай слишком — если она латентна, а ты вызовешь сдвиг, то на тебя все и выльется. Действуй мягко, осторожно, ненавязчиво. Да, и еще: телефон 2-1-2 больше не ответит. Там все

кончено. Остались 2-8-6 и 2-9-0, это Стасик Лионтковский и Маша Чепелкина. Постарайся остаться в живых. Ты нам очень нужен.»

Как и вчера и позавчера, Дима испытал вначале оторопь, потом — чувство, что написанное чрезвычайно важно, потом — странное, тайное, недоступное самому понимание, понимание, вызывающее мутный, багровый жар в затылке. Сквозь этот жар он видел, как руки сами мнут письмо и тянутся за спичками... Потом все кончилось.

Он растер тонкий пепел и долго сидел неподвижно, уставясь сквозь стекло, сквозь голые, как зимой, костяно-белые ветви на дальние сопки, на высокий правый берег Ошеры, на огромный вековой кедр над крышей больницы. Как в темном котле, кипели какие-то мысли, чувства, предчувствия, и постепенно со дна поднималась, вытесняя все прочее, горькая спокойная гордость, ясное понимание того, что да, теперь все решено и подписано, все будет так и никак иначе, я сам того хотел и к тому стремился, и продолжаю хотеть и стремиться, я предупрежден о неминуемых последствиях, но решение остается прежним... что-то подобное он мог бы сказать, если бы кому-то нужны были эти слова. Но никто его не слушал и не слышал. А потом раздался громкий стук.

Бросив в сумку сверток с серебром и проверив, в кармане ли нож, Дима отпер дверь. На пороге стоял капитан Ловяга.

— Добрый день, Дмитрий Дмитриевич. Разрешите войти?

— Входите. Садитесь вон...— Дима показал на стул.— Чаю хотите?

— Пожалуй, что нет. Я хотел еще порасспросить вас о делах этой ночи...

— Попробуйте. Но, мне кажется, я сказал все, что знал. Добавить нечего.

— Наверное. Допускаю, что вы рассказали все, что знаете по конкретному убийству. Но давайте расширим круг тем, что ли. Вообще все, что происходит,— как вы расцениваете?

Дима хотел ответить резкостью, но сдержался. Ночью он пытался тыкать Ловягу носом в вопиющие нарушения обыденности, но тот, как кот Базилио, изображал из себя слепого и говорить хотел только о пяти сольдо...

— Вы «Солярис» читали? — спросил он.

— М-м... давно. Подзабыл уже. А что?

— Там события происходят с несколькими людьми. С тремя. И материализуются воспоминания — то, что хочется забыть. А у нас — двенадцать тысяч человек. И материализуются страхи.

— Как это — материализуются? Каким образом?

— Не знаю. Честно говоря, меня это даже не очень интересует.

— Не понимаю. Ведь в этом все дело! Выяснить причину...

— И устранить ее? Знаете, Родион Михайлович, я больше чем уверен, что устранить причину будет не в наших силах.

— Почему вы так в этом уверены?

— Как сказать... Если все происходит вне нас и независимо от нас — как учит диалектический материализм — то, значит, мы имеем дело с физикой, до которой еще не доросли. Вон, взгляните на солнце... или взять этот барьер вокруг города... Если же все происходит в нашем сознании, то дело еще безнадежнее: в поисках причин мы заберемся лишь в собственные дебри. Наконец, если правы мои пацаны и над нами ставят эксперимент инопланетяне... или кто-то еще, неважно... то, думаю, они позаботились о том, чтобы ни до целей эксперимента, ни до методики его мы не докопались...

— То есть — все бесполезно?

— Я бы сказал — бессмысленно.

— И в рамках этого убеждения...

— Давайте вспомним, как это началось,— предложил Дима.— Черные машины и ночные аресты. Вы, как я понимаю, к этому причастны не были... Потом — волки. Потом — окаменевшие. И дальше — как снежный ком... Страх — это великая сила.

— Хорошо. Допустим, я согласился. Что дальше? Дальше-то что?

— Перестать быть стадом. Подавить страх. Уничтожать все эти... материализации. Тогда, может быть, удастся переломить... Если не удастся — нам всем конец. У вас есть какое-нибудь оружие?

— Только «макаров».

— А вообще в городе?

— У милиции шесть автоматов и девять пистолетов. У военкома два автомата. Охотничьи ружья — почти в каждом доме.

— Вот и взялись бы — отряды самообороны, патрули по ночам... Побольше шуму. Это отгоняет страх.

— Допустим... А вы — лично вы — что намерены делать?

— А я,— усмехнулся Дима,— как всякий беспринципный интеллигент, собираюсь пойти наперекор всему тому, что только что вам говорил, и добраться до первопричины. Только не просите, чтобы я что-то объяснял. Здесь все так накручено... Впрочем, действуя в том же направлении — преодолении страха. Может быть, чуть более интенсивно, чем предлагаю вам.

— На всякий случай держите меня в курсе.

— Вряд ли это необходимо... Кстати, кто у нас сейчас власть?

— Не знаю. Я, наверное, еще Василенко, потом военком... все.

— Удрали остальные?

— Удрали. Возле барьера горкомовский «уазик» стоит, черный весь, а внутри что-то шевелится. Я не стал подходить.

— Правильно. В общем, объявляйте мобилизацию, объясните, что нужно ходить с оружием... пусть лупят во все, что подозрительное.

— Ладно, это мы обговорим.

— Главное — чтобы не жались по домам и не боялись.

— Попробуем. Вы собирались идти куда-то? — Ловяга кивнул на Димину сумку.

— Да, в школу.

— Я провожу, не возражаете?

— До школы. Там, внутри — я один.

— Разумеется...

Выпустив Ловягу в коридор, Дима присел на корточки и мелом на полу начертил пятиконечную звезду — лучом к порогу. Так его научила Леонида. Ловяга с удивлением смотрел сверху.

— Вы что — верите в это?

— Здесь и сейчас — да.

— Хм...

— Поймите же, черт возьми,— с накатившим раздражением заговорил Дима,— мы попали в ситуацию, в которой весь наш опыт — ноль, и прежние знания — ноль, и вообще здесь все абсолютно другое, а что похоже на прежнее, так оно обман... Представьте, что наш город — декорация, поставленная на другой планете, и об этой планете мы знаем только одно — тут все иначе, понимаете? Все по-другому. Непредсказуемо. И надеяться можно только... только на...— Дима замолчал. Ловяга осторожно смотрел на него, и Дима понял, что капитан боится, но еще не осознает собственного страха. Боится услышать что-то такое, что испепелит последние его надежды...— В общем, забудьте, кто вы есть, забудьте все — и смотрите так, будто видите все впервые...

— «Взглядом младенца смотрите на тени, и ошибки богов откроются вам»,— сказал Ловяга. Дима сделал вид, что не обратил внимания на цитату.— С другой стороны, Дмитрий Дмитриевич, если ваши рассуждения верны... получается, мы сами себя запугиваем, и это идет по нарастающей, правильно?

— Да. Тихо! Смотрите!

Они уже спустились на первый этаж и были в шаге от входной двери. Дима помнил, что дверь хлопнула, когда выходил Оськин — пружина была очень сильной. Теперь она стояла открытой настежь, пружина растянулась; так делали иногда, чтобы проветрить подъезд: подпирали дверь кирпичом. Сейчас ее ничто не удерживало.

— Что такое? — шепотом спросил Ловяга.

— Не понимаю...

Ловяга достал пистолет, снял с предохранителя; держа стволом вверх, сделал несколько мелких шажков к двери.

— Не ходите,— сказал Дима.— Тут что-то не так.

Они стояли и смотрели в проем, слыша только дыхание друг друга. Им виден был свежий, недавно обновленный дощатый тротуар,

кусочек плотно утрамбованной гравийной дороги и дом напротив — такой же черный двухэтажный барак послевоенной постройки. Потом послышались звуки: медленное цоканье копыт. Оно приблизилось, и Дима вдруг почему-то взял Ловягу за рукав и потащил назад, вглубь, в темноту подъезда. Они прижались к обитой дерматином двери первой квартиры, Дима увидел пломбу и вспомнил, что за этой дверью ночью зарезали азербайджанского парня Максуда и кровью его написали на стене: «За Сумгаит!» — и еще какие-то значки, похожие на армянские буквы,— но не армянские буквы, это Дима знал твердо. С тех пор прошла, кажется, вечность, и даже Ловяга, похоже, перестал подозревать в убийстве армянских строителей-шабашников, работавших в леспромхозе... тем более, что до них не добраться...

Наконец звук копыт — неимоверно громкий — достиг высшей точки, и Дима увидел человека в черных очках, ведущего в поводу громадного коня. Конь шел, опустив голову, и при каждом его шаге вздрагивала земля. Он был неопределенной масти, Диме показалось — серо-розоватый. В седле, сгорбившись, сидел кто-то, с головой укрытый черным покрывалом. Эта процессия не могла быть в поле зрения больше трех-четырех секунд, но почему-то они все шли, и шли, и шли, и грохот копыт заполнял собою все на свете... Наконец это кончилось. В наступающей тишине возник какой-то новый звук — рядом. Дима с усилием перевел взгляд на Ловягу. Капитан скрежетал зубами. В полумраке глаза его казались огромными.

А потом из-за открытой створки двери вышла крыса. Встав столбиком и наклонив голову, она долго и напряженно вглядывалась в сумрак подъезда. «Стреляй»,— шепнул Дима. Ловягу не слушались руки. Крыса повернулась, еще раз посмотрела внимательно, словно запоминая, через плечо, и ушла. И тут же дверь с грохотом захлопнулась.

— Ключ! — клацнул Дима, и капитан его понял. Замок опломбированной квартиры сдвоенно щелкнул, Ловяга скользнул в приоткрывшуюся щель, Дима за ним. Привалившись к двери изнутри, Дима перевел дыхание. В подъезде послышался мягкий множественный шорох.

Дима крошащимся мелом нарисовал на двери звезду Давида, а на полу — пентаграмму. Не забыть взять в школе мел, этот кончается...

— Боже мой...— прошептал Ловяга. Он стоял на пороге комнаты, в которой был убит Максуд. Дима заглянул в комнату через его плечо.

Внутри мелового контура лежавшего здесь тела творилось что-то непонятное: растущие из пола тонкие светящиеся нити, похожие на нежную плесень, дрожа, то складывались в лежащее навзничь тело с откинутой головой, и лицо его менялось, переходя от мучительного оскала к странной умиротворенности,— то вдруг тело исчезало, и

появлялся кусочек городского пейзажа: угол большого дома и маленький домик, кусты и деревья, тротуар, переходящий в лестницу, неподвижные фигурки: мужчина с собакой, женщина в шляпке, мальчик на трехколесном велосипеде и тоже с собакой...

— Пошли,— Дима тронул Ловягу за плечо.

От окна он оглянулся: пятна крови в углу и кровавые буквы на стене поросли той же плесенью, и там тоже происходило какое-то движение, но фигурки были слишком мелкие и разбираться в них было некогда. Ловяга потянулся к шпингалету, но Дима поймал его руку, подышал на стекло и пальцем изобразил на туманном пятне рунный знак «двойной лев». Стекло рассыпалось на мелкие осколки и вылетело наружу, будто с той стороны внезапно исчез воздух. С подоконника Дима спрыгнул на завалинку, а с завалинки — высокой, почти в полтора роста — на землю. Капитан последовал за ним.

Дворик Диминого дома был тесен и весьма покат; отсюда начинался склон лощины, выходящей к Ошере пониже пристани. Но идти по лощине Диме решительно не хотелось. Поэтому, проскользнув под забором по сухому водостоку в соседний двор, он круто свернул направо, к жалкому огородику бабки Мамаихи, выдернул из грядки две недозрелые чесноковины, одну сунул в карман себе, другую подал капитану. По почерневшим от времени доскам они прошли мимо мамаевского осевшего набок домика. На калитке ворот Дима мелом изобразил тот же рунный знак, но ничего не произошло. Тогда он отворил калитку и вышел в переулок.

Переулок был пуст. Неимоверная чистота повсюду и скелеты деревьев над крышами придавали пейзажу вид незаконченной декорации.

— Слушайте,— шепотом сказал Ловяга,— откуда вы все это знаете?

— Объяснили,— не вдаваясь в подробности, ответил Дима. Он оглядывался по сторонам, стараясь почувствовать обстановку. Тишина была неполной, и это тревожило. Впрочем, полная тишина тревожила бы еще больше.

— Но надо же всем... чтобы все знали...

— Делается,— сказал Дима. Он посмотрел на часы. Было без четверти пять.— Уже напечатали, наверное. К ночи разнесут.

Загавкали вперегол осок собаки. Гавкали смущенно, презирая себя за пережитый страх.

— Вы мне что-то начали говорить там, на лестнице,— сказал Дима.— Что-то интересное. Но нас прервали.

— Напомните.

— Ну, вы процитировали «Черный посох», а потом начали подвергать критике мою гипотезу..

— Да-да, что-то же пришло тогда в голову... забыл. Вроде того, что если ваша теория верна, то вызывающие в жизнь те или иные страхи будут становиться их первыми жертвами, и постепенно все пойдет на убыль...

— Выгорят дрова, да?

— Можно и так сказать. После гибели какого-то наиболее образованного слоя изощренные кошмары исчезнут и останется что-то примитивное...

— Уж не думаете ли вы ускорить этот процесс?

Ловяга споткнулся. Диму вдруг затошнило. Ловяга не заслуживал таких слов. Впервые увидев его, Архипов сказал: «Странно: гэбист, а глаза людские» Ловяга был по-настоящему озабочен теми исчезновениями пацанов и сумел даже организовать прочесывание тайги. До последних дней он был убежден, что имеет дело с какой-то террористической группой, избравшей далекий Ошеров учебным полигоном. В общем, от подлеца Петрунько он отличался диаметрально...

— Извините, Родион Михайлович,— сказал Дима.— Мне не следовало этого говорить. Я так не думаю.

— Я понимаю,— сказал Ловяга.— Я не обижаюсь. Надо быть в ответе...

Из переулка они свернули на Коммунистическую. Улица, на которой жил Дима, была Ленина, а переулок — Колымским. Вся слободка называлась Колымой. Это был один из ошеровских анекдотов: от Ленина к коммунизму путь лежал только через Колыму.

— Я тогда еще вот что хотел сказать,— вспомнил Ловяга.— Вы говорите: страх А эти деревья? Или солнце, луна? Или барьер? Ну, барьер еще туда-сюда, а пыль и мусор куда делись? В этом-то какой страх?

— Нечеловеческий,— сказал Дима.— Я подозреваю, что в нашем городе уже не все жители — люди.

— Хотел бы я знать, кто из нас сумасшедший,— с тоской сказал Ловяга.

— Я пришел,— сказал Дима.— Думаю, мы еще увидимся сегодня. И вот что: попробуйте позвонить 2-86 или 2-90. Не знаю, что из этого получится...

— Хорошо,— сказал Ловяга.— Тогда мы не прощаемся...

Школьную калитку украшала замысловатая рунная фраза, которой Дима не знал. Но нанесена она была явно рукой Леониды, поэтому Дима вошел смело и двинулся по песчаной дорожке мимо зарослей татарской жимолости — единственного, кроме травы, растения, оставшегося зеленым — к школьному крыльцу. Некоторое время он чувствовал на себе взгляд капитана; потом это прошло. Ступени тоже были испещрены. На крыльцо он подниматься не стал, а пошел в обход, к котельной. Дверь в котельную была запечатана тавром

царя Соломона. Дима постучался особым стуком и на вопрос «Кто?» назвался:

— Третий.

Почему-то вдруг, пока с той стороны гремели засовом, он испытал острую необходимость оглядеться. Не оглянуться, а именно оглядеться. Слева, за голыми деревьями и зелеными кустами проступал забор, черная литая решетка с поднявшимися на задние лапы львами. Клумбы пылали настурциями. Там, где забор кончался, виднелись такие же литые чугунные перила лестницы, ведущей под обрыв: там, на обширной террасе, было продолжение школьного двора. Стадиончик и тому подобное. Дальше берег уже окончательно обрывался к воде, но отсюда Ошера была не видна — только справа, далеко, блестел кусочек ее черного зеркала. Прямо же, рукой подать, будто это и не противоположный берег судоходной реки, возвышалась светло-серая, в мелкую крапинку, осыпь, а над осыпью нависал сплошной, похожий на мох еловый ковер. Дальше, образуя горизонт, шли полусферические, как каски, сопки с редкими светлыми проплешинами, небо было равномерно белесым и излучало свет. Касаясь угла школьного здания, вышло солнце — призрачным кольцом. Почему-то сильно пахло разогретой хвоей — как в бору в солнечный безветренный день.

— Входите, Дим Димыч,— сказали ему.

Снимки были отличные, четкие, и, перебирая их, Дима думал: это вторжение. Вторжение. Вторжение... Ах, как славно, если это действительно вторжение! Как это легко и понятно. Это то, чего мы даже немного ждем и к чему исподволь готовы. Просто гора бы с плеч... и не ломать голову над темой возвращения старых богов в завершение шеститысячелетнего единобожеского цикла... Голос Леониды был странно безжизнен тогда, и лицо не менялось. Великие битвы полыхали в долине Иордана, и под ударами адептов Яхве пали города Адме, Севоим, Гоморра. Почитающие богов пантеона держались только в Содоме, за его неприступными стенами. Все меньше их становилось... В ослабленные голодом и огнем сердца вкрадывалась слабость, и кто-то, не вынеся мук осады, открыл ворота врагу. Две ночи и день шла резня на улицах города и рушились поруганные храмы. Лишь храм Ашеры, богини-воительницы, стоял неприступной цитаделью среди пожаров и крови. Высоко над стенами его поднималось божественное древо. А когда оно вспыхнуло, подожженное смоляными горшками, ворота храма открылись и плечо к плечу, по двенадцать в ряд, вышли закованные в медь жрицы. Короткие мечи они погружали в тела пьяных вином и кровью победителей, боевыми косами смахивали головы с их шей. Неудержим и страшен был их поход, и много воинов легло им под ноги. А когда они захватили и окружили кольцом городские ворота, по пробитому ими коридору

пролетела конная сотня — это высшие жрицы уносили ветви и семена божественного дерева. И когда конные скрылись в ночи, пешие воительницы перестали убивать... Много лет торговали ими на рынках от Египта до Шумера и дальше — до самой страны Шэнь, требуя огромную цену за редкую красоту и умопомрачающее искусство любви. А конные жрицы ушли в земли хеттеев, и след их преследователи потеряли. Шесть лет длился великий поход: по землям эниан, молоссов, дагаев и дальше — в край людей, не знавших меди и обычаев, но искусных в кремнях и кости; из них жрицы брали себе мужчин, мужей и проводников, а потом убивали их, чтобы не оставлять о себе ненужной памяти. С коней жрицы пересели в лодки и плыли по рекам, великим и малым, по воде и против воды, и остановили движение лишь тогда, когда в живых осталось одиннадцать из тех, кто вырвался когда-то из подплывающего кровью Содома. Одиннадцать — это был наименьший счет для того, чтобы вырастить божественное древо. И семя древа опустили в землю и поочередно полили своей кровью, пока росток не дал третьего побега. Но зимние морозы убили росток. И тогда весной вместе с новым семенем божественного древа опустили и иное семя — семя растущей здесь исполинской сосны с длинными хвоинами, собранными по три. И сущность древа перешла в росток этой сосны, и сосна выросла и уцелела. И рос вместе с ней храм — в глубину, в мягкий пористый камень сердцевины холмов. И стали сменяться поколения в тихой неторопливой жизни здесь, на краю тайги, над прекрасной рекой, под сенью вечного древа...

Ашереи-мужчины били в тайге зверя, чтобы есть его мясо и греться его мехом, и добывали плоды дерев, подобных вечному древу, чтобы вкус мяса никогда не наскучил; а женщины, метательницы стрел, взымали дань с воды и неба. И не переставал куриться жертвенный очаг у подножья древа, и одиннадцать жриц, меняя смертные тела, продолжали свое вековое служение. Каждая имела посвящение зверю: вепрю, быку, льву, коту, волку, коню, оленю, серне, крысе, обезьяне, агнцу. И только над своими зверьми имела власть жрица-воительница... Племя росло не быстро, потому что, благодаря содомским обычаям, каждая женщина имела лишь столько детей, сколько хотела сама и сколько дозволяли жрицы,— но все же росло и расселялось по реке вверх и вниз, одолевая в мелких стычках и больших войнах приходящих иногда с Большой реки врагов, ибо боевое искусство храма Ашеры стараниями жриц не забывалось никогда... И так, почти в неизменности, ашереи прожили половину срока, назначенного старыми богами для своего возвращения...

Беда пришла с Большой реки. На тысяче лодок приплыло с низовьев и поселилось на берегах ее племя, называвшее себя Охон. Они поклонялись медвежьей голове, знали огонь и медь и были невозможно любопытны. Их нельзя было прогнать, от них не удава-

лось отгородиться. Повадки и обычаи их, шумные, веселые и простодушные, показались привлекательными многим молодым ашереям... Сменилось всего одно поколение, и царь ашереев перестал считаться с Храмом, а следом за царем — и многие из народа. Но, придя однажды с огнем, они нашли лишь обрушенные входы... Просто к тому времени Храм был уже устроен так, что коридоры его и переходы пронизывали и времена, и пространства. И жрицы, рассеявшись по необъятному миру, все равно присутствовали в Храме. Меняя смертные тела, они продолжали служить вечному древу — до завтрашних дней, до исполнения пророчеств, когда старые боги в блеске своем и величии возвратятся в этот мир — но прежде того через открываемые врата хлынут толпы порождений тьмы, бегущих от богов... и жрицам предопределено погибнуть в этой последней битве, ибо не могут державшие мир воспользоваться плодами своего служения...

Дима перетасовал фотографии, сложил в конверт. На него смотрели.

— Я возьму? — спросил он.

— Конечно, Дим Димыч, я много наделал,— солидно сказал Иван.— Берите.

— Как вам все это?..— жадно спросил Павлик; глаза у него горели.

— Очень может быть,— сказал Дима.— Особенно те, где паровоз тащат...

— А зачем им паровоз понадобился, как вы думаете?

— Никак не думаю.

— Для балласта,— сказа Иван.— Чтобы не качало.

Этот узкоколейный паровоз валялся бог знает сколько лет у подножья Серафимовской сопки, километрах в десяти от города. На фотографии он как бы плыл над землей, оплетенный светлыми ветвящимися лианами. Перед паровозом и позади него шли двое — чем-то неуловимо отличающиеся от людей.

— Это ведь полное доказательство, Дим Димыч, правда? — не унимался Павлик.— С этим уже не поспоришь?

Дима пожал плечами. Совсем не хотелось втягиваться в дискуссию, тем более, что Павлика переубедить — дело безнадежное, так он бредит всякими пришельцами... И вдруг Дима испытал странное ощущение: как будто бы долго-долго звенело в ушах, и он к этому притерпелся и научился сопротивляться — и вдруг звон прекратился. Что-то подобное случилось сейчас с его мыслями, но что именно — понять было нельзя, и осталось только чувство облегчения...

— Снимали, значит, с Сивой горки...— начал он, но тут в дверь постучали условным стуком.

— Это Танька,— сказал Иван и пошел открывать.

— В общем, так, Павлик,— сказал Дима.— Задание на завтра: поднимись на Катеринину сопку и сделай круговую панораму. Постарайся успеть до полудня. Потом — сюда. Договорились?

— А зачем?

— Есть одна мысль...

По лестнице спустились Иван и Татьяна. Иван, галантный кавалер, шел первым и нес Татьянин рюкзачок.

— Тяжеловато вам будет, Дим Димыч,— ухмыльнулся он, взвешивая рюкзачок на руке.— Перестаралась девушка...

Поставленный на стол, рюкзачок тяжело и глухо звякнул.

Татьяна молча откинула клапан, распустила узел. Связками по семь штук, до самой горловины лежали латунные гильзы.

— Пороха три банки, капсюля и девять пачек снаряженных патронов,— сказала она.— Все на дне.

— Танюха! — Дима прижал руку к сердцу.

— Да ладно,— сказала Татьяна.— А это вам, как обещала...

Она повернулась к Диме спиной и задрала свитер и майку до лопаток. Прямо к телу полосками пластыря был прикреплен пистолет. Дима осторожно отодрал пластырь. Потертый зеленоватый «ТТ» с деревянными накладками...

— Ну, Танюха, у меня слов нет,— сказал Дима.— Спасибо тебе.

— Патронов только одна обойма,— сказала она.

— У Василенки попрошу.

— Не говорите только, откуда ствол.

— Я еще не...

Долгий вибрирующий звук, идущий то ли сверху, то ли из-под ног, заставил его замолчать. Все прислушались, переглянулись. Звук не повторялся.

Дима завернул пистолет в газету и опустил в сумку. Шуршание бумаги было неприятно громким.

— Пойду посмотрю,— наконец сказал Иван. Пашка молча пошел за ним.

Татьяна улыбнулась — полурадостно, полувиновато. Дима взял ее руки в свои и поднес к лицу. Пальцы Татьяны пахли металлом и ружейным маслом. Дима поцеловал их — все по очереди. Татьяна провела кончиками пальцев по его щеке, потом приподнялась на носочках и губами коснулась губ. Тут же отпрянула и сделала знак: тихо! По лестнице кубарем скатился Пашка.

— Идемте, там такое!..— он не закончил и снова бросился вверх.

Там, наверху, в дверях стоял Иван в позе вратаря, пропустившего наилегчайший мяч. Что-то было не так, но что именно, Дима понял, только оказавшись под открытым небом. Само небо. Он уже успел за последние дни привыкнуть к равномерно светящемуся

белесоватому куполу. Сейчас небо приобрело сиреневый цвет и гнусно мерцало, как нагревшаяся кварцевая лампа. Солнце, которому положено было быть за школьным зданием, висело прямо перед глазами: даже не багровое, а вишневое, огромное, лохматое по краям и с темным, почти черным зрачком в центре. Кровавый глаз...

Это безумное солнце, возникшее в неположенном месте, вдруг высекло в Диме вспышку какой-то темной безжалостной радости. Что-то с чем-то сходилось, он получал ответы на не им заданные, но в нем звучавшие вопросы... Мосты сожжены... Обратной дороги нет... Занавес подымается... Багровый глаз гипнотизировал его, притягивал, звал сделать шаг... И тут Татьяна закричала.

Она кричала дико и показывала рукой куда-то левее, Дима оглянулся и тоже заорал: из кустов к нему боком, по-крабьи, бежал огромный, с собаку размером, паук. Бежал он, к счастью, помедленнее собаки, и Дима успел влететь в дверь и захлопнуть ее изнутри, и прыгнувший паук с грохотом ударился в нее. Дверь в кочегарку была двойная: наружная, обитая железом, открывалась наружу и запиралась на засов; внутренняя, фанерная, открывалась внутрь и не имела ни засова, ни защелки — ничего, только проушины для навесного замка, да и те с той стороны! И оставалось только налегать на нее всем весом и стараться удержать, не дать открыться... Заскребли когти. Лом, лом тащите! — закричал Дима. Ребятишки посыпались вниз. Паук ударил еще раз, гораздо сильнее, Дима чудом удержался на ногах. Одолею ли я его ломом?.. Черт, иметь бы пару секунд — тогда можно закрыть наружную дверь... Но пары секунд не было. Паук ударил опять. Казалось, в дверь с силой метают пудовые гири. Мальчишки бежали обратно, один с ломом, другой с дворницким ледорубом: топором, наваренным на железную трубу. Дима взял ледоруб. Дождался, когда паук ударит снова, досчитал до трех и распахнул дверь, поднимая оружие — и понял, что проиграл. Пауков было два, один пятился от двери, другой шагах в семи подобрался для прыжка — и прыгнул. Дима попал в него — в самую морду. Тупое лезвие застряло в хитине, ледоруб чуть не выбило из рук. Паук с хрястом, ломаясь, врезался в косяк, а Диму отбросило на несколько ступенек вниз — он еле устоял на ногах. Второй паук метнулся ему на грудь, и он успел только заслониться, громадные жвалы сомкнулись на железе, когти впились в плечи и бока, передние короткие лапы тянулись к лицу и почти доставали, и страшная, сводящая с ума вонь не позволяла вдохнуть, и Дима давил, давил, давил из последних сил, уже ничего не понимая и ничего не видя — и вдруг оказалось, что схватка кончилась, что он встает, царапая ногтями по стене, а у ног его валяется бледным брюхом вверх этот безумных размеров паук, и лапы его вразнобой сгибаются и разгибаются, брюхо подрагивает, а из брюха вываливается и падает на пол толстая, как веревка, паутина. Он видел это как бы сверху, с большого расстоя-

ния — а потом внезапно вернулось все. Дима согнулся, и его вырвало желчью. По стенке он кое-как отодвинулся от этого кошмара, и тут оказалось, что паутина прилипла к штанам, и это было свыше всех сил — его опять чуть не стало рвать, но он все-таки переломил себя, нашарил под ногами какую-то палку и кое-как отодрал плотно прилипшую гадость. Только после этого он смог осмотреться.

Иван стоял, сунув руки в карманы, и изредка икал, а пончик Пашка, обняв лом, рыдал в углу. Суровая Татьяна с «ТТ» в опущенной руке стояла над ним и отрывисто повторяла: «Сопля. Сопля. Сопля».

— Танька! — выдохнул Дима.

— Ништяк,— проворчала она.— Говорила же — берет их обычная пуля. Аргентум, аргентум...

И тут Диму настигла настоящая боль.

Он кряхтел и стонал, когда Татьяна раздевала его, когда промывала из чайника раны, бормоча: «Хуже рыси, хуже рыси, ей-богу...», когда перевязывала его же и ивановой разодранными рубашками. А потом боль как бы отдалилась, и стало легче — если не двигаться.

— Еще один,— вдруг будничным тоном сказал Иван.— Пончик, давай сюда лом.

Дима, вскрикнув, вскочил и оглянулся. Но это был не еще один. Это был все тот же. Он полз, цепляясь правыми ногами и стуча костяным телом о ступени. Левые ноги волочились, как хвосты.

— Погодь лом,— сказала Татьяна.

Она щелкнула предохранителем, подняла двумя руками пистолет на уровень глаз и выстрелила. Заложило уши. Паука подбросило на ступеньку вверх, секунду он будто бы балансировал, потом покатился и распластался у подножия.

— Берет их свинцовая пуля! — с нажимом повторила Татьяна. В звоне, наполняющем подвал, голос ее прозвучал странно.

— Это дневная тварь,— из своего угла сказал Пашка.— А то о ночных речь шла.

— А ты бы помалкивал, боец,— сказала Татьяна.— Не обоссался хоть?

— Танюха, не надо так,— сказал Дима.— Не добивай его. Мало ли что по первому разу бывает?

— Когда бы по первому,— сказала Татьяна.— А то...

— Сам не знаю, что со мной,— сказал Пашка.— Не боюсь, не боюсь, не боюсь — а потом как лопнет что...

— Все это лирика,— сказал Дима.— Давайте как-нибудь выбираться отсюда.

3. Микк

■

Девочка провела его в комнату без окон — впрочем, в этом доме нигде не было окон, предложила посидеть на диване и вышла. Диван был неплох, но Микк все равно не сумел откинуться на спинку — сидел, склонившись чуть вперед и твердо упершись ногами в пол. В любой миг он мог вскочить. Здесь это ни к чему, но сбросить напряжение он был не в состоянии. Вернулась девочка — принесла чай и печенье. Чай был густой и без сахара. Кип не забыл. Кип много чего забывает, но как раз такое помнит железно.

— Он ничего не говорил? — зачем-то спросил Микк.

Девочка молча покачала головой и ушла. Странная девочка. Похожая на мягкую рыбку.

Микк потрогал портфель. Еще почти горячий. А здесь хорошо, прохладно. Правда, пахнет какой-то дезинфекцией. Прошлые разы, кажется, не пахло. Или пахло? Он стал вспоминать. Снова вернулась девочка и поставила на стол букет цветов.

— Чем это пахнет? — спросил Микк.

— Фильтры новые,— сказала девочка.— Утром меняли.

Ушла.

Вот так, подумал Микк. То ли пахнет новыми фильтрами, то ли пахнуть ничем не может, а значит, мне кажется. Галики идут. Или, как теперь их называют, нашки. Тот парень, Аспес, упоминал о запахе. Резком и на что-то похожем. Запах тревожил и отвлекал — перебиваемый ароматом цветов, еще сильнее, чем прежде.

Что скажет Кип? Интересно, что скажет Кип? Микк стал представлять себе все возможные ответы Кипа. Это мгновенно надоело, но остановиться он не мог Надо выпить, подумал он. Надо срочно выпить. Граммов сто. У Кипа должно быть. По крайней мере, спирт есть наверняка

Как же долго он моется...

Он только успел подумать об этом, как дверь открылась и вошел Кип, доктор Кипрос Эф Маренго, в одних белых шортах и шлепанцах, с огромной черного стекла бутылью в руке. Запах дезинфекции усилился.

— Привет, ковбой! — сказал он, протягивая щетинистую руку.

— Привет, жопорез! — Микк эту руку пожал. Несколько секунд они давили друг другу кисти, и Микк победил, как всегда,— но ему почему-то показалось, что Кипрос сдался.

— Примем в организм, а? — предложил Кипрос, встряхивая бутыль.

— Я что, когда-нибудь отказывался? — вернулся на диван Микк.

Вот теперь он смог сесть нормально: откинувшись, заведя за голову руки, положив ногу на ногу... Лет десять назад на курсах

социальной гигиены — занесло же, запоздало удивился Микк — лектор доказывал им, что алкоголь на организм практически не влияет, а влияет ритуал: добывание бутылки, ожидание, разлив, тост... Но следующую лекцию вместо воды ему налили чистого спирта в стакан. Порезвились.

Но вот надо же — не пил, а полегчало...

В бутылке оказался ромовый пунш. Кипрос поверх бокала подмигнул Микку.

— Ладно,— Микк поставил пустой бокал на журнальный столик; получилось слишком громко.— Что скажешь?

— Что скажу? — переспросил Кипрос.— Что тут можно сказать... Мне кажется, что это не артеноны... Ты знаешь, что такое «артенон»?

— Существо искусственной природы,— сказал Микк.

— Примерно так... да. Так вот: я надеялся — надеялся, старина, действительно надеялся — что это те твари, которых сделала группа Лорана. Не слышал про это? Артеноны-насекомые, которые питались бы всяческими отходами... Потом оказалось, что они не отличают отходы от двуногих прямоходящих... Мозгов-то нет. Два ганглия, и все. Я участвовал в ликвидации лаборатории. И было это в позапрошлом году. Так вот, я надеялся, что это те... Оказалось — только похожи. Хромосомный набор совсем другой, я уж не говорю про анатомию... Мутанты, Микк. Явно мутанты. С теми — я знал, что делать. Этих берет только серная кислота.

— Мутанты? Это что — из-за радиации?

— Если б я знал... Вряд ли — лучевые мутации калечащие, а здесь все гладко. Кроме аппарата размножения. Редуцирован почти до ничего. Как у рабочих пчел.

— Что же они — рой? Семья?

— Думаю, да.

— Очень мило...

— Зато можно прихлопнуть матку.

Микка передернуло. Он с детства почему-то не выносил ни муравьев, ни пчел. Именно из-за того, что они размножаются таким мерзким конвейерным способом. К паукам и тараканам он относился спокойно

— Я подозреваю, что тут без генного инженеринга не обошлось,— продолжил мысль Кипрос.— Но он какой-то... несистемный. Логики не чувствую. То есть чувствую, но это не логика. Как будто... Давай еще тяпнем.

— Давай.

— Это как шифр: понятно, что для чего-то цифирки стоят именно такие. Но для чего именно... При этом цифирки бегают и все подряд жрут. Даже стекло. Ты видел, что они в той бутылке почти прогрызли дыру?

— Нет. Дыру? Не может быть...

— А то, что в бензине две недели жили — это может? Абсолютно без кислорода. Высшие анаэробы — точнее, облигатные анаэробы... не бывает. Но есть. Жрут все и все усваивают. Не удивлюсь, если обнаружится, что и элементы синтезируют. Надо добыть их еще.

— Да,— с уважением сказал Микк.— Это ты здорово придумал. Как охотиться будем? С борзыми или с таксами?

— С подсадной! — взорвался Кипрос.— Какого дьявола! Не делай вид, что не понимаешь! Ты все...— он внезапно замолчал и снова потянулся к бутылке.

— Мне хватит,— сказал Микк.— А то усну. Неделю уже...

— Кофе будешь?

— Да, пожалуй.

— Флора, кофе господину сыщику! Побольше и покрепче!

Забавно, подумал Микк, я почему-то никак не могу заставить себя задать вопрос, а он уже знает этот вопрос, знает ответ — и молчит. Значит, все плохо...

Два часа назад он просмотрел материал, полученный от Купермана. Запись была сделана в конце июня в палате психонического центра. Сам инцидент произошел сутками раньше. Пострадали — фобический шок третьей степени — два эрмера. Их привели в сознание, накачали транквилизаторами и сняли показания.

Первый, Бруно Аспес, сорока лет, имеющий двадцать восемь месяцев горячего стажа, производил жутковатое впечатление. Так выглядел бы биоробот с подошедшим к концу ресурсом. Бумажные глаза и равнодушная прерывистая речь — будто человек говорит не сам от себя, а переводит, весь уйдя в слух, неслышимые другим фразы ...Получив информацию, что в полицейском участке района Хикон находятся мужчина и женщина, оба в состоянии глубочайшего испуга или, как мы это называем, фобического шока, отправились туда с Карлом Сониным... Информацию передал полицейский по фамилии Йерико, я его знал по предыдущей работе... Мы надеялись успеть раньше «скорой помощи», чтобы произвести скенирование, поскольку «скорая» при подобных случаях всегда вводит наркотики, после чего скенирование невозможно... Но мы не успели, пострадавших уже увезли в больницу, начав подготовку к методу Штольца-Гусмана... Тогда мы отправились по месту жительства этой пары, в участке мне сообщили фамилию и адрес, но сейчас я их не помню... Карл остался в машине, а я прошел у него проверку и вошел в дом, придерживаясь обычных мер предосторожности... Мне показалось, что в доме стоит странный запах, который я не могу определить... В спальне было почти темно, потому что на окнах висели плотные металлизированные шторы... Казалось, что запах усиливается... Сначала я подумал, что на полу лежит мохнатый ковер... Но этот ковер

шевелился, я остановился, чтобы рассмотреть... В одном месте он поднимался на стену примерно на высоту моего роста, а в углу комнаты, немного выглядывая из-под ковра, лежало еще что-то... что-то непонятное, я даже не могу его описать... Оно шевелилось и шуршало, как бумага... И все. Больше я ничего не помню.

Второй, Карл Сонин, девятнадцати лет, стажер. Коротко стриженный мальчишка с упрямым ртом и крепкой шеей. Сумел обездвижить беснующегося Аспеса, но применить гипноген не смог — не хватило рук. Тогда принял решение: доставить Аспеса в расположение Корпуса, а поскольку источником заражения могли стать именно служебные каналы связи,— сделать это без предварительного уведомления. Оглушенного Аспеса он посадил на переднее сиденье, приковал наручниками к двери и на большой скорости погнал на ближайшую эрмеровскую базу. По дороге он пытался восстановить речевой контакт, но безуспешно: Аспес говорил, но понять его было невозможно. Потом боковым зрением Карл уловил какое-то движение. Он повернул голову: по лицу Аспеса ползали длинные извивающиеся тараканы. Именно длинные извивающиеся тараканы. Казалось, они выползают из носа, изо рта... лицо Аспеса было неподвижно, глаза закатились, он был как мертвец и говорил как мертвец. И Карл уверен, что было помимо этого что-то еще, чего он не запомнил, потому что у него крепкие нервы и ни тараканов, ни говорящих мертвецов он не испугался бы... не испугался бы так. Было что-то еще... Карл Сонин резко затормозил прямо на разделительной полосе, выбросился из машины, упал, сломав ногу, бежать не мог, но полз куда-то... счастье, что его не раздавили. Их отвезли в тот же полицейский участок и позвонили в Корпус. Прибывшая дежурная группа пыталась применить гипноген — безуспешно. Проверка скенером показала, что кодон чрезвычайно низкоразрядный, но необычного цвета — его сходу окрестили инфракрасным. Поэтому пришлось загружать пострадавших наркотиками и перенастраивать гипноген. Лишь на следующее утро попытки освобождения дали результаты... частичные, как оказалось: Бруно Аспес через неделю повесился, а Карл Сонин резко переменился: стал вспыльчив и одновременно медлителен; психоники не гарантируют выздоровления.

Микк поймал себя на том, что разглядывает Кипроса: синебритый череп, синие полоски на месте бровей, уже начинающие обрастать щеки и подбородок. Когда Кипрос был помоложе и роскошной шевелюрой приманивал девушек сильнее, чем маяк — перелетных птиц (с тем же, кстати, исходом),— ему приходилось бриться дважды в день... зато — только лицо. Сейчас он сидел, обхватив сплетенными пальцами голое колено и, вытянув губы, беззвучно дудел себе под нос. И Микк понял вдруг, что Кипрос страшно напряжен, напряжен еще больше, чем он сам, но зачем-то играет роль, нацепив маску прежнего Кипа...

— Что случилось, Кип? — тихо спросил он.— Что-то с..?

— Да.

— Когда?

— Последний раз я видел ее неделю назад. Соседи сомневаются — четыре дня не видели или пять...

— Полиция?

— Как всегда.

Вошла девочка, неся огромную коническую колбу, до половины наполненную густой черной жидкостью. Микка тут же накрыла волна запаха — настоящего кофейного.

— Спасибо, Флора! — Микк испытал острый позыв чмокнуть девочку в щеку, но удержался.

— Пожалуйста,— не улыбнулась в ответ девочка.

— Она что, всегда такая? — спросил Микк, когда девочка вышла.

— Это племянница Агнессы.

— Боже...

Они помолчали. Потом Микк налил — осторожно, тонкой струйкой, чтобы не треснуло стекло,— кофе в бокал. Пальцы никак не хотели сжиматься, рука подрагивала, но он пересилил себя и довел дело до конца.

— А теперь рассказывай,— глядя на него поверх своего бокала, сказал Кипрос совсем новым голосом.— До чего докопался?

— Докопался...— Микк сделал глоток, обжигающий сладкий комок камешком упал в желудок. Почему-то бросило в пот.— Докопался вот, понимаешь...

И он стал рассказывать, перебивая себя, о том, до чего докопался — в самом прямом смысле слова — за последние дни и о том, что из этого, возможно, следует. О февральском скандале с заменой главврача «скорой помощи» и о первом приказе нового главврача, бывшего полковника медслужбы, бывшего начальника секретной лаборатории так называемого «Центра Меестерса» Ладислава Савицкого: согласно этому приказу при фобическом шоке врачам линейных бригад запрещается подпускать к пораженным сотрудников любой немедицинской службы — а кому, кроме эрмеров, это надо? — и предписывается немедленное введение им наркотиков. Тогда фобического шока было мало, единичные случаи — и эрмеры, кстати, справлялись с ними лучше медиков. Так что был странен и сам приказ, и то, что уже в апреле фобический шок стал одним из самых распространенных диагнозов, и даже шок четвертой, критической степени случался едва ли не ежедневно... Тогда же, в апреле, участились исчезновения людей — правда, заметили это по-настоящему только в мае-июне. В большом городе подобные случаи бывают постоянно, кого-то убивают преступники, кто-то уходит из дома, начиная новую жизнь, кто-то умирает там, где его

долго не могут найти... тем более такое часто случается в этом безумном городе с его закрытыми зонами, которые только считаются безлюдными... Но в апреле стали массово пропадать люди состоятельные, имеющие свои дома, как правило — одинокие пенсионеры, хотя и не только... и вот если все случаи таких исчезновений нанести на карту, а потом на нее же, но другим цветом — те точки, где «скорая» поднимала лю, ей в состоянии фобического шока четвертой степени, то лягут они в прямоугольник размерами три на семь километров, в этакий коридор, соединяющий закрытые кварталы района Лимен с закрытой же зоной, которую в просторечии называют «Чертовой лапой». Именно там, над «Чертовой лапой» взорвался тот самолет, из-за которого добрую треть города пришлось эвакуировать. Но бог с ним, с самолетом. Пройдя по домам, из которых пропали люди, Микк — представлявшийся где страховым агентом, где просто желающим купить или арендовать недорогое жилье — обратил внимание на то, о чем не было информации в сводках: дома эти были только деревянными. Ни каменных, ни кирпичных, ни гипсоблочных, ни бетонных. Только деревянные. В одном из них он нашел ту самую бутылку, где в бензине плавали два десятиногих таракана. Он вручил их Кипросу и, чувствуя свежесть следа, двинулся дальше. Но самое интересное он нашел, чуть свернув с тропы,— случайно. Благодаря несчастью — если можно благодарить несчастье. Умер клиент — три дня назад. Отставной полицейский майор Ланком был найден в своем — деревянном! — доме, когда сосед — тоже бывший полицейский — прибежал на выстрелы. Ланком лежал, скорчившись, у порога. В правой руке был зажат револьвер, полицейский «Смит-и-Вессон» тридцать восьмого калибра. Пять патронов были израсходованы, шестой цел. Одна пуля разбила висевшее на стене зеркало, четыре попали в стену-перегородку, пробив ее насквозь. Микк, подходя к дому, увидел только, как увозят тело. Лицензия позволяла Микку осматривать места происшествий, да и полицейский следователь оказался нормальным парнем, не из тех, для которых нет злее врагов, чем частный сыщик и адвокат. Да, следователь слышал, что у майора пропал сын с женой... так это вы их ищете? И как успехи? Понятно... А теперь и сам, бедняга... врачи говорят — инсульт. Поймал, наверное, кодон, что-то померещилось — стрелять стал... много ли старику надо? Конечно... если что найдете — зовите... И Микк нашел. Но звать полицейских не стал, а пришел вечером... Позади дома была вырыта яма метра два глубиной, все ее, конечно, видели — яма и яма, мало ли зачем хозяин роет яму? Прямо под стеной. Ветряк, может, хочет поставить, сейчас многие ставят ветряки... То, ради чего была вырыта яма, напоминало корень, идущий из земли, изгибающийся и тремя ветвями врастающий в фундамент. Ветви были толщиной с большой палец, у дна ямы корень был с руку, а то и потолще. Нож по нему скользил, как по стеклу, лопата отскакивала. Микк углубился еще на полметра и наткнулся на разветвление. Чуть более тонкая ветвь уходи-

ла под дом, проникая, должно быть, в подвал. На следующий день он продолжил раскопки и обнаружил еще четыре ответвления. Сам корень стал толщиной с хорошее бревно. Потом копать стало невозможно, так как появились родственники и чиновники из мэрии. Микк пришел ночью и при свете фонаря алмазной ножовкой перепилил самую тонкую ветвь. Она была полой, как он и ожидал. Для того чтобы исследовать материал, Микк сделал еще один пропил, но в последний момент отпиленный кусочек выскользнул из рук и упал в яму. Просвет в трубе был с мизинец, стенка трубы на распиле напоминала чугун. Из трубы шел сильный запах, напоминающий запах горящего полистирола. В свете фонаря были видны вылетающие пылинки. Микк спустился в яму за упавшим куском «корня», увидел его, наклонился — и тут произошло что-то странное: оказалось, что он стоит на мосту через Лайву и смотрит вниз, и что еще только закат...

Микк дошел до этого места и замолчал, ожидая, что Кипрос скажет: пойди психиатра... или что-то в этом же духе,— но Кипрос молчал и смотрел куда-то мимо, и непонятно было, слышит он или нет, и Микк вылил в свой бокал тепловатую жижу со дна колбы, плеснул туда немного из бутылки, взболтал и выпил, и лишь тогда Кипрос посмотрел на него и спросил неожиданно:

— Ты с Дедом давно разговаривал?

— Давно,— подумав, ответил Микк.

— Давай съездим к нему. Я уже месяц собираюсь...

— А зачем? Что мы ему, собственно...

— Он умный, Микк. Он старый, но голова у него отличная. Не нашим чета.

— Не замечал, признаться.

— Он просто не показывает этого. В смысле — не выпячивает. Но если его как следует раскрутить, можно услышать дельные вещи.

— Н-ну...

— Он не боится, например, делать выводы. А вот я, например, боюсь. И он, мне кажется, многое понимает. А я не понимаю. Так что давай возьмем бутылочку, возьмем пожрать чего-нибудь...

— Послушай, речь ведь пойдет о вещах, которых он просто не может знать. Бывший церковный сторож — что он понимает в генетике?

— У Деда, между прочим, еще довоенный диплом Технической Академии плюс пожизненный полковничий чин инженерных войск. С правом ношения формы. В сторожа у него был уход. Как в кокон. Говорит, что нигде лучше не думалось, как на кладбище лунной ночью. А ты думал — он так... самородок?

— Да ничего я не думал.

— Врешь — думал. Ладно, сейчас я оденусь...

Снаружи было темно и душно — двойной контраст со светом и свежестью лабораторного корпуса. Зеленые цифры на фасаде в числе прочего показывали температуру: плюс тридцать три. Парниковый эффект, черт бы его побрал, подумал Микк, жара и постоянная влажность — но нет дождей, трассы циклонов сместились к югу, и дожди идут над морем. Интересно, что же нас в конце концов доконает: парник, озоновые дыры, насекомые-мутанты, эпидемии... Зверь, железная саранча, вода, ставшая желчью? Голод? Урожаи снижаются; пока выручает техника, но как долго это может продолжаться?..

Кипрос закончил формальности с пропуском Микка и вышел следом.

— Ты на машине?

Микк покачал головой:

— После этих дел... не решаюсь водить.

— Понятно. Тогда ловим такси.

— А твоя?

Кипрос махнул рукой.

Такси они поймали за углом, и Кипрос сказал адрес Деда.

4. Ника, она же Аннабель

■

К вечеру второго дня маленький отряд вышел наконец к излучине реки. Этого ждали — и все равно получилось неожиданно: только что был лес, еловый, темный, едва проходимый — и вдруг деревья остались за спиной и вместо пружинящего мха под ногами оказался щебень осыпи, уходящей к самой воде. Вода была темной, без бликов. Сразу потянуло холодом.

— По одному — за мной,— сказал Яппо.— Смотрите на меня и делайте так же.

Он просунул посох под мышку и, опираясь на него, как на хвост, поехал по осыпи на широко расставленных ногах. Потревоженный щебень покатился следом, догоняя и обгоняя его, засыпая ноги по щиколотку и выше,— но Яппо доехал до самого низа, не покачнувшись даже, отошел чуть в сторону и махнул рукой.

Следующим пошел Берт. Он изобразил что-то вроде слалома, вызвав обвал посильнее предыдущего, и чудом вывернулся из-под каменной волны там, внизу, в последний миг запрыгнув на край русла осыпи. Яппо сказал ему что-то резкое, и Берт виновато покивал, прижимая руки к груди.

Генерал спускался в точности так, как показал Яппо. За генералом спустился Ваиз. Последней была Аннабель.

Берт уже разделся и стоял теперь, ежась от холода, лицом к реке. Генерал сбрасывал с себя одежду быстро и деловито, а Ваиз

вдруг зарделся — и, заразившись от него, вспыхнула Аннабель. Она знала, что им предстоит, но не думала, что это будет так стыдно.

— Скорей, принцесса! — сказал Яппо.— У нас нет лишних секунд.

Аннабель кивнула и дрожащими пальцами принялась развязывать шнурки берестяного плаща. Потом стянула через голову свитер из грубой нечесаной шерсти, сбросила войлочные сапоги и, задержав дыхание, распустила узел на поддерживающей юбку веревке.

— Мазь! — сквозь долгий звон пробился голос Яппо.

Она полной горстью зачерпнула из берестяного туеса вязкую, пахнущую медом мазь и принялась размазывать по телу. И там, где мазь касалась кожи, исчезало чувство холода и стыда. И уже свободно она намазала спину Берту и повернулась, чтобы и он помог ей. Яппо быстро собрал сброшенную одежду в кожаный мешок, добавил туда несколько тяжелых камней, размахнулся и бросил — мешок, еле видный, упал где-то на стремнине, подняв фонтан брызг.

— Лицом к воде, скорее!

Все опустились на колени и, как учил Яппо, обхватили себя за плечи и наклонились вперед низко, как только возможно,— чтобы лицо нависло над водой. Аннабель вдруг поняла, что не чувствует тела — а лишь камни под коленями. Вода заблестела, как покрытая лаком. В ней, даже стоячей, прибрежной, обнаружилось два течения: одно, голубое, уходило вправо, вниз, к океану; другое, прозрачно-черное, быстрое, пульсирующее, из океана, из самых его глубин вело к вершинам гор к истокам реки, а оттуда дальше — в зенит, в темное горное небо, впадая в вены медленных великанов, шагающих куда-то с известной лишь им целью... Черные волны накатывались, наполняя и раздувая вширь, как оболочку аэростата, несуществующее тело, и в какой-то миг Аннабель поняла, что давно уже не стоит на берегу, а летит кружась, среди таких же аэростатов, мягких и почти бесформенных, и лаковая вода блестит то сверху, то снизу, и сквозь нее видны блестки, или звезды, или солнца, или лица, этого было нельзя понять, потому что взгляд не мог ни на чем остановиться. Делалось темнее, но это была не темнота ночи; странные, непохожие на снег хлопья закружились вокруг. Пурпурное мятое пятно проплыло наискось перед лицом, потом еще раз и еще, становясь все отчетливее и ярче, приближаясь и увеличиваясь, а Аннабель вдруг вспомнила предупреждение Яппо о красном свете и закрыла глаза. Исчезло все, лишь на изнанке век черненым серебром проступили незнакомые буквы, обозначавшие приближение конца пути. И это было так, скорость потока стала предельной, пульсация — переходящей в гул, и Аннабель, приоткрыв глаза, вновь зажмурила их, не в силах вынести смещения неистовых цветов. А потом в беззвучном грохоте столкнувшихся планет ее подняло, закрутило — уже телесную, тяже-

лую, живую — и понесло низко над землей, и уронило в обжигающий снег, и ничего больше не было очень долго...

Ее поднял на ноги холод, пронзительный, необоримый холод, и она вскочила, застонав от жуткой боли в переостывших мышцах. Голая, она стояла на дне засыпанной снегом лощины — одна. Потом рядом зашевелился снег, и встал генерал. Остальные, сказала она, не чувствуя рта и не слыша голоса, но генерал, наверное, услышал или понял так, потому что шагнул вперед, наклонился и погрузил руку в снег, и рядом с ним встал Ваиз. Берт, закричала она, Берт, Берт! Я здесь, сказал за спиной чужой голос, она оглянулась — нет, это был все-таки Берт, Берт... Куда, куда идти? За мной, идите за мной, сказал генерал и пошел, проваливаясь по бедра, по лощине вверх, и все двинулись за ним. Больно было невыносимо. Аннабель казалось, что ноги ступают по битому стеклу. Она падала, садилась в снег, но тут же вставала — сама — и шла дальше. До пещеры полмили, сказал Яппо, и эти полмили вам надо пройти... Было легче умереть, чем их пройти. Аннабель кричала и плакала, и рыдал за спиной Берт, а Ваиз лег в снег и не вставал, его поднимали, теряя последние крохи накопленного движением тепла, и подняли, и он пошел, а потом вдруг стало все равно и притупился холод, и ног не стало вообще, чужие механические подставки, а вокруг был только снег, а прямо впереди — синие вершины до половины неба. И они прошли бы мимо пещеры и погибли, если бы не Берт, он увидел вход и стал звать, а когда не услышали — обогнал всех, силой повернул и повел к красновато-серой проплешине, скрытой за ледяным бастионом. Аннабель еще успела увидеть черное круглое отверстие и слабый парок, идущий от него, и больше она ничего не помнила.

Просто была темнота, и все.

Потом вновь возникли время, звук и свет.

Время пришло с ударами сердца. И это был не единственный звук, раздавались еще мокрые шлепки капель и ритмичное бульканье. А свет исходил от широкого желтого язычка огня, питаемого неизвестно чем. И были ни во что не складывающиеся световые пятна. И все это было ничем, потому что ничего не означало. И так прошло много лет.

— Я понял, что вы очнулись,— сказал откуда-то голос Берта.— У вас изменилось дыхание.

Аннабель шевельнулась, и вернулось осязание. Но ожидаемой вспышки боли не было, к удивлению, и Аннабель шевельнулась сильнее, попыталась поднять руку... Рука слушалась, но двигалась с трудом, будто одолевая что-то вязкое, и вдруг Аннабель — сразу — поняла, что лежит в какой-то грязи, теплой и плотной, а голову ее придерживает ладонями Берт. И огонек лампы, освещающей своды пещеры,

тоже стал ясен и понятен. И звуки, множество тонких звуков, приходящих отовсюду...

— Да, Берт,— сказала она.— Давно я... так?

— Без сознания? Часа два.

— А как остальные?

— Отогреваются...

— То, что говорил...

— Аннабель!

— Я помню. То, о чем говорил Дракон, нашлось?

— Все на месте, не беспокойтесь. Все хорошо.

— Мне надо вымыться и одеться.

— Не торопитесь. В рапе надо пролежать не меньше трех часов.

— Долго. Слушайте, Берт, а вы верили, что... получится?

— М-м...

— Понятно.

— Верил, наверное. Иначе не пошел бы...

— Это, наверное, не зависит одно от другого.

— Интересная мысль.

— Нет, правда. Вот подумайте как следует...

Они замолчали, и Аннабель опять соскользнула в сон. Ей приснился берег моря, дюны, поросшие искривленными солнцами, опускающееся в воду багровое солнце. Она смотрела на солнце, а потом оттолкнулась от земли и полетела к нему — и в какой-то миг ей стало так страшно, что она вздрогнула всем телом и проснулась.

И одновременно с этим рука Берта потрепала ее по щеке, а голос сказал:

— Принцесса, пора.

Было светлее, за поворотом, невидимый сам, но щедро рассылающий оранжевые лучи, горел костер. Слышались голоса и звуки какой-то работы. Аннабель потянулась и села.

— Отвернитесь, Берт. Я встаю.

— Минутку, я дам накидку. Воздух холоднее рапы.

— Спасибо.

— Озеро рядом — вон там. Отмывайтесь. И осторожнее — там сразу по шею.

— Я помню,— будто уже была здесь.

— В каком-то смысле — так оно и есть.

Берт подошел сзади, набросил ей на плечи мягкую шкуру какого-то несчастного зверя. Аннабель встала, удивляясь, как чудесно подчиняется тело. Закуталась — шкура доходила до колен — и, выдирая ноги из вязкой рапы, пошла к озеру.

Костер горел на самом берегу, дымок стлался над водой. Свод нависал совсем низко и метрах в сорока от берега, подобно небу, образовывал горизонт, смыкаясь с водой. Вода была неподвижна

настолько, что это пугало. Против природы воды — быть такой неподвижной. И, разгоняя боязнь, Аннабель погрузилась в озеро.

Второе путешествие Аннабель перенесла намного легче. Хотя путь из подземного озера к источникам, бьющим в долине, и дальше по ручьям, мелким речкам, застревающим в болотцах, каналу, перегороженному шлюзами,— был извилист и долог. Выброшенная на песчаный пляж, она сразу обрела себя, приподнялась и огляделась. Ущербная луна, красная и тусклая, касалась края земли, а над водой небо светлело. Потом она почувствовала вкус соли на губах. Все правильно, это озеро Татль, оно же — залив Спасения, оно же — Брандтова Бездна... полусоленый-полупресный водоем в устье Акрона, отделенный от моря островной грядой на западе и неимоверно глубокий на востоке, там, где со стометровой высоты рушатся в него воды реки Лоуи...

Поднялся и выпрямился во весь рост генерал. Чуть дальше зашевелился Берт.

— Ваше высочество, вы в порядке? — очень тихо спросил генерал, не поворачивая головы,— и что-то в его вопросе относилось не к самочувствию Аннабель.

— Да, мой генерал,— так же тихо ответила Аннабель.— Берт,— позвала она.

Берт подошел молча и встал рядом. Повернувшись лицом друг к другу, они втроем особым образом сомкнули руки и закрыли глаза. И опять на изнанке век Аннабель увидела непонятные знаки...

— Туда,— показала она рукой.

— Туда,— подтвердил генерал.

Они пошли в ту сторону, куда позвало их чутье, и через десять минут слева, на самом краю поля зрения, Аннабель увидела зеленовато светящееся пятно. Стараясь не менять угол зрения, она сделала несколько шагов в том направлении.

Это был песчаный холмик чуть выше колен. При взгляде в упор он не светился, но начинал мерцать, как только Аннабель отводила глаза в сторону.

— Нашла,— сказала она.

Втроем они быстро раскидали песок. В трех мешках была одежда, в четвертом — еда. Под мешками лежал длинный кожаный чехол, и когда Берт поднял его, лязгнула сталь. Последним извлекли солдатский ранец. Открывать не стали — знали и так, что там амулеты, документы и деньги. Бросив в яму по камню, заровняли ее руками и только тогда стали одеваться.

Теперь надо было уходить — далеко и быстро. Генерал вел, Аннабель старалась не отставать. Сзади дышал Берт. Становилось все светлее и светлее. Двести шагов бегом — двести шагом, двести бегом — двести... двести... двести... Меч бил по спине, по правому

бедру, колотил кинжал, по левому — наручень. Так они бежали до того момента, когда край оранжевого солнца возник над синедымчатым горизонтом и от всего вокруг брызнули острые тени. Тогда генерал сбавил шаг. Надо было искать место для отдыха.

Оно нашлось вскоре — огромное, как комната, дупло в теле полувыгоревшей секвойи. Осторожно войдя туда и никого не обнаружив, генерал махнул рукой. Берт и Аннабель сотворили знак закрытия. Может быть, теперь их не найдут.

Вернее — не заметят случайно. Потому что если будут искать...

Аннабель жестко усмехнулась про себя. За последние две недели, проведенные у Яппо, она достаточно четко уяснила, с кем именно ей придется иметь дело.

Шансов на успех не было ни малейших.

Но не было и возможности избежать схватки.

А победитель получал все.

Оставалось лишь принять этот жребий...

Они продолжили путь с наступлением темноты, отдохнувшие, выспавшиеся, почти сытые. Запас вяленого мяса и галет следовало растянуть на несколько дней, до выхода из приграничья. Пить воду можно было, но только выдержав ее в серебряной фляжке до потепления. Иначе невидимости, пусть относительной, пришел бы конец.

«Кошачьим глазом» Аннабель пользовалась и раньше, до знакомства с Яппо. Но никогда не достигала такого эффекта. Казалось, что этот длинный тонкий ремешок, трижды охватывающий лоб, проходящий над и под глазами и перекрещивающийся на переносице, лишь немного осветляет сумерки и делает четче контуры предметов. Сейчас, после подготовки, Аннабель видела в полной темноте — но не глазами. И даже не видела, хотя и не могла назвать это новое — и именно шестое — чувство. Просто оказалось, что ей не нужно видеть предметы, чтобы знать о их присутствии, расположении и свойствах. И она шла, как днем, беззвучно и быстро. И так же беззвучно и быстро шли ее спутники.

Они наткнулись на стену там, где никакой стены не должно было быть. Шедший впереди генерал резко остановился, и рука Аннабель сама метнулась к рукояти меча. Берт, мгновенно обнажив оружие, повернулся к ним спиной, прикрывая от нападения сзади. Никакого движения не ощущалось, но в воздухе возник вдруг привкус спертости, несвободы. А потом — подозрительно кстати — в сплошном облачном покрове образовался разрыв и свет луны лег на высоченную, может быть, в сотню человеческих ростов, гладкую стену с ровной, по линеечке, кромкой.

Генерал попятился, Аннабель, наоборот, шагнула вперед, и они столкнулись и остались стоять рядом, глядя на чудовищное сооружение, преградившее им путь. Неслышно подошел Берт.

— Бог ты мой! — сказал он шепотом.

— Месяц назад этого не было,— откликнулся генерал.

— Мне не нравится запах,— сказала Аннабель.

— Не чувствую,— сказал Берт.

— Мерзкий запах,— сказала Аннабель.— Очень слабый, но мерзкий.

— Да, что-то есть,— сказал генерал.— Похоже на соляр.

— Нет, что-то другое,— не согласилась Аннабель.

— Вообще-то, ваше высочество, по всему Альбасту теперь гуляют всяческие ароматы. А в столице пахнет хуже, чем в казарме. Правда, это редко кто замечает...

— Проклятая луна,— сказала Аннабель.— Только портит все...

— Не могли же такую махину отгрохать за месяц...— неуверенно сказал Берт.

— Я об этом же, Берт,— сказала Аннабель.— Тихо, не мешайте.

Обогнув генерала, она медленно двинулась вперед.

— Ваше высочество...— бессильно прошептал генерал.

Аннабель отошла на столько, чтобы ощутить себя стоящей отдельно. Прикрыла глаза, слегка развела руки и повернула их ладонями вперед и чуть-чуть вверх. И не почувствовала ничего...

И тогда, не открывая глаз, она сделала — считая их про себя — тридцать шагов Остановилась и посмотрела на то, что получилось.

Верхний край стены уже не был ровен и прям. Получилось так: по сторонам стена стояла, как стояла,— зато прямо перед Аннабелью она то ли просела, то ли отдалилась, это было трудно понять... и еще Аннабель почувствовала, не оглядываясь, что спутники приближаются к ней и что мечи в их руках занесены для удара, и она оглянулась — и увидела кошмарную пасть, раскрывшуюся на нее, ощутила неистовую вонь, хлынувшую волной, отпрянула и упала на спину — но успела крикнуть:

— Это морок, морок!

Наверное, ее услышали и поняли. И не только спутники — пасть рассыпалась рыхлыми хлопьями. За пастью ничего не было. Мы выдали себя, подумала Аннабель. Но изменить уже ничего нельзя.

Берт не успел подать ей руку — она вскочила на ноги и скомандовала:

— Закройте глаза — и за мной!

— Это иллюзии? — уточнил генерал.

— Наверное. Нельзя здесь задерживаться. Уходим.

Их обдавало волнами смрада, пока они, пользуясь лишь приходящим откуда-то знанием обо всем вокруг, шли сквозь несуществующую стену. Ничего телесного не было вокруг них, и земля была ровной и мертвой — мертвой на всю глубину. Казалось, под ногами вечный лед, для приличия припорошенный пылью. В какой-то миг

Аннабель не удержалась и приоткрыла один глаз — и тут же зажмурилась от испуга и отвращения. Разложившийся, в клочьях отставшей кожи, волоча выпавшие из разорванного живота внутренности, на нее шел мертвец. Необыкновенный свет исходил из земли, и запах разрытой могилы перехватил дыхание. Но Берт и генерал были рядом, Аннабель чувствовала их — и только их. Потом, сколько-то шагов спустя, она узнала, что впереди возникло, наконец, реальное препятствие.

Стена была, и точно такая же, какой они увидели ее в тот первый момент,— но только высотой по пояс. На лице генерала не отразилось никаких эмоций, а Берт плюнул в сердцах. Он дышал учащенно, и Аннабель поняла, что Берт на всякий случай шел с открытыми глазами.

— Хитро придумали, сволочи,— охрипшим голосом сказал он.— Лучше всякого кино...

И неожиданно — ни Аннабель, ни генерал не успели шевельнуться или остеречь — он коротко разбежался и перепрыгнул через стену. На миг ослепляющая вспышка тьмы сделала его невидимым, а потом Аннабель отчетливо, неимоверно отчетливо увидела, как Берт, ломаясь еще в воздухе, рушится на землю по ту сторону стены и лежит мертво, лежит секунду, другую, третью... потом конвульсивно дергается и начинает вставать, но вставать так, будто его сверху подтягивают за ниточки...

— Берт...— простонала Аннабель. Генерал обнажил меч.

Берт уже стоял — спиной к ним. Потом оглянулся через плечо. У него было равнодушное лицо и взгляд в пространство.

И вдруг Аннабель почувствовала странное раздвоение восприятия. Будто рояль звучал, как труба, и следовало чему-то не верить — глазам или ушам. И она сделала то, что выручало ее не раз,— закрыла глаза.

Берт не стоял — он лежал на боку, подтянув ногу к груди. Видно было, что ему дико больно и он изо всех сил сдерживает крик. Пришли, подумала Аннабель.

— Пойдемте, генерал,— сказала она.— Не смотрите — это тоже морок.

И Берт-зомби отступил и растаял, как и положено разоблаченному призраку.

Она легко перепрыгнула стену, и генерал последовал за нею. Еще в прыжке она увидела, как гаснет луна и все погружается в полнейшую тьму,— и поняла, что ожидала этого. Наверное, поэтому и приземлилась мягко, как кошка. Генерал на ногах не удержался, но тут же вскочил и принял оборонительную позу.

Все было мороком по ту сторону стены, подумала Аннабель, и призраки, и лунный свет... и мы сами — видимые... А по эту? Надо быть настороже, начались упырские штучки...

— Показывайте ногу, Берт,— скомандовала она.

До рассвета одолели чуть больше двух миль. Из-за боли Берт утратил способность видеть в темноте, и пришлось вести его за руку. Он хромал, но терпел. Наконец расположились на отдых в овражке, заросшем по краям молодыми елями, под нависающим козырьком дерна, сотворили знак закрытия и повалились на сухую, перемешанную со щебнем глину.

— Спите,— сказал Берт, задыхаясь,— я посижу... все равно...

Он стал снимать с лодыжек бинт. Аннабель протянула руку, положила ладонь на горячую пульсирующую опухоль, сосредоточилась.

— Не надо,— пробормотал Берт,— лучше спите... я сам как-нибудь...

— Тихо,— шепнула Аннабель.

Тяжесть и боль понемногу переливались в ее кисть, поднимались вверх, до локтя, выше локтя... Хватит. Она бессильно откинулась, уронила руку ладонью вниз. Тяжесть медленно вытекала из нее, уходя в землю.

Она уснула, но и во сне продолжала видеть себя, лежащую в мелком овражке под козырьком дерна, скрытую от внешних взглядов живой землей, деревьями и травами, и предающуюся размышлениям. Размышления были мудрые и глубокие, самой ей ни о чем таком думать не приходилось — да и не по силам оказалось бы, наверное... и даже просто понять то, о чем думала она же — она, но приснившаяся,— не вполне удавалось...

Да, за две недели нам довелось овладеть многими магическими методами — но не так, как ими овладевают настоящие ученики, проходящие шаг за шагом весь путь познания, а просто получив шпаргалку, которой можно воспользоваться в нужный момент. Дракон дал им взаймы свою собственную силу и свое знание — и даже подстраховал нас, посадив Ю в горную пещеру, откуда он может видеть нас и передавать нам при необходимости дополнительные знания и силу... и Ю, пошедший на это, расстался с собственной личностью и стал как бы органом Дракона. Но в таком случае мы тоже стали органами Дракона, а то, что в нас сохранена личность, может быть чистой иллюзией. Просто по функциональной надобности Ю должен растраиваться на всех нас, и поэтому он похож на человека-растение — а нам нужно пересечь страну, нужно встречаться с людьми и производить впечатление настоящих. И, если Дракон не захочет сам, мы никогда не узнаем, вольны ли мы в своих поступках... и больше того — те же ли мы самые Аннабель, Берт и

генерал Паулин, которые в «Горной твердыне» встретились с Драконом? Это невозможно проверить. И точно так же невозможно убедиться, что земля, по которой мы идем,— это тот самый Альбаст, из которого меня вывезли на крейсере «Легенд» маленькой девочкой... Зрение идущих по этой земле под контролем тех, кто ею владеет,— и, не будь у нас этого замечательного не-зрения, мы бы давно уже порубили друг друга мечами... но не-зрение дано нам Драконом, и Ю в своей пещере сжигает себя, помогая нам видеть не глазами,— и опять же невозможно сказать, соответствует ли то, что мы не-видим, тому, что есть на самом деле? Нас может обманывать как зрение, так и не-зрение, и остается только слепо верить в некую высшую объективность... зная при этом, что ее не существует. Мы пытаемся делать что-то, не зная, что в действительности представляет собой мир, не зная, что имеют в виду наши органы чувств, предъявляя ту или иную картинку, не зная — или слишком хорошо зная,— есть ли еще какие-нибудь способы познавать мир, кроме обычных чувств и не-зрения... и что будет представлять собой мир, увиденный наконец таким, каков он есть... И, конечно, в таких обстоятельствах хватаешься за что попало и веришь, веришь, веришь в это до конца, до исчезновения — и тебя и предмета веры, неважно — и тем самым хотя бы заглушаешь дикий страх перед истиной, скрытой под бумажным покровом тайны... Но если понять наконец, что страх — это не более, чем очень сильный шум, и что можно научиться не обращать на него внимания, и одновременно с этим согласиться принять на себя всю ответственность за следующий шаг — то можно вот так протянуть руку, коснуться занавеса...

...и бумажный занавес расползся под пальцами Аннабель, и открылся туннель, темный и короткий, но, похоже, не тупиковый, а просто изгибающийся или раздваивающийся. Тронул — ходи, вспомнилось Аннабель шахматное правило, и она шагнула в туннель, ожидая чего-то нового и необычного, но ничего необычного не произошло, вход не закрылся и не перестал существовать, и тогда Аннабель, сосредоточившись на не-зрении и пытаясь, не доходя до поворота, заглянуть за него, медленно пошла вперед.

Что ж, подумала она, без боязни поворачивая и начиная пологий спуск по поперечному туннелю, чуть более просторному и, похоже, чаще посещаемому,— раз уж мы согласились принять в дар определенные способности, то и неуверенность во всем придется таскать с собой, ничего не поделаешь. Это, наверное, закон природы: чем большие возможности что-нибудь узнать, тем меньшая убежденность в истинности полученных знаний... вернее — сведений. Конечно, следует ввести поправочный коэффициент на то, что мы называем умом, и на некую изначальную самостоятельность мысли — то есть на величины неформулируемые, а потому — иррациональные. И не стоит, скажем, мне искать более глубокие способы восприятия мира,

чем уже доступные, потому что тогда придется и действовать, исходя из открывающихся возможностей,— даже не то чтобы придется, а именно так получится само собой,— а значит, приводить в действие механизмы непонятные и силы неучтенные... хотя, руку на сердце, именно это я по-настоящему и хочу сделать — найти тот скрытый рычаг, который переворачивает землю, нажать на него...

Впереди возник тусклый багровый отсвет, и Аннабель замедлила шаг. Но не-зрение ничего вещественного не выявило, туннель «просматривался» шагов на двести отчетливо и еще на столько же размыто и приблизительно, хотя и (Аннабель это не сразу поняла) плавно изгибался вправо так, что нормального зрения — даже с фонарем — хватило бы шагов на тридцать-сорок... Аннабель представила себе, как жутко было бы идти по такому туннелю просто с фонарем.

Свет исходил от небольших, но многочисленных отверстий в левой, вогнутой стене туннеля и ложился на правую его стену множеством перекрывающих друг друга пятен. Неподвижные пылинки в пространстве туннеля казались рубиновой пудрой. Не-зрение подсказало Аннабель, что стена, источенная порами, тонкая и поэтому следует соблюдать осторожность. И очень осторожно, не касаясь, Аннабель приблизила лицо к одной из пор, покрупнее, и стала привыкать к бьющему из нее свету.

Сначала казалось, что там, за стеной, движется медленный багрово-алый вихрь. Что-то большое и сложное угадывалось за ним. Постепенно глаза привыкли и стали различать сквозь волны света контуры колонн и фигур — и наконец, будто световая завеса исчезла, Аннабель увидела все разом.

Перед нею был зал, огромный, как город. Каменный свод, опираясь на грубые тяжелые колонны, накрывал его мощно и торжественно, как грозовая туча, подсвеченная снизу, накрывает собой горную долину. Прямо перед глазами Аннабель, покоясь на трех сходящихся книзу опорах, огромная черная чаша с письменами испускала из себя неподвижные языки темного, цвета запекшейся крови, пламени. Ниже чаши, на самом дне, угадывалась квадратная плита со знаком Древа на ней и с тайными письменами. Исполинские статуи дев с воздетыми руками обступали чашу и плиту, неся на себе багровый отсвет. А между Аннабель и чашей, внизу — Аннабель прильнула щекой к стене, силясь увидеть все — стояла на коленях каменная девочка, стояла, откинувшись назад и запрокинув голову, и на ее перевернутом лице застыла боль — и блаженство. И Аннабель, пытаясь увидеть еще что-то, сделала неосторожное движение, и кусок стены размером с колесо вывалился наружу — и повис в пространстве, ничем не закрепленный, чуть ниже образовавшейся дыры, и Аннабель, не удержавшись, высунула лицо туда, наружу —

испепеляющий жар обдал кожу, ударил по глазам,— она откинулась назад, упала и осталась лежать, но запечатленная картина медленно проявлялась в памяти: справа известково-белый утес, нависающий над бездной, покатая темная терраса в форме лука внизу, а еще ниже — каменные обнаженные груди меж каменных, ниспадающих в бездну драпировок... Я в статуе, подумала Аннабель, точно в такой же статуе, что стоят напротив. Проковыряла дырочку в ее щеке... Багровый свет лился из отверстия, наплывал волнами, завораживал, не отпускал взгляд, и Аннабель, потеряв на несколько секунд самоконтроль, внутренне открылась этому свету — и вдруг ее ударило током: Дракон предупреждал! Она закрыла глаза и загородилась рукой, но было, наверное, уже поздно: откуда-то снизу стал подниматься и заполнять ее темный беспредметный страх, тот, который с визгом крутящейся пилы вспарывает сердце... Наверное, она кричала. Потом страх отхлынул, унося с собой все. Ей показалось, что она уснула. Сквозь сон она чувствовала холод и жар одновременно. И боль, и голод. Потом она почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Не открывая глаз, она лишь чуть размежила веки. На ступеньке перед ней столбиком стояла огромная жирная крыса и смотрела в упор, ничего не боясь. Надо было кинуть в нее чем-нибудь, но не было сил. Потом послышались медленные шаги. Крыса повернулась, посмотрела на нее долгим запоминающим взглядом и ушла. Снизу, держась за перила, тяжело поднималась женщина в темно-синем пальто с тяжелой сумкой в руке. Волосы ее были закрыты шерстяным серым платком. Ты чья, девочка? Что ты здесь делаешь? Ты меня слышишь? Слова, такие знакомые, казались произнесенными на неизвестном языке. Хотелось сказать что-то в ответ, но звуки застревали в горле и скатывались в один большой комок...

Аннабель проснулась в слезах и долго лежала, вдыхая запах разогретой хвои и сухой пыли. Тихонько посапывал Берт. Генерал, устроившийся в изножье, повернул к Аннабель голову и приложил палец к губам. Она кивнула. Стараясь не потревожить Берта и не зацепить низкий потолок их убежища, она извернулась и подобралась к генералу так близко, что можно было шептаться.

— Нас ищут,— сказал он.

— Как?

— Птицы. Смотрите,— он показал пальцем на дыру в козырьке, прикрытую сеткой травяных стеблей.

Аннабель понадобилось время, чтобы сквозь эту сетку увидеть небо. Наконец это получилось.

Высоко над землей правильными кругами ходил ворон. Вороны так не летают, это Аннабель знала. Потом поле зрения пересек — совсем низко — другой ворон. Голова его покачивалась: вправо-влево, вправо-влево. Через минуту там же пролетел еще один.

— Может быть, это обычное патрулирование? — предположила Аннабель.

— Нам от этого не легче,— сказал генерал.

— Ну, почему же...— начала было Аннабель, но тут донесся — не по воздуху, а прошедший через землю — звук лошадиных копыт. Несколько всадников неторопливой рысью ехали где-то рядом — и приближались.

Посапывание Берта прервалось, а в следующее мгновение он уже натягивал распоротый в голенище сапог на свою бесформенную ногу.

— Тихо, дочка,— одними губами сказал генерал. Наручень будто сам наделся на его левое предплечье; когти, подчиняясь движению кисти, беззвучно выскользнули из гнезд и вернулись обратно.

Аннабель натянула и проверила свой.

Берт наручней не использовал. Он дрался двумя мечами.

Так они лежали и ждали, а шаги приближались. Идут с двух сторон, почувствовала Аннабель, со стороны спины... и со стороны ног — по лощине! Значит, все...

Через бесконечно долгую минуту она увидела всадника.

На неопределенного цвета крестьянской лошадке ехал мальчик-подросток лет четырнадцати. Одежда его была грязна и разодрана в клочья, лицо исцарапано в кровь. Длинные грязные волосы висели сосульками. Выражение лица... Не было никакого выражения. Голова механически поворачивалась вправо-влево, как у воронов, летавших вверху, в глазах не было блеска. Он ни разу не мигнул, пока Аннабель смотрела на него. Но тяжелый меч лежал поперек драного седла...

Шаги, приближавшиеся за спиной, остановились совсем рядом, и пронзительный голос спросил:

— Ингибара оа?

— Леингибара,— глухо ответил подросток, не прекращая поворота головы и почти не разжимая запекшихся губ.

Его взгляд скользнул по Аннабель, и она поняла, что он ее не видит. Она и ее спутники оставались закрыты для постороннего взгляда. Мальчик проехал мимо, оставив после себя запах конского пота и человеческой мочи.

Аннабель и генерал обменялись взглядами. Холодное бешенство стояло в его глазах, и Аннабель поняла, что подобное он видит не впервые. Над головой, переступая, ударила копытами лошадь. Посыпалась земля.

— Альхека! — раздалась команда, и несколько всадников сорвались с места.

Уходят! Не заметили и уходят!

И в следующий миг лошадиная нога, пробив дерн, оказалась перед лицом Аннабель. Она отпрянула — и увидела, как бесформенная фигура в грязно-голубых развевающихся одеждах грохнулась на дно лощины. Секунду лежала неподвижно — и встала, оборачиваясь...

Глаза их встретились.

Это был не человек.

На удлиненном, голубоватого цвета лице с темным узором на лбу и щеках страшно выделялись глаза. Ночные, огромные глаза, полуприкрытые коричневыми морщинистыми веками. И этими глазами он видел сквозь запрет...

Генерал, будто брошенный катапультой, оказался перед чужаком. В руке того мелькнула тонкая сталь, генерал отразил удар наручнем и сделал выпад. Чужак, ломаясь в суставах, осел, превращаясь в кучу тряпья. Аннабель и Берт уже стояли рядом с генералом, готовые к продолжению схватки.

Их было семеро — всадников. Они разворачивали и горячили коней, собираясь, наверное, атаковать в конном строю. Это было безрассудно — лощина скрывала, как окоп. Потом Аннабель увидела блеск коротких клинков. Метательные ножи! Перепрыгивая лощину, всадники поразят ножами тех, кто будет пытаться найти на дне спасение. На дне — но не в стенке, не под козырьком. Там они не достанут... Тем временем рука ее сама нашла и взвесила кинжал. У нее есть чем встретить...

С визгом всадники бросились вперед. Двое из них, на вороных конях, были одеты в голубые развевающиеся плащи. Пятеро — обычные уланы в кольчужных нагрудниках. Они были метрах в семи, когда Аннабель метнула кинжал в летящего на нее улана и нырнула в нишу. Рядом с ней оказался Берт. Через долгий миг генерал в невероятном прыжке, изогнувшись, впечатал ее в стенку ниши и прижал, закрывая. Она видела только тени перелетавших лощину всадников. Ножи с коротким хрустом вонзились в землю.

Уже пятеро всадников развернули коней. Двоих, висящих в стременах, лошади уносили в лес. Но еще один приближался по лощине — пеший, неся отведенный для удара меч в вытянутых над головой руках. Мальчик с остановившимися глазами. И остальные, поняв порочность конной атаки на закрепившегося противника, спешивались и бежали, на ходу обнажая мечи.

Первый удар опять пришелся на генерала. Мальчик бесхитростно и неожиданно сильно нанес «гу-хо» — горизонтальный удар справа налево, через локтевой сустав под ребра. Генерал принял меч наручнем, покачнувшись от этого удара, и наручнем же сделал ответный выпад. Кисть с зажатым в ней мечом отделилась от предплечья и упала на дно лощины. Но мальчик, распластавшись в падении, попытался дотянуться до меча, и генерал ударил его

сапогом в голову. Все это заняло чуть больше секунды. В следующую секунду Аннабель и ее спутники стояли лицом к нападавшим, выставив мечи, а те с прежним напором шли в открытую атаку.

Мечный бой скоротечен — и чем искуснее бойцы, тем короче схватка. Пятеро налетели, и почти сразу откатились — трое; один чужак и один улан легли под ударами. Теперь инициатива была уже не их. Аннабель, угрожая острием меча и закрываясь наручнем от атаки снизу и слева, стала теснить доставшегося ей в противники чужака; он отходил назад и направо, готовясь нанести «эли-хо» — колюще-рубящий удар в бедро или в пах на предельной дистанции. Но для этого ему нужно было заставить Аннабель отступить хотя бы на шаг. И Аннабель, будто бы готовя верхнюю атаку, сделала шаг в сторону, а потом шаг назад. Чужак нырнул — резче и дальше, чем в глубоком выпаде — и, опершись на левую руку, провел классический удар: снизу-косо-вверх. Но вместо податливой плоти сталь встретила сталь: Аннабель, упав на колени, закрылась клинком. Движение кисти — и клинок чужака взлетел вверх, пропуская удар; движение плеча — и лезвие вошло в шею.

Берт уже покончил со своим и шел на помощь генералу — тот кружил вокруг улана явно без желания разом покончить дело. Он выманивал противника на удар, желая обезоружить. Улан же удара никак не наносил, лишь угрожал мечом. Похоже было, что он согласен на ничью.

— Бросай меч, солдат! — собравшись, чтобы не дать фальшивой ноты, крикнула Аннабель.— Это говорю я, твоя королева!

Танец замедлился, потом остановился. Генерал стоял в защитной позиции. Улан повернул голову и посмотрел на Аннабель.

— Мой властелин — король Герман,— сказал он.— Тебя я не знаю, госпожа.

— Мой брат Герман мертв,— сказала Аннабель.— На троне подменыш. Кукла. И ты это знаешь, солдат. Все это знают.

— Ты говоришь страшные слова, госпожа...

— Брось меч, солдат. Я не смогу испугать тебя тем, что иначе ты умрешь. Но ты умрешь, служа злу,— а это, думаю, тебя испугает.

— Меня уже ничто не испугает, госпожа.

— Тогда повинуйся. Следуй голосу чести. Я — Аннабель, законная королева Альбаста. Меня изгнали из страны, но не смогли лишить короны. Теперь я возвращаюсь.

— Госпожа...— голос улана внезапно сел.— Госпожа, я не прошу доказательств... но знак! Дай мне знак!

Он стоял уже, опустив меч, и в лице его было что-то молитвенное. Аннабель, усмехнувшись одними губами, острием меча вырезала квадратный кусочек дерна, подняла его за траву — так поднимают за волосы отрезанную голову врага — и подбросила над собой. Восьмиобраз-

ное движение, почти неуловимое глазом — мгновенный стальной высверк,— и четыре кусочка дерна покатились по земле.

Встав на колени, улан положил свой меч на землю.

— Твой раб и воин, моя королева,— с поклоном сказал он.— Я дворянин Веслав Бернард, присягаю тебе и клянусь служить воле твоей, и под руку твою передаю жизнь мою и смерть... Сзади! — крикнул вдруг он.

Тощий и оборванный, с черным от крови лицом, на них шел тот, кого, казалось, уже одолел генерал. Мальчик, ехавший на крестьянской лошадке... Тяжелый двуручный меч, зажатый в тонкой руке, со свистом рассекал воздух.

— Он не видит! — крикнул улан.— Просто пропустите его!

Верно — глаза мальчика были плотно закрыты отекшими веками. И все же он шел прямо на них...

Берт оттащил Аннабель немного назад. Генерал и улан сдвинулись в другую сторону. Чудовище прошло по освобожденному для него коридору и стало удаляться. Меч все быстрее мелькал в воздухе. Не в силах сдвинуться, все смотрели вслед мальчику. Что-то должно было произойти.

Произошло.

Не справившись с инерцией тяжелого клинка, мальчик отсек себе голову и правую, уже покалеченную в схватке с генералом руку. Покачнулся, пропустил шаг — и двинулся дальше, безголовый, бескровный, все так же размахивая мечом.

Чтобы не закричать, Аннабель зажала себе рот.

Солнце клонилось к закату, когда четверка всадников покинула наконец приграничную полосу и углубилась в лес Эпенгахен. Темная прямая дорога, мощенная вулканической плиткой, вела к заброшенному курорту того же названия. Здесь их не должны были ни встречать, ни выслеживать: по неизвестной причине чужаки никогда не входили в Эпенгахен. От альбастьеров в отсутствие чужаков — гернотов, как они называли себя сами, или упырей, как их называли в коридорах власти Конкордиума,— особого усердия в преследовании нарушителей границы можно было не ждать. Улан рассказал, каково чувствовать себя рядом с чужаками — испытываешь буйную радость и желание сделать все, чтобы им повиноваться, а потом приходит отвращение и стыд... и избавиться от этого можно, только вновь оказавшись рядом с ними. Есть люди, говорил он, которые не отходят ни на миг, а если их оторвать силой — умирают в муках. Есть другие, такие, как он сам,— им все это мерзко, но они не в силах противостоять волшебству. И есть немногие, которые — в силах. Генерал слушал его и кивал крупной своей головой.

Тяжелая рысь тяжелых кавалерийских жеребцов укачивала, умиротворяла, и умиротворяли проплывавшие навстречу и мимо

белые, в зеленых пятнах нежного мха стволы платанов, и стайка пестрых птиц, пересвистываясь, сопровождала всадников, внося веселое оживление в пейзаж,— и ничто внешнее уже не могло помочь Аннабель совладать с нервной дрожью, и оставалось только держаться, держаться из последних сил, так, чтобы никто посторонний не мог заподозрить душевных мук и метаний под панцирем королевского спокойствия... Это было почти невыносимо.

Да, первый в ее жизни бой прошел успешно, и не канули втуне тяжелейшие тренировки у Эльриха Тана, первого меча Конкордиума, и странная, ни на что не похожая учеба у Дракона... и, может быть, это сила и искусство Дракона направляли ее меч... как сила и искусство чужаков направляли меч того оборванного мальчика... Мысли об этом тоже были невыносимы. И, как дрожь, их следовало сдерживать хоть из последних сил.

5. Вито, он же Дмитрий Дмитриевич

■

В механическом цехе ремзавода стоял чад. Повизгивал вентилятор, нагнетая воздух в самодельный горн. Когда Дима вошел, Архипов как раз вынимал длинными кузнечными клещами из горна белую от жара трубу. Подержав ее секунду на весу, он стал небыстро погружать ее одним концом в ведро с машинным маслом. Звук был — как от дисковой пилы, напоровшейся на гвоздь. Фонтан масляного дыма и пара ударил вверх. Наконец вся труба погрузилась в жидкость и багрово светилась там, остывая. Подождав немного, Архипов вынул ее, черную, маслянистую и дымящуюся, и вернул в горн. Вспыхнуло желтое пламя. Через несколько секунд он ее поднял — труба светилась темно-вишневым светом — и замер, ожидая, когда свечение погаснет. И после этого бросил с грохотом на железный лист, где в беспорядке валялись такие же и всякие прочие серо-сизые детали. Потом выключил вентилятор, обтер руки о фартук и повернулся к Диме.

— Принес?

— Сомневался? — усмехнулся Дима.— Принес. Куда высыпать?

— Даже высыпать? — Архипов огляделся.— Тогда сейчас...

Он отслоил от стены фанерный лист и положил его на пол. Дима опорожнил сумку и Татьянин рюкзак.

— О, елки,— сказал Архипов.— Теперь мы короли.

— А у тебя тут как? — спросил Дима.

— К ночи четыре штуки будет. Да вчерашних две...

— Дай мне штук несколько патронов для «ТТ».

— Добыл «ТТ»?

— Ага.

— Хорошая машинка. Сам возьми — вон в том ящике, под ветошью.

Дима заглянул в ящик. Пистолетные патроны — макаровские, похожие на орешки, и бутылочки тэтэшных — лежали частью россыпью, а частью уже в снаряженных обоймах.

— Возьму обойму, ладно?

— Ну, бери. Василенко если прикопается — отдай.

— Если успеет прикопаться...

— Поплюй.

— А что плевать? Сегодня, наверное, начнется всерьез...

— Думаешь, сегодня?

— Похоже на то.

— Тогда, Дима... Я могу попросить тебя об одной вещи?

— Проси.

— Понимаешь, я не вполне понимаю, какая роль моей Лиды во всем этом... но я ю не последняя. А с другой стороны, идти тебе домой, быть там одному — не стоит. В общем...

— Поохранять Леониду?

— Да.

Интересно, подумал Дима, это просто совпадения — или кому-то-там-наверху нужно, чтобы сегодняшний приход тьмы я встречал в архиповском доме? Господи, какая разница, сказал внутри него кто-то прерывающимся голосом, какая разница, случайно это или преднамеренно, если сегодня уже все может быть кончено? Идут, может быть, самые последние часы, а ты сидишь зачем-то в этом чаду и размышляешь о ненужном... Он заставил голосок заткнуться и прислушался к организму. Страх не давил. Лежал себе где-то на дне и лежал, тяжелый, да, но тихий — как утонувший кит. Но ведь и правда — последние часы... и прожить их следует так, чтобы не было мучительно больно... В ответ на цитату заныли, застонали раны. Сволочь паук, хуже рыси...

— Чего так морщишься? — спросил Архипов.— Не в масть?

— Нет. С пауком врукопашную схватился.

— Елки. Тебя же лечить надо. Лихорадка свалит. Дуй в больницу, пока светло.

— Проехали уже. Сразу надо было... Теперь, если яд попал — уже всосался.

— Что ж ты, тварюга, себя не бережешь? — нахмурился Архипов.— На тебе столько всего завязано...

— Напали Петрович. Я их не искал.

— Рассказывай... В общем, учитель, иди ко мне, вот тебе ключ, Лида часов в восемь придет — тут уж ты ее одну никуда не отпускай. А сам вздремни, как удастся. Ночь будет лихая. Сколько уже не спал?

— Я помню, что ли? — Дима опустил ключ в карман.— Тебя когда ждать?

— Ну, к полуночи точно буду. И захвати заодно изделие....

Изделие Архипова, обернутое тряпкой, было увесистым. Дима взвесил на руке — килограммов шесть. Сплошное железо.

— Специально утяжелил,— пояснил Архипов.— А то отдачей плечо начисто отшибало.

— Заряжен? — спросил на всякий случай Дима.

— Патронник набит,— сказал Архипов.— Так что, если что — затвор только передерни...

— Ага. А пули — серебро?

— Серебро.

— Хорошо. Петрович. Все сделаю, как ты велишь. Но постарайся не задерживаться.

— Да постараться-то я постараюсь... получится ли? Хоть эти четыре начатых закончить бы...

— Петрович,— сказал Дима.— А не ерундой мы занимаемся, а?

— Ночь покажет,— пожал плечами Архипов.

Дима заснул, вздрогнул и тут же проснулся. Это повторялось уже несколько раз — не было сил сопротивляться сну, но и уснуть — тоже не было сил. Стараясь не потревожить Татьяну, он высвободил левую руку и поднес к глазам часы. Две минуты одиннадцатого... И тут же за стеной хрипло заворчали ходики. Звук был мерзкий.

— Ты думаешь, уже пора? — не открывая глаз, спросила Татьяна.

Дима молча провел рукой по ее волосам. Пора, подумал он. Что значит — пора? По-ра. Бессмыслица... Чуть только задержаться на чем-нибудь, присмотреться — все бессмыслица. Становится бессмыслицей. Хотя только что было наполнено смыслом. И даже преисполнено. Смыслом. Смы-сло. Нет такого слова.

— Ты молчишь. А я такая счастливая...

Я тоже счастливый, молча ответил он. Такого счастья отпускается на раз пригубить, и то не каждому. Может, именно потому, что на раз и пригубить...

— Как я тебя люблю...— прошептал он.

— А как? Вот так, да? — она, изогнувшись, потерлась об него бедрами.— Ох, как сразу сердце у тебя застучало...

— И так... и не только так... и...

— Т-сс... Иди ко мне...

— Танька. .

— А потом... это все кончится, а мы вдруг останемся... рожу тебе кого-нибудь...

— Обязательно...

— Оно же кончится... но ты только держи меня покрепче... меня надо крепко держать, я же дурная...

— Ты моя...

— Твоя... чтобы ты делал со мной, что хочешь...

А потом, когда напряжение достигло высшей точки, произошло что-то такое, чего никогда еще с ним не происходило. Он исчез. Он, Дима, человек, мужчина — перестал быть здесь и сейчас, и никакими словами нельзя было назвать то место и ту сущность, в которых он оказался. У него не было тела — и был миллион тел. Все чувства разом овладели им, будто плеснули все краски, будто заиграли во всю мощь все инструменты огромного оркестра... Это был долгий миг, за который можно успеть познать весь мир, и лишь потрясение не позволяет использовать его с этой благой целью. Но, наконец, и этот миг прошел, и Дима вернулся в свое расслабленное тело, с новой остротой ощущая нежное чужое тепло...

Его разбудило прикосновение к щеке. Татьяна, уже одетая, сидела на краю раскладушки и тонкой рукой гладила его лицо. За стеной слышались голоса.

— Сколько?. — начал Дима, но часы хрипло кашлянули, и он понял, что времени прошло всего ничего.

— Там этот блажной старик,— сказала Татьяна.— Кривошеин.

— Охмуряет? — усмехнулся Дима.

— Охмуряет. Послушать хочешь?

— Придется.

— Сейчас...— не вставая, Татьяна чуть приоткрыла дверь. В щель проник желтоватый свет лампы — и глубокий уверенный голос Фомы Андреевича.

— А как тайга-то горит, Леонида Яновна, по всей матушке Сибири полыхает, и нет спасения. Второй такой год подряд идет, а будет и третий, ибо сказано: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И будут они иметь власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и власть над водами — превращать их в кровь, и землю поражать всякой язвою...» Год им остался, год только, а потом выйдет Зверь из бездны и поразит их, и трупы оставит на улицах Великого города, который духовно называем Содом, дорогая моя Леонида Яновна, Содом, или Вавилон, или Египет, и голос с неба уже был Божьему народу: выйди из того города, народ Мой, дабы не запятнать себя грехами его, ибо грехи те дошли до неба и вопиют. В один день придут в Содом казни, и мор, и смерть, и плач, и глад, и пламя пожирающее, ибо силен Господь, судящий свой град. И цари земные, роскошествовавшие в нем, и купцы, обогатившиеся от него, горько всплачут, когда увидят дым и пепел на

месте Великого града, ибо в один день погибнет такое богатство! И свет светильника не появится в нем, и голоса живого не услышать, ибо чародеями были вельможи его, и волхвством их введены в заблуждение все народы. И в нем найдут кровь пророков и святых — и всех убиенных на земле...

— Неточно цитируете, Фома Андреевич,— лениво сказала Леонида.— Хотя и близко к тексту.

— Неточно цитировать неможно,— сказал Фома Андреевич.— Можно либо цитировать, либо излагать — что я, с Божьей помощью, и делаю. Так вот, предвидя ваши возражения, любезная Леонида Яновна, скажу: да, можно счесть, что и о Берлине сорок пятого речь идет,— видел я его и дым его обонял. Мерзок был дым... И Рим горел, подожженный Нероном,— вскоре, вскоре после того, как Иоанну откровение было. И Константинополь горел, когда базилевсы его себя ровней Богу сочли, а которые — и повыше Бога. Все грады — в едином Граде Великом заключены, и этого Града гибель Иоанн описует...

— Возможен ли конец света в одной отдельно взятой стране? — все так же лениво спросила Леонида.— Старая хохма. А у вас получается — даже не в стране, а в крошечном городке Ошерове...

— В капле запечатлен океан, любезная Леонида Яновна, и каждый человек — суть вселенная. Почему бы не быть нашему городу средоточием мира? Тем более, что подозреваю я — никакого мира там, за барьером, не существует. И, следовательно, не существовало никогда.

— Тоже не новая мысль.

— А вас интересуют только новые мысли?

— Вы правы, Фома Андреевич. Продолжайте, пожалуйста.

— Что ж продолжать? Снята давно седьмая печать, и вострубили уже пять ангелов. И отверзлись кладези бездны, и вышел дым из кладезя, как из большой печи, и помрачились солнце и воздух от того дыма...

— Так теперь очередь за саранчой?

— Именно! Но я так мню: не одной саранчи следует ожидать, а многих тварей, и иных, может быть, и в людском обличии...

Фома Андреевич замолчал, а Леонида не ответила, и повисла долгая пауза. И Дима понял, что Фома Андреевич, сам, видимо, того не желая, коснулся какой-то скользкой — в Леонидином понимании — темы. А в следующую секунду раздался тихий, но от этого не менее жуткий звук: будто по стенам дома, по потолку, по крыше провели несколько раз огромной мягкой кистью... будто дом стал пустым спичечным коробком, и кто-то тихонько, разведя краску... Потом это прошло.

Дима обнаружил, что уже стоит, одной рукой прижимая к себе Татьяну, а другой судорожно сжимая пистолетную рукоять. Шорох

этот разбудил какие-то древние оборонительные инстинкты. Осторожно выдохнув и медленно, с растяжкой, вдохнув, Дима попытался расслабиться. Вряд ли получится...

— Пойдем,— шепнула Татьяна.

Он губами коснулся ее глаз и первым вышел на свет.

Леонида и Фома Андреевич все еще стояли, глядя на потолок. С абажура, как опрокинутые дымы, текли струи пыли. В руках Леониды замерла двустволка.

— Ушло...— прошептал Фома Андреевич. Леонида молча кивнула.

Дима вдруг почувствовал, как у него все болит.

— Здравствуйте,— сказал он.

Ему показалось, что Фома Андреевич вздрогнул. Леонида улыбнулась и положила двустволку поперек стола.

— Подавил подушечку? — спросила она и хитро подмигнула.

— Смени мне бинты,— попросил Дима.

Он пыхтел, пока Леонида промывала и смазывала его раны и царапины, и слышал вполуха, как Фома Андреевич охмуряет теперь уже Татьяну. Потом, когда боль приутихла, прислушался.

— Вот, кстати, тоже феномен,— говорил Фома Андреевич.— Дом опечатанный, телефон в нем снятый, люди из дома в пропавших числятся — а позвонишь, и ответят. И знают они о нас поболе, чем сами мы. Как это объяснить с точки зрения позитивной философии? Или взять, например...

— Да все равно мне, как это объяснять! — уже не в первый раз повторила Татьяна.— Потом когда-нибудь объясним. Сейчас не об этом думать надо...

— А о чем? Уж не «что делать?» ли вопрос задавать?

— А чем плохой вопрос?

— А тем, умница вы Татьяна Ивановна, что сам по себе он бессмыслен, усечен, а потому заводит в видимый простым глазом тупик. Дабы вдохнуть в него смысл, расширим и спросим: что делать, чтобы?..— и на месте многоточия пока ничего начертать не будем, потому что оно-то, не изреченное пока, и есть самое главное. И прийти оно должно не от других людей, не от писаных истин, не от ума...

— Кажется, я понимаю,— сказала Татьяна.— Какое-то заветное желание, да?

— Близко, но не совсем... Представьте — вот вы уже умираете. Что вам позволит умереть с восторгом, умереть счастливой? Не отвечайте, не надо. Но вот в эту формулу, о которой мы говорили, обязательно следует ввести собственную смерть.

— Вот как .. О-ох, это надо долго думать...

— По крайней мере, всю жизнь. И оказывается в конце концов, что нет в этой жизни ничего важнее смерти... Потому и следует

поднимать себя над обстоятельствами, а поступки совершать по внутреннему побуждению, а не по формальной выгоде или по своду правил. И лишь пост фактум искать объяснения этих поступков — и, понятно, громоздить нелепость на нелепости... Взять римлян: они ввели такое презрительное понятие, как «скрупулезный». Скрупулюс — это был камешек, попавший в сандалию. И настоящий римлянин просто выбрасывал его и шел дальше, а грек садился и начинал размышлять над его внутренними свойствами и скрытым смыслом...

— Недавно мне приснился сон,— сказала Татьяна.— Будто я умерла. Мне иногда снится такое, но на этот раз было не так, как раньше. Я умерла и вышла из тела — с восторгом. Как вы сказали. Я его видела, это мое бедное тело, и мне было его совсем не жалко. И никого мне больше было не жалко, я будто бы сбросила с плеч огромную тяжесть, обузу, не знаю, что... Я поднималась вверх, и все вокруг было безумно скучным и серым... и совершенно бездарным. Но восторг был даже не из-за того, что я из этого вырвалась, а потому, что я уже откуда-то знала — настоящая жизнь впереди. Над миром был низкий потолок, а потом он оказался стеной с воротами — когда так летишь, все равно, где верх, где низ. Я влетела в ворота, там были какие-то коридоры и летели такие же, как я,— прекрасные, восторженные, ликующие... И мы прилетели туда, куда надо, и там было что-то настолько хорошее, что я просто не смогла запомнить. А потом мне передали, что мне нужно ненадолго вернуться, потому что у мамы здесь... ну, неважно. Надо сказать ей кое-что. И я полетела назад. А мне навстречу летели все такие же прекрасные, освободившиеся от той дряни, в которой они вынуждены были жить здесь... Я спустилась. Летала везде. Меня не видели, ведь я сама не хотела этого. Кому хотела, я показывалась. Поговорила с мамой. Все сделала, что нужно. Можно было возвращаться. А у нас дома стоит такое старинное зеркало, высокое, в раме. И я, уходя, в него посмотрелась. И увидела себя. Я была разложившимся трупом, понимаете? Лицо сгнило, проступали кости, кожа вся висела клочьями... Я даже не испугалась. Просто полетела обратно, и все. Но не помню, долетела или нет. Проснулась.

— Одевайся,— сказала Леонида Диме и похлопала его по здоровому плечу. Голос у нее был почти механический.

К трем часам ночи Дима знал о Фоме Андреевиче все. Как он, бывший минер, покалеченный почти смертельно уже после войны, выжил искусством архиепископа Луки, гениального хирурга Войно-Ясенецкого, пламенно уверовал, окончил духовное училище, был рукоположен и получил приход — и тут же усомнился. Шел пятьдесят третий год, и на высочайшей заупокойной вместо канона: «За упокой души раба Божьего...» прозвучало: «За упокой души генералиссимуса Иосифа». Это лакейство так царапнуло душу, что — Фома есть Фома — начал он задумываться и вкладывать персты в раны. Итогом стало убеждение, что Русская Православная Церковь мученически

погибла, но труп ее сохранен, оживлен и теперь кривляется на подмостках на потеху убийце-чародею. Многое о том свидетельствует... Взять, к примеру, недавний юбилей Крещения Руси. Разве же нынешней Церкви это праздник? Ни в малой мере. А истинные последователи Владимира Святого, греческих митрополитов, Сергия Радонежского — живут в лесах, крестятся двуперстием... кто вспомнил о них, кто пригласил на праздничный пир? Ни власть, ни Патриарх, ни народ. Как и не было их никогда. Беспамятство... Немало лет прожил Фома Андреевич, пытаясь совместить веру и сомнения, и это были самые мучительные его годы. Расстригшись наконец, пытался он искать истину у иных конфессий, не нашел — и остался в собственной вере, пастырем и паствой в одном лице. За три десятка лет такого бытия Фома Андреевич объехал всю страну, сменив несколько десятков специальностей: он пек хлеб, искал воду, рыл колодцы, клал печи, добывал золото, жег известь, истреблял грызунов, мыл и обряжал покойников, ловил рыбу на Камчатке и на Азове, водил грузовики, пас коров... Все эти годы была с ним жена, продолжавшая называть себя попадьей, она умерла уже здесь, в Ошерове, в одночасье, не выдержав смены ритма жизни: свой домик, корова, огород... Странствуя, Фома Андреевич все более и более проникался уверенностью, что Второе Пришествие началось и события развиваются точно так, как написано Иоанном,— другое дело, что некоторые видения Иоанна аллегоричны, а иные просто поняты им неверно. Взять железную саранчу: а как еще мог назвать монстров Иоанн, всю жизнь проживший на краю пустыни и из всех насекомых знавший лишь саранчу? Или взять, скажем...

Ходики откашлялись трижды, и тут же сверху, с чердака, донесся мягкий волосяной шорох. Снова мягкая кисть — но теперь она не ограничилась несколькими мазками, а стала двигаться медленно, завораживающе медленно — по кругу, по кругу... Доски потолка дрогнули, посыпалась пыль. Движение убыстрилось, к шороху добавились беззвучные толчки. Треснуло дерево, раздался мерзкий скрежет — гвоздем по кровле,— а потом грохот падения, сдвоенный выстрел и крик боли!

Дима, запрокинув голову, пятился к двери, пятился к двери. С потолка валилась известь. Там будто катали, приподнимали и опять роняли тяжелый каменный шар. Абажур закачался... Фома Андреевич, белый, смотрел так, будто видел сквозь потолок то ужасное, что происходит там, наверху,— видел и не мог отвести глаз. Там же Архипов, понял Дима — и, наверное, сказал это вслух, потому что Фома Андреевич, подхватив топор, метнулся к двери, в дверь — и исчез. Дима бросился следом. Двор заливал резчайший свет мощной киловаттной лампы. На чердаке ударил еще один выстрел. Фома Андреевич уже одолел половину ступенек приставной, ведущей к чердачному окну лестницы, когда оттуда, из окна, шагнул и повалил-

ся, цепляясь руками, человек,— Фома Андреевич подхватил его и на миг удержал, а подоспевший Дима принял его на грудь и вместе с ним повалился на землю. Человек был жив и весь в крови. Но это был не Архипов. Под плечом его расплылась черная лужа. Сунув пистолет за пояс, Дима выхватил нож и стал резать то, что на человеке было надето — мешковатую куртку из толстенного, едва ли не пожарного брезента и пододетый под нее теплый свитер... Рана была кошмарная. Будто бензопилой. Кровь била фонтаном. Фома Андреевич пришел на выручку — сноровисто просунул под плечо раненого ремень, сделал петлю, затянул посильнее. Автомат, отчетливо сказал раненый. Там мой автомат. Я попал в него, понял? и второй — его я тоже зацепил. Сейчас, сейчас, сказал Дима, вот мы тебя перевяжем... Громкий — пушечный — выстрел. Забивает уши. И гаснет — от сотрясения? — лампа. Луч фонарика мечется по земле и по стенам. Дима с пистолетом, присел, ствол к небу — стрелять не в кого. Фома Андреевич! — голос Архипова. Сделайте свет! Фома Андреевич взбегает к двери, поперек двора ложится желтая полоса света. Светлее от этого не становится, темнота лишь раздвигается, а не рассеивается. Но, мягко спрыгнув с дровяника, Архипов попадает в эту полосу и замирает, ослепленный. Появляется Фома Андреевич, в руках у него лампа-переноска, и застывает на крыльце в позе статуи Свободы — идти дальше не позволяет провод. Но этого достаточно — становится видно, что под лестницей лежит что-то бесформенное. Архипов, прижимая к животу свою пушку, мелкими шажками приближается к тому, что лежит, и Дима, целясь из пистолета в то, что лежит, обходит раненого и тоже делает два шага вперед, стараясь, чтобы тень не упала и не закрыла... это. Поросшую свалявшейся комьями шерстью обезьяну с крокодильей головой. Так они стояли и смотрели, надо было что-то делать, а они все смотрели. Автомат! — прохрипел раненый, его надо срочно оперировать, но все как в столбняке. Ниоткуда возникает Татьяна, в руках у нее бинты, она встает на колени и начинает что-то делать с раной. Дима, я на чердак, сипит Архипов, прикрой меня. Он сует Диме в руку фонарь, длинный, жестяной, китайский, а сам откуда-то взявшимся багром трогает чудовище, тычет его в бок, и оно переваливается на спину, грузно разбрасывая лапы; огромный толстый член торчит, как минометный ствол. Архипов то ли икает, то ли стонет, и Дима понимает вдруг, что Архипов боится ничуть не меньше, чем он сам. То есть — запредельно. Внутри у Димы кто-то зашелся в визге, и лишь тело почему-то держалось как подобает. Архипов, зацепив чудовище багром за лапу, поволок его в дальний угол двора, а Дима, придерживаясь локтями — в одной руке «ТТ», в другой фонарь,— стал подниматься по лестнице. Стой, подожди, закричал Архипов снизу, но Дима уже по пояс в окне — чердак длинный и узкий, свет почти не добивает до конца — что твой вагон. Стропила низкие, не распрямиться, какие-

то сундуки и ящики, комод, стол — архиповская старая мебель. Вон он, автомат — шагах в семи. И рядом, видимый наполовину, труп второго чудовища. Лестница трясется под Архиповым. Нет, не пущу. Иду сам... Прикрывай, Петрович. Свет его мощного фонаря расстилается над полом, верх занимает огромная тень. Пистолет в правой руке. Фонарь — в левой. Пять шагов... шесть... семь... Еще чуть-чуть — и автомат... И — медленное движение где-то на краю поля зрения. Сердце повисает. Взгляд, свет — ничего. Труп мертвей первого. Хотя... нет. Он не шевелится, но с ним что-то происходит. Непонятно... меняется что? Цвет? Форма? Странное оцепенение во всем теле, и даже тот, внутри, замолчал. Дима замер, неподвижный, понимая, что сейчас его можно просто подходить и есть. И тем не менее — нет сил шевельнуться. А чудовище преображалось: исчезла шерсть, исчезли крокодильи челюсти... и вдруг оказалось, что перед ним лицом вниз лежит нагая девушка: мертвая, изломанная, мраморно-прекрасная. Длинные, волной, светлые волосы разметались по грязному полу, и между лопаток — бескровная дыра, в которую пройдет кулак.. Ноги Димы подогнулись, он опустился на колени, и металл звякнул о металл: ствол пистолета об автомат. Этот звук подействовал, как нашатырь. Не выпуская фонаря и не отводя взгляда от трупа, Дима сунул «ТТ» за пояс и потянулся к «калашу». Краткий миг безоружности был ужасен. Не в силах повернуться спиной, он стал пятиться, отступать к окну. Осторожно! — крик Архипова, и тут же — ослепляющий удар в затылок. Слепота, звон в ушах, пороховая вонь. Задергались тени — Архипов протискивался на чердак. Нормально, Петрович, сказал Дима. Потрогал затылок: больно, но крови нет,— поднял потухший фонарь и спокойно пошел к выходу. И, высунувшись по пояс из окошка наружу, увидел то, ради чего устраивался весь сегодняшний сабантуй: тусклые фары приближающегося автомобиля.

Архипов, подавившись матом, кошкой спрыгнул на землю. Лезть на дровяник некогда, и он, непонятно как скорчившись, умостился за колодой для колки дров. Фома Андреевич осторожно опустил лампочку на крыльцо. Машина остановилась по ту сторону ворот, мотор продолжал работать, хлопнула дверца... долгие секунды — и громкой, кулаком, стук в калитку! И Фома Андреевич, кашлянув, ровненьким-ровненьким шагом пошел открывать. Дима, положив ствол автомата на нижний срез окна, прицелился поверх его головы. Сейчас он откроет и сделает шаг влево — и упадет, когда войдут все трое...

Все, сейчас.

Нет, что-то с засовом...

Снова стук и неразборчивый голос.

Наконец калитка открывается, открывается...

И входит Василенко.

Один.

И Архипов встает ему навстречу.

Василенко без фуражки, рукав кителя оторван, на плече автомат.

— Вы тут все целы? — голос сорванный, сиплый.

— Все, Федор. Нормально.

— Доктор где?

— В доме. Случилось что?

— В больницу ей надо. Фогель там уже зашился. Раненых...

— И у нас — Валера.

— Так он здесь был?!

— Н-ну... в общем, да.

— Сукин сын. Сильно ранен?

— Сильно, Федор.

— Слушай, Архипов, а что вы тут вообще устраиваете? Пальба у вас шла?

— У нас. Оборотни напали. Федор, давай отвезем Валеру, а потом вернемся за Лидой. Ее сейчас все равно нельзя трогать.

— Опять то же самое?

— То же самое.

Василенко длинно выругался.

Дима спустился вниз.

— Здравствуй, Федор Игнатьевич.

— И ты здесь, учитель...

— Пока вы говорите, он умрет,— сказала вдруг молчавшая Татьяна. Она так и сидела, положив голову раненого себе на колени.— Вы во всем разберетесь, а он умрет.

— Твоя правда, девушка,— сказал Василенко.— Беремся, учитель.

Когда его поднимали с земли, раненый вскрикнул. Застонал он и тогда, когда его втискивали в тесный салон милицейского «москвича». Татьяна села с ним, чтобы придерживать по дороге.

— Садись, учитель,— сказал Василенко.— Лишним не будешь.

Переднее сиденье было липким от крови. Дима приопустил стекло и выставил наружу ствол автомата.

Город не спал. Где-то что-то горело, над крышами летали снопы искр. Василенко вел машину медленно, их обгоняли — грузовики и легковые. По тротуарам группами шли люди, несли вещи, толкали коляски. Поблескивали стволы ружей.

— Так чем вы занимались, учитель? — спросил Василенко.

— Сидели в засаде,— сказал Дима.

— На оборотней?

— Нет. На тех гадов, которые уводят людей.

— Фью!..

— Они не пришли.

— Теперь я понял вашу возню. А еще хотел сказать вам... впрочем, чушь. Теперь ясно, это чушь. Значит, охота с подсадной сорвалась... Они убили Ловягу. Около полуночи.

— Что? Убили? Ловягу убили?

— Сунули головой в унитаз и выстрелили в затылок. Прямо в кабинете. Там у него личный сортирчик был — очень кстати...

— Господи! — сказал Дима.— Он что же — один был? Там же исполком, люди должны...

— А не было никого. Разбежались, что ли. Непонятно. Но, в общем, никого не было. А может, не видели. Может, нечего было и видеть...

Дима сидел как пришибленный. Странно — смерть этого гэбиста показалась вдруг многозначащей. Не просто смерть, одна из многих за последние дни, а знак. Неясно, чей, неясно, кому поданный, но — знак.

Не забыть позвонить, подумал он.

Перед распахнутой дверью приемного покоя стоял «уазик» «скорой помощи», и шофер шарил лучом прожектора по разломанной местами больничной ограде. Отгони чуток! — крикнул Василенко. Шофер кивнул и тронул свою машину. Качнувшийся луч вдруг выхватил из темноты что-то длинное, приподнявшееся было над забором. Тут же ударила автоматная очередь, полетели щепки. Из-за забора донесся вой. Помогай, учитель, сказал Василенко. И ты, девушка...

Втроем они отнесли раненого в приемный покой. Там был ад. Люди лежали на кушетках, носилках, на голом полу. Некоторые могли сидеть, кто-то ходил, убаюкивая боль. Кто-то плакал. Кто-то стонал, кто-то ругался. Кто-то уже умер. Пахло кровью и мочой. Старуха-медсестра сделала Валере укол. Так что, Федор Игнатьевич, сказала она Василенко, до утра на припасах дотянем — и все. Хуже, чем в войну. Хуже, старая, кивнул Василенко. Учитель, ты с автоматом — иди наружу, карауль. А ты, девушка Татьяна, пройдись по больнице, собери пустые бутылки, бензин я подвезу. Попробуем огонь...

Запасные магазины числом три нашлись в карманах огромной Валериной куртки. Перегружая их себе, Дима вспомнил наконец, кто такой этот Валера. Тот самый пропавший неделю назад милицейский сержант, о котором Архипов сказал, что он якобы попытается пробраться во внешний мир; будто бы после того, как отрубили связь, а на дорогах появились странные посты, заворачивающие назад все машины, Василенко послал одного из своих парней с письмом через тайгу... Значит, не прошел. Ясно...

Парень в штормовке и с дробовиком в руках показал Диме — встань туда! Забор был шагах в тридцати, неровно-белый в падающем из окон свете. Слева был темный сарай, еще левее — заросли. Оттуда можно было ждать нападения. Дима отсоединил магазин,

выщелкнул несколько патронов. Серебряные пули шли через две на третью. Зарядил в том же порядке и стал ждать.

Нападение началось через полчаса. Ударило несколько выстрелов, и заросли будто взорвались, вспенились — огромными прыжками, зависая в верхней точке и стремительно ныряя к земле, из них рванулись бесформенные темные комья. Тут же несколько прерывистых огненных черт сошлись там, в центре этого выброса,— взвились клубы огня. Пронзительный визг ударил по перепонкам. Не там, не там! — крикнул кто-то, и Дима уже видел, что главное не там: над крышей сарая приподнялись, посверкивая красными точками, с десяток черных бугристых туш. Дима бросил автомат к плечу и выстрелил, не целясь,— крайняя туша осела, а остальные, продолжая визжать, понеслись по скату. Тремя выстрелами он сбил еще двоих. Над самым ухом грохнул дробовик, и еще одного паука буквально разорвало пополам. Уцелевшие прыгали на землю и рассыпались веером. Дима ударил короткой очередью — еще двое покатились. Справа заработал другой автомат. Кто-то стрелял из окна больницы. Рядом разразился крик — паук опрокинул кого-то и вгрызался, задрав брюхо вверх. Очередью его разнесло и отбросило, но некогда было смотреть, что с человеком. Еще один паук, подбежав, высоко подпрыгнул, целясь в окно. Навстречу ему пальнули из дробовика — мимо! Раздался звон стекла и шум падения. Следующего паука, пытавшегося последовать за ним, Дима сбил влет. Сзади хлопнуло три выстрела, Диме рванул рукав — и под ноги ему подкатился убитый паук. В больнице, в больнице, кричала женщина, они внутри! Коридор, и снова коридор, разломанная дверь, паук, оседлавший труп — поднимается, готов прыгнуть,— Дима успевает выстрелить. Летят клочья. Там еще, еще! Дима меняет магазин, ногой сбивает болтающуюся створку двери. Палата. Мертвые. Четыре паука тупо возятся на трупах. Дима видит, как пули разносят их на части. Наконец кончаются патроны. Снаружи стрельбы тоже не слышно. Дима поворачивается, чтобы уйти, и сталкивается с Татьяной. Пойдем, пойдем, говорит он, тут уже все...

Снаружи светло — бензиновые костры. Стойте, туда нельзя, хватает Диму за руку женщина с чадящим факелом в руке. Видите, что за теми попрыгунчиками тянется... В неровном свете переливаются плывущие волнообразно нити. Там, где Дима стоял, кто-то лежит, корчась, и нити обвивают его со всех сторон. Уже все, говорит женщина и крепко держит Диму, я видела, я знаю. Уже не помочь...

Провал.

После провала: Дима, Татьяна и незнакомый мужчина с вертикалкой у окна. Кажется, второй этаж. За забором что-то горит — тускло, дымно. Несколько огненных трасс — по ту сторону вспыхивают костерки, идет треск и шипение.

— Не любят огня,— голос у Татьяны сдавленный, страшный.

Провал.

Двор — и, кажется, светает. Гнусная вонь горелой шерсти: мертвых пауков свалили кучей, облили бензином и подожгли. Клейкие нити еще плавают в воздухе, но их уже мало — это почти не опасно.

— С Леонидой-то Яновной дело пошло,— сказала старуха-сестра, принимавшая Валеру; она сидела рядом с Димой и смолила беломорину.— Золотые рученьки у докторицы, дай ей Бог здоровья... И ваш паренек поправится, поправится... сильный, красивый, такие поправляются. Я ж все четыре года на фронте была, видела, знаю. Девочка такая хорошая у него, помогает, делает все. Выходим, выходим. Невеста, наверное, его?

— Моя,— сказал Дима.

— Ай, повезло-то как! Такая девка чудная, просто слов нет. Э-эх, будь таких на округу десяток, так и беды, мобыть, не стряслось бы...

— Много убитых? — спросил Дима.

— Много, милок. Не считала, но много. А сколь по своим домам лежат-дожидаются... За грехи напасть и кара лютая... а подумать — детки-то причем? Им-то за что такие муки? Неправильно это.

— Неправильно,— согласился Дима.

— Тот же Содом взять... Господь сказал: помилую, если сыщутся десять праведников. А кто ж их искал? Ангелы взаперти у Лота всю ночь просидели, вернулись, сказали: нет десяти праведников. А дети невинные и младенцы? Они не праведники ли? Не может же быть, чтобы в городе десяти младенцев не нашлось... Нет, неправильно это. Нельзя карать. Нельзя никогда.

Подошел невысокий человек в длинном кожаном плаще. Оружия у него не было.

— Извините, вы Вышнеградский? — наклонился он к Диме.

— Я, а что?

— Отойдемте на пару слов...

Голос его показался Диме смутно знакомым. Но голова отказывала начисто — ни думать, ни вспоминать не хотелось.

— Я Зайчиков,— сказал человек.— Из краевого у-ка-гэ-бэ. Видите ли, на календаре покойного капитана Ловяги последняя запись была такая: «Поговорить с Вышнегр.» То есть с вами. Поэтому...

— Постойте,— оторопело перебил Дима.— Вы-то сами откуда взялись?

— Я здесь уже неделю.

— Вот оно что... Тогда понятно.

— Так вот, насчет капитана... Курить будете?

— Бросил.

— Правильно сделали...

Тот, который назвал себя Зайчиковым, вытащил из пачки сигарету, зубами, оскалясь, зажал фильтр и поднес к лицу зажигалку. Зажигалка протяжно щелкнула и вдруг вся засветилась глубоким малиновым светом. И сразу же — как ударили по голове — ничего на свете не стало, кроме этого малинового света. Земля исчезла из-под ног, и воздух сделался пустым. Дима повис над горящей бездной, рухнул вниз — и прошел ее насквозь.

Он твердо стоял на ногах, а вокруг с шипением испарялись только что бывшие перед глазами картины, уступая место другим, тем, что скрывались за ними. И все, что он помнил, съеживалось и сворачивалось свитком, открывая другую память. Но не исчезало полностью...

— С возвращением, сайр,— сказали рядом.

Гэбрил обернулся. Голова закружилась, повело в сторону, он переступил, чтобы не упасть, и натолкнулся на магнуса Зоунна, квинтала «пси-лавверов». Зоунн был в гражданской форме и без оружия.

— Простите, магнус,— сказал Гэбрил.— Оступился.

— Не отвлекайтесь, сайр,— строго сказал магнус.— Процедура. Перечислите уровни, на которых побывали.

— Самех, Мем, Йод, Вав, Зайин...

— Вав, а затем Зайин — именно такая последовательность?

— Да, магнус. Я думаю, мониторинг подтверждает...

— С уровня Вав мониторинг прекратился, так что вся надежда на вашу память, сайр. Два часа вам на сон, час на восстановление. Затем — вас ждет тоун Джаллав.

— А что случилось? Я понял так, что меня отозвали экстренно...

— Во-первых, вас еле нашли. Это была моя идея — поискать вас в уровне Зайин. Как вас могло забросить из Вав на более высокий уровень — непонятно. Так что с вас пиво, сайр. Шучу, конечно. Во-вторых, не вернулось уже четыре разведчика, с мониторингом творится невообразимое... Постарайтесь отдохнуть как следует. Разговор будет долгим.

6. Микк

■

— Забываете старика,— бурчал Дед, провожая Микка и Кипроса в недра своей большой, но донельзя захламленной квартиры.— Не звоните, не приходите, как и не было вас никогда...

— Закрутило,— оправдывался Кипрос,— что делать, жизнь-не жизнь...

Потом, когда край стола удалось расчистить от книг, газет и почему-то географических карт и на освободившийся пятачок водрузить картонную канистру рейнвейна, пакет с бутербродами и пожел-

тевшие от времени фарфоровые стаканы с полустершимися императорскими львами, когда расселись вокруг и с удовольствием посмотрели друг на друга, когда наконец наполнили стаканы и отпили по глотку за здоровье хозяина дома, Дед сделался серьезным и спросил:

— Что, ребята? Случилось что-нибудь?

— Случилось,— сказал Кипрос и начал рассказывать — и за себя, и за Микка.

Дед молчал и слушал, время от времени пригубляя стакан. Микк следил за тем, чтобы стаканы не пустели, и тоже слушал. В чужом изложении вся история казалась совершенно невозможной. Кипрос говорил медленно, обстоятельно — делал доклад. Наконец он замолчал.

— Это все, что у тебя есть? — спросил Дед.

— Пожалуй, все. Возможно, есть и другие факты, но я пока не могу сопрячь их с этой темой.

— Например?

— Н-ну, например... например, один знакомый психиатр рассказал о недавно возникшем синдроме: у людей возникает чувство, что один и тот же день они проживают два, а то и три раза. Не «дежавю», а наоборот, дожив, скажем, до вечера, они возвращаются в утро того же дня и получают возможность прожить его по-другому. Память о предыдущем проживании затуманена, но сохранена. Похоже, Микк столкнулся с этим же...

— Хорошо .. Ладно, ребята, давайте посмотрим, что есть у меня. Кип, сними-ка с полки вон те папки. Где-то это все там...

Впрочем, нужная папка нашлась совсем в другом месте. Дед сдул с нее пыль, открыл. Газетные вырезки, письма, выцветшие школьные тетрадки, сшитые черными нитками, бланки...

— Ага, вот... это я составлял год назад. Так, а где же очки?..

Очки не сразу, но нашлись.

— Итак, итак... Год тысяча девятьсот двадцать восьмой, эпидемия «лихорадки Вильсона». Возбудитель не выявлен, путь заражения не выявлен, смертность около сорока процентов. Однако выжившие после нее отличаются отличным здоровьем и ростом общих жизненных сил... женщины, в частности,— высокой плодовитостью. Считавшиеся бесплодными рожают детей... этому в сущности и посвящена статья. «Терапевтический вестник», тридцать третий год. Там же, в тридцать восьмом году, те же авторы: наблюдения за детьми, родившимися у переживших эпидемию... разного рода аномалии... В этом же году оба автора, Гейнс и Аум, казнены как отравители. С сорокового по восьмидесятый год — великое множество публикаций о неких людях-мутантах, наделенных различными необыкновенными качествами. Однако в научной литературе таких публикаций нет вообще. Что странно, конечно, поскольку феномен имел широчайшее распространение. Зато в сельскохозяйственных и биологических журналах

довольно много сообщений о появлении всяческих странных форм в растительном и животном мире... впрочем, без анализа и без обобщений. Опять же, какой может быть анализ, всех косили под газон... только самоубийца хотел обратить на себя внимание... Впрочем... впрочем, самоубийцы были. Тридцать второй год, доктор биологии фердинанд Хелем, монография «Резервная система наследственности», а в том же году доктор повешен, тираж книги конфискован и уничтожен, но несколько аннотаций и рефератов найти удалось... Трактует появление новых форм растений и животных как активизацию некоей резервной системы наследственности под действием стрессовых факторов, в основном — техногенных. Тридцать четвертый год, некто Снарб: разъезжает по городам со зверинцем, который называется «Монструариум». Демонстрируются, в частности, гибриды кошки и собаки, осла и свиньи. Снарб утверждает, что делает это с помощью присущей ему витальной силы. Тридцать восьмой — тридцать девятый годы: из разных мест сообщения о крестьянах, выращивающих на своих полях доселе неизвестные культуры... и о том, как с ними расправляются соседи. Сороковой и сорок первый годы: невиданное грибное изобилие. Я сам помню: это было что-то невообразимое. В городе — мостовые поднимались. Ну, дальше война, потом все эти послевоенные приключения... Шестьдесят седьмой год, «Тайна форта Анджейл» — документальная повесть Севастьяна Коруня, известного в те годы детективщика. Человека с очень большими связями в УНБ. Якобы в сорок третьем году в одном из юго-восточных укрепрайонов было собрано несколько сот так называемых мутантов — то есть людей с экстраординарными способностями. Сделано это было под эгидой Имперской контрразведки и так называемого Корпуса кавалергардов... Чем занимались там мутанты — неизвестно. Хотя, если исходить из того, что вообще известно о делах кавалергардов,— они пытались создать новую реальность...

— Не понял,— перебил Кипрос.— Как это?

— Подробности письмом,— усмехнулся Дед.— И вообще — это мои личные предположения... В сорок восьмом году, за две недели — подчеркиваю: за две недели до капитуляции форт Анджейл окружила штурмовая бригада и курсанты егерской школы. Они уничтожили всех — включая охрану. Потом что-то сделали, и форт затопило. Союзники пытались проникнуть в него, но у них ничего не получилось: мутная вода и множество мин. Уже после выхода повести состоялось несколько экспедиций туда — безуспешных. Люди гибли, а найти ничего не удавалось... Интересно другое: по этому же сценарию развертывались события в других местах и в другое время: инцидент с лайнером «Меркурий» в шестьдесят третьем, карантин в бухте Успенья в шестьдесят четвертом, армейская блокада дельты Пярны в семьдесят первом, Каперский инцидент восемьдесят второго года, очень странная и, видимо, попадающая в этот перечень катастрофа в аэропорту имени

Мирдвича в девяносто четвертом, события в Платиборе в двухтысячном... этому я был свидетелем... наконец то, что происходит в Альбасте последние три года.

Дед замолчал, перелистывая бумаги в папке. У него были очень сухие тонкие пальцы с коричневыми ногтями.

— С тех же примерно годов, с двадцатых, медленно идет процесс, который я назвал истощением образности. Объясняю: мир, наблюдаемый нами, представляет собой не более чем описание мира, существующего в действительности. Я понимаю, что сейчас вокруг этого мы можем затеять спор и спорить до посинения наших трупов. Поэтому просто прошу принять это утверждение как аксиому, тем более что никакая иная точка зрения к результату нас не приблизит...

Микк почувствовал вдруг, что смертельно устал. Не было сил продолжать слушать эту невозможную лекцию, тем более, что — Микк отлично знал — Дед мог говорить часами. Черт знает, приближало это к решению или отдаляло?.. Или не имело значения вообще и было пустым мудрствованием? Микк перестал сопротивляться, уснул, вздрогнул и проснулся.

— ...напоминает обеднение языка. Мой дед беседовал с дьяволом, как я — с вами. Душу не продал, счел слишком высокой платой за... впрочем, неважно. Мать занималась тем, что отводила ворожбу и проклятия,— причем одно время, я помню, это было главным источником доходов. На моих глазах исчезли домовые. Самые страшные заклятья потеряли силу. Духов стали вызывать для развлечения — и являлось что-то потешное. Мир стремительно упрощался, теряя всю свою нерациональную сторону. Правда, во время войны был какой-то не совсем понятный всплеск... то ли сильные эмоции слишком многих людей так подействовали, то ли те ребята в форте Анджейл... но на короткое время все вернулось. И снова кануло — уже окончательно. Но оскудение коснулось не только надрацио. Оно начало распространяться на все прочее. Это почти невозможно объяснить — но мир упрощается. Из него постоянно что-то пропадает. Причем эти исчезновения немыслимо трудно заметить. То, что остается, тут же затягивает брешь. Понимаете, это исчезновение не предмета, а понятия. Понятия о предмете. Раз нет понятия, то и потери не чувствуешь.

— Но это же естественно,— сказал Кипрос.— Что-то появляется, что-то должно исчезать...

— Я не об этом. Совсем не об этом...— Дед снова зашелестел бумажками.— Вот пример. Школьные сочинения тысяча девятьсот семьдесят восьмого, статистическая обработка. Вольная тема. Гимназисты начала века на сто человек использовали семьдесят шесть фабул, суммарный словарный запас — шестнадцать тысяч слов. Гимназисты семьдесят восьмого года — одиннадцать фабул на сто

пишущих! Словарный запас — шесть тысяч пятьсот. Сочинения на темы литературных произведений: из ста гимназистов девятьсот восьмого сорок три вполне отчетливо изложили и прокомментировали «Орох» Вильденбратена; в семьдесят восьмом — ни один! Многие пересказывали содержание, но никто не мог сказать, о чем, собственно, писал классик. И дело не только в хреновом преподавании, а просто мир упростился и многое из написанного перестало сопрягаться с реальностью. Вымирает поэзия — тот уровень связей, на котором она существует, для современного человека почти неразличим. Короче, наш мир оскудел до невозможности... и, мне кажется, поскучнел. Для описания жизни современного человека нужно совсем немного слов...

— А причем все это? — спросил Микк, чтобы хоть собственным голосом отогнать дремоту.

— Вот к этому я и перехожу. Кстати, вы обратили внимание, как часто мы используем слово «это»? Как часто повторяемся? Как часто в новостях нам сообщают одно и то же, только разными словами? В современных книгах — тоже сплошные перепевы и повторы... а это значит, что люди так видят и воспринимают мир. И от этого никуда не деться... нам не выйти за пределы языка — языка, которым наше сознание описывает то, что в него проникает.

— Получается так, что наш разговорный язык — это производное от того внутреннего языка... я правильно понял? — подался вперед Кипрос.— И видимое его обеднение — это признак того, что беднеет внутренний язык?

— Я не стал бы называть его производным,— сказал Дед.— Там более сложная зависимость. В сущности, каждый человек владеет минимум тремя языками: языком восприятия — которой позволяет сознанию перешифровывать поступающую от органов чувств информацию, языком общения — ну, это понятно, и языком перевода с языка общения на язык восприятия. Не запутались?

— Нет,— сказал Кипрос. Микк промолчал.

К чему он ведет, интересно, подумалось ему. Где-то ведь все то, что рассказали мы, и все то, что говорит он, должно пересечься. Но, черт возьми, где? И Кип... какой он сегодня странный. Пропала женщина, к которой он был, в общем, неравнодушен. И что? Волочет меня к этому заумному старику... и опять непонятно — зачем? С целью окончательно добить мои мозги?..

— ...мозга не снизилась,— услышал он голос Деда.— И какой тогда вывод мы можем сделать из всего сказанного? Ну, парни? Машина работает, как работала, горючее жрет, как жрала,— а мощность падает и падает? Значит, часть мощности уходит налево, так?

— Получается, что так,— медленно сказал Кипрос.— То есть...

— То есть мозг каждого из нас помимо своей основной работы делает что-то еще, неподотчетное сознанию. И со временем доля этой работы становится все больше и больше. И я подозреваю, что она давно перевалила за половину.

— И что это за работа? — спросил Микк. Вся сонливость куда-то исчезла.

— Участие в коллективном разуме.

— И всего-то? — пожал плечами Микк.— Эта мысль обсасывается уже миллион лет.

— Не могу согласиться. Обычно под коллективным разумом подразумевают сумму всех более-менее взаимодействующих сознаний. В нашем же случае...

— Я понял,— сказал Кипрос и посмотрел на Микка.

— Я, кажется, тоже понял...— помолчав, сказал Микк.— И что из этого следует?

— Это только одна сторона дела. Не зря же я так долго рассказывал про мутации и прочее. Я имею все основания предполагать, что, помимо коллективного разума человечества... прошу прощения, я перебью сам себя. Разум этот существует в мозге, состоящем из нервных клеток, роль которых играют наши собственные мозги, вот эти,— Дед постучал себя костяшками пальцев по черепу,— и связующих путей, а именно: всех форм обычного общения, плюс почта и прочие телефоны, плюс компьютерные сети, плюс сенситивные средства. Так вот, помимо этого разума существует другой, включающий в себя информационные системы растений, насекомых, прочей живности — и некоторых людей. Тех, которые — помните? — так хорошо умели с этой живностью обходиться... Возможно, люди эти включены и в ту и в другую систему... тем им труднее приходится...

Дед помолчал, глядя куда-то мимо всего.

— Потому что оба эти разума бьются сейчас насмерть.

Что-то, медленно поворачивавшееся в голове Микка, со щелчком встало на место.

Он зачем-то поднялся на ноги, стоя налил себе полный стакан вина и стоя же выпил до дна. Война, подумал он. Конечно же, война. Как я не понял раньше?.. Логика войны, да, логика войны так и проступала сквозь все происходившее, и непонятно было лишь — кто с кем? Так... и что же теперь делать? Быть марионеткой, солдатиком — или... или что? Разве есть выбор?

— Интересно получается...— протянул Кипрос.— Если так... да. То есть... хм. Секунду. Связь между людьми и людьми осуществляется понятно как. А между людьми и... м-м... биосферой?

— На эту тему было много работ,— сказал Дед.— Но все не слишком убедительные. Хотя ясно, что каким-то материальным носи-

телем информации стороны обмениваются. Известно например, что растения чувствуют настроение человека...

— Ну да,— кивнул Кипрос.— А те люди, значит, ни о чем таком не подозревают. В то время как противная сторона...

— Исчезнувшие,— прошептал Микк.

— Исчезнувшие? — поднял брови Дед.— Не думаю. Скорее всего, их просто сожрали. Те твари, которых ты препарировал, Кип. Иначе почему такая локализация исчезновений, почему только деревянные дома? С другой стороны... мутантов ведь уничтожали просто варварски. Так что не исключено... э-э... что причиной было...

— Это раньше,— сказал Микк.— А сейчас?

— Кодоны,— сказал Кипрос.— И эрмеры...

— Точно,— сказа Микк.— Кодоны возникают в информационных сетях. И тогда получается, что этот самый общий интеллект генерирует их именно для проверки ячеек. Если реакция нормальная — свой. Если же...

— Тогда считается, что его убили в интересах безопасности граждан,— подхватил Кипрос.— И что интересно — так оно и есть на самом деле. Во всех смыслах.

— Суки...— Микк сам не знал, кого он имеет в виду. Вдруг навалилась чернота. Дыхание перехватило. Острый запах разрытой земли и другой, ни на что не похожий резкий запах, пробуждающий какие-то древние, еще дочеловеческие воспоминания, наполнили собой воздух. Призрачный холод коснулся лица. И — остановилось время.

Это было так внезапно и так страшно, что Микк закричал.

От крика осыпались и стали пыльными холмиками тела Деда и Кипроса. Мгновение спустя мягко развалился стол, за которым сидели, ящики, шкафы и стеллажи, громоздившиеся вокруг, двери, ведущие в другие комнаты, и то, что стояло за этими дверями. Беззвучными медленными водопадами стекли на пол книжные полки и антресоли, ковры и картины. По колено в пыли, Микк стоял один среди четырех стен, перед тремя дверьми, ведущими Бог знает куда. За окном без переплета и стекол висела непроницаемая мгла.

7. Мишка

■

Наконец настала та ночь, когда салабон Мишка Грачев ушел в побег, разом поставив жирный крест на всей своей никому не нужной салабонской жизни. Он давно знал, что эта ночь когда-нибудь настанет, и все равно она настала неожиданно, вдруг, и поэтому с собой у Мишки было только два десятка черных сухарей, немного соли, банка свиной тушенки и три коробка спичек. Он сознательно шел безоружным; штык-нож не в счет, а к гранате, взятой на последний случай, отношение было особое. Не как к оружию. Другое.

Мишка не мог вспомнить, когда именно понял, что уйдет. Вряд ли в учебке, просыпаясь в грязи и вони серых десятиместных палаток — и погружаясь в гнойный бред первых армейских недель. Тогда он давил в себе тоску и уверял себя, что перетерпит. Да, тогда казалось, что можно перетерпеть. Что трудно сейчас, а потом будет лучше. Каждую ночь шли разборки. Тем, кто успешнее давил других, цепляли лычки.

Потом их, воняющих ненавистью и страхом, загрузили в гремящее железное брюхо «семьдесят шестого». Через три часа, вывалившись под другое небо, среди каменных гор, Мишка на минуту подумал — поверил,— что может быть другая жизнь — как определение всему предыдущему.

В этот же день Сашка Челганов снова бил его в туалете, и снова Мишка сумел устоять — пожалуй, единственный в отделении. Он с детства хорошо держал удар.

Через неделю Сашка сгорел у него на глазах: выстирал хэбэ в бензине — от вшей — и, не досушив, надел. И пошел покурить...

Высокий голос муллы возникал каждое утро. К нему невозможно было привыкнуть.

Температура на солнце доходила до семидесяти. В один из дней от тепловых ударов двое умерли, а сержант Байгушев сошел с ума. Это был тот день, когда пропал замполит. Вот только что его видели — и все. Среди бела дня. Среди дурманной, как анаша, жары.

Белые горы стояли слева. Белая пустыня лежала справа. На закате соль сверкала, как стекло.

То, что нашли от замполита, уместилось в полиэтиленовом мешке.

Перед рассветом роту затолкали в вертушки и высадили на горном пятачке. Ну, Грач, если звякнешь...— Ряшкин поводил у Мишки перед глазами пятнистым кулаком. Мишка молча попрыгал. Ряшкин был из невредных дедов. Не то что Титенко. Или Амиров.

Весь долгий спуск Мишка видел перед собой только спину Ряшкина и его же сапоги. Ступать надо было след в след.

Все произошло одновременно: распахнулось ущелье, и солнце появилось из-за вершин, и ударили первые выстрелы — вдалеке. Кишлак, зажатый с трех сторон горами, лежал перед ними, а по ту сторону кишлака, по полям — дымили БМП и крошечные серые фигурки, появляясь и пропадая, разворачивались в редкую цепь.

Над самой головой с грохотом пронесся «крокодил», и тут же, чуть в стороне и выше — еще один. Белый сварочный огонь засверкал среди домов, мгновенно вспухая, багровея и обволакиваясь жирным дымом. «Крокодилы», полыхнув отраженным от лопастей солнцем, развернулись и, опустив носы, пошли назад, как бы принюхиваясь к тому, что еще осталось на земле. От одного потянулись

дымные трассы, и там, где они касались домов, вверх летели пыль, земля, дерево, камни...

В реве и грохоте пулеметная очередь почти затерялась, но вспышки на борту ближнего «крокодила» увидели все. Что-то отлетело от вертолета и стало падать. Сам он задрал нос и, пустив под себя струю сизого дыма, завертелся на месте — будто в поисках обидчика. Второй «крокодил» резко набрал высоту, завис, развернулся, опустил нос... Теперь Мишка видел его лицо в лицо: пустые глаза турбин, опущенные книзу крылышки — как линия покатых плеч... Ложись! — заорал кто-то и толкнул Мишку в спину. Все покрыл гром. Земля ударила в грудь. По каске барабанили мелкие камушки, а тела Мишка не чувствовал. Но встал. Оказался на ногах. Над скалами слева — метрах в пятидесяти — расплывалась туча. Бегом! Бегом! Подбитый вертолет опускался на дома. Второго уже не было в небе — ушел. Подбитый, сильно дымя, сел на улицу и завалился на бок — лопасти, ломаясь и взметая пыль, ударили по земле.

Что было после — Мишка помнил плохо. Летела под ноги каменистая земля, и колючие кусты не цеплялись почему-то, а пропускали навылет, и качались навстречу утонувшие в зелени белые лачуги — а потом, как-то сразу, его окружили покатые дувалы — слепые стены без окон. Солнце заливало все бешеным светом, а впереди вставала стена черного дыма. Маленький ослик дергался в пыли. Уже три «крокодила» утюжили небо. Внезапно Мишка понял, что давно не слышит ни звука — и, наверное, потому ничего не понимает. Солдаты выбивали двери, взмахивали рукой — и иногда из дверей вырывался кто-то бесформенный, черный — и оставался комком у порога. В узком окошке под самой крышей дома, запиравшего улицу, что-то сверкало — и надо было лежать и притворяться мертвым, как те двое, что шли чуть впереди. Потом Мишка оказался в саду, среди деревьев и лоз, и Ряшкин с черным лицом вел его за собой.

За невысоким забором они чуть не провалились в яму, полную живых неподвижных лиц,— и Ряшкин, тесня Мишку, отходил и отходил назад, а потом знакомо махнул рукой, и в этот момент Мишка увидел старика в синем халате и белой чалме, старик медленно-медленно поднимал к плечу длинную винтовку и наклонял голову к прикладу, а потом винтовка плюнула белым дымом, и Ряшкин исчез, а в яме вспыхнул белый огонь и погас, и когда он погас, Мишка почувствовал, что там не осталось ничего живого, будто что-то замолчало в нем самом, а со старика слетела чалма, и он, воздев руки, стал валиться назад, а автомат все еще бился в мишкиных руках. Дальше шел настоящий бой. БМП горела, своротив угол дома, а другая, прячась за ней, била из пушки куда-то сквозь чадный соляровый дым. Потом бешеная стрельба началась где-то сзади. Подбитый вертолет тоже горел, а оба летчика без голов валялись

посреди улочки, рядом с чем-то настолько обугленным, что и не понять, кому эти тела принадлежали раньше: мужчинам, детям или женщинам. Конечно, им за летунов по миллиону платят, сказал кто-то, не то что за нас, идиотов,— по полста... Это не война, почему-то подумал Мишка именно в те минуты, преодолевая странную глухоту, не позволявшую слышать себя. Он еще не знал, что придет на смену слову «война» — но что-то же должно было прийти...

Мусульманский полумесяц висел в центре неба.

Даже небо нерусское, и знакомые созвездия куда-то исчезли...

Побег был предприятием смертным.

Нельзя попадать к своим — это трибунал и дисбат. То, что рассказывали о дисбате, было страшнее всего.

Нельзя попадать к местным афганцам: из страха и из корысти выдадут, продадут за деньги или поменяют на цинку патронов или на бензин. Такое уже бывало — правда, решали все, не вынося сор из избы. Трудно сказать, было ли это лучше дисбата.

А нужно, держась караванной тропы, пройти километров сто на юг и там попробовать сдаться тем, которые приходят из Пакистана. Шанс выжить — один на миллион.

Ничего другого судьба ему не оставила.

...Двое держали Мишку за руки, а ефрейтор Амиров коротко ударил его в солнечное сплетение — и, когда Мишка повис, задыхаясь, коленом врезал ниже пупа — так, что отнялись ноги. Потом, лежащего, его обоссали, стараясь попасть в лицо. Ладно, пока все, сказал Амиров, остальное дома. Костя, глаз с него не спускай...

Под ногой шевельнулся камень. Куда-то вниз с тихим шорохом посыпалась щебенка. Мишка замер. Предчувствие пули сдавило затылок. Лиловый свет обрушился сверху — и Мишка, сжавшись, бросился в черную яму, открывшуюся у его ног. Хлопок и шипение ракеты догнали его...

Падал он долго.

Очнувшись, никак не мог понять, что с ним случилось и где это он находится. Лежать было удобно и не хотелось шевелиться. Откуда-то проникал пепельный свет, касаясь невзначай причудливых сводов. Перед лицом чернела глубокая клякса с одинокой звездой в центре. Последней надеждой казалась та звезда. Миллионнолетняя толща холода отделяла ее...

А потом Мишка услышал шаги. Сдвоенные, вперебой, тяжелые и уверенные шаги тяжелых и уверенных людей. Он не шевельнулся, только скосил глаза. И увидел, как два силуэта пересекли пятно пепельного света и пропали. Неясный ужас остался после них — как запах табака.

Он досчитал до ста и только после этого стал подниматься на ноги. Рыхлая глина не хотела отпускать. Острая боль пронзила лопат-

ку — Мишка перевел дыхание и все же встал прямо. Банка, догадался он; банка в вещмешке... хорошо, не по хребту... Он стоял в невысокой сводчатой пещере. Прямо уходил, изгибаясь, узкий коридор: из него и проникал сюда этот слабый свет. Похоже, что в нескольких шагах отсюда коридор этот пересекался другим, поперечным, темным. Мишка отряхнул с себя остатки глины, поправил мешок, пошевелил лопаткой: было больно, но терпимо, в первый раз боль взяла только неожиданным своим появлением,— и двинулся вперед.

Действительно, был поперечный коридор, и слева, откуда шли те двое, доносился невнятный гул, угадывался далекий красноватый свет и шел теплый, пахнущий чем-то механическим воздух. Мишка не стал задерживаться и торопливо дошел до поворота пепельно-светлого коридора. Повернул, скрылся от возможного чужого глаза и прислонился к стене. Почему-то забилось сердце.

Стало светлее — будто совсем рядом было окно, выходящее в пасмурное утро. Уже стремясь к чему-то, уже заранее открываясь, Мишка сделал еще несколько шагов...

Перед ним были ступеньки, старые, стертые ногами, почерневшие ступеньки лестницы его родного подъезда, и деревянные перила, крашенные темно-зеленой бугристой краской, и серый половичок, аккуратно расстеленный... и пахло мокрым деревом, и мокрой пылью, и мокрой мешковиной половой тряпки — Марья Петровна ушла минуту назад... Мишка вытер рыжие от глины сапоги и стал подниматься вверх, и третья снизу ступенька заскрипела, как скрипела она всегда. А на площадке у батареи сидела, съежившись, голая девочка лет четырех — и Мишка неведомо как понял, что на самом деле ее здесь нет, она сидит на много километров и много лет отсюда, но видеть ее можно и здесь — только видеть, но не говорить с нею. Он остановился, не зная, что нужно делать, а девочка вдруг стала удаляться, удаляться — не уменьшаясь, не исчезая, а просто предъявляя все разделяющее их время и расстояние,— и Мишка вдруг смутился и быстро шмыгнул мимо — и уже через ступеньку преодолел вторую лестницу и ткнулся в свою дверь.

Она открылась легко, незапертая, и от ворвавшегося сквозняка закружились по углам пушистые спиральки домашней нетронутой пыли. На вешалке висели старые пальто и куртки; с полочки для шапок свешивался длинный коричнево-зеленый шарф. Лампа в выцветшем пластмассовом колпаке горела слабо, вполнакала. Мишка стоял не пороге своего дома, не решаясь сделать последний шаг...

«Случай на мосту через Совиный ручей» назывался тот рассказ, значит, вот оно как бывает, значит, в меня все-таки попали... Мишка поднял руку — потрогать затылок, запоздало испугался — на миг все заледенело — иллюзии: под пальцами теплые сгустки и осколки

костей... Нет, затылок был стрижен и цел. Он постоял еще немного, уверил себя, что готов ко всему, и вошел в дом.

Ничто не исчезло.

Тогда он закрыл за собой дверь.

Из ванны он выбрался совсем другим человеком. Подумаешь, ржавая вода из горячего крана... Растираясь колючим слежавшимся полотенцем, он еще раз попытался заставить себя подумать о том, что происходит, и не смог — и решил отказаться пока от этих попыток. Надел серые застиранные плавки, новые носки, старенькие, но чистые вельветовые штаны светло-кирпичного цвета и махровую белую с зеленым футболку. Забытое чувство: прикосновение своих вещей...

Чайник, конечно, уже готов был взорваться. И в кастрюле осталось воды на самом дне. Мишка, ухмыльнувшись довольно, долил воду и в чайник и в кастрюлю — и сел на свой стул в углу, положив локоть на стол. Клеенка показалась холодной, как железо.

Свет тускловат... или просто так кажется? И на улице — кромешная тьма. Надо бы выключить свет, подумал Мишка, и тогда посмотреть в окно — но не двинулся с места. Наконец чайник зафыркал. Преодолевая лень и ломоту, Мишка встал, ополоснул заварник, высыпал в него полпачки зеленого — другого не нашлось, залил кипятком и набросил сверху полотенце. Тут же закипела и вода в кастрюле. Пельмени смерзлись в ком, он поковырял этот ком ножом, разобрал его на фрагменты и бросил то, что получилось, в белый кипяток. Посолил, закрыл крышкой, убавил пламя. Быстро, чтобы не передумать, шагнул к выключателю и погасил свет.

Да, темнота за окном была не сплошной. Просто — как он мог это забыть? — до пол-окна поднимался близкий брандмауэр, а за ним еще кусок пространства занимала глухая крыша магазинчика речного ОРСа. А вот поверх крыши было что-то смутно видно: какой-то отсвет на низких облаках, очень далекие и очень медленные искры, всплывающие в небо... Он долго вглядывался во все это, но ничего другого не увидел. Потом за спиной зашипело, и дважды отраженный синий огонь стал желтым. Мишка вернулся к плите, сдвинул крышку и подул, сгоняя пену.

И, не включая свет, сел в свой угол.

Все-таки умер, подумал он. Или умираю. И мне чудится, что я дома. А может быть, я так и проживу здесь до старости?.. Он задохнулся от непостижимости этой мысли. Но тогда... Танька?..

...А почему ты так уверен, что умрешь, спросила она однажды. Только потому, что вокруг умирают другие? А если все это лишь придумано для того, чтобы ты поверил, что и с тобой такое должно случиться? Если это специально тебя сбивают с толку? Зачем, спросил Мишка. Допустим, для того, чтобы ты считал каждый день.

Я все равно не считаю. Подсознательно — считаешь. Допустим, сказал Мишка, а что из этого? Что потом? Потом тебе пожмут руку и поздравят с успешным прохождением дистанции. Неинтересно, сказал Мишка. Без смерти как-то неинтересно. То есть ты считаешь, что все это — Танька обвела рукой вокруг себя — всерьез? Мишка кивнул. Удивляюсь я тебе иногда, сказала Танька. Без смерти все равно ничего не получается, упрямо сказал Мишка...

Когда это началось? В шестом классе? Или в седьмом? Когда мы в первый раз забрались в темный подвал и при свете фонарика стали вслух читать... не с Бирса же начали? И не с Эдгара По? А, помню: «Железная рука Геца фон... фон...»... забыл. Валленштейна? Кажется, так. Жуткая вещь. И что-то еще из того замечательного томика. Потом Танькина мать все это изодрала и выкинула: и Бирса, и По, и бээсфэшку... Дура чертова. И била Таньку, и запирала... и гадости всякие говорила. Она думает, мы с тобой тут пакостями занимаемся, сказала Танька, она другого ничего придумать не может. А они долго-долго ни о чем таком и не помышляли. Читали страшные истории, потом начали сами придумывать. Рассказывали во дворе. Ох, как их слушали! Про страну, которую захватили упыри и из всех людей делали или ходячих мертвецов, или таких же упырей,— и как настоящая принцесса этой страны пыталась их победить... Да, это было круто. И про дом, из которого не было выхода, а был только вход. И про то, что на всей Земле настоящих людей только семь человек, а все остальные — придуманные ими. Но некоторые из этих придуманных догадались, что они придуманные, и научились находить настоящих и гипнозом добиваться от них желаемого...

Пельмени выкипели и зашипели, и только тогда Мишка вспомнил о еде. Он выскреб их в тарелку, полил уксусом — и съел уже половину, когда сообразил: пельмени были не те, что он бросал в кипяток! Он бросал магазинные, да еще смерзшиеся и кое-как разломанные — а на тарелке лежали домашней лепки, похожие на планету Сатурн, аккуратные и отдельные. Но и поняв это, он съел все.

Значит, так, да? Значит, по моему велению... Он обвел взглядом кухню, пытаясь найти фальшь. Нет, все настоящее... как настоящее. Тогда он уперся взглядом в бутылку с уксусом и напрягся, пытаясь превратить ее в... он не мог придумать, во что. Он не мог на этом месте представить ничего, кроме бутылки с уксусом. Потом он услышал, как скрежещут его зубы, и расслабился. Бесполезно... все схвачено, как бетоном... Сил уже не было. Кое-как он встал, налил себе чашку чая, выпил полутеплую вяжущую жидкость — и пошел в свою комнату.

Ему показалось, что в большой комнате стоит тонкий запах тления.

Он толкнул дверь — и вошел. К себе. Спустя столько лет...

Было аккуратно прибрано и расставлено по местам так, как никогда не было при жизни. И была кровать, застеленная по линеечке. В учебке рассказывали, как в казармах заставляют заправлять кровати. Мишка ни дня не жил в казарме. Даже не знал, как они выглядят. У него еще хватило терпения раздеться. Он лег, всем телом чувствуя прикосновение холодных чистых простыней. Потянулся к выключателю — когда-то сам переставил его так, чтобы можно было дотянуться лежа. И наткнулся на конверт, кнопкой приколотый к стене.

Серая шершавая бумага. Вместо марки — бурое пятно.

Лист из тетрадки в клеточку. Зеленая паста.

«Мишенька, любимый!

Вот уже год, как тебя нет. Нет на этом свете. И полтора — нет со мной. И я пишу первое письмо, и последнее, наверное, потому что творится такое, что выжить не надеюсь абсолютно. Все изменилось так, как мы с тобой придумать не могли — и, может быть, в этой катавасии случится чудо и письмо тебя найдет. А найти тебя самой — потом — не мечтаю, потому что потом мы изменяемся так страшно, что дорогие и любимые становятся нам не нужны. Я почему-то знаю это твердо. И этого именно боюсь безумно.

Мишенька, когда привезли закрытый гроб, а потом хоронили его под речи двух крыс, одной жирной и одной тощей, и солдат с орденом рассказывал, как ты геройски дрался, один против целой банды, и подорвал себя последней гранатой, я поняла вдруг, что во всем этом скрыта какая-то огромная ложь и что всего этого с тобой быть не могло. Солдат был мертвый, и те крысы тоже были мертвые, и мы, может быть, были мертвые все, потому что так славно слушали их,— а значит, это мы все были в закрытом гробу, а ты, живой, был снаружи. И никто не догадывался, что мы уже мертвые. А потом гроб засыпали землей, и земля приняла на себя все. И стало казаться, что ничего не изменилось. Потому что стало не с чем сравнивать, все были одинаково мертвые и ничего не подозревали.

Ты был прав, когда говорил, что без смерти ничего не получается. Недавно я разговаривала с Фомой Андреевичем, у него совсем другой подход, прямо противоположный — и все равно в результате то же самое. Нет в жизни ничего важнее смерти. Наверное, поэтому так не хочется умирать. Потому что потом все станет неважным.

Весь этот зряшный год я пытаюсь понять, мертвая я уже или нет. И не могу Стоит побыть немного в покое, и меня уже нет, и вокруг холод. Нужно удариться обо что-то, испытать боль — и тогда ненадолго возвращается чувство, что у тебя есть рука. Или душа. Поэтому, наверное, я и пускаю себя в разгул, и пью с парнями спирт, и ебусь с кем попало, и машину угнала на спор, и уже дралась на ножах. Я ни черта не боюсь, Мишенька. Иногда я пытаюсь заставить

себя что-то испытать, веду себя так, будто кого-то ненавижу или в кого-то влюблена, начинаю жалеть себя — но ничего не получается. То есть получается изображать. Наверное, я все-таки мертвая.

Мишенька, нет сил больше писать, мы ведь как на войне и без передышки вот уже месяц. Я люблю тебя, и нет для меня ничего, кроме тебя. Прощай, Мишенька, хороший мой, сердце мое, душа моя, единственный мой. Это я, твоя Танька».

Ошеломленный, Мишка лежал неподвижно. Потом что-то лопнуло в нем, и он, зажимая рот руками, завыл — зверем завыл от безмерности этой потери...

Он проснулся и тут же вспомнил обо всем. Комнату заливал свет. Болела грудь. Болела так, что ни вздохнуть, ни коснуться. После вчерашнего избиения. Вчерашнего... ничего себе. Мишка обвел глазами комнату. Нет, ничто не изменилось. А вот если выйти за дверь...

Не знаю. Просто ничего не знаю. Все так, как есть. Тайна.

Он шевельнулся — и вдруг в левой руке ощутил что-то. Поднес к лицу, разжал пальцы...

На ладони лежал маленький двуручный меч.

Я так и спал с ним, улыбнулся Мишка Он всегда помогал, когда очень плохо.

Тоже — тайна. Или — одна и та же?..

События того давнего дня Мишка помнил совершенно отчетливо.

Линза была что надо: размером с чайное блюдце, толстая и тяжелая. Просто замечательная линза. Мишка сидел на скамейке, держал ее в руке и ждал, когда вновь выглянет солнце. Требовалось закончить начатую надпись: «Козел — козел». Козла сегодня не было, уехал с родителями в деревню, поэтому писать правду было легко и приятно. Пока что Мишка дошел только до буквы «О» в первом слове.

Стоял июль, только что отцвели тополя, грязный, прибитый дождем пух еще лежал по краям тротуаров. Тополя росли везде, но этот двор был, конечно, особенный. В других дворах по три, ну, по пять деревьев, чахлых и стриженных под колобки, а тут — целых восемнадцать, старых, кряжистых, разлапистых и развесистых, по ним лазали, на сучья подвешивали качели, к стволам привязывали веревки для белья и гамаки, а осенью баба Катя из седьмой чуть не на карачках ползала между ними, собирая плотненькие коричневые грибочки. А пух — он беспокоил только взрослых. Малышне, например, он даже нравился, они что-то мастерили из него, ну, а люди постарше сгребали пух в кучки, бросали спичку и смотрели, как замечательно горит. Взрослые к этому занятию относились нервно. Черт их поймет, этих взрослых: лежит пух — плохо, жжешь его — тоже плохо...

— Ух ты! — сказал кто-то за спиной. Мишка обернулся — это подошел Филька из второго подъезда. Он подходил всегда бесшумно

и всегда сзади и подглядывал. Не сказать, что он прихвостень Козла, но приятель. Поэтому Мишка спросил неприветливо:

— Чего надо?

— Линзочка у тебя — классика! — сказал Филька.— Махнем, а?

— Нет,— сказал Мишка.— А на что?

— А вот,— сказал Филька и достал из кармана ножичек. Впрочем, не совсем ножичек, скорее, крохотный, на ладони поместился, меч. Крохотный, но совсем как настоящий: витая рукоять, крестовина, а в набалдашник вделан зеленый блестящий камушек. И по крестовине тоже несколько камушков, а лезвие настоящее, голубоватое, и по лезвию тонюсенькими буквами какая-то надпись.

— Острый — жуть,— сказал Филька.— Я за лезвие схватился — вот! — он сунул под нос Мишке указательный палец. Порез был глубокий, но кровь уже не шла.

— А где взял? — спросил Мишка.

— Где-где. Сам знаешь, где. Места надо знать. Ну, меняем?

Вообще-то Мишка знал, что, если дядю Саню как следует попросить, он даст другую линзу — у него несколько от какой-то старой штуковины...

— Тогда еще твою «Авиапочту» в придачу,— сказал Мишка.

Теперь замялся Филька. Отдавать две вещи за одну ему не хотелось.

— Дай-ка еще посмотрю,— сказал он.

Мишка дал ему линзу. Филька навел солнечную точку на скамейку — дерево сразу задымилось.

— Здорово,— сказал он.— Как лазером. Ладно, махнули. Только марка у меня дома. Я ее тебе потом отдам.

— Ну уж,— сказал Мишка.— Ты потом забудешь. Пошли.

Они поднялись на третий этаж, Филька ключом открыл дверь, и они вошли. Пахло обедом.

— Подожди тут,— сказал Филька.— Я сейчас.

Он разулся и босиком прошлепал в комнату. Там он возился, потом закричал:

— Баб! Ты убирала — где мой кляссер?

— Не знаю, все там,— ответили ему.— Ишшы.

Из комнаты в коридор вышла Любка, троюродная Филькина сестра из города со смешным названием Пневск, ее привезли сюда потому, что родители уехали в Африку строить там ГЭС. Любка была конопатым въедливым существом семи лет.

— Привет,— сказал Мишка.

— Привет,— сказала Любка.— А я тебя знаю. Это ты пускал позавчера самолет резиновым моторчиком.

— Я,— сказал Мишка.

— А где он теперь?

— Потерпел аварию,— сказал Мишка.— Разбился.

— А летчик?

— Летчик спасся с парашютом,— сказал Мишка.— И теперь пробирается к своим через линию фронта.

— Он у тебя тоже маленький? — спросила Любка.

— Кто?

— Летчик.

— Маленький. А почему тоже?

— А Филька с Толиком говорили, что у них спрятаны маленькие человечки. Они их будут теперь всему учить. Они вообще в тополях живут, в дуплах. Там у них ходы проделаны, много, целый город. Только никто про это не знает. И ты никому не говори.

— Почему?

— А чтобы была тайна. Какой интерес, когда все знают? Когда без тайны, это неинтересно.

— Нашел,— сказал Филька. Он опять подошел неслышно.— Ты чего это ему разбалтываешь?

— А он и так знает.

— Когда тайна, то говорить никому нельзя! — Филька дернул Любку за ухо. Любка надулась, но — Мишка даже удивился — бабушку звать не стала и даже не пикнула, хотя вон как ухо покраснело.— А это тебе,— сказал Филька, протягивая Мишке меч и марку.— Во какая штука у нас теперь есть — зашибись!

— Ты этот меч у своего отобрал? — угрюмо спросила Любка.

— Я тебе сказал — помалкивай! — прикрикнул Филька.— А то!..

— Так я пошел,— сказал Мишка.— Пока.

— Пока-пока!

На лестнице Мишке вдруг пришло в голову: надо посмотреть меч через увеличительное стекло! Но для этого надо возвращаться...

Он подошел к Филькиной двери. За дверью тихо возились. Мишка постучал. Возня стихла, Филька приоткрыл дверь.

— Чего тебе? — спросил он недовольно.

— Дело одно есть,— сказал Мишка.— Пусти.

— Ну?

— Надо посмотреть на меч через увеличилку.

— Ага,— сказал Филька и впустил его.

Любка стояла, насупившись. Левую руку она прятала за спину. Мишка старался не замечать этого.

Под увеличением меч стал совсем как настоящий, такие точно мечи Мишка видел на открытках. Буквы видны были отчетливо, но все они были непонятные.

— Ну? — подал голос Филька.

— Не по-русски написано,— сказал Мишка.

— Хочешь, за словарем сбегаю?

— За русско-нерусским? Скажи лучше, где ты его взял?

— Взял вот где-то,— вредным голосом сказал Филька.— Не скажу.

— Отобрал,— прошептала Любка.

— У кого?

— Не твое дело,— разозлился Филька.— Взял вещь — и иди себе. Иди-иди. А с тобой мы еще потолкуем,— повернулся он к Любке.

Заступаться за девочек, думал Мишка, спускаясь по лестнице. Ага, заступишься — бабка в квартире. Ты же и виноватым будешь. А он ей, гад такой, руки выкручивает...

Но какая девчонка! Вот бы такую сестру...

Дома он положил меч на стол и долго его разглядывал, все пытаясь представить себе, каким же должен быть воин, владеющий этим мечом. Потом пришли мать с отцом.

— Обедал? — спросила мать.— Суп ел?

— Ел,— сказал Мишка. Суп он действительно ел.

— Ничего он не дурак, твой Лесников,— сказала мать отцу.— Помести он твой материал — его тут же взгреют, а зачем ему это? Он лучше будет тихо-мирно вести борьбу с грязью на улицах да хаять молодежные танцы...

— Правильно,— сказал отец.— Он не дурак, через три года его переведут куда-нибудь с повышением, а через пять лет придется возить воду для всего города за сто километров, а я буду страшно горд, что во-он еще когда об этом предупреждал... Просто обидно, когда на глазах газету превращают в семейный календарь пополам с миндальным сиропом...

А как бы хорошо было иметь маленьких человечков, думал Мишка. Строить им дома, а они ездили бы в заводных машинах, а еще можно было бы делать для них корабли и самолеты, и чтобы они еще воевали — понарошку, конечно. Он представил себе, как на ковре сходятся две армии. Только им надо будет наделать деревянных мечей, эти слишком острые...

А ведь еще весной кто-то говорил о маленьких человечках — будто видел их на тополях. Тогда пускали в луже у забора новую Димкину яхту и заговорили, что хорошо бы на нее экипаж,— и вот тогда-то кто-то сказал, что видел человечков на тополе. Не поверили... то есть не то чтобы не поверили, а решили, что выдумывает для интереса. Кто же это говорил?..

— Я еще на улицу,— сказал Мишка. Меч он спрятал в ящик стола — не стоит брать с собой, потеряется.

— Только не допоздна,— сказала мать.

— Ладно, ма.

Не было смысла искать на деревьях, что ближе к дому. Если лезть, то на те, которые в глубине двора, у каменного двухэтажного сарая, где раньше держали дрова, а теперь, когда в дом провели отопление,— всякое барахло. Попробовать на этот? Сучья высоко... Мишка приволок от сарая доску, подставил к стволу — держится. Занозистая, черт... По доске он добрался до нижних сучьев, подтянулся и оказался на дереве. Дальше легче, дальше по сучьям — как по лестнице... Здесь был свой отдельный мир, зеленый, ажурный, воздушный. Отсюда, от ствола, тополь был совсем не такой, как снизу, с земли, снаружи... этого не объяснить, только был момент, когда Мишка почувствовал, что может не спускаться вниз, может остаться здесь, остаться и жить... Никого он, конечно, не нашел. Дупла были, и много, но узкие и глубокие, и, как Мишка ни заглядывал, как ни светил фонариком, так ничего и не увидел. Руку он тоже просунуть не смог, ход шел извилистый, и рука так не гнулась. Потом он увидел сквозь листья, как по галерее второго этажа сарая прошел Филька, за ним еще кто-то, потом еще — трудно было разобрать сверху, кто именно,— а потом прошел Козел со стеклянной банкой в руках. Мишка, торопясь, стал спускаться. Козла он не любил и побаивался, но все равно...

В сарае было светло, горела электрическая лампочка на шнуре, и все стояли, окружив большую ржавую железную бочку, и смотрели в нее. Стараясь держаться незаметно, Мишка подошел к бочке и заглянул через край.

Лампочка висела прямо над бочкой, и весь свет падал в нее. На дне бочки был насыпан песок и набросаны камни и сучья. И на одном сучке, как на бревне, сидели, опираясь спинами о стенку бочки, два маленьких человечка. Два настоящих человечка, только с белку размером. Оба были одеты в синие штаны и черные куртки. У одного на голове была шляпа.

— А у лили-лилипутика ручки меньше лю-ти-ка! — пропел Филька.— Ловите! — он, перегнувшись через край, сронил с ладони под ноги человечка заточенную велосипедную спицу и выструганный из щепки меч. Человечки шевельнулись, но не встали со своих мест и голов не подняли.

— Не станут они сражаться,— сказал кто-то.

— Гордые,— презрительно сказал Козел.— Ну, мы вас расшевелим. Ап!

Он опрокинул свою банку над бочкой, и из банки на песок плашмя шлепнулась крыса! Человечки вскочили. Один быстро схватил спицу, ладонью проверил острие и взял ее наперевес, как пику. Второй взял меч. Рукоять меча была оструганa скверно, пальцы ее не обхватывали.

Крыса шевельнулась, приподнялась, шмыгнула к стенке и там замерла. Усики ее шевелились.

— Два дня не кормил,— сказал Козел.— Как уехал, так и...

Прижимаясь боком к стенке, крыса двинулась по направлению к человечкам. Тот, что со спицей, сделал шаг вперед — так, чтобы прикрывать своего почти безоружного товарища. А тот, подняв меч над головой, закричал:

— Это же подделка! Люди вы или нелюди? Это же подделка!!!

— Убери крысу! — заорал Мишка и бросился на Козла. Что-то темное вдруг поднялось в нем, подкатило к горлу и глазам, и он уже не видел Козла, а только огромную ненавистную рожу, а под рожей — голубое пульсирующее горло, в которое нужно вцепиться и не отпускать... Он не достал Козла — тот поспешно отскочил назад и два раза ударил Мишку кулаком в губы. Мишка упал, но тут же вскочил, бросился — ему подставили подножку и стали пинать ногами. Он опять вскочил, повалил кого-то, кого-то отшвырнул, ухватился за край бочки, но повалить ее не смог, бочка устояла; Мишку оторвали от нее и пинками и кулаками выбили за дверь. Позвать, понял Мишка, кого-нибудь позвать! Отца!

— Зуб выбили! — закричала мать, увидев Мишку такого — в грязи и крови.— Никаких больше улиц!

Мишка молча пробежал мимо нее в комнату. Отец сидел за столом и печатал на машинке.

— Папка, пойдем скорее,— заговорил Мишка быстро, глотая слова,— папка, она их загрызет, скорей пойдем. У них мечи поотобрали, понимаешь, и дали деревянный...

— Миша, ты видишь — я работаю,— сказал отец.— Мы же договаривались. И вообще — с кем это ты дрался?

— Папка, это неважно, ну скорей, их еще можно спасти!

— Кого — их?

— Маленьких человечков!

Отец, уже начавший было подниматься со стула, снова сел.

— Сын, ты бредишь. Ну, подумай сам, ты же большой — какие могут быть маленькие человечки?

— Настоящие человечки, только маленькие, а они пустили к ним крысу, а меч у меня в столе лежит, ты понимаешь?

— Скажи лучше, кто тебе так губу разбил? Дай-ка посмотрю...

— Папка! Поздно будет, не успеем!

Мишка бросился в свою комнату, схватил меч и вернулся.

— Вот, видишь? Они у них отобрали, им теперь нечем сражаться, пойдем скорее!

— А этот ножик у тебя откуда? Дай-ка сюда. И вообще — ни я никуда не пойду, ни ты никуда не пойдешь. Все.

То же самое темное взметнулось в Мишке.

— Проклятые! — закричал он и кинулся к двери.— Проклятые!!!

Но в дверях стояла мать.

— Кого это ты проклятыми честишь?

— Пусти!!! — простонал Мишка.

— Ах, ты... На мать с кулаками! Мерзавец маленький! А ну!..

Совсем без сил лежал Мишка в постели. Плакать он больше не мог — выплакал все. Саднили разбитые губы, во рту все еще было солоно от крови. Саднила порезанная ладонь. Но меч он им не отдал. Меч лежал под подушкой. Из-за двери доносилось бубнение диктора программы «Время». Потом мать сказала:

— Господи, что же это в мире творится. Вот ведь ни газет читать не хочется, ни телевизор смотреть. Страшно-то как, Володя... Так и хочется на необитаемый остров. Чего людям не живется, чего им надо?

Мишка лежал и думал. Чего людям надо? Много всего надо, а главное — чтобы не отбирали настоящие мечи и не давали взамен щепки, да еще накануне сражения... Тьма обступала его со всех сторон. Мишка повернулся на бок, сунул руку под подушку, нащупал меч. Ему показалось, что рукоять меча растет, становится как настоящая, вот ее можно обхватить как следует... «Спи, мальчик»,— обещающе сказала темнота. Таким же тоном говорит Козел: «Иди сюда. Иди, иди...»

Спи, мальчик.

8. Ника, она же Аннабель

■

— А вы, Берт? — повернулась к нему Аннабель.

Берт помедлил. Тронул щипцами дрова в камине, положил поверх догорающих еще две чурки. Отсвет огня странным образом смягчал его черты.

— Не знаю, принцесса... Я согласен с генералом — пройти прямым путем будет немыслимо трудно. Невозможно. Но уходить в изнаночный мир... Наверное, это правильно. Но мне просто не хочется.

— Понятно... Вашего мнения, Бернард, я не спрашиваю, вы вряд ли знаете, о чем идет речь. Я права?

— Да, ваше высочество.

— Но вы, может быть, лучше нас знаете: сможем ли мы пройти к столице дорогами? Переодевшись, прикинувшись, с нужными документами, еще как-нибудь?

— Я не знаю такого способа,— медленно сказал улан.— После сегодняшнего столкновения будут поставлены на ноги все гарнизоны, все пароли и пропуска изменятся, задерживать будут по малейшему подозрению... а выдавать себя за гернотов мы не сможем.

— Это так, ваше высочество,— подтвердил генерал.— О том же говорил и Дракон, вы помните: путь по дорогам будет возможен только в том случае, если мы незаметно пройдем приграничную полосу. И даже при этом требовались всяческие ухищрения. А мы переполошили осиный рой...

— Я подозреваю, что нас подталкивают именно к такому решению,— сказала Аннабель.— Слишком уж подчеркнуто нас оставили в покое...

— И об этом говорил Дракон,— сказал Берт.— Он говорил: прислушивайтесь к предчувствиям и никогда не идите против них.

— Я думаю,— сказал улан,— нам нужно перестать обсуждать планы вслух.

Все посмотрели на него.

— Последнее время герноты научились ставить себе на службу зверей и птиц. В основном для шпионажа. Мне послышался шорох...

— Ветер,— неуверенно сказала Аннабель.

— Все равно. Давайте помолчим и послушаем.

— А разве их прислужники могут входить в Эпенгахен?

— Не знаю. Я не знаю даже, как сами герноты: не могут сюда входить или просто не хотят?

Будто похолодело внезапно. Будто потускнел свет огня и плотнее стала темнота за окнами. Рука, ища успокоения, легла на рукоять меча. И в наступившей тишине обнаружились тихие скребущие звуки, приходящие сверху.

— Нет! — Аннабель остановила вскочившего на ноги генерала.— Сделаем иначе...

Они вышли из приграничной полосы, и можно было применять те методы, которые в приграничье могли их выдать или погубить. Аннабель открыла ранец и на секунду задумалась. Потом взяла кисет и трубку. Генерал понял ее замысел и, пока она набивала трубку, достал из камина уголек.

Пряно-горький осенний дым, воскрешающий забытые сны... Аннабель подержала его в легких, во рту — и выпустила, особым образом сложив губы. Села, как предписывалось: сведя стопы и предплечья и касаясь век подушечками пальцев. Несколько секунд — несколько ударов сердца — прошло в темноте; потом возник зеленоватый свет.

Сначала это было просто пятно, разгорающееся где-то позади глаз; потом в пятне появились другие пятна, темные и светлые, а потом как-то сразу она увидела саму себя, сидящую на полу перед камином в нелепой позе, своих спутников, напряженно-неподвижных, опасно блестящее оружие и небрежно сваленные в кучу седла и седельные сумки. Она видела это сверху, с высоты больше своего роста. Потом легко повернулась и поплыла к широкой лестнице, ведущей на второй этаж.

Двусветная зала второго этажа, захламленная, заваленная сухими листьями, была пуста. Аннабель прислушалась. Звук доносился от окна. Вот от этого, справа, высокого, стрельчатого, с еще сохранившимися кое-где осколками стекол.

С той стороны колеблемая ветром ветка цепляла железный козырек карниза.

Аннабель усмехнулась и открыла глаза. Но в последний миг еще тем, «зеленым» зрением она увидела за окном...

— Лошади!

Как подхваченные ветром, мужчины вылетели из дома. Аннабель двигалась медленнее — первые шаги были неуверенными, ноги подгибались. Потом это прошло.

Впрочем, торопиться уже было некуда. Две лошади лежали, две еще стояли, качаясь. Казалось, что они покрыты мохнатым шевелящимся мехом.

— Что это? — прошептал генерал.

— Лишайник Парнаум,— шепотом же ответил улан.

— Он что, жрет лошадей?

— Он не жрет... но мы теперь их не скоро разбудим. Он усыпляет — на много дней. Да и проснутся — немного толка от них будет. Что от лошадей, что от людей — никакого толка.

— Он и с людьми так может?

— Вы что, никогда с этим не встречались, генерал?

— Н-нет.

— Целые города отдают Парнауму. После этого люди становятся счастливыми.

— Так вот как это делается...

— Если бы только так...

— Вернемся, господа,— сказала Аннабель.— Бернард, к нам эта дрянь не подберется?

— Не знаю. Я не знаю его повадок. Говорят разное...

— И все же: отбиться от него можно? Или хотя бы убежать?

— Не знаю, ваше высочество. Я не имел с ним дела.

— Вы сказали: говорят разное. Что именно?

— Позвольте подумать, ваше высочество.

Сели к огню, косясь на окна и двери. Нам не оставили дороги, подумала Аннабель. И все же: нас ловят всерьез или загоняют в изнаночный мир? Почему, интересно, мне так не хочется уходить туда именно из этого леса? И почему именно в этот лес мы ушли после того, как обнаружили себя? Что из этого истинное побуждение, а что — внушено извне?

Нас влекло в Эпенгахен конкретное знание: гернотцы избегают этого места. А препятствует уйти отсюда ничем не подкрепленное

чувство... даже не опасности... а чего? Непонятно... Предчувствие чего-то нежелательного там, в изнаночном мире? Но даже Дракон не знает, какова изнанка Эпенгахена. Единому целому здесь соответствует единое целое там. Стоп. Может быть, то, что отгоняет отсюда гернотов, действует и на нас — неопределенно-угнетающее; а мы принимаем это за дурные предчувствия? А ведь, пожалуй...

— Ваше высочество, кое-что я вспомнил,— сказал улан.

— Да, Бернард?

— Те, кто общается с Парнаумом, одеваются в белое. Кроме того, им запрещено пить вино и есть обычную пищу. Парнаум всегда окружает жертву...

— Спасибо, Бернард. Я уже приняла решение. Господа, возьмите вещи. Будьте наготове. Когда я найду вход, не медлите...

Вход нашелся не сразу. Воздух уже наполнялся странным запахом истлевших цветов, когда Аннабель ощутила в тени, отброшенной повисшей на одной петле створкой двери, звонкую барабанную пустоту. Она остановилась и стала всматриваться в стену там, где ее покрывала тень. Вощеная деревянная панель без щелей... узор линий, светлых и темных, сходящихся и расходящихся... Она смотрела так, как учил Дракон,— чтобы не перестать видеть внешнюю форму. Предметов не существует, говорил Дракон, мы их выдумываем и называем, это как слова на белой бумаге, набор бессмысленных закорючек, чем больше слов, тем меньше чистого места, и все равно — учись видеть бумагу, находить свободные места и писать там то, что нужно тебе... Вдруг оказалось, что темная, теневая часть панели расположена глубже, чем та, на которую падает свет, и что между ними есть промежуток, достаточный, чтобы пройти человеку. Идем, сказала Аннабель и шагнула первой; теперь проход будет открыт для любого, даже для того, кто его не видит,— недолго, несколько минут... Она не оглядывалась, но слышала, как идут за ней.

По другую сторону прохода было абсолютно темно и пахло гарью. Аннабель остановилась. В спину ей ткнулся Берт. Простите... Тише, Берт, как остальные? Вот они, оба... Как темно... Аннабель сняла с шеи «кошачий глаз» и затянула вокруг лба. Берт и генерал делали то же самое. Улана придется вести за руку... знать бы, куда?..

Знать бы, куда это мы угодили?

Постепенно проступая из тьмы, как на брошенной в проявитель бумаге, возник узкий и низкий извилистый ход. Аннабель ждала. Наконец картина стала достаточно четкой. Ход, проделанный — в чем? под пальцами грубо обтесанное дерево — в не понятном массиве, вел, изгибаясь местами под прямым углом то вправо, то влево, к какой-то обширной полости, пустоте. В обратном же направлении он разветвлялся на несколько ходов, пересекался и сливался

с другими ходами и, таким образом, вливался в многоуровневый лабиринт, выходящий далеко за пределы восприятия. Лабиринт потом, подумала Аннабель, посмотрим сначала, что там за пещера... Ей вспомнился вдруг дневной сон.

Как же давно это было...

Шагов за двадцать, за два поворота до пещеры Аннабель почувствовала ветерок на лице и почему-то только теперь подумала, что впереди может оказаться не пещера, а наоборот — открытое пространство. Открытое пространство изнаночного мира. Мира, о котором ничего не знает даже Дракон...

К запаху гари, только усилившемуся, ветерок добавил знакомый и родной запах бензина. Значит, это точно не Альбаст — Место, где перестала гореть нефть и порох только тлеет.

Выход предстал округлым пятном с неясными бликами. Зрение и не-зрение боролись между собой, пока не пришли к согласию: Аннабель смотрела на растущее почти горизонтально дерево с огромными, в рост человека, листьями, подсвеченными откуда-то снизу. Дерево начиналось от ее ноги и уходило, как мост, в темноту. Аннабель почувствовала вдруг головокружение; замерло сердце.

Подошли и остановились остальные. Берт судорожно вздохнул.

— Что? — спросила Аннабель.

— Не знаю... ничего...

Голова продолжала кружиться.

— Держи меня за пояс, Берт,— сказала Аннабель и шагнула вперед. Безумная картина открылась ей.

Она стояла, упершись руками в края, в дупле исполинского дерева. Неподвижные голые ветви толщиной в руку и сучья, как платаны Эпенгахена... Видимый сквозь крону, горел огромный уродливый дом. В нем было больше трехсот футов высоты, но темные прямоугольные окна шли лишь в три яруса. Пламя рвалось из окон первого яруса, и было ясно, что вот-вот дом заполыхает весь. Никто не собирался его тушить. Аннабель посмотрела вниз. До земли было футов двести.

— Кажется, пришли,— сказала Аннабель, отступая назад. Потом ноги ее подогнулись и она села, откинувшись на плавно переходящую в пол стену. Пламя разгоралось все ярче.

Утром генерал и улан отправились на разведку в лабиринт. Наверняка должен быть и другой выход, сказал генерал, а вы пока отдохните, ваше высочество... Нога Берта болела, опухоль держалась, но ходил он, почти не хромая. Аннабель еще раз полечила его руками, втайне удивляясь своим новым умениям. Она чувствовала, как идет в кости трещина, и точно знала, что нужно сделать. Ладони и кончики пальцев пощипывало. Берт стеснялся и поначалу даже отказывался, уверяя, что и без лечения все пройдет. Аннабель

завершила сеанс, расслабилась, позволяя чужой боли, скопившейся в руках, вытечь в пространство, и мысленно поблагодарила оставшегося в горной пещере Ю и через него — Дракона... Внезапно пришел ответ: отголосок далекой и теплой волны. Дракон помнил о них и поддерживал — даже здесь, в этом неизвестном ему самому мире.

Дом не сгорел: толстенные стены из неизвестного грязно-розового камня выдержали напор огня. Выгорела, похоже, лишь одна вертикальная секция. Камень над черными провалами окон закоптился, крыша из серого волнистого материала, похожего на бетон, прогнулась; над местом пожара зияла дыра, огромная, как вулканический кратер. Из дыры продолжал валить дым.

Боже милосердный, вдруг с ужасом подумала Аннабель, зачем я здесь?

Жила в пятикомнатном люксе с садиком в лоджии и маленьким фонтаном в гостиной, гоняла на прекрасных машинах и понимала в них толк так, как и не снилось многим мужчинам, считающим себя спортсменами и механиками. Не гнушалась расписывать машины рекламами богатых фирм и носить рекламные майки и кепочки — это составляло львиную долю приходной части бюджета «самого маленького государства Конкордиума», «Альбаста-в-изгнании», «односпального королевства» — так изощрялись журналисты. На булавки хватало, не так ли? И вообще — хочу ли я власти?

По-моему, нет.

Но вот — сорвалась и куда-то несусь, кружась, размахивая мечом, шепча заклинания, вызывая к жизни неизвестные мне самой силы... как девчонка, которой показали, как крутить руль и на какие педали нажимать, и сказали — а теперь через Африку, бензина хватит! И девчонка, высунув от усердия язык, рулит по пустыне...

Стоп. Хватит скулить. Время для скулежа было — и вполне достаточное. Потом, за мемуарами, поскулим еще раз. Не сейчас.

По ту сторону задымленной крыши были видны вершины таких же гигантских деревьев. Правее темнела каменная стена, похожая на крепостную, а за ней — островерхая крыша из такого же материала, как и у прогоревшего дома. Еще правее все закрывали кроны деревьев, деревьев было много, и все они казались ненастоящими — слишком большие и слишком неподвижные. И только совсем направо, в узком просвете между стволом их собственного дерева и кроной соседнего видны были далекие горы и кусочек неба: будто припорошенный стеклянной пудрой. Страна великанов, подумала Аннабель, возвращаясь взглядом к горелому дому. Страна великанов — прямо с картин Рафаила Тойта...

— Как нога, Берт? — спросила она, чтобы ни о чем не думать.

— Все прошло,— Берт пожал плечами.— Будто ничего и не было.

— Была трещина,— сказала Аннабель.

— Я знаю

— Трещина в кости — затянулась за сутки.

— Мне это тоже не нравится.

— Не нравится?

— Понимаешь ли... Даже не знаю, с чего... Я иногда не узнаю своего тела. Не то, чтобы по-настоящему, но какие-то мелочи меня смущают. Я понимаю: подготовка у Дракона, его воздействие — это на многое влияет. И все равно... На этот счет можно зачислить приобретения, а не утраты. А я чувствую, что исчезли некоторые навыки... тело перестало что-то помнить, руки... Все — мелочи, но почему-то неуютно. А ты?

— Не замечала,— покачала головой Аннабель.— Исчезновений не замечала. А что неуютно — согласна.

— И еще. Я понимаю — все та же подготовка... но мы как-то уж слишком ко всему готовы. Будто уже однажды проходили эту дистанцию и теперь просто вспоминаем и делаем лучше.

— Думаешь, лучше?

— Думаю.

— А что из этого следует — тоже думаешь?

— Тоже.

— Ну, и?..

— Что мы уже действительно проходили эту дистанцию. Где-то сделали неверный ход... Драконьи штучки.

— Знаешь, Берт, на таких условиях я готова играть в любые игры. Страховка от проигрыша — чем плохо?

— Не знаю... А где мы — те?

— Которые не дошли?

— Да. Которые не дошли.

— А это важно?

— Для меня — да. Ты не поверишь, но судьба моей бессмертной души мне не безразлична.

— Душа-то пока с тобой.

— А душа того Берта, который не дошел?

— Того, может, и не было совсем.

— Ну, а если был? И не один?

Аннабель помолчала.

— Все равно — твоя душа с тобой. А раз ты помнишь — пусть смутно — что-то из предыдущих этапов, значит, и их души слились с твоей...

— Не помню ничего, в том-то и дело. Если бы помнил... Боюсь, что все гораздо хуже. Что мы — настоящие — не дошли, и тогда Дракон изготовил гомункулюсов...

— Бред,— неуверенно сказала Аннабель.

— Почему? Что противоречит этому утверждению? То, что мы ощущаем себя — собой? Не довод. То, что у нас наша память — тем более не довод. А вот то, что я перестал различать на ощупь аверс и реверс монет,— это уже довод. Мы скопированы не абсолютно, а с маленькими допусками. И запах. Я чувствую, что у меня изменился запах.

— Но Дракон говорил, что изменит наши запахи.

— Он говорил — не изменит, а уничтожит. Что мы перестанем пахнуть вообще. И что же? Пахнем. Но не так, как раньше.

— Я тоже?

— Я не знаю, как ты пахла раньше,— очень серьезно сказал Берт.— Все перебивала смесь «Ангелика» с машинным маслом...— и рассмеялся, стервец.

— Наши возвращаются,— сказала Аннабель.— Скотина ты, Берт,— я так старалась не думать обо всем этом...

— Значит, думала?

— Думала.

— Это бесполезно — не думать. Все равно прорежется...

Генерал и улан вернулись, не найдя пути вниз. Возможно, он и был, этот путь, но в самом нижнем из достигнутых ими залов лабиринта — именно залов, округлом помещении размером с дворцовую приемную — в этом зале пол был завален толстым слоем костей, человеческих и звериных вперемешку, и найти под этим слоем ход вниз было невозможно. Аннабель вдруг поняла, что именно являет собой, чему соответствует в том, неизнаночном мире этот заваленный костями зал, и понимание держалось в ней какую-то долю секунды — а потом исчезло. Но вот в зале уровнем выше нашли кое-что — и улан, улыбаясь, предъявил бухту толстого черного шнура. Очень крепкий шнур. Спокойно выдерживает двоих.

— Отлично,— сказала Аннабель.— Предлагаю поесть — и двигаться.

— Днем? — спросил генерал.

— Думаю начать можно днем. Это изнаночный мир. Сила гернотов сюда не распространяется.

Генерал с сомнением пожал плечами, но промолчал.

— По крайней мере, они здесь не хозяева. А нам следует торопиться.

— Если сила Ю проникает сюда, то почему сила гернотов не может проникнуть? — ни к кому не обращаясь, спросил Берт.— Вполне возможно, что герноты имеют здесь своих агентов. К этому надо быть готовым.

— От агентов мы закроемся,— сказала Аннабель.— А сами герноты, может быть, сюда не вхожи.

— Будем надеяться,— сказал Берт.

Спуск прошел на удивление гладко и спокойно. Даже ощущение опасной пустоты было каким-то неподлинным. Лишь боль в обожженном шнуром плече подтверждала: все было на самом деле. Первым спустился Берт, за ним Аннабель, потом улан. Последним шел генерал. Он встал на землю — и в ту же секунду шнур, извиваясь, стал падать. Оказывается, генерал рискнул: подсунул под петлю пучок щепы и поджег. Огонь добрался до шнура как раз вовремя. Генерал невозмутимо сматывал шнур в бухту, а Аннабель отчитывала его за ненужный мальчишеский риск.

Трава под деревом могла скрыть всадника. Но была она редка и на удивление грязна. Пахло пылью и дымом. Валялись под ногами клочья грубой шерсти и изломанные огромные перья птицы. Чуть в стороне белела голая кость — слона или бегемота.

Теперь надо было понять, в какую сторону идти. Похоже, что лес Эпенгахен соответствовал вот этим деревьям-гигантам. Тогда выгоревший дом неподалеку — это город Ямм, опустевший при гернотах. Дорога к столице лежала бы через него или в обход его, но не все в обычном и изнаночном мире совпадает буквально, особенно в местоположении.

Пожалуй, столице соответствовал бы городской центр, какое-то центральное здание. Как начальный ориентир — сойдет. Будем искать городской центр, а дальше подскажет чутье.

Закрывшись от сторонних взглядов, двинулись вперед. Через сотню шагов трава кончилась, отряд вышел на открытое место. Под ногами была серая комковатая земля, впереди — дощатый забор футов тридцати высотой, плавно изгибающийся слева в сторону дома. Забор был выкрашен грубой красной краской. Полустертыми белыми буквами значилось: «ДИНАМО». Это же «Динамиум», подумала Аннабель, старинное ристалище... да, оно где-то неподалеку от Ямма, разве что не лежит на прямой, соединяющей курорт Эпенгахен и Ямм... но и мы не пойдем через то, что обнесено забором, а обогнем...

Дом находился дальше, чем это казалось на первый взгляд, и был, соответственно, больше размером. Путь к нему занял почти полчаса. Берт и Аннабель шли впереди, генерал и улан — сзади. До Аннабель доносились обрывки их разговоров. Генерал расспрашивал, улан отвечал. Что-то об отнятом имении и погубленных сервах, о сестрах, содержащих придорожную гостиницу, о жене, умершей родами... Что только не попадалось под ноги: ржавое железо, битое стекло, куски дерева...

— Смотрите,— показал Берт. Аннабель остановилась. Подошли генерал с уланом. Посмотреть было на что.

Припорошенная пылью, на земле лежала белая монета. Диаметром больше фута. Угадывалось число «10». Берт присел на корточки, чтобы протереть поверхность...

— Не трогай! — выдохнула Аннабель.

Берт вздрогнул и отдернул руку.

— Почему?

— Она с чем-то сцеплена. Это изнанка...

— Чего?

— Не знаю... Забыла. Но я успела уловить...

— Понятно. Уходим. Жаль, кое-что можно было узнать...

— Понятно уже хотя бы то, что у этих ребят очень большие кошельки,— сказал генерал.

Вряд ли это была замечательно остроумная шутка, но всем захотелось смеяться. Никто не стал сдерживаться.

Это напоминало смех от щекотки.

Закат, жуткий, кровавый закат, такой, что в мире не осталось других красок, кроме красной и черной, застал их в конце подъема на крутой глинистый косогор над мутной захламленной речкой. Над головой нависали древоподобные травы, от них стекал вниз горько-пыльный запах пополам с далеким стоялым дымом. Из-под ног сыпались с мягким шорохом комочки глины. Дышалось тяжело.

Непонятно было, откуда берутся силы.

Или напротив — слишком понятно...

На краю обрыва Аннабель выпрямилась и оглянулась. Но уже не понять было, как они шли.

Все искажалось за спиной, и ничего нельзя было узнать, миновав.

Генерал шел первым, и когда он резко остановился, Аннабель ткнулась в его спину — как в неколебимую скалу. Пряжка ее перевязи высекла из ножен генеральского меча резкий стальной звук.

Ей не сразу открылось то, что остановило генерала. Глаз не мог охватить, разум — принять...

В десяти шагах перед нею лежал мертвый великан.

Подошли Берт и улан и встали рядом.

Поваленная и втоптанная в землю трава была обильно запятнана кровью. Кровь была почти черной.

Почему-то стало пусто в груди. Потом Аннабель почувствовала, как волосы на голове встают дыбом.

Чужое, враждебное, опасное присутствие опускалось и обволакивало, облепляло...

У трупа не было головы. Только сейчас это бросилось в глаза.

Генерал обнажил меч. Спрячьте железо, сказала Аннабель, здесь это не поможет... готовьтесь упасть по моему слову.

Скользящий темный блеск — слева и впереди. Аннабель, чуть присев, вытянула перед собой руки, сведя ладони щитом. Знакомая пульсация началась у локтей и через несколько мгновений наполнила, распирая, предплечья. То, блестящее, шевельнулось и приподнялось из-за трупа. Зловоние, ощущаемое не носом, а всем лицом, всей кожей, потекло навстречу. Аннабель с трудом удержалась от лишних движений. Потом над блестящим взлетели вверх две мохнатые лапы с крючками на концах, с силой опустились на мертвеца — тело дернулось,— и в следующую секунду огромный паук уже сидел на груди трупа. Блестящая, как офицерский сапог, головогрудь со страшными жвалами переходила в поросшее длинной щетиной брюхо; мощные лапы нервно переступали. Он был размером со слона.

— Падайте! — беззвучно — перехватило горло — выдохнула Аннабель, но ее поняли: генерал рухнул ничком и откатился, и, как кегли, в разные стороны упали Берт и улан. Аннабель чуть согнула пальцы — и белая молния, сорвавшись с ее ладоней, врезалась в паука. Он подпрыгнул, раскрываясь, как будто его выворачивали наизнанку, и тут же весь исчез в дымном красноватом пламени. Горящие ошметки падали на землю. Тот, прежний смрад исчез, сменившись вонью горелой шерсти. Руки онемели, Аннабель их не чувствовала. На всякий случай она еще постояла в боевой позе, но угрозы уже не было.

— Моя королева...— хрипло сказал поднявшийся на ноги улан; выражение лица его было почти молитвенным.— Сами боги... сами боги ведут тебя... несут тебя...— он закашлялся.

— Отлично, дочка,— сказал генерал и обнял ее за плечо.

Аннабель посмотрела на Берта. Берт сосредоточенно поправлял перевязь праворучного меча.

9. Микк

■

До Кипроса он так и не дозвонился. Телефон был то занят, то гнал длинные гудки. Тогда Микк набрал номер аварийной.

— Уважаемый клиент! — сказал подобострастный голос.— К сожалению, вы позвонили именно в тот момент, когда все сотрудники находятся на линиях. Будьте любезны, сообщите о ваших затруднениях, и через некоторое время мы их устраним. Большое спасибо. После сигнала начнется запись...

Микк швырнул трубку. Это мы уже проходили...

Ноэля тоже не было на месте, но там, по крайней мере, отвечал живой человек. С обеда в бункере, и когда выйдет — не знает никто. Передать что-нибудь? Как, еще раз? Саджиттарио? А номер он знает? Ладно, скажем. Не я, так кто-нибудь другой...

Вот и останов обозначился. Источники информации временно блокированы. Идти раскапывать этот чертов корень рано, следует по крайней мере дождаться темноты. То есть часов пять надо замотать.

Можно сделать что? Скажем, проглотить чего-нибудь расслабляющего и прилечь. Но есть риск надолго выбить себя из колеи. Слишком большой накопился недосып, и стоит дать организму поблажку... Отложим. Можно сходить в кино. Или еще куда-нибудь... Микк прислушался к себе. Ни малейшего энтузиазма. Можно пойти в бар и надраться. Так... отклик есть, но слабый. Кроме того, вечером надо быть в хорошей форме. Снять девочку? М-м... уже теплее. Так, где-то был каталог... Микк зашарил в кипе старых журналов в поисках «Ню», как вдруг взгляд его упал на последнюю страницу «Всеобщего приключения». Упершись ногой в борт лодки, девушка с оранжевыми волосами волокла из воды огромную полосатую рыбину. Удилище согнулось дугой. Вот что мне надо, подумал он. Ха! Полчаса туда, полчаса обратно — четыре часа там! И пять минут на сборы, потому что на самом деле никаких сборов не требуется...

«Черное озеро», рыболовецкий заказник, принадлежал клубу «Одиннадцать имен», почетным привилегированным членом которого Микк стал в позапрошлом году после блестящего расследования истории с двойным похищением дочери председателя клуба. В клубе он значился рыцарем меча и носил клубное имя Аскольд.

Стоянка была забита, и Микк поставил машину под окнами красно-кирпичного с башенками здания конторы. Наверное, это был непорядок, потому что администратор с недовольным видом вышел из двери — но, узнав Микка, ничего плохого не сказал, наоборот: раскланялся и поинтересовался подробностями столь далекого путешествия. Микк ответил в такт и, в свою очередь, расспросил насчет погоды и клева. Администратор — по имени Виллард, вспомнил Микк — сказал, что клев сегодня оживился, несколько дней вообще было мертво, но все равно: так себе. Слишком прогрелась вода. Имеет смысл поудить с лодки на глубоких местах. Спасибо, Виллард, сказал Микк.

Выбрав снасть и наживку, Микк спустился к причалу. На маслянисто блестящей воде застыло три серо-коричневых лодочки. Два десятка таких лодочек с торчащими над бортами половинками тел разбрелись по озеру, напоминая купающихся кентавров. Микк забрался в ближайшую к нему, проверил заряд аккумулятора, снял веревочную петлю с кнехта, рукой оттолкнулся от причала, потом подал чуть вперед рычаг управления мотором и положил руль круто влево. Лодочки эти, специально предназначенные для спокойных озерных вод, были тихоходны, зато абсолютно бесшумны. Микк описал циркуляцию вокруг причала, нацелил нос лодки на радиомачту, стоящую позади рыбопитомника, и взял спиннинг. Лодка шла со

скоростью нормального гребного хода. Микк опустил легкую серебристую блесну за борт и стал травить леску.

Озеро имело километра три в длину и метров семьсот в ширину. В сущности это было не озеро, а пруд, образовавшийся после того, как оползень перегородил долину маленькой речки, правого притока Лайвы. Случилось это лет шестьдесят назад, а в конце семидесятых, накануне кризиса, уездные власти затеяли строить дорогу от города к озеру и оборудовать здесь пляжи — ну и, понятно, забросили. И вот недавно клуб «Одиннадцать имен» купил треть береговой черты и построил рыбопитомник и два десятка легких домиков для своих членов...

Все это было мило и неимоверно скучно.

Предложи другое, сам себе возразил Микк.

В том-то и дело, что предложить нечего...

Господи, что с нами случилось? Как мы, энергичные, сильные, решительные — превратились в сонных мух, в тюфяки, в говно, плывущее по течению? Откуда эта постоянная усталость — травят нас, что ли, понемногу? Или жара так влияет? Ни ходить, ни думать... мозги — липкие... Противно.

Плещемся в лужах, живем между заборами...

И изо дня в день — одно и то же. Бессмысленно и беспросветно.

Берег был уже близко, Микк выбрал леску, развернулся и вновь опустил блесну за борт. Леска медленной спиралью соскальзывала с катушки. Он выпустил метров сорок, поставил катушку на тормоз и повел лодку к плотине, к самым глубоким местам.

Сейчас туда, потом обратно, потом к причалу, выпьем пива... Он ни разу не видел, чтобы кто-то из рыбаков хоть бы шевельнулся в своих корытцах. Пустой день, подумал Микк. Один из бесчисленных пустых дней.

Путь к плотине занял почти полчаса, и это было так же успокоительно, как если был он принимал теплую ванну. Под днищем лодочки журчала вода. Встречный воздух мог сойти за ветерок. Что-то расправлялось внутри, безнадежно, казалось, смятое.

Просто устал. Просто глухие дела, безуспешные поиски. Просто дурные предчувствия. Просто пауза во всем.

Плотина, укрепленная по гребню от размыва, выделялась резко: серый брус, вколоченный между зелеными холмами. Справа сверкающей кварцевой плоскостью уходил в небо срез — ложе оползня. Однажды пацанами они с Кипросом и Ноэлем забрались туда и заночевали у костра под звездами. Говорили, что по кварцевой плеши бродят тени умерших. Теней они не видели, но страх откуда-то пришел — древний, мутный, бесформенный. Непонятно как дожили до утра и потом долго не могли видеть друг друга.

Микк, сматывая снасть перед разворотом, не заметил впереди ковра плавучих водорослей. Лодка с шорохом вошла в него, водоросли намотались на винт. Мотор, доселе неслышный, загудел. Микк выключил ток. Приключение, подумал он.

Положив спиннинг поперек кокпита, Микк развернулся на своем крутящемся креслице лицом к корме, встал коленями на решетку и перегнулся через транец. Корма затонула, вода едва не залилась в лодочку. Хуже — та вода, что скопилась под решеткой, устремилась на корму, и брюки тут же промокли. Плевать...

Волны, поднятые лодкой, ушли далеко, и вода вновь стала маслянисто-гладкой. Глаза не сразу приспособились видеть сквозь ее поверхность. Глубина здесь была, наверное, огромная. Водоросли напоминали проволочную путанку: волокнистые стебли толщиной с карандаш без начала и конца, редкие продолговатые листики свекольного цвета. Их было много. Они уходили в глубину и там терялись. Какие-то саргассы, неуверенно подумал Микк. Он огляделся по сторонам. Никого не было поблизости.

Почему-то не хотелось касаться этой воды. Преодолевая сопротивление организма, Микк все-таки опустил руку в воду, нащупал винт и стал снимать с него петли неподатливо-жестких стеблей. Нож надо иметь, нож... От движений лодка раскачивалась, под мелкими волнами ничего не было видно. Наконец винт освободился. В этот момент Микк почувствовал осторожное мягкое прикосновение к запястью. Он отдернул руку раньше, чем что-то осознал, и это его спасло: только миг он чувствовал на руке стальное кольцо, потом оно разошлось, разрывая кожу, и отпустило его; что-то тяжелое чуть приподнялось над водой и ушло вниз, закрутив воронку водоворота.

Микк как бы раздвоился: одной — большей — частью он ушел в панику, в ужасе разглядывая клочья кожи, свисающие с запястья и тыльной части кисти, на изрезанные, будто бритвой, пальцы, на вытекающую кровь, ждал прихода боли — боли почему-то не было — и беззвучно вопил от пещерного ужаса; но другая его часть очень трезво, не трогая управления, вставила в уключины крошечные ублюдочные весла и заставила тело грести, выводя лодочку кормой вперед по пробитому уже коридору. В пятнадцать гребков он выбрался на чистую воду и на всякий случай сделал еще пятнадцать. Позади кто-то шумно плеснулся. Микк развернулся, подал на мотор ток, послушал, как работает — мотор работал нормально,— и, не оглядываясь, повел лодку к зеленому берегу, пристально вглядываясь в воду впереди. Только на берегу, когда ноги коснулись твердой земли, дрожь настигла его.

Не позволяя себе упасть, Микк стянул через голову рубашку, обмотал кровоточащую руку — странная анестезия прошла, боль

была огненной — и быстро пошел, сбиваясь на бег, в сторону клубного анклавчика. И понял, что не дойдет пешком.

Кокпит лодки походил на маленький приоткрытый рот, а тело воды — на тело зверя. И все-таки Микк загнал себя в лодку и повел ее, обливаясь потом, борясь с тошнотой и дрожью, к причалу. Каждую секунду он ждал смерти. Унизительной смерти мягкой беспомощной твари. Вода струилась под килем, издавая причмокивающие звуки.

Постепенно испуг проходил. На половине пути Микк уже мог позволить себе вернуться мыслями к происшествию. А что, собственно, такого страшного? Водоросли, которые режутся, как осока... рука запуталась... Перепугал сам себя... Он знал, что это неправда.

Потому что было что-то еще, что он заметил, но то ли не понял, то ли пропустил между пальцев... между пальцев? Почему между пальцев? Он поднес перемотанную пятнистой тряпкой руку к лицу и уставился на нее. Лодка еле ползла. Нет, потом, все потом... Не могу. Просто не могу.

Но где же люди?!

Озеро было пусто, и у причала не было лодок. Никто не ходил по пляжу и не удил с мола. Неужели за этот час — да нет, меньше часа! — все уехали? Почему? Его вдруг обдало холодом: война!

Чушь собачья... С кем?

А вдруг то, что случилось со мной,— случилось со всеми? В один миг...

Чудовище всплыло из глубин...

Он резко повернул к берегу. Здесь уже начинался белый песчаный пляж.

За спиной забурлила вода. Казалось, что-то огромное то всплывает, то погружается вновь. Микк не в силах был оглянуться. Берег приближался страшно медленно. Почти не приближался. Вода бурлила все сильнее.

Ну же! Он приподнялся, и в этот момент лодка ткнулась носом в песок. До берега было еще метров десять. От толчка Микк повалился вперед и оперся на раненую руку. Боль взорвалась магнием.

Он был на берегу — мокрый по шею. Несколько секунд куда-то исчезли. Лодочка, освобожденная от его веса, плыла, покачиваясь, по кругу. На носу ее крутился черно-красный колпачок звукопеленгатора. Теперь, если крикнуть, лодка приплывет на звук. Но меньше всего хотелось кричать...

Песок был неистово белый и ровный, как стекло. Нога в него почти не погружалась. Ничьих следов не нес он.

Лодка продолжала ходить по кругу. Вода была гладкой и матовой.

Слепящее солнце висело над правым плечом.

Такой тишины Микк никогда не слышал.

Потом он нарушил ее.

Воздух со стоном вырвался из горла, и сердце колотилось о грудину, как боксерский кулак. Песок хрипел при каждом шаге. Непонятный звон наполнял воздух. Свет с воем врывался в глаза и набивался в череп. Приближались, подрагивая, домики...

Потом Микк остановился, перевел дыхание и пошел медленно. То, что предстало ему, требовало неторопливости.

Кирпичный дом конторы по окна зарос травой, и из свежей травы торчали выбеленные скелеты прошлогодних трав. Окна покрывал слой пыли, некоторые стекла треснули, некоторых просто не было. Под стеной, полуутонув в песке, вверх днищами лежали несколько лодок. Микк обошел дом и остановился.

Его машина стояла там, где он ее оставил, на спущенных шинах, в грязных потеках, в пятнах ржавчины... Стоянка была пуста, лишь в дальнем ее углу, покосившись, гнил трактор. Микк огляделся. Нигде не было признаков недавнего присутствия человека.

Он понял, что сейчас упадет, и торопливо сел на землю, опершись руками. Потом лег. Перед глазами плыло.

Господи, что же это?..

Не знаю...

Он лежал долго — лицом в небо. Небо было прежнее.

Наконец ему показалось, что он успокоился.

Дверь конторы висела на одной петле, и хватило толчка ладонью, чтобы она обрушилась внутрь. Грохот был пушечный. Взлетела и заклубилась пыль. Микк вошел в светящийся полумрак. Слева стояла конторка, рядом — застекленный прилавок с рыболовецкой мелочью. Пыли было на два пальца. Направо — Микк это знал — за дверью был крошечный, на четыре табурета и один столик, бар. Микк потянул за ручку двери, она неожиданно легко открылась.

Здесь было светлее — из-за разбитых стекол в окне. На полу песок лежал кучами: побольше под окном, поменьше посередине. Перегнувшись через стойку, Микк потянулся к полке с бутылками, понял, что не достанет, влез на стойку, нечаянно посмотрел вниз...

За стойкой, погребенный песком, лежал труп.

Чего-то подобного он ожидал. Наощупь он выбрал бутылку и, не отводя от трупа глаз, спрыгнул назад. И даже не труп это был... то есть труп, конечно, но мумифицированный, почти скелет — сухой и, должно быть, легкий. Пятясь почему-то, Микк вышел из бара и попытался закрыть за собой дверь — не получилось, мешал высыпавшийся песок. Ладно... Стараясь идти нормально, Микк выбрался под открытое небо. Бутылка, которую он ухватил, оказалась вермутом, но привередничать не приходилось.

С замком машины пришлось повозиться — набился песок,— но все-таки обошлось без взлома. В аптечке был бинт и йод. Хлебнув для храбрости, Микк стал снимать тряпку с руки. Присохнуть еще не успела... но как больно, черт... Рука выглядела страшненько. Шипя от боли, он полил на нее вермутом, потом потыкал туда-сюда смоченным йодом кусочком бинта. Это напоминало прикосновения горящей сигареты. Так вот и обматывать, что ли? Да нет же... Кроме бинта, в аптечке была еще упаковка вискозных салфеток. Неловко орудуя левой, Микк обложил салфетками все израненные места и стал бинтовать. Растревоженная где-то, закапала кровь. Между пальцами, вспомнил он, но уже поздно было смотреть.

Все. Слабой вздрагивающей рукой он поднес бутылку ко рту и, обхватив губами горлышко, стал глотать приторную теплую жидкость. Он никогда не любил вермут. Потом откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.

Девочка моя — та-та-та — как тебя люблю я! Девочка моя — та-та-та — как нам хорошо! Девочка моя — та-та-та — счастлив я с тобою... Дурацкие слова дурацкого шлягера заменяли все мысли. Девочка моя... Тийна забрала вещи и оставила записку: «извини, так будет лучше. Не ищи». Он нашел ее в тот же день, на глаза не попался, просто убедился, что жива. С тех пор он стал брать на себя поиски пропавших. Теперь, похоже, он пропал сам.

И у Кипроса — Агнесса...

Впрочем, у Агнессы не заржавело бы сбегать на месячишко в горы, никого не предупредив, и Кипрос давно — всегда — знал, что в один вполне прекрасный день она исчезнет так же внезапно, как и появилась.

Постой — откуда я это знаю? Кипрос ничего не говорил...

Что-то странное вспомнилось на миг и тут же исчезло.

Я понял, подумал Микк. Я просто поймал кодон. Ноэль рассказывал, как иногда бывает. Не та мелочь, которую я ловил несколько раз в прошлом году, а что-то настоящее. Значит, надо просто сидеть и ждать, когда меня освободят. Не дергаться и не проявлять агрессивности. Люди вокруг меня, я их просто не вижу. Мне просто кажется, что здесь никого нет. Просто, просто, просто...

Но тогда люди ничего не поймут и не примут мер.

Надо что-то делать, как-то объявить себя...

Микк открыл глаза. Ничего не изменилось. Все так же мертво блестел песок, все так же неподвижно лежала вода. Он стал выбираться из машины. Ноги слушались плохо — будто не несколько глотков вина выпил, а водки бутылку. Одеревенело лицо. Во рту скопилась клейкая слюна. Притупилась боль. Нервы. Съездил на рыбалку, отдохнул...

Проклятая жизнь... ненавижу...

Задавил вскипающую ярость. Нельзя так. Нельзя.

Ну, что будем делать?

Пройдя несколько шагов, Микк плюхнулся на колени в песок, шутовски поднял руки к небу и позвал:

— Люди!

Тишина.

— Люди, я вас не вижу! Со мной что-то случилось, я перестал вас видеть! Мне нужно в больницу!

Тишина.

Потом что-то шевельнулось далеко слева.

Микк повернул голову — ничего. Неподвижность и тишина.

— Люди, да помогите же мне! Я говорю чистую правду: я перестал вас видеть! — Он сам услышал в своем голосе нотку раздражения.— Помогите, пожалуйста...

Низкий протяжный звук, похожий на вздох, донесся отовсюду сразу. Зашевелился песок: сразу в нескольких местах. Микк встал и сделал шаг назад. Что-то медленно вздымалось, ссыпая с себя потоки сухого песка.

В страшном молчании из песка вставали мертвецы.

Он попятился и упал, страшно ударившись затылком. Кто-то склонился над ним, закрыв полнеба. Багровое пятно расплылось перед глазами, полыхнуло ярко и погасло.

Долго не было ничего.

10. Мишка

■

Несколько суток он лишь ел и спал; он ловил себя на том, что неимоверно поглупел и даже не может думать, откуда берутся продукты в холодильнике и куда пропадает мусор из ведра. Берутся. Пропадает. Ну и что? И тоску, накатывавшую временами, он глушил едой или сном. Сначала он падал в сон, как в могилу. Потом пришли видения.

Всегда начиналось со стрельбы и с драк, все пули летели в него, а он не мог лечь, и кто-то без лица или даже без головы бил его кулаками и ногами, а он не мог ответить; он нажимал спуск, и автомат выпускал, стрекоча, бессильную серебряную струйку. Но это быстро сменялось медленным проходом по казарме: узкому, но бесконечно высокому, без потолка, и бесконечно длинному залу, заставленному рядами двухэтажных коек, на которых лежали, старательно отворачиваясь от него и затихая при его приближении, какие-то люди, мужчины и женщины, и почему-то, как они отворачиваются и как молчат, было полно глубочайшим смыслом и не хватало лишь просветленности, чтобы смысл этот прочесть. Может быть, весь мир заключен был в этом молчании... Иногда вместо коек стояли вагонные полки,

и с верхних обязательно торчали в проход ноги, ноги, ноги — ноги в разноцветных, но одинаково грязных носках с дырами на пятках. Один раз стояли деревянные нары — даже не двух-, а трехэтажные. В ватниках и валенках лежали на них... И, если долго идти по проходу между койками, полками или нарами, в конце концов приходишь в место, откуда начинается непонятное разветвление путей: нет никаких поворотов, и далекая светлая полоска над головой тянется прямо и ровно, но сам ты можешь повернуть, и все прочее повернется вместе с тобой, и от того, куда ты повернешь, зависит то, что потом увидишь. И, если не сворачивать никуда, стены скоро сменятся скальными плоскостями, полоска наверху станет зеленой, и ее перечеркнет что-то длинное и ажурное, похожее на выносную стрелу башенного крана. Крошечные скелетики захрустят под ногами, а потом откроется выход к океану, и дальше пути не будет. Корабли с детскую ванночку размером помаячат на горизонте и исчезнут. А можно повернуть совсем немного направо, и тогда вскоре стены раскроются, как ладони, и вокруг встанет низкий, чуть выше человека, лес, оплетенный тончайшими нитями от крон и до корней — светлый, сильный, враждебный. И если идти дальше, минуя полузаросшие развалины кукольных городов, придешь к иным городам, то ли принятым лесом, то ли принявшим лес и не похожим уже ни на что. А повернув направо сильно, приходишь в сырые стелющиеся леса, полные тонких, выше деревьев, грибов с продырявленными, как ломтики сыра, шляпками; слизь стекала с них в шевелящийся мох. Сворачивая налево, можешь оказаться в холодной пустыне, полной округлых, как лунные кратеры, котлованов; теми же крошечными скелетиками устлано дно их... В последний раз, пройдя между нарами и безуспешно разгадывая иероглифы поз, Мишка повернул, и мир послушно повернулся. Перед ним вскоре оказалась дорожка из светлого металла, огражденная перилами из грубых арматурных прутьев; туман клубился внизу. Потом туман как-то сразу исчез. Там, далеко под ногами, лежала серая предзакатная пустыня и чуть видимый отсюда караван пересекал ее. Потом беззвучно прошли, описывая циркуляцию, два «крокодила», маленькие, не больше полуметра в длину. Над ними и позади, слегка качнув дорожку реактивными струями, пролетели парой «грачи». Верблюды бежали безумно, и взрывы накрывали их. Наконец все заволокло пылью. Ветер там, внизу, гнал пылевую поземку. Она скрыла все. Мишка стоял на узкой, в две ладони шириной, дорожке, и она ритмично раскачивалась под шагами кого-то невидимого, но близкого и страшного. Мишка почувствовал, как останавливается от беспричинного ужаса сердце, и проснулся.

Похоже, был вечер. Или просто пасмурный день... Он полежал несколько минут, приходя в себя. Спустил ноги на пол, встал. Пол был холодный. Подошел к окну, отдернул штору.

На брандмауэре напротив окна висел удавленник. Запрокинутое черное лицо его смотрело прямо на Мишку. Мишка почувствовал, как слабеют ноги: кроме лица, ничего человеческого не было в повешенном. Горилльи плечи и руки, но с когтями на пальцах; звериные — то ли медвежьи, то ли львиные — лапы вместо ног.

Мишка, пятясь, отступил в глубину комнаты.

Началось...

Это был знак — завершающий знак из всех, полученных уже им в видениях. Они сложились в послание, послание лично к нему, и он теперь знал, что должен делать,— хотя и не смог бы, наверное, перевести это знание на язык слов.

В большой комнате запах тления царил: будто где-то тут лежал невидимый покойник. Вода из кранов текла ржавая и затхлая. Оставшийся на столе кусок хлеба зацвел. Из холодильника на пол натекла лужа. Более или менее съедобными там остались кусок вареной печенки и подавленные пирожки с зеленым луком. Все остальное испортилось и воняло. Чай имел привкус пыли. Это тоже были знаки.

Набив живот впрок, Мишка стал собираться. Надевать форму он не хотел — слишком грязна она была. Так и валялась в углу ванной нетронутая. Он взял лишь сапоги. И ремень. Граната может пригодиться... Неясно, к чему готовиться. На всякий случай он взял еще туристский топорик.

Фотография Таньки нашлась единственная: она и Мишка на мотоцикле Агейчика; Агейчик тогда и снимал. Это было лето после девятого класса. Фотографию с письмом Мишка положил в карман. Может быть, это тоже окажется знаком...

У двери он проверил еще раз, все ли взял, что нужно, и вышел на площадку. Здесь было прохладно и пахло почему-то свежеразрытой землей. Мишка пожалел, что не надел под штормовку свитер, но возвращаться не стал.

Дверь в подвал была заперта на висячий замок, но с ним пришлось долго возиться: заржавел. За дверью было темно. В лицо повеяло теплом, как бы от далекой, но очень горячей печи. Пахло, как в тире: горелым порохом и пыльными матами. Включив фонарик, Мишка стал спускаться по ступеням.

Нужная дверь обнаружилась под лестницей. Она была из толстого неокрашенного железа, вся в рыжих и черных разводах. Обухом топорика Мишка сбил не слишком прочный замок. Дверь открылась с омерзительным визгом. Запах стоялого порохового дыма усилился многократно. На стене справа обнаружился выключатель. Мишка повернул пыльную эбонитовую ручку. Померцав, загорелись газосветные трубки.

Он стоял как бы за кулисами сцены, уставленной декорациями. Потолок был низкий, но метрах в трех он обрывался, и дальше

чувствовался простор и высота. Пол из грязно-серых рифленых цементных плиток заканчивался парапетом; до него было метров тридцать. Позади была стена, и справа она кончалась совсем рядом, а слева упиралась в бетонный куб, немного не доходящий до потолка. За парапетом виднелись грубовато намалеванные на чем-то вершины гор и кучевые облака.

Мишка, стараясь ступать неслышно, двинулся направо. Дошел до угла и осторожно, одним глазом, заглянул за него.

Парапет, дважды изгибаясь под прямым углом, огораживал площадь с футбольное поле размером. Стена, у которой Мишка стоял, уходила вперед довольно далеко и оканчивалась странного вида усеченной опрокинутой пирамидой. Между стеной и парапетом громоздилась гора каких-то ящиков. Частично этими ящиками заваленный, стоял коричневый автопогрузчик. В самом дальнем от Мишки углу парапета виднелась легковая машина или маленький автобус неизвестной марки. Несколько минут Мишка осматривался и прислушивался. Было совершенно тихо. Тогда он оттолкнулся от стены и подошел к парапету.

Под ним был Афганистан. Он понял это в первый же миг и потом ни разу не усомнился. Горы: заснеженные, каменистые, прорезанные зелеными долинами, в извилистых дорогах и тропах, с темными ущельями, с прилипшими к склонам кишлаками, с лоскутками полей везде, где хоть чуть-чуть может задержаться влага; глинистая, покрытая солевой коркой пустыня, навсегда выбеленная солнцем; городок у подошвы горы... Не помня себя, Мишка шел вдоль парапета. Это не было похоже ни на что конкретное, виденное им; это не было рельефной картой, потому что нарушались масштабы и пропорции; вообще нельзя было сказать, чем именно это было. По дороге внизу шла колонна: «уралы» в сопровождении бээмпэшек. Их было видно до безумия отчетливо. И так же отчетливо было видно гранатометчика в чалме, ждущего колонну у изгиба дороги. С легким хлопком, будто лопнула лампочка, взорвался и запылал бензовоз. Из бээмпэшек горохом посыпались стрелки, занимая оборону... Стоило сосредоточить взгляд на каком-то участке, как он оживал и взрывался действием: крались скрытыми тропами бородатые люди, сгибаясь под тяжестью своей ноши, а следом за ними крались солдаты в маскировочном пятнистом, в касках, крытых серой мешковиной. Утюжили воздух неуклюжие с виду «грачи». Верблюды еле брели, а над их головами пронесся вертолет, роняя частые капли бомб... Мишка отшатнулся: чувство повторности происходящего было нестерпимо. И все равно не было сил не смотреть совсем...

Он обошел весь парапет по периметру. Он видел Кабул под собой и Душанбе далеко на горизонте, отары овец и коз, сады и пальмы, палаточные городки, старика, расстилающего в пыли свой

молитвенный коврик, летчика со сбитого «Ан-26», ковыляющего куда-то по черным камням, мерзнущие на вершинах посты, десантуру, отрабатывающую приемы на живых, пестрые базары, танки на перекрестках, женщин во всем черном, ребятишек, пристающих к солдатам... Наверное, все, что когда-то происходило там, отражалось здесь, в этом странном объемном зеркале...

Или наоборот, с ужасом подумал Мишка. Или вообще это все одно и то же, и никакого Афганистана, кроме этого, не существует — просто все знают, что он есть, и этого достаточно. А где-то в другом месте существует такой же СССР... а может, и вся Земля... и весь мир... Отвернувшись от того, что внизу, Мишка стал пристальнее рассматривать место, где он оказался.

Больше всего это напоминало палубу самоходной баржи — такая же вытянутая огороженная площадь с надстройкой на одном конце, захламленная, заставленная чем-то малозначащим: штабелями коробок и ящиков, катушками кабеля, толстыми связками арматуры. Стояла полуразобранная машина: нечто среднее между снегоуборочной и комбайном. Проходя мимо нее, Мишка чуть не упал: нога покатилась на стреляных пистолетных гильзах. Здесь их были многие тысячи. У парапета валялась изрешеченная в кружево железная бочка.

Почему-то вид этой бочки подтолкнул Мишку к размышлениям. Так, я вошел. Было темно. Выключил свет — там, под козырьком, загорелись лампочки. А внизу оказался день. А если выключить — станет ночь? Ночь — время духов, так говорили. Не мое это дело — мешаться в смену дня и ночи. Но ведь уже вмешался. Попробовать? Чувствуя, что делает что-то не то, Мишка подошел к выключателю и повернул ручку.

Наступила полнейшая тьма.

Лишь через несколько минут Мишка смог различить контур парапета на чуть более светлом фоне неба. Он медленно, чтобы не налететь в темноте на что-нибудь, двинулся к нему, и в этот миг завизжала открываемая дверь.

Сработал какой-то звериный инстинкт: Мишка метнулся назад, коснулся ладонями стены и по стене скользнул за угол. Он видел, как плясали беспорядочно и быстро световые пятна от мощных фонарей.

— Не трогай,— сказал чей-то голос.— Пусть поспят.

— До сраки мне их сны,— отозвался другой голос, молодой и злой.— Они там спать будут, а я тут коленки расшибать.

— Говорю — не трогай.

— Ладно, заладил, как...

— Как кто?

— Как училка.

— Смотри у меня.

— Давно уж смотрю...

— Что-то ты оборзел. Забыл, как говно жрут?

— Я же сказал: молчу. Молчу.

— Ну и молчи.

— Ну и молчу.

— Поднимись наверх, там посмотри. Я тут поброжу.

Молодой буркнул неразборчиво и, шумно загребая сапогами, прошел впритирку с Мишкой, одарив его крутым запахом давно немытого тела. Потом пятно света и шаги скрылись за углом, и тут же загрохотала железная лестница. Оставшийся, негромко дудя под нос неразборчивый мотивчик, походил взад-вперед, потом достал что-то шуршащее... закуривает, догадался Мишка... Вспышка спички на миг осветила лицо: обычное, простоватое, с маленьким курносым носиком. Мотивчик сменился другим, и этот Мишка узнал: «На тебе сошелся клином белый свет...» Это была когда-то дворовая песня, только слова другие: «По тебе проехал трактор «Беларусь»...» Красный огонек, вспыхивая и угасая, описывал замкнутые кривые в пространстве, а потом замерцал и стал удаляться: тот, кто курил, направился к парапету. Шагов его Мишка не слышал.

Ну, ребята, влип... Мишка почувствовал, что руки его обхватили гранату и что пот заливает глаза. Это была неразрешимая коллизия, потому что руки не желали размыкаться, а зрение надо было как-то спасать. Наконец он справился и с руками, и с потом. Держаться, надо держаться. Холодно и расчетливо. Они ищут не меня и почему-то не желают включать свет. Это хорошо, это уже половина успеха...

Тот, что курил у парапета, с размаху бросил сигарету вниз. Красный зигзаг секунду висел в воздухе, медленно тая.

— Сашок, ты это чего? — спросил голос над головой.

— А вот...— с хрипотцой отозвался куривший.— Щас добавим...

В тишине громко и железно клацнуло, и ударило два выстрела. Потом, через пару секунд, еще два. Потом еще. Вспышек видно не было: стрелявший перегнулся через парапет.

— Ракетный обстрел Кандагара,— чуть сдавленно объявил он, распрямляясь; Мишка уже довольно хорошо видел его поясной, как на мишени, силуэт.— Забегали, шурави...

— Слушай, я тут пломбы трогать не стал, через дверь посмотрел,— сказал голос наверху.— Календарь опять засбоил. Должна быть ночь с четвертого на пятое, а там с пятого на шестое. Надо опять инженера звать.

— Инженера... Слушай, Чуха, а ты замок на двери менял?

— Вчера, как ты сказал...

— Не было замка, Чуха. Я подумал, что ты опять профилонил, хотел на обратном пути тебя носом потыкать. Так, говоришь, пломбы целы?

— Целы, Сашок, точно говорю: целы.

— Слава Аллаху. Ладно, придется засветлять. Проверишь балкон — и спускайся. Да ствол держи наготове.

— Понял, Сашок. Иду.

Наверху застучали сапоги, а человек у парапета перезарядил пистолет и скользящими, почти беззвучными шагами пошел назад. У меня же топор, в отчаянии подумал Мишка, можно же топором... Он не двинулся с места. Щелкнул выключатель, загорелись лампы — и засветилось небо. Солнце скользнуло из-за гор и остановилось невысоко. Мишка обтер ладонь о штаны, взялся за рубчатое тельце гранаты и потянул его на себя. Чека не отпускала. Он рванул — и чуть не выпустил гранату из руки. Этого он испугался. Другого он не боялся ничего. А может быть, боялся так, что уже не чувствовал своего страха.

Человек вышел из-за угла. Он был одет в черный, наподобие танкистского, комбинезон. Лицо было то же самое, простоватое, курносое, только глаза были мертвые. Он увидел Мишку, гранату в его руке и все просчитал и все понял.

И Мишка все понял, глядя в эти глаза, и уже не слышал, как тот сказал:

— Эй, парень, поосторожней с этой штукой!

При первых звуках голоса Мишка ослабил пальцы, и предохранительная скоба полетела, вращаясь, как бумеранг; хлопнул капсюль и запахло пистонами — как от детского пистолетика. Мишка держал гранату в поднятом как бы в ротфронтовском приветствии кулаке. У человека в черном делались нормальные глаза и что-то менялось в лице; потом он стал медленно падать назад, одновременно отворачивая лицо и закрывая руками голову. Чудак, подумал Мишка, это же «фенька», от нее не закроешься локтями. Ему было легко и спокойно. И даже предчувствие чего-то радостного возникло и дало себя ощутить...

Все это длилось слишком долго.

Человек в черном зашевелился, приподнял плечи и, повернув голову, посмотрел на Мишку. Мишка так и стоял — с неразорвавшейся гранатой, поднятой к плечу.

— Бросай,— сказал человек и ткнул рукой: вон туда.— Бросай.

Мишкина рука неловко распрямилась, и граната отлетела шагов на десять, костяно ударилась о пол и покатилась, рокоча.

— Вот и молодец... молодец...— Человек поднялся и, пошатываясь, подошел к Мишке.— Ты кто такой?

— Я здешний,— неожиданно для себя ответил Мишка и удивился своему голосу: тонкому и противному.— Я здесь живу. На втором этаже.

И, чтобы его лучше поняли, пальцем показал на потолок. Палец трясся.

— А, понятно,— улыбнулся человек в черном.— А я-то испугался, что это сайр к нам пробрался. А ты наш. Это хорошо...

И Мишка с трудом подавил в себе желание улыбнуться ему в ответ.

— Видишь, Чуха: гость у нас,— сказал человек в черном подходящему молодому.— На втором этаже, говорит, живет.

Молодой заржал.

— Крутой парень,— продолжал человек в черном.— Чуть что не по нем — гранатой. Фамилии не спросил. Хорошо, граната тухлая была, а то соскребал бы ты меня веничком... Афганец, одно слово. Афганец, да?

— Нет,— сказал Мишка. С первого раза сказать у него не получилось, и он повторил упрямо: — Нет. Я русский.

— Русский по паспорту. А афганец по душе. Так говорят.

В голосе его чувствовалась непонятная издевка.

— Я русский,— повторил Мишка.— Афганцы те, которые там живут.

— Не хочешь, значит, афганцем быть?

— Я русский.

— Хороший парень,— сказал человек в черном.— Культурный. Все понимает...

Он сделал неуловимое движение плечом, и в глазах его Мишка увидел жадное любопытство — а потом Мишку вдруг подняло непонятной силой вверх и куда-то понесло, и без боли ударило о плиты пола, и перевернуло так, что пол оказался над головой, а небо и солнце внизу. Это было неправильно, но повернуться Мишка не смог. Он смотрел, как белое солнце превращается в черный круг на желтой стене. Он так и не понял, что умирает.

— Одним ударом,— подобострастно сказал Чуха.— Одним ударом, Сашок, а?

— Сними с него все,— прыгающим голосом велел Сашок.

— Ты что, хочешь...

— Снимай, падаль!

Чуха стал стаскивать с мертвого Мишки сапоги, запутался в штанах...

— Срезай, козел!

Срезать было легче.

— Все. А теперь отойди... Нож дай.

Чуха смотрел, что Сашок делает с Мишкиным телом. Потом его замутило.

— Слушай, хватит, а? Зачем уж так?

— Ништяк...— улыбаясь и часто дыша, Сашок выпрямился.— Пацаны злее будут. Берись, поволокли.

Они подтащили то, что осталось от Мишки, к парапету. Сашок перегнулся через парапет и стал смотреть вниз. Постепенно пейзаж внизу менялся: раздалось и поднялось, вырастая в размерах, каменистое горное плато. То, что было рядом с ним, съеживалось и сжималось, мертвея. Наконец плато увеличилось до размеров естественных. До него было метров пять. Видна была россыпь зеленоватых автоматных гильз.

— Подняли...— сказал Сашок.— Перекинули...

Изуродованное до неузнаваемости тело Мишки с тупым звуком упало на камни.

— Иди-ка еще вон... гранату принеси...

Чуха послушно сходил и принес гранату. И перебросил ее следом за телом.

— Орденок теперь дадут... посмертно...— все с той же улыбкой сказал Сашок.

Он отвернулся от парапета, и плато стало оседать и уменьшаться, уменьшая вместе с собой и мертвого Мишку, лежащего на нем.

— А представляешь, если бы это сайр был? — подстраиваясь под старшего, сказал Чуха.

— Был бы это сайр... так мы бы с тобой... там лежали...— Сашок согнал улыбку с лица.— Козлы мы с тобой и разъебаи. Сайр бы нас на счет «раз» положил. Да только вряд ли сайр сюда пролезет. Нет им, гадам, сюда пути...— Глаза Сашка опасно сузились, голос побелел.

— Щуплый пацан,— уходя от опасной темы, завертел головой Чуха.— А кровищи, что с борова.

— Засохнет,— плюнул Сашок.

11. Татьяна

■

Накормили последних. Хотелось лечь и никогда больше не вставать. Маленькие ревели вперебой. Те, что чуть побольше, азартно смотрели в небо. Только что нечисть — одни крылья и ноги — попыталась свалиться на головы. В нее попали, и с жалобным воем нечисть скрылась. Всей еды было: тридцать буханок черного и два ведра лапши на порошковом молоке. Это на без малого две сотни народу. Завтра не будет и того, сказал Василенко, хлебозавод — все. Не удержали. Василенко был черный и худой. Как Дим Димыч, спросила Татьяна, отходит? Не знаю, Танюха, сказал Василенко, я его с позавчера не видал. Вроде живой. Загляните к нему, Федор Игнатьевич, вы ж мне не чужой, попросила Татьяна, ведь мне отсюда — ни на шаг. Ладно, Танька, загляну. Передать ему что?

Передать? — Татьяна вдруг смешалась. Передать: что жива и люблю. Она с вызовом посмотрела на Василенко. Он вдруг улыбнулся. На запекшихся черных губах появились алые трещинки. Ладно, сказал он, для этого дела специально съезжу...

Она двигалась уже как манекен: высаживала на горшки, вытирала слезы, разнимала драки, успокаивала, как умела, играла в пантеру и в лису Алису, надувала прохудившийся мяч, вставляла кукле ноги... Наконец Фома Андреевич поймал ее за бок и посадил рядом с собой.

— Передохни, дочка. Не одна ты тут, пусть и мамки не только за своими походят...

Она послушно сидела, беспрерывно куда-то проваливаясь. Потом, похоже, заснула, потому что, открыв глаза, обнаружила себя лежащей и прикрытой пиджаком. Рядом кто-то тоненько плакал, подвывая.

— Ума решилась, бедная,— сказал один голос.

— Водки ей дайте,— сказал другой.

— Разойдитесь, просто разойдитесь,— сказал Фома Андреевич.— Не стойте над душой. А ты поплачь, родная, поплачь. Рта не затыкай, не насилуй себя. Поплачь.

Татьяна опять уснула.

Окончательно она проснулась в полной темноте. Тусклое кольцо луны терялось в перепутанных ветвях. Фома Андреевич дышал рядом.

— Спи дальше,— сказал он.— Если что — разбужу.

— Фома Андреевич,— сказала Татьяна,— вы-то сами когда спали последний раз?

— Сегодня часок ухватил. А что?

— Да неловко мне.

Неловко только метлой париться,— сказал Фома Андреевич.— А вам, молодым, сна больше требуемо. Я вот сижу и в небо смотрю, и мне хорошо.

— Выспалась я,— сказала Татьяна.

— На фронте, помню: спать хотелось и есть. Только спать и есть. И все. Остальное тоже вроде помню, но так... сквозь кисею. А спать и есть страшно...

— Вот и у нас так.

— Еще немножко не так. Но у нас и хуже, опять же. Там хоть ждали чего-то. И, все-таки, мужики одни... легче. В сорок четвертом, зимой, к нам из Белоруссии партизанский отряд прорвался. Баб и ребятишек человек сто да бойцов полсотни. Из блокады, голодные, шатаются... Командира с комиссаром перед строем расстреляли, а бойцов приодели слегка, жратвы какой-то дали, патронов — и назад. Ну а семьи — в тыл. Так командир с комиссаром обнялись перед

смертью и расцеловались. Знали, видно, на что шли,— с самого начала знали...

— Почему расстреляли-то? За что?

— Оставление позиций.

— Так что — лучше бы дети перемерли?

— Командование считало — лучше...

— Вот же сволочи...

— Может, и сволочи... А может, и нет. Кто знает? Про Ноя ты же читала?

— Читала. Про ковчег.

— Это Писание... А есть еще предание — неписаное. Про соседа Ноева, по имени Орох. Был он завистлив и подозрителен. Увидел Орох однажды, что Ной с сыновьями начал строить огромную лодку, и подумал, с чего бы это? Ной, говорят, праведник, Господь любит его. Не иначе, что-то должно случиться. И стал Орох строить такую же лодку. Долго строил, но закончил в срок. И все смеялись над ним и над Ноем. А потом начались дожди. И реки вышли из берегов, и ручьи превратились в потоки. И стала заливать вода жилища. Тогда поняли люди, что Бог прогневался на них, но не было у них сил душевных принять этот гнев как подобает. И бросились они к ковчегам... Но затворил Ной ворота ковчега, и напрасно стучали в них люди. Женщины поднимали детей над волнами и питали надежду, что хоть безвинных младенцев примет праведник Ной. Но был Ной послушен воле Господа. А Орох не вынес плача и мольб — и отворил ворота. Взошли люди на ковчег Ороха, но слишком много их было, и не смог он затворить ворота, не смог выбрать того, перед кем их затворить...

— Вы это сами сочинили? — помолчав, спросила Татьяна.

— Не знаю, дочка. Может, и сам. А может, слышал от кого...

— Значит, мы потомки того праведника... Интересно, спал он спокойно в оставшуюся жизнь?

— Он спал спокойно.

— Тогда, наверное, все, что было потом,— это искупление его праведности. Включая нас и вот это...

Они помолчали. Слышалась далекая перекличка часовых — видимо, в районе ремзавода. Потом там же застрелял тракторный мотор, и с лязгом, слышимым даже здесь, куда-то направился архиповский броневик.

— Третья ночь без стрельбы,— сказал Фома Андреевич.— Замечаешь, дочка?

— И правда,— сказала Татьяна.— Неужели выдохлись?

— Или готовят что-то.

— Или готовят...

Медленно прошли, разговаривая, четверо караульных: один с дробовиком, двое с огнеметами, у четвертого на плече лежала пика поперечной перекладиной. Оборотня было мало поразить картечью или поджечь — нужно было еще и держать, пока не сдохнет.

Да, растратили серебро в первые дни, теперь приходится ухищряться...

Кто же знал, что все это затянется на столько времен?

Ах, война-то еще долго протянется, на то она и война... Миша, Миша, как же это так, а? Забрали, убили, сунули обратно: хороните... будто так и надо. ...трехлинеечки, четырежды проклятые, бережем. Мишку убили, Валера умер, Дима тяжелый...

И вдруг внезапно, будто вспыхнул свет, она поняла, что должна увидеть Диму — немедленно, сейчас, пусть он без сознания, пусть не видит, не слышит. Почему-то получалось так, что нет ничего важнее этого...

Что-то должно было случиться в эту ночь.

До больницы двадцать минут — днем. Здесь хватит рук и без нее. Правда, если отлучку обнаружат... Но об этом лучше не думать.

Тем более — что-то должно случиться. И это что-то требует ее присутствия рядом с Димой.

— Фома Андреевич,— Татьяна поднялась.— Вы не проводите меня до больницы? А то у меня только три патрона.

Несколько секунд Фома Андреевич молчал. Потом встал.

— Сюда возвращаться будешь? — спросил он.

Татьяна прислушалась к себе.

— Не знаю. По обстоятельствам.

— Тогда я захвачу свой мешок...

Чудный старик, подумала она. Чудный и чудной. Впрочем, как выяснилось, многие оказались не такими, как были прежде.

Взять того же Диму...

Фома Андреевич, с мешком за плечами и архиповской многозарядкой в руках, возник рядом. Но с ним, к ужасу Татьяны, возникла и Василиса — директор второй школы, а теперь комендант лагеря «Верхний»...

— Я все знаю, девочка,— сказала она неожиданно.— Пойдем, а то вас без меня пристрелят в воротах...

На улицах оказалось неожиданно светло. Почти как в нормальную лунную ночь. То, что глаза, нагруженные светом костров, керосиновых ламп и свечей, воспринимали как непроницаемую темноту, через несколько минут стало мостовой, заборами, домами, крышами, небом... Черным небо было лишь над северным горизонтом; вокруг же тусклого кольца луны расплывалось серо-сиреневое пятно, дающее довольно яркий, но бестеневой свет. Отсутствие теней, контрастов, объема делало город туманно-призрачным.

— Второе полнолуние встречаем,— тихо сказал Фома Андреевич.— С первого по сути началось...

— По-моему, еще весной началось,— сказала Татьяна.

— Не определить нам, когда это началось, и лишь когда кончится, будем видеть все. Восьмая часть нас сейчас осталась, а должна остаться двенадцатая...

— Фома Андреевич,— медленно начала Татьяна,— вот мы с вами много говорили обо всем таком... я до сих пор не пойму: неужели вы и вправду верите в предначертания? Ведь это же...— она поискала слово,— неинтересно.

Фома Андреевич ответил не сразу. Татьяне даже показалось, что он вообще не будет отвечать,— так размеренно он шел, поворачивая голову из стороны в сторону и поводя толстым стволом своей пушки. Но шагов через сто он заговорил.

— Если предначертанье сбывается: раз, другой, третий, сотый... можно ли это отбрасывать? Или стоит поискать объяснение? Допустим, нас не устраивает простейшее из них: что все кому-то известно наперед, а поскольку мир неизменяем, то мы волей-неволей исполняем предписанное. Согласен: обидно, сил нет. Хотя никто не доказал, что мир обидным быть не должен. Но зайдем с другого конца: предположим, предначертания исполняются потому, что люди верят в то, что они исполнятся. Чем больше людей, чем сильнее они верят,— тем вернее исполнение...

Он остановился и прислушался. Тонкий вой возник вдалеке, поднялся — и оборвался. И, как бы погребая его, нарос лязг броневика.

— Что-то утюжит Архипов...

Потом раздались крики — уже человеческие. Мокрый удар — и чавканье, как от шагов по болоту. И снова — вой, визг, бульканье... Желтый огненный пузырь вздулся над крышами.

— Однако, поторопился я — про затишье,— пробормотал Фома Андреевич.

Коротко рванул автомат. Потом еще раз.

— Пойдемте,— сказала Татьяна.— Все равно мы...

Почти бегом они двинулись вниз по мощенной булыжником Социалистической улице, которую все звали по-старому: Прямым Взвозом. Она шла от самой пристани до каменных лабазов наверху; там же было пожарное депо с каланчой и вторая школа, раньше — реальное училище. Теперь все это вместе называлось «Верхним лагерем» и давало приют сотням людей, в основном — детям и женщинам. Верхний лагерь было легко оборонять, там были самые большие запасы продовольствия, но воду приходилось возить снизу.

Самый большой и самый важный — но и самый беспокойный и уязвимый — лагерь образовался вокруг ремзавода. В нем было человек семьсот. Третий был — больница и два десятка домов вдоль

набережной. Полторы сотни людей удерживали его. И было то, что называлось постами: электростанция, пакгаузы у пристани, хлебозавод... все, хлебозавод можно вычеркнуть. С самого начала он висел на ниточке...

Улицы и дороги, соединявшие лагеря, по непонятным причинам оставались ничьей землей. Людям здесь было небезопасно появляться — но и нечисть, дневная и ночная, не занимала дома и не взрывала землю. По крайней мере, слухачи, сутками напролет обычными докторскими стетоскопами выслушивающие подземную колготню, здесь ничего не находили.

Что-то заставило Татьяну замереть; Фома Андреевич тут же остановился и повернул голову к Татьяне, но, повинуясь жесту, промолчал.

Странная возня происходила в палисаднике дома, с которым они поравнялись. Возня, возбужденный крысиный писк... и с шипением, как от влетающей ракеты, вспыхнуло белое пламя! Клочья чего-то горящего вымахнули на высоту крыши. И тут же, рядом — вторая вспышка. Крысы завизжали. Смотри, смотри! — зашептал Фома Андреевич, но Татьяна видела и сама, хоть и сквозь лиловые пятна: из палисадника на доски тротуара выбрались какие-то гномики. Двое несли третьего. Потом появился четвертый. Заметив людей, они замерли, но тут между штакетин просунулось сразу несколько крысиных морд. Гномики перебежали тротуар и спрыгнули на мостовую. Фома Андреевич дослал патрон и дважды выпалил по крысам. Полетели щепки. Штакетник завалился и повис на кустах. Крыс, конечно, смело. Гномики встали, подняли своего пострадавшего товарища и, поглядывая на людей, пересекли мостовую. Татьяна присела, чтобы лучше их разглядеть. Они были вполне обычными — только маленькие. Ей показалось, что последней шла женщина — впрочем, одетая, как все остальные.

Значит, Мишка ничего не придумал... значит, все так и было, как он говорил...

— Эй! — позвала она. — Вернитесь! Мы вам поможем!

Но никто не вернулся и не отозвался.

12. Вито, он же сайр Гэбрил Ксимен

■

Что Гэбрилу определенно нравилось в новом тоуне, Джаллаве, так это естественность поведения. Если тоун Джаллав был доволен — все знали, что он доволен; если что-то его не устраивало, то все знали, что именно, и не требовалось вычислять и угадывать, кого и за что наказывает тоун, понижая в чине, допустим, референта вице-председателя Малого круга. Может быть, пройдет двадцать лет — и Джаллав научится делать загадочные жесты, ставящие в

тупик всю команду,— но пока ничего, кроме облегчения, никто не испытывал. Сегодня тоун был встревожен, тревоги не скрывал, но тем не менее все собравшиеся на Большой круг знали, что ни с какими иными трудностями, кроме реальных, не столкнутся.

Прежнего тоуна, Сондж-Такши, никто не вспоминал, руководствуясь мудрым правилом: о мертвых хорошее или ничего. Правило действовало, хотя Сондж-Такши был жив, здоров и шумно проматывал свое неимоверное выходное пособие. Гэбрил видел его однажды, но сделал вид, что он сам на задании, а в теле его жокей.

Оперативная обстановка внезапно осложнилась, говорил тоун Джаллав, причем в нескольких уровнях одновременно. Особые опасения внушают уровни вав, зайин и хет, где события развиваются по образцу «Припарийской катастрофы», но в значительно большем масштабе. Уже очевидно, что процесс охватывает все три уровня, локализуясь в каждом из них на площади от одного до трех миллионов квадратных миль. «Припарийская катастрофа», как все помнят, началась на территории в несколько сот квадратных миль — и привела к гибели половины населения планеты и деградации оставшейся, что, в свою очередь, резко ослабило наши позиции в отдаленных уровнях.

Ничего себе, ослабило, подумал Гэбрил. Уровни выше коф практически недоступны...

Понятно, что события в уровне коф, в Припарии, произошли еще тогда, когда мы не обладали даже минимумом необходимых средств, продолжал Джаллав, а главное — не имели представления об истинной причине происходящего. Сегодня мы имеем возможность локализовать подобные процессы в течение дней и даже часов. Не далее как в прошлом году была проведена успешная операция в слое ламед — хотя и не безупречная с этической точки зрения...

В сущности, за эту операцию Сондж-Такши и сняли. На ИТ-тест отреагировал один из заливов мелкого и чрезвычайно населенного ламедианского океана. Сайр-команда организовала там столкновение двух танкеров: с нефтью и с какими-то кислотами. После чего в заливе не стало даже бычков.

Но, с другой стороны, если болезнь запустить... в уровне коф погибло полтора миллиарда. Правда, там был чисто сухопутный вариант. Но с морскими аналогами «преображения» бороться было бы практически невозможно. Поэтому неизвестно, что хуже.

Вообще неизвестно, что хуже. Похоже, что выжившие на уровне коф не так уж бедствуют. Хотя живут странно — по нашим понятиям. А по своим — хорошо. Спокойно живут. Многие из нижних уровней поменялись бы с ними... если те согласятся, добавил про себя Гэбрил.

А может быть, и меняться не придется...

Джаллав закончил вступление и спросил, не нужно ли что уточнить? Это был обязательный ритуальный вопрос на Большом круге.

И встал магнус Зоунн.

— Мой командир,— сказал он,— как давно появились признаки «преображения» в этих уровнях?

— Ретропроекция показывает: в уровне вав — около трех лет назад, в уровне зайин — около полугода, в уровне хет — более двадцати лет назад.

— А идентификация состоялась?..

— Две недели назад.

Ропот прокатился по залу.

Сейчас спросит: чья вина? — подумал Гэбрил.

— Мой командир, есть ли объяснение тому, что в сроках ретроспекции мы имеем двадцатикратный разнос?

— Объяснений...— тоун чему-то, известному только ему, улыбнулся.— Объяснений до черта. Лично я отдаю предпочтение двум: во-первых, методы ретроспекции крайне несовершенны, во-вторых, противник сознательно оттягивал момент инвазии в слой зайин. Подчеркиваю: сознательно. Он создал плацдармы: сверху и снизу; накопил силы... Мы с вами знаем, какова роль уровня зайин для равновесия системы, для защиты алефа. Думаю, противник знает это не хуже нас. Пора перестать относиться к нему как к безмозглому животному, как к явлению природы,— этим многие из нас грешат до сих пор. Я ответил на ваш вопрос, квинтал?

— И последнее: почему допущена такая поздняя идентификация признаков?

— Потому что формально этих признаков нет. ИТ-тесты отрицательны в зайин и хет, сомнительны — в вав.

Вновь прокатился ропот.

— Мы отстали от событий,— подождав, когда установится полная тишина, продолжил тоун,— и упустили из виду многие изменения, произошедшие с нашим противником. Скажем, резчайшее усиление способностей к маскировке — или к мимикрии, если так будет угодно господам арбореям. Хотя, как я понял из рапортов группы Ауэбба, эту тему они разрабатывают минимум четыре года...

Гэбрил посмотрел на Ауэбба — его место было в ложе руководителей групп, но он всегда сидел со своими расчетчиками. Сейчас он был бледнее обычного и смотрел строго перед собой. В пересечении сотен взглядов ему было неуютно.

— Именно этим путем, путем самообмана, самоуспокоения мы пришли к ситуации, обозначившейся в последние недели. Но буквально до сегодняшнего дня мы не подозревали о том, что положение не просто несколько осложнилось...— тоун помолчал, глядя на пустой

пюпитр.— Я даже не могу сказать, что мы на грани катастрофы — потому что, боюсь, мы давно перешагнули эту грань.

В наступившей тишине кто-то закашлялся.

— Мой командир...— поднялся штаб-магнус Манхолт, но тоун жестом усадил его на место.

— Сейчас я по возможности кратко опишу то, с чем столкнулись наши службы за последний месяц, а также то, что происходит сейчас в уровнях вав, зайин и хет. После чего объявлю о своем решении. Прошу выслушать меня внимательно.

Странно, что я ничего не чувствую, подумал Гэбрил. А должен бы. Или уже все перегорело?..

— Ровно месяц назад сайр Бэлард, следуя в авторежиме из уровня йод, пропал где-то между уровнями зайин, который был отмечен мониторингом, и гиммель, где, как вы знаете, имеется стацрегистратор. Мониторинг прервался при прохождении уровня вав. Судьба сайра Бэларда неизвестна. Это была первая потеря такого рода. В течение недели точно так же пропали еще двенадцать человек — все при прохождении уровня вав. Магнус Зоунн организовал спецгруппу, занятую исключительно поиском и прямым подуровневым возвращением наших разведчиков. Не имеет смысла, очевидно, говорить о том, что авторежим теперь применяется в самых исключительных случаях. Но, как вы понимаете, наблюдатели и разведчики, покинувшие алеф более месяца назад, об этом не знают, продолжают им пользоваться — и пропадают при пересечении уровня вав... Один из них наконец найден и возвращен сегодня. Это сайр Ксимен, рапорт которого проливает свет на многое. Хотя, возможно, и не на все.

Теперь все смотрели на Гэбрила. Он постарался этого не заметить.

— Естественно, отдел структурной разведки стал уделять самое пристальное внимание уровню вав. Зоной сопряжения энергетических минимумов Базы алефа и пространства вав является большой портовый город Альбаст на юге бывшей Империи гипербореев. Общий уровень технического развития государств вав достаточно высок, в основном это касается сферы информатики. Антропогенное давление на среду переходит за критические пределы. Классических признаков самоорганизации среды не отмечено — но в истории зафиксирован случай создания артефакального биокибернетического анклава. Попытка закончилась катастрофой, информационным коллапсом — однако это, похоже, ничему их не научило. Более десяти лет ведутся работы, в том числе и в военных целях, над снятием межличностных блоков и установлением симпатических связей как между индивидами, так и между индивидом и внешней информсистемой. Наши попытки сорвать эти работы пока почти ни к чему не привели. Далее:

практически все информационные системы технически развитых государств вав, развиваясь стихийно, оказались соединенными в одну сеть; причем это касается как высокосложных специализированных систем, так и бытовых, широко распространенных там. Возможно, впрочем, что имел место не только стихийный процесс, но и желание правительств иметь возможность обеспечить при необходимости тотальный контроль над информацией, поскольку новейшая история этих государств отличается сверхкритической нестабильностью. В полном соответствии с теорией бесконечно замкнутых систем в сети стали зарождаться информпакеты, воздействующие на сознание и подсознание людей с целью побудить их к свершению тех или иных действий. Процесс этот идет по экспоненте, принимаемые меры, естественно, запаздывают, так как нацелены на ликвидацию последствий уже состоявшихся событий, а не на опережение. Корпус эрмеров — так называется организация, созданная для защиты от этого бедствия — слаб, плохо оснащен технически и обладает минимумом возможных полномочий. Очевидно, что предотвратить очередной, теперь уже тотальный информационный коллапс он не сможет. Если же мы попытаемся событийно совместить тотальный информационный коллапс с выходом из-под контроля разработок по снятию межличностных блоков и созданию симпатической связи — а это произойдет неизбежно,— то совершенно ясным становится итог: образование в непосредственной близости от алефа гигантской аморфной безличностной биокибернетической системы, которую противнику не потребуется даже завоевывать — она будет полностью открыта для него. Тем более, что плацдарм противника в уровне вав существует, по всей вероятности, уже не один десяток лет...

Он перевел дыхание.

Тишина стояла гробовая.

— Детального изучения событий вокруг артефакального информационного коллапса не проводилось, но из тех материалов, что — часто вопреки воле непосредственного руководства — доставляли наши наблюдатели, становится очевидным следующее: некоторая часть населения уровня вав, по крайней мере в местностях, прилежащих к центру событий, потенциально тропна к противнику. Эти люди составляют по различным подсчетам от одной десятой до трех процентов населения и отличаются повышенной чувствительностью к неофициальным раздражителям. Магнус Ауэбб считает, например, что можно говорить о формировании у них зачаточной третьей сигнальной системы, совместимой с сигнальной системой противника. Точно известно, в частности, что они способны принимать и генерировать модулированное ультрафиолетовое излучение, причем это излучение четко и однозначно влияет на уровень активности коры головного мозга — вплоть до возникновения некупируемого судорожного синдрома. Есть данные, хотя и менее полные, о

воздействии химических раздражителей в микродозах... В общем, это люди, но уже не совсем люди. И, вполне возможно, их поступки диктуются не только их собственным разумом. У нас нет достоверных данных о происхождении этих людей, и лишь по некоторым косвенным намекам мы предполагаем, что они появились в результате вирусной инвазии в наследственную плазму минус третьего поколения. Причем это с абсолютной точностью напоминает эксперименты по генному инженерингу, выполнявшиеся в алефе примерно в то же время...

Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. Тоун Джаллав обводил глазами зал, вглядываясь в лица, и Гэбрил понял, что тоун, помимо всего, решает сейчас и кадровую задачу. Для самого Гэбрила этот вопрос был уже решен, поэтому он вполне мог позволить себе самую естественную реакцию на слова тоуна: отвалить челюсть. Боже правый! Минус третье поколение, поколение дедов, не имевших и понятия о структуре мира, об уровнях выше первого... воинственных дедов, немало сил вложивших в науку о самоуничтожении... по-дурному бесстрашных дедов, творцов монстров и оборотней, созданий несчастных и несущих несчастья...

И — вот какой поворот темы...

— Мы не можем пока судить о характере процессов, превративших вав в непреодолимую преграду для наших возвращающихся разведчиков,— помолчав подобающее время, продолжал тоун.— Информация, предоставленная сайром Ксименом, интересна, но не проверена. Чисто спекулятивно можно предположить, что это одно из следствий возникновения в информационной сети специфических информпакетов, именуемых там «кодонами». По крайней мере, сам сайр Ксимен был переправлен из уровня вав в уровень зайин после того, как воспринял один из таких пакетов. Я не берусь делать выводы из уникального пока факта, но случай крайне интересный и требует внимательного анализа. И, возможно, экспериментальных проверок...

Это он осторожничает, подумал Гэбрил. Нутром чую: все, кого найдут, расскажут одно и то же: поймали кодон. И вообще — сама ситуация с исчезновениями заставляет задуматься над обоснованием многослойной системы. Как бы не оказалось, что уровни, начиная с бет, вовсе не являются дочерними реальностями, возникшими в результате функционирования алефа,— так, по крайней мере, считается до сих пор,— а суть вполне самостоятельные миры, и алеф — равный в ряду прочих... и, может быть, даже не первый? Никто ведь, кажется, не пытался проникнуть под?

А ведь это может оказаться богатой идеей — проникнуть под алеф...

Как? Он стал думать, как это можно сделать, и пропустил момент, когда тоун перестал рассуждать о вав и перешел к зайин.

— ...с Базой сопряжен малонаселенный район, и самый большой город имеет население около четырнадцати тысяч человек. Поскольку уровень зайин имеет важное стратегическое значение, мы держим там постоянно около двадцати наблюдателей. Признаков проникновения, известных нам по предыдущим вторжениям, нет до сих пор, но я беру на себя ответственность за следующее заявление: в уровень зайин, причем в район, сопряженный с Базой, осуществляется массированное вторжение сил противника. То, что происходит там, я бы назвал преображением реальности — поскольку преображение коснулось не растительности, как на уровне коф, не части каждого царства живого мира, как в вав, а всей совокупности живой, мертвой и идеальной сфер — пусть и на ограниченном пока участке. Зона вторжения оказалась огороженной непроницаемым в обе стороны барьером, причем если изнутри барьер видим и осознаваем, то снаружи — нет. Сотни квадратных миль территории, город, несколько поселков исчезли без следа, исчезла память и упоминания о них, люди, жившие там, будто никогда не существовали... Мы еще ни разу не встречались с подобным феноменом. Возможно, это самое грозное из последствий вторжения. Борьба с ним будет одним из приоритетных направлений нашей деятельности... Внутри барьера происходит истребление населения — по меньшей мере две трети на сегодняшний день — и внедрение в реальность форм жизни, никогда не существовавших ни там, ни где-либо еще... за исключением, может быть, верхних, закрытых для нас уровней.

Гэбрил помнил, какими возвращались сайры из верхних уровней после Припарийских событий. Многих списали — у ребят не выдерживала психика. Сколько я провел в зайин? Меньше суток? Вернувшийся позже Гайт рассказывал страшные вещи. И за это время, наверное, все стало еще хуже. Как там они? — вдруг сдавило сердце. Мы тут болтаем, а они держат оборону, умирают, защищая нас...

А по идее — мы должны умирать, защищая их. Так это виделось поначалу.

— Вторжение противника в уровень хет, случившееся, очевидно, лет двадцать назад, мы умудрились не заметить. Как ясно сейчас, противник контролирует огромную территорию, королевство Альбаст, и готовит оккупацию всего слоя. Преображение в слое хет коснулось прежде всего людей и лишь в последние месяцы перенеслось на животных, диких и домашних. Причиной столь позднего обнаружения деятельности противника можно считать ту самую мимикрию, о которой я говорил вначале. Уровень хет характеризуется чрезвычайно высоким развитием магических начал, и потому очень грязную и шумную возню противника мы сочли просто особенностью пейзажа...

Не удержался, лягнул Сонджа, подумал Гэбрил. Выражение «особенность пейзажа» было у него из любимейших...

— На территории Альбаста нами зафиксировано свыше пятидесяти очагов сосредоточения преображенных людей. По оценкам магнуса Ауэбба, в ближайшее время преображение охватит до трех четвертей населения королевства. Это почти двадцать миллионов человек. Почти весь интеллектуальный потенциал преображенного человека переориентирован на создание коллективного интеллекта, каковой интеллект, как вы все понимаете, полностью совместим с интеллектом противника...

И все это было в отчетах, подумал Гэбрил, и наблюдатели сидели там и все видели — в общем, здорово мы работаем. Умно, главное. Тесты отрицательные — значит, все в порядке. Что-то есть в этом от Провозвестников...

А как все было задумано, как начиналось! Гэбрил был мальчишкой, когда первый отряд добровольцев-сайров отправлялся в далет, чтобы там противостоять «костной природе». Тогда все поголовно считали, что противник — «костная природа», для которой человек — инородное и раздражающее существо... Сайров знали в лицо, у них брали автографы, девушки гроздьями свисали с их широких плечей. Далет отстояли — хотя, похоже, вторжением там и не пахло, а происходили сложные, но вполне автономные процессы взаимоадаптации биосферы и техносферы. Вторжения начались позже...

— ...только решительные преобразования в самой структуре Ордена! — от этих слов Джаллава Гэбрил вздрогнул, хотя и знал точно, что они прозвучат.— Поэтому властью, данной мне, объявляю упраздненными все существующие ныне отделы, а их сотрудников — уволенными с месячным выходным пособием. Поручаю магнусу Зоунну сформировать команду «пси-лавверов», в которую он имеет право кооптировать любого сайра вне зависимости от прежнего звания и должности. Общая численность команды Зоунна — семьсот человек. Поручаю магнусу Ауэббу сформировать команду инструментальной дистант-разведки. Условия кооптирования те же. Численность команды — на усмотрение магнуса Ауэбба. Список представить сегодня. Бюджет и необходимое инженерное дооснащение — завтра утром. Интенданту Македу — сформировать группу инженерно-технического обеспечения. Составить список специалистов, не входящих в Орден, привлечение которых желательно. Срок исполнения — два дня. Бюджет неограничен. Доктор Штром, на вас — все медицинское обеспечение. Срок тот же. Моим заместителем по кадрам назначаю штаб-магнуса Манхолта, заместителем по оперативной части — медиуса Алексозо. Начальником штаба прошу быть штаб-магнуса Бари. Все, господа. Большой Круг распускается до окончательной победы, малые

Круги будут проводиться по моему представлению. Всем спасибо. Прошу расходиться.

«Когда все утихнет, подойдете ко мне»,— накануне сказал магнус Зоунн. Гэбрил, встав, озирался. Да, не похоже, что утихнет скоро. Голова квинтала — теперь, понятно, уже командира — Зоунна то показывалась над морем голов, то скрывалась. Можно пойти покурить и попить пива...

В кантине было шумно и нервно. Гэбрил, стараясь не прислушиваться к разговорам, взял две кружки и пивника — это было много дороже, чем в автомате, но без толпы,— подал серебряную бумажку, вместе со сдачей получил знак сочувствия и сожаления и возразил знаком «у меня все прекрасно». Пивник, не поверив, поднял брови, и тогда Гэбрил сказал словами: «Я уже устроился». «Поздравляю, господин Ксимен,— сказал пивник.— В прежней должности?» Гэбрил кивнул, взял пиво и отошел к незанятому еще концу стола — у самого подоконника.

На самом деле это было не окно — кантина, как и большинство помещений Базы, находилась под землей — а голо, снятое неизвестно где и неизвестно когда: пологий, уходящий вниз склон, роща в виде клина, лежащая между холмами, а справа, чуть видные за выпуклостью склона, укутанные пышными плодовыми лозами — темно-красные высокие крыши. Гэбрил не знал, да и не интересовался, истинный это пейзаж или синтезированный, а если истинный — то записан или транслируется. Могло быть все, что угодно, и ничего от этого не менялось и не зависело. Даже приметы сайров не были связаны с пейзажем в окне кантины — хотя по части примет сайры были непревзойденны. Вот сегодня, скажем, за окном шел дождь...

— Привет, Гэб,— сказали рядом, и Гэбрил оглянулся: это был дистантник Айз Топ-Ворош, в общем, полузнакомый щуплый узкоплечий парень в перекошенных старообразных очках и с ранней сединой в длинных, до плеч, прямых волосах.— Что, уже обмываешь удачу?

— Привет,— откликнулся Гэбрил.— О какой удаче ты говоришь, птица? — Птицами звали дистантников — по эмблеме на рукаве. Псилавверов в трепе называли «скачками».

— То есть как? — удивился Айз.— Ты что, еще не знаешь? Тебя же назначили квинталом. Это скачок, это я понимаю!

— Боже правый...— Гэбрил почувствовал, как его брови задираются вверх.

— С тебя кружка — за радостную весть,— сказал Айз.

— Бери, птица, теперь мне из нее не пить,— Гэбрил придвинул к нему одну из своих.— А у тебя-то как дела?

— Начинаю просаживать выходное пособие.

— Вот как.. Извини. А почему?

— Я, видишь ли, арборей. Теперь это не в почете.

— И из-за этого?..

— Как же иначе?

— Н-не знаю... Я думал... ну... это разные взгляды, не более...

— Я до некоторых пор тоже так думал. Знаешь что, Гэб... тебя ведь пошли искать, ты там нужен... давай вечером обо всем этом потолкуем? Часов в десять? У меня накопилось кое-что... будет жаль, если пропадет. Заходи. Зайдешь?

— Хорошо, птица, жди. Но если опоздаю, не теряй. Все равно приду.

Гэбрил осушил начатую кружку, сунул ее под крышку стола на ленту транспортера, кивнул Айзу и пошел к выходу из кантины, проталкиваясь сквозь густеющую массу ставших внезапно безработными сайров. На лифтной площадке остановился, стараясь угадать, какой лифт придет первым. Кажется, этот... Клавиша вызова светилась красным, Гэбрил, думая о чем-то, смотрел на нее — и вдруг почувствовал, что не может отвести взгляд. Сделав над собой усилие, он рванулся, но свет не отпускал, держал вязко и цепко, потом потянул к себе, к себе... Краем глаза Гэбрил увидел, что открывается дверь прибывшего лифта, кто-то выходит, он шагнул в дверь — и стал падать в бездонную шахту, полную багровым клубящимся светом, лицо опалило встречным жаром, а потом вдруг оказалось, что он лежит на чем-то мягком, вокруг полумрак и движение теней, и кто-то сказал: эй, как ты себя?.. Парни, сказал Вито, до чего же мне паршиво, ну, еще бы, отозвался кто-то — Томаш? Томаш, это ты? Я, конечно, кто же еще... Ребята, дайте глотнуть чего-нибудь, Стас, ты там ближе всех, достань, где это мы? Едем, едем, на чистое место едем, остались чистые места, пей, вот коньяк, да я воды просил, ну да ладно, сойдет и коньяк... Ноэль, ты зафиксировал режим, обижаешь, старик, сколько мы с тобой мудохались? Трое суток! Трое? Трое, трое, ты хоть помнишь что-нибудь? Вито сосредоточился. Помню. Да, помню. Слушайте, я же все помню! Я все помню!!!

13. Микк

■

— Пожалуйста,— санитар выложил на стол бумажник, жетон детектива, удостоверение личности, зеркальце, расческу, ключи и горсть мелочи.— Пятнадцать динаров мы удержали за чистку и ремонт одежды. Остальное все здесь. Чувствуете вы себя хорошо? Вызвать такси, или вы желаете воспользоваться больничной развозной машиной?

— Я позвоню другу,— сказал Микк.

— Телефон на стене,— сказал санитар.— Бесплатный.

— Спасибо...

В голове у Микка шумело, как в раковине, приложенной к уху... смешно, в ухе есть улитка, в ней тоже шумит море, то есть раковина приложена к уху изнутри, а снаружи тоже есть раковина, ее так и называют: ушная раковина, следовательно, мы должны слышать шум моря постоянно, а мы почему-то не слышим... и ноги слушаются плоховато. А номер, номер, номер... ага. Кипрос снял трубку после второго гудка.

— Привет, Кип, это я, Микк.

— Ты? — безмерное удивление в голосе.

— Да, я. Я в больнице, Кип, в этом, как его...

— В вытрезвителе?

— Нет, хуже. По кодонам... забыл.

— В гипнологии?

— Да. Так ты меня заберешь?

— Конечно. Жди.

Микк повесил трубку.

Ну вот. Приедет Кип, все будет хорошо. Который же час? Половина четвертого... утра, наверное. А голос у Кипа свежий. Не спал еще. Вообще неизвестно, когда он спит.

Микк почувствовал вдруг на себе тяжелый взгляд санитара. Как странно: санитар вовсе не смотрел на него, перебирал себе бумаги на столе, вот вообще отвернулся и полез в тумбочку,— а взгляд его, как бы отдельный от хозяина, сверлил, и сверлил, и сверлил голову Микка: затылок, виски, переносицу... От него нельзя было скрыться. Нашки, неуверенно подумал Микк. Нафаршировали всякой химией, вот и мерещится черт-те что...

Он сел на банкетку, прижался затылком к стене. Где-то в глубине стены еще сохранился холод — с тех доисторических времен, когда вечера и ночи были прохладны. Мягкой лапкой коснулся холод человека... Это было упоительно.

— Вы в порядке? — спросил санитар. Взгляд его на мгновение рассеялся.

— В порядке,— пробормотал Микк.— Еще бы не в порядке...

Еще бы не в порядке, подумал он про себя, из головы выдрали здоровенный кусок чего-то и заморозили так, что не понять и не почувствовать, что же именно выдрали, и это называется порядок...

— Развозная машина будет через полчаса,— сказал санитар.

— Пусть,— сказал Микк.

Минут через десять снаружи зашуршали шины, скрипнули тормоза — остановилась машина. Микк с трудом открыл глаза: через дверь проходили Кипрос и с ним какая-то незнакомая девушка. Смотреть было больно, веки запеклись. Микк сглотнул. Глотать тоже было больно. Заболеваю, что ли?..

— Вот он ты где,— сказал Кипрос.— А я сначала заехал к военным, на площадь Элентроп. Вообще-то там сегодня прием...

— Сударь был доставлен на попутной машине добрыми гражданами,— со своего места пояснил санитар.— Понятно, что мы не могли отправить его в другую больницу, не оказав помощи.

— Спасибо,— сказал Кипрос.

— Это наша работа,— сказал санитар.

— Увези меня,— шепотом сказал Микк.— Я не могу больше...

Он сам не знал, чего он больше не может.

— Но ты в порядке? — с тревогой спросил Кипрос.

— Да, да. Только увези. Здесь мне... не могу я здесь...

— Ему нужно выспаться,— сказал санитар.— После этого все немного не в себе, всем надо выспаться. Часов двенадцать...

— Понятно,— сказал Кипрос.— Пойдем, что ли.

Машина была не его. Микк вздрогнул, когда понял это, и расслабился, когда увидел, что за руль садится девушка. Некоторое время казалось, что пристальный взгляд санитара проникает и сюда, через дверь, через пространство улицы, через металл и стекло машины. Потом это прошло. Заурчал мотор, машина тронулась.

— Извините, сударыня, мы незнакомы...— начал Микк, и Кипрос похлопал его по колену:

— Знакомиться будешь завтра. Вообще ее зовут Флора. Она племянница Агнессы.

— Понял. Значит, твоя будущая...— Микк задумался, вспоминая степени родства.

— Агнесса пропала, Микки. Я тебя искал вчера и сегодня, хотел, чтобы ты занялся поисками.

— Господи, Кип... Когда?

— Дней пять назад.

— А это не... как раньше?..

— Боюсь, что нет. На этот раз — нет.

— Хорошо, Кип. Я буду ее искать. Добудь мне только что-нибудь просветляющее: декседрин, эфедрин...

— А просто много кофе не пойдет?

— Нет. Калибр не тот.

— Ладно, добуду. И?..

— Еще нам будет нужен Ноэль.

— Это сложнее. Я пытался его найти.

— Повторим попытку. Нужно, чтобы он мне вправил мозги. Я ведь понял — все — про исчезнувших... но с этими делами...— он кивнул назад.— Все как в киселе.

И тут на секунду — отдернули штору. Микк сам не знал, что увидел за ней не успел разобрать, понять, почувствовать — но

жутковатое осознание прямой повторности происходящего легло на душу...

— Ты что так смотришь? — слегка испуганно спросил Кипрос.

— Н-ничего...— сквозь болезненный спазм в горле выдавил Микк.— Уже прошло...

14. Лот

■

Дверь открылась, и из темноты коридора кто-то сказал: пойдемте. С готовностью — и злясь на себя за эту готовность — он встал, обулся и пошел следом за позвавшим его. Проходя мимо зеркальца у двери, бросил взгляд и остался доволен. В зеркальце был толстый тупой заспанный идиот. Голова все еще кружилась, зеленая муть не осела. Вчера его чем-то кололи, долго не могли попасть в вены, о чем напоминает бинт на левом локте...

— Сюда, пожалуйста,— сказал провожатый и открыл перед ним железную дверь лифта.

Это был очень старый лифт, даже без кнопочной панели, управляемый рычагом: вверх-вниз-стоп. Лот смутно помнил, что уже ездил в этом лифте.

— Повернитесь лицом к стене,— попросил провожатый.— Не смотрите пожалуйста...

Лот встал так, как просили. Скрежетнул рычаг, пол чуть-чуть надавил на пятки. Лифт поднимался очень медленно, производя всевозможные звуки. В частности, пощелкивая клиньями. Лот насчитал двенадцать щелчков. Значит, шесть этажей до того, где была его каморка. Рычаг снова скрежетнул, лифт задергался и остановился.

— Сюда, прошу вас,— провожатый, выпустив его из лифта, показал рукой. Короткий, освещенный медными бра коридор, зеленая ковровая дорожка, уходящая под зеленые портьеры... Они пошли по дорожке, Лот впереди, провожатый на полшага сзади и справа, шагнули под портьеры. Там было светло, слишком светло, неистовый свет снаружи прорывался сквозь жалюзи, и Лот, глаза которого за эти дни привыкли к очень умеренному освещению, зажмурился — но успел увидеть двух мужчин, вольно сидящих в тяжелых старинных креслах, и узнать одного из них...

— Господин Бенефициус,— сказал его провожатый странным тоном, и Лот напрягся, ожидая продолжения, но продолжения не последовало, и он понял, что провожатый формально представляет его. Будто они не знают... Сквозь ресницы Лот видел, как мужчины встают ему навстречу.

— Очень приятно,— сказал один из них, помоложе, крупный, крепко сбитый.— Я — майор Брауде. А это — профессор Меестерс, доктор наук. Присаживайтесь.

— Я слушал ваши лекции, профессор,— сказал Лот почтительно.

Меестерс сделал вид, что улыбнулся:

— Поэтому я здесь.

— Садитесь, садитесь,— майор без усилий подкатил и развернул третье кресло.— Амо, принеси нам что-нибудь этакое... Вы курите, господин Бенефициус?

— Нет,— сказал Лот.

— И пьете мало и редко,— кивнул майор.— И никогда не использовали наркотики, правда?

— Н-ну... в общем, да.

— Когда-то пробовали, и это не доставило удовольствия?

Лот кивнул.

— Вот видите, профессор,— майор улыбнулся,— наш человек!

Меестерс продолжал молча рассматривать Лота. Лот изобразил смущение — благо, это не потребовало усилий.

— А я вас помню,— сказал наконец Меестерс.— Вы были старше остальных студентов... сколько вам было?

— Лет двадцать шесть... или двадцать семь? Двадцать семь, кажется.

— Да, наверное... И ходили еще с такой смуглой девочкой, похожей на турчанку...

— Она и была турчанка. Лия Хамди.

— А почему печальный оборот: «была»?

— Я слышал, что она умерла где-то в провинции...

— Это ложные известия.

Лот внимательно посмотрел на него.

— Вы хотите сказать?..

— Совершенно верно. Слух о смерти госпожи Лии Хамди был распущен по моему поручению. Она жива и пребывает в добром здравии, хотя и вынуждена носить пока другое имя. Хотите встретиться с ней?

— Это... возможно? — Лот сглотнул.

— Возможно.

За портьерой раздались шаги, и Лот стремительно обернулся — но это был приведший его сюда, по имени Амо, кажется,— с подносом в руках. На подносе были ваза с виноградом, высокая бутылка и три бокала. Амо поставил поднос на низкий столик и стал заниматься сервировкой. Лот разочарованно отвернулся.

— Господин Бенефициус,— спросил майор,— а почему вы в таком солидном возрасте решили стать студентом?

— В армии я был санитаром,— сказал Лот.— После армии поступать в университет не решился, пошел в училище — на субалтерна. Два года потом отработал на скорой, там меня и уговорили — добирать образование.

— В армии — в каких войсках служили?

— В пехоте.

— Это были годы?..

— Восемьдесят первый — восемьдесят второй.

— Номер части помните?

— Четырнадцатая отдельная мотопехотная бригада, шестой батальон, первая рота. Командир роты капитан Счастный.

Майор нагнулся вперед и, глядя Лоту в глаза, тихо спросил:

— Капери?

— Капери,— сказал Лот.— Вернее: деревня Розум, у федерального шоссе номер четыре. А весь участок бригады...

— Не надо, мы знаем,— перебил Меестерс.— Неужели вы так все помните?

— Так? — переспросил Лот.— Так может помнить кто угодно. Вы не представляете себе, как я помню... Вы там были?

— Да,— сказал Меестерс.— Только с другой стороны. Внутри кольца.

Лот обнаружил у себя в руке бокал с вином и отхлебнул глоток. Вино было слишком сладким.

— Тогда вы все это знаете...

Меестерс задумчиво покивал:

— Да, если не все, то многое... Господин Бенефициус, я хочу спросить вас еще вот о чем: теперь, двадцать с лишним лет спустя вы, человек со специальным образованием, с опытом работы... как вы интерпретируете те события?

— Я не хочу...— Лот сглотнул,— говорить об этом...

— Если вы опасаетесь за свою безопасность, то зря,— сказал Меестерс.— Ничего вам не угрожает... кроме того, что угрожает всем нам...

— Причем тут это? — начал Лот,— и вдруг увидел глаза майора. Глаза были белые. На белом лице.

— Не хочет говорить,— прошептал майор.— Никто не хочет говорить. Остаться чистеньким. Не опоганиться. И ничего не нужно больше. Все такие. Себя поберечь. Только себя...

— Спокойно, Дитрих,— сказал Меестерс.— Человек имеет право.

— А я — человек? Я — имею?

— Я тебе говорю — успокойся. Нервы еще понадобятся.

— Извините,— буркнул майор.— Вы тоже извините,— повернулся он к Лоту.— Устал.

— Я не могу сразу,— сказал Лот.— Поймите: я всю жизнь запрещал себе...

— Ладно, поговорим о приятном,— сказал Меестерс.— Или, может быть, вы хотите спросить о чем-нибудь нас?

— Вопрос у меня, собственно, один: кто вы такие и почему меня держите под замком?

— Это называется о приятном,— сказал Меестерс.— Ну, во-первых, с этой минуты вас под замком уже не держат: можете встать и идти.

— Вот так прямо?..

— Да, конечно. Амо выпустит вас. Когда вы доберетесь до обитаемых районов — уже ваша проблема. Впрочем, это не так трудно.

— Понятно. Может быть, скажете мне, где мы находимся?

— В Старом порту. Гостиница «Золотая наяда». Теперь вы знаете практически все... но ответьте: нет ли у вас желания пережить все то, что было двадцать лет назад,— но в большем масштабе?

— В Капери и окрестностях было восемьдесят тысяч человек,— сказал майор.— Здесь в зоне возможного карантина — миллионов десять.

— Так...— Лот закрыл глаза.— Это точно?

— Что?

— Насчет... повторения?

— По крайней мере, существуют очень серьезные опасения,— сказал Меестерс.

— Мой доклад от мая этого года вы читали?

— Нет. Какой доклад?

— Я подал доклад в Министерство природы...

— Не читали. О чем был доклад?

— О том, что численность мутирующих форм в регионе нарастает по экспоненте...— Лот приподнялся.— Дома у меня есть запись.

— Каков мутагенный фактор, по вашему мнению? — Меестерс подался вперед, глаза его сверкнули.

— Может быть, это прозвучит дико... Мне кажется, это вирусный перенос чужеродных генов. Насколько я знаю, такой механизм применяется при генно-инженерных операциях; здесь мы имеем природный аналог.

— Вот! А теперь — пожалуйста — попробуйте вспомнить — как это пришло вам в голову?

— Ну, это было давно... Я как раз заинтересовался работами по генному инженерингу, шла речь о выведении насекомых, которые уничтожали бы промышленные отходы... но из этого, кажется, ничего не получилось. И задумался — а не работает ли такой механизм в природе? Стал искать...

— И нашли.

— Да. Похоже, что нашел.

— То есть не было этакого гениального озарения?

Лот покачал головой.

— Скажите, если не секрет,— тихим голосом начал майор,— зачем вы пытались украсть из больницы ту девушку?

— Не секрет,— стараясь говорить небрежно, ответил Лот.— Хотел проверить еще одну идею.

— Какую?

— О природе фобического шока.

— Если можно — подробнее.

— Тоже — из безумных... Перенос генов — это, как понимаете, побочное действие вируса, оно проявляется только в потомстве. Я подумал, что одним из проявлений прямого действия может оказаться этот самый фобический шок...

— Вам понадобился свеженький экземпляр...

— Да.

— ...и вы, презрев должностные инструкции...

— Совершенно верно.

— Хватит, Дитрих,— сказал Меестерс.— На сегодня достаточно. А вас, доктор,— он улыбнулся,— я прошу пройти в лабораторию. Там мы поговорим еще — более предметно. Возражений у вас нет?

— Вы, вообще-то, так и не сказали мне, с кем я имею дело.

— Формально — с ведомством научной разведки при Министерстве обороны. Фактически — лично со мной,— Меестерс изобразил поклон.— Я гарантирую вам полную научную независимость. Оклад — какой назовете. А главное...— он помолчал.— Я подозреваю, что нет ничего важнее того, чем мы занимаемся сейчас.

— Извините, профессор,— сказал Лот.— Я боюсь, что моя квалификация..

— Помимо всего прочего,— сказал Меестерс,— помимо квалификации, образования, таланта, черт возьми... есть что-то еще. После Капери я перестал пить и курить. И Дитрих — так и не начал. Ему там было двенадцать лет. В общем...

— Я, кажется, понимаю,— сказал Лот.

— Тогда пойдемте. Это в другом здании...

15. Ника, она же Аннабель

■

Господи, только бы он жил! Только бы жил! Что еще надо сделать? Я сделаю все. Я смогу. Только бы жил! Хоть бы был день. Днем не так страшно. Днем почему-то проще. Как я устала. Силы берутся откуда-то, но это не мои силы. Моих не осталось. Я устала. Берт его держит. Просто держит руками, чтобы он не ушел. Сердце останавливалось дважды. Рана страшная — пройдет кулак, и все разорвано внутри. Берт держит. Генерал жив. Мой генерал. Сейчас, сейчас. Как медленно срастается все. Я делаю, не зная, что делаю. Как называется. Но кровь уже не вытекает наружу. Он дышит — с

трудом, но сам. И Берт — держит. Держит. Я знаю, чего это стоит. Мы сможем. Скорей бы утро. Темень убьет меня. И пот. Глаза съел пот. Не думать. Все там, в ране. Осталось мало. Края. Грязь выйдет сама. Вот так. Сколько ее. Задышал легче. Глубже. Хорошо. Еще грязь. Скопилась. Берт, уже лучше. Расслабься. Сделай, чтобы он просто спал. Помоги закрыть. Просто сведи руками и держи. Вот так. Больше ничего. Скоро, Берт. Несколько минут. Несколько минут. Держи. Не отпуская. Держи.. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сей...

Все, Берт.

Можешь убрать руки.

Можешь убрать.

Убери руки.

Ну, что ты. Вот так. Понемногу. Одну. Другую.

Ляг, Берт.

У нас все получилось.

Я тоже лягу.

Мы спасли его, Берт. Слышишь? Мы его вытащили. Он живой. Он дышит. Он пойдет дальше. Нужно только отдохнуть.

Не знаю, где мы.

Плевать.

Найдемся.

Бернард сторожит.

Невидимы. Да, невидимы.

Скорей бы день.

Господи, как я устала...

16. Вито

■

— Хорошо,— неторопливо, как и раньше, произнес Томаш.— Тогда скажи, пожалуйста, какова вероятность того, что на пустом перекрестке в твою машину втыкается другая, причем в этой другой на заднем сиденьи лежит человек, которому ты нужен до зареза? И при этом оказывается, что он владеет информацией, нужной до зареза нам? И, больше того...

— О, черт! — Ноэль рубанул кулаком по воздуху.— Да я тебе то же самое пытаюсь втолковать, только другими словами!

— Но ведь ты не станешь утверждать, что столкновение это кем-то подстроено?

— А почему, собственно? Именно подстроено.

— Кем?!

— Этими... Вито, как они называются?

— Сайрами,— подсказал Вито.

— Вот именно. Сайрами. Очаровательное название.

— Ребята,— сказал Томаш,— мне кажется, вы поймали зеленького. Провериться не желаете?

— Два-ноль,— сказал Ноэль.

— Ну, друг...— Томаш разочарованно пожал плечами.— Если только для этого...

— Знаешь, Том,— сказал Вито,— хотя наш общий друг и показал тебе сейчас носик, но: по существу он прав — на мой, конечно, взгляд,— а кроме того, с тобой трудно разговаривать всерьез — стало трудно. Уж очень постная у тебя морда после столиц. Так что я предлагаю гол не засчитывать и считать предположение серьезным.

— Что — насчет сайров?

— Угу.

— Тогда я ничего не понимаю. Ведь это же был кодон, галлюцинация. Комбинация былых впечатлений...

— А история нашего нового друга Микка тебя не настораживает?

— А какое отношение?..— начал было Томаш, замолчал — и задумался.

Вито подмигнул Ноэлю, взглядом показал на дверь, и они вышли, оставив Томаша размышлять. Вряд ли он это заметил.

В большой и пустой гостиной — почти зале, впору устраивать танцы — развернули два стац-эрма и весь вспомогательный комплекс. Эрмы работали пока в беспилотном режиме, прочесывая сеть в поисках источников материала «черного шара». Стас и Вильгельм сидели спина к спине и смотрели, не мелькнет ли что-нибудь интересное. Прочесывание по сути только началось, ждать настоящих результатов было рано. Кое-что эрмы взяли на заметку, бледные разноцветные шарики пульсировали над столом проектора. Вот когда они сведутся в точки, когда между ними проглянут линии — тогда наступит черед пилотов. А пока... пока нужно запастись терпением.

— Ты знаешь,— сказал Ноэль,— все это, конечно, смешно, но если меня еще немного подкачать, я взорвусь.

— Слушай, а этот твой приятель...— начал Вито.

— Он мой друг,— перебил Ноэль.

— Друг,— согласился Вито.— Что мы будем с ним делать?

— Что ты имеешь в виду?

— Не ершись. Друг моего друга — мой друг. Дело святое. Вот я и спрашиваю...

— Куда спешить? — Ноэль помрачнел.— Ты лучше меня знаешь, что такое Штольц-Гусман. Я сделал ему белый релакс, пусть отдышится. Ведь — просто напинали по мозгам. Гады. Это, кстати, в ту же копилку. Не зря же нас не допускают к обвалившимся.

Вито кивнул: не зря. Значит, что-то мы могли бы из них наковырять. Но что? Он уставился в стену. Красивые здесь стены... и вообще повезло с домом, мог подвернуться какой-нибудь склад, или подвал,

или... странного для дерева палевого цвета панели, сложный и что-то смутно напоминающий узор волокон, темных и светлых: острова в бушующем море, безысходные лабиринты, осенний плющ на скалах...

— Давай-ка, пока он в релаксе, прогоним через него «пьяное эхо»,— предложил Вито.

— Можно попробовать,— согласился Ноэль.

Комната на втором этаже, куда поместили гостей, была невелика и почти уютна. Хозяева, уезжая, забрали не всю мебель, и сюда удалось насобирать практически все, что нужно. Микк лежал на широкой кушетке, рядом с ним в плетеном кресле-качалке сидел Кипрос; девушка спала, свернувшись калачиком, на коротком диване. Компакт-эрм попискивал на полу, через маску-дисплей вводя в подкорку Микка бальзамирующие кодоны. Белый релакс был великолепным средством для лечения психических травм, но медики его не признавали, и вряд ли только по причине корпоративной неприязни к Корпусу... впрочем, и эрмеры далеко не все признавали его. В госпитале Корпуса, например, имели и использовали свою методику...

— Ты бы поспал, Кип,— сказал Ноэль.— Боюсь, что завтра...

— Я думал,— сказал Кипрос.— Я могу рассказать, до чего додумался. Но только взамен на гарантии, что вы меня не засадите в психушку.

— О психушке нам остается только мечтать,— сказал Вито.— Как о несбыточном и прекрасном.

— Поговорим, Кип,— сказал Ноэль.— Сейчас мы запустим одну забавную штучку...

«Пьяное эхо» было развитием знаменитого «детектора лжи», но служило для других целей. Компьютер выбрасывал слово, требовалось в ответ сказать другое. Отслеживались степень и характер ассоциативности, вегетативные реакции, скрытые или подавленные мышечные и глазодвигательные ответы. Результатом было составление схемы активных полей коры и некоторых подкорковых зон. В общих чертах это напоминало зондаж информсетей в поисках источников загрязнения.

Ноэль сменил маску-дисплей Микка на управляющие очки, приладил наушники и ларингофон. Несколько секунд лицо Микка было ничем не прикрыто. Вито передернуло: было противно видеть замаслившиеся, чуть прищуренные глаза в обрамлении погибельно-черных век.

Неразборчиво буркнуло в наушниках, и Микк тотчас отозвался.

— Жизнь,— хрипло сказал он.

Снова буркнуло.

— Холод,— сказал Микк.

— Предупреждаю, парни, все это в порядке бреда,— начал Кипрос.— Никакой точной информации у меня нет, так — слухи, обрывки... домыслы... Короче: где-то здесь, в Альбасте, была — а может, и есть

до сих пор — лаборатория по принципиально новым типам биологического оружия. Абсолютного оружия. Суть которого вот примерно в чем: не убивать солдат противника, а заставлять их воевать на своей стороне. И даже не то чтобы воевать... Короче, враг — по нажатии, условно говоря, кнопки— становится своим. А свои, естественно — все как один... В общем, не знаю, как именно — в деталях — все это должно было выглядеть, но механизм был примерно такой: крупный — крупнее оспенного — вирус поражает мозговую ткань, сама болезнь протекает легко, ну, не в этом дело; дело в том, что помимо репродуктивной программы вирус вводит в клетку — в нейрон — еще и специальную программу, и по этой программе клетка делится, прорастают в заданных направлениях аксоны, дендриды — короче, создается дополнительная нервная сеть. В норме она себя никак не обнаруживает. Но по особому сигналу — активизируется, практически отключает сознание, человек становится восприимчив к непривычным для него раздражителям, ультразвуку например... в общем, становится неким биороботом, готовым выполнять скрыто подаваемые команды. Я абсолютно уверен — правда, доказать не могу,— что лет десять назад прошла серия опытов по созданию таких биороботов — правда, хирургическим путем,— и они закончились успешно. Но у военных возникли трения с НБ. На какое-то время пришлось — ну, не законсервировать тему, но хотя бы сделать вид Тогда и перенесли лабораторию сюда. И вот то ли во время перебазирования, то ли каким-то образом после — произошла утечка. Я думаю, порядка пяти лет назад. То ли этого не заметили, то ли не придали значения. А вирус оказался тропным не только к человеческой мозговой ткани... и вообще — мутировал... вирусы мутируют прекрасно... Короче, наш город: дома, подвалы, всяческие подземелья, канализация, свалки, пустыри, я не знаю — в общем, все, что угодно — все это стало одной огромной генноинженерной лабораторией. В роли скальпеля — тот вирус, в роли хирурга — случай... Микк принес мне двух десятиногих тараканов, которые обходятся без кислорода, живут в бензине и жрут стекло. Медленно, но жрут. В машине, пока мы ехали, он пытался рассказывать о них же — якобы они под всем городом прорыли ходы и проникают в дома, чтобы... чтобы жрать людей. А люди ничего не могут сделать, потому что все заражены, у всех в мозгах дополнительная схема, которая реагирует на этот тараканий запах и отключает сознание. Или вгоняет человека в шок. Или еще что-нибудь. Я слышал о желтых крысах, они не прогрызают норы, а способны просачиваться — буквально — в самые узкие щели. Новых мух видели все: очень деликатные, не пристают, но всегда держатся поблизости. Или этот мох на газонах... Так вот: ребята, которые сбацали все это, озабочены теперь, чтобы не полезла квашня из кадки. Про дополнительную нашу схему они знают на порядок больше нас. И знают, чем и как воздействовать на нее. И воздействуют. И поэтому мы почти не замечаем того, что происходит вокруг, и уж совсем — не боимся. Не

общаемся ни с кем за пределами привычного круга. Супер, если бы это был не ты — хрен бы я мог что-нибудь сказать. Тебе — могу. Это пока сильнее. Может быть, только пока. Это карантин, ребята, и вместо колючки на столбах — электроды в мозгах. Причем такие электроды, которые не выдрать. А пока мы гуляем там, где можно гулять,— они размышляют, как бы нас приморить без особого шума и без вони. Поэтому, парни, давайте прислушаемся сейчас к себе и скажем: может ли кто-нибудь из нас дать немедленно деру, а если нет — то почему?

— А где обещанный бред? — спросил Вито.

— До бреда дойдет,— пообещал Кипрос.— Так что? слабо сбежать? Куда-нибудь в горы? Ладно, пропустим. Продолжаю: в девяносто седьмом году в Бразилии проходил длительный эксперимент из серии «земных звездолетов» — сбалансированная экология и прочее. Тогда впервые применили компьютерную систему оптимизации флоры: датчики собирали информацию о самочувствии растений, процессор ее обрабатывал, эффекторы производили необходимые действия: подкормку, поливку, облучение — в общем, все, что нужно. И замкнули систему на экипаж — по типу сенситивного управления телерамами: рама сама выбирает ту программу, которая обеспечивает наилучшее самочувствие и настроение хозяина. Ну, и там: все нацелено на то, чтобы экипажу было очень хорошо. Им и было очень хорошо, психологи руками разводили. Полгода они провели в этом биостате, а через полгода после выхода все четверо — их там четверо было — перемерли: кто-то из окна выбросился, кто-то от инфаркта — уже не помню подробностей. Можно не комментировать, да? Так вот, помимо всех прочих странностей, там была такая: все они вели дневники. По условному календарю. И у всех в этих дневниках было не по сто восемьдесят записей, как должно бы быть — по числу дней — а у кого на три, у кого на пять больше. Причем невозможно было понять, откуда взялись эти дополнительные дни, и даже четко вычленить их так, кажется, и не удалось.

— Я читал об этом,— сказал Вито.

— Короче, эта сбалансированная биосфера, стремясь сделать ребятам приятное, стимулировала выработку эндорфинов и, возможно, аутогенных галлюциногенов. И у ребят возникала какая-то мнимая реальность, в которой они жили, как в обычной, первой...

— И ты хочешь сказать...— начал Ноэль, но Кипрос перебил:

— Да. То же самое. Только в масштабах города — и с отягчающими факторами.

— Вряд ли это самое страшное, что может произойти,— сказал Вито.

Кипрос набрал в грудь воздуха, чтобы достойно ответить, но не успел — Ноэль обнял его за плечи.

— Расслабься, Кип,— сказал он.— Ты связался с эрмерами, а эрмеры — люди простые, грубые, гипотез не измышляют... Понимаешь, какая штука: материал, с которым нам приходится работать, позволяет резвиться, как хочешь,— в поисках объяснения. Объяснение обязательно найдется, полное, универсальное, может быть, даже изящное... Но если ты в него поверишь, то тебе тут же подвернется нечто такое... понимаешь, да? Мы поначалу очень объяснениями увлекались, и все об это как следует стукнулись: и Вито, и я... нам хорошо, мы хоть живы остались. А был у нас такой Сихард, талантливейший парень... вот. Пытался проверить свою теорию...

— Подождите, ребята...— Кипрос помотал головой.— Ноэль, ты что — хочешь сказать, что вы не пытаетесь объяснить... все это? Не верю.

— Давай я скажу,— Вито тронул Ноэля за локоть.— Видишь ли, Кип, мы имеем дело с чем-то, на сегодняшний день объяснения не имеющим. Одна закономерность, впрочем, известна: если связно сформулировать какую-нибудь гипотезу и начать ее проверять, то сначала она получит блестящее подтверждение, а потом будет начисто опровергнута. И опровергнута, как правило, шумно и грязно. Понимаешь, почему мы не проявляем энтузиазма?

— Хотя, естественно, в анналы мы все, что ты сказал, занесем,— усмехнулся Ноэль.— У Вильденбратена, помнишь: «Жизнь, конечно, имеет смысл, но человеку он недоступен»? Вот что-то подобное и в нашем деле.

— Знаешь, как в Корпус отбирают? Тебе Ноэль не рассказывал? — Вито зашарил по карманам в поисках сигарет.— Всякие предварительные проверки — это чепуха. Главный тест — на стрельбище. Мишени движущиеся, управляются якобы компьютером... то есть и компьютером, конечно. Но главный фокус в том, что когда ты прицелился и давишь на спуск, срабатывает датчик, на мишень подается сигнал — и она или прячется, или отходит в сторону... Короче, все сделано так, что попасть ты в нее не можешь, но на то, чтобы сообразить,— времени тебе не отпущено... плюс всяческие шумовые эффекты. Короче, если ты истратил больше двух патронов, эрмером тебе не быть. В идеале — ты должен вообще ни разу не выстрелить. Хотя объявленная цель — поразить десять, что ли, мишеней. Понимаешь?

— Кажется, да...— медленно сказал Кипрос.

— Томаш расстрелял все патроны сразу и попросил еще,— сказал Ноэль.— Это чтобы ты не думал, будто мы суровые догматики.

— Томаша мы любим не за это,— сказал Вито.— Томаш — это особая статья.

— Статья расходов,— уточнил Ноэль.

— Ладно, можно меня не убеждать,— сказал Кипрос.— Я рассказал — вы услышали. Может, пригодится.

— Пригодится, дружище,— сказал Вито.

— Микки, слушай меня внимательно,— глядя ему в глаза, заговорил Ноэль.— Я нашел, что именно тебя беспокоит. Тебе довольно грубым способом загородили доступ из долговременной памяти в сознание. Это, собственно, и есть цель методики Штольца-Гусмана. Я разобрался в их кодировке и могу этот барьер убрать. Давай сейчас без эмоций подумаем, следует ли это делать. Там, за барьером, память о том, что происходило не в действительности — а в так называемой мнимой реальности. Возможно, конечно, вместе с ними оказались какие-то необходимые сведения...

Микк поднял руку ладонью вперед.

— Это я все знаю,— сказал он.— К тому же барьер этот не сплошной, что-то через него проходит — короче, я имею представление, чего именно я не помню. Это важное,— он голосом подчеркнул: важное.— Так что... давай.

— Ладно,— сказал Ноэль, поднимая гипноген.— Смотри сюда.

Вито отошел на два шага и встал, слегка сгорбившись, опустив чуть согнутые в локтях руки — готовый, в общем, ко всему...

17. Татьяна

■

Топили на огне воск и лили воду — плошку за плошкой. Воздух был тяжелый и сырой. Керосиновый чад плыл по ногам. Нити сажи тянулись с потолка, колебались и вздрагивали. Кто-то бубнил в углу. Мерзли пальцы.

Слабый свет раннего утра дрожал в высоком окне.

Леониде помогал Куц — Куцый, как звали его в школе, в этом году он ее закончил и, напуганный исчезновениями одноклассников, не поехал, как собирался и заранее хвастался, в Ленинград, в какое-то там особое училище рисования, а просидел пол-лета на берегу с планшетом и цветными карандашами. У Леониды он брал книги и разговаривал часто и подолгу и с ней, и с Фомой Андреевичем — и после этих разговоров во взгляде его появлялось превосходство, и за это Татьяна его не любила. А вот теперь он, голый по пояс, обмотанный веревками, с медной на груди пластиной, помогал Леониде в ее малоприятном пока деле.

Дима крупно вздрогнул, задремывая, и Татьяна погладила его по голове, так уютно лежащей у нее на коленях. За эти странные сутки Диме стало намного лучше, и все-таки он еще слаб — ветром качает... и спит, каждый удобный момент — спит. Но тут почему-то все спят, даже Фома Андреевич, она видела: свернулся в уголке на телогрейке... и сама она — как все... Каменные стены позволяли чуть расслабиться.

Леонида тихонько запела, и Куцый ей вторил: голосом, без слов. Тихое это пение наполнило пространство. Звучал сам воздух. Ярче

стал свет. Шевельнулись люди. Медленно сойдя в тишину, голос стих, и все улеглось, и люди замерли — уже в тревожном ожидании.

Да, теперь, наверное, уже скоро...

Незадолго до полудня, сказала Леонида. И поправила себя: полдень у нас — это примерно половина одиннадцатого. А незадолго — это, может быть, и за два часа...

Татьяна не слышала, как подошла Окса, наклонилась над плечом, шепнула: пойдем, велено помыться. Татьяна осторожно высвободилась из-под Диминой головы, подменила себя свернутым ватником, грустно и с нежностью подумала: вот будет разочарование у человека... Окса держала в руках сложенное в стопку упрессованное белье. Сама она его и шила вчера — по Леонидиным наброскам.

Мылись в темной каморке рядом, поливая друг друга ковшиком из кадки с теплой, почти горячей, водой,— впервые за бог знает сколько дней. Татьяна, Окса и Марья Петровна, сорокаслишнимлетняя продавщица орсовского магазинчика — все три женщины отряда. Если не считать Леониды. Но Леониду было почему-то затруднительно числить и женщиной, и членом отряда. Она была отдельно от всех.

Вытершись, оделись: в просторные бязевые рубахи и мешковатые штаны. Все: горловина, рукава, штанины, пояс — затягивалось вязками наглухо, как кисет. Что ж ты, Ксюша, швы-то не заделала? — спросила недовольно Марья Петровна. Разлезется ведь... А, махнула рукой Окса, мой Васька как говорил: танк рашщытан на сорок минут боя, и усе. На раз надеть. Бог свят, перекрестилась Марья Петровна.

Леонида вновь тихо напевала, когда они к ней подошли. Окса шагнула первая, но Леонида покачала головой, посмотрела на Татьяну. Татьяна встала перед ней, развела руки. Хотелось закрыть глаза. Истонченное почерневшее лицо Леониды было страшно. Окуная пальцы в растопленный воск, Леонида медленными движениями стала наносить какие-то знаки на рубаху Татьяны. В местах прикосновений кожа съеживалась. Повернись, без слов сказала Леонида, и Татьяна послушно повернулась. Знаки легли на спину. Еще раз повернись. Горячий палец коснулся скулы, очертил линию над бровями, через другую скулу спустился к уголку рта, прошел под нижней губой, поднялся, замыкая линию. Татьяна была уже где-то не совсем здесь. Прикосновение к ушам, к ноздрям, жгучее движение между ног, жар в коленях, стонущая боль в кончиках пальцев — были уже не ее. Далекий шепот пришел откуда-то, коснулся глаз. Она видела теперь, что все вокруг состоит из слов, из незнакомых знаков, воздух распадается на знаки, некоторые вещи пропадают совсем, зато стены превращаются в страницы книги. Нимрод, прочитала она название главы, и заметалось эхо: Нимрод, Нимрод, Нимрод...

Та, что облачалась потом в ватные штаны и телогрейку, натягивала сапоги, укутывала голову шерстяным платком, мазала руки какой-то

быстро сохнущей, стягивающей кожу дрянь, — была не она. Она лишь рассеянно следила за этими странными действиями и пыталась разобраться в письменах, из которых состояли стены.

И люди были письменами — перемещаясь и меняясь, они составляли все новые и новые фразы, слагающиеся в строки и строфы. Смысл их был ясен, но нельзя было сказать то же словами простого языка...

Бледный, как бумага, Дима — между черно-железным Архиповым и краснолицым Малашонком, матросом с застрявшего у лесоперевалочной пристани буксира, все в одинаковых белых бязевых рубашках и кальсонах, означали: бесконечность имеет размер — нет лишь способа измерения ее; с появлением же способа бесконечность обратится в свою противоположность, в ноль; точно так же нет способа определить, полон наш мир или недостаточен — и если появится способ, исчезнет мир... Как узнать, с какой стороны зеркала находимся мы?

Пение Леониды будило застывшие когда-то письмена, они обретали блеск и движение. Ртутными ручейками текли они по стенам, и из-под истекших выступали другие — древние и жуткие.

Как само время.

Год — эпоха. Четверть века — смена знаков. Три века — новый язык, а значит — новое все. Тысячелетие — мрак. Три тысячелетия — бесконечность. Шесть — возврат. Соприкосновение. Муки рождения и смерти. Возобновление царств.

Нет ничего в прошлом.

Прошлое родится заново — как оправдание настоящему.

Вспыхнет, как звезда, и остынет темными планетами-брызгами...

И не будет солнца в этом мире, ибо свет станет тьмой, а тьма — светом.

И ложь воплотится в тела и предметы, став истиной, а истины утратят имя свое.

И никто не скажет на белое — «это белое», а на черное — «это черное», ибо ни белого, ни черного не останется в том мире из этого, а то, что останется, назовут другими словами.

Одиннадцать, стоящие в ряд у стены, значат: сгустились тучи, и поднимается ветер. Небо темнеет от стрел. Дым полей застилает солнце. Враг, вышедший на брань, гордится собой, и нет ему равного в схватке. Не увидят ушедших плачущие, и много сирот пойдет по дорогам, не в силах забыть тепло. Лишь к живущим жестока судьба...

Автомат странно мягок в руках.

18. Аннабель

■

Невидимые, они прошли мимо стражников, сонно обвисших на древках крестовидных копий. Похожая на желоб дорога уходила в

седловину меж двух холмов, а за холмами лежало то, что Аннабель недавно видела сверху, посылая на разведку дымок, генерал и улан — в прежней службе, и только Берт еще не видел. Может быть, стоило бы это обойти, но нужны были лошади — а лошади там были. Лошади, упряжь, повозки. И лишь два солдата в белом.

Был резок свет раннего дня, безветрие угнетало. Над невообразимой пустошью Эуглека — сюда их вынесло из изнаночного мира — лишь начинали собираться плоские еще, похожие на шляпки от Кроллиана, облака на вершинах термиков. После полудня они набухнут, как грозди, прольются — или не прольются — дождем, прибивая тонкую пыль когда-то цветущей долины... Нежна была дорога под ногами.

Пронзительно стояла тишина.

Молча кружили впереди вороны.

Изогнулась трава на обочинах. Изогнулась и посерела. Оставшись живой.

Страшно хотелось пить.

Генерал был бел, как сама смерть, но шел, отказавшись от помощи, сам. Берт и улан лишь страховали его. Даже ранец он не отдал, как ни просили.

После полудня может собраться дождь.

Может и не собраться.

Боже, как глупо все. Как бездарно.

Привыкнув к скоростям, невыносимо перебирать ногами и делать вид, что движешься.

Пологий подъем незаметно перешел в пологий спуск, и открылся взгляду котлован.

А на секунду раньше — настал смрад.

Но — смрад, непохожий на смрад человеческих скоплений: такой она знала и не относилась к нему слишком нервно. И ее доля бывала в том, так стоило ли морщить нос? Нет, этот смрад напоминал почему-то о тех уровнях в логове Дракона, ниже которых их не пускали; или о дымных осенних вечерах на ферме Зага Маннерса, ее первого антрепренера. Или даже о парфюмерных фабриках Дэнниусов, там ей приходилось бывать...

Необозримое море тел открылось им.

Голубовато-бледные, голые, уродливые, тела лежали, или сидели, или бродили меж других таких же тел; ни осмысленности, ни тоски не было в этих перемещениях. Взявшись за руки — попарно, по трое, по четверо — исполняли медленные движения, как на репетициях танцкласса. И где-то в глубине этого моря, как остров, чернело пустое пространство, и в центре этого пространства, этого голого острова поднималась, похожая на росток бамбука, коленчатая башня. Пневматические сочленения ее светились красным, видимым даже днем светом.

Она была омерзительна.

Стократ омерзительнее голых и грязных тел, копошащихся у ее подножия.

Берт сглотнул. Аннабель покосилась на него. По серому лицу Берта катились крупные капли.

— Идем,— сказала Аннабель и сглотнула, сдерживая позывы к рвоте.— Бернард, завяжите глаза. Я думаю, нам тоже стоило бы завязать...

— Я смогу, дочка,— сказал генерал.— Кому-то надо видеть и глазами...

— Только не вам, генерал,— сказал Берт.— После этой ночки — нет.

— Это уж точно,— подтвердила Аннабель.— Ладно, не будем делать проблему. Пойдем с закрытыми глазами, надо будет — откроем...

— Ваше величество, я мог бы...— начал улан, но Берт похлопал его по плечу и молча покачал головой.

Аннабель уже закончила накладывать «кошачий глаз», когда заметила перемены в поведении людского теста. Там, ближе к башне, вдруг начались непонятные мелькания, рябь, обозначился такой вот рябящий круг — с два футбольных поля, не меньше,— и в круге этом рябь все усиливалась, все убыстрялась, а потом вдруг кажущееся сплошным полотно тел лопнуло, разошлось на отдельные полосы, и полосы эти побежали от границ круга к центру, пересекаясь под углом и образуя острый клин, все увеличивающийся и темнеющий, и вдруг стало понятно, что в этом клине люди стоят, или лежат, или что еще делают? — не в один, а в два, в три, в четыре слоя, и все новые волны набегают на него, увеличивая, увеличивая, увеличивая толщину этого страшного месива... А через миг клин задрожал, как желе, расплылся — и распался на мельчайшие пылинки, и там, где следовало ожидать увидеть груды раздавленных, изувеченных тел, не оказалось ничего... Серая земля.

— Может, все-таки лучше обойти? — неуверенно сказал Берт.— Попадем в такую давильню...

— Не обойдем мы,— сказала Аннабель.— Лучше и не соваться туда.

Она не смогла бы описать то, что видела и чувствовала в своем развоплощенном полете, но все ее новые знания и инстинкты буквально кричали: не подходить! Не трогать! Даже не смотреть пристально на это!..

Похоже было на то, что вся странная, нечеловеческая магия гернотов воплотилась в мертвых почерневших деревьях, низких каменных лабиринтах, стелах из красного кирпича и выдавленных в земле, как в сургуче, печатях с неразборчивыми письменами.

Не темным, неразборчивым и злым веяло от них — нет: четким, холодным, выверенным, бесстрастным, мертвым — мертвым и обра-

щающим в мертвое просто по природе своей. Аннабель с высоты смотрела вниз, видела черные деревья, стелы из красного кирпича и выдавленные в земле печати, но сквозь все это проступало и исчезало тут же то бронзовое сочленение, то стальные жвалы, то ажурный скелет крыла, то фасетчатый глаз...

— Только прямо,— тихо сказала она.— Без паники. И ни во что не вмешиваться...

Аромат истлевших, раздавленных цветов принял их в себя. Он пьянил, как светлое вино, и отнимал часть веса, как вода. Идти было легко, труднее — держать равновесие. Край людской толпы был близок, но приближался как-то слишком медленно — медленнее, чем они шли. Будто кто-то невидимый подбрасывал на дорогу лишние футы.

Потом, как из тумана, на земле поперек хода проступила красная полоса. Аннабель подошла к ней и остановилась. Справа и слева подошли и остановились спутники. Полоса — точно такая же — появилась бы, если бы сквозь узкую щель на землю падал резкий и яркий спектрально-красный свет. В ней было около шести футов ширины. Можно было тронуть ее ногой,или острием меча, или присесть и протянуть руку — но Аннабель знала уже, что не будет этого делать. Прыгнуть — пожалуйста. А дотрагиваться... Пусть пьяные ежики дотрагиваются.

Если посмотреть глазами... Она открыла их и тут же закрыла, ошеломленная. Будто вихрь горящих бабочек налетел на нее. Нет, глазам здесь делать нечего...

А как же тогда улан?

Чуть позже. Сначала — самой.

Она отошла на три шага, разбежалась и прыгнула.

Это был странный замедленный прыжок, почти полет, растянутый на долгие секунды, и можно было успеть посмотреть по сторонам, и вперед, и выбрать место приземления, и вниз — просто из любопытства...

Бездонная пропасть, прикрытая полузеркальной пленкой, проплывала под ней. Никогда еще не-зрение не обманывало ее, может быть, не обманывало и на этот раз. Она, не отрываясь, смотрела на утесы внизу, на скальные обломки, на далекие тонкие пики, на уходящие все ниже и ниже ступени террас и карнизов, на багровое зарево, подсвечивающее оттуда, снизу, прикрывавшую пропасть тончайшую пленку,— а потом, будто кто-то щелкнул выключателем, она видела уже лишь отражение в этой пленке и не видела ничего кроме... Большой и полный человек, держа ее за руку, вел за собой, безвольную и вялую, по длинному коридору с бесконечным рядом окон с одной стороны и бесконечным рядом дверей — с другой. Квадраты солнечных отпечатков лежали на полу, готовясь перебрать-

ся на стену. Они шли, и шли, и шли, молча, обреченно, никуда уже не торопясь, и за их спинами открывались, и открывались, и открывались двери, и что-то выходило из дверей и шло следом, пристально глядя в затылок...

Аннабель коснулась ногами земли и тут же обернулась.

Да, с этой стороны пропасть была видна, и было видно, до чего же она широка. Не выше оловянных солдатиков, стояли на том краю ее спутники. Вот Берт и улан, отступив на несколько шагов, разбежались и прыгнули разом. Улан оттолкнулся сильно, с запасом, и теперь уходил в высоту, почти в зенит, уменьшаясь и теряясь из виду. Берт, наоборот, плыл над самой закрывающей пропасть пленкой, руками и ногами делая медленные движения — как снятый рапидом бегун, разрывающий финишную ленту...

Медленно. Медленно. Не верить ничему. Ничего нет. Есть только земля под ногами. Есть то, что надо обойти, и есть те, кто идет за тобой. Ни вправо, ни влево не ведет никаких дорог. Нет лестниц вверх и ходов вниз. Нет пути назад. Лишь вперед — как по ущелью. Тупое спокойствие. И — медленно, медленно, медленно. Игра на скрипке. Чародейский вид. Литые башни без проникновения. И окон нет...

(Не-зрение утрачивало власть)

Безумное стремление остаться. Безумное втройне, нет — вчетверне. Загадочная книга прорицаний... Где провозвестник высших архенонов вдруг предстает фанерным силуэтом, читающим заученные тексты. Смятенная явь...

(наслаивалось что-то непрямое, но косвенно присущее природе пространства при престранных преломлениях)

Эй, кто-нибудь, рискните отозваться! Молчание и эхо. Пустота. Железный тихий звон. Злосчастные хариты... И вас минет та чаша искупленья. Кровавых казней кончена кадриль. Законы бытия непостижимы...

(как уровни грозы — от пузырей на лужах до перьев самых верхних облаков, все составляло полное единство, и ритм ударов грома)

Ритм!

(навевал воспоминания о полных наслажденья)

Ритм! Ритм! Ритм!

Не сметь! Остановиться!

(египетских ночах и вавилонском — нет, не пленении: соблазне)

Не дышать — пока не завертятся огненные круги перед глазами. Толчок в спину. Стоять! Всем стоять! Не двигаться! Не подчиняться! Против ритма! В подчинении — смерть!

Алые цветы смерти... обманчиво...

увитая плющом

лежало
обратиться
любовь к огню
и краски витражей
немногое осталось
даже нищий отдаст
и тот последний долг
последний поцелуй
рискуя всем
родятся от искусства
уходя
жестоко
знать
и мир
и благодать
придя
в багровых облаках
вновь
без ответа
(просто трясет, трясет, как по проселку...
где? А, вот они)
заранее поверившие в бегство,
в возможность бегства
вперебой
желая уступить
Ржавчина! Ржавчина!
(не поддаваться ритму!)
РЖАВЧИНА!

Все рухнет, если дотронуться.
Нет! Стойте, генерал, стойте!
Я вам приказываю!
Не оборачиваясь — идет.
Узкий, не разминуться вдвоем,
железный мостик — раскачивается под ним.
Внизу, в ущелье — пламя.
Любовь к огню — любовь к Богу...
Ущелье плотно набито огнем.
Жар колеблет видимый мир.
Как все качается и скрипит!..

Он стоял спиной к ней и смотрел в окно.

— Пока вам везет,— сказал он, а может быть и не он, потому что Аннабель не видела его лица.— Но это ничего не значит. Яппо запускает креатур, герноты их уничтожают, убито уже больше ста, не знаю, сколько точно. Это все выдохлось, как выдыхаются все неудачные наступления. Вы можете пройти еще сто миль, можете дойти до столицы, можете ворваться во дворец, даже можете убить несчастного короля Германа... Не изменится ни-чего! Потому что территория, которую по привычке называют Альбастом, давно не Альбаст. Альбаст умер, и из шкуры его сделали механическое чучело. И думать надо не о том, как вдохнуть жизнь в то, что уже не может быть живым, а о том, как уничтожить его, потому что опасность неоспорима, и в этом я с Яппо согласен полностью.

— Что делают герноты с трупами убитых креатур? — спросила Аннабель почему-то мужским голосом.

— Закапывают в землю — что же еще? — пожал плечами человек у окна.

— И Яппо это, конечно, знает...— сказала Аннабель.— Может быть, он умнее, чем мы о нем думаем.

— Возможно. Возможно, ты и прав. Да, такой вариант мне в голову не пришел бы...

— Помнишь, ты говорил как-то, что верующие считают, будто Бог создал окаменелости, когда творил мир, чтобы у людей возникла иллюзия бесконечного прошлого? А не кажется ли тебе, что сейчас мы разглядываем некую окаменелость, которая призвана создать иллюзию бесконечного будущего? А на самом деле...

Человек у окна заинтересованно обернулся, и Аннабель с ужасом узнала его...

без верха и низа без трения и тепла без луны
руками изготовления тип наискось полный
пламени лава раскаленная лава там
бунтарей и благ день гнева до костей
и кровь кровь полная железа осталась
неподвижно парить в вере
и синь озер взъяренная
обитатели рая
МЕРТ

Солнце клонилось к вершинам истонченно-высоких сосен, длинной шпалерой выстроившихся вдоль старой имперской дороги. Туда же, к тем же соснам, катил фургон, запряженный четверкой разномастных лошадок. Аннабель дремала на сложенном ввосьмеро ковре. Ей было холодно и неуютно в новом обличии. Стареющая акробатка с вялым лицом, жилистыми ногами, сухой, как солома, волосней и похожей на пустые мешочки грудью. Жонглер и клоун Берт спал, лежа на животе и уткнув лицо в скрещенные руки. Генерал превратился в огромного — гора мускулов — горбуна-негра, а улан стал человеком-змеей, тонким, гибким, способным завязаться узлом. С новыми личинами они получили новые имена, новые характеры и даже новые воспоминания — все было учтено.

Они бежали из Кикоя, охваченного волнениями. Деревенский маг Дило, по прозвищу Чернотел, сплотил вокруг себя несколько тысяч фанатиков, которые перерезали гарнизоны в главном городе провинции, Хтооге, и двух городах поменьше: Сапре и Альше. Не дожидаясь, когда гнев гернотов обрушится на мятежников, все незаинтересованные люди побежали из Кикоя. Позади, по слухам, начинались эпидемии, пожары, необъяснимые умертвия и выход из земли чудовищ. Бродячие циркачи стремились к торговому городу Эствель, где скоро будет ярмарка и можно будет заработать. А денег надо много, потому что одни звери съедают столько, что можно прокормить двадцать человек...

Зверей было четверо: горный лев и львица, усмиренные и послушные, серый худой медведь, умеющий все, и удав. Аннабель испытывала неловкость перед зверьми — слишком уж суровая шутка обрушилась на ни в чем не повинных настоящих циркачей. Успокаивало совесть одно: так циркачи оказывались в гораздо большей безопасности, чем в людском своем обличии.

Имена от них перешли захватчикам: Аннабель звалась Стеллою, Берт — Адамом, генерал — Пальмером, а улан — Иппотропом. С именами перешли привычки и мелкие давние отношения...

— Ты мошной впредь не тряси,— дребезжащим тенорком ввинчивал Иппотроп Пальмеру, и тот согласно кивал пегой головой.— А то вишь, какой ще-едрый. За общий-то счет. Хошь чего — меня спроси или вон Стеллу. Мы — понимаем. А ты, дурак здоровый,— не понимаешь.

— Подумаешь, чего я там переплатил — три монеты. Пить хотелось, вот и все. А дешевле он не давал...— оправдывался Пальмер за провинность недельной давности.

— Вот, говоришь, три монеты. А на эти три монеты, глядишь...

— Тпру-у-у, черти! — лениво сказал Пальмер, и мерный рокот окованных железом колес по щебенке мгновенно смолк. Стелла

приподнялась на локте. Сворачивая с имперской дороги, к ним направлялись два десятка всадников...

19. Лот

■

В дверь постучали.

— Заходите,— сказал Лот.

— Не спите еще? — на пороге стоял Меестерс.— Если хотите спать, говорите, не стесняйтесь.

— Хочу, но все равно не усну,— сказал Лот.

— То же самое и у меня,— вздохнул Меестерс.— Вы не думайте, я не буду надоедать вам каждый вечер. Это у меня просто на новых людей тяга. Привыкну — перестану замечать. Устали сегодня?

— Да. Перегруз получился. Слишком много фактажа.

— Зато теперь вы, наверное, все понимаете.

— Пока еще ничего не понимаю. Не обработал.

— А-а... Вам не холодно, кстати?

— Жарко. Но, если хотите, выключите.

— Нет-нет, что вы. Пришел в гости и распоряжается...

— Я просто люблю прохладу. Зимой сплю с открытым окном.

— Это я уже знаю. Я о вас, наверное, вообще все знаю. Вас это не смущает?

— Пожалуй, нет. Особо стыдных вещей я за собой не помню.

— Это, наверное, неплохо — не помнить о себе стыдных вещей... Я, к сожалению, никогда не смогу испытать такого чувства. За сорок лет работы накопилось всякое. Иногда мне странно, что я все еще жив.

Лот сочувственно кашлянул. Интересно, зачем он пришел, подумалось ему. Просто излить душу? Или еще раз прощупать? Или ненавязчиво внушить что-нибудь, или расположить к себе?.. Или без цели? Он с сомнением посмотрел на Меестерса. Вряд ли такие люди делают хоть что-нибудь без цели — даже снимая пушинку с рукава, просчитывают — на автопилоте — сорок три варианта возможных последствий...

Меестерс понял этот взгляд по-своему.

— Я догадываюсь, что вас беспокоит. Внезапное доверие, да? Это так не по-нашему, против всяческих традиций... Ну, допустим даже, что вы агент. Все равно, чей. Хотя, мне представляется, вы именно тот, кем назвались: санитарный врач, прошедший в свое время Каперскую зону и в своих исследованиях глубоко проникший в суть проблемы. В самостоятельных исследованиях. Подчеркиваю. Так вот, даже если вы агент, скажем, Конторы, или Корпуса, или иностранной разведки, или инопланетной... Нам это не то что не страшно — мы это приветствовали бы. Потому что нам противостоит

нечто такое, что требует слияния сил. Но вы, к сожалению, не агент... И крысиные гонки продолжатся. И мы будем вцепляться друг другу в глотки — в стремлении не допустить противника к финишу первым, а еще лучше — не допустить вообще. Хотя и лабиринт построен не нами, и несемся мы по нему не по собственной воле, и что нас ждет на финише — не догадываемся...

— Зачем же меня держали в подвале? Проверяли? Если вам все равно — кто?

Меестерс помолчал. Похоже было, что простой вопрос поставил его в тупик.

— Все религии, вы знаете, построены на борьбе добра со злом,— заговорил он другим, безразличным, уставшим голосом.— Две трансцендентные силы, Бог и Дьявол. Непрерывная борьба. Ад и рай, наслаждение и страдание. Я, как грубый материалист, произвожу все из нейрофизиологии, из центров поощрения и наказания. Их взаимодействие проецируется на внешний мир, и в результате — все вышеперечисленное в миллиардах оттенков. И вот мне, грубому материалисту, приходится допускать существование во внешнем мире каких-то подобных... я не знаю, как сказать? Центров? Они не имеют локализации. Короче, чего-то аналогичного по функциям... нет, тоже вру.Допустим, существуют и Бог, и Дьявол, но ни тот, ни другой не есть добро и зло в чистом виде, они вообще внеморальны, внеоценочны, у них есть какие-то свои интересы, своя борьба, людей они используют в этой борьбе, но сами люди им глубоко безразличны... Причем и Бог, и Дьявол существуют самодовлеюще, но — лишь в сознании людей. Как описание процессов реального мира. И вот эти процессы становятся все более интенсивными, более сложными, запутанными — и тут в них начинает вмешиваться человек... Вы еще не отключились?

— Нет,— сказал Лот.

— Это вмешательство странно, не вполне самостоятельно и абсолютно нерационально. Человек выступает ни на чьей стороне — и даже не на своей, что парадоксально лишь на первый взгляд. Он вообще пока не догадывается, что ввязался в чью-то борьбу.

— И все-таки — причем тут я?

— Были подозрения, что вы действуете не по своей воле. Если позволите, я не стану говорить, откуда они взялись.

— Так. Ну и?..

— Не подтвердились.

— А, понял. Вы меня исследовали, пока я спал. Помню, были такие странные сны...

— Знаете, Лот, вы удивительно уравновешенный человек. Я удивлен.

— Нет,— сказал Лот.— Я нервный и неуверенный в себе тип. Мне стоит больших усилий держаться так, как я держусь.

— Все равно. У вас здорово получается. Хотите, я доскажу, что начал? Немного осталось.

— Хочу.

— Вы сегодня увидели все, что можно увидеть. Многого, конечно, не поняли — не спец. Ничего. Понимаете, это все частности. А в целом — мы пытаемся разобраться в той самой борьбе Бога и Дьявола. Выяснить цели, средства, механизмы. Понять наш интерес. Суметь защититься. Если успеем, конечно...

— Бог и Дьявол...— Лот произнес слова медленно, пробуя языком.— Как я понял, вы употребляете эти термины не в метафорическом смысле?

— Нет. Именно как термины. С другой стороны, вы понимаете, весь наш мир — это одна большая метафора...

— И — обладающие теми способностями, которые им приписывает молва?

— В части власти над живой природой — да.

— Всемогущество?

— Практическое всемогущество. Может быть, имеющее границы — но я этих границ не знаю.

— Всеведение?

— Абсолютное.

— Как насчет всеблагости?

— Я бы сказал — всебезразличие.

— С обеих сторон?

— Может быть, есть какие-то оттенки отношений. Но, опять же, я их не знаю.

— Так... А человек?

— Человек становится почти всеведущ и готовится к всемогуществу. Думаю, это вы уже поняли.

— Но подождите. Бог и Дьявол — они существуют в сознании человека или в окружающем мире?

— А какая разница? Где вы проведете границу? Как отличите одно от другого?

— Да, действительно...— вяло сказал Лот.— Вы правы.

— Я, например, вообще не знаю, существует ли что-нибудь в окружающем мире. Может быть, мы с вами — два слизняка, заползших на один валун... а все вот это вокруг и все, что с нами было и будет — лишь запятая в нашем разговоре...

— Это вы-то, профессор — грубый материалист?

— При всем при этом — да. Знаете, Лот, вот вы поработаете немного с мозгом — станете сомневаться вообще во всем. Внезапно

окажется, что в любом мировоззрении опереться можно только на собственное невежество. Кстати, можно нескромный вопрос?

— Попробуйте.

— Я помню, в восьмидесятые годы, когда вы учились, в моде были галлюциногены. Я думаю, и вы пробовали их. Не можете ли вспомнить, что именно вам привиделось?

— Нет,— резко сказал Лот.— Не могу.

— Понятно. Значит, все помните, но говорить не хотите. Потому что это было страшно, и с тех пор вы этой химии на нюх не выносите. Хотя, если услышать описание ваших видений от постороннего человека — покажется простеньким и невинным. Вам казалось, что вы приросли спиной к другому человеку и вынуждены подстраиваться под его движения. Спина к спине. Такие сиамские близнецы. И в сущности это все. Я прав?

— Да,— без голоса сказал Лот.— Откуда?..

— Нас тут таких — почти сорок человек. После Каперской зоны. У всех — одно и то же. Так что появление ваше здесь было не случайным. Поразмыслите над этим.

— Да... Я... постараюсь...

— Спокойной ночи. Если хотите — в шкафчике снотворное. Будить вас завтра не станут.

Меестерс вышел. Лот лежал без движения, ошеломленный услышанным. Ника, в панике позвал он и прислушался к ответу. Сухой звук — как от щелчка по спичечной коробке. Ника...

Он уже знал, что ничто не отзовется.

20. Микк

■

— Ладно,— сказал Ноэль, бросая на стол еще одну полоску распечатки. Их уже много лежало на столе, и некоторые должны были бы уже кануть на пол, но цеплялись друг за друга и пока не падали.— Механику этого дела мы поняли. Пусть кто-нибудь объяснит мне, в чем его смысл.

Микк взял последнюю бумажку, подержал перед глазами, положил обратно. В принципе, то же самое: слева: «Ника Буковчан, 23 года, БОМЖ/03, временное УЛ №709830, социальное страхование —, медицинское страхование —. ИСО 02/3. Обращение в файл 16.08.04, повод: неотложная мед. помощь. ДС: фобический шок IV. ОП: Ш-Г мод. Амб.» Справа: «ВОССТАНОВЛЕНО: Ника Андерсен, урожд. Буковчан, 23 года, проживает: Альбаст, ул. Цепная, д. 144. Муж Грегори П. Андерсен, 30 лет, водитель. Род занятий: швея. Социальное страхование Ф-XII, медицинское страхование «НПН» №23098167. ИСО 00/0. Обращение в файл: 16.08.04. Повод: неотложная мед. помощь. ДС: фобический шок IV. ОП: Ш-Г мод. Госп.»

Но, конечно, и здесь никакого «госп» не было: возиться с бедняжкой без страховки! Промыли мозги, поставили на крылечко и наладили пинка... гуманисты херовы. Неужели нельзя хотя бы по внешнему виду отличить приличную замужнюю даму от бродяжки? Или доверие к официальной информации оказывается сильнее здравого смысла? И те, которые переписывали файл: видно же, что вранье. Ну, не может быть такого, чтобы в файл бродяжки обращались только один раз. Ее что, ни разу не задерживали? А откуда тогда индекс социальной опасности «20/3»? А, господа?

— Почему, интересно, они одним имена меняют, а другим — нет? — тупо спросил Кипрос.

Нет ничего важней, чем это выяснить, с внезапным раздражением подумал Микк.

— Наверное, в зависимости от того, кого они ожидают... ну, кто будет искать,— сказал Ноэль.

Он соображает, а я — уже нет, понял Микк. Вслух он сказал:

— Агнессу не трогали, потому что есть Флора. Флора приходит и требует: дайте мне тетушку. Они говорят: вот тетушка. Такого-то ушла и не вернулась. А здесь...

Он замолчал и стал рыться в бумагах. Наконец нашел то, что вспомнилось и перебило рассуждения.

— Это ее муж,— сказал он.— Вот: вставлено, что шестого августа погиб в автокатастрофе... Наверное, пошел ее искать...

— Или она — его,— тихо сказал Ноэль.

— Ребята...— прошептал Кипрос.— Ребята... Что это — все — значит?..

— Тебе сказать? — голос Ноэля едва звучал.— Или уже знаешь сам?

— Но почему? За что?

Ноэль пожал плечами. Посмотрел на Микка — будто ждал, что тот подскажет. И Кипрос стал жадно смотреть на Микка — как еврей на мессию.

— Тебе они как сказали? — как бы не замечая этих взглядов, спросил Микк.— Сами с тобой свяжутся или ты должен к ним?..

— Я — к ним... должен...— Кип сглотнул.— Причем не в участок, а в какое-то бюро по розыску... Вокзальная, семь...

— Нет там никакого бюро,— сказал Микк.— Это я точно знаю.

— Хотят, значит, чтобы сами приходили...— покачал головой Ноэль.— Барствуют, значит...

— Слушай, но ведь уже не те времена...— начал Кип, наткнулся на взгляд Ноэля и замолчал.

Нет логики, подумал Микк. Нет логики ни в чем, и в том, о чем думает Ноэль, тоже нет логики. Хотя в это — в то, о чем он думает,— страшно легко поверить. Хотя и нет логики. Но для веры логика не нуж-

на. Для веры нужно только желание поверить. Хотя, с другой стороны, логика — это вроде гениальности тех стихов, которые сочиняешь во сне. Они гениальны, пока снятся. Как велосипед, который не падает на ходу. Ты просыпаешься — и гениальность исчезает. Остаются нелепые строчки. И что-то подобное происходит с логикой. Только я не пойму, что...

— Вокзальная, семь,— протянул Ноэль, делая пассы над пультом. Засветился маленький плоский монитор, на нем возникла схема города: кварталы, видимые сверху и немного сбоку. Все чуть утрировано и поэтому легко узнается. Тут же обозначился — будто на него лег солнечный луч — двухэтажный домик с маленьким садиком, задами выходящий на полосу отчуждения железной дороги. Потом над домиком будто образовалась увеличительная линза: он стал больше и приблизился; окружающие его дома и кварталы сдвинулись к границам экрана, спрессовались, но из поля зрения не исчезли. Ноэль пробормотал что-то; пальцы его мелькали. Схему опутали разноцветные нити, но ни одна из них не касалась этого дома. Потом он наконец оторвался от пульта.

— Домик не просто так,— Ноэль растянул губы будто бы в улыбке.— Не подступиться. Ладно, парни, мы его прокачаем...

Микк посмотрел на Кипроса. Кип был бледен. На лысом черепе, на лбу стремительно росли прозрачные бородавки пота. Не сходи с ума, мысленно закричал ему Микк, но Кипрос уже разлепил губы и сказал:

— Я... туда...

— Что? — обернулся Ноэль.

— Пойду...

— Ты?..

— Прикроете.— Он встал.

— Не валяй дурака,— сказал Ноэль.— Шесть часов утра.

— Это несерьезно,— сказал Микк.

— Да как тебе сказать...— Ноэль с сомнением смотрел на Кипроса.— Не зная броду — конечно.. А вот если зная...

— Мы не доделали по крайней мере еще одно дело,— сказал Микк.— Напомню: мы решили быть методичными.

— А, твоя яма...— Ноэль вздохнул.— Может, вы вдвоем съездите?

— Вдвоем мы уже к Деду ездили,— сказал Микк.— Это будет перебор.

— Ладно,— сказал Ноэль.— Я с вами Джиллину отправлю. Он парень способный, хоть и молодой.

Джиллина неохотно передал свой участок Вито и, проверив оружие, пошел к машине. Микк, подчиняясь какому-то странному импульсу, вынул свой «таурус», картинно прокрутил барабан и сунул

револьвер за пояс. Ему тут же стало неловко. И вдруг захотелось увидеть Флору. Но для этого надо подняться на второй этаж... а люди ждут. Все равно она спит.

Было как-то уж слишком светло. Казалось, кроме солнца, сюда посылают свои лучи невидимые прожектора. Мореные плашки, которыми была обшита стена, казались белыми. Шляпки латунных гвоздей сияли. Ломко и призрачно стояла густая полувысохшая трава.

— Вы сюда близко не подходите,— сказал Микк Джиллине.— Стойте вон там, на углу. Если с нами что-то...

— Вы уже говорили,— кивнул Джиллина.

— Ну, так и делайте, как говорили,— внезапно раздражаясь, сказал Микк.— Делайте, как говорили, не заставляйте повторять...

Яму прикрывал фанерный лист, грязный, в каких-то потеках — совершенно чужеродный этому ухоженному садику и пряничному домику; даже вынутую землю покойный Ланком ссыпал в мешки для мусора; три мешка стояли у ворот и один, неполный — здесь, приваленный к стене. Микк взялся за край листа и вдруг понял, что не может его поднять — и не потому, что лист тяжел, какая тяжесть в старой фанере... просто не может, и все. И тогда, обманывая себя, он потянул лист к себе, будто стаскивал с кровати одеяло... Свет рухнул в открывшуюся яму и закружился пыльными вихрями.

— Я спущусь,— сказал он Кипросу.— А ты смотри сверху.

— Это твое? — спросил Кипрос, показывая рукой на оставленные в яме инструменты: лопату, лом, ножовку... Все было так, как в прошлый раз, когда Микк пришел и почти сразу же начал пилить... нет, ножовки тут не было, ножовку он принес с собой. А кто в таком случае закрыл яму? Впрочем, это был бесполезный вопрос: на него некому отвечать...

— Да, мое...

В стенку ямы он позавчера — или когда? — господи, как все перепуталось — сегодня двадцатое... уже двадцать первое — а на часах? — тоже двадцать первое — действительно, позавчера забил два толстых кола: ступени. По ним легко было спуститься и легко выбраться. Он сел на край ямы, поставив ноги на верхний кол. На миг что-то сместилось, ему показалось, что он сидит над разрытой могилой. Потом он понял: просто боится спускаться. Кто-то внутри него кричал от страха. Холод зрел в животе. Лопата, лом и ножовка внизу образовывали знак ловушки — этакий усложненный сыр для мышеловок. Не пойду... Он уже спускался — неловко. И в этой неловкости злился на Кипроса — за то, что тот видит.

В яме стоял утрированный запах пыли. Так могло бы пахнуть в архиве — когда перетряхивают... Он вспомнил: точно так пахло у Деда, когда они втроем искали нужную папку. Да, и Деда, пожалуй, надо навестить...

Микк поднял ножовку. Полотно было в тончайших продольных царапинах, алмазная пудра местами стерлась до клея. А ведь я ставил новое полотно... или только собирался поставить новое? Так вот и дурят нашего брата... Он хорошо помнил, что ставил, но червячок сомнения остался. А пилил я... вот здесь и здесь. На «корне», растущем из дна ямы, в этих местах были кольцеобразные утолщения. Микк примерился, потом поднял голову, посмотрел на Кипроса. Кип стоял на краю ямы, уперев руки в колени. Какого черта, в отчаянии подумал Микк, мы все равно никогда не поймем... Он был уверен, что все бесполезно. Кипрос смотрел на него, и Микк ободряюще кивнул ему.

Он помнил, что «корень» был крепче стали, и решительно поднес к нему пилу, и полотно, почти не встретив сопротивления, прошло насквозь, Микк отдернул руки и отшатнулся — «корень» от места разреза то ли осыпался, то ли оплывал, как чрезвычайно быстро сгорающая свеча, тончайшая пыль текла вниз, клубясь, и через несколько секунд ничего, кроме плавающей в воздухе плотной светящейся завесы, не осталось. Микк чихнул несколько раз, потом натянул рубашку на лицо, оставив одни глаза, и присел. На дно ямы свет не падал, и видно здесь было лучше. Там, где «корень» выходил из земли, зияло отверстие сантиметров двадцати в диаметре. Из него не сильно, без напора, шел воздух; Микк, не дыша, помня о том, что было в прошлый раз, наклонился над ним и несколько секунд всматривался в темноту. Сначала не было видно ничего, а потом вдруг — глаза поймали фокус — темнота рассыпалась множеством далеких огней, и больше всего это было похоже на вид ночного города с высоты... Вставай, прикипел, похлопал его по плечу Малашонок, и он встал и отошел к стене, пропуская Малашонка и идущих следом Петюка и Фому Андреевича и пытаясь осмыслить, перевести на язык слов то, что он увидел в скважине. Не верь подземным звездам, категорично говорил Куц, а Леонида Яновна говорила иначе: подземные звезды смущают мысли. Пусть так. Прошли Дим Димыч с Танькой. Что он в ней нашел, подумал Пашка, стерва ведь. Обидно, хороший человек пропадет... Замыкал отряд Архипов. Ну, пойдем, сказал он Пашке. Что, опять в скважину глядел? Пашка кивнул. Высмотрел что? Кажется, нет, неуверенно сказал Пашка. Не знаю... Ему не хотелось говорить, что звезды все отчетливее складываются в знак Зверя...

Недолгое прозрение, посетившее его тогда, когда Леонида Яновна накладывала защиту, ушло, оставив лишь память о себе — память о божественном состоянии, в котором весь мир стал книгой, написанной простым языком, а на каждый заданный вопрос тут же возникал выросший из самого вопроса ответ. Пашка шел и старался не замечать охватившего его горя утраты. Ему разрешили полетать — полтора часа,— а потом отняли крылья. Тогда, в прозрении, он знал,

зачем и почему они идут, что за подземные ходы и что произойдет, если они не придут вовремя в нужное место. Теперь он этого не мог бы объяснить другому, но себе — прежнему — он верил. Они должны дойти и, дойдя, стоять насмерть — и это единственный шанс уцелеть тем, кто остался еще наверху... и это «наверху» касается, кажется, не только жителей города... тут он не был уверен.

Поросший светящимся мохом переход оборвался кромешной тьмой. Отряд сгрудился и чего-то ждал. Видны были только одинаковые — подпоясанные ватники — спины да несколько автоматов, висящих по-охотничьи, стволами вниз.

Архипов обнял его за плечо и легонько потряс, и Пашка понял: они пришли на место. Только теперь он услышал — скорее не ушами, а всем лицом — далекий рокот: будто медленно-медленно проворачивалась громадная бетономешалка.

21. Петер Милле

■

Он выбрался из-под дневного света, как из-под мягких невидимых глыб: в поту, с одышкой и сердцебиением. Дневной сон был мукой — увы, неизбежной. Без него ни глаза, ни голова не выдерживали обязательных трех часов над тетрадью. А так... сейчас... Постанывая от привычной боли в затекших икрах, он встал и потащился под душ. Тепловатая водичка с железным привкусом все-таки освежала. Плохо, но освежала. Кроме того — ритуал. Обязательный двукратный ежедневный. Флаг «Умираю, но не сдаюсь». Оркестр играет мазурку...

Сравнение ему понравилось. Не вытираясь, он накинул халат и пошлепал на кухню. В холодильнике было пиво. «Черный бархат», три бутылки. Он не помнил, когда и как покупал его, но это было почти неважно. После приступа неуправляемой паники — когда вдруг понял, что не запоминает абсолютно ничего из того, что происходит с ним за порогом дома,— он старался принимать все как должное. Да, может быть, там, снаружи, он и сам точно такой, как те, кого он видит сейчас из окна: монотонно бредущие по прямой кукольные люди. Никто ни с кем не раскланивается, не озирается по сторонам, не совершает каких-то странных, но человеческих поступков: скажем, не снимает ботинок и не начинает вытряхивать из него камешек... скрупулос... В бинокль видны лица: одинаково озабоченные и в то же время бессмысленные. Бессмысленная целеустремленность — вот так это можно обозначить. Неужели и у него такое же лицо, когда он там?.. Тем более следует оставаться человеком все остальное время.

Вернее — все оставшееся время.

Похоже на то, что его весьма мало.

Потому — нужно ли ломать голову над тем, что, выходя из квартиры, он тут же входит в нее обратно — до полусмерти уставший, потный, грязный, дрожащий. Час, а когда и больше часа уходит только на то, чтобы прийти в себя. Правда, результатом таких вылазок оказываются хлеб, сосиски и сыр — почему-то всегда одного и того же нелюбимого сорта: «Адмирал». Недели две назад вдруг появилась коробка трубочного табака, и теперь вечерами он обязательно выкуривал трубочку-другую. Табак был страшно дорогой, вирджинский «Глэдстон», и удивительно, что он сумел раскачать себя на такую покупку. Начав курить после двадцатилетнего перерыва, он испытал небывалый душевный подъем — будто эти двадцать лет испарились, ничего после себя не оставив, и ему не семьдесят девять, а — еще нет шестидесяти...

Когда кончается время, даже воздух становится сладким, даже слюна, даже скрип половиц оборачивается музыкой, даже простые мысли вдруг обретают платиновый блеск... Лишь когда кончается время, можно, наконец, понять, что земная жизнь не в счет, хотя она — все, и что рай и ад неразделимы и даже неразличимы, если смотреть в упор.

Бокал пива и ломтик мягкого сыра с розовыми крапинками креветочного мяса... Что еще надо для полного счастья?

И тетрадь. Четыреста листов отличной нежно-палевой бумаги в деликатную розовую линеечку. Обложка из натуральной тисненой кожи табачного цвета. Зеленовато-серая бумажная наклейка в углу, и по ней каллиграфически: «МЫСЛИ, ПРИШЕДШИЕ В ГОЛОВУ СЛИШКОМ ПОЗДНО». Не лень же было выводить...

«Пророк Илия и жрецы Ваала. Он один, их — четыреста пятьдесят. Соревнования: чей бог быстрее разведет костер? Ваал сплоховал. Тогда Илия приказал стоящим вокруг: схватить их! Жрецов схватили, Илия отвел их на берег реки и всех заколол, Божий человек. Ученик его, Елисей, благословил в одном городе источники, и вода в них стала хорошей. Уходя из города, он встретил детей, которые крикнули ему: плешивый! Елисей воззвал к Господу, и тогда из леса вышли две медведицы и разорвали сорок два ребенка. Это что — всемилость? Иисус на фоне своего родителя выглядит настолько добрее и человечнее, что верить в его божественное происхождение просто не хочется.

И история с распятием темна до полной непроницаемости. Схвачен, торопливо судим с нарушением всех и всяческих процессуальных норм (чего стоит одно только ночное заседание синедриона!) и осужден на немедленную смерть — не для того ли все провернуто так быстро и вопиюще противозаконно, чтобы успеть к Пасхе — чтобы заменить на кресте другого Иисуса, Иисуса Варавву, Иисуса-Сына-Отца?

Бедный отец Виталий. Наверное, мои замечания и вопросики стоили ему нескольких лет жизни. Но ведь он сам приходил, и высиживал заполночь — значит, было у него ко мне какое-то долгое дело. И обнял он меня, прощаясь, и даже прослезился — со мной за компанию. Он же тогда-то — по-моему, накануне мятежа — сказал: иногда ему кажется, что Страшный Суд уже начался. Мы просто не замечаем этого, потому что все, что так естественно происходит вокруг, и есть Страшный Суд. Сказал же Павел: мы не умрем, а изменимся. И вот мы изменились настолько, что Страшный Суд для нас стал средой обитания... Он напомнил мне профессора Смолячека, который в Академии вел курс философии. Вот ведь учили нас: в Технической Академии во время войны читали основы философии. Я потом рассказывал — не верили. Или говорили: на что тратили драгоценное время! А мне кажется — это был один из важнейших курсов. Благодаря ему все стало очень сложным, и я — и не только я — с меньшими душевными травмами воспринимали последующее. Так вот, Смолячек рассказал историю о том, как апостол Петр сидел в камере смертников, ожидая казни за богохульство. Камера была заперта, а кроме того, Петр был прикован цепью к двум стражникам. И вот в ночь накануне казни дверь открылась, и вошел ангел. Петр подумал, что это ему снится, и отнесся к появлению ангела спокойно. Ангел сказал: встань. Петр встал, цепи упали. Ангел вывел его из тюрьмы мимо спящих часовых и исчез. И тогда Петр понял, что все это наяву, и побежал в дом матери Марка. Там он и рассказал эту историю. Итак, с абсолютно равными основаниями можно считать, что Петра действительно вывел ангел Господень; или кто-то из высокопоставленных сочувствующих вывел его, а историю об ангеле Петр рассказал с какой-то целью: может быть, для придания авторитета себе или делу, а может быть, и в те времена в подполье не жаловали тех, у кого есть друзья-тюремщики. Или, наконец, можно считать, что Петру приснился и ангел, и все последующие события его жизни, и его смерть, и дальнейшая история человечества, и все, происходящее сейчас, и мы здесь, рассуждающие черт знает о чем,— все это лишь снится Петру, лежащему на грязной соломе на полу тюремной камеры меж двух сторожей, а тем временем какой-то плотник приколачивает перекладину к невысокому кресту...»

Он перевернул несколько страниц.

«Принято считать, что поступки людей, их поведение вообще — должно быть «хорошим», «правильным», «умным». Иначе — рациональным К поступкам людей подход настолько же утилитарный, как к глиняным горшкам. Вместо искусства поступка воспитывается ремесло, даже индустрия поступка, и никто не видит в этом насилия над природой человека В искусстве же полезность — вообще не критерий, а красота, оригинальность, неповторимость — более чем критерии. И, если мы начнем оценивать человеческие поступки, пользуясь критери-

ями искусства, то увидим: в этой сфере царит жесточайший гнет, бесчинствует цензура, духовная и светская, и все, что не соответствует канону, подвергается гонению и уничтожению. Но даже в такой атмосфере — а может быть, по закону парадокса, благодаря этой атмосфере,— случаются поступки, по своей красоте и бесполезности превосходящие величайшие произведения искусства. Если допустить, что человечество в целом имеет какую-то цель, то ведь ясно, что эта цель — не строительство новой тысячи заводов, прорывание длинных и глубоких канав поперек материка и полеты к Луне и прочим небесным телам (хотя именно эти полеты достаточно неутилитарны, чтобы приблизиться к тому, о чем я хочу сказать). Так вот: не цель ли человечества — свершение неимоверно красивых и абсолютно бесполезных поступков? Или такой поступок уже был совершен, существование человечества оправдано, а теперь оно живет по инерции, не имея ни цели, ни смысла существования? Может быть, вся история цивилизации — это лишь прелюдия к оркестру, играющему вальсы Штрауса на палубе тонущего «Титаника»?»

Еще несколько страниц.

«С ужасающей отчетливостью вспомнился Юнгман. Потом это прошло, но несколько часов я буквально находился в его обществе, причем воспринимая все неимоверно интенсивно. Похоже было на то, что в памяти моей случился какой-то пробой, выбило все предохранители — никогда раньше такого не происходило. Вспомнилась его теория о машине, создавшей и продолжающей создавать человека, приспосабливая его для своих нужд. Интересно, что ни тот я, который это слушал, ни я сегодняшний не нашли бы возражений — даже если бы и хотели. Получается...»

Чистый лист. Перо оставляет тонкий черный след.

«Перечитал «Смерть клоуна» Леона Эндрю. По первочтении, сразу после войны, вещь произвела на меня потрясающее впечатление. Казалось, это ключ ко всем загадкам обыденности. Впрочем, он так и не повернулся в скважине до конца... И вот теперь — еще раз, чтобы проверить себя. Тогда это казалось глубокой философской метафорой, позволяющей проникнуть на «обратную сторону» личности: Ормелы, истинные носители разума, живущие в сознании людей, способные менять своих «носителей», как всадник меняет лошадей; симпатии и конфликты между ними приводят к сложнейшим и трагическим коллизиям людей; Ормелам люди почти не интересны, поскольку для них они просты и примитивны, как проста и примитивна клоунская маска и клоунская роль для Орландо. Но, когда Орландо проникает в тайну существования Ормелов, те обращают на него внимание... Да, тогда это казалось метафорой. А сейчас мне это кажется недосказанным пророчеством.

Интересная деталь: Орландо, вырвавшись ненадолго из-под власти Ормелов, начинает видеть мир таким, каков он есть, и это повергает его в отчаяние. И в отчаянии он принимается делать то, от чего раньше его удерживала надежда, и в какой-то момент, задумавшись, понимает, что счастлив. А в видении мира, которое обрел Орландо, есть, помимо всего, такая странность: в течении времени возникают паузы, лакуны, неорганические процессы на это время останавливаются, у людей события не запечатлеваются в памяти, и лишь Ормелы не видят существенной разницы между нормальным ходом времени и этими лакунами. Нужны ли комментарии? Кто-то же отключает мою память, едва я переступаю порог.

И, может быть, не только тогда. Позавчера я обнаружил папку с документами по лихорадке Вильсона и ее последствия на столе — хотя совершенно не представляю, какого черта я ее вообще тревожил. Тема закрыта. Если я прав, заниматься этим дальше бессмысленно, если не прав — тем более бессмысленно. Пожалуй, даже наоборот. Более бессмысленно — если я прав».

Петер отложил ручку и откинулся на спинку кресла, отдыхая. И вдруг неожиданно для себя подумал: а когда? Ясно, что скоро — но «скоро» может быть и десять дет... Сосчитать нельзя — а почувствовать? Он закрыл глаза.

Осень — ударило в сердце. Эта осень.

Осталось... Почти ничего не осталось.

Эта — последняя — осень.

Он открыл глаза и посмотрел, как впервые, на свою руку. Пальцы дрожали.

Значит, правда.

Осень.

Горький дым...

Не без труда он набил трубку, но раскурил — с первой попытки.

«Иногда я испытываю почти панический страх перед зеркалом. Интересно, кого именно я боюсь там увидеть? Наверное, так и не узнаю.

Найдя папку, вспомнил о Кипросе: ему это, может быть, показалось бы интересным. Вспомнил с ноткой раздражения: засранец, совсем забыл старика,— и вдруг испытал острое чувство неловкости, будто на улице повстречал знакомого и не узнал его, и лишь потом, отойдя, сообразил... Так что, может быть, ему я ее и показывал? Попробовал телефон: все по-прежнему. Попадаю куда угодно, кроме того места, которое мне требуется. Точно так же и мне звонит кто угодно, кроме тех, кому я нужен. И это, похоже, в порядке вещей.

Потерял Вильденбратена. Не пойму, куда мог деться огромный, ин квадро, томина девятьсот второго года издания: кожаный переплет, цветные, переложенные калькой, иллюстрации, бархатная ленточка,

золотой обрез... Печать: «Библиотека коммерции советника Иоганна Милле». Библиотека дедушки была знаменита, попала даже в энциклопедию. Ничего не осталось. Но, собственно, чему удивляться?

По каким-то ассоциациям вспомнились «Солдаты Вавилона»: «Но стража Нимрода в проклятую ночь не сдвинулась с мест. Лишь юный один безбородый...» — и так далее. Солдаты Вавилона окаменели на своих постах, поскольку их не могли сменить — они не понимали офицеров. У классика — все. А я докопался — молодой был и упрямый — до той легенды, на которую он ссылается. Оказывается, после смешения языков ослабевший Вавилон осадили враги. И солдаты, переставшие понимать офицеров, понимать друг друга,— отбили их, потому что знали каждый свою задачу и свое место на стене...

И позволили разноязыким людям рассеяться по свету.

Вообще с Вавилонской башней масса неясностей. Почему Бог изобретает такой экзотический способ, чтобы сорвать строительство: ведь хватило бы, скажем, прямого обращения или небольшого землетрясения? Кроме того, уж Богу-то известно, что кирпичное строение можно довести метров до трехсот максимум. Что-то во всем этом есть весьма странное. Для того, чтобы рассеяться по земле, людям понадобилось построить башню. То есть — собраться огромным числом на маленьком пятачке. Выбиваться там из сил, производя тяжелейшую работу. Монотонным, засасывающим, бесконечным трудом достигать высоких степеней отрешения. Конечно, строители не догадываются, что именно они делают. И вряд ли до конца понимает сам Нимрод. Но ведь название Вавилон происходит от Баб-илу, что значит: Врата Бога. А Чжуан-Цзы писал: «Врата Господни — это несуществование».

Впрочем, сопоставление всяческих высказываний древних и великих может завести куда угодно.

Однако, слишком уж много Вавилонских башен разбросано в нашей истории. Создается впечатление, что вся она — всего лишь история строительства одной огромной башни. Причем сама башня — лишь способ достичь несуществования.

Правда: иногда мне кажется, что все, окружающее меня сейчас и окружавшее в прошлом, происходившее и происходящее — это просто очень громкий шум, непонятно от чего исходящий. Даже не так: я знаю, что знаю, от чего он исходит, но знание это заперто во мне, и ключ в скважине не поворачивается до конца.

Может быть, с этим и связана боязнь зеркал?»

22. Ника, она же Стелла

■

Они давно так не работали — по четыре представления в день. Но зрители шли, и грех было упускать их. Адам пришел в себя, но

был еще очень слаб, горяч и временами заговаривался. Стелла кормила его с ложечки и придерживала, когда он сидел на горшке. Иппотроп ворчал, что это она во всем виновата — нужна она, такая, солдатам, когда у них по лагерям молодых блядешек — как блох; а если бы и сунули раз-другой — не рассыпалась бы, что, девочка, что ли, в первый, что ли, раз — тогда вон, с серыми монахами, могла, не орала, а тут — как резать будто ее собрались... Она и сама знала, что виновата.

Городок по имени Куртц был переполнен людьми. Слились два потока: селян, приехавших на ярмарку, и беженцев из Кикоя. Лишь на второй день им удалось найти крышу над головой: хозяин гостиницы «Красный лев» пустил их в просторную, но абсолютно пустую угловую комнату с двумя узкими, бойницеподобными окнами. За это сверх программы Стелла и Пальмер каждый вечер бесплатно показывали небольшой номер в гостиничном трактире.

От усталости она стала вглядываться в лица — чего никогда не делала раньше. Цирковых детей учили презирать публику, и эту науку она освоила не менее успешно, чем акробатические трюки. Никто из сидевших вокруг не мог того, что могла она... А теперь — зачем-то смотрела исподтишка и не могла понять... У публики были лица детей. Счастливых или обиженных, сытых или полуголодных — но детей. И в трактире сидели бородатые пьяные дети. Они легко смеялись и ссорились по пустякам. Они были очень слабы и болезненно доверчивы, хотя казались себе могучими и хитрыми. Она поняла это, тревожащее ее подспудно уже давно, когда на одно из представлений заглянули два гернота. Кажется, это были юноша и девушка, хотя судить, естественно, было трудно. Узор на лбу показывал, что живут они в истинном обличии первый год. Тем не менее они выглядели мудрыми добрыми королями в толпе восторженных малышей. Стелла сама испытала умиление и радость, вдохнув исходящий от них тончайший аромат,— и тут на мгновение вспомнила, кто она в действительности и зачем находится здесь. Но даже это не заставило ее отвести жадный взгляд от прекрасных одухотворенных лиц с глазами, похожими на глаза святых угодников... Потом это прошло, и она с брезгливым удивлением спрашивала себя, что такого прекрасного можно рассмотреть в малоподвижных голубоватых масках?..

После этого посещения Иппотроп впал в мрачность, разговаривать не хотел и работал лишь один номер: борьбу с удавом. Похоже, ему самому доставляло какое-то извращенное удовольствие выскальзывать из могучих колец, доводя змея до бешенства. Борьба у них шла всерьез.

Так прошла неделя.

Чужое нервное присутствие внутри не доставляло беспокойств: Стелла будто бы несла в кулаке неразумную птичку, которую следовало защитить от котов. Иногда она задерживалась у клетки с горными львами. Наверное, их следует продать: дрессировщик Бигл пропал где-то в круговерти Кикоя... Но что-то удерживало ее от быстрых решений.

На восьмой день Адам вышел во двор гостиницы.

Стелла поддерживала его под руку, и он не отстранялся — но просто потому, что ее прикосновение было ему приятно. Шел пятый час дня, кончилось второе дневное представление и впереди ждало вечернее, самое долгое и тяжелое. По двору сновали какие-то люди, из конюшни слышалось возбужденное ржание. Пахло горячей кухней и лошадьми. Мальчишки лет шести-семи деятельно тузили друг дружку у забора. Собаки в разнообразнейших позах валялись в пыли и чахлой серой траве.

— Мух нет,— сказал вдруг Адам.

— Что? — не поняла Стелла.

— Куда делись мухи? Их же было...

— Не знаю...— удивленно покрутила головой Стелла. Мух действительно не было.

Неприятное — смычком по ногтю — ощущение возникло и тут же растаяло в груди. С мухами действительно было что-то связано, из той, бывшей, ненастоящей жизни. Какое-то предупреждение... или сигнал?

— Надо уезжать,— сказал Адам.— Ехать дальше. Засиделись.

— Да,— сказала Стелла.— Раз ты здоров, то можно ехать. Завтра чтобы...

— Я не помню — про мух,— в голосе Адама прозвучало отчаяние.— У меня будто дырка в мозгах, и ветер в дырке...— он посмотрел на Стеллу, наклонился и заглянул ей в глаза.— Скажи — ты помнишь?

— Что-то помню,— пробормотала Стелла.— Неопасное что-то...

— Повелители мух,— вдруг прошептал страшным шепотом Адам; глаза у него расширились и стали, как у гернота: огромные и блестящие.— Приближаются Повелители мух...

Странный вибрирующий гул произвели эти слова. Земля слегка качнулась под ногами и повернулась немного — со всем, что на ней было. И по всему, что было на земле, прошла мгновенная рябь, и на миг все покрылось трещинами, и в этих трещинах проступило что-то другое, чего не успел увидеть глаз и охватить разум,— а потом трещины затянулись, и все стало, как было: чересчур яркой, четкой, подробной и законченной картинкой, раскрашенным картоном, еще пахнущим сырой гуашью...

Если уходить, то немедленно — бросая все, верхами... и тем самым выдав себя. Или положиться на маскировку — и тогда дер-

жаться до конца. Равновесное положение... Нет — Адам не доскачет. Решено.

— Утром,— повторила она. Адам с тоской смотрел на нее.

23. Тоун Александр Джаллав

■

— Расслабься, Бо,— сказал Джаллав.— Ты не в строю. Нука, расстегни мундир...

Зоунн сморщился, потом улыбнулся.

— Так уже лучше,— похвалил Джаллав.— Напомню, господа: в этом кабинете и в этом кругу — на «ты» и без званий.

— Как-то это против того, что...— Зоунн запнулся,— ты говорил на Круге.

— Круг Кругу рознь,— сказал Джаллав.— Ладно, ближе к делу. Бо, что это за херня произошла с Ксименом?

— Спонтанное возвращение,— пожал плечами Зоунн.— Теоретически возможно. Правда, раньше не наблюдалось.

— Вот именно. Притом — через слой.

— Нет, Алек, не через. Вав — ближайший...

— Я оговорился. Через воплощение.

— Ну, мы мало что знаем о природе спонтанных перебросов.

— Ты не находишь, что с Ксименом вообще происходит что-то странное?

— Нахожу Но пока не могу сказать, что именно.

— Он сейчас в статусе наблюдателя? Кто с ним на связи?

— Топ-Ворош. Ну, ты помнишь — который работал по Препарии.

— Этот седой? Помню. Но, кажется, Тим собирался его вычистить?

— Я передумал,— сказал Ауэбб.

— Он в прежнем облике,— сказал Ауэбб.— Вито Ивонни, эрмер. Весьма пассивен. Они все пока ведут сбор информации и первичный ее анализ. Боюсь, что дальше они так и не продвинутся.

— А больше нам там опереться не на кого...— не то спросил, не то подвел итог Джаллав.— Нужно послать подкрепление Ксимену — и попробовать реверсировать его самого. Хотя бы частично — чтобы он мог принимать информацию.

— Это мы уже делаем,— сказал Ауэбб.

— На то, чтобы подготовить группу, уйдет еще часов сто,— сказал Зоунн.

— А с другими нашими потерявшимися контакт не установлен? — спросил Джаллав.

— Нет,— сказал Зоунн. Ауэбб молча покачал головой.

— Понятно,— сказал Джаллав.

— В сущности, Ксимен косвенным путем ведет розыск остальных исчезнувших,— сказал Зоунн.— Мы считаем, что выброс пси-лаввероров за пределы уровня вав происходит путем усвоения ими особого артефакального кодона. Ивонни как раз и занят поиском источника этих кодонов. Когда мы найдем источник, нам будет легче искать наших людей.

— Так давайте ему поможем. Проведем симулирующую операцию...

— Я уже думал об этом. Но, Алек,— Зоунн поднял руку в знаке «возражения не принимаются»,— операция состоится при одном условии: пойду я.

Повисло молчание.

— Хорошо,— сказал наконец Джаллав.— Назначь своего преемника. Сколько нужно на подготовку?

— Ничего,— сказал Зоунн.— Все уже готово. На йод меня встретят. Оттуда пойду на авторежиме.

— Значит, ты уже все подготовил? — покачал головой Джаллав.

— Как вариант. Тим обеспечивает слежение и передачу данных Ксимену. Если потребуется, за мной отправится Марон.

— Который вытащил Ксимена?

— Да.

— Ну что же, господа сайры...— Джаллав встал.— Успеха вам.

Зоунн не ответил, просто поднялся и вышел из кабинета. Дверь он открыл левой рукой, а через порог переступил правой ногой. Дверь так и осталась открытой.

— Тим,— сказал Джаллав.— Ты постарайся, Тим.

Ауэбб кивнул.

Джаллав закрыл за ними дверь, вернулся на свое место и с минуту сидел, стараясь не думать ни о чем. Потом нажал клавишу интеркома.

— Это тоун. Малигнана ко мне.

Малигнан вошел почти сразу — будто стоял под дверью и ждал. Он был тонкий и угловатый, словно произошел не от обезьяны, а от кузнечика или богомола. И голос имел под стать: высокий и скрипучий.

— Вы призывали меня, владетельный тоун?

— Садитесь, Малигнан,— улыбнулся Джаллав.

— Не смею.

— Садитесь.

— Помилуйте, не смею!

— Повелеваю: садитесь.

Малигнан сел. Он был, пожалуй, единственный, кто относился с пиететом к старинному ритуалу. Все сменилось в Ордене, лишь чины

и звания задержались — да громоздкий протокол официальных приветствий.

— Я прочел ваш обзор, Малигнан,— сказал Джаллав,— и хочу задать несколько вопросов. Я знаю, что вы осознанно отказались от роли аналитика, но лучшего, чем вы, специалиста по уровню хет в Ордене, к сожалению... извините, я сказал бестактность. Малигнан, я прошу вас ответить на те вопросы, которые задал бы аналитику.

— Владетельный тоун, если это приказ...

— Нет, Малигнан, это не приказ. Вы имеете право отказаться. Я знаю, какими мотивами вы руководствуетесь, и уважаю их. Поэтому, если вы откажетесь, я начну сам ломать голову над этими вопросами, но это займет гораздо больше времени, а у нас его нет.

Малигнан молчал. На его лице ничего не отражалось. Потом он сказал:

— Хорошо. Я принимаю на себя ответственность за все, что я скажу, и я надеюсь, что владетельный тоун простит мне мое уклонение от обета.

— Спасибо, Малигнан. По-вашему, откуда взялись гернотьі?

— У меня два предположения,— сразу сказал Малигнан.— Возможно, это аналог тому феномену, который произошел в уровне вав: занос из алефа генного материала. А возможно, они пришли из другого уровня. Насколько я помню, в Шин описывались похожие существа.

— Похожие — и только,— возразил Джаллав.

— Кто гарантирует, что нам известны все уровни? — пожал узкими, почти несуществующими плечами Малигнан.— Я подозреваю, что уровни, где Преображение произошло давно, становятся закрытыми и неощутимыми для нас.

— И тогда гернотьі...

— Люди, прошедшие через Преображение.

— Другими словами — вочеловеченный Противник?

— Можно сказать и так. Но это лишь одно из проявлений вочеловечивания, и в этом же хет мы найдем и другие формы...

— Котлованы?

— Да.

— Опять же, ваше мнение: котлованы служат подготовке к Преображению или чему-то еще?

— Чему-то еще. Другому.

— Вторжению в Алеф?

— Может быть... Не уверен. Нет, думаю, что нет.

— Ну, а чему?

— Мне кажется, что это оружие не нападения, а защиты.

— Но — оружие?

— Оружие, инструмент, сооружение... В наших терминах это не обозначишь. Нечто, служащее определенной цели. Донг.

— Что?

— Этим словом гернoты обозначают предметы, назначение которых может быть лишь затуманено объяснениями. Предметы, отталкивающие слова.

— Хорошо, а почему вы уверены, что эти... донги... предназначены именно для защиты?

— Не могу сказать, что я абсолютно уверен... но я действительно склоняюсь к такой мысли. У гернотов существует своеобразная эстетика вражды. Согласно ей оружие нападения должно быть как можно меньше, незаметнее. Отравленная игла, а не дубина. В обороне же хороши все средства...

— И против кого они так могут обороняться? У них есть враги в уровне?

— Есть, и немало. Против них выступил очень сильный маг Яппо. Гернoты встревожены этим вмешательством. Но, похоже, встревожены именно тем, что Яппо может расстроить их систему обороны против кого-то третьего. Самого Яппо они всерьез не опасаются.

— И кто же этот третий?

— Не знаю.

— Сколько у нас наблюдателей в Хет?

— Семеро. Готовим подкрепление, но... вы знаете, как все это непросто.

— Знаю. Скажите, Малигнан... нет ли возможности реверсировать кого-либо из наших наблюдателей — и вступить в переговоры с гернотами?

— Заставить наблюдателя раскрыть себя?

— Лучше — выступить медиумом.

— Надо подумать. Я не готов к ответу. Кроме того, я очень сомневаюсь, что с гернотами возможны переговоры.

— Я тоже сомневаюсь. Но попытаться необходимо — даже рискнув нашим агентом. В конце концов, нам еще не представлялось шанса побеседовать напрямую с противником.

— Я не думаю, что беседа будет с противником. Беседа будет с гернотами. Хотя...— Малигнан задумался.— Может быть, вы правы, владетельный тоун...

24. Вито

■

Грязь местами доходила до колен, жидкая, вонючая, ноги скользили, Микк, шедший вторым, провалился вдруг в какую-то невидимую под грязью дыру и застрял, стопа хитро подвернулась и не шла обратно, ему было адски больно, и лишь минут через двадцать

удалось освободить его от этого капкана. Остаток пути он хромал, опираясь Вито на плечо. Лампочки горели тускло, красновато, на отдельных участках тоннеля их вообще не было. Ноэль вел уверенно, как крыса, давно изучившая этот старый лабиринт. Кабели всяческих видов увешивали стены, и не всегда можно было увидеть даже, бетонные эти стены или кирпичные.

Наконец, Ноэль остановился и стал сверяться со схемой.

— Где-то здесь,— сказал он.— Где-то очень близко.

Через несколько шагов обнаружилась темная ниша. В глубине ее луч фонаря осветил квадратную дверь из рифленого железа с приваренной скобой. Замок оказался кнопочно-цифровой, простенький, девяносто секунд работы. Труднее было пролезть в открывшееся отверстие. Сразу за дверцей начиналась крутая лестница вниз. Оттуда, снизу, шло низкое гудение и поднимались непонятные запахи.

Ноэль спустился первым. Вито смотрел, как пятно света пляшет по стенам, ложится на решетчатый пол — глубина метров пять, отметилось в сознании,— потом скрывается за каким-то препятствием. Шаги Ноэля были по-кошачьи беззвучны. Секунд через сорок внизу загорелся свет, и голос Ноэля позвал:

— Спускайтесь!

Спустились. Микк пристанывал. Ему, наверное, казалось, что он просто дышит. Устал парень, подумал Вито. Держится, но устал. Зачем мы вообще его с собой потащили? Остался бы со Стасом. Здесь от него мало толку... Решетчатый пол — вибрирует — а что под ним? Вито пошарил по карманам, нашел монетку, уронил между прутьями — ничего. Тишина. Ладонь ощущает слабый ток теплого воздуха. Что там может быть? Непонятно...

Хорошо, если просто вентиляция.

Вдруг стало жутко. Необъяснимо, беспричинно. И даже не жутко, не страшно — накатило отчаяние от полного, предельного, неодолимого одиночества. Как на плоту в океане... как один в Антарктиде...

Что?

Нет, со мной полный порядок...

Помещение коммутаторного узла имело форму правильного куба. Все стены были выполнены панелями разъемов, прикрытыми защитными шторками. Ноэль сорвал уже две из них и изучал маркировку. С потолка свисала голая лампочка накаливания. Свет от нее шел желтоватый, пригорелый. Пахло электричеством. Воздух был переполнен электричеством, и от этого сжало, как тисками, виски.

Или от боли, или от тускло-желтого света — но Вито показалось, что перед ним мертвецы: скорчившийся на полу неподвижный мертвец и деловитый мертвец у стены. И сам он — шагающий мертвец, шкурка человека, набитая чем-то движущимся. От нас ничего не осталось, кроме способности двигаться...

Когда же мы успели умереть?

Незаметно, во сне...

Звуки Иерихонских труб не были слышны, и никто не знает, какую мелодию они выводили,— просто стены города вдруг превратились в песок. И люди — к ним подползали невидимые нежные твари, вонзали без боли тонкие хоботки и выпивали, высасывали кровь, и мысли, и способность чувствовать, и что-то еще, свойственное людям...

— Ноэль,— позвал он, и, хотя своего голоса он не услышал, был уверен почему-то, что Ноэль обернется. Прошло несколько минут. Ноэль обернулся.

Это был не Ноэль. Кто-то другой, неуловимо его напоминавший, но — другой. У человека было иссиня-бледное лицо и огромные черные глаза, полускрытые коричневыми морщинистыми черепашьими веками. Рот был тонкий, губы нервно кривились.

— Чтооо слууууоооааа...— звуки исходили не в такт движению губ, а потом и вовсе пропали.

Проверь меня, хотел сказать Вито, но не смог, губы освинцовели, язык не ворочался, в груди не было воздуха. Человек шагнул ему навстречу, вынимая что-то из кармана,— и это была смерть. Умирать еще раз было страшно. А потом вдруг все отодвинулось куда-то, сжалось и сморщилось — Гэбрилу показалось, что он вынырнул наконец из глубины и теперь может перевести дыхание. Он не дышал целую вечность.

— Порядок,— сказал он.— Показалось.

Ноэль недоверчиво смотрел на него. В руках у него был гипноген. Гэбрил знал практически все об этом варварском инструменте — гораздо больше чем знал сам Ноэль. Уже несколько часов База гнала и гнала Гэбрилу всю имеющуюся информацию о Вав вообще и об эрмерах в частности. Не стоило подставлять себя под удар багрового луча...

— Давай все-таки проверимся,— сказал Ноэль.— Хочешь — сначала меня. Как-то все по-дурному я вижу...

— Подставляйся,— сказал Гэбрил.— Во избежание.

Он проверил настройку своего гипногена, поменял код и поднес излучатель к глазам Ноэля. В красном рефлексе лицо на миг стало кровавым. Ноэль вытянулся — и упал, будто внезапно перерезали все нити, удерживавшие его тело. Гэбрил сел рядом, еще раз поменял код и вновь включил излучатель. На этот раз излучатель работал долго.

— Кто вы? — спросил Гэбрил, когда лицо Ноэля приобрело обычный в этом освещении пергаментный цвет.

— Ноэль Куперман,— сказал Ноэль. Но голос был не его, и это не вызывало сомнений.

— Ноэль отключен,— сказал Гэбрил.— Пожалуйста, скажите, кто вы. Если хотите, я могу назваться первым. Сайр Гэбрил Ксимен, квинтал пси-лавверов.

— Мне это не говорит ни о чем,— сказал Ноэль. Вернее, тот, кто сидел в Ноэле.

— Вы не хотите называть себя?

— Допустим.

— Видите ли, мое руководство ищет контакт со всеми разумными существами мира, и вы, как я понимаю, относитесь к тем, с кем оно хотело бы встретиться в первую очередь.

— Зачем?

— Чтобы не допустить столкновения между нами.

— От столкновений мы защищены.

— То есть вы решительно не желаете контакта?

Пауза.

— Хорошо. Вреда это не принесет. Пользы, я думаю, тоже. Вы уполномочены вести такие переговоры?

— Нет.

— И я нет. Что будем делать?

— Назначим место и время встречи и передадим это своему руководству.

— Это разумно. Я предлагаю: в этом мире, в этом городе, в парке «Элизиум», в шахматном павильоне, через три часа.

— Хорошо.

— Меня зовут Тамегг,— сказал тот, кто сидел в Ноэле.— Я — Наблюдатель.— Слово «Наблюдатель» он так и произнес — с большой буквы.

— Очень приятно, Тамегг,— сказал Гэбрил.

— Мы расстаемся,— сказал Тамегг.

— Вам не повредит это устройство? — Гэбрил шевельнул гипногеном.

— Я умею закрываться от него.

— А я вот, к сожалению, не умею... Ничего, это не больно и быстро проходит.

Волнообразно затухающая багровая вспышка вернула лицу Ноэля прежнее выражение. Он поднял голову, потом сел. Гэбрил протянул ему гипноген.

— Теперь меня.

— Что было?

— Красный, за тысячу.

— Ух ты... Ладно, смотри сюда.

Глазок гипногена вспыхнул, растекся в круг; в кругу обозначились концентрические кольца, стали расширяться, потекли из центра к периферии, быстрее, быстрее,— Гэбрил подался вперед, задержал

дыхание и нырнул в это красное — и вынырнул с той стороны, внезапно обессилевший и неподвижный. Запах цветущей травы наполнял воздух — цветущей травы и дождя. Красный камень, на котором он лежал, местами был еще мокрый. Туча уходила, солнце светило ей вслед. На фоне синего занавеса, висящего уже над противоположным краем долины, горел непривычном многоцветием радужный столб, изгибающийся вправо и бледнеющий с высотой. Там, откуда он поднимался, уже никого не было. Потоки небесной воды залили жертвенный огонь. Лесные ушли. Все, лесные ушли. Ушли. Дан повторил это несколько раз. Тело не желало отрываться от камня. Тело знало, что бывает с теми, кто входит в траву. Но из-под камня, на котором он лежал, ожидая, когда лесные уйдут, вытекал ничтожный ручеек и струился вниз, и за те многие годы, пока он струился, тонкий слой почвы стерся до скалы и сама скала выщербилась и побелела, как отмытая водой и выгоревшая на солнце кость, кость земли, и можно, можно, можно было спуститься по руслу вниз, не касаясь травы, и Дан встал, не чувствуя ничего, кроме слабости, и спрыгнул в ручей, в его холодную легкую воду и, оскальзываясь, пошел, побежал вниз, вниз, петляя, и со стороны могло, наверное, показаться, что он специально бежит зигзагами — то ли спасаясь от обстрела, то ли стараясь обмануть судьбу,— а на самом деле он следовал изгибам текущей воды и шептал, шептал, не в силах кричать, самые страшные проклятия Вирте, он ненавидел ее так, как может ненавидеть умирающий виновника своей смерти, почему, почему она не послушалась его, почему ушла так далеко, почему... найду и убью, шептал он, найду и убью, найду и убью. Под горой ручей прорыл себе глубокое и широкое ложе, дно стало мягким, ноги проваливались и тонули. С берегов, скрывающих идущего человека с головой, наклонялись, жадно извиваясь, руки травы, но достать не могли и разочарованно свистели вслед. Потом их стало меньше, а потом ручей вынырнул на луг, и здесь травы уже не было, то есть была совсем другая трава, бесконечно перепутанная, прочная, как брошенная на землю сеть, в ней водились огневки, а убегать от них по такой траве было бесполезно. Но Дан знал лисий бег, а огневки после дождя были ленивы и тяжелы, и поэтому следовало торопиться, и Дан побежал, высоко поднимая колени. Дважды огневки, похожие в траве на жирных слизняков размером с кошку, уползали с его пути, не пытаясь преследовать. А потом кончился луг и начались серые кусты, а потом лиловые кусты, а потом дорогу преградила вдруг вырытая неизвестно кем канава, по обе стороны от нее виднелись беспалые вдавления, будто огромного роста великан полз на коленях, волоча за собой канавный плуг. На дне канавы скопилась синеватая жижа, и почему-то казалось, что под пленкой поверхности происходит какое-то опасное движение. Надо было скорее что-то делать, и Дан дорубил поваленное деревце, сбил

с него ветки, осторожно потрогал этим шестом дно канавы — твердое — и, сильно оттолкнувшись, перевалил через канаву. Еще на середине полупрыжка он почувствовал удар по шесту, а потом, когда уже коснулся ногами земли, рывок. Следующий рывок вырвал шест из рук. На поверхности жижи вздулся тугой бугор — как бицепс. Шест тонул, погружаясь рывками. Это было то, о чем говорил Маленький Лев. Только он видел озеро. А здесь — канава. А впереди — деревья, и где-то там должно быть капище лесных. Дан, понимая всю бессмысленность того, что делает, снял с плеча ружье, разломил его и вложил патрон в ствол. Другой патрон он засунул под резиновое колечко, охватывающее ложе. Смешно. В кого стрелять? Во что? Но почему-то с ружьем он мог войти в лес, а без ружья — нет.

Случай или чутье — он вышел на тропу лесных. Ее нельзя было увидеть во мхах, но, пройдя между деревьями, к которым тянулись паутинные нити, и увидев другой такой же проход впереди — капли дождя еще не испарились с паутины, делая видимыми даже невидимые сигнальные,— Дан понял, что идет по тропе лесных, а значит, идет правильно. Спящие пауки висели на ветвях, неожиданно похожие на спящих летучих мышей — только больше. От одного он прошел в пяти шагах, и паук заворочался, почуяв, наверное. запах, но поленился проверить свое не самое острое чувство. Клочья грязного кокона валялись под ним и чьи-то мелкие кости. Кошка или кролик — понять было трудно.

Капище можно было увидеть только в упор — плоский камень заподлицо с землей и черный на нем треножник. Деревья обступали камень близко-близко, образуя подобие частокола, и сплетались ровными кронами. И черные бугристые дубы в отдалении тоже, казалось, имели к этому всему отношение. Только неясно, какое. Было потрясающе тихо.

— Вирта,— позвал он, удивляясь неуместности голоса.

— Вирта! — крикнул он, заглушая страх.

— Вирта!!! — заорал он на самом деле от ужаса, обрушившегося на него подобно эху, могучему эху соляных пещер; ужас, как и эхо, нарастал, будто каждая лишняя секунда прожитой жизни, каждая секунда задержки кары эту кару усугубляла, превращая смерть в бесконечную мистерию. Но уже нечего было терять.— Вирта-а-а!!!

Он не мог сквозь собственный крик услышать ответ, но он его услышал. Тихий стон. Сзади и слева. Он обернулся.

Непонятно, как он не увидел это сразу.

Старый широкий дуб держал Вирту в своих буграх. Она наполовину утонула в нем. Ног до колен уже не было видно за складками коры, голова была запрокинута так, что лицо смотрело совсем вверх, и лишь рука билась, как пустой рукав рубашки на ветру. Медленно, глядя больше под ноги, чем вперед, Дан подошел к дубу. Сучья дуба

скрипели, клонясь, но Дан знал, что у таких дубов они не достают до стоящего на земле человека. Может быть потому, что отпадает необходимость добывать пищу самим.

Вирте было уже не помочь. Голову ее втянуло в дерево, и там, где кора соприкасалась с кожей, тянулось множество тонких белесых волосков: то ли дерево корешками проросло в человека, то ли человек в дерево. Дан никогда не видел этого сам, но знал по рассказам — если сейчас попытаться оторвать, или вырубить, или еще как-то спасти поглощаемого — он немедленно умрет. Если не трогать — проживет еще несколько месяцев, погружаясь все больше и больше в дерево, все больше и больше становясь им. Через неделю Вирта перестанет испытывать боль. Лесные будут приходить к ней и разговаривать с нею, и она будет понимать то, что они ей говорят, и отвечать им, если сочтет нужным. Она станет устами их Бога. Всесильного Бога, избравшего себе лесных — и загнавшего остальных людей в горы, к ледникам...

— Вирта,— сказал Дан и понял, что уже давно плачет.

Рука ее вдруг замерла и робко, вопросительно потянулась к нему, и он позволил ей коснуться себя. Рука была нечеловечески холодна, но это была рука Вирты, тонкие пальцы Вирты, гладкая и мягкая ее, привыкшая к глине ладонь, продолговатая родинка у ногтя безымянного пальца, узкое золотое детское неснимаемое колечко... Дрожащие пальцы то гладили его плечо, то судорожно вцеплялись, разрывая кожу, а потом Дан взял эту руку в свои и склонился, коснувшись губами запястья. Тонкий тоскливый вой пронзил его насквозь. Человек не мог кричать так, как не могла кричать его Вирта — но она кричала. Рот ее скривился, за закрытыми, слипшимися, сросшимися веками панически метались глаза. И тогда Дан, не убирая левой руки, не отпуская руку Вирты, поднял ружье, подвел ствол к ее подбородку и быстро, боясь передумать, нажал спуск. За миг до выстрела Вирта, почувствовав и поняв все, то ли с благодарностью, то ли в страхе — сжала его руку в своей...

Густой белый дым самодельного пороха рассеивался, Дан пятился назад, утратив на миг контроль над собой, и судорожно дергающийся сук скользящим ударом сбил его с ног. Сознания он не потерял, но что-то сдвинулось в восприятии: как будто в мире появился еще один цвет, или звук, или какая-то деталь, и сознание, обманутое обманутой памятью, пытается обнаружить это новое — и не может. Горячая струйка потекла по виску. Пригнувшись, Дан вернулся к стволу дуба. На то, во что превращалась Вирта, он не смотрел. В заплечном мешке его было два бурдюка с керосином. Он так и не снял мешок, придя домой. Теперь керосин был нужен здесь. Держа бурдюк на поднятых руках, он стал поливать кору, стараясь, чтобы драгоценная жидкость не стекала на землю, а задерживалась

в трещинах. Двух бурдюков как раз хватило для того, чтобы обойти дуб кругом. Там, где кора была покрыта печеночно-черными сгустками, он остановился и достал огниво...

Грохот и треск остались позади, и желтизна дымного пламени, и почти человечьи вопли занявшейся кроны. Шестым чувством Дан знал тропу и шел по ней, имея последний патрон в стволе и тесак под рукой. Пройдет не больше часа — и весь лес, пока мирный, ополчится на него, и тогда не будет спасения — но не о спасении он молил, а о мести. Увидеть, успеть найти эти проклятые домики лесных, похожие когда на густые фигурно подстриженные кусты, когда на уродливые тыквы с пучком ветвей на макушке, когда просто на пни исполинских деревьев — полые, но живые. И тогда — у него есть еще один патрон и старый тесак, одним ударом срубающий дерево толщиной в руку.

Он не нашел поселка, но на исходе часа наткнулся на стадо линяющих коз, медлительных, как откормленные утки. Часть коз уже сбросила шкуры, и голые, розовые жались к тем, которые все еще носили свой густой белый мех. Значит, где-то здесь должны быть лесные, собирающие опавшие шкуры, подумал Дан, ладно, пусть так... Ему было все равно, кого убить.

Сзади кто-то сдавленно охнул, Дан обернулся: толстая старуха волокла в заросли, обхватив поперек туловища, маленького мальчика. Глаза у обоих были круглые. Налетев на взгляд Дана, она остановилась, одной рукой зажала рот себе, другой — завела мальчика за спину, спрятала. Дан поднял ружье. Надо было что-то сказать. Вдруг снова потекла унявшаяся было кровь. Старуха медленно перекрестилась. Она все знает, вдруг понял Дан, она знает, кто я, почему я... Тем лучше, не надо ничего говорить. Он нажал на спусковой крючок. Проклятие, пальцы не гнулись. Он с испугом посмотрел на руку. Указательный и средний пальцы торчали мертво, как деревянные. Потом вдруг разжались остальные, охватывавшие цевье. Кисть побелела. Он уже не чувствовал ее. Анестезия взлетела до локтя. Рука стала похожа на руку мраморной статуи. Это было нестерпимо жутко. Отшвырнув ружье, Дан повалился лицом в мох, скорчился. Как со стороны, он слышал звериный рев и хохот, исторгавшиеся из его рта. А потом будто лопнуло что-то, стягивающее его, как обруч стягивает клепки бочки. Он развалился на куски и впустил в себя глухую темноту.

Он долго куда-то падал, кружась.

На самом дне его окружили темные и светлые коричневые полуцветные пятна. Постепенно они собрались в рисунок. Еще позже Дан понял, что именно этот рисунок означает.

Он лежал на кровати и смотрел в потолок. В невысокий деревянный потолок. Отсветы огня бродили по нему. Он сел. Кровать была

пружинистая, в меру мягкая. На низком столике горела странная лампа: поставленная на попа крупная, раз в десять больше обычной, сосновая шишка, по чешуйкам которой скользили живые язычки яркого зеленоватого пламени. По ту сторону столика было темное стекло, в нем слабо отражалась лампа, позади лампы туманным пятном проступало лицо, а позади лица и сквозь него двигались какие-то огоньки и бледные сполохи, и Дан не сразу догадался, что это не зеркало, а окно. Просто за окном была ночь.

Он помнил все, что произошло. И, вопреки естеству, ему хотелось только есть и пить.

Пустой для всего, он сидел неподвижно. Потом вздрогнул пол, зашелестела занавеска, и кто-то вошел. С трудом повернув голову, Дан увидел ту самую старуху. Вблизи она оказалась совсем не толстой, просто низенькой и кругленькой. На вид ей было лет шестьдесят.

— Вот и хорошо,— сказала она.— Сейчас будем кушать. Голодный, конечно?

Дан кивнул.

— Ну, пойдем. Я тебе все покажу. Тут уборная, тут умывальня. Весь можешь помыться, белье поменять. Помоешься?

Дан опять кивнул. Он чувствовал себя невыносимо грязным.

— Тогда вот мыло тебе, вот губка. Воду так пускают...— старуха показала — Понял?

— Понял,— сказал Дан.— Спасибо.

25. Тоун Александр Джаллав

■

— Пойду я, и пойдет Малигнан,— повторил Джаллав.— Без вариантов.

— Это неразумно,— сказал Ауэбб.— Ушел Борис, теперь уходишь ты. Что, Алексозо будет командовать?

— Да,— сказал Джаллав.— В случае чего — Алексозо.

— Подумай еще раз.

— Подумано. Хватит, Айз, ты меня не переубедишь.

— Боюсь, что так.

— А нечего бояться, Айз. Поражение мы уже потерпели. Давным-давно. Теперь бы узнать, от кого — и все. Хотя и это, по большому счету — праздное любопытство.

Ауэбб кашлянул в кулак.

— Извини, Алек, твои парадоксы я иногда... хм... не воспринимаю. Что ты имеешь в виду?

— Что мы воюем с миражами. Тебе не приходило в голову, что никаких уровней, никаких слоев просто не существует? И это все —

лишь наше истолкование — примитивное — того, что происходит с нами здесь и сейчас? Как тот фокус с двумя зеркалами...

— Алек, ты не обидишься, если я тебе скажу?.. В общем, меня это не интересует. Абсолютно. Мое дело — связь с наблюдателями и зондаж. Пока хоть один наблюдатель будет вне Алефа — я буду заниматься связью, а не космогонией. И я не вполне понимаю, как ты...

— Я не собираюсь бросать весла,— сказал Джаллав.— Если ты об этом подумал. Я вовсе не собираюсь бросать весла. А вдруг и наше ерзанье имеет какой-то второй смысл?

26. Татьяна

■

Душу высасывал этот каменный рокот. И темнота. Далекие огоньки сигарет почему-то лишь добавляли одиночества. Воздух был теплый, даже порывами горячий, но от камня исходил странный холод. Ступни заледенели до бесчувствия. Если сесть — замерзнет жопа. Ватник не спасает. Радиоактивный холод. Холодовая радиация.

Только бы не замерзли руки.

Только бы дождаться, наконец, восхода солнца этого подземного мира, только бы не окоченеть...

Леонида сказала, что свет его мертвенно-белый.

С восходом подземного солнца начнется бой.

Неизвестно, когда он закончится.

Неизвестно, чем.

— Тань! — еле слышно; тусклое пятно по земле.— Тань, где ты?

Не Дима. Пашка. Слабое звено.

— Здесь. Иди сюда.

Сыплется щебень.

— Эй, в глаза только не свети!

— Ой, извини, Тань.

— Извини... Чего на месте не сидится?

— Не знаю... Ждать уже сил нет. Стоило так бежать, чтобы здесь мерзнуть?

— Стоило.

— Ты знаешь, да? Объясни мне. Я все перезабыл.

— Тебе это надо? Главное, что мы здесь.

— Надо. И это тоже надо.

— В Москве был? Метро видел? По эскалатору, ведущему вниз, можно подняться — но надо бежать очень быстро. Так и переходы, которыми мы шли,— сюда попасть можно, если очень быстро идти. Чуть медленнее — и уже никогда сюда не попадешь. А чуть быстрее — приходишь намного раньше намеченного. Понял?

— А почему?

— Свойство у них такое. Почему одноименные заряды отталкиваются?

— Ну, это совсем другое...

— В принципе — то же самое.

— Не знаю... Знак Зверя что означает?

— Зверя и означает. А в каком обрамлении?

— Стрела и венок.

— И все?

— Вроде все. А может, и еще что-то. Некогда было всматриваться.

— А, это ты в колодцы глядел? Тогда не бери в голову. Те звезды не дня нас.

— Откуда ты знаешь?

— От верблюда.

— Я тебя как человека...

— Ладно тебе. Откуда мы вообще это знаем? От Леониды, ясно же. Чего спрашивать?

— А ты ей веришь?

— Верю.— Татьяна постаралась сказать это твердо.

— Трюхан, наверное, тоже верил...

— Трюхан — это другое дело. Он, наверное, и человеком-то уже не был.

— А может, и мы уже нелюди. Не знаем этого только.

— Хватит гундеть. И гундишь, и гундишь. Как пердун какой-нибудь старый. Трюхан, наверное, так же вот погундеть любил.

— А правда, что ты его... сама?..

— Нет, не я. Видела только.

— А кто?

— Пошел ты, Павлик, знаешь куда?

— Пойду я, пойду. Ты вот мне скажи: а ты уверена, что мы правильно все делаем? Что воюем за тех?

— А что нам — за оборотней надо воевать? Вместе с Трюханом, да?

— Слушай, не надо так, а? Ты же понимаешь, что я не об этом?

— А о чем?

— Ну, помнишь, Мишка твой все время цитировал: «Бог вряд ли интересуется религиозными спорами»? А почему тогда люди должны интересоваться разборками богов, да еще участвовать в них? Слушай, мы ведь даже не добровольцы.

— Мишку ты не трожь,— неожиданно для себя сказала Татьяна.— Не трожь, понял?

— Да я и не трогал,— растерялся Пашка.— Чего ты?

— Ничего.

Наступило молчание.

Я злюсь, потому что он прав, подумала Татьяна. Я не хочу злиться. Она попыталась вернуть себе — хоть на миг — то состояние полного понимания и приятия мира, которое охватило ее в прозрении. Ничего не получилось. Как щенка, ее выбросили в темноту на мороз и закрыли дверь.

В темноту.

На мороз...

Ниже колен ног уже будто не было.

Она стала переминаться с ноги на ногу, приподниматься на носках, и тут Пашка сказал:

— Тань, ты слышишь?

— Слышу,— сразу отозвалась она, потому что странный звук продолжался уже некоторое время, как бы отпочковываясь от рокота каменного потока в ущелье. Будто кто-то барабанил пальцами по расстроенной ненатянутой гитаре.

Не только они услышали этот звук. Хлопнула ракетница, и три зеленых звезды повисли в вышине. Мерцающий их свет обрисовал тот край ущелья, мост — и трех всадников, едущих шагом. Кони нервно вздернули головы, но всадники не шелохнулись. Слишком далеко было до них, слишком мало света,— но Татьяне показалось, что один из них — женщина. Две ракетницы погасли, а последняя все продолжала гореть и падать — прямо на всадников. Татьяна сглотнула. Нет — ракета упала позади них, довольно далеко. В последней зеленой вспышке конные силуэты вдруг выросли и приблизились. Теперь были слышны только звуки — негромкий конский топот легко перекрыл грохот и скрежет каменной реки. Темноту испятнало лиловым. Вдруг — с запозданием — в глазах вновь возникли те же силуэты — теперь светлые. Да, женщина — справа. Почему-то это было важно. Что-то задержалось в памяти из постигнутого.

— Люди и люди,— упорно сказал Пашка.

27. Ноэль

■

Язык не ворочался. Рот нельзя было ни закрыть, ни открыть по-настоящему. Где-то между переносицей и затылком застряло чугунное ядро, не дающее ни дышать, ни думать. И ко всему этому — завязаны глаза и руки пристегнуты к подлокотникам какого-то не очень приятного кресла. Кто-то ходил рядом. Слышался невнятный разговор — как за дверью.

— Дайте воды,— имел в виду Ноэль, выдавливая из себя звуковое месиво.— Воды. Пить.

Его поняли. Шаги торопливо приблизились, чья-то рука легла ему на затылок и наклонила голову вперед — губы коснулись края

чашки. Первые глотки дались с болью — казалось, вода раздирает сколотый булавками пищевод. Потом стало легче.

От второй чашки он слегка опьянел.

— Где я? — спросил он, поворачивая голову.— Что со мной?

— Подождите немного,— сказал усталый мужской голос.— Сейчас придет наш главный, он вам все объяснит.

— Зачем мне завязали глаза?

— Вам вреден свет.

— Я в больнице?

— Почти.

— А руки можно освободить?

— Пока нет. Вы еще не вполне здоровы.

— Но что со мной произошло? Черт, я ничего не помню! Скажите же мне!

— Успокойтесь, пожалуйста. Я не могу вам ничего говорить, потому что это повлияет на вашу память. Постарайтесь — молча — сосредоточиться и вспомнить сегодняшний день, начиная с самого утра. Я включу метроном, он не позволит вам отвлекаться.

Раздались легкие сухие щелчки, разделенные затухающим эхом пауз. Ноэль откинулся в кресле. Последуем совету. Он подробно, стараясь не перескакивать, начал рассказывать сам себе, как еще раз попытались проникнуть в «хитрый домик» по проводам и, когда это опять не получилось, стали готовить операцию. Как в рамках этой операции он сам, Вито и Микк добрались до коммутаторного узла, чтобы напрямую подключиться к кабелю «хитрого домика», минуя фильтры и АТС. И там... да, там что-то случилось. Он стал вспоминать последовательно, сбился, постарался найти какие-то опорные эпизоды — и тоже не нашел. Все расползалось в момент прикосновения.

Поймал кодон, это ясно... но где, черт возьми?! Ни одного открытого канала! Разве что телепатически...

А все-таки хорошо, что телепатии не существует. Что бы мы тогда делали?..

Впрочем, мы и без телепатии ни черта не можем сделать.

— Скажите,— позвал он,— со мной были еще двое. Что с ними?

— Нет,— сказал голос чуть встревоженно.— Никого с вами не было.

— Нас было трое.

— М-м... повремените еще немного. Сейчас придет главный и все скажет.

— А вы не можете?

— Не могу. Не имею права.

Как мне это все не нравится, подумал Ноэль. Это не медики, не полиция, не безопасность. Военные? Какого дьявола тут делать

военным? Тут же вспомнился рассказ Микка, и следом — спекуляции Кипроса. Абсолютное оружие... военные разработки по генному инженерингу... контроль сознания... И если все это действительно вылетело из бутылки и гуляет на воле — Боже милосердный! Значит, имеется не то что открытый — зияющий канал ввода кодонов! От человека к человеку, помимо воли и сознания... и что-то еще, не только это, что-то еще...

Запах.

Так. Спокойно. Теоретически — возможно?

Да. Летучие молекулы могут быть огромны.

Господи, даже не обязательно летучие. Взвесь. Пыль. Аэрозоль. Значит — вплоть до фрагментов ДНК. Миллиарды бит информации.

Кодоны тысячных разрядов — биогенного происхождения — по открытому неконтролируемому каналу...

Это конец.

Без паники... только без паники.

Еще не проверено. Не доказано.

Он знал, что это лишь утешение. Проверено и доказано. Лишь надетые кем-то (обязательно кем-то?) шоры не позволяли увидеть...

Биогенного происхождения. Не «антропо». «Био».

Чего нанюхался Микк? Пыльцы? Спор какой-нибудь плесени?

Чего нанюхались мы сегодня там, в подземелье?

А ведь нанюхались. Теперь это ясно.

А здесь мне, похоже, сделали какую-то полную промывку мозгов. Потому что я вижу, какие мы все были идиоты. Шайка слабоумных. Занятых чем угодно, кроме дела.

И ведь давно. По крайней мере, неделю. Да, еще Томаш не приехал, а мы уже тыкались, как слепые, как дурни, с заведенными глазами, но при этом очень целеустремленные и очень довольные собой.

Наверное, он застонал, потому что человек, бывший рядом с ним, приблизился — Ноэль щекой почувствовал его тепло — и спросил:

— Что-то беспокоит?

— Да развяжите же меня, черт возьми,— прошептал Ноэль.— Я что — опасный псих?

— Нет, сударь мой, дело не в этом. Вы просто не способны еще контролировать свое тело.

— Не понял?

— Сейчас вам все объяснят. Вот идет главный...

Разговор в соседней комнате прервался, скрипнула дверь, приблизились мягкие уверенные шаги. Запахло лосьоном «Гард» — Ноэль сам иногда пользовался им.

— Здравствуйте, господин Куперман,— сказал вошедший. По голосу было трудно определить, сколько лет его обладателю, но то,

что он привык отдавать распоряжения, было несомненно.— Извините за неудобства, но без этого нам пока не обойтись.

— Здравствуйте,— сказал Ноэль.— Где я нахожусь?

— Географически — по тому адресу, которым вы, похоже, интересовались. Организационно — в полевой ноологической лаборатории ведомства научной разведки. «Центр Меестерса», слышали? Причем Меестерс — это я.

— Я догадался,— сказал Ноэль.— А зачем меня так плотно упаковали?

— Чтобы вы не покалечились. Нам пришлось ингибировать многие корко-подкорковые связи, в том числе в двигательной зоне. Сейчас они восстанавливаются, но не обязательно в прежнем порядке. Вот мы с вами побеседуем, а потом в гимнастическом зале вас будут учить ходить — ну, и прочее. То же самое со зрением. Если снять повязку сейчас — вы будете видеть, как новорожденный. На взрослого человека это действует... не лучшим образом. Бывали случаи реактивных психозов.

— Нас было трое,— сказал Ноэль.

— Боюсь, что вашим друзьям мы уже не поможем,— сказал Меестерс.— В туннелях живут очень опасные твари. Вас выхватили, можно сказать, из самых их лап.

— Значит, все-таки живут...

— Да. Об этом вы тоже догадывались?

— Допускал как вариант. Ах, черт... черт, черт, черт...

— Господин Куперман, я понимаю ваши чувства. Но ответьте, пожалуйста: какова была цель этой вашей экспедиции?

— Конечная цель — поиск пропавших. В частности, жены моего друга.

— Этапы вы пропускаете, но я примерно представляю ход ваших поисков и рассуждений... Как ее звали?

— Агнесса Свенсон.

Пауза, ушедшая, видимо, на обмен знаками.

— Она у нас,— сказал Меестерс.— В карантине.

— Вот как...— Ноэль ощутил что-то непонятное — скорее дурноту, чем радость или облегчение.— И что это за карантин?

— Карантин для тех, кто имел контакт с подземной фауной.

— И их родственников?

— Да, если они невосприимчивы к подпороговому внушению.

— Почему?

— Это один из симптомов поражения вирусом «Дельта».

— Не понял.

— Мутировавший возбудитель «лихорадки Вильсона». Слышали про такую?

— А какое отношение?..

— Вирус «Дельта» сам превратился в мощнейший мутагенный фактор. Подземная фауна — это его работа. Вирус ее создал, в ней он имеет свой резервуар...

— Как я понимаю, этот вирус осуществляет перестройку генов? Так?

— Именно так.

— Он создан искусственно?

Меестерс помедлил.

— Хотел бы я знать... Все, что я знаю о строении вируса «Дельта», говорит за это. Но «лихорадка Вильсона» впервые появилась в двадцатых годах — и уже тогда...

— Люди-мутанты?

— Вы слышали?

— Еще бы...

— Вот оно что! Давид Куперман?..

— Мой родной дед.

— У меня есть все его пластинки.

— Это замечательно... Значит, все — из-за этого чертова вируса?

— Получается так. А вы сами не занимаетесь музыкой?

— Я ее не переношу. Сколько же людей в вашем карантине?

— Около трехсот.

— И... что дальше?

— Работаем.

— Так. А зачем все эти сложности: исчезновения, похищения?..

— Потому что нормальные карантинные мероприятия нам проводить запретили. Собственно, запретили вообще всю нашу деятельность. Поэтому приходится так — нелегально.

Ничего не понимаю, подумал Ноэль. Или врет, или недоговаривает, или мир сошел с ума. Или все вместе.

— Насколько я знаю,— сказал он вслух,— вы работали над программой генетического оружия...

— Вы неплохо осведомлены для рядового эрмера,— сухо сказал Меестерс.— Нет, «работал» — это сильно сказано. Я получил это задание, получил эти деньги... Боже мой, я совсем отупел! Мадам Хаппа, в девичестве...

— Это была моя сестра. Родная сестра. Но вы не правы. С ее мужем я отношений не поддерживаю.

— Как тесен этот чертов мир...

Не расслабляйся, сказал себе Ноэль. Он сфальшивил. Он знал, что я брат Фанни. Или догадывался.

— Вы не договорили,— сказал он вслух.

— Да,— Меестерс помолчал.— Вам это действительно интересно?

— Более чем.

— Ну, что ж... Я с середины пятидесятых работаю над этой темой. Начинали еще в оккупации, подпольно. Цель была: мобилизовать скрытые резервы человека. Кое-чего добились. Очень многое узнали о мозге. Когда все это рассекретят... золотое дно. Лет десять назад подошли вплотную к главному: из необученного, неподготовленного человека мы могли сделать бойца, стоящего десятка спецназовских офицеров. Причем сам человек ни о чем не подозревал. Пока не получал задание. Да... Потом все это с треском провалилось. Не без участия вашего свояка. Но я был слишком упрям... хотя следовало бы... ладно. Как говорят, почтальон звонит дважды. Второй звонок был четыре года назад, в Платиборе. Вы знаете, конечно, что там произошло. Вот тогда я понял, что мы вторглись в запретную зону. И что вообще эти предупреждения адресованы не только мне. С тех пор я трачу деньги, которые мне дают на разработку оружия... м-м-м... в общем, я хочу понять, можно ли из этой запретной зоны выбраться.

И без денег ясно, что нельзя, подумал Ноэль.

— Ваш Корпус занят примерно тем же,— продолжал Меестерс,— хотя, с моей точки зрения, ваш подход... скажем, несколько механистичен. Надеюсь, вы понимаете, что наладить нормальное сотрудничество в наших условиях — дело нереальное. Вы, может быть, понимаете также, что этот антагонизм рационального объяснения не имеет и поддерживается, вероятно, самим предметом нашего общего интереса...— он помолчал, давая Ноэлю осознать сказанное. Потом продолжил: — Я предлагаю вам — лично вам — свое сотрудничество. В частном порядке. Минуя высшее руководство. Я понимаю, что для вас это большой риск. Не буду объяснять, что это для меня. Но на карту поставлена судьба цивилизации. Вы знаете, что это не громкие слова...

Я знаю, что так оно и есть, подумал Ноэль, но я очень сомневаюсь, что мы сможем что-нибудь сделать, даже если перестанем лупить друг друга по мордам и резко объединимся. Он правильно сказал: мы слишком долго бродим по запретной зоне. И даже не в поисках выхода, а непонятно зачем...

— Чтобы вам была ясна серьезность моих предложений,— продолжал Меестерс,— я готов предоставить вам практически всю информацию, касающуюся похищения и убийства вашей сестры.

Сердце Ноэля пропустило удар.

— Я искал способ передать это досье Хаппе,— сказал Меестерс.— Тоже как знак серьезности моих намерений. Я думаю, лучшего случая мне не представится.

— Кто же...— голос внезапно сел, Ноэль закашлялся.

— Убивал Максим Крэгг. Видеозапись делал Ларс Игнацио. Командовал ими Гейнц Гроссбландер. «Летучие мыши».

— Кто заказывал музыку?

— Прямых улик нет. Можно только догадываться. Струх.

— У него уже не спросишь.. и с него уже не спросишь. Что ж. Спасибо.

— Вряд ли стоит благодарить за такое... Господин Куперман, сейчас мы перевезем вас на нашу базу — и там, думаю, за сутки поставим на ноги. Христо поможет вам сесть в машину. Старайтесь не делать вообще никаких движений.

Позволяя располагать себя поудобнее в салоне какой-то просторной машины, Ноэль подумал, что так и не поблагодарил за спасение своей жизни. Ладно, подумал он, еще успею...

Машина покатила по Вокзальной, потом свернула на Амундсена. Интересно, как там мои, подумал Ноэль, следят за нами или растерялись? Должны следить... Улица Амундсена выводила на Окружное шоссе. Ага, вот выехали и прибавили скорость. У Ноэля было природное чувство маршрута — как у кошки. В любом городе, раз взглянув на карту, он мог ориентироваться, как старожил. В родном — его невозможно было запутать. Сейчас: с завязанными глазами, лежа — он мог определить свое местоположение с точностью до квартала. Даже если бы водитель попытался запутать его, кружа по переулкам, он все равно знал бы, где они находятся и куда направляются: курсограф в мозгу работал безотказно. Мутантское наследство... Каинова печать.

Сейчас будет развилка: перекрытая (не для всех) дорога в Старый порт, а если правее — шоссе на Боргос, еще правее — «лепесток», ведущий в туннель под шоссе и дальше — к деловому центру. Поедем, наверное, прямо...

Взлетный рев идущего на обгон грузовичка ударил по ушам. Тут же завизжали тормоза, покрышки, Ноэля бросило вперед, чей-то крик, стекло и железо, вонь, удары не слышны, вспышка под черепом, выстрелы: один, другой, третий... Скрежет. Тихая брань. Тишина.

Ноэль очнулся и понял, что его несут. Несут как ребенка, подхватив под спину и под колени. Скорее, скорее, торопил кто-то знакомый, и мучительная неузнаваемость голоса царапала больнее, чем настоящая боль. Потом его стали укладывать в машину, и он опять уплыл.

Вновь он пришел в себя уже в помещении. Он чувствовал, что это помещение, потому что воздух был спертый и воняло сырой человеческой грязью. И — чего-то не хватало. Чего именно — он долго не мог понять. Наконец понял. Не было повязки на глазах. Значит, их можно открыть...

Почему-то пришел страх. Как на пороге кабинета зубного врача. Веки просвечивали розовым.

Глаза открылись не сразу. Не с первой попытки.

Над ним был щелястый потолок из серых необработанных досок. На длинном шнуре висела голая лампочка.

Ноэль наклонил голову набок. Теперь он видел еще и стену.

Стена была из расслоившейся перепачканной красками фанеры. Листы были прибиты к каркасу из криво сколоченных горбылей. Два почерневших от времени телеграфных столба — на одном сохранились даже перекладины с изоляторами — удерживали это все на себе. На высоте выше человеческого роста между столбами висела толстая и широкая плаха, непонятно на чем держащаяся. На плаху опиралась грубая приставная лестница. Повыше плахи темнели два неровных отверстия.

Он посмотрел в другую сторону.

Здесь стена была совсем рядом, так что видны были пятна грязи на фанере и загнутые острия гвоздей, торчащие из досок. Зато здесь было окно. Заляпанные косые куски стекла, приколоченные к деревянной раме. Ноэль смотрел в это окно снизу вверх и видел только кусочек неба. В небе зияла дыра, формой похожая на головастика. Вокруг дыры голубая эмаль облупилась, выставив ржавого цвета основу.

— Очнулся,— сказал рядом голос Стаса. Ноэль перевел взгляд туда, откуда пришел голос.

Это действительно был Стас. Только мертвый. Высохшая вяленая плоть облегала кости. Лицо — нарисованное на том пергаменте, в который превратилось настоящее лицо,— неподвижно улыбалось. Глаза сухо поблескивали. Кто-то другой был за этими глазами.

— Слава Богу,— сказал другой голос, и другой мертвец встал рядом с первым. Джиллина. Лица у него не было, и узнал его Ноэль только по оперкостюму, сметанному из бумажной мешковины серо-синего цвета, и по голосу, высокому и нервному.— А мы уже не знали, что думать. Совершенно целый, а без реакции... Супер, ты слышишь?

— Слышу,— одними губами произнес Ноэль.— Слышу.

— Ты как, в порядке? — тревожно спросил Стас. Лицо его не переставало улыбаться.

— В порядке...

Звуки, выходящие из его губ, казались совершенно инородными окружающему. Будто невидимые пузыри отрывались и уплывали.

— Вито... где?

— Здесь Вито, здесь. Только он в стопоре. Томаш с ним возится. Говорит — многослойка. Этот Микк — молодец. Пуля в бедре, пуля между ребер — а Вито дотащил. Молодец. Ты сам-то помнишь, что с вами было?

— Нет,— сказал Ноэль, подумав.— Меня проверяли?

— Чист, как младенец,— сказал Стас. Ноэлю показалось вдруг, что из-за его плеча на миг выглянуло что-то лоснящееся и тут же спряталось.

— Хорошо,— Ноэль закрыл глаза. Так было легче.— Чем эта затея с Кипросом кончилась?

— Убили его. Эти, которые тебя везли. Прямо в лоб.— Голос Стаса.

— Мы его забрали,— добавил голос Джиллины.— А тех оставили.

— Не уследил я,— голос Стаса виновато дрогнул.— А он неопытный — выскочил, побежал... Ты его хорошо знал?

— Вместе росли,— сказал Ноэль.— В одном дворе.

— Я понимаю,— сказал Стас.— Я знаю, что ты чувствуешь. Но я не успел. Даже подумать не мог, что он побежит...

Ноэль открыл глаза. Стас по-прежнему улыбался.

— Позови Вильгельма,— зачем-то сказал Ноэль.

— Он дежурит на эрме.

— Посиди за него...

Стас повернулся и пошел. Со спины он казался более живым. Джиллина не шевелился. Ноэль перевел взгляд на него, и он тут же стал поправлять свой бумажный мундирчик. Ну, чего ты тут топчешься, хотел спросить Ноэль, но не спросил.

Появился Вильгельм. Шагов его не было слышно. Он всегда ходил бесшумно, и лишь теперь Ноэль понял, почему: Вильгельм был матерчатой куклой, набитой чем-то легким. Лишь голова его была пластмассовой головой манекена.

— Что, Ноэль? — спросил он, не открывая тонкогубого рта.— Ты меня звал?

— Да. Хочу тебя попросить... тебя попросить... Господи, надоумь, о чем я должен его попросить, о чем? — Ноэль закрыл и тут же открыл глаза.— Запиши имена, я боюсь... забыть... Запиши: Гейнц Гроссбландер... Ларс Игнацио... Максим Крэгг... Запиши...

— Я записал, Ноэль. Кто это? Поискать их?

— Это мое. Лично мое. Дело.

— Как хочешь. Это все? Ты за этим меня звал?

— Нет. Как «черный шар»?

— Никак,— заметно помедлив, сказал Вильгельм.

— Слушай меня внимательно. Мы не контролируем еще один канал поступления информации. Через обоняние. Этот синий кодонсборщик...

— Знаю, Ноэль. Томаш допер до этого.

— И... что?

Вильгельм не ответил. Он мягко потрепал Ноэля по плечу, повернулся и пошел прочь. Он шел походкой мультипликационных

кукол: каждое движение состояло из десятка статичных поз, сменяющих одна другую почти — почти — неуловимо.

— Вильгельм! — позвал Ноэль. Но Вильгельм не вернулся.

Мертвец Джиллина возобновил свои бессмысленные прихорашивания. Ноэль отвел от него взгляд: Джиллина замер. Стой так, подумал Ноэль. Теперь надо было сделать то, что делать было особенно страшно: посмотреть на себя. Тело свое он чувствовал, однако инстинктивно — или это было внушение? — опасался делать какие-нибудь движения. Но ведь надо когда-то начинать, подумал он. Для начала — поднимем руку...

Он почувствовал, что его правая рука шевельнулась и легла ладонью кверху.

Поднимаем...

Нет, рука лишь напряглась, силясь развернуться еще больше — ладонью наружу.

Понял.

Он сделал усилие в том же направлении — развернуть ладонь — и рука тут же взлетела вверх и упала за головой.

Уже кое-что...

После нескольких попыток ему удалось поднять руку из-за головы и задержать ее напротив лица.

Он был готов ко всему — кроме того, что увидел. Это была его рука. Просто испачканная чем-то, не вполне еще послушная — но ничуть не изменившаяся. Небольшая кисть, коротковатые пальцы с квадратными ногтями, сине-розовый шрам от недавнего ожога... Ноэль перевел взгляд на Джиллину. Тот вновь ожил, поправил ремень, спросил:

— Я тебе пока не нужен?

— Нет,— выдохнул Ноэль.

— Если что — позови. Я тут рядом.

Ноэль, скосив глаза, смотрел ему вслед. У Джиллины было что-то не в порядке с походкой. Прямое туловище уплывало, а ноги подволакивались за ним, не всегда касаясь пола. Ноэль снова посмотрел на руку. Рука тряслась, и он не знал, что нужно сделать, чтобы остановить ее. Рука тряслась все сильнее и сильнее.

Все силы уходили на то, чтобы не закричать.

Потом вдруг поднялась левая рука, обрушилась сверху на правую и прижала ее к груди. Ноэль чувствовал, как медленно затухают судороги и толчки.

Откуда-то пришел холод.

Я чист, подумал Ноэль. Стас сказал, что я чист. И Меестерс говорил что-то подобное. Он говорил, что меня надо заново учить видеть. А это значит... это значит...

Это значило только то, что сейчас он видел мир таким, каков он есть.

Холод усиливался.

28. Тоун Александр Джаллав

■

— В сущности, этот мир рушится под собственной тяжестью,— сказал сидящий напротив Джаллава старик, передвигая какую-то фигуру на доске.— Все, что делаем мы,— это лишь попытки увернуться от обломков.

Джаллав позволил своему носителю сделать ответный ход.

— У нас не возникло впечатления, что здешние процессы ведут к неотвратимому фатальному исходу,— сказал он.

— Ведут,— сказал старик.— Истощение биосферы уже перешло критическую точку. Через тридцать лет стали бы проявляться эффекты третьего-четвертого порядка. Вам, к счастью, это незнакомо. Взрывное развитие наиболее приспособляемых, наиболее агрессивных форм жизни. И в результате — формирование примитивного злобного божества. Которое создаст еще более примитивный и злобный мир. И так по нисходящей — до воплощения зла.

— Если вас послушать,— сказал Малигнан из-за плеча Джаллава,— вы заботитесь только о добре. А если присмотреться к вашим методам...

Малигнану в носители досталась женщина. Может быть, поэтому он слегка нервничал.

— К нашему глубочайшему сожалению, Создатель не оставил нам других методов,— старик сделал очередной ход.— И либо мы ничего не делаем и соглашаемся с распространением зла, либо творим малое зло, чтобы избежать большого. Третьего не дано.

— Не знаю...— рука Джаллава повисла над доской.— Я не берусь спорить об обстановке в целом — но этот мир я бы попытался спасти. И вам, и нам известны его проблемы, и вы, и мы достаточно сильны, чтобы их разрешить. Наша этика требует бороться за жизнь больного до конца.

— Это достойно уважения,— сказал старик.— Но представьте, какой была бы ваша этика, если бы больной, вместо того чтобы просто умереть, превращался бы в мерзкое опасное чудовище? В древности наша раса была подвержена такой болезни,— сказал он и посмотрел на Малигнана.

— И вы убивали больных? — спросил Малигнан.

— А как бы поступали вы? — спросил старик.

Джаллав в молчании сделал какой-то ход.

— Есть все признаки того, что этот мир поражен подобной болезнью,— продолжал старик.— Когда вы шли сюда, то обратили,

наверное, внимание на то, что этот город просто скучен. Голые стены, слишком широкие улицы, одинаковые люди. У радуги здесь четыре цвета. Если так пойдет дальше, в этом мире останутся лишь прямые углы, несколько оттенков серого и две сотни слов в языке. Причем люди изменений не заметят. Подавляющее большинство из них.

— А те, кто заметит?

— Им будет очень плохо. Но они ничего не смогут объяснить. Смешно жалеть о том, чего нет в природе.

— Очень знакомое чувство,— сказал Джаллав.

— Ничего удивительного,— сказал старик.— Все чисто технологические миры подвержены этому процессу. Инфляция образности.

— А ваш?

— Наш мир не чисто технологический.

— Объясните, пожалуйста.

— В свое время, около десяти тысяч лет назад, наш мир прошел через эту стадию. Правда, нам повезло. Видите ли, наша раса способна к эмпатическому общению. И нам удалось сохранить контроль за ситуацией. Правда, это стоило нам двадцати миллиардов жизней на протяжении тысячи лет. Но в конце концов нам удалось найти свое место в преображенной биосфере, а ей, в свою очередь, удалось приспособить нас к себе. Божество нашего обновленного мира оказалось мудрым и светлым и создало такой прекрасный мир, как Сартас...

— Извините,— сказал Джаллав,— вы уже не в первый раз говорите: божество. Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду божество. Создателя. Других названий я не знаю. Того, кто создает миры.

— Кто создает миры... Это — в прямом смысле?

— Конечно.

— То есть мир создает божество, а божество затем создает другой мир? Я правильно понял?

— Абсолютно правильно.

— И так — до бесконечности?

— Не знаю. Возможно, да. Предела пока не положено.

— И все миры — в одном месте?

— Не понимаю вопроса. Вы же перемещаетесь из мира в мир. В одном они месте или в разных?

— Я имел в виду: один мир приходит на смену другому или все они существуют совместно? Но я уже понял. Скажите мне вот что: как именно в мире появляется божество?

— Это очень долгий процесс. Все живое, общаясь меж собой, создает некую идеальную субстанцию, которую мы называем «цаас». Чем теснее и интенсивнее общение, тем плотнее цаас. Когда в него включаются люди, цаас приобретает сходство с разумом. Он начинает

активно познавать мир. Естественно, создает свое представление об этом мире. В какой-то момент это представление становится достаточно завершенным, чтобы начать самостоятельную жизнь. Возникает новый мир, в нем тут же образуется свой цаас. Поскольку представления о мире всегда отличаются от самого мира, то вновь образуемый мир отличается от предыдущего — на характер божества...

— Минутку... Получается, что божеству достаточно вообразить — и появляется новый мир?

— В определенном смысле — да.

— И мир существует в воображении божества?

— До тех пор, пока не станет способен к самостоятельному существованию.

— А потом?

— Потом он просто существует. Я не могу понять, о чем вы спрашиваете?

— Образовавшийся мир — он тоже идеален?

— Нет, конечно. Он вполне реален. У него свои законы...

— А вещество? Материя? Она откуда берется?

— Когда цаас осознает, что мир вещественен, что у материи есть свойства, существенно влияющие на основы мироздания, он вводит эти свойства в свои представления. Таким образом, возникающий мир тоже становится материальным... Цаас не осознает, что творит мир.

— Мы не поймем друг друга. Или поймем, но нескоро. Давайте вернемся к этому конкретному миру. Вы хотите в первую очередь предотвратить появление, как вы сказали, примитивного и злого божества? Но, может быть, как раз для этого и следовало бы поддержать людей? Помочь им, направить...

— Здесь это делать уже поздно. Единственное, что остается,— это эвакуировать население. Чем мы и заняты, собственно.

— Эвакуировать? Куда? И как? Тела...

— Тела остаются здесь, естественно. И остаются те немногие, кто будет способен удерживать здешний цаас от судорожных движений. Такие люди есть. Наши агенты будут помогать им. Ваши, надеюсь, не будут мешать. Думаю, через сотню лет мы стабилизируем этот мир.

— А куда вы хотите эвакуировать всех? Ведь свободных тел — единицы...

— Для них уже создан новый мир. Он достаточно беден — но это ведь только лагерь для беженцев. И еще сорок миров — в работе. Это как раз то, чем вы интересовались, сударыня,— старик поклонился Малигнану.— Чем занимаются жители королевства Альбаст. Они творят новые миры.

— Вы хотите сказать?..

— Да. Эту функцию божества мы освоили. Не очень давно и не так хорошо — но кое-что мы уже можем.

Джаллав посмотрел на Малигнана, на своего визави, сделал ход.

— Вам шах,— услышал он свои слова.

— Ушел,— старик задержал руку над доской.— Поправляю фигуры.

— Да, пожалуйста... И когда же вы хотите начать эвакуацию?

— Она уже происходит — постепенно. Сейчас темп ее ускоряется. По нашим подсчетам, через два года здесь останется не более пяти процентов личностей.

— Шах и следующим ходом мат,— сказал Джаллав.

29. Микк, он же Павлик Самохин

■

Когда в карманах осталось три патрона, он протрезвел. Или остолбенел. Или что-то еще случилось с ним, что-то, заставившее его выпрямиться и оглядеться.

Пейзаж уже лишь только слегка напоминал тот, что был до начала боя. Ущелье стало уже, мост — шире и массивнее. Прежняя дыра туннеля теперь больше напоминала ворота в каменной стене. И сама эта стена, противоположная сторона ущелья, теперь, приблизившись, казалась не дикой и скальной, а сложенной из грубых темных, почти черных кирпичей. Пустынное каменистое плато впереди, казавшееся бескрайним, вдруг обрело границы: из белого марева проступили будто святящиеся изнутри голубые горные цепи. И лишь дорога позади осталась неизменной: узкий каменный карниз, уходящий вверх, в клубящийся мрак. Странное мерцание, потерянный блеск, разбросанный по ней, продолжался еще и во мраке, но потом терялся и он.

Серые туши чешуйчатых коней, белые холмики их всадников усеивали пустошь. Молчание висело над всем этим — рядом с белесым мертвым солнцем,— и лишь земля вздрагивала под ногами, будто там, в глубине, проворачивались какие-то застрявшие огромные механизмы.

Леонида Яновна стояла в рост, открыто, неподвижно. Единственная из всех, она была не в ватнике, а в свободной белой накидке. Казалось, ни жар, исторгаемый пустошью, ни холод камней под ногами не касались ее. Неподалеку от нее Пашка видел Архипова, настороженного, готового ко всему. Марья Петровна в испятнанном черным ватнике сидела над убитыми. Куц был убит, и Фома Андреевич, и Петюк. Куда-то пропала Оксана. Наверное, тоже была убита, но найти ее не смогли. Татьяна, черная и острая, как галка, бродила между камней, разыскивая что-то. Дим Димыч сидел, повер-

нувшись спиной ко всему. Тяжелый архиповский механизм лежал у него на коленях. Может быть, он и не стрелял ни разу, подумал Пашка. И где-то был еще Малашонок, но его Пашка не видел. И был еще сам Пашка, с его тремя патронами к вертикалке шестнадцатого калибра...

Вновь за спиной зацокали копыта. Пашка оглянулся: из зева ворот выезжали новые всадники в белом. Теперь их было четверо. Трое пониже окружали высокого и статного, в сложном и, наверное, тяжелом головном уборе. Их кони шли мерной неторопливой рысью. Тошнотворный восторг накатил на Пашку. Стиснув зубы, он ждал приближения всадников. И тут раздался настоящий грохот.

Обернувшись, он еще успел увидеть, как разлетаются каменные глыбы,— и тут же в туче пыли появилась когтистая лапа! Следующий удар взрыл изнутри землю. Из трещин хлынуло пламя. Потом земля приподнялась еще, опала — и появился дракон.

Он был прекрасен!

Он был прекрасен и страшен, и смертельно опасен — но прекрасен прежде всего. Кощунством было — повредить ему. Дракон повел головой, освобождаясь от последних комьев, камней и пыли, и поднял лапу. Шум пересыпаемых монет сопровождал его движения. Потом он волнообразно изогнулся — и тонкий жесткий хвост с визгом рассек воздух и впечатался в землю. Глыба размером с быка расселась пополам от этого удара.

Сзади кричали лошади. Пашка не оглянулся.

Встречный выстрел был почти не слышен — но в груди дракона появилась мгновенная вмятина. Зелеными сверкающими брызгами разлетелись чешуйки. Высоко взметнув хвост, дракон встал на задние лапы — и выдохнул пламя.

Оно было почти невидимым — но чадно, как кучи тряпья, вспыхнули убитые — и Марья Петровна. Комком огня она метнулась вперед, навстречу дракону, и упала между камней, и осталась лежать, а пламя корежило ее, мертвую или еще живую, и убитые тоже изгибались в огне, будто только в нем умирали сейчас окончательно. В море странных шепчущих звуков происходило это, и дракон, совершив кошачий прыжок, медленно плыл сейчас над головой, и медленно — ду-у-у-ду-у-у-ду-у-у — били автоматы, а в брюхе дракона, непристойно-белом, рыбьем, появлялись дырки, дырки, дырки, и дракон, изгибаясь на лету, пастью пытался схватить невидимую смерть — и, не долетев до моста, на котором сгрудились беспомощные боги, грянулся на землю — совсем рядом с Пашкой. Горячий кожаный запах исходил от дракона. Ошеломленный неловким своим падением, обезумевший от боли, он вскочил, озираясь, до жути похожий на человека, и бросился в сторону Леониды, стоящей неподвижно с воздетыми к небу руками, и Татьяна, хладнокровно сменив магазин,

хлестнула его длинной, от бедра, очередью — по голове, по шее, по плечу. Он зашатался и остановился, вертя головой в поиске обидчика, и Пашка, не до конца понимая, что делает, навскидку выстрелил из обоих стволов — почти в упор. Наверное, пули с закатанными в них подшипниковыми шариками пробили драконью броню: он вздрогнул как-то нутряно и издал тонкий свист — как закипающий чайник. Из пасти вновь вырвался огонь, но слабо и бесцельно — над головами. Секунду дракон был неподвижен, а потом подался назад — и ударил хвостом.

Пашку зацепило, наверное, средней частью хвоста, да еще не на ударе, а на замахе,— но этого хватило. Земля исчезла из-под ног, небыстро опрокинулась, скользнула под спину — и ухнула по спине.

Раздался отчетливый хруст. Не было ни боли, ни страха. Рядом ступила, дробя камни, драконья лапа. Только теперь Пашка осознал, как огромен дракон: лапа его была больше человека. Грохнуло несколько выстрелов подряд, лапа убралась — но появилась голова! Голове досталось больше всего, она вся была в выщербинах, залита густо-зеленой кровью — и с вытекшим левым глазом! Дракон не видел Пашку, и поэтому Пашка смог, поднявшись на четвереньки, отползти в щель между камнями. Дракон снова пустил пламя — теперь по земле. Кто-то закричал — Пашка не видел, кто. Он вдруг остро ощутил свою безоружность. Над головой, как клинок, свистнул хвост. Пригибаясь, Пашка побежал туда, где должен был быть Дим Димыч,— и споткнулся о его вытянутые ноги. Он так и сидел, без движения, без цели и без пользы. И лишь когда Пашка схватил его магазинку, он сделал слабое движение: удержать.

Остерегаясь, Пашка выглянул из-за камней. Дракон в полусотне шагов стоял на задних лапах, тонкий, изогнувшийся, как кобра; хвост его то сворачивался кольцами, то расправлялся, взметая пыль и обломки камня. Передними лапами он зажимал себе живот. Наклонив голову, осматривался. Все скрылись, и даже Леониды не было видно. Мост был пуст. Рядом с драконом что-то жирно горело, обволакивая его тяжелым грязным дымом. А потом, как чертик из коробочки, перед драконом выскочил кто-то неузнаваемый и поднял автомат. Очередь — и зеленый проблеск метнувшейся лапы — одновременно...

Человек исчез, а дракон упал на брюхо и забился. Передними лапами он скреб голову, стараясь содрать то, что мешает ему видеть. Летели жуткие ошметья, хлестала кровь. Хвост, как хлыст, сек землю. Потом дракон пополз, слепой, задрав голову к небу, круша и вздымая все, что было перед ним и вокруг него. Невидящей головой он обводил полукруги, и светлое пламя, касаясь камней, становилось красным. Забирая влево, он разворачивался, и Пашка с ужасом понял, что через несколько минут эта сила сметет и испепелит его.

Дим Димыч подниматься не хотел, он ничего не видел вокруг себя, ничего не понимал, его ничто не касалось. Пашка в ужасе ударил его по лицу, потом схватил за руку — и, к своему удивлению, поставил на ноги. Теперь надо было его увести отсюда. Он тащил безвольного и бессильного учителя между камней, поднимал, когда он падал И, рыдая, тащил дальше, и только взбираясь на насыпь моста, обнаружил в своей руке так и не стрелявшую в этом бою магазинку. А потом с моста ему подали руку. Это была Татьяна.

— Дима, Димочка! — закричала она.— Дима, очнись же!

Дим Димыч, узнавая ее, робко улыбнулся.

— Спасибо, Пончик,— сказала она Пашке.— Я не знаю, как...— и с ненавистью посмотрела на Леониду.

Леонида стояла, отрешенная, там, где кончался мост и начиналась поблескивающая дорога. Ее хитон, грязный и прожженный, свисал с плеч неподвижно — хотя жгучий ветер с пустоши здесь, наверху, был силен. Дракон, воя, уже не полз по кругу, а крутился на месте: его левые лапы судорожно царапали землю, а правые волочились, цепляясь. Что-то еще изменилось в пейзаже, но Пашка не мог понять, что. Потом Леонида с трудом приоткрыла рот и сказала, не глядя ни на кого:

— Все. Уходите.

— А остальные? — спросил Пашка.

— Нет остальных,— вместо Леониды ответила Татьяна.

— Уходите,— повторила Леонида.— Уже начинается...

Тихий, но покрывающий все звук возник ниоткуда. От него тяжестью налились ноги, а вокруг стало пусто и холодно.

— Бежим,— сказала Татьяна, сделала шаг в сторону Леониды и вдруг остановилась.

— Не туда,— еле ворочая языком, сказала Леонида.— Через мост... в башню...

— А вы? — задохнулся Пашка.

— Бегите... хорошие... бегите... скорее...

С трудом, не понимая, что делается с ногами, с головой, Пашка потащился через мост. Овальное отверстие ворот медленно плыло навстречу. Татьяна догнала его и вцепилась в рукав. Другой рукой она держала Дим Димыча.

— Танька... что это?..

— Потом, Пончик... потом... скорее... сил уже нет...

— Леонида... почему?..

— Держит нам... дорогу... не понимаешь?..

Казалось, они поднимаются по крутой тысячеступенчатой лестнице — так трудно давался каждый шаг. Воздух стоял стеной. Последние двадцать шагов были смертельно трудны. Ног уже не было — каменные подпорки. Свинцовые подпорки. Нечем стало ды-

шать — твердый воздух резал гортань. Пашка знал, что они никогда не дойдут. А потом неожиданно — казалось, ворота еще впереди — они повалились вперед, как будто лопнула не пускавшая их паутина, и оплыли куда-то. Здесь было темно. Вскоре овал ворот превратился в туманное пятнышко, а потом исчезло и оно.

Может быть, прошли годы. Здесь ничто не напоминало о времени. Здесь не было верха и низа, правых и виноватых, жизни и смерти. Здесь был покой. Как маленький окаменевший зверь, спрятанный в скале, Пашка висел посреди ничего без ощущений, чувств, мыслей и желаний. Но шевельнулась и поднялась Татьяна, и стал свет, твердь земная под спиной и затылком и мерзкая искрящая боль в груди и боку. И Пашка застонал протяжно и жалобно. Все кончилось, и нужно было, чтобы его пожалели.

— Тише, Пончик, тише,— плача, сказала Татьяна,— не расслабляйся, нам еще идти и идти... у меня тоже все болит, я тоже не могу... и Диму тащить, тащить ведь придется...

И тут Дим Димыч приподнялся и посмотрел вполне осмысленно:

— Куда это вы собрались меня тащить?

— Димочка...— выдохнула Татьяна и опустилась на землю.

— Пог ди .. где это мы? — Дим Димыч заозирался, и Пашка тоже, насколько позволяла боль, закрутил головой.

В самом деле: помещение, куда они каким-то непонятным способом попали, было странно: круглое, вернее цилиндрическое, с рядами темных квадратных окошек на высоте, оно напоминало то ли павильон «чертова колеса», то ли арену для гонок по вертикальной стене. В центре, там, где должно было находиться колесо, стояло что-то, похожее на песочные часы высотой с трехэтажный дом. Мощные колонны из полированной бронзы ограждали саму колбу — форму, может быть, не классической, но характерной, с перехватом посередине. Колба была абсолютно черной, без малейшего отблеска. Высокий туманный потолок заливал все голубоватым подменным светом. Возле стены местами стояли какие-то зачехленные механизмы. Диаметр помещения был метров тридцать, и никакого выхода из него видно не было.

30. Вито, он же сайр Ксимен, он же Дан, он же Дим Димыч

■

На завтрак были другие плоды, с хлебным и ореховым вкусом, и новое питье, похожее на молоко, но не молоко. Старуха, госпожа Моника, ела как птичка; Дан же ничего не мог с собой поделать. Ему с трудом удавалось держать себя в рамках приличий и не начать жрать, набивая рот и чавкая. Он слышал, что так бывает, но не думал почему-то, что такое может быть с ним. Это казалось

непристойным и унизительным. Впрочем, старуха так не считала и явно была довольна аппетитом гостя.

Гостя? Такой статус устроил бы его — если бы не был противоестествен. Впрочем, что произошло с утра вчерашнего, бесконечно далекого дня, было противоестественно. Пропажа Вирты, бег по остывающему следу, проход сквозь траву, капище лесных, желание убить... и — медленные сборы, будто что-то отводило мысль и взгляд, рысканье на тропе, хотя все было понятно, необыкновенная — и ожидаемая! — легкость прохода, какая-то неполная, кастрированная месть, невозможность убить... приветливость старухи, постыдный жор, чувства уюта и тоски, чужие сны и томящая боль в груди. Все, что происходило, происходило с ним — и не с ним, потому что он не узнавал сам себя.

— Ты кушай, сынок,— сказала старуха.— Кушай, я еще принесу. Этого добра здесь — невпересчет. Вы там, небось, впроголодь живете?

— Нет,— проглотив кусок, сказал Дан.— Не впроголодь...— и впился зубами в ароматную мякоть.

— А вкусноты такой все равно нет,— уверенно сказала старуха.

Дан кивнул. Не вяленая баранина и не лепешки на воде...

— А вот не поверишь — все это при мне началось,— сказала старуха.— Я маленькая еще была, у брата жила. Брат работника держал, а работник руку имел, травы знал и шептать мог. И сделал работник садик, повязал его, и стал садик желания его исполнять. Ну, а ты знаешь — чем трава лучше, тем подход к ней деликатнее. А брат раз перепил — с мужем моим потомошним — и в садике том уснул. И все — высосала его трава. Долго найти не могли, думали — в город уехал. На пятый, что ли, день его работник-то как раз и нашел. Лежит вот такая куколка, с ладошку... С испугу хотели спалить садик, а война же шла, ну и — не до того оказалось... И вот видишь — расползлось. Теперь везде, считай, этот садик, а к добру это, к худу — не знаю.

— И я не знаю,— сказал Дан.— Вчера еще знал, а сегодня уже не знаю... Если б людей деревьям не отдавали — кто бы против был?

Старуха помолчала, глядя куда-то мимо Дана. В окно доносились детские голоса и тонкий, не собачий, а скорее, лисий лай.

— Никто ни в чем не виноват,— вдруг сказала она тихим чужим голосом.— Так вот живешь, живешь, а потом понимаешь — никто ни в чем не виноват. Убил бы ты меня — а виноват бы не был. И не убил — тоже не виноват.

— Не понимаю,— Дан напрягся.

— А никто не понимает,— сказала старуха.— Рожали нас, не спрашивали, хотим мы или не хотим. И мы рожаем, не спрашиваем. Так же и смерть принять... Пойдем, сынок.

— К-куда? — поперхнулся Дан.

— К Лекйя-камнерезу. Он через скалы короткий путь знает. Проводит тебя. А ты подумал — к деревьям? Нет, не твой черед .. Да и не смерть то, а многие жизни. Так говорят.

— И ты веришь, госпожа?

— Мне все равно. Идем.

— Моя жена... Она не хотела идти. Ее тащили. Несли. Она дралась. Я видел кровь на земле. Она любила меня, она хотела детей от меня...

— Лес дает нам, что мы захотим. Но и берет, что захочет. Она была лесной и посвящена лесу. Ты знал?

— Она была моя.

— Потом уже твоя.

— Зачем все это? Зачем? Ты ведь знаешь. Скажи!

— Кабы знать... А может, оно и лучше, что не знаем. Нам пора.

Она взяла Дана за руку, как маленького, и повела к двери.

В полость пушистого зеленого кокона шагнул он.

Все было как в дымке, как в зеленом тумане.

Налетели, кружась, легкие звуки.

Паутинки запахов липли к лицу.

Дан зажмурился и чихнул.

И все исчезло.

Все осыпалось, будто ветхой бумаге стало невмоготу от бешенства красок и бешенства времени. Пыль осела, растекаясь по полу и взвихряясь на сквозняках. Было пронзительно холодно, будто пленочка стен прикрывала собой массив вечного льда. Вито приподнялся на локте, сел. Он был один, и гипноген, присоединенный к эрму, висел на странном кронштейне: ржавой рапире, воткнутой в стену. Сквозь попискивание эрма проступала мертвая тишина.

Ноги подгибались. Мочевой пузырь был переполнен. Надо было выйти, но выходить не хотелось. Воздух пропитался страхом. Вито выдернул рапиру из стены, присел несколько раз, держась за кушетку, потом решительно подошел к двери и толкнул ее. Дверь вела на галерею в каком-то не очень большом зале. Господи, сообразил Вито, ведь это дом, который мы заняли перед... перед... Память дала сбой. Что-то не так. Ага, но если это тот дом, то туалет — вот эта дверь. Прекрасно...

До чего же человек зависим от проклятой гидравлики! Вытесняет все.

Облегченно застегивая штаны, Вито услышал за спиной шорох, обернулся — и подавился собственным криком. На него смотрело чудовище.

Оно спускалось по стене, бесформенное, покрытое бурой шерстью. Мохнатые суставчатые лапы шевелились, не столько передви-

гая тело, сколько ощупывая путь. Несколько тусклых глазок, расположенных в круг, смотрели тяжело и злобно. Волна жуткой вони ударила в лицо. Вито шарахнулся назад, инстинктивно выставляя перед собой бессмысленную рапиру, споткнулся об унитаз и повалился навзничь. Мелькнула мысль, что надо успеть заколоться,— и пропала. И все пропало. Вито долго лежал без движения, потом открыл глаза.

Изможденное лицо Томаша склонялось над ним.

— Вот теперь, кажется, получилось,— сказал Томаш.

— Может быть,— Вито сел.— Где остальные?

— Все здесь,— сказал Томаш.— Микк ранен. А Супер побывал у тех. Что-то они с ним сделали.

— Разберемся,— сказал Вито.

— Да,— кивнул Томаш.— Если честно, то на тебя вся надежда.

— Разберемся,— повторил Вито.— Скажи лучше, где тут сортир?

— Рядом дверь. Ты что, забыл?

Вито прислушался к себе.

— Нет, вроде бы, все помню. Так — спросилось почему-то.

Он вышел на галерею, посмотрел вниз. Вильгельм и Стас сидели за стац-эрмом и что-то пытались вытащить. Проектор выдавал вулканическое борение форм. Будто парочка гигантских амеб осваивала все позы «Кама-сутры». На овальном столе неподвижно лежал Ноэль.

В сортире странно пахло: смесью горелого пластика с чем-то приторно-сладким. Пол был скользкий — присыпанный тонкой серой пылью. К журчанию воды в бачке примешивался какой-то посторонний звук. Вито нерешительно вошел, огляделся. Вдруг из-за унитаза деловито вышла крыса, посмотрела на Вито, постояла, развернулась и ушла обратно. От подобной наглости он оторопел. Нет, сначала дела, потом — крысы...

Дыра в стене была огромной: не крысиная, а просто барсучья нора. Зная, что делает глупость, Вито достал из кобуры свой «вальтер», передернул затвор, сунул руку с пистолетом в дыру и нажал спуск. Ахнуло глухо — и в лицо из дыры вылетело густое облако пыли. Закашлявшись, он отскочил и стал протирать глаза. На этот раз повезло: под тентом оказалась ручная лебедка с выносной стрелой. Вот, возьми — Татьяна протянула ему чистый лоскуток. Дима приложил его к глазам, прижал, выдавливая слезы. Потом провел несколько раз — от висков к переносице. Лоскуток сделался черный. Стало можно видеть.

— Пожалуй, достанет до окон,— сказала Татьяна.

— Надо попробовать,— согласился Дима.

Вдвоем они развернули лебедку на ее предназначенных для рельсов колесах и подкатили к стене. Потом, крутя визжащий бара-

бан, стали поднимать стрелу. До окон она не достала, но с ее конца дотянуться — можно было попробовать.

— Во-первых, я немного подлиннее,— предупреждая Татьянин ход, сказал Дима,— а во-вторых, я не устал — в отличие от тебя.

— У тебя же голова кружится,— сказала Татьяна.— Я же вижу.

— Все прошло,— сказал он.

Это было вранье, но ничего не сделаешь — приходилось врать. Он окончательно перестал бы уважать себя, уступи ей эту честь. Достаточно того, что вырубился во время боя...

— Ладно,— согласилась Татьяна.— Только давай мы тебя подстрахуем.

Страховка получилась надежная: тросом лебедки Диму опоясали, и Татьяна, стоя внизу, понемногу наматывала на барабан слабину. Стрела покачивалась, и голова кружилась как следует, и два раза Дима чудом удерживался на своей ненадежной опоре — и все-таки докарабкался до верху, ногой оплел ржавый железный уголок — потом качнулся вперед и широко расставленными руками оперся о стену. Поднял глаза. До нижнего края окна было с полметра, не больше.

Но и не меньше.

Что ж... Он перенес ногу на верхнюю, последнюю перекладину, другую поставил на скобу, огораживающую ролик, перебирая руками, распрямил колени...

Стекло. Вот оно, стекло.

Теперь дотянуться до пожарного топорика за поясом...

Он понял, что не сможет этого сделать. Если он отпустит хотя бы одну руку...

Подумаешь, упаду. Я же привязан.

Организм сопротивлялся, как дурной. Он не понимал: привязан, не привязан... Он видел бездну под ногами.

Но нет и обратной дороги... Стрела качнулась под ногами, Дима чуть не сорвался, но удержался все-таки, упершись в стену локтями и лбом. Вот, пожалуй, теперь можно дотянуться до топорика...

Вслепую он рубанул по стеклу. Топорик отскочил. Он ударил сильнее — и вместо ожидаемого дождя осколков раздалось густое «чвак». Топорик застрял. Дима поднял глаза — стекло стало белым от множества трещин. Триплекс. В несколько ударов он вырубил дыру, за которую можно было уцепиться левой рукой. Теперь он почувствовал себя увереннее. Но все равно пришлось повозиться, пока удалось проделать достаточно большое отверстие.

Он постоял, держась за край окна и переводя дыхание. Плечи ломило. Жарко было невыносимо. Отдышавшись, он подтянулся, оперся грудью об острый край рамы и несколько секунд висел, вглядываясь в полумрак. Прямо перед глазами был блестящий хро-

мированный поручень. Дальше — малопонятное: пульты, щиты, железные шкафы.. Необитаемый вид. Дима перехватился руками за поручень и втянул тело в окно.

Пыль здесь лежала ковром. И пахло в первую очередь пылью. Он встал, освободился от троса, привязал его к поручню. Высунулся, помахал Татьяне и Павлику, крикнул: «Осмотрю и вернусь!» — и пошел осматриваться.

Помещение имело форму сегмента. Таких, наверное, вокруг этого круглого зала должно быть штук восемь. Два массивных, будто отлитых из чугуна пульта стояли так, чтобы операторы сидели лицом к окну, а два других, поменьше и покомпактнее — под прямым углом к ним. Дима осмотрел пульт, рукавом стеганки смахнув густую пыль. Под пылью обнаружились циферблаты в черных эбонитовых окантовках. На шкалах были цифры и какие-то полузнакомые символы. Ладно, потом вспомню. Голова еще не вполне своя.

А в противоположной от окна стене, между железных шкафов с рубильниками по бокам он нашел обычную дверь. Она была открыта. За дверью ощущалось не слишком обширное пространство. Дима постоял, дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте.

Это спасло ему жизнь.

Он уловил скольжение светового блика по стене до того, как услышал шаги,— и на всякий случай отодвинулся за створку двери. Рука сама забралась в карман, обхватила плотненькую рукоятку «ТТ». Придерживая левой рукой затворную раму через ткань ватника, Дима дослал патрон. Предохранитель был испорчен, и Архипов, повозившись с ним, выбросил его совсем. Архипов, подумал Дима. Неужели правда?.. А я лежал, как теплое говно... Шаги приблизились и остановились.

— Чуха, секи масть! — раздался шепот.— Окно!

Окно! Дима, пятясь, обогнул железный шкаф и встал за ним, держа пистолет перед лицом стволом вверх.

После долгого молчания за дверью закричали:

— Эй! Выходи! Выходи, ничего не сделаем! Слышь, чего говорю?

Нашли дурака.

— Выходи!

Леопольд. Подлый трус.

Было странно легко и холодно.

Голоса забубнили, а потом раздались тихие осторожные кошачьи шажки — кто-то на полусогнутых, готовый к прыжку и падению, шел от двери к окну. Остановился, поворот вокруг себя — не заметил. Дима вжался в шкаф. Или заметил? Почему стоит?

Очередь оглушила его. Будто он сидел в железной бочке, по которой лупили молотками.

Вторая очередь была тише — стрелок перенес огонь на другую цель.

Железная стенка — на уровне груди — вздулась и пошла бугорками. Пули пробили только один слой железа.

Все дальнейшее было уже будто бы и не с ним.

Тот, в центре комнаты, намерен был убить его — не зная, кого, не зная, вооружен ли противник... Значит, он получил право на ответный выстрел.

Дима сделал полшага и, не целясь, послал пулю в того, на полусогнутых, с автоматом у живота — и, зная, что попал, тут же развернулся к двери. Второй — замер. Он мог разнести Диму в клочья, потому что ствол автомата смотрел Диме прямо в живот, но — замер. Такое случается.

— Бросай,— тихо сказал Дима.

Автомат закачался на ремне над полом. Охранник чуть наклонился вбок, чуть присел, опуская оружие на пол — и вдруг сделал какое-то движение левым плечом, и пронзительная, слепящая боль взорвала череп — одновременно с выстрелом. Сквозь красную пелену Дима увидел, как падает, хватаясь руками за воздух, охранник. Потом упал сам.

31. Ника, она же Стелла, она же Аннабель

■

Засовы завизжали — верхний, потом нижний,— и, чавкнув, открылась дверь. Снаружи была ночь. Густой зеленовато-желтый свет факелов залепил глаза. Чувствуя себя еще более слепой, чем в темном, наглухо закрытом фургоне, Стелла замерла.

— Выходи! — грубый голос.

— Не видят оне,— другой, гудящий, низкий.— Эй, дамочка, давай сюда руку!

Преодолев оцепенение, Стелла приподнялась, протянула руку вперед. Ладонь ее тут же утонула в огромной лапище, сильной и желающей быть осторожной.

— Придуряются,— сказал первый голос.

— Рук им велено не вязать, а вести так,— сказал второй.— И обращаться вежливо. Ты хоть понимаешь, как это — вежливо?

— Морочут нам голову господа... Ладно, соблюдем. Давайте, остальные. Ты, черный — выходи!

Понемногу зрение вернулось. Стелла огляделась. Их окружала стена, слева высилась круглая башня, и зубцы ее четко выделялись на фоне мерцающего неба. Десятка два солдат стояли во дворе, следя за выгрузкой арестантов, и еще на стенах угадывались смутные силуэты. В свете факелов лица казались лицами трупов.

Пальмер поддерживал Адама, вымотанного столь дальней дорогой, и Иппотроп по обыкновению ворчал неразборчиво и боязливо. Даже Стеллу, выносливую, как сухой бамбук, покачивало на твердой земле. Солдаты с факелами окружили их, и бородач, распоряжавшийся здесь, молча повел к темной дверце, видневшейся в основании башни. Семь ступенек вниз, пароль, протяжный скрип, коридорчик, новая дверь...

— Вам сюда,— сказал бородач, отходя на шаг.

Откинулась зеленая портьера... Круглый зал, убранный богато и тонко. Шандалы со свечами, запах воска и трав. Горящий камин, кресла, расставленные полукругом, стоящий человек. Тот самый, «повелитель мух», Доверенный — так правильно. В мягком домашнем костюме, без колпака. Пепельные волосы — по плечам.

— Прошу вас,— вставая, он слегка повернул одно из кресел, приглашая Стеллу садиться.

Задержав дыхание, Стелла пересекла зал и села в предложенное кресло. За ней сели остальные. Хозяин — последним.

— Я надеюсь, вы простите меня за неудобства в дороге,— сказал Доверенный.— Это было неизбежно. Но теперь все — почти все — позади. Я сыграл свою партию. Вступаете вы. Вы не узнали башню?

Стелла покачала головой.

— Дворцовая тюрьма. Вернее, вход в нее. Сама тюрьма там...— он опустил руку к полу.— Предписано было бросить вас в камеру без выхода.

— А почему — не убить на месте? — спросила Стелла.— Как всех прочих?

Она удивилась своим словам, и Доверенный тоже удивился и пристально посмотрел на нее.

— Я думаю, этим вопросом вы уже дали ответ,— сказал он, наконец.

— Может быть,— сказала Стелла опять не свои слова.— Если так, то давайте поскорее покончим с неопределенностью.

— Одну минуту,— сказал Доверенный. Из кармана он вынул колоду карт и распечатал ее. Это были длинные и узкие гадальные карты сул-киэ, с чисто белыми, без рисунка, рубашками.— Возьмите карту,— он протянул колоду Стелле.

Твердой рукой она вытащила карту откуда-то из середины.

За ней карты взяли Адам, Иппотроп и Пальмер. Последним вынул карту Доверенный.

— Дайте мне,— он перетасовал маленькую колоду, потом стал выкладывать карты картинками вверх по закону сул-киэ.— Здесь и сейчас,— он посмотрел на Стеллу и едва заметно покачал головой,—

вода и железо, ночь и веревка, путь дракона и путь зверя, конец и начало. Вот и все.

— Вы сомневались? — одними губами улыбнулась Стелла.— Где наши принадлежности?

Было противно и стыдно чувствовать в себе чужую волю и угождать ей — и вместе с тем пришло чувство близкого освобождения, и требовалось именно подчиняться этой чужой и в общем-то не злой воле и делать все как можно лучше.

Наверное, остальные чувствовали то же самое: Пальмер, стараясь не спешить, раскладывал на полу содержимое старого солдатского ранца, и Адам, не в силах погасить лихорадочный блеск в глазах, с деланным равнодушием рассматривал ножи с витыми рукоятками, ожерелья из темных камней, стертые временем монеты, кольца, кулоны, и Иппотроп, не знающий тайн, сидел неподвижно, вцепившись в подлокотники, и пальцы его побелели.

— Вот он,— сказала Стелла, когда рука Пальмера извлекла со дна ранца плоский зеленый камень с глубоко прорезанными неизвестными буквами. И когда она сказала это, легкий жар стал исходить от камня.

Доверенный вдруг встал и попятился, и Стелла, отметив это каким-то далеким и не очень важным краешком сознания, тем же краешком слегка усмехнулась.

Пальмер опустил камень на пол и отодвинулся от него, а Адам и Иппотроп, напротив, потянулись к камню, и Стелла подошла и опустилась на колени, протянув руки и повернув их ладонями вниз. Все уже делалось само, и важно было лишь не нарушить целостности происходящего. Призрачный, проходящий насквозь жар усилился, заставляя ежиться кожу. Скользкая волна приподняла руки Стеллы и опустила, и все остальные точно так же протянули руки и повторили это движение. Зеленое сияние, похожее на светящийся дым, стало подниматься от камня вверх, коснулось ладоней и заклубилось, образуя туманный шар. Шар стал подниматься, увлекая их за собой, и Стелла, потом Адам, потом остальные встали на ноги, подняли руки... шар висел над головами и светился все сильнее и сильнее, и в свете его стал виден холодный заваленный шлаком камин, голый, без ковров, пол из плохо подогнанных каменных плит, стены без драпировок и гобеленов, исписанные примитивными заклинаниями от нечистой силы — и тут шар оторвался от рук, и все четверо, обессиленные, рухнули на пол, будто кто-то разом обрезал поддерживающие их и управляющие ими нити — и Стелла увидела свое падающее и потом уже лежащее тело со стороны, снизу, от самого пола — и продолжала видеть, удаляясь, двигаясь куда-то спиной вперед, так что она не видела — куда, а видела только — откуда. Промелькнули

зал, еще какие-то комнаты и переходы, двор, похожий скорее на колодец, потом пришла темнота — и острый звериный запах.

Аннабель выпрямилась и, подчиняясь инерции движения, сделала несколько шагов вперед, преодолевая слабое сопротивление — будто бы натянутых поперек хода нитей. В синих мелких вспышках виден стал Берт, встающий с колен. Генерал и улан тоже были поблизости, их Аннабель не видела, но вполне чувствовала. Руки жгло незримым огнем, огонь вливался в тело, заставляя его расти и твердеть, и тело обретало вес брони и мощность взрывного механизма. Все вокруг заливал синий свет, и понимание, что свет этот исходит от нее, не удивило Аннабель. Она отлично знала, где она и ее соратники находятся, каков их маршрут и задача — ближайшая и отдаленная. Берт, огромный и страшный, приблизился к ней. Им не было нужды переговариваться, чтобы понимать друг друга. У генерала и улана была своя задача, и они уже начали ее выполнять. Стальные кружева старой клетки скрежетнули и рассыпались под ногой. Аннабель попыталась улыбнуться, но лицо не подчинилось ей. За решетками молчали испуганные до смерти звери — и лишь обезьяны глупо икали. Аннабель почти летела вперед, и Берт был рядом с ней: плечо в плечо.

— Мон шер,— сказала Аннабель сухо,— я никогда не прощу вам того, что вы делали со мной, будучи зверем.

Но скрыть своих мыслей она не могла, и поэтому Берт ответил:

— А я — никогда не забуду.

— Что ж,— сказала Аннабель,— может быть, эта формула более точная.

Чугунные узорные ворота возникли на пути, и Аннабель легким движением плеч, подходя, выбила их — с воем повисли на петлях створки, и что-то — замки? — врезались, высекая искры, в стену и ушли в небо рикошетом. Так же она могла выбить и стену, но это потребовало бы слишком больших трат — а в преддверии боя она не могла себе позволить их. Они вновь пересекли двор, куда их привезли и где выгружали из арестантского фургона — не их, а подменышей, конечно, но слишком большую часть их личностей несли подменыши, а иначе было нельзя, зверей заподозрили бы,— и метнувшиеся наперерез солдаты отлетели, оглушенные, а стрелы сгорели в воздухе, не приблизившись — Аннабель не желала убивать, еще много убийств предстоит им сегодня, и не надо ненужных,— и шагнули в ту же самую дверь, и пересекли зал-ловушку, наивную и трогательную в этой наивности, и миновали четверых циркачей, понемногу приходящих в себя, и нашли след того, кто побежал докладывать, что ловушка не сработала и вся операция сорвалась, и вот теперь Аннабель выбила стену — рядом с камином — и скатилась первой по уходящей в глубину лестнице, а Берт, раскинув

мысленную сеть, шел следом и прикрывал ее от внезапностей, и из боковой ниши прыгнули два одетых в невидимое черное гернота с пламенными мечами, но Берт успел ее предупредить, и Аннабель встретила их в готовности, и герноты растеклись по стене пузырящимися громадными пятнами. Это была первая засада на их пути и первая проба сил...

Сплоченный отряд ждал их в Золотом зале дворца. Около полусотни гернотов и людей в готовности к страшной схватке стояли, замерев, и умерли почти сразу — Аннабель нанесла удар всею силой, не оставляя им ни шанса. Кровавые валы докатились до стен и хлынули назад, но Аннабель и Берт неслись дальше, и двери дворцовых залов разлетались черной щепой при их приближении. Изощренная магия гернотов была бессильна перед ними — потому что их внутренняя сила сама отыскивала магические предметы и испепеляла, или выворачивала, или выталкивала в изнаночный мир... Рушились стены, каменные и мнимые, обнажая бессильные пламенные жерла и стальные невидимые косы, и распадались в пыль так и не успевшие ожить глаза василисков за мгновенно истлевшими портьерами, и замирали механизмы хитроумных ловушек над бездонными колодцами, наполненными каменным маслом — сдвоенной мощью нанесли удар Аннабель и Берт по базальтовому дракону, шевельнувшемуся в своем подземелье, и обломки не набравшего гибкости камня глубоко ушли в землю и успокоились там — а все новые и новые двери распахивались перед ними, летящими по сложной траектории, по ломаной спирали, сходящейся к тронному залу, а за их спиной начинало гудеть пламя, отрезавшее путь тем, кто был в тронном зале и тем, кто хотел бы попасть туда — по долгу или по склонности. Аннабель знала, что еще одна такая же спираль чертится по верхним этажам дворца, а другая — по подземным тайным ходам, а по всей стране вблизи кладбищ или на развилках дорог вздымается земля, и из могил встают мертвецы, убитые и изувеченные креатуры Дракона, теперь имеющие силу и власть перед теми, кто их убивал, и черными призраками мчатся над землей туда, где магия гернотов искажает линии мира.. сотни ожившихся снарядов, знающих свою цель.

В один миг — рухнули вместе с передней стеной парадные двери тронного зала, и проломился лепной старинный потолок, и вздыбился, разлетаясь, паркет работы мастера Мапэртиуса. Король Герман поднялся с трона, нечеловечески огромный и жуткий. Черная блестящая мантия обливала его.

— Ты пришла,— сказал он равнодушно, и эти слова значили что-то совсем другое.

— Да, я пришла,— сказала Аннабель — и в ее ответе, неожиданно для нее самой, прозвучал скрытый ответ на скрытый смысл слов Германа.

Ничто не зависело ни от нее, ни от него — просто один из них должен был сейчас окончательно умереть.

Аннабель окинула быстрым взглядом кровавые кляксы на полу и стенах. Их было много. Но гернотты все еще оставались во дворце и вокруг дворца — и, опомнившиеся, они могли стать опасны. А здесь... здесь никто не имел права помогать или мешать ей.

Берт понял ее. И генерал, и улан — поняли тоже. Они прошли рядом с нею, и Аннабель увидела, что они ничем не отличаются от Германа. Наверное, она сама от него ничем не отличалась.

Она ударила первой — изощренный удар под правый локоть в середину тела. Не нужно было иметь клинок в руках, чтобы драться в этом бою. Герман отвел удар и закрылся, не нанося ответного.

Зачем все это, сестра?

Аннабель отступила на два шага, присматриваясь к его защите.

Ты знаешь сам.

Герман провел осторожный выпад и быстро вернулся в защиту.

Нет, я не знаю. Все было не так уж плохо.

А если попробовать так? Атака «салимджан»: два ложных замаха и удар в бедро. Мимо.

Не так уж плохо — если не считать господства чужих.

Герман провел ответную атаку, уже смелее. У него были тяжелые, но весьма медленные удары. Аннабель отбила их и нанесла прямой короткий в грудь. Германа отбросило к стене.

Господства? Значит, ты ничего не поняла!

Стена позади Германа рухнула, в пролом ворвалось пламя.

Чего я могла не понять?

Аннабель задержала последний удар. Герман вдруг опустил руки.

Поздно. Все поздно. Уже не объяснить. Уже не сделать. Бей.

Нет.

Бей!

Говори!

С грохотом рушилась кровля.

Мы проиграли, сестра. Мы, люди — проиграли. Когда бьются высшие силы — проигрывают люди. Альбаст погибал, когда пришли чужие. Они усмирили магов и стали очищать мир. Они вернули мне разум — и не только мне. Еще немного, еще несколько лет — и Альбаст стал бы жемчужиной. Но магам в нем не нашлось бы места. Тебя послал Яппо?

Да.

Ты кукла, сестра.

А ты не кукла, брат?

На мне — просто доспехи.

Сними. Покажись.

Хорошо...

Миг — и высокий состарившийся мальчик стоял перед нею. А потом — черный вихрь смахнул его с лица земли и растворил в общем крошеве. Нет, нет, нет, кричала Аннабель, пытаясь освободиться от прежней личины, вновь овладевшей ее сутью. Дворец рушился вокруг, пылающие балки сыпались мелким дождем, и зарево поднималось над городом. Аннабель звала, но голос ее не был слышан. Стены были уже ей по пояс, и короткими ударами она расшвыривала их во все стороны. Пламя, замирая при ее приближении, вспыхивало за спиной с новой радостной силой. Сотни их было — разрушающих чудовищ. Аннабель металась в своем теле, ища выход наружу. Дверь, дверь, замок, защелка, кнопка...

Она ползла, пытаясь спрятаться от испепеляющего зноя, и клочья огня падали ей на спину. А потом чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли — и на секунду она позволила всему пропасть. Ржание многих коней было тем, что вернуло ее на поверхность сознания. Ржание многих коней — лоснящиеся спины и вскинутые головы, и пламя близкого пожара отблесками на всем, что есть. Чья-то рука обнимала ее поперек груди, прижимая и удерживая в бешеной скачке. Лошадиная река утекала в темноту. Потом еще один всадник поравнялся с нею и что-то крикнул... крикнула. Это была женщина. Не было сил различить ее голос за ревом огня. За ржанием За водопадным шумом копыт. Но она продолжала кричать, будто это могло на что-то повлиять и что-то изменить.

— Да! — ответила Аннабель.— Да, да, да!

Женщина махнула рукой.

У нее были светлые волосы и узкое лицо. Аннабель знала ее имя.

32. Лот

■

Сначала все было как в вязком повторяющемся сне, и даже встречные фары в переулке — но здесь было где укрыться, и машина скользнула мимо, не остановившись. Выждав даже больше, чем нужно, Лот шагнул из подворотни, осмотрелся. Вернулся за Никой. Взял ее за руку, повел. Она шла покорно, уже не задавая вопросов. Это была не та Ника, которую он помнил. И он сам был не таким, каким помнил себя. Но оба они пережили насилие над собой, над своим естеством, и оставалась надежда, что все вернется.

Не бойся, подумал он, обращаясь то ли к ней, то ли к себе. Выберемся отсюда и сразу пойдем к эрмерам. Они знают, что нужно делать с такими, как мы. Они знают, что нужно...

У поворота, откуда появилась машина, он остановился. Направо, довольно далеко, видны были ворота — ярко освещенные и хорошо охраняемые. А прямо — и близко — серела стена: высокая, с колючкой и сторожевой сигнализацией по гребню. Но он не собирался лезть через стену.

Почти идеальная зрительная память не подвела его: как и значилось на схеме, на углу дома напротив стояла телефонная распределительная коробка и рядом с ней — штук шесть телефонных будок. Мальчишеская мысль возникла внезапно, как дурацкий смех: взять и позвонить отсюда Меестерсу... Дорогу они пересекли не спеша и деловито. Если наблюдают, то меньше вероятность, что заподозрят неладное. Впрочем, солдаты смотрят, скорее, наружу. Им мало охоты знать, что делается внутри закрытых кварталов. Так надежнее.

Хотя, конечно, могут быть — да и есть наверняка — и другие наблюдатели... Положимся на милость судьбы, потому что больше не на что положиться.

Перед коробкой, как и следовало ожидать, был люк. Автомобильной монтиркой — ничего более подходящего в лаборатории не нашлось — Лот приподнял крышку, подсунул под ее край ботинок, потом ухватился поудобнее и отвалил ее в сторону. По роду занятий ему приходилось спускаться в канализационную сеть — тамошние крышки были, кажется, полегче. Наверное, кажется. Сразу запахло горелой изоляцией. Пожар внизу? Лот принюхался. Вряд ли, запах стоялый. Он достал фонарь, включил. Скобы шахты были на месте. Спускайся, сказал он Нике, я за тобой. Она послушно полезла вниз.

Самое сложное оказалось — задвинуть за собой крышку. Лот сбил пальцы и запыхался, будто лез на двадцатый этаж. Давненько я не лазил на двадцатые этажи... Сердце вело себя на редкость достойно. Как солдат. Медаль, подумал он. Медаль и двухнедельный отпуск...

Все. А вот теперь — не потерять направления. Туда. Ника ждала. Одна и в темноте. Идти приходилось согнувшись, чтобы не задевать длинный липкий пух, свисающий с кабелей. Шагов через сорок путь преградила решетка.

Значит, идем правильно.

Лот вынул из кармана пилку, но, взяв в руку висячий замок, убедился: он не первый, кто тут шел. Дужка была перепилена у самого основания.

Спасибо, ребята, подумал Лот, за каким бы делом ни шастали вы сюда...

Потом он аккуратно закрыл за собой решетку и повесил замок на место. Вот мы и за стеной, с непонятной тревогой подумалось ему.

Вскоре туннель приобрел заметный уклон. Лот попытался вспомнить рельеф местности. Да, верно, здесь должна быть выемка, широкая такая лощина, ничем не занятая... и справа она упирается в набережное шоссе. Если выйти на поверхность где-то здесь, то за час можно добраться до жилых кварталов. Но — слишком уж близко от стены.

Наверное, под землей надежнее. Хотя, как говорят ремонтники, километр под землей — это три по улицам. Эффект близкого горизонта. Ничего. Дорога всегда кончается.

Спуск прекратился, туннель стал чуть шире. Воздух был сырой и почти горячий. В полу попадались решетки — над дренажными каналами. Сквозь решетки выходил смрадный пар. Завтра проверить, отметил про себя Лот. Впрочем, это не его район...

Туннель резко свернул вправо и шагов через сто влился в гораздо более широкий и высокий — и даже с проложенными по полу вагонеточными рельсами.

Странно. На плане коммуникаций этого не было .. хотя, конечно, на планах коммуникаций много чего недоставало. Видимо, какая-то заброшенная хреновина на случай войны.

На случай войны, подумал Лот. Сегодня это почти ностальгически. Войны не понадобилось...

А что понадобилось? Что?

Не знаю. Вдруг все поползло и растеклось киселем... Будто вынули какой-то маленький, но главный гвоздик. И вот — все, как было, но — по отдельности. Каждая деталь на месте, но — сама по себе.

Не было гвоздя — подкова пропала... враг вступает в город, пленных не щадя...

Теперь идти было легче — не требовалось сгибаться. Ника равнодушно шагала рядом. Ничего, маленькая, посмотрел на нее Лот — и вдруг ощутил где-то в глубине остаток прежней нежности. Ничего, уже с робкой радостью подумал он, все образуется, все еще будет хорошо...

Низкое гудение коснулось ног, потом ушей. Было что-то впереди, и сначала Лот подумал: трансформатор,— но нет, у трансформаторов тон выше. Впрочем, все, что оставалось — это идти вперед и быть осторожным. Выходов на поверхность пока не было.

Он считал шаги и насчитал четыреста, прежде чем в луче фонаря возникло черное, не отражающее света пятно на левой стене — и блестящие, как рельсы, перила вдоль этого пятна. Гудение стало громким, угнетающе-пульсирующим. Оно напоминало что-то — совсем недавнее — но оно же и забивало саму возможность вспомнить. Наконец, они поравнялись с перилами и остановились.

Гул шел отсюда и вонь изоляции — тоже. Почти невозможно стало дышать, но почему-то вдруг не получалось, зажав носы, пробежать поскорее мимо этой непонятной ниши. Лот направил в нее луч фонаря. Луч стал ясно виден, как бывает он виден в тумане или в пыльном воздухе мучных складов. И все же, привыкнув, глаза стали различать контуры нового пространства.

В перилах, где они стояли, была дверца, и от дверцы вела вниз узкая металлическая лестница с дырчатыми ступенями. Там, тремя метрами ниже, шла кольцеобразная галерея. Противоположный край ее почти терялся в тумане. До него было метров тридцать-сорок. Но там, кажется, была такая же лестница — уходящая к люку в потолке. Потолок решетчатый, и к нему и сквозь него идет этот туман — значит, там есть ход наружу.

Ниже галереи луч не проникал — туман был слишком плотен. Наверное, не туман, а дым. Потому и запах. Не опасно ли будет спускаться? Потравимся к чертовой бабушке... или задохнемся...

Есть же спичка и свеча! В пещерах всегда ходят со свечами — чтобы не влететь туда, где нечем дышать. И можно делать даже проще...

Лот зажег спичку и уронил ее вниз. Искорка, не потухая, упала на настил галереи и еще секунду-другую догорала. Кислород есть...

Или все-таки пойти прямо? Он с сомнением посмотрел вдоль туннеля. Черт знает, куда могут привести эти рельсы...

Дверца не открывалась, заклинилась или заржавела, но перила были по пояс, и Лот перелез через них и помог перебраться Нике.

— Держи свечу,— сказал он, поджигая фитилек.— Старайся не погасить...— и улыбнулся. Ника неуверенно улыбнулась в ответ.

Ступеньки лестницы слегка прогибались, и вся лестница подрагивала под двойной тяжестью. И так же стал вздрагивать настил галереи, когда они на него ступили.

Свеча горела спокойно.

И даже запах гари стал не столь ужасающ. В нем появился странный арбузный оттенок.

До лестницы осталось несколько шагов, когда Лот краем глаза уловил какое-то мягкое движение в тумане. Он рефлекторно повел туда лучом.

Всего лишь плотные клубы тумана вздымались со дна этой шахты. Лот догадался, что это шахта — почувствовал бездну под подошвами. Но предвестие чего-то ужасного накатило еще быстрее, чем чувство бездны.

— Скорее вверх! — шепнул он Нике, и она послушно обогнала его и взялась за перекладину лестницы — и в этот миг настил колыхнулся, как понтонный мост под волной, и множественный электрический треск перекрыл теряющее громкость гудение. Из туманных

клубов, взлетевших до решеток потолка, вдруг выплыли тонкие сверкающие нити. В луче фонаря они сияли всеми цветами спектра: красным, желтым, зеленым и синим. И эти же нити поднимались из отверстий в настиле — вокруг Ники, и уже оплели ее ноги и поднимались выше... и Лота, шагнувшего к ней, вдруг приподняло новой волной и отнесло назад, и он, еще не поняв беспомощности своей, продолжал бежать к ней, а его относило и относило назад — будто между ним и Никой с тихим шепотом взрывались пылинки спрессованного пространства, обращаясь в метры, еще метры, и еще метры, и десятки метров... он только видел, как застывает ее тело, и на обращенном к нему растерянном лице живут одни глаза, а в глазах вместе с поздней нежностью возникает чужое нечеловеческое наслаждение — нити оплетали ее всю, она сверкала миллионами точечных бриллиантов, остриями алмазных игл — Лот уже стоял в туннеле, вцепившись в перила и только так сопротивляясь мягкому, но могучему нажиму — а потом померк свет в глазах, а когда свет вернулся — неровным желтым пятном с поперечными серыми полосами — уже ничего не было. И сквозь внезапную пустую тишину Лот различил далекое позвякивание. Он сделал шаг назад и приложил руку к рельсу. Едут...

Он нашел себе место, чтобы пропустить вагонетки и не быть замеченным.

Верхом на шахтном мотовозе ехал человек в черном защитном комбинезоне, в противогазе и с автоматом на груди. Точно так же был одет машинист. К мотовозу была прицеплена платформа с чем-то бочкообразным под брезентом. Еще двое в противогазах сидели на платформе — лицами назад. Лот стоял, замерев — сзади горели не только красные огни, но и рассеивающая фара. Его могли увидеть. Не увидели...

Состав превратился в туманное пятнышко, а потом исчез совсем — видимо, за поворотом. Четыреста шагов, помнил Лот. Не ошибиться поворотом, не пропустить... здесь. Да, здесь. Незнакомо — но так всегда, когда возвращаешься. И ближе. Дорога короче. Так тоже — всегда.

Дорога короче...

Лот боялся только, что не сможет откинуть крышку.

Падая, рукой удерживая прыгающее сердце, он забил в щель телефона магнитную карточку и, не попадая по кнопкам и сбиваясь в счете и начиная снова и снова, набрал номер Меестерса.

33. Ноэль

■

— Полный бак? — механик удивленно посмотрел на Ноэля.— Это же пять часов!

— Угу.— Ноэль жевал спичку и старался лишний раз не смотреть на маску, прикрывавшую распадающийся череп механика.— Пять часов.

— Я не возражаю, конечно, но ваш друг... неважно выглядит,— механик заговорщицки кивнул в сторону Микка.

— Ничего,— сказал Ноэль.— Если он наблюет в кабине, я уберу. Сам.

— Пять часов болтаться над городом,— пожал плечами механик.— Ну, как желаете. Мое дело — предупредить.

— Предупредить,— повторил Ноэль

Механик странно посмотрел на Ноэля и открыл кран. Стрелка медленно ползла по шкале бензомера.

— Спасибо,— сказал Ноэль и отдал членскую книжку Микка.— Могу заплатить сейчас, могу потом.

— Вам вышлют счет, не беспокойтесь.

— Я никогда не беспокоюсь. Ни о чем. А вы?

— У меня большая семья,— сказал механик и посмотрел в книжку,— сэр рыцарь меча.

Ноэль вернулся к машине. Микк стоял, как и десять минут назад, синевато-белый и мокрый от пота. Но — живой. За весь сегодняшний день Ноэль видел живых человек шесть-семь.

— Кабриолет подан,— сказал он Микку.— Мадемуазель Флора,— он наклонился и подал руку.— Прошу вас...

Флора гибко выскользнула из машины. Ноэлю она нравилась все больше и больше. У Микка хорошо поставлен взгляд, подумал он, я на нее и внимания бы не обратил... Флора тоже была живая.

— Ну, что, Виль? — спросил он Вильгельма — в последний раз.— А то, может?.. Одно место еще есть.

Вильгельм покачал своей целлулоидной головой.

— Летите,— сказал он.— Удачи.

— И тебе удачи, Виль,— сказал Ноэль.

Он подхватил сумку с эрмом и зашагал к самолету. Микк и Флора последовали за ним.

В кабине было чисто и прохладно — кондиционер уже работал. Микк, как понимающий толк в управлении самолетами, сел на пилотское место. Пилотским оно было, конечно, чисто условно: просто перед ним был выведен дисплей автопилота. Ноэль сел рядом, Флора — на заднем диване.

— Поехали,— сказал Микк и ткнул пусковую клавишу.

Пока автопилот хорошим голосом объяснял насчет поведения в полете, потом запускал двигатели и выруливал на полосу, Ноэль откручивал приборную панель. Собственно, добраться нужно было лишь до разъемов бортпроцессора. Самолет замер в начале полосы и пошел на взлет, а Ноэль продолжал копаться в выводах.

— Дай ему взлететь,— выжал из себя Микк.

— Болит? — посочувствовал Ноэль.

Микк откинулся на спинку. Ему было очень плохо.

— Если вы хотите послушать рассказ о нашем прекрасном городе, нажмите клавишу «Да»,— сказал автопилот. Сенситивным устройством он оборудован не был. И это хорошо — иначе, имея на борту Микка, он просто не стал бы взлетать.

Клавишу, естественно, никто не нажал, и автопилот в молчании заложил вираж в сторону моря. Под крылом проплыл стадион. На поле гоняла мяч какая-то команда. Одна, сама с собой. Потом появилась серая, в узорах, похожих на спил дерева, полоса пляжа. Потом — море.

— Можно? — спросил Ноэль. Микк кивнул.

Ноэль совсем отодрал панель и сунул ее вниз, под ноги. Разноцветные ленты кабелей позволяли это сделать. Ага, вот у нас сам процессор — еще «ПИК 4SE», старина, надо же... а вот программный блок. А поступим мы... а поступим мы вот так...

— Принимай управление,— сказал он Микку.

— Уже все?

— Да. Но учти — здесь программа для истребителя,— похлопал он по эрму.— Так что делай поправку на моторчики...

— Джойстика нет?

— Могу сделать голо.

— Давай. А педали?

— Вправо-влево? Поворотом головы. Закрываешь левый глаз и поворачиваешь голову. Ну, попробуй.

Микк попробовал. Призрачная ручка управления двигалась за рукой, и самолет послушно покачивался в такт этим движениям. Так же послушно, даже чуть торопливо он разворачивался, следуя поворотам головы.

— Отлично,— сказал Микк.

— Рутина вся на аппарате,— сказал Ноэль.— Устойчивость, курс. Твое дело — творческое.

— Так бы всегда,— сказал Микк.— Ну, что — спрямим курс?

— Нет, давай вдоль берега,— ответил Ноэль.— И еще долго — вдоль берега.

— А правда, красивый город,— сказал Микк.— Издалека особенно.

— Красивый,— сказал Ноэль.— Не плачьте, девушка.

— Я уже не плачу,— сказала Флора.

34. Татьяна

■

Это были, наверное, самые страшные минуты — когда наверху гремели очереди, а она здесь, внизу, ничего не знала и ничего не могла сделать. Это было страшнее, чем бой с оборотнями на чешуйчатых конях и даже бой с драконом. Хотя тогда ей казалось, что самое страшное — именно это... И даже не очереди, нет — самым страшным была наступившая после тишина. Что же теперь? Она не видела никого, а ее мог видеть кто угодно — отовсюду. И Пончик — почти в обмороке и ничего не может... Это и есть паника, подумала она потом. А тогда, набросив на Пончика пропыленный чехол и ухватив наган зубами за скобу, чтобы не рыдать, полезла по стреле, по тросу, заглянула в окно — лучшей мишенью она никогда не была... Почему-то сначала она увидела только Диму — те двое, в темно-сером, не сразу попали в поле зрения. Только пробегая мимо, она поняла, что это люди, что это они стреляли... Дима лежал на спине, и из правого, залитого кровью глаза у него торчал нож.

Она сразу поняла, что он жив, что он без сознания, что от нее сейчас все зависит... И что торопиться не следует, а следует немного подумать, повспоминать и подготовиться — хотя бы морально. За без малого два месяца ошеровских боев она научилась многому. Так... снять ватник, снять рубаху, рукав долой — пригодится... долой оба рукава. Окса, миляга, ты знала, наверное, на что пойдут твои рубахи... Сразу — бинты. А вот этим — уберем кровь... Господи — глаз не вытек! Веко разрезано — зарастет! Лезвие вошло в глазницу, отодвинув глаз. Теперь бы не повредить, вытаскивая... Левой рукой Татьяна обхватила Димино лицо, удерживая голову, а правой — одним мягким и точным движением извлекла нож. Кровь — это ничего... это вытекает та, которая скопилась. Потом она положила на глаз свернутую тряпицу, обвязала голову бинтом. Дима застонал и заворочался. Лежи, Димочка, не шевелись. Он услышал голос и расслабился.

Только потом она встала и подошла к тем, в серых комбинезонах. Один, лежавший близко и лицом вниз, был здоровым амбалистым парнем — таких она не любила. И не жалела, если с ними что-то случалось. А второй вдруг оказался похож на мертвого Мишку, каким он недавно приснился. Не лицом, а — непринадлежностью к сильным. Нет, неправильно, Мишка был сильный, но это была какая-то не такая сила. Да, Мишка был сильный, а этот просто пацан. Пацана жалко, но он безусловно мертв: пуля попала в лоб. Дима стал классным стрелком...

Теперь стоило позаботиться о Пашке. Татьяна помнила, что у какого-то агрегата там, внизу, была сбоку приварена легкая лесенка ступенек на пять. Как раз — от стрелы до окна... Это заняло час. И еще час ушел на то, чтобы затянуть Пончика ремнями поверх ватника

по ребрам. Он никак не мог поверить в то, что это уменьшит боль. Наконец, согласился: выдохнул и замер... Животом дыши! Вот так. Пончик выглядел глупо. Впрочем, после этого и по стреле, и по лестнице он вскарабкался как обезьяна.

Дима уже пришел в себя и мучился жуткой болью. Ему надо было дать промедол или на худой конец анальгин. Надо было положить лед на рану. Ничего этого не было.

— Ты побудь с ним,— сказала Татьяна,— а я поброжу...

Пашка кивнул.

В магазине калаша осталось девять патронов. Татьяна взяла автомат амбала. Автоматик был маленький и ни на что не похожий. Но как обращаться с ним, было вполне понятно. Еще она взяла у амбала фонарь.

За дверью воняло пылью и плесенью, как и положено вонять в пустом доме. Эти двое, теперь уже мертвых, протоптали в пыли весьма заметную тропинку, и Татьяна, не особо раздумывая, пошла по ней — держа на всякий случай взведенный калаш у плеча стволом вверх. Вид был скучен — учреждение, из которого при отъезде забрали все нужное, но побросали старье и хлам. Окон не было видно нигде, лампы, естественно, не горели. Один раз ей попалось освещенное помещение: длинный, высокий и широкий коридор со светящимся, как в том круглом зале, потолком. Он напомнил Татьяне московский ГУМ. Вдоль всего коридора проходила выложенная мраморная канава с перекинутыми через нее мостиками разной формы. Захотелось зайти туда и посмотреть все подробнее, но дорожка шла мимо. А шагов через двадцать в проеме двери возникли тусклые множественные огоньки — как вид Ошерова с Катерининой сопки.

35. Микк, он же Павлик

■

— Наверное, надо как-то попрощаться,— сказал Микк.

— Давай,— сказал Ноэль.

Они обнялись.

— Думаю, этого достаточно,— сказал Ноэль.

— Мы, наверное, уже не увидимся никогда,— сказал Микк.

— Ну и что? — сказал Ноэль.— Только ли мы?

— Ты прав. Ладно, счастливо добраться. И... а, ты все сам знаешь.

— Тебе тоже — счастливо добраться.

Микк, стараясь не оглядываться, запрыгнул в кабину, пристегнулся и дал газ. Самолет быстро разбежался и легко оторвался от асфальта. Набрав немного высоты, Микк заложил вираж и прошел над местом своего взлета. Ноэль, не поднимая головы, топал по

шоссе. Идти ему еще оставалось часа два. Столько же, сколько Микку лететь.

Море появилось впереди — сверкающей полосой. А справа, страшно далеко, там, откуда они прилетели, висела темно-синяя, почти черная туча, висела низко и тяжело. Он оглянулся: Флора спала. Спала, почти повиснув на привязном ремне. Хорошо, подумал он, не надо ей этого видеть...

Море уже было внизу, синее, в белых черточках коротких волн. Самолет ощутимо подбрасывало. Ветер начинал тянуть в адскую топку. А может быть, и без всякого людского вмешательства ему было положено дуть именно так. И вдруг в море, в глубине, под этой острой рябью — он увидел лицо. Свое лицо. Огромное свое лицо. Оно медленно всплывало к поверхности... коснулось ее... и исчезло. Это было так отчетливо и так невозможно, что Пашка отшатнулся от окна. Самолетик — со стрекозу размером — удалялся неторопливо и солидно. И внезапно исчез — на фоне темных, отражающих свет круговых окон. Пашка долго ждал, когда он появится снова — но самолетик не появился. Тогда он вернулся к Дим Димычу.

Дим Димыч был почти плох. Эта новая рана добавилась к недавней контузии, от которой он даже не начал оправляться. Зачем его взяли такого? С десяток парней можно было найти, которые... Ха! А зачем взяли меня, Таньку, Марью Петровну? Все было не просто так...

— Пав... щи... воды...— невнятно — челюсти не разжимались — сказал Дим Димыч, но Пашка его понял.

Конечно, такое задание не может быть без водопровода, это ясно — но есть ли вода в трубах? Все это пахнет то ли разрухой, то ли эвакуацией. А если вода есть — в чем ее нести? Намочу рубаху, подумал он. Выйдя, он постоял, пытаясь логически решить, где здесь может быть туалет — и вдруг раздался крик — и автоматная очередь!

Кричала Танька.

На бегу передергивая затвор своего самопала, Пашка понесся на звук. Каким-то восьмым чувством — сломанными ребрами — он угадывал двери. Позади него частил Дим Димыч.

Еще очередь. И еще.

36. Татьяна

■

Она вошла и стала на пороге. Да, это было логово тех — и это был центральный пульт, или командный пункт, или пост управления — в общем, что-то важное и существенное. По всему периметру зала тянулась непрерывная приборная панель: миллион самых разнообразных циферблатов, полукруглых и линейных шкал; иногда попадались темные, расчерченные сеткой, экранчики. У Мишки в

комнате над столом висел учебный плакат: контрольные приборы «Ил-18». Что-то подобное было и здесь, но — возведенное в степень. И органы управления напоминали самолетные: тумблеры, переключатели, рычаги, штурвалы... И среди всего этого — висели трусы и портянки на натянутой веревке, валялись в углу пустые бутылки, на затейливом стеклянном столике сохло что-то в неубранных плоских кастрюльках: с такими официанты в поездах ходят во вагонам, разносят борщ и картошку. Два толстых дивана, аккуратно застеленных, стояли рядом.

Морщась, Татьяна пересекла зал и подошла к дышащему кусочку пульта. Горящие ровно и мерцающие лампочки. «Питание». «Настройка грубая» «Настройка точная». «Горизонт». «Склонение...» — какой-то непонятный символ. «Ввод...» — другой и тоже непонятный. Татьяна положила руку на штурвальчик, подержала и убрала.

Непрерывность пульта здесь прерывалась, и открывался невидимый от двери проход к окну. Татьяна постояла, прислушиваясь. Если ее там подкарауливали, то подкарауливали нечеловечески тихо. И все-таки она со всей возможной осторожностью проскользнула через узкое место — и вылетела, присев, готовая к стрельбе — на свободное.

Никого. Никого живого...

Между пультом и окнами было свободное пространство — метра два, и все оно было заставлено: бумажными домиками, игрушечными елочками, пластилиновыми фигурками... Такой же, как и под едой, стеклянный столик возвышался над этим — почему-то омерзительным — кукольным городом. На столе вокруг вырезанного из дерева члена, торчащего вверх, стояли фигурки зверей: крысы, кошки, собаки... нет, скорее, волка... обезьяны, оленя с рогами, оленя без рогов, коня, кабана, барана, быка и льва. Фигурки эти чем-то напоминали шахматные. Еще на столе были оплывшие свечи и прозрачная ваза, полная воды. На поверхности плавали чешуйки воска.

Татьяна шагнула к окну и посмотрела вниз. Мы там были как на ладони...

От окна она город узнала. Это был Ошеров. Уродливый, неправильный, но — Ошеров. Школа, горком... Мишкин дом... Димин дом, архиповский... Она протянула руку и схватила со столика фигуру льва. У льва было знакомое лицо...

Леонида.

Она, наверное, сказала это вслух, потому что странное эхо вернулось к ней. И тут же что-то произошло с кукольным городом. Текуче-неуловимо он изменялся, будто бы отдаляясь и при этом набирая плоть и вес. Будто бы — готовясь стать настоящим. И — Татьяна напряглась — тихое, на грани слышимости гудение пришло

из-под ног. Оно нарастало, вступая в права и вытесняя все прочее: звуки, запахи, свет... И городок ожил под его натиском.

Это было похоже на старинные механические театры. Крошечные фигурки людей сновали по улочкам, гротескно раскланиваясь, неуклюже входили в дома и выходили из домов... и какие-то уродцы, на которых она до сей поры не обращала внимания, сновали меж них, покачиваясь и изгибаясь. Гудение входило в подошвы и текло вверх, засасывая, как ледяная трясина. Что-то творилось с глазами. Лев дрожал в кулаке. Значит, так... значит, мы... Она ударила ногой по столику, и столик, руша все под собой и вокруг себя, беззвучно опрокинулся. Сволочи... Продравшись по ставшему вдруг слишком узким проходу обратно в зал, она замерла перед пультом, лихорадочно разбираясь в его кнопках и рубильниках. Сволочи, сволочи, шептала она, ведь надо же было такое придумать... а мы-то, мы-то...

Рычаг сбоку.

«Сеть».

Тугой. Всем весом...

Звук: бооуууу. Гудение.

Отовсюду.

Замерцали и зажглись лампы под потолком. И один за другим начали оживать пульты.

Будто невидимые руки касались кнопок, щелкали пакетниками, покачивали штурвалы. Вспыхивали целые панели лампочек — разом. Засветились зеленые экранчики.

Людской гул — как на демонстрации — донесся из-за окон. Заглушенный стеклом, он был далек и невнятен, но внушителен.

Татьяна попятилась. Моторный рев вплелся в голоса.

Это было почему-то так невыносимо страшно, что Татьяна закричала. И, чтобы заглушить страх, выстрелила — лопнул круглый экранчик — потом широким веером послала пули по всей панели приборов, бросила опустевший калаш — и из кургузого автоматика стала бить короткими очередями, нащупывая механическое сердце...

Стояли сумерки — то ли позднего вечера, то ли неначавшегося еще утра. Воздух был невыносимо свеж. В просвете облаков, как в колодце, неподвижно стояли огромные звезды. Дима ковырнул носком сапога шуршащие на ступенях листья, сказал:

— Вот и до осени дожили...

После укола морфином речь у него немного плыла.

Луч фонаря доставал лишь до ближайших деревьев. Что делалось за ними — видно не было.

— Пойдемте пока назад,— сказала Татьяна.— Будет утро, тогда...

— Будет день, будет пища,— сказал Пашка.— Еще немного подышим.

— Немного,— согласилась Татьяна.

— Птицы,— сказал Дима.

Все прислушались. Где-то очень далеко разбуженно булькнула ворона — и замолкла.

— Во сне разговаривает,— сказал Пашка.

— Если вороны — значит, жилье,— отозвалась Татьяна.

— Сейчас они везде,— сказал Пашка.— Это зимой...

— Правда, мальчики, пойдемте,— поднялась Татьяна.— А то, если я упаду, вы меня не дотащите, калеки.

За последние десять лет читатель вдоволь нахлебался западной фантастики, в большинстве своем американской, и убедился, что чаще всего это обыкновенная халтура, поточное произведение текстов, имеющих весьма отдаленное отношение к литературе.

Раньше этот поток доходил до нас тонким ручейком, зато уж редакторы старались отбирать самое лучшее. А теперь мы познакомились, так сказать, с почвой, на которой западные шедевры произрастают. Навоз — он и есть навоз.

Расплодившиеся на свободе в огромных количествах издательства предпочитали печатать зарубежное чтиво. Во-первых, существует множество дилетантских переводов, ходящих по рукам среди любителей жанра. Во-вторых, американцам можно было не платить ни цента — богатые, перетопчутся. В-третьих, у читателя очень быстро сформировалось мнение: несоветское — значит отличное.

Отечественному автору приходится теперь долго и нудно доказывать, что он тоже чего-то стоит, что пишет он не хуже, а зачастую много лучше своего западного коллеги, что за ним стоит великая русская литература, и при ее немеркнущем свете становится понятно, что даже шедевр англоязычной фантастики, трилогия Толкина «Властелин колец», на шкале ценностей располагается все-таки по соседству с «Приключениями Незнайки», а не с «Войной и миром».

Впрочем, вы уже убедились, что писать Андрей Лазарчук умеет, и фантастика для него — чисто литературный прием.

Для меня чрезвычайно необходимым в фантастике представляется умение построить корректную, непротиворечивую модель несуществующего мира. Лазарчук такую модель строить умеет, у него точные детали соседствуют с недоговоренностями и умолчаниями — ведь в реальной-то жизни существуют вещи, сами собой разумеющиеся.

Андрей Лазарчук работает в разных жанрах и стилях. «Мост Ватерлоо» —антивоенная притча, поскольку в те времена, когда этот роман был написан, единственным шансом обмануть цензуру была «борьба за дело мира». Но цензура не обманулась.

«Иное небо» — политический боевик из альтернативной истории, наглядно доказывающий, что при любом, самом невероятном раскладе мировых событий не будет нам ни счастья, ни покоя, ни воли.

И наконец, «Солдаты Вавилона» — многоэтажная фантасмагорическая композиция о судьбе нескольких миров или измерений, борющихся против общей опасности. Кому-то эта вещь покажется чересчур сложной — ничего страшного, перечитайте.

«Мост Ватерлоо» и «Солдаты Вавилона» входят в цикл «Опоздавшие к лету». Не знаю, что вложил автор в этот эффектный заголовок, но для меня он символичен: воистину, слишком уж припоздниласъ новая волна российской фантастики, добираясь до читателя.

Михаил Успенский

СОДЕРЖАНИЕ

■

ИНОЕ НЕБО
11

МОСТ ВАТЕРЛОО
213

СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА
365

■

Литературно-художественное издание

Андрей Лазарчук

СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА

Романы

■

Художник А. Е. Шедченко

Ответственный за выпуск Д. Ю. Колташов
Художественный редактор Е. В. Корнеева
Корректоры: Н. Ф. Ткачук, С. М. Григорьева

Текст печатается по изданию: Лазарчук А. Мост Ватерлоо//Лазарчук А. Опоздавшие к лету.— Рига: Латвийский детский фонд, 1990.— 276 с.; Лазарчук А. Солдаты Вавилона//День и ночь.–1994.–№ 3.–С. 84.

ЛР № 060282 от 10.10.91.
Подписано в печать 10.02.95. Формат 84×108$^{1}/_{32}$.
Бумага типографская № 3. Гарнитура Литературная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92. Тираж 5 000 экз.
Заказ № 294.

Издательство «Универс»
660049 Красноярск, ул. Урицкого, 61

Новосибирская типография № 4 ВО «Наука».
630077 Новосибирск, ул. Станиславского, 25

Лазарчук А.

Л17 **Солдаты Вавилона:** Романы/ Авт. послесловия М. Успенский.— Красноярск: Изд-во «Универс», 1995.— 604 с.
ISBN 5-87748-192-4

В сборник «Солдаты Вавилона» вошли романы «Мост Ватерлоо» и «Солдаты Вавилона» из цикла «Опоздавшие к лету», а также политический боевик «Иное небо».

Л $\frac{\text{4703000000}}{\text{Г49(03)—95}}$

ББК 84
Л17

